







ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

ЛЕТОПИСЬ  
ВЕЛИКИХ  
СОБЫТИЙ

МОСКВА  
«НОВАЯ КНИГА»



ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНЕ

# СТРЕЛЬЦЫ

МОСКВА  
«НОВАЯ КНИГА»

*Серия основана в 1993 г.*

**К. Масальский.** Стрельцы. Исторический роман — М., «Новая книга», 1996.— 608 с. («Всемирная история в романах» — «Летопись великих событий»).

ISBN 5—87247—088—6

© Издательство «Новая книга». Название и оформление серии.  
© Оформление Н. Егорова, 1996.  
© Издательство «Зауралье», Курган и «Стелла», Клин.

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

КОНСТАНТИН  
МАСАЛЬСКИЙ

СТРЕЛЬЦЫ



Должно знать, как искони мятежные страсти волновали гражданское общество и какими способами благотворная власть ума обуздывала их бурное стремление, чтобы учредить порядок, согласить выгоды людей и даровать им возможное на земле счастье.

К а р а м з и н.

Действие в сем романе начинается со вступления на престол Петра Великого и продолжается до заключения в монастырь царевны Софии Алексеевны (1682—1689). Время сие представляет ряд событий, принадлежащих, без сомнения, к числу самых занимательных в истории нашего отечества.

Сочинитель хотел в форме романа представить сии события со всею возможною подробностью и верною, держась не столько повествовательного, сколько драматического способа изложения. В повествовании, сколь бы оно ни было совершенно, мы слышим рассказ автора, разделяем с ним его мысли и чувствования. В драме мы видим самые лица, действовавшие во время события, узнаем характер их и страсти, намерения и желания, добродетели и пороки не из рассказа, а из слов и поступков их. Мы становимся сами свидетелями минувшего, живее желаем успеха добродетельному, сильнее чувствуем отвращение к злодею, яснее усматриваем странности, предрассудки и слабости прошедшего века, сильнее ужасаемся преступлений и удивляемся подвигам, одним словом, сами переносимся в прошедшее и живем с нашими предками. История сделалась бы еще занимательнее, если б драматический способ изложения был для нее возможен. Но историк может только влагать в уста своих героев такие слова, которые сохранились в летописях или в других исторических актах, хотя часто слова сии принадлежат летописцу, а не герою; должен соображать исторические материалы, часто одни другим противоречащие, и, освещая мрак прошедшего светильником исторической критики, говорить читателю: так было или так долженствовало быть. Для него необходим слог повествовательный, коего главные достоинства суть сила и краткость. Чем более расскажет он важных и замечательных происшествий и чем короче

будет рассказ его, тем большую он окажет услугу читателю. Представляя картину целых веков и тысячелетий, он по необходимости должен упускать подробности, часто весьма занимательные и любопытные, дабы не быть принужденным написать вместо одного тома десять. Подробности сии суть сокровища для исторического романиста. В четырех томах историк опишет четыре века, а романист — четыре года или даже месяца, и никто ему слова не скажет, если только книга его приятна и заманчива. Историк, имеющий цель высшую, а не одно удовольствие читателей, часто обязан описывать события, мало занимательные, но важные по своим последствиям. Романист имеет полное право умолчать об оных и рассказать подробно только то, что может приятно занять читателя. Историк открывает истину в прошедшем, вечные законы, управляющие миром, и созерцает события, как философ, заботясь не столько об удовольствии, сколько о поучении читающих. Исторический романист старается представить прошедшее в заманчивом и привлекательном виде и заботится преимущественно об удовольствии читателей, не выставя слишком явно философическую или поучительную цель, которая должна быть и в романе. Однако ж романист не должен отступать от истины в происшествиях важных. Выводимые им на сцену исторические лица должны говорить и действовать сообразно с их истинными характерами. Слова и поступки их не должны нисколько противоречить истории. Одежда, нравы, обычаи и обряды, состояние религии, нравственности и умственного образования, дух законодательства должны быть романистом представлены в верной картине, которая не отвлекала бы однако ж внимания от хода происшествий. В происшествиях сих должно действовать преимущественно одно главное лицо. Оно может быть вымышленное или историческое. В последнем случае всего лучше избирать такое лицо, которого судьба достаточно не объяснена историею, дабы читателю не была наперед известна развязка романа. В вымыслах, необходимых для завязки и развязки, должно строго соблюдать правдоподобие и дух времени, которое описывается, и стараться все вымышленные происшествия представлять в связи с истинными, как последствия оных, как подробности, до-

полняющие и объясняющие повествование истории или по крайней мере ей не противоречащие. Вот мысли, которые сочинитель имел в виду, принявшись за роман. Справедливы ли они и исполнил ли сочинитель все, самому себе предписанное,— решат критики и просвещенные читатели. Сочинитель слишком далек от того, чтобы мнения свои считать безошибочными и опыты совершенными. Он искренно будет признателен благонамеренной критике, если она укажет ему ошибки в его мнении об исторических романах и недостатки в его сочинении.

Нравственная цель сего романа состоит в том, чтобы представить в верной картине ужасы мятежей и безначалия, вредные последствия насильственных переворотов в государстве, правосудие Провидения, не оставляющего без наказания виновников возмущений, и достойные подражания примеры преданности церкви, престолу и Отечеству.

Дабы не развлекать внимания читателя при чтении романа так называемыми историческими примечаниями, сочинитель ограничился весьма немногими, которые были необходимы для пояснения некоторых мест и старинных выражений в сей книге, и поместил в конце четвертой части указание источников, на коих каждая глава основана, не выписывая однако ж ничего из оных и не показывая своих изысканий и соображений. Для критика легко будет по сим указаниям решить: с достаточным ли старанием и успехом сочинитель употреблял исторические материалы. Но дабы читатели прежде сего решения могли хотя несколько удостовериться, что он не жалел труда и не упускал из вида даже мелочей, достаточно будет привести несколько примеров.

«Деяний Петра Великого» в I части на странице 158 сказано, что в первый бунт стрельцов, начавшийся 15 мая 1682 года и продолжавшийся три дня, убит был в числе прочих бояр князь Михаил Алегукович Черкасский. Сумароков в Описании означенного бунта пишет на странице 31, что князь сей защищал от стрельцов боярина Матвеева, но о смерти его ничего не говорит. А «Древней Российской Вивлиофики» в части VII на страницах 481 и 482 сказано, что 8 июля 1682 года участвовал князь в церковном ходе из Успенского собора к церкви

Казанской Божией Матери и сопровождал 13 июля царей Иоанна и Петра Алексеевичей в Троицко-Сергиевский монастырь. Из этого видно, что показание в «Деяниях Петра Великого» о смерти князя неосновательно и что он, вероятно, был только легко ранен: ибо менее, нежели через два месяца после бунта участвовал уже в церковном ходе.

Сумароков в Описании бунта на странице 22, исчисляя заговорщиков, способствовавших боярину Милославскому к произведению мятежа, называет между прочим Ивана и Петра Андреевичей Толстых, не означая звания их. «В Деяниях знаменитых полководцев и министров, служивших в царствование Петра Великого», во II части на странице 61 сказано, что Петр Толстой служил стольником при царе Феодоре Алексеевиче, а потом комнатным стольником при царе Иоанне Алексеевиче. Так как заговор Милославского произведен в действие после смерти Феодора и до возведения на престол Иоанна, то и видно из сего, что Петр Толстой был в то время стольником. Сверх того «Древней Российской Вивлиофики» в VII части на странице 397 в списках лиц, которые дневали и ночевали в церкви Архангела Михаила при гробнице царя Феодора Алексеевича, показаны в числе стольников Иван и Петр Андреевичи Толстые.

«Древней Российской Вивлиофики» в VII части на странице 386 видно, что 28 апреля в 5 часу дня начался обряд погребения царя Феодора Алексеевича, скончавшегося 27 апреля 1682 года. По свидетельству Маржерета (с. 24), Кемпфера (с. 361) и других иностранцев, писавших о России, предки наши погребали мертвых до истечения 24 часов после смерти, не исключая из сего правила и государей. Посему можно было полагать, что царь Феодор Алексеевич умер 27 апреля, вскоре после 5 часа дня\*. Но в томе III «Дополнения к деяниям Петра Великого» на странице 197 напечатана надпись, начертанная на образе, поставленном у гробницы Феодора.

---

\* Часы разделялись тогда на дневные и ночные. С восходом солнца начинался 1-й час дни. Счисление дневных часов продолжалось до захождения солнца. После солнечного заката начинался 1-й час ночи. Счисление ночных часов продолжалось до восхода солнца. См. Мейерберга «Путешествие по России». С. 269. (Здесь и далее примечания, кроме перевода иноязычных текстов, К. П. Масьского).



Из сей надписи видно, что он умер в 13 часу дня в 1-й четверти. В Объявлении же, напечатанном в «Полном Собрании Законов Российской Империи», в томе II на странице 384 сказано, что царь скончался в 12 часу дня\*. Сочинитель предпочел последовать сказанному в выше-означенной надписи.

В XIV части «Древней Российской Вивлиофики» на странице 109 помещено в стихах царю Феодору Алексеевичу надгробное слово, из коего видно, что он умер в четверток. Посему можно было узнать, что 14 мая, день, назначенный заговорщиками для бунта, был понедельник. Таким образом можно было рассчитать, где было сие в романе нужно, какие дни были в известные числа, замечательные по каким-нибудь событиям.

В VII части «Древней Российской Вивлиофики» на странице 375 и следующих помещены два различных известия о вступлении Петра I на престол. Сочинитель сей статьи говорит: «Читателю благоразумному оставляется из обеих сих известий выбирать то, что имвернее, или оба согласить, сколько обстоятельства то дозволят». Сам же он ничего не решает. Известия сии содержатся в записках Разрядного и Посольского архивов. В записках первого сказано, что по смерти царя Феодора Алексеевича патриарх и Государственная Дума совещались о наследовании престола и положили избрать царя общим согласием людей всех чинов Московского государства; что избран был царем Петер Алексеевич; что Дума согласилась с сим избранием и патриарх благословил Петра на царство. В записках же Посольского архива не упоминается ничего о сем избрании, а сказано, что царевич Иоанн уступил престол брату потому, что у него здравствует его мать, царица Наталья Кирилловна; и что по просьбе духовенства, Думы и народа Петр Алексеевич принял царский венец. Голиков на странице 151 «Деяний Петра Великого», в I части, старается согласить сии записки, полагая, что после отречения Иоанна Алексеевича от престола патриарх и бояре из осторожности рассудили предоставить избрание

---

\* 27 апреля солнце восходит в Москве в 4 часа 12 минут, а заходит в 7 часов 48 минут. Следовательно, царь Феодор умер, по нынешнему счислению часов, в 4 часа 27 минут пополудни, за 3 часа 21 минуту до захождения солнца.

царя на волю всех чинов и народа. Галем в *Leben Peters des Grossen*, в I части, на стр. 31 и 32 последовал запискам Разрядного архива, а на странице 281, приводя оба известия, замечает странность причины, побудившей царевича Иоанна уступить престол брату, и сомневается в отречении его. Вероятно, говорит он, слабый царевич сам выдумал сию причину для прикрытия настоящей. А Бергман в сочинении своем *Peter der Grosse als Mensch und Regent*, в I части, на странице 106, заметив также противоречие в помянутых записках двух архивов, пишет, что царевич Иоанн из вопроса патриарха «кому из них престол наследовать?» заметил желание предпочесть ему младшего брата и решился добровольно уступить ему корону; ибо (сказал он) родительница его Наталья Кирилловна, жива; и что патриарх объявил о сем отречении царевича народу, который воскликнул: «Да будет царем нашим царевич Петр Алексеевич!». Далее, говорит Бергман, следуя Голикову, что все присягали царю Петру 10 мая 1682 года. Но из объявления (Манифеста) напечатанного во II томе «Полного Собрания Законов Российской Империи» на странице 384, видно, что все, сказанное в записках Разрядного архива, справедливо; что Петр был избран народом и что все присягали ему 27 апреля (а не 10 мая), не исключая и стрельцов, о которых Сумароков пишет, что они не признали общенародного избрания и не присягали Петру. Записки Разрядного архива очевидно заимствованы из означенного Объявления, изданного 27 апреля, а записки Посольского согласны с актом, изданным 26 мая 1682 года после переворота, произведенного царевною Софиею. В акте сем объявлено о совокупном вступлении на престол Иоанна и Петра и о поручении ей управления государством. (См. II том «Полного Собрания Законов Российской Империи», стр. 398). После сего понятно, почему в сем акте умолчано об избрании Петра на царство и о присяге стрельцов; почему причиною уступки престола Иоанном брату выставлено только то, что мать Петра, царица Наталья Кирилловна, здравствует, и почему, наконец, не сходны официальные записки двух архивов.

Таким образом сочинителю легко было бы увеличить историческими примечаниями вес своего сочине-

ния; но он боялся, чтобы этот вес не подействовал на одни весы почтамта и чтобы сочинение его не сделалось вместе с тем легче на весах критики, ибо она могла бы укорить автора за нанесение читателям скуки множеством примечаний, которые послужили бы только к тому, чтобы показать труды его в изыскании и соображении материалов.

Места в романе, напечатанные косыми буквами, заключают в себе выписки, без всякой перемены слога, из исторических источников или для показания, как у нас в описанное в романе время выражались и писали, или для приведения подлинных слов и письменных актов, почему-нибудь любопытных и замечательных.

Сон, описанный в I части романа, вымышлен. Сочинитель в сем случае воспользовался правом романиста, не обязанного все без исключения основывать на исторических источниках. Может быть, станут его осуждать за несоблюдение правдоподобия; ибо многие считают, что сны не могут предсказывать будущего. Но сочинитель оправдывается свидетельством новейших германских психологов, которых нельзя укорить в суеверии или в неосновательности. Основываясь на опытах, они пишут, что деятельность души во время сна совершенно отличается от ее деятельности во время бодрствования, подлежа чудесным, непостижимым законам, и что сны, хотя и и редко, могут предсказывать будущее, равно как и возобновлять в душе такие представления, которые у человека в состоянии бодрствования давно уже изгладились из памяти.

Длинное предисловие, вероятно, навело уже скуку на почтенных читателей. Сочинитель почтет себя счастливым и вознагражденным за труды, если роман его успеет произвести на них противное действие.



## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### Г

*Где стол был яств, там гроб стоит  
Где пиришеств раздавались лики,  
Надгробные там воют клики,  
И бледна смерть на всех глядит.  
Глядит на всех,— и на царей,  
Кому в державу тесны миры,  
Глядит на пышных богачей,  
Что в злате и серебре кумиры;  
Глядит на прелесть и красы,  
Глядит на разум возвышенный,  
Глядит на силы дерзновенны  
И точит лезвие косы.*

Державин.

Лучи заходившего солнца играли на золотых главах церквей кремлевских. Улицы и площади пустыли. На лице каждого прохожего можно было заметить задумчивость, уныние и беспокойство.

— Прогневали мы, грешные, Господа Бога! — сказал купец Гостиной сотни Лаптев\*, подходя к дому своему

---

\* Купечество разделялось тогда: 1) на гостей, 2) на купцов Гостиной сотни, 3) Суконной и 4) Черных сотен и слобод. Гостям особыми царскими грамотами давались разные преимущества. Они, по свидетельству Кильбургера, были царские коммерции советники. Торговлю производили оптовую, как внутри государства, так и за границу, особенно в Персии. Место, где складывались их товары, называлось Гостаным двором. Купцы Гостиной сотни производили торговлю разными товарами внутреннюю и имели дело с иностранными купцами в Архангельске. Купцы Суконной сотни торговали сукнами и другими шерстяными товарами. Оба сив разряда по особым дозволениям правительства имели право ездить и за границу. Купцы Черных сотен и слобод производили внутреннюю мелочную торговлю, нередко собственными своими изделиями.

с приятелем, пятидесятником Сухаревского стрелцкого полка Борисовым.— Царь, говорят, очень плох! Уж изволил приобщиться и собороваться. Того и жди, что... да нет! И выговорить страшно!

— Бог милостив, Андрей Матвеевич! — сказал пятидесятник.— К чему наперед унывать и печалиться. Авось царь и выздоровеет.

— Дай Господи! да куда же ты торопишься, Иван Борисович. Шли мы далеко, устали. Неужто не зайдешь ко мне отдохнуть? Жена бы поднесла вишневки. Не упрямысь же, потешь приятеля. Этакой несговорчивый! Словно подьячий Судного приказа!

С этим словом купец, схватив одною рукою пятидесятника за рукав, другою взялся за кольцо и застучал в калитку. На дворе раздался лай собаки, и через минуту приказчик Лаптева, сбежав поспешно с лестницы, отворил калитку.

— Ванюха! Беги в светлицу к хозяйке и скажи, чтоб принесла нам фляжку вишневки да что-нибудь для закуски. Слышь ты, мигом! Его милости не время дожидаться.

Вслед за побежавшим приказчиком хозяин повел гостя на лестницу. Потом через стекольчатые стены и темный чулан, где лежало несколько груд выделанной кожи и сафьяна, вошли они в чистую горницу. Два небольшие окна ее были обращены на Язу. В одном углу горела серебряная лампада перед образами старинной живописи, в богатых окладах. Другой угол занимала пестрая изразцовая печь с лежанкой. Подле дверей, в шкафе со стеклами, блестели серебряные ковши и чарки, оловянные кружки и другая посуда. Перед одним из окон стоял большой дубовый стол, накрытый чистою скатертью, и придвинутая к нему скамейка, покрытая пестрым ковром с красною бахромою. В этом состояли все украшения комнаты. Помолясь образам и посадив гостя к столу, хозяин, потирая руки, в молчании ожидал вишневки. Наконец дверь отворилась. Приказчик поклонился низко гостю и, поставив перед хозяином пирог на оловянном блюде и фляжку с двумя серебряными чарками, вышел.

— Милости просим выкушать! — сказал Лаптев, налив чарку.

— А ты-то что же, Андрей Матвеевич? Разве я один пить стану?

— И себя не обнесем! — отвечал хозяин, наливая другую чарку. — Ох, Иван Борисович! — продолжал он, вздохнув. — Сердце у меня замирает! Что-то будет с нашими головешками, как батюшки-царя у нас не станет!

— Опять ты загоревал, Андрей Матвеевич. Что будет, то будет! Что унывай, то хуже! Ну, если б даже — от чего сохрани Господи! — и скончался царь; святое место не будет пусто! Взойдет на престол наследник.

— Вот то-то и горе, Иван Борисович, что наследников-то у нас двое: царевич Иван Алексеевич да царевич Петр Алексеевич. Знакомый мне из Холопьяго приказа подьячий вчера у меня ужинал. Человек нужный. Я его, ты знаешь, угостил. Он, Бог с ним, выкушал целую фляжку настойки да и поразговорился о разных важных делах. Сначала мне любо было его слушать, а напоследки таково стало страшно, что меня дрожь проняла. Я было его унимать, а он пуще задорится. Так настрашал, проклятый, что я целую ночь глаз не смыкал!

— Да что ж он тебе говорил такое?

— Говорил-то он мне много! Всего и не вспомнишь! — отвечал Лаптев, понизив голос и поглядывая на дверь с некоторым беспокойством, желая удостовериться, плотно ли она затворена. — Да ты, Иван Борисович, я чай, сам все знаешь!

— Ничего я не знаю. Уж если заговорил, так договаривай. Ведь из избы сору не вынесу. Неужто меня опасешься?

— Чего тебя опасаться, Иван Борисович! Ведь ты не сыщик Тайного приказа, прости Господи, а мой старинный приятель и кум. Выпьем-ка еще по чарке, так авось и порасхрабрюсь. Твоя милость и без чарки не трусливого десятка, а я так нет! Мы люди робкие, смиренные! Пуганая ворона и куста боится. За твое здоровье, друг любезный!

Осушив чарку, Лаптев продолжал: — Ну так изволишь видеть, куманек. Подьячий, — типун бы ему на язык! — говорил вот что. Царь-де очень плох, того и смотри, что Богу душу отдаст. — Дай Господи ему царство небесное! Тьфу пропасть! Многие лега! — А коли он скончается, то будет худо, очень худо! Я, слышь ты, рассказывать-то не мастер. Покойный крестный батька

часто за это меня бранивал и твердил: — Не умеешь говорить, так больше кланяйся! — Да не в этом дело! Что ни говори, а уж беды нам не миновать.

— Да растолкуй мне, Андрей Матвеевич, какой беды?

— То-то и беда, что я рассказывать не мастер. Подьячий, — провал его возьми! — сказывал, что, если царь, слышь ты, скончается, так и пойдет потеха! Блаженной памяти царь Алексей Михайлович, когда был еще жив, хотел царевича Петра назначить по себе наследником, да царевна Софья Алексеевна помешала. Всем известно, что Иван Алексеевич слабенеет здоровьем. Вот, слышь ты, нынешний царь Феодор Алексеевич также объявил желание и написал грамоту, чтобы престол достался после него Петру Алексеевичу. А Софья-то Алексеевна опять помешала. Подьячий болтал, что ей самой хочется царствовать и что она прочит на престол Ивана Алексеевича. Царевна-де думает: он будет хворать, а я делами управлять. Многие бояре ей помогают. Не в обиду твоей милости будь сказано, они подговаривают и стрельцов. Уж быть потехе!

— Ты, кажется, Андрей Матвеевич, человек разумный, а веришь бредням пьяного подьячего. Желал бы я знать: кто бы меня мог подговорить! Сам сатана не прельстит твоего кума, хоть золотые горы сули!

— Дай Господи, как бы все стрельцы так думали; да ведь не все похожи на твою милость. В семье не без урода! Притом, если какой-нибудь боярин втай станет подговаривать, давать рублики; уговорит, умаслит, скажет, что царь приказал. Долго ли, куманек, вдаться в обман.

— Нет, Андрей Матвеевич! Трудно обмануть того, кто Бога помнит, царя почитает и ближнего любит, как следует православному христианину.

— Разумные речи, Иван Борисович, разумные речи! И Писание все это повелевает. Подьячий меня напугал, а ты утешил. Выпьем же за здоровье нашего батюшки-царя Феодора Алексеевича!

С этими словами Лаптев наполнил снова чарки вишневою. Приятели встали, обнялись, поцеловались и лишь только хотели взяться за чарки, как вдруг раздался в Кремле колокольный звон.

— Что это значит? — сказал Борисов. — Кажется, набат?

— Нет, куманек. Что-то больно заунывно звонят, да и все в большие колокола. Ох, Иван Борисович! Что-нибудь да неладно! Посмотри-ка, посмотри, как народ бежит по улице.

Лаптев открыл окно и, увидев знакомого купца, закричал: — Иван Иванович! Иван Иванович! Куда ты бежишь? Аль на пожар?

— Худо, Андрей Матвеевич! Очень худо! — отвечал купец, остановясь и запыхавшись. — Меня едва ноги несут.

— Да скажи, не мучь! Что наделалось?

— Нашего батюшки-царя не стало! — отвечал купец и побежал далее.

Как громом пораженный, Лаптев отскочил от окна, сплеснув руками. Стрелец, изменяясь в лице, перекрестился. Долго оба не прерывали молчания. Наконец, Лаптев, после нескольких земных поклонов пред образом Спасителя, закрыл лицо руками, и слезы покатались по бледным щекам его. «Упокой, Господи, душу его во царствии небесном!» — сказал он. Борисов, крепко обняв хозяина, в мрачной задумчивости вышел из его дома, поспешая явиться в полк, а Лаптев взял под образами лежавший свиток бумаги, на котором написаны были святцы, и дрожащею рукою отметил на стороне подле имени св. Симеона: «Лета 190\* Апреля в 27 день, в четверток, в 13 часу дня, преставился православный тосударь, царь и великий князь Феодор Алексеевич».

## II

*Заря багряною рукою  
От утренних спокойных вод  
Выводит с солнцем за собою  
Твоей державы новый год.*

Ломоносов.

Часы на Фроловской башне пробили 14-й час дня. Во дворце собралась Тайная Государственная Дума. В правой стороне обширной залы со сводами, поддержива-

---

\* 7190 от сотв. мира.

1682 по Рожд. Христове



емыми посредине колонною, между двух окошек стоял сияющий золотом престол с заощренными столбиками по сторонам и с остроконечною крышею. Над нею блеснул двуглавый орел. Под крышею, на задней стенке престола видна была икона Божией Матери, над царскими креслами. С правой стороны, на невысокой серебряной пирамиде, накрытой золотою тканью, лежала осыпанная драгоценными камнями держава. По всему полу залы пестрели персидские ковры, а около стен возвышались, четырьмя ступенями от пола, обитые красным сукном скамьи. Голубые штофные занавесы, висевшие на окнах, препятствовали лучам солнца проникать в залу. Стены были украшены иконами, древними картинами и серебряными подсвечниками, в равном расстоянии один от другого прикрепленными. Горевшие в них восковые свечи разливали по зале тусклый свет и освещали сидевших на скамьях патриарха, митрополитов\*, архиепископов, бояр, окольничих и думных дворян. Думные дьяки стояли в некотором отдалении. В зале царствовала глубокая тишина, и взоры всех устремлены были на патриарха Иоакима. Наконец он встал и, благословив собрание, сказал:

— По воле Бога Вышнего, сотворшаго небо и землю, в Его же Деснице судьба всех царств земных и народов, православный государь наш, царь и великий князь Феодор Алексеевич прешел из сея временныя жизни в вечную. Да совершается святая воля Его и да будет благословенно имя Его. В сокрушении сердца вознесем мольбы о упокоении души преставльшагося царя и о даровании сиротствующему граду сему и всей России царя нового. Благоверному царевичу Иоанну Алексеевичу подобает вступить на престол прародительский; но он изрек волю свою нам, зовущим его на царство. Он вручает державу брату своему, благоверному царевичу Петру Алексеевичу. Сего ради, по воле благочестивейшей царицы Натальи Кирилловны, мерность наша\*\* призывает собрание сие: да помолимся Господу Богу, направляющему сердца праведных ко благу, и да изберем царя и государя всея России.

---

\* До патриарха Иоакима было в России 5 митрополитов. Он умножил число их до 12.

\*\* Так называли себя патриархи,

В продолжение речи, каждый раз, когда патриарх произносил имя Божие, присутствующие, снимая свои высокие соболы и черные лисьи шапки, крестились. Когда патриарх сел на место, встал боярин Милославский и сказал:

— Не нам, рабам и верным слугам царским, решать: кому из царевичей престол наследовать. Искони велось, чтобы старший сын царя был наследником престола. Какое имеем мы право мимо старшего брата звать на царство младшего? Царевичу Иоанну следует принять державу.

— Разве ты не слыхал, Иван Михайлович, что говорил святейший патриарх? — возразил брат царицы, боярин Нарышкин. — Разве можно принудить царевича Иоанна вступить на престол, когда он того не хочет?

— Так, Иван Кириллович! — сказал Милославский. — Принуждать нельзя, а просить можно. Может быть, он и переменит свое намерение.

— Царевича уже просили, он отказался, так в другой раз просить непригоже! — возразил Нарышкин.

— Полно, так ли, Иван Кириллович? Хоть здесь, в собрании, и не следовало бы говорить, какие по Москве слухи носят, — однако ж и скрыть грешно. Многие думают, что царевича Иоанна принудили отказаться от престола.

— Да кто ж бы его мог принудить? — спросил начальник Стрелецкого приказа, князь Михаил Юрьевич Долгорукой.

— Почему мне знать? Я этому и сам не верю, а говорю только, что слухи носят.

— Не всякому слуху верь, Иван Михайлович! — продолжал Долгорукой. — Можно спросить самого царевича. Стыдно тогда тебе будет, когда все увидят, что ты напрасно наводишь на ближнего подозрение. Я вижу, на кого ты метишь.

— Неужто ты думаешь, что я говорю о царице Наталье Кирилловне? Сохрани меня, Господи! Царица так беспристрастна и справедлива, что никогда не предпочтет даже родного сына пасынку.

Последние слова Милославский произнес с ироническою улыбкой, которая явно открывала его настоящие мысли. Бояре разгорячились. Начался между ними жаркий спор, в котором постепенно и все собрание приняло

участие. Наконец Дума решила: *«Быть избранию на царство общим согласием всех чинов Московского государства людей»*. Дьяки записали решение Думы. Между тем на площади перед дворцом собрались стольники, стряпчие, московские дворяне, дьяки, жильцы, городовые дворяне, дети боярские, гости, купцы и других званий люди\*. Стрельцы, предводимые своими полковниками, явились на площади и построились в ряды. Некоторые полки были в темно-зеленых, другие в светло-зеленых кафтанах, застегнутых на груди золотыми тесьмами. Каждый был вооружен саблею, ружьем и блестящею секирой, имевшею вид полумесяца. Стрельцы воткнули перед собою секиры в землю и подняли ружья на плечо. Над рядами их развевалось множество знамен белых, красных и черных, с изображением Страшного Суда, Архангела Михаила и других предметов, заимствованных из священной истории. На некоторых видны были желтые и красные львы. Ко дворцу примыкал Сухаревский полк; на крае правого крыла стоял пятидесятник Борисов.

---

\* Стольники были придворные чиновники, прислуживавшие при царском столе. В стольники обыкновенно жаловали дворян, стрелецких полковников, которые сохраняли притом и военную свою должность, и детей знатных отцов. Стряпчие были также придворные чиновники, заведовавшие платьем царя и имевшие смотрение за съестными припасами, заготовлявшимися для царского стола. Они одевали государя, ходили и ездили за ним, и исполняли разные мелочные его поручения. Звание дворянина жаловалось особыми царскими указами, лично, а не потомственно. Жалованья дворяне не получали, а содержались доходами с поместий. Обязанность их была являться ко двору в праздничные дни в светлом платье, для умножения придворного великолепия. Они употреблялись также для военной и гражданской службы. Московские дворяне считались выше городских. Последними имели право распоряжаться в мирное время главные городские начальники. Дьяки были секретари разных приказов. Жильцами назывались молодые люди из детей боярских, детей дворян, стряпчих и стольников, служившие по наряду в столице. Они составляли московское охранное войско, развозили указы царские и употреблялись для разных посылок. Во время мира они жили в Москве по три месяца и потом сменялись другими своими товарищами. Дети боярские составляли конное земское войско. Для содержания их жаловались им от казны поместья. Название свое получили они от того, что в походах и сражениях находились при боярах и их охраняли.

Князь Долгорукой, выйдя из дворца, сел на белого персидского коня, на котором блистал шитый золотом чепрак из алого бархата. Объехав ряды стрельцов, он приказал стоять вольно. Полковники, подполковники, пятисотенные, сотни и пятидесятники вложили сабли в ножны, а стрельцы составили ружья в пирамиды и, не сходя с мест своих, начали разговаривать между собою и с толпящимся на площади народом.

— Вот и я здесь, Иван Борисович!— сказал купец Лаптев, увидев Борисова и подойдя к нему.— Хотел было остаться дома: сынишка маленький очень что-то прихворнул. Да сердце не утерпело! Хочется проститься с батюшкой-царем. Мне сказали, что всех пускать будут.

— Да, всех. Царица Марфа Матвеевна приказала. Я думаю, скоро пустят. Теперь патриарх служит панихиду. Служба уж довольно давно началась. Завтра в пятом часу дня назначено погребение в Соборной Церкви Архангела Божия Михаила.

— Дай, Господи, усопшему царство небесное. Добрый и милостивый был царь!.. Чай, плачет царица?

— Плачет, что река льется! Легко ли, Андрей Матвеевич, через два месяца после венца овдоветь!

— Утешь ее, Господи, и помилуй нас, грешных! А кто наследник-то по царе?

— Да Бог весть. Говорят разное.

— Хорошо было бы, как бы Петр Алексеевич! Недавно видел я обоих царевичей в селе Коломенском, на соколиной охоте. Старший-то такой бледный и задумчивый. Глазки все в землю потуплять изволят. А младший — настоящий сокол! На обоих я вдоволь насмотрелся. Я, слышь ты, узнал, что в Коломенском будет соколиная охота, встал до заутрени и поехал с приятелями в село, к знакомому подсокольнику. Он сказал мне, что охота будет на поле, неподалеку от Коломенского, подле березовой рощи. Мы туда! Вошли в рощу, и лишь только принялись за пирог, который я взял на дорогу, как вдруг затрубили в рога и послышался конский топот. Мы все бегом на край рощи и влезли на высокие березы. Ты ведь знаешь, что никому не велено смотреть на соколиную охоту. Царевичи остановились неподалеку от березы, на которой я сидел. Подсокольничие пустили

журавля. Длинноногий полетел! Выше, выше, выше! Чуть из глаз не ушел. Тогда сокольничий спустил кречета. Взвился словно стрела! Мигом нагнал журавля; начал над ним кружиться, кружиться и вдруг сверху как налетит на него да как ударит! Ах, ты, Господи! Только перья полетели. Потом еще, еще! Так и бьет! Длинноногий ринулся вниз, словно камень. Тотчас подскочил к нему сокольничий, поднял журавля и затрубил в серебряный рог. Кречет спустился и сел на рукавицу сокольничего, а тот с добычею к царевичам. Потом спустили еще несколько кречетов. Напоследок оба царевича поехали. Гляжу: прямо к березе, на которой я сидел. Я свету Божьего не взвидел! Притаился на суку, словно тетерев от охотника. Царевичи подъехали под самое дерево. Покажи-ка мне «Урядник», сказал Петр Алексеевич сокольничему. Тот вынул книгу из алой бархатной сумки, висевшей у него сбоку на золотой тесьме, и подал царевичу. У меня, куманек, книга-то эта вся переписана. Знакомый подсокольничий меня снабдил. Я ее почти всю наизусть знаю. Куда красно написана! Вот, слышь ты, царевич и начал книгу рассматривать, да и засмеялся, а потом, обратясь к братцу своему, начал читать вслух из книги «Новопожалованный Начальный принимает кречета образцовато, красовато, бережно; и держит честно, смело, весело, подправительно, подъявительно, к видению человеческого, и ко красоте кречатьей; и стоит урядно, радостно, уповательно, удивительно». — Из всего «Урядника», сказал Петр Алексеевич, мне всего лучше нравится приписка покойного батюшки: «Правды же и суда и милостивыя любви и ратнаго строя николи же не позабывайте: делу время, и потехе час». Если Бог привел бы меня когда-нибудь быть царем, то я из всего «Урядника» оставил бы только приписку батюшки, а все бы прочее отменил. Царю грешно терять время на соколиную охоту. Лучшая для него потеха: устроить благо своих подданных. — Каковы речи, куманек? У меня слезы навернулись! Дай Господи, чтобы Петр Алексеевич был нашим царем!

— А почему так? — спросил, вслушавшись в последние слова, подошедший к ним человек в кафтане с длинными откидными рукавами, сзади связанными узлом, и

в низкой бархатной шапке с меховой опушкой. Это был дворянин Сунбулов\*.

Лаптев смутился и не знал, что отвечать. Но Борисов, смело глядя в глаза Сунбулову, сказал ему: — А какая статья твоей чести вмешиваться в наш разговор? Мы вольны говорить, что хотим, с приятелем, и никого не просили нас подслушивать. Что ты нам за указчик?

— Потихе, потихе, господин пятидесятник! Ешь пирог с грибами да держи язык за зубами. Я подам на тебя челобитную в Стрелецкий приказ, так напляшешься!

— Подавай, пожалуй! А теперь советую: отойди подальше. Скажи еще хоть одно слово, так я с тобой пострелецки разделаюсь! Суди меня Бог и государы! — воскликнул Борисов, ударив рукою по своей сабле.

— Слово и дело! — закричал Сунбулов.

— Перестань горланить! Я прикажу связать тебя!

— Меня связать? Да разве ты не видишь, что я дворянин? Слово и дело! Слово и дело!

— Что здесь за шум? — спросил пятисотенный Бурмистров, приблизясь к ссорившимся.

— Да вот, Василий Петрович, этот дворянин пристает ко мне и буянит. Кричит слово и дело, ни к пути, ни к делу. Норовит, чтоб меня с ним взяли в Тайный приказ. Видишь, что выдумал!

— *Бери мушкет! Стройся!* — закричал князь Долгорукой. Стрельцы бросились к ружьям, а Бурмистров и Борисов, оставив Сунбулова, поспешили на места свои. Лаптев между тем давно уже скрылся в толпе.

— *Мушкет на плечо! Подыми правую руку! Понеси дугой! Клади руку на мушкет!* — закричал Долгорукой, и ряды ружей, возвысаясь из-за секир, воткнутой в землю, заблестали в воздухе. На Красном Крыльце явился патриарх Иоаким, предшествуемый священнослужителями со святыми иконами и хоругвями и сопровождаемый всею Государственною Думою. На площади водворилось глубокое молчание. Все сняли шапки, и патриарх начал следующую речь:

---

\* Бергман называет его Самбуловым, вероятно, следуя Голицыну; Галем Сумбуловым, а Сумароков Сунбуловым. Сия последняя фамилия встречается в XII томе «Истории Государства Российского». В разных летописях, описывающих бунты стрельцов, означенный дворянин назван Сунбуловым.

— Ведомо всем, что благословенное Богом царство российское, пребывая в непорочной христианской вере, по благодати Спасителя нашего Господа Бога Иисуса Христа, было в державе блаженных памяти благочестивого великого государя, царя и великого князя Михаила Федоровича, всея России самодержца; а по нем великом государе царский престол наследовал сын его, благочестивый великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великия и Малыя и Белья России самодержец. По преставлении его восприемником был престола сын его, благочестивый и великий государь, царь и великий князь Феодор Алексеевич. Ныне изволением и судьбами Божиими он, великий государь, оставя земное царствие, переселился в вечный покой. Остались братья его государевы благоверные царевичи и великие князья Иоанн Алексеевич и Петр Алексеевич. Единодушным согласием и единосердечною мыслию объявите: кому из них государей преемником быть царского скипетра и престола?

И подобно грому раздался со всех сторон крик: «Да будет царем нашим царевич Петр Алексеевич!»

— Беззаконно обойти старшего царевича! — закричал после всех Сунбулов. — Надлежит быть на престоле Иоанну Алексеевичу!

— *Здравия и многия лета нашему царю-государю Петру Алексеевичу!* — закричали тысячи голосов. Земля, казалось, дрожала от шума и восклицаний.

Патриарх, обратясь к Государственной Думе, спросил: «Как поступить надлежит?» Все, кроме Милославского и других, немногих приверженцев царевны Софии, отвечали: «Да будет по избранию народа!» Патриарх в сопровождении Думы пошел во дворец, где находился юный Петр с матерью его, царицею Натальею Кирилловною, и благословил его на царство. После этого народ целовал со слезами горести холодную руку Феодора, и со слезами восторга державную руку Петра. Закатилось солнце, и граждане, не думая о сне, еще плакали о царе умершем. Взошло солнце, и вся Москва произнесла уже клятву верности царю новому.

*Кто узрит нас? Под ризой ночи  
Путями тайны мы пройдем,  
И будет пир страстям роскошный.*

Г л и н к а.

Благовест призывал православных к обедне, когда Сухаревского полка пятисотенный Василий Бурмистров шел в дом к начальнику Стрелецкого приказа князю Михаилу Юрьевичу Долгорукому. Проходя по берегу Москвы-реки и поравнявшись с одним низеньким домиком, увидел он под окнами сидевшую на скамье старушку, одетую в черный сарафан и повязанную платком того же цвета. Она горько плакала. Бурмистров решил подойти к ней и спросить о причине ее горести. Долго рыдания мешали ей отвечать на вопрос прохожего. Наконец она, отняв от глаз платок и взглянув на Бурмистрова, на лице которого живыми красками изображалось сострадание, сказала ему:

— На что, батюшка, знать тебе про мое горе? Ты мне не поможешь.

— Почему знать, старушка! Может быть, я и найду средство помочь тебе.

— Нет, кормилец мой! Мне уж недолго осталось жить на свете. Скоро прикроет меня гробовая доска, тогда и горю конец! Ох, боярин, боярин! Будешь ты отвечать перед Богом, что обижаешь меня, бедную.

— Про какого боярина говоришь ты, бабушка?

— Бог ему судья! Я не хочу его осуждать и перед добрыми людьми порочить.

— Будь со мною откровенна: скажи, кто твой обидчик. Авось и помогу тебе. Меня знают многие знаменитые бояре. Я замолвлю за тебя слово перед ними. Самому царю ударю челом.

— Спасибо тебе, кормилец, что за меня, беззащитную вдову, вступаешься. Бог заплатит тебе! Знаю, что ты мне не поможешь, но так и быть: я все тебе расскажу. Вон видишь ли там, за крашеным забором, где ворота со львами на верях, большой сад и высокие хоромы? Там



живет сосед мой, боярин Милославский. Мой покойный сожитель Петр Иванович, по прозванию Смирнов, здешней приходской церкви священник, оставил мне этот домишко с огородом. Он преставился накануне Крещения незадолго до кончины царя Алексея Михайловича. Вот уж седьмой год, кормилец мой, как я вдовею. Сын мой Андриуша обучается в окодемы, что в Андреевском монастыре. Не отдала бы я его туда ни за что, как бы не покойник муж завещал. Будущим летом, в день святых мученицы Аграфены-Купальницы, минет ему осьмнадцать лет; мог бы уж хлеб доставать да меня, старуху, кормить. А то бьет только баклуши, прости Господи! Только и вижу его в-праздники; а в будни все в монастыре. Учится там какой-то *кречетской* грамоте, *алтынскому* языку и невесть чему! Как бы не помогала мне дочь Наташа, так давно бы я с голоду померла. Она одним годом помоложе брата, а какая разумная, какая добрая! Самоучкой выучилась золотом вышивать. Успевает и шить, и за хозяйством ходить, а по вечерам читает мне Писание да Жития. И в книжном-то ремесле она, я чай, брату не уступит. В праздник только у нея, моей голубушки, и дела, что с ним за книгой да за грамотой сидеть. Пишет, словно приказный! И брат-то на нее только дивуется. Каково же мне, батюшка, расстаться с такою дочерью!

При этих словах старушка снова горько заплакала, но потом, скрепясь, продолжала:

— Был у меня, батюшка, знакомец, площадной подьячий, Сидор Терентьич Лысков\*. Он часто навещал меня, ухаживал за мною, старухою, грамотки писал, по приказам за меня хлопотал. Не могла я нахвалиться им. Думала, что он добрый человек, а он-то, злодей, и погубил меня! В прошлом году на моем огородишке всю капусту червь поел, да попущением Божиим от грозы учинился в домишке пожар. Приехали объезжие с решеточ-

---

\* Площадные подьячие были чиновники, которые записывали и свидетельствовали разные акты частных лиц. Они помещались обыкновенно на площадях и оттого получили свое название.

ными приказчиками\*, и с ними целая ватага мужиков с рогатинами, топорами и водоливными трубами. Огонь залили и поставили весь дом вверх дном. Иное перепортили, иное растащили. Наташа с испуга захворала. Пришлось хоть по миру идти! Я и сказала о своей несгоде подьячему. Он дня через два принес мне десять рублей серебряных и сказал, что упросил крестного отца своего, боярина Милославского, помочь мне, бедной, и дать займы без роста и без срока. Принес с собой писанную грамотку и велел в деньгах расписаться Наташе. Она было хотела грамотку прочитать: не дал, лукавец! Сказал, что она приказных дел не смыслит. Я и велела ей расписаться. А сегодня утром пришли ко мне подьячие из Холопьяго приказа и объявили, что Наташа должна у Милославского служить во дворе и что он завтра пришлет за нею своих холопов. Я свету Божьего не взвидела! Уж не за долг ли, подумала я, берет боярин к себе Наташу? Побежала к знакомым просить займы десяти рублей, чтобы отдать долг боярину. Бегала, бегала, кланялась в ноги: никто не дал! У всех один ответ: самим, бабушка, есть нечего. Не знаю, что и делать! На-

---

\* Объяезжих можно сравнить с нынешними полицеймейстерами, а решеточных приказчиков с квартальными надзирателями. В Кремле, в Китай-городе и в Белом было по два объезжих. Они ездили день и ночь по городу с несколькими решеточными приказчиками, взятыми с Земского Двора, и стрельцами. С каждых 10 дворов и 10 лавок объезжие назначали по человеку в десятники и в уличные сторожа. Зажиточные люди и каждые 5 дворов, принадлежащих людям небогатым, должны были иметь кадки с ногою, ведра, рогатины, топоры и водоливные трубы. Во всех улицах и переулках расписаны были объезжими решеточные приказчики, десятники и уличные сторожа. Они ходили день и ночь и смотрели, чтобы зажиточества, бою, грабежу, корчмы, табаку и иного какого воровства не было; чтобы никто весной, летом и осенью в теплые и ясные дни домов и мылен не топил и поздно вечером с огнем не сидел. Печь хлеб и готовить кушанье позволялось с 1-го часа дня до 4-го, в особых поварнях или в печах, устроенных на огородах или на дворах не близко домов, и прикрытых от ветра лубьем. Для больных и родильниц позволялось топить печи в домах с разрешения объезжих один раз в неделю, равно позволялось всем топить печи в воскресенье и четверток в холодную и ненастную, но не ветреную погоду. Тот, по чьей оплошности или небрежению происходил пожар, наказывался смертию. Священнослужители и причетники церковные состояли в ведомстве особых объезжих, назначавшихся с патриаршего двора. Вот полная картина тогдашнего устройства полиции в Москве.

таша с утра пошла навестить больную тетку. Я чай, скоро воротится. Ума не приложу: как сказать ей про мое горе и беду неминучую! Погубила я, окаянная, мою Наташу!

Старуха залилась слезами. Бурмистров, не говоря ни слова, вынул из-под кафтана кожаный кошелек, отдал вдове и, не дав ей опомниться, поспешными шагами удался. С берега Москвы-реки, входя в улицу, в которой находился дом Долгорукого, увидел он вдали старуху перед ее хижинкой. Она стояла на коленях, с воздетыми руками ко кресту, который по ту сторону реки сиял на главе церкви.

В кошельке было девять клейменных ефимков\*, пять золотых и несколько серебряных копеек. Немедленно вдова побежала к Милославскому и, заплатив ефимок слуге, упростила его сказать боярину, что она пришла к нему для уплаты долга. Но через несколько минут слуга вышел к ней с ответом, что дело об ее долге уже кончено и что боярин денег от нее не примет. «Поди, поди!— говорил он, выводя плачущую старуху со двора.— Хотя до завтра кланяйся, не пушу к боярину! Не велено!»

Солнце давно уже закатилось, когда Бурмистров возвращался домой по опустевшим улицам. Пройдя переулком мимо длинного и низкого строения, вышел он на берег Москвы-реки и сел отдохнуть на скамью, стоявшую под окнами небольшого деревянного дома, от которого начинался забор Милославского. Густые облака покрывали небо и умножали вечернюю темноту. В окне, под которым сидел Василий, появился свет, и вскоре кто-то отворил окно, говоря сильным голосом:

— Угораздила же его нелегкая истопить печь на ночь глядя! Я так угорел, что в глазах зелено. Сядем-ка сюда, к окошку, так угар скорее пройдет.

— Боярин давно уж спит во всю Ивановскую!— сказал другой голос.— Можно, я чай, и выпить. Да вот этого не попробовать ли, Мироныч? Тайком у немца купил. Выкурим по трубке!

— Что это? Табак! Ах, ты, греховодник! Получше нас с тобой крестный сын боярина Сидор Терентьич, да

---

\* Ефимками платили иностранцы таможенную пошлину. На них ставили рублевое клеймо и пускали в обращение внутри государства.

и тому за эту поганую траву чуть было нос не отрезали. Как бы не крестное целованье, так не уцелеть бы его носу. Сидор-то Терентьич, прости Господи, давно продал душу *не нашему!* Поцелует крест во всякой неправде. А ведь мы с тобой православные! Коли поймают нас с табаком, так мы от кнута-то не отцелуемся\*.

— Ну, так выпьем винца.

— Да не корчемное ли?

— Нет, с Отдаточного Двора\*\*.

— То-то, смотри. За твое здравие, Антипыч!

— Допивай скорее; другую налью!

— Нет, будет. Боюсь проспать. Боярин приказал идти за три часа до рассвета с Ванькой да с Федькой за дочерью попадьи Смирновой.

— За какой дочерью?

— Да разве ты ничего не слыхал?

— От кого мне слышать! Расскажи, пожалуйста.

— Вот видишь, дело в чем. Боярин с год назад или побольше, за обедней у Николы в Драчах, подметил молодую девку, слышь ты, красавицу! Я с ним был в церкви. Он и приказал мне проведать: кто эта девка? После обедни пошла она с молодым парнем домой, а я за ними следом. Гляжу: они вошли в избу, знаешь, там, подле нашего сада, а у ворот сидит мужик с рыжей бородой. Я к нему подсел и разговорился. Он мне рассказал, что эта девка — дочь вдовой попадьи Смирновой, а парень — ее сын. Я и донес обо всем боярину. Тут же случился Сидор Терентьич. Да, я давно знаком, молвил он, с этою старухою. Знаком? — спросил боярин. Покойник ее муж учил меня грамоте, отвечал Сидор Терентьич. Боярин меня выслал вон, и начали они о чем-то шептаться. Долго шептались. В прошлом году... Смотри! Бороду сжег! Эк дремлет! Качается, словно язык на Иване Великом! Не любо слушать, так поди спать.

---

\* Оправдаться присягою от обвинения в каком-нибудь преступлении называлось *отцеловаться*.

\*\* Кабаки в Москве были еще при царе Алексее Михайловиче уничтожены. Вино продавалось на казенном Кружечном Дворе, который в 1681 году переименован был Московским Отдаточным Двором. Пойманные с купленным корчемным вином платили в первый раз пеню (¼ рубля), во второй раз вносили двойную пеню, а им отсчитывали батоги; в третий раз взыскивалась с них пеня вчетверо, и наказывали их кнутом.

— Нет, рассказывай. Невзначай вздремнулось.

— То-то невзначай. Коли еще вздремнешь, так лягу спать, а завтра слова от меня не добьешься. Налей-ка еще кружку; в горле пересохло. Ну, так вот видишь: в прошлом году у попадьи невзначай дом загорелся, примером сказать, как твоя борода. Наехали объезжие с решеточными и старуху вконец разорили. А Сидор Терентьич и смекнул делом. Написал служилую кабалу. Я ее переписывал. В кабале было сказано: *«Попадья Смирнова с дочерью заняла у боярина Милославского десять рублей на год без росту, а полягут деньги по сроке, то ей, дочери, у государя своего, боярина Милославского, служить за рост по вся дни во дворе; росту она высокого, лицом бела, волосы темно-русые, глаза голубые, 16-ти лет»\**.

— Как так? Я что-то этого в толк не возьму.

— Все дело в том, что дочь попадьи теперь отдана приказом в холопство нашему боярину. Понимаешь ли?

— Разумею. Сиречь она с нами стала одного поля ягода?

— Нет, брат, погоди! Боярин-то давно на нее зарился. Жениться он на ней не женится, а полубоярыней-то она будет. Понимаешь ли?

— Разумею. Сиречь она с нами, холопами, водиться не станет.

— Экой тетерев! Совсем не то. Ну, да что с тобой теперь толковать! Сам ее завтра увидишь. Боярин, слышь ты, велел привести ее к нему в ночь, чтобы шуму и гаму на улице не наделать. Ведь станет плакать да вопить, окайнная. Она теперь в гостях у тетки, да не минует наших рук. Около дома на всю ночь поставлены сторожа с дубинами, да решеточный приказчик в соседней избе укрывается. Не уйдет голубушка! Дом ее тетки неподалеку... Тыфу пропасть! опять ты задремал. Нет, полно. Пора спать. Завтра ведь до петухов надо подняться.

Окно затворилось, и огонь погас. Выслушав весь разговор, Бурмистров встал со скамьи и поспешил возвратиться домой.

---

\* Многие в то время давали на себя кабалы за 3 и даже за 2 рубля и, не заплатив в срок денег, делались холопами заимодавцев. Цена рубля равнялась тогда голландскому червонцу. В рубле содержалось 20 серебряных денег или 100 серебряных копеек.

*И смотрит вдаль, и ждет с тоской...  
«Приди, приди, спаситель!»  
Но даль покрыта черной мглой!  
Нейдет, нейдет спаситель!*

Жуковский

— Вставай, Борисов! — сказал Василий, войдя в свою горницу, освещенную одною лампадою, которая горела перед образом. — Как заспался! Ничего не слышит. Эй, товарищ! — С этими словами он потряс за плечо Борисова, который спал на скамье подле стола, положив под голову свернутый опашень\*.

Борисов потянулся, потер глаза и сел на скамью. — Уж оттуда не вылезет! — пробормотал он.

— Что такое ты говоришь?

— Так и полетел в омут вниз головами!

— Ты бредишь, я вижу. Опомнись скорее да надевай саблю: нам надо идти.

— Идти? Куда идти?.. Ах, это ты, Василий Петрович. Куда это запропастился? Я ждал, ждал тебя, да и вздремнул со скуки. Какой мне страшный и чудный сон привиделся!

— После расскажешь, а теперь поскорее пойдём!

— Ночью-то! Да куда нам идти? Домовых, что ли, пугать?

— Не хочешь, так я один пойду. Эй! Гришка!

Вошел одетый в овчинный полушубок слуга с длинною бороною.

— Беги в первую съезжую избу и позови десятерых из моих молодцов. Скажи, чтоб взяли сабли и ружья с собою! Проворнее! Да вели Федьке заложить ворону в одноколку.

— Куда ты собираешься? — спросил удивленный Борисов. — Вдруг вздумал ехать, да еще и в одноколке! Разве ты забыл царский указ?\*

\* Плащ с длинными рукавами.

\*\* Царь Феодор Алексеевич 28 декабря 1681 года указал боярам, окольничим и думным дворянам ездить летом в каретах, а зимой в санях, на двух лошадях; боярам в праздники на 4 лошадях, а на сговоры и свадьбы на шести; спальникам, стольникам, стряпчим и дворянам зимой в санях на одной лошади, а летом верхом.

— Не забыл, да в указе про ночь ничего не сказано, и притом никто меня не увидит. Немец Бауман подарил мне одноколку за два дня до указа, и я ни разу еще в ней не ездил. Хочется хоть раз прокатиться.

— Ты, верно, шутишь, Василий Петрович!

Василий, в ожидании стрелцов ходя большими шагами взад и вперед по горнице, рассказал Борису цель своего ночного похода.

— И я с тобой! Куда ты, туда и я. В огонь и в воду готов! Только смотри, чтоб нам не досталось. С Мило-славским-то шутить не с своим братом

— Если трусишь, так останься!

— Не к тому мое слово, Василий Петрович! Мне не своей головы, а твоей жаль. Я люблю тебя, как отца родного. Никогда твою хлеб-соль не позабуду. Безродного ты приютил меня, словно брата родного, и вывел в люди.

— Ну полно! Что толковать об этом! Лучше расскажи что тебе приснилось? Ты говорил, что видел во сне что-то страшное?

— Да, чудный сон! Он что-нибудь да предвещает недоброе. Снилось мне, что мы с тобой стоим на высокой горе. С одной стороны видим долину, да такую долину, что вот так бы и спрыгнул туда! Рай эдемский! С другой стороны гора как ножом срезана. Крутизна — взглянуть страшно, а внизу такой омут, что дна не видать. Смотрим: летит из долины белая голубка. Она села к тебе на плечо. Вдруг с той стороны, где был виден омут, лезет на гору медведь, а за ним скачут, словно лягушки — наше место свято! — восемь бесов, ни дать ни взять, как на нашем главном знамени, на котором Страшный Суд изображен. Медведь прямо бросился на тебя, повалил на землю и потащил к омуту, а голубка вспорхнула, начала над тобой виться и жалобно заворковала. Ты с медведем барахтаешься. Я было бросился к тебе на подмогу, а вдруг бесы схватили меня, да и не пускают. Мне так стало горько, так душно, что и наяву, я чай, легче на петле висеть, а лукавые начали вокруг меня плясать и кричать: — Здравствуй, брат! Знаешь ли ты нас? Ступай к нам в гости! Давай пировать! — Я хотел было сотворить крестное знамение и молитву «Да воскреснет Бог!», но окаянные схватили меня за руку и зажали мне рот. Вдруг из долины бежит на гору лев, ну вот точь-в-точь

такой, как на картинке, которую подарил тебе начальник наш, князь Михайло Юрьевич. Лев напал на медведя; но бесы завыли, как псы перед пожаром, кинулись на льва и бросили его в омут. Там кто-то громко захохотал совсем не человеческим голосом. Меня подрал мороз по коже. Вдруг в небе появилось над долиной белое облако, а из него лучи во все стороны так и сияют! Солнышко от них побледнело и стало похоже на серебряную тарелку, которую только что принесли в горницу из холодного погреба. Под белым облаком что-то зачернелось. Ближе, ближе! Глядим: летит орел о двух головах. Над самой верхушкой горы остановился и начал спускаться. Крылья такие, что целый полк прикроет! Голубка села опять к тебе на плечо, а медведь и бесы сбежали в кучку и смотрят на орла. И вдруг обернулись они в какого-то страшного зверя с семью головами. Орел схватил его в когти, взвился и опустил в омут. В это самое время ты меня разбудил.

— Ну, а что сделалось с голубкой? — спросил Василий.

— Не знаю. Как бы ты не разбудил меня, так я бы посмотрел.

На лестнице послышался шум шагов. Двери открылись, и вошли десять вооруженных стрельцов.

— Ребята! — сказал Василий. — Есть у меня просьба до вас. Один боярин обманом закабалил бедную сироту, единственную дочь у старухи-матери. В нынешнюю ночь хочет он взять ее силой к себе во двор. Надобно ее отстоять. Каждому из вас будет по десяти серебряных копеек за работу.

— Благодарствуем твоей милости! — закричали стрельцы. — Рады тебе служить всегда верой и правдой!

— Только смотрите, ребята! Никому ни полслова.

— Не опасайся, Василий Петрович! И пыткой у нас слова не вымучат!

— Я полагаюсь на вас. За мной, ребята!

Василий, сойдя с лестницы, сел с Борисовым в одноколку и выехал со двора на улицу. — Если кто меня спросит, Гришка, — сказал он слуге, — то говори, что меня потребовал к себе князь Долгорукой.

Он пошевелил вожжами и поехал шагом, для того, чтобы шедшие за ним стрельцы не отстали. В некотором



расстоянии от дома Смирновой он остановился и вышел из одноколки, приказав Борисову и стрельцам дожидаться его на этом месте. Подойдя к воротам, он постучался в калитку. Залаяла на дворе собака; но калитка не отпирается. Между тем при свете месяца приметил он, что из ворот дома Милославского вышли три человека в татарских полукафтанных и шапках. У каждого был за спиною колчан со стрелами, а в руке большой лук\*. В нетерпении начал он стучать в калитку ножнами сабли.

— Кто там? — раздался на дворе грубый голос.

— Отпирай.

— Не отопру. Скажи прежде, наш или не наш?

— Отпирай, говорят! Не то калитку вышибу!

— А я тебя дубиной по лбу, да с цепи собаку спущу. Много ли вас? Погодите! Вот ужо вас объезжие! Они сейчас только проехали и скоро вернутся! Вздумали разбойничать на Москве-реке! Шли бы в глухой переулок!

— Дурачина! Какой я разбойник! Я знакомец вдовы Смирновой. Мне до нее крайняя нужда.

— Не морочь, брат! Что за нужда ночью до старухи? Убирайся подобиру-поздорову, покамест объезжие не наехали. Худо будет! Да и хозяйки нет дома.

— Скажи по крайней мере, где она?

— Не скажу-ста. Да чу! Никак объезжие едут. Улепетывай, пока цел!

В самом деле раздался вдали конский топот. Легко вообразить себе положение Бурмистрова. Не зная, где живет тетка Натальи, он хотел спросить о том у вдовы Смирновой и сказать ей о своем намерении. А теперь он не знал, на что решиться. Выломить калитку и принудить дворника сказать, где хозяйка или дочь ее — невозможно; шум мог разбудить людей в доме Милославского и все дело испортить. Притом угрожало приближение объезжих. Гнаться за вышедшими из ворот людьми Милославского — также невозможно; они давно уже переехали Москву-реку и оставили лодку у другого берега. Бежать к мосту — слишком далеко; потеряешь много времени, и притом как попасть на след этих людей? Оставалось возвратиться домой и успокоить себя тем, что употреблены были все средства для исполнения доброго, но невозможного намерения. Василий почти уже решил

---

\* Таков был обыкновенный наряд боярских слуг.

на последнее и пошел поспешно к своей одноколке; но какой-то внутренний, тайный голос твердил ему: действуй! Лицо его пылало от сильного душевного волнения, и он дивился: почему он с таким усердием старается защитить от утеснителя девушку, никогда им не виданную и известную ему по одним только рассказам. Он сел в одноколку.

— Куда ты теперь? — спросил Борисов.

— Сам не знаю куда! — отвечал Василий. — Поеду, куда глаза глядят, а ты с нашими молодцами перейди через мост да подожди меня у лодки, вон видишь, что стоит там, у того берега.

— Ладно! Однако ж не забудь, что скоро светать начнет. А нам, я чаю, надо воротиться домой до рассвета. А то народ пойдет по улицам. Тогда на берегу стоять будет неловко. Если спросят нас: что мы тут делаем? Не сказать же, что лодку или реку стережем. Для лодки-то одиннадцати сторожей много, а Москву-реку никто не украдет.

— Разумеется, что должно возвратиться домой до рассвета. Ступай же на тот берег, а я поеду. Прощай!

Василий скоро скрылся из вида. Борисов и стрельцы переправились через мост, дошли до указанной лодки и сели на берегу. Прошел час: нет Бурмистрова. Проходит другой: все нет, а на безоблачном востоке уже появилась заря.

— Что это вы, добрые молодцы, тут делаете? — спросил вооруженный рогатиною решеточный приказчик, проходивший дозором по берегу Москвы-реки.

— Звезды считаем, дядя! — отвечал Борисов.

— Дело! А много ли насчитали?

— Тьмы тем, да и счет потеряли, и потому собираемся идти домой.

— Дело! А какого полка и чина твоя милость и как прозвание?

— Я небывалого полка пятидесятник Архип Неотвечалов.

— Дело! А не с лихим ли каким умыслом пришли вы сюда, добрые молодцы — не в обиду вам буди сказано — и по чьему приказу?

— Не с лихим, а с добрым. А по чьему приказу — не

скажу, да и сказать нельзя. Накрепко заказано. Э! да уж солнышко взошло. Пойдемте, ребята, домой.

— Дело! А не пойти ли мне за вами следом?

— Пойдешь, так в реку столкнем.

— Дело! Ступайте домой, добрые молодцы. Нет, чтобы вы на объезжих натолкнулись. С ними народу-то много, так с вами управятся. Шутками не отбояритесь! А мне одному, вестимо, с такою гурьбой не сладить.

— Дело! — сказал Борисов, передразнивая приказчика, и пошел скорым шагом со стрельцами по берегу Москвы-реки. Солнце уже высоко поднялось, когда они вошли в свою съезжую избу.

## V

*Наружность иногда обманчива бывает.*

Дмитриев.

— Иди попроворнее, красная девица! — говорил дворецкий Милославского, Мироныч, Наталья, ведя ее за руку по улице, к берегу Москвы-реки. — Нам еще осталось пройти с полверсты. Боярин приказал привести тебя до рассвета, а гляди-ка, уж солнышко взошло. Ванька! Возьми ее за другую руку, так ей полегче идти будет. Видишь, больно устала. А ты, Федька, ступай вперед да посмотри, чтоб кто нашу лодку не увел. Теперь уж скоро народ пойдет по улицам.

Федька побежал вперед.

— Оставь меня! — сказала Наталья другому слуге, который хотел взять ее за руку. — Я могу еще идти и без твоей помощи.

— Видишь, какая спесь напала! Не хочет и руки дать нашему брату, холопу. Не бойсь, матушка! Не замараю твоей белой ручки! А если бы и замарал, так завтра пошлют белье стирать или полы мыть, так руки-то вымоешь.

— Не ври пустого, Ванька! — закричал Мироныч. — Наталья будет ключница, а не прачка.

В это время послышался вдали голос плачущей женщины. Дувший с той стороны ветер, приносил невнятные слова, из которых можно было только расслышать:

«Голубушка ты моя! Наташа ты моя!» Наталья оглянулась и увидела бежавшую за нею мать. Из дома тетки Наталья ушла тихонько с прислажными за нею от Милославского людьми; она не хотела прервать сна своей престарелой матери, проводшей всю ночь в слезах и в утомлении уснувшей перед самым рассветом. Бедная девушка хотела к ней броситься, но, удержанная Миронычем, лишилась чувств. В то же время и мать, потеряв последние силы, упала в изнеможении на землю, далеко не добежав до дочери.

— Провал бы взял эту старую ведьму! — проворчал Мироныч, стараясь поднять Наталью с земли. — Ах, Господи! Да она совсем не дышит! Уж не умерла ли? Коли вместо живой принесем к боярину покойницу, да он нас со света сгонит. Ахти, беда какая!

— Поташим ее скорее, Мироныч! — сказал Ванька. — Вон кто-то едет в одноколке. Пожалуй, подумает, что мы ее ухаживали!

— Что вы делаете тут, бездельники? — закричал Бурмистров, остановив на всем скаку свою лошадь.

— Не твое дело, господин честной! — отвечал Мироныч. — Мы холопы боярина Милославского и знаем, что делаем. Бери ее за ноги, Ванька. Поташим!

— Не тронь! — закричал Василий, соскочив с одноколки и выхватив из-за пояса пистолет.

Мироныч и Ванька остолбенели от страха и вытаращили глаза на Бурмистрова. Он подошел к Наталье, взял ее осторожно за руку и с состраданием глядел на ее лицо, покрытое смертною бледностью, но все еще прелестное.

— Принеси скорее воды! — сказал он слуге.

— А где я возьму? Река не близко отсюда!

— Сейчас принеси, бездельник! — продолжал Василий, наведя на него пистолет.

— Аль сходить, Мироныч? — пробормотал Ванька, прыгнув в сторону от пистолета.

— Не ходи! — крикнул дворецкий, неожиданно бросаясь на Бурмистрова и вырвав пистолет из руки его. — Слушаться всякого побродяги! Садись-ка в свою одноколку да поезжай, не оглядываясь! Не то самому пулю в лоб, разбойник! — С этими словами навел он пистолет на Бурмистрова.

Вывхавтив из ножен саблю, Василий бросился на дерзкого холопа. Тот выстрелил. Пуля свистнула, задела слегка левое плечо Василья и впиалась в деревянный столб забора, отделявшего обширный огород от улицы.

— Разбой! — завопил дворецкий, раненный ударом сабли в ногу, и повалился на землю.

— Разбой! — заревел Ванька, бросясь бежать и дрожащею рукою доставая стрелу из колчана.

В это самое время послышался вдали конский топот, и вскоре появились на улице, со стороны Москвы-реки, скачущие во весь опор объезжие и несколько решеточных приказчиков.

Бурмистров, бросив саблю, поднял на руки бесчувственную девушку, вскочил в одноколку, левою рукою обхватил Наталью и, прислонив ее к плечу, правую схватил вожжи и полетел, как стрела, преследуемый криком «держи!». Из улицы в улицу, из переулка в переулок гнав без отдыха лошадь, он скрылся наконец из вида преследователей и остановился у ворот своего дома.

— А! Василий Петрович! — воскликнул Борисов, вскочив со скамьи, на которой сидел у калитки, нетерпеливо ожидая его возвращения.

— Отвори скорее ворота.

Борисов отворил и, пропустив на двор одноколку снова запер ворота.

— Ба, ба, ба! Да ты не один! Ах, Боже мой! Что это? Она без чувств?

— Помоги мне внести ее в горницу.

Они внесли Наталью и положили на постель Бурмистрова. Долго не могли они привести ее в чувство. Наконец она открыла глаза и с удивлением посмотрела вокруг себя.

— Где я? — спросила она слабым голосом.

— В руках добрых людей! — отвечал Василий.

— А где моя бедная матушка? Что сделалось с нею? Скажите, ради Бога, где она?

— Ты с нею сегодня же увидишься.

— Увижусь? Да не обманываешь ли ты меня?

— Непременно увидишься. Будь только спокойна. Прежде надобно, чтоб силы твои подкрепились несколько.

— Отведи меня, ради Бога, скорее к матушке! — Наталья хотела встать, но в бессилии опять упала на постель; в глазах ее потемнело, голова закружилась, и бедная девушка впала в состояние, близкое к бесчувственности.

В это время кто-то постучал в калитку. Василий вздрогнул. Борисов подошел к окну, отдернул тафтяную занавеску и, взглянув на улицу, сказал шепотом:

— Это наш приятель, купец Лаптев.

— Выйди к нему, сделай милость; скажи, что я нездоров и никого не велел пускать к себе.

— Ладно.

Борисов вышел в сени и встретил там Лаптева, которому слуга Бурмистрова, Гришка, весьма похолодивший поворотливостью на медведя, в этот раз невпопад отличился и препроворно отворил калитку.

— Василий Петрович очень нездоров! — сказал Борисов, обнимаясь и целуясь с гостем.

— Ах, Господи! Я зашел было пригласить его вместе идти к ранней обедне, а потом ко мне на пирог. Что с ним случилось?

— Вдруг схватило!

— Пойдем скорее к нему! Ах, мои батюшки! Долго ли, подумаешь, до беды!

— Он не велел никого пускать к себе.

— Как не велел! Нет, Иван Борисович. Воля твоя! Сердце не терпит. Впусти меня на минутку: я его не потревожу. Писание велит навещать болящих!

— Приди лучше, Андрей Матвеевич, вечером, а теперь, право, нельзя. Меня даже не узнает. Совсем умирает!

— Умирает! Ах, Боже милостивый! Пусти хоть проститься с ним.

Сказав это, растревоженный Лаптев, не слушая возражений Борисова, поспешно пошел к дверям. Борисов схватил его за полу кафтана, но он вырвался, вошел прямо в спальню и, как истукан, остановился, увидев прелестную девушку, лежавшую на кровати, и стоявшего подле нее Василья. Одолеваемый и досадой, и стыдом, и смехом, Борисов начал ходить взад и вперед по сеням, ожидая развязки этого неожиданного приключения и приговаривая тихонько: «Экой грех какой!»

Увидев Лаптева, Василий смутился и покраснел. Это совершенно удостоверило гостя в основательности подозрений, мелькнувших в голове его при входе в комнату. Он, как вкопанный, простоял несколько секунд в величайшем изумлении, смутился и чуть не сгорел от стыда. Не вовремя же, думал он, навестил я больного! Он поклонился низко Бурмистрову, желая тем показать, что просит прощения в своем промахе и в причиненном беспокойстве, и, не сказав ни слова, поспешно пошел в сени. Борисов, услышав шум шагов Лаптева, из сеней скрылся на чердак.

— Куда ты торопишься, Андрей Матвеевич? — сказал Бурмистров, нагнав Лаптева на лестнице. — Из гостей так скоро не уходят.

— Не в пору гость хуже татарина! Извини, отец мой, что я сдуру к тебе вошел. Мне крайне совестно. На грех мастера нет. Я не знал... я думал... Извини, Василий Петрович!

— И, полно, Андрей Матвеевич, не в чем извиняться. Выслушай!

Василий, введя гостя в сени, объяснил ему все дело.

— Вот что! — воскликнул Лаптев. — Согрешил я, грешный! Недаром Писание не велит осуждать ближнего. Ты защитил сироту, сделал богоугодное дело, а я подумал невесть что.

— Сделай, Андрей Матвеевич, и ты богоугодное дело. Я человек холостой: Наталье Петровне неприлично у меня оставаться; а ты женат: прими ее в свой дом на несколько дней. Я сегодня же пойду к князю Долгорукому и стану просить, чтобы он замолвил за нее слово пред царицей Натальей Кирилловной. Она, верно, заступится за сироту.

— Ладно, Василий Петрович, ладно! Я сегодня же вечером приеду к тебе с женой, в колымаге, за Натальей Петровной. Жена ее укроет в своей светлице; а домашним челядинцам скажем, что она, примером, хоть моя крестница, приехала, примером, хоть из Ярославля...

— И что зовут ее: Ольга Васильевна Иванова.

— Ладно, ладно! Все дело устроим, как быть надобно. А! да уж к обедне звонят. Пора в церковь. Счастливого оставаться, Василий Петрович!

— Теперь и мне выйти можно! — сказал Борисов, отворяя с чердака дверь в сени, у которой подслушал весь разговор Василия с гостем. — Больному нашему стало легче. Теперь, кажется, опасаться нечего.

— Ну, Иван Борисович, спасибо! Напугал ты меня. Я спроста всему поверил, да и попал впросак.

— Не взыщи, Андрей Матвеевич! Вперед не ходи туда, куда приятель не пускает.

— Вестимо, не пойду! Однако ж, пора к обедне. Счастливо оставаться.

Лаптев ушел. Василий возвратился в спальню и, подойдя к кровати, заметил, что Наталья погрузилась в глубокий сон. Тихонько вышел он из горницы и заворил дверь. Поручив Борисову быть в сенях на страже и попросить Наталью, если б она без него встала, подождать его возвращения, Бурмистров пошел к князю Долгорукому. Через час он возвратился с необыкновенно веселым лицом. Борисов тотчас после его ухода запер дверь спальни и, утомленный ночным походом, сел на скамью, начал дремать и вскоре заснул. Едва Василий вошел на лестницу и отворил дверь в сени, Борисов вскочил и со сна закричал во все горло: «Кто идет?».

— Тише, приятель! Ты, я думаю, разбудил Наталью. Она все еще спит?

— Не знаю. Я спальню запер и туда не заглядывал.

— Запер? Вот хорошо!

Василий тихонько отворил дверь и увидел, что Наталья сидит у стола и читает внимательно лежавшую на нем книгу, в которой переписаны были апостольские послания. Он вошел с Борисовым в горницу, извинил его перед Натальей за содержание ее под стражей и сказал:

— Князь Долгорукий сегодня же хотел говорить о тебе, Наталья Петровна, царице. Он уверен, что царица защитит тебя.

— Я возлагаю всю надежду на Бога. Да будет Его святая воля со мною! До гроба сохраняю я в сердце благодарность к моему избавителю и благодетелю, хотя я и не знаю его имени. — Последние слова сказала Наталья вполголоса, потупив в землю свои прелестные глаза, наполненные слезами.



Бурмистров сказал ей свое имя. Разговор между ними продолжался до самого вечера. Восхищенный умом девушки, Василий и не заметил, как пролетело время. Лаптев сдержал слово и приехал вечером за Натальей. Проводив ее до колымаги и уверив ее, что она скоро увидится с матерью в своем новом убежище, Василий, всходя по лестнице с Борисовым, крепко сжал ему руку и с жаром сказал: «Какая прелестная девушка! Как рад я, что мне удалось сделать ей услугу».

## VI

*Они условились в тиши  
И собираются, как звери,  
Хранимых Богом растерзать.*

Г л и н к а.

Начинало смеркаться, когда боярин Милославский, возвратясь из дворца домой, ходил взад и вперед по горнице, погруженный в размышления. На столе, стоявшем подле окна и покрытом красным сукном, блестела серебряная чернильница и разложено было в порядке множество свитков бумаг. У стола стояла небольшая скамейка с бархатною подушкою. Около стен были устроены скамьи, покрытые коврами. Серебряная лампада горела в углу пред старинным образом Спаса Нерукотворенного.

На боярине блистал кафтан из парчи, с широкими на груди застешками, украшенными жемчугом и золотыми кисточками. На голове у него была высокая шапка из черной лисицы, похожая на клобук, расширяющийся кверху. В левой руке держал он маленькую серебряную секиру — знак своего достоинства. С правой руки спущенный рукав почти доставал до полу.

Сев наконец на скамейку, снял он с головы шапку и положил на стол вместе с секирою. Засучив рукав и взяв один из свитков, боярин начал внимательно его читать, разглаживая левою рукою длинную свою бороду.

— Заступись, батюшка, за крестного сына твоего! — закричал, упав ему в ноги, вбежавший площадной подьячий Лысков.

Боярин вздрогнул, оборотился к нему и с удивлением спросил:

— Что с тобой сделалось, Сидор?

— За кабалу, которую написал я, по моей должности и в твою угод, на дочь вдовой попадьи Смирновой, царица приказала поступить со мною по Уложению. Да дьяк Судного приказа поднял старое дело о табаке. Если не заступишься за меня, горемычного, то за лживую кабалу отрубят мне руку, а за табак отрежут нос. Помилосердуй, отец мой! Куда я буду годиться?

— Будь спокоен! Встань! Ручаюсь тебе, что останешься и с рукой, и с носом!

— Князь Долгорукий на меня наябедничал. Уж меня везде ищут; хотят схватить и посадить на тюремный двор до решения приказа.

При имени Долгорукого боярин изменился в лице; губы его задрожали от злобы и досады.

— Останься в моем доме, Сидор. Посмотрим, кто осмелится взять тебя из дома Милославского! А я завтра же подам челобитную царевне Софье Алексеевне. Авось и Долгорукий язык прикусит!

— Вечно за тебя буду Бога молить, отец мой!

Лысков поклонился в ноги Милославскому и поцеловал полу его кафтана.

— Возьми вот этот ключ и поди в верхнюю светлицу, что в сад окошками. Запри за собою дверь, никому не показывайся и не подавай голоса. Один дворецкий будет знать, что ты у меня в доме. С ним буду я присылать тебе с моего стола кушанье. Полно кланяться, поди скорее.

Лысков ушел. Солнце закатилось, и все утихло в доме Милославского. Когда же наступила глубокая ночь, боярин, надев простой, темно-зеленого сукна кафтан и низкую шапку, похожую на скуфью, вышел в сад с потаенным фонарем в руке. Дойдя до небольшого домика, построенного в самом конце сада, он три раза постучал в дверь. Она отворилась, и боярин вошел в домик. Все его окна были закрыты ставнями. Около дубового стола, посредине довольно обширной горницы, освещенной одной свечою, сидели племянник боярина, комнатный стряпчий Александр Иванович Милославский, из

новгородского дворянства кормовой иноземец Озеров\*, стольники Иван Андреевич и Петр Андреевич Толстые, городской дворянин Сунбулов, стрелецкие полковники Петров и Одинцов, подполковник Циклер и пятисотенный Чермной.

При появлении Милославского все встали. Боярин занял первое место и, подумав немного, спросил:

— Ну что, любезные друзья, идет ли дело на лад?

— Я отвечаю за весь свой полк! — отвечал Одинцов.

— И мы также за свои полки! — сказали Петров и Циклер.

— Ну, а ты, Чермной, что скажешь? — продолжал Милославский.

— Все мои пятьсот молодцев на нашей стороне. За других же пятисотенных ручаться не могу. Может быть, я и наведу их на разум, кроме одного; с тем и говорю тебе опасно.

— Кто же этот несговорчивый?

— Василий Бурмистров, любимец князя Долгорукого. Он нашим полком правит вместо полковника. Я за ним давно присматриваю. Дней за пять он ездил куда-то ночью и привез с собой к утру какую-то девушку, а вечером отправил ее неизвестно куда. Вероятно, к князю Долгорукому, к которому он ходил в тот же день.

— А ты не узнал, как зовут эту девушку?

— Не мог узнать. Один из моих лазутчиков рассказал мне, что этот негодяй в ту же ночь, как привез к себе девушку, ходил с десятными стрельцами и пятидесятником Борисовым к дому попадьи Смирновой, твоей соседки.

— Понимаю! — воскликнул Милославский. — Это его дело... Послушай, Чермной, я даю пятьдесят рублей за

---

\* Кормовыми иноземцами называли тех из иностранцев, которые, вступив в русскую службу и не получив поместий, содержались жалованьем, производившимся им от казны. Должно полагать, что Озеров был иностранец и поступил в русскую службу, в новгородские дворяне. Что значило в то время сие звание — объяснено выше в примечании на стр. 21. Настоящая фамилия его, без сомнения, была другая. Озеровым он, вероятно, был назван уже в России; тогда все иностранные фамилии переделывали на русский лад. Циклера называют наши летописи: **Цикляр**. Даже имена посланников были изменяемы. Например: в записках государственного московского архива Горацій Кальвуччи назван **Горацыуш Калюцуш**.

голову этого пятисотенного. Он может нам быть опасен.

— И конечно опасен. Его надобно непременно уговорить. Завтра я постараюсь уладить это дело.

— Ну, а ты что скажешь, племянник?

— Я достал ключи от Ивановской колокольни, чтобы можно было ударить в набат.

— Мы с братом Петром,— сказал Иван Толстой,— неподалеку от стрелецких слобод, в полуразвалившемся домишке, припасли дюжину бочек с вином для попойки.

— А я шестерых московских дворян перетянул на нашу сторону,— сказал Сунбулов,— да распустил по Москве слух, что Нарышкины замышляют извести царевича Иоанна.

— А я распустил слух,— сказал Озеров,— что Нарышкины хотят всех стрельцов отравить и набрать вместо них войско из перекрещенных татар.

— Итак, дело, кажется, идет на лад! — продолжал Милославский.— Остается нам условиться и назначить день. Я придумал, что всего лучше приступить к делу пятнадцатого мая. В этот день убит в Угличе царевич Димитрий. Скажем, что в этот же день Нарышкины убили царевича Иоанна.

— Прекрасная мысль! — воскликнул Циклер.— Воспоминание о царевиче Димитрии расшевелит сердца даже самых робких стрельцов.

— Перед начатием дела надобно будет их напоить хорошенько,— сказал Одинцов.— Это уж забота Ивана Андреевича с братцем: у них и вино готово. Зададим же мы пир Нарышкиным и всем их благоприятелям.

— Уж подлинно будет пир на весь мир! — промолвил Чермной, зверски улыбаясь.— Только вот в чем задача: пристанут ли к нам все полки? Четыре на нашей стороне, если считать и Сухаревский, а пять полков еще ни шьют ни порют. Полковники-то их совсем не туда смотрят. Одно твердят: присяга да присяга! Чтоб не помешали нам, проклятые!

— Велико дело пять полковников! — воскликнул Одинцов.— Сжить их с рук, да и только! Пяти голов жалеть нечего, коли дело идет о счастье целого русского царства.

— Справедливо,— сказал Милославский.

— Ну, а если полки-то и без полковников своих,— спросил Сунбулов,— захотят на своем поставить и пойдут против нас? Тогда что мы станем делать?

— Тогда приняться за сабли! — отвечал Одинцов.

— Нет, не за сабли,— возразил Озеров,— а за молоток. Недаром сказано в пословице, что серебряный молоток пробьет и железный потолок. Царевна Софья Алексеевна, я чаю, серебреца-то не пожалеет?

— Разумеется,— сказал Милославский.— Я у нее еще сегодня выпросил на всякий случай казну всех монастырей на Двине. Пошлем нарочного, так и привезет серебряный молоток. Да впрочем, у меня, по милости царевны, есть чем пробить железный потолок и без монастырской казны.

— Нечего сказать, мы довольны милостию царевны! — сказал Сунбулов.— Я чаю, она не забыла, Иван Михайлович, обещания своего: пожаловать меня боярином, когда все благополучно кончится? Я ведь начал дело и подал голос на площади за царевича Иоанна.

— Царевна никогда не забывала своих обещаний,— отвечал Милославский.

— А меня с товарищами в стольники, да по поместью на брата? — спросил Циклер.

— Нечего и спрашивать. Что обещано, то будет исполнено. Ах, да! Хорошо, что вспомнил: составил ли ты, племянник, записку, о которой я тебе говорил?

— Готова,— отвечал Александр Милославский и, вынув из кармана свиток, подал дяде. Тот, бегло прочитав записку, покачал головою и сказал:

— И этого, племянник, не умел путем сделать! Артемошку Матвеева-то и не написал! Что его миловать? Ведь он не святее других. Я тебе вчера сказывал, что царица велела ему возвратиться из ссылки. Он, конечно, помнит, что я ему ссылкой-то удружил. Уж и то худо было, что из Пустозерска перевезли его в Лухов, а то еще едет в Москву! Надобно отправить его туда, откуда никто не возвращается. Хоть список-то и длиннее, однако ж прибавь Матвеева, да напиши поболее таких записок, для раздачи стрельцам. А как будешь раздавать, накрепко накажи им, чтоб никому спуску не было и чтоб начали с Мишки Долгорукого. Не помо-

жешь ли ты, Петр Андреевич, в этом деле племяннику? — продолжал он, обратясь к Толстому.

— С охотой!

В это время кто-то застучал в дверь. Все вздрогнули. Чермной, сидевший на конце стола, встал, вынул из-за кушака длинный нож и тихонько подошел к двери, удерживая дыхание. Посмотрев в замочную скважину, он при свете месяца увидел стоявшую у двери женщину.

Опять раздался стук, и вслед за ним едва внятный голос:

— Пустите, я от царевны Софьи Алексеевны к боярину Ивану Михайловичу!

— А! Это из наших! — сказал Чермной, отворяя дверь. Вошла немолодых лет женщина, одетая в сарафан из алого штофа, с рукавами, обшитыми до локтей парчю. Сверх сарафана надет был на ней широкий шелковый балахон с длинными рукавами, который она сняла, вошедши в горницу. На шее у нее блестело широкое жемчужное ожерелье; в ушах висели длинные золотые серьги, а на лице и при слабом сиянии одной свечи заметны были белила и румяна. Стуча высокими каблуками желтых своих сапожков, подошла она к столу и села подле Озерова. Не бывает действия без причины. Почему, например, пришедшая женщина села подле Озерова, а не подле кого-нибудь другого? Потому, что Озеров ей давно приглянулся, а царевна Софья обещала ее выдать за него замуж, если она будет исполнять все ее приказания и ни разу не проболтается. Это была постельница царевны Софьи, родом из Украины, по прозванию Назнанная.

— Добро пожаловать, Федора Семеновна! — сказал Милославский. — Верно, от царевны, с приказом?

— С приказом, Иван Михайлович. Царевна велела отдать тебе грамотку, которую ты ей вчера подал, и сказать, что всему быть так, как ты положил; да велела благодарить тебя за твое усердие к ней. Меня было остановил на дороге решеточный. «Куда идешь, бабушка?» — спросил он. «Бабушка! Ах ты хамово поколение! — закричала я, — ослеп, что ли, ты? Да тебя завтра же повесят, заруют живого в землю! Не видишь, с кем говоришь?». Разглядев мое лицо и мой наряд, реше-

точный повалился мне в ноги. Я и велела ему лежать ничком на земле до тех пор, пока я не пройду всей улицы. Я чаю, мошенник со страху и теперь еще не встал.

— Итак, все решено, любезные друзья! — сказал Милославский. — Приступим к делу пятнадцатого мая. До тех пор я не буду выезжать из дому и скажусь больным. По ночам собирайтесь здесь для советов, и для получения от меня наставлений. Главное дело не робеть. Смелым Бог владеет. Однако уж светает: пора расходиться. Прощай, Федора Семеновна. Скажи царевне, что дело идет на лад и что я все устрою, как нельзя лучше.

Все поднялись с мест и вышли один за другим в сад. Боярин удалился в свои комнаты, а прочие, выйдя чрез небольшую калитку в глухой переулок, разошлись по домам.

## VII

*Кто добр поистине: не распложая слова,  
В молчаньи тот добро творит.*

Крылов.

Пробыв целое утро у князя Долгорукого и получив приказание прийти опять к нему по возвращении из собора Архангела Михаила, куда князь поехал за обедню и панихиду по царе, Бурмистров чрез Фроловские\* ворота вошел в Кремль. Раздался благовест с колокольни Ивана Великого. Народ начал собираться в Успенский собор к обедне. Василий вошел в церковь. Когда служба кончилась и народ начал расходиться, на церковной паперти кто-то ударил слегка Бурмистрова по плечу. Он оглянулся и увидел своего сослуживца, пятисотенного Чермного.

— Здорово, товарищ! — сказал ему Чермной. — Какими судьбами ты попал в Успенский собор? Ты обыкновенно ходишь к обедне к Николе в Драчах.

— Да так, вздумалось побывать в соборе и взойти после обедни на Ивановскую колокольню; я уж очень давно на ней не бывал.

---

\* Спасские.

— Кстати и мне взобраться туда вместе с тобою и полюбоваться на Москву.

Вместе с этими словами в голове Чермного мелькнула адская мысль: воспользоваться случаем и исполнить обещание, данное им накануне Милославскому. Он придумал, взойдя на самый верхний ярус колокольни с Бурмистровым, невзначай столкнуть его вниз, когда он засмотрится на Москву, и сказать потом, что товарищ его упал от собственной неосторожности. Василий, ни в чем не подозревая Чермного, согласился идти с ним вместе на колокольню. Пономарь за серебряную копейку отпер им дверь, и, к великой досаде Чермного, пошел сам вперед по лестнице. Наконец они добрались до самого верхнего яруса.

Василий, подойдя к перилам, начал вдали отыскивать взором дом купца Лаптева. Если кто-нибудь из читателей наших (о читательницах говорить не смеем) бывал влюблен и когда-нибудь смотрел с колокольни или башни на город, то он верно знает, что всего скорее обращаются глаза в ту сторону, где живет любимый человек. С трудом рассмотрев в отдалении дом Лаптева, Василий начал напрягать зрение, думая: не увидит ли окон верхней светлицы и кого-нибудь у окошка? Однако ж и весь дом едва был виден, и потому неудивительно, что Василий понапрасну напрягал зрение, погружаясь между тем все более и более в приятную задумчивость и, наконец, глядя во все глаза на обширную Москву, вместо города увидел пред собою образ своей Натальи, если не в самом деле, то по крайней мере в воображении. Тем временем Чермной выдумывал средство, как бы избавиться от безотвязного пономаря, который, побрякивая ключами и показывая пальцем колокольни разных московских церквей, говорил:

— Погляди-ка, господин честной, отсюда все церкви видны. Одних Никол не перечесть: вот это Никола у Красных колоколов, это Никола в Драчах, это Никола на Курьих ножках, это Никола на Болвановке, это Никола в Пыжах...

— Знаю, знаю! — твердил сквозь зубы Чермной; но пономарь, не слушая его, продолжал усердно пересчитывать церкви и колокольни.

— Сделай одолжение, любезный! — сказал нако-



нец Чермной.— Вот тебе две серебряные копейки. Я что-то нездоров: нет ли у тебя Богоявленской воды? Я бы выпил немного, так авось мне бы полегче стало.

— Как не быть, отец мой; только идти-то за ней далеконько! — отвечал пономарь, почесывая затылок и уставив глаза на две серебряные копейки, лежавшие у него на ладони.

— Ну, вот тебе еще копейка, только сделай милость, принеси воды хоть немножко. .

— Шутка ли вниз сойти и опять сюда взобраться! Ну, да уж так и быть.

Пономарь пошел вниз, а Чермной, внимательно глядя на Бурмистрова и заметив, что он в глубокой задумчивости стоит у перил, начал украдкой к нему приближаться. Подойдя уже близко к товарищу, он тихонько стал нагибаться, держа в руке серебряную копейку, чтобы сказать, что поднял ее с полу, если б Василий, неожиданно оглянувшись, приметил его движение. Уж он готов был схватить товарища за ноги и перебросить чрез перила, как вдруг опять раздался голос возвратившегося пономаря.

— Не прикажешь ли, отец мой, принести кстати просвирку? Да не поусердствуешь ли копеечкой на церковное строение? В селе Хомякове, Клюквино тож, сгорела недавно церковь.

— Где сгорела церковь? — спросил Бурмистров, выведенный из задумчивости громким голосом пономаря.

— В селе Хомякове, отец мой.

Василий вынул из кармана ефимок и отдал пономарю. И Чермной поневоле последовал его примеру, отдав серебряную копейку, которую держал в руке. Пономарь низко поклонился и, не сказав ни слова, пошел за кружкою простой воды, потому что Богоявленской у него не было.

Когда шум шагов его затих на лестнице, Чермной, видя, что Бурмистров отошел от перил и хочет идти вниз, остановил его и сказал:

— Мы с тобою давнишние сослуживцы, товарищ, и всегда были приятелями. Могу ли я на тебя положить и поговорить с тобою откровенно об одном важном деле?

— Хочешь, говори, хочешь, нет, это в твоей воле. Я не хочу знать твоих важных дел, если меня опасешься.

— Если б я тебя опасался, то и не начал бы разговора. Я тебя всегда почитал и любил, и потому решил, как добрый товарищ, предостеречь тебя.

— А от чего бы, например?

— Неужели ты ничего не слыхал и не знаешь? Послушай-ка, что по всей Москве говорят.

— Поговорят да и перестанут.

— Хорошо, как бы тем кончилось.

— А чем же может кончиться?

— Да тем, что и моя голова и твоя не уцелеют.

— Ну, так что ж? Двух смертей не будет, а одной не миновать.

— Я вижу, что ты мне не доверяешь и не хочешь быть со мною откровенен. Может быть, и пожалеешь об этом, да будет поздно. И к чему скрываться от меня? У нас одна цель с тобою: нам не мешало бы соединиться и действовать вместе. Времени терять не должно. Худо будет, если люди станут пахать, а мы руками махать. Пойдем обедать ко мне, товарищ. Я бы за столом сообщил тебе важную тайну. У тебя волосы станут дыбом, даром что ты не трус.

Чермной, не смея напасть открыто на Бурмистрова и не надеясь его пересилить и сбросить с колокольни, решил притвориться преданным царю Петру Алексеевичу, подстрекнуть любопытство Бурмистрова обещанием открыть ему тайну, позвать к себе обедать и за столом отравить его ядом, купленным недавно, по поручению Милославского, в Новой аптеке\*.

— О чем ты говоришь, Чермной? — сказал Василий. — Что у тебя за ужасная тайна? Право, не понимаю!

— Скажи лучше, что понимать не хочешь. Неужели ты не слыхал, что царю Петру Алексеевичу грозит опасность?

---

\* В то время во всей Москве были только две аптеки: одна называлась **Старою**, другая **Новою**. Первая находилась в Кремле и назначена была исключительно для двора; вторая помещалась в гостинном дворе, выстроенном по приказанию царя Алексея Михайловича.

— Какая опасность?

— Та самая, о которой ты говорил сегодня с князем Долгоруким и о которой я уже прежде тебя его предупредил.

Бурмистров устремил пронизательный взор на Чермного.

— Спроси самого князя, если мне не веришь. Я обещал ему доставить полное и верное сведение о числе и силе заговорщиков и о всех их замыслах. Надеюсь вскоре исполнить мое обещание, хотя бы мне стоило это жизни. Я готов пролить кровь свою за царя Петра Алексеевича. Давно я на это решился и действую; а ты... думаешь о молодых девушках да прогуливаешься ночью по Москве с твоими стрельцами. Не сердись на меня, товарищ, за правду! Я прямо скажу, тебе, что грешно заниматься какою-нибудь девчонкою, когда дело идет о спасении царя.

— Побереги для других твои советы. Я знаю не хуже тебя свои обязанности и докажу на деле, а не словами, что готов умереть за царя.

— Дай руку, товарищ! Будь ко мне доверчив и ничего не скрывай от меня. Станем вместе действовать. Ум хорошо, а два лучше. Богом клянусь, что я стою за правое дело!

— Не клянись, а докажи это. Лучшая клятва в верности царю — кровь, за него пролитая. Тебе не перхитрить меня, Чермной! Ты, как вижу, подглядывал за мною, а я наблюдал за тобою. Напрасно станешь ты клясться, что стоишь за правое дело. Поверю ли я клятвам человека, который недавно уверял некоторых из стрельцов, что можно, не согрешив пред Богом, нарушить присягу, данную царю Петру Алексеевичу? Для кого присяга не священна, того все клятвы пиши на воде.

— Вот и вода! — сказал пономарь, которого лысая голова в это время явилась, как восходящее солнце. Он подошел осторожно к Чермному, чтоб не расплескать воды из принесенной им кружки; но Чермной, раздраженный укоризною Бурмистрова, оттолкнул пономаря и сказал Василию:

— Нас рассудит князь Долгорукий с тобою. Ты обвиняешь верного слугу царского в измене! Или я, или ты положишь голову на плаху.

Сказав это, он пошел вниз.

— Ах, ты бусурман нечестивый! — ворчал между тем пономарь, пустясь за ним в погоню по лестнице.— Да как ты смеешь толкаться, когда я держу кружку с Божоявленной водой. Я половину воды пролил на пол! Да я на тебя святейшему патриарху челом ударю! Татарин, что ли, ты али жид? Погоди ужо, дешево со мной не разделаешься!

Бурмистров шел за пономарем по лестнице. Чермной скрылся от своего преследователя, и пономарь в самом низу, в дверях, остановил Василия для допроса.

— Скажи, господин честной, кто этот окаянный антихрист, что с тобою наверху разговаривал?

— Не знаю! — отвечал Василий, не желая выдать товарища.— Я вовсе с ним не знаком и в первый раз встретился с ним сегодня. Кажется, он из татар.

— Ну так, у него и рожато не христианская! Коли держится иной шерсти\*, так шел бы в свою поганую мечеть; а то лезет на Ивана Великого да пономаря толкает, нечестивец! Счастлив, что ушел: я бы с ним разведался на Патриаршем дворе!

Оставив разгневанного пономаря, Василий поспешил к дому князя Долгорукого.

Кончив вместе с Бурмистровым начатое поутру представление о заговоре, князь поехал к царице Наталье Кирилловне и приказал находившимся в доме его десяти стрельцам взять под стражу Чермиого, когда он, по обещанию, придет к нему вечером. Бурмистров сорвал личину с лицемерного злодея. Прощаясь с князем, Василий просил дать ему слово, чтобы за открытие заговора не давали ему никакой награды.

— Я не хочу, — говорил он, — чтобы меня могли подозревать в чистоте моих намерений. Открыв заговор, я не искал выслужиться и основать мое счастье на бедствии ближних, хотя и преступных. Я исполнил только священную клятву, даниую Помазаннику Божию. За что же награждать меня? Неужели только за то, что я не хотел сделаться преступником и не нарушил священнойшей из клятв? Жизнь царя тесно соединена с благом Отечества и с неприкосновенностью Церкви право-

---

\* Так в старину называли иностранные вероисповедования. Выражение сие встречается даже в Уложении,

славной, которую угрожает поколебать Аввакумовская ересь, заразившая большую часть стрельцов. Я всегда был готов умереть за веру, царя и Отечество, но никогда не желал суетных земных наград и почестей, помня слова св. апостола Павла, повелевающего не заботиться о том, как судят о нас люди, и не искать хвалы их, а памятовать, что судия наш — Господь, который в пришествие свое осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и что тогда всякому похвала будет не от людей, а от Бога. Дайте мне слово, князь, не награждать меня.

Князь Долгорукий обнял Бурмистрова, молча пожал ему руку и поехал к царице.

## VIII

*Зачем в полуночной тиши.*

*Мои лукавые злодеи,*

*По камням крадетесь, как змеи?*

Г л и н к а.

— Полно ли тебе горевать, красная девица! — говорила дородная Варвара Ивановна, жена Лаптева, сидевшей у окна Наталье. — Да ты этак глазки выплачешь.

— Как же мне не плакать, Варвара Ивановна, когда я до сих пор не знаю, где матушка и что с нею случилось. Может быть, она... — Наталья не могла говорить ничего более и, рыдая, закрыла платком прелестное лицо свое.

— Полно, моя ягодка, плакать! Ведь Андрей Матвеевич обещал непременно узнать сегодня, где твоя матушка; да и братец твой авось принесет радостную весточку о родительнице. Я чаю, он придет к тебе завтра. Этакая память, прости Господи, забыла ведь, какой у нас день сегодня и которое число!

— Суббота, 13 мая, — сказала Наталья.

— Ну, так и есть: завтра братец придет. Полно же горевать, мое наливное яблочко, глазки выплачешь.

В это время раздался стук у калитки, и чрез минуту вошел Лаптев с печальным лицом. Не дожидаясь вопроса девушки, он сказал:

— Я не узнал еще, Наталья Петровна, где твоя матушка. Был у брата твоего в монастыре. Завтра чуть

свет вместе с ним пойдем искать ее по всему городу. Наверно, ее укрыл какой-нибудь добрый человек. Она не знает, где ты, а ты не знаешь, где она,— вот и вся беда! Полно горевать, Наталья Петровна, Бог милостив. Писание не велит... Ах, Господи! Наталья Петровна! Что это с тобой? Воды, жена! Скорее воды!

Дородная Варвара Ивановна самым скорым шагом, каким только могла, пустилась из верхней светлицы вниз по лестнице, за водою, а Лаптев, сидя на скамье подле Натальи, приклонил к плечу ее голову и в испуге смотрел на ее бледное лицо и закрывшиеся глаза.

Вскоре Варвара Ивановна, запыхавшись, явилась с кружкою в руке и подала мужу. Брызнув несколько раз в лицо Натальи холодною водою, Лаптев привел ее в чувство и выпил оставшуюся в кружке воду. В это самое время неожиданно вошел в светлицу Бурмистров. Готовясь принести жизнь на жертву царю, он хотел взглянуть в последний раз на Наталью и проститься с старинным своим приятелем, Лаптевым. При входе Василия бледные щеки девушки вдруг вспыхнули.

— Ах, Господи! — воскликнул сидевший еще подле нее Лаптев. — Ей опять дурно! Жена, еще воды!

Варвара Ивановна, тяжело вздохнув, поднялась со скамейки, на которую села отдыхать после совершенного ею подвига; но Бурмистров предупредил ее и, взяв кружку, побежал вниз. Между тем Наталья оправилась от своего смущения. Вскоре Бурмистров возвратился с кружкою и поставил ее на стол. Несколько времени продолжалось молчание. Бурмистрова занимала одна восхитительная мысль: она меня любит! Лаптев, посадив гостя подле себя, придумывал, с чего начать разговор; Варвара Ивановна придумывала, чем гостя потчевать; а Наталья размышляла: ах, Боже мой! не заметил ли он моего смущения!

Наконец Лаптев прервал молчание.

— Что слышно новенького, Василий Петрович? Мы давно уже с тобою... Что это?.. Набат?

— Кажется,— сказал Василий.

— Надобно посмотреть, где горит.

Лаптев побежал на чердак, чтобы выйти на кровлю. Варвара Ивановна с Натальей подошли к окну, а Бурмистров к другому.

— Зарева нигде не видать,— сказал возвратившийся Лаптев.— Накрапывает дождик; кровля прескользкая, и вечер такой темный, хоть глаз выколи. Я чуть не свалился с кровли. Однако ж смотрел во все стороны: пожара нигде не заметно. Что бы это значило?... Да чу!... Где-то ударили в барабаны!

Бурмистров отворил окно и, прислушиваясь к отдаленному звуку барабанов, сказал:

— Бьют тревогу! Прощай, Андрей Матвеевич!

Поклонившись Варваре Ивановне и Наталье, Василий поспешно вышел и у ворот встретил Борисова.

— Я к тебе, Василий Петрович. Хорошо, что ты мне сказал, что пойдешь сюда сегодня вечером, без того верно бы я не нашел тебя. У нас в полку беспокойно!

— Как? Что это значит?

— Гришка Архипов да Фомка Еремин, десятники Колобова полка, пришли к нашим съезжим избам и говорят такие похвальбы, что и слушать страшно.

— А наши что?

— Наши связали их да и посадили в рогатки.

— Хорошо сделали. Ну, а еще что?

— Пяти полков стрельцы, кроме нашего, Стремяного, Полтева и Жуковского, разбрелись по Москве; кто на Отдточный двор, кто в торговую баню, кто на колокольню. Напились допьяна, звонят в набат и бьют тревогу.

— Чего же полковники-то смотрят?

— Полковники? Поминай как звали! Всех их втащили на самые высокие каланчи съезжих изб и оттуда сбросили. Не испугайся, Василий Петрович. Стрелец Федька Григорьев, которого ты выкупил недавно от правежа\*, прибежал ко мне и сказал, что пятисотенный Чермной нанял за пять рублей четырех стрельцов

---

\* Правежом назывался утвержденный старинными законами нашими татарский обычай взыскания долгов. Должник, присужденный к платежу долга и не имеющий чем оный заплатить, был выводим разутый перед приказ в то время, как судьи собирались. Пристав во все время заседания приказа бил должника прутом по ноге, не причиняя ему боли, если получал от него какой-нибудь подарок. В противном случае должник подвергался ужасному истязанию, в особенности когда пристав получал подарок от истца. За долг в 100 рублей должно было стоять на правеже месяц. От сего не освобождались и дворяне. Петр Великий отменил сей варварский обычай.

— Для чего нанял?

— Для того, чтобы ночью забраться в твой сад, из саду влезть в окно и зарезать тебя, да и меня кстати.

— Посмотрим, удастся ли им это? Подойдем проворнее, Борисов. Скоро уже полночь, а до дому еще недалеко.

Они удвоили шаги и вскоре подошли к дому; постучались — Гришка отпер калитку.

— Недавно, — сказал он, — прискакал сюда верхом десятник от князя Долгорукого с какою-то к тебе, Василий Петрович, посылкою.

— Где он?

— В сенях дожидается. Да вот и он.

Василий развернул свиток, поданный ему десятником, и прочитал: «Возьми двадцать человек надежных стрельцов и в полночь поди с ними к домам пятисотенного Черного, подполковника Циклера и полковников Петрова и Одинцова. Забрав всех их, свяжи и приведи тотчас ко мне. Мая 13 дня 7190 года. Князь Михаил Долгорукий».

— Съезди поскорее, — сказал Василий десятнику, — к съезжей избе нашего полка и скажи, что я велел позвать к себе теперь же двадцать стрельцов из полсотни Борисова. Скажи, чтобы не забыли ружей и сабель.

— Слушаю.

Десятник сел на лошадь и поскакал. Не прошло четверти часа, как явились двадцать стрельцов и стали в ряд на дворе, в молчании ожидая Василья, который с Борисовым побежал в спальню за пистолетами. В то самое время, когда они оба сходили по лестнице, раздался в сенях крик выбежавшего из горницы опрометью Гришки: «Воры, воры!».

Со страху споткнувшись на лестнице, храбрый слуга не сбежал, а пролетел мимо господина своего на двор и чуть не сшиб его с ног.

— Где воры? — спросил Борисов.

— У нас в саду! Целая шайка! Батюшки светы, что будет с нами?

— В сад, ребята! — закричал Борисов стрельцам. — Ловите разбойников!



Стрельцы бросились в сад вслед за Васильем и Борисовым. При свете месяца увидели они приставленную к окну лестницу и на верхних ступеньках человека. Он силился отворить окно. Два его товарища держали лестницу, и два готовились лезть вслед за ним. Бывший на лестнице, услышав шум, соскочнул с самого верха на землю, и все побежали. «Лови! держи!» — закричали стрельцы; но бездельники успели добежать до забора, отделявшего сад Василья от соседнего огорода, вскарабкались на забор и, соскочив в огород, скрылись. Стрельцы хотели пуститься за ними в погоню, но Василий остановил их и повел за ворота. Дойдя до небольшого дома, где жил Циклер, он окружил его и вошел в комнаты. Все двери были настежь отворены и все имущество из дома вывезено. В спальне Циклера увидел Василий секиру, воткнутую перед окном в пол, и привязанный к нему свиток бумаги. Сняв его, он прочитал:

«По близкому соседству моему с тобою, я знал, что ты ко мне первому придешь сегодня в гости. Милости просим! Жаль только, что хозяина не застанешь дома. Я и все наши там, где тебе не найти нас. О приказе, который получен тобою сегодня, узнали мы прежде тебя. Из этого ты видишь, что нас не перехитрить, да и не пересилить. Мы решили твердо стоять за правое дело, и на нашей стороне народу многое множество. Советую тебе взяться за ум. Плетью обуха не перешибешь. С одним полком немного против восьми сделаешь. На Стремянной, Полтев и Жуковский не надейся: все наши. Сухаревский смотрит на тебя и упрямится. Да наплевать на тебя и с твоим полком! И без тебя дело обойдется. Эй, возмись за ум: худо будет! Не образумишься, так изрубим и втопчем в грязь; а образумишься, так получишь поместье да триста рублей. Слышишь ли? Напиши ответ и положи сегодня же ночью в пустую избушку, что подле моей торговой бани»\*.

Бурмистров немедленно пошел со стрельцами к князю Долгорукому и, вручив ему найденный свиток, провел с ним остаток ночи в совещаниях.

---

\* Стрельцы, по данным им преимуществам, а нередко и против закона, занимались торговлею и разными промыслами, имели лавки, бани и т. п.

*Нет, нет! У нас святое знамя,  
В руках железо, в сердце пламя:  
Еще судьба не решена!..*

Карамзин.

Ударил первый час дня. Восходящее солнце осветило золотоверхий Кремль. Послав Бурмистрова к Ивану Кирилловичу Нарышкину и Артемону Сергеевичу Матвееву с приглашением явиться к царице Наталье Кирилловне для важного совещания, князь Долгорукий поспешил во дворец: Вскоре прибыли туда Нарышкин и Матвеев. Долгорукий встретил их на лестнице и молча подал брату царицы записку Циклера. Нарышкин, прочитав ее, побледнел и передал бумагу Матвееву.

— Опасность велика! — сказал тихо Матвеев, прочитав записку и отдавая ее Долгорукому. — Необходимы твердые и скорые меры. Видела ли царица эту бумагу?

— Нет еще, — отвечал Долгорукий. — Я ожидал вашего прибытия и не велел стряпчему докладывать обо мне.

Войдя в залу, где был стряпчий, Нарышкин сказал ему:

— Донеси царице, что Артемон Сергеевич, Михаил Юрьевич и я просим дозволения войти в ее комнаты.

Стряпчий вышел в другой покой и сказал о боярах постельнице, сидевшей у окна за пяльцами, в которых она вышивала золотом и жемчугом пелену для образа. Постельница пошла в спальню Натальи Кирилловны и, чрез минуту возвратясь, сказала, что царица немедленно выйдет к боярам. Стряпчий сообщил им ответ, и вскоре постельница, отворив дверь в залу, пригласила бояр войти в горницу, где она сидела за пяльцами, а сама оставшись, по приказанию царицы, в зале, начала спрашивать стряпчего, зачем бояре так рано приехали?

Царица села с боярами к столу, украшенному резьбою и позолотою, и с приметным беспокойством спросила о причине такого раннего их прихода.

— Мы пришли к тебе, государыня, — отвечал Матвеев, — с недобрыми вестями. Однако ж просим тебя не

смущаться. Господь поможет смирить замышляющих злое.

— Да будет воля Божия! — отвечала, побледнев, царица. — Я на все готова!... Скажи, Артемон Сергеевич, что сделалось?

— Циклер, Одинцов и все товарищи их неизвестно куда скрылись. В доме Циклера нашел пятисотенный Бурмистров записку. Прочитай ее, Михаил Юрьевич.

Когда Долгорукий кончил чтение, Матвеев продолжал:

— Мы пришли спросить тебя, государыня, что делать велишь?

— Я полагаюсь во всем на вас. Делайте моим именем все, что признаете нужным.

— Я велел, — сказал Долгорукий, — десяти стрельцам, переодевшись в монашеское платье, разведывать, где скрываются Циклер и прочие заговорщики? Прежде еще получения мною записки этого злодея узнал я вчера, что полки Стремянной, Полтев и Жуковский, которые считал я верными, допустили себя подкупить. Теперь на стороне царицы Софьи Алексеевны восемь полков, а на стороне царя Петра Алексеевича только один Сухаревский. Но не в силе Бог, а в правде! Надобно приказать Сухаревскому полку и Бутырскому\* войти сегодня ночью в Кремль и запереть все ворота. Теперь же должно отправить гонцов во все ближние города и монастыри с царским указом, чтобы всякий, кто любит царя, вооружился, чем может, и спешил к Москве защищать его от злодеев, умышляющих пролить священную кровь царскую. Можно назначить сборным местом село Коломенское и послать туда кого-нибудь из бояр для предводительства ополчением, а бунтовщикам объявить, если б они вздумали начать осаду Кремля, что мы будем защищаться до последней крайности, что скоро придет к Москве ополчение и нападет на них, а мы сделаем вылазку, и что после того ни од-

---

\* Бутырский полк принадлежал к числу так называвшихся Солдатских полков. Они состояли из русских солдат и были образованы по-европейски иностранцами. Полковники, подполковники и майоры этих полков были иностранцы, а все прочие офицеры русские. При царе Алексее Михайловиче было семь таких полков. В царствование преемника его, царя Феодора Алексеевича, число их постепенно уменьшилось.

ному бунтовщику, который в сражении уцелеет, не будет пощады: всем голову долой! Ручаюсь, государыня, что мятежники оробеют и будут просить помилования.

— А если не оробеют? — сказал Нарышкин.

— Тогда пускай сразятся с нами! — продолжал Долгорукий. — Мы будем держаться в Кремле, пока не подойдет ополчение и не нападет на них с тыла. Тогда мы сделаем вылазку и разобьем бунтовщиков.

— Боже мой! Боже мой! — сказала с глубоким вздохом царица. — Русские станут проливать кровь русских!

— Нет, государыня, — возразил Долгорукий, — презренные бунтовщики, забывающие Бога, нарушающие священную клятву, данную царю и Отечеству, недостойны именоваться русскими.

— Но, может быть, они обольщены обещаниями, обмануты; может быть, прольется кровь многих невинных!.. Неужели нельзя уговорить их? Обещай им, Михаил Юрьевич, какую хочешь награду. Я ничего не пожалею, только бы не лилась кровь христианская. Обещай даже, если нужно, простить стрельцов, которые убили своих полковников.

— Все это будет бесполезно, государыня. Уговорить их невозможно. Кого они теперь послушают! Царевна Софья давно уже внушила им мысль, что царь Петр Алексеевич наследовал престол противузаконно и что царевича Иоанна, против его воли, бояре, тебе в угоду, удалили от престола. Только главные заговорщики знают истинные намерения властолюбивой царевны, а простые стрельцы убеждены, что они вступаются по справедливости за царевича Иоанна. Вели, государыня, действовать, как я сказал; других средств не вижу для отращения грозящих бедствий.

— Нельзя ли переговорить с царевной Софьей Алексеевной? — сказал Матвеев. — Пусть откроет она тебе, царица, свои желания и требования: может быть, исполнением их она удовольствуется и не захочет проливать кровь русскую. Ее одно слово успокоит стрельцов. Она ввела их в заблуждение; она же всего легче может их из него и вывести.

— Нет, Артемон Сергеевич! — возразил Нарышкин. — Царевна слишком далеко зашла; она не может уже воротиться, да и не захочет. Она желает царство-

вать именем Иоанна Алексеевича и погубить ненавистный ей род Нарышкиных. Из этого ты видишь, что переговоры с нею невозможны.

— В таком случае,— сказал Матвеев,— более нечего делать, как согласиться с предложением Михаила Юрьевича. За кровь, которая польется, ответит Богу царевна Софья Алексеевна.

В это время отворилась из залы дверь, вошла поспешно постельница и сказала:

— Царевна Софья Алексеевна изволила приехать к тебе, государыня; она уже на лестнице.

Бояре вскочили с мест своих. Царица молча ухажала им на дверь, завешенную штофным занавесом. Бояре вошли в темный коридор и, спустясь по крутой и узкой лестнице в нижние покои дворца, вышли через другие сени на улицу, избежав таким образом встречи с царевною.

— Я пришла,— сказала София, садясь подле царицы,— предостеречь тебя, матушка, от угрожающей опасности. Вся Москва ропщет, что братец Иван обойден в наследовании престола. Вчера два митрополита от лица всего духовенства, несколько бояр и многие выборные от народа били мне челом, чтобы он был объявлен царем московским.

— Ты знаешь, Софья Алексеевна, что он сам уступил престол брату.

— Справедливо, матушка; но не должно пренебрегать народного ропота. Я опасюсь, чтобы не сделалось чего худого. Лучше уступить общему желанию: все хотят, чтобы провозглашен был царем братец Иван.

— Хотят невозможного: московский престол один — и московский царь может быть только один.

— Волнение умов очень сильно; легко могут пачаться беспорядки и кровопролитие. Теперь еще есть время поправить дело: братец Иван уступил престол младшему брату, а младший брат пусть возвратит престол старшему. Никто ни слова не скажет, и вся Москва успокоится.

— Нет, Софья Алексеевна! Бог увенчал моего сына царским венцом, один Бог властен теперь лишить его этого венца. Да будет воля Божия!

— Послушай моего искреннего совета, матушка; может быть, расскаешься, да будет поздно.

— Да будет воля Божия! — повторила царица.

Царевна, покраснев от гнева, вскочила с кресел и вышла поспешно из комнаты. Царица, после усердной молитвы за обедней в Успенском соборе, возвратясь во дворец, послала гонца к брату своему Ивану Кирилловичу, боярину Матвееву и князю Долгорукому с приглашением, чтобы они явились к ней на другой день рано утром для окончания начатого ими совещания.

## Х

*И криками ночные враны,  
Предвозвещаая кровь и раны.  
Все полнят ужасом места.*

Петров.

Солнце давно уже закатилось. В доме Милославского, которого никто не подозревал в преступных замыслах, собрались заговорщики, а стрельцы около съезжих изб своих зажгли костры, прикатали бочки с вином, подаренные им Толстыми, и принялись за попойку и рассуждения. Несколько пятисотенных, сотников и пятидесятников, покусья обратиться к порядку своих подчиненных, сделались жертвою своего мужества. Их схватили и сбросили, одного за другим, с тех же каланчей, с которых недавно были сброшены верные своему долгу полковники. По совершении этого подвига попойка возобновилась. Шумные разговоры и песни во всю ночь не умолкали.

Один из стрельцов, сидящий верхом на опорожненной бочке, с деревянным ковшом в руке. Нечего сказать, Кондратьич, молодец! Ты всех, кажется, усерднее поработал; мне ни одного не удалось сбросить, а ты четверых спровадил.

Другой стрелец. Туда им и дорога! Вздумали нас учить! Ученого учить — только портить. А где Васяка Бурмистров с своим поганым полком?

Третий стрелец. А дьявол его знает! Многие было из стрельцов не хотели от нас отстать, да этот красnobай с пятидесятником Ванькою Борисовым их отговорил. Только один Фомка Загуляев из Сухаревского полка с нами остался.

## Первый стрелец (поет сильным басом).

Против солнца, на востоке,  
Стоит келья, монастырь,  
Как во том монастыре  
Стрелец спасается:  
По три раза в день допьяна напивается\*.

Второй стрелец. Перестань горланить, Ванюха. Страшно слушать такую еретическую песню. Затяни-ка лучше «Вниз по матушке по Волге».

Первый стрелец. Дай прежде промочить горло. Эй, Павлуха! ты уж чуть на ногах стоишь, а знай себе наливаешь. Налей, кстати, и мой ковш. Мне не хочется сойти с коня-то. Видишь, какой толстый, толще иного монастырского служки, да и в обручах весь. Уж не бойсь, не сшибет!

Четвертый стрелец. Полно вздор молоть, Ванюха, лучше поговорим о деле. Слышали ли вы, ребята, что в прошлую среду приехал сюда ссылочный Матвеев, а третьего дня, в пятницу, опять в бояре пожалован?

Пятый стрелец. Ну, что ж? Пусть его боярствует; ведь он в старину был наш брат стрелец. Мой покойный дядя рассказывал, что годов за тридцать ходил царь Алексей Михайлыч под Смоленск и что Матвеев помог царю взять этот город. С тех пор царь узнал его и начал жаловать. Матвеев был в то время стрелецким головою, по-нынешнему, полковником.

Шестой стрелец. Да, нечего сказать, послужил он царю верой и правдой. Когда Алексей Михайлыч вздумал во второй раз жениться, уж он был думным дворянином. В день свадьбы царь пожаловал его окольничим, а через год боярином, в тот самый день, как меня приняли в Стремянной полк из посадских детей. Вот уж скоро минет десять лет, как я стрельцом, а он боярином.

Первый стрелец. Экое диво, боярином! Навязал царю на шею свою питомицу, состряпал свадьбу да и в бояре попал! Этак бы и я умел выслужиться. Нет, ребята, хоть Матвеев и был в старину наш брат, стрелец, а все-таки он ни к черту не годится. Ведь ему Нарышкины-то родня?

---

\* Старинная народная песня.

Второй стрелец. Говорят, что родня. Кирилато Полуехтович был бескопеечный дворянин. В свадьбу дочки попал также в окольные, а через год и в бояре. Залетела ворона в высокие хоромы! А во всем Матвеев виноват: он царя-то приворожил к своей питомице — чтобы ему издохнуть, чернокнижнику! За чернокнижество он и в ссылку попал. Свойка мой, дворецкий боярина Милославского, раз подслушал, как боярин его разговаривал о Матвееве с приятелями. Господи Боже мой! да этого мало, что его в ссылку послали: его бы надобно было живьем изжарить на хворосте, проклятого! Страшно и рассказывать, что слышал я от дворецкого.

Пятый стрелец. Что ж ты слышал?

Второй стрелец. Мало ли что! Всякой Еремей про себя разумеи! Ну, да уж так и быть, разболтаю я вам все, что знаю. Семь лет крепился. Была пора молчать, а ныне пришла пора и языку волю дать. Однако ж, ребята, чур из избы сору не выносить. Этак, пожалуй, и в Тайный приказ потянут да запытают до смерти! Вот, вишь ты, ребята, дело в чем. Был при покойном царе Алексее Михайловиче, да и ныне еще никак жив, лекарь Гадин\*. Боярин Матвеев правил тогда Аптекарским приказом, подружился, с Гадиным, да и вздумал у него колдовству учиться. Раз боярский карло, Захарка, спал за печкой. Матвееву-то и невдомек. Вот пришел к нему в гости Гадин, принес с собой черную книгу и начал ее с боярином читать. Вдруг — наше место свято! — и полезла в горницу нечистая сила, кто из-под полу, кто в окошко, кто из печки — ну, так и лезут, проклятые! Захарка сидит за печкой ни жив ни мертв и шелохнуться не смеет.

Первый стрелец. Этакая диковина! Стало быть, карло-то видел нечистых. Посмотрел бы хоть одним глазком на них; чай, страшно?

---

\* Даниил фон Гаден, из польских евреев. В 1657 году он приехал в Москву, поступил в 1659 году в царскую службу цирюльником и перекрестился в греческую веру. В 1672 году царь Алексей Михайлович произвел его в докторы медицины. Он пользовался доверенностью двора и был любим боярином Матвеевым, который в письмах и челобитных своих называет его доктором Стефаном. Сие имя дано было ему при крещении в греческую веру.



Второй стрелец. Свояк мой расспрашивал Захарку: каковы лукавые с рожи? Он говорил, что больно некрасивы. У иного ноги козлиные, у другого гусиные, у третьего петушьи. Руки у них с когтями, словно грабли; головы почти у всех свиные или эменные. У всякого рога, борода козлиная да хвост с закорючкой.

Первый стрелец. Страсть какая!

Второй стрелец. У иных есть и рыжие бороды.

Павлуха. А вот я в тебя пушу ковшом, так ты и не будешь вперед мигать да на меня указывать. Ты думаешь, я пьян, так и не примечу, что ты над моей бородой тешишься. Смотри, Егорка!

Пятый стрелец. Не мешай, Павлуха! дай ему досказать.

Второй стрелец. И начал Гадин с лукавыми разговаривать, а они в один голос закричали: у нас в избе есть третий человек. Матвеев вскочил, взглянул за печку и хватъ Захарку за волосы. Вытащил его, стянул с него шубу и так ударил оземь, что переломил ему два ребра. Потом принялся топтать его и выкинул за-мертво из горницы. За это, да еще за то, что с Гадиним замышлял он, злодей, испортить покойного царя Федора Алексеича, что и в ссылку послали\*. Подлинно: ве-

---

\* В сем состояли главные преступления, за которые Матвеев был лишен боярства и всего имения и отправлен в ссылку. В челобитной его, посланной в 1677 году к царю Феодору Алексеевичу из Пустозерска, он оправдывается, говоря, между прочим: 1) что карло его, Захар, не мог слышать его разговора с Гаденом, так как, по его собственному показанию, он в то время спал за печкой и храпел; 2) что он во время сна не мог слышать: храпел ли он или нет; да и спать не мог за печкой, потому что она поставлена у него, боярина, в комнате, где он разговаривал с доктором, у самой стены; 3) что карло не мог видеть нечистых духов, потому что духи, добрые и злые, невидимы; 4) что доносчики, лекарь Давид Берлов и холоп его, Матвеева, карло Захар, сбились в показаниях, потому что сначала говорили, что в комнате был во время явления духов боярин, Гадей и карло, а потом показывали, что был еще в комнате Николай Спафарий (переводчик Посольского приказа, родом из Молдавии, отправленный в 1657 году посланником в Китай); 5) что два ребра переломил карлу не он, Матвеев, а посадский Иван Соловцов во время игры с карлом и несколькими ребятами; 6) что нечистые духи кричали, по показаниям лекаря и карла: есть у вас в избе третий человек; и 7) что поэтому неизвестно, кто из них очелся, или в счете помешался, и палаты с избой не познали, духи ль проклятые и низверженные, или воры Давыдко и карло четырех человек считают за три, а палату называют избой.

лико еще к нему было милосердие за старые его службы. Сжечь бы его, чернокнижника!

Пятый стрелец. Нет, товарищ, не грехи: все это наговорили на Матвеева его злодеи. Еще покойный царь Федор Алексеич по его челобитным увидел, что он сослан безвинно, велел ему с Мезени, куда его отправили с сыном из Пустозерска, переехать в Лухов и пожаловал ему вотчину в 700 дворов. Похож ли Матвеев на чернокнижника? Нет, брат, он истинно православный христианин. При покойном царе Алексее Михайлыче не было боярина сильнее его, а сделал ли он хоть кому-нибудь *какое дурно*? Все любили его, как отца родного. Я был еще мальчишкой лет двенадцати, и как теперь гляжу на ветхий дом Матвеева, неподалеку от Николы в Столпах. Царь часто бывал в гостях у боярина и приказывал ему несколько раз перестроить дом на счет царской казны; но Матвеев отговаривался и обещал напоследок дом перестроить, только не на счет казны, а на свои деньги. Понадобился под дом камень. На грех, в целой Москве не случилось тогда ни одного камешка продажного. Что делать? Боярин призадумался. Вдруг на другой день на двор к нему телега за телегой; глядь — все с камнями. Боярин вышел на крыльцо и спрашивает: откуда и кто прислал? Тогда выборные из стрельцов да из торговых и посадских людей подошли к боярину и ударили челом. Мы слышали, молвили они, о твоей нужде, боярин, и *кланяемся тебе камнем*. Боярин сказал им спасибо и не хотел принять камня. Я-де могу купить. Но они молвили: «Мы привезли камень с могил отцов и дедов наших; не продадим ни за какие деньги, а дарим тебе, нашему благодетелю». Боярин, видя их такую любовь, заплакал и начал их обнимать. Тотчас же поехал к царю и спросил: как быть? Царь приказал ему принять подарок. «Видно-де народ тебя любит, когда с могил отцов сиял для тебя камень. Такой подарок и мне бы любо было принять от народа».

Первый стрелец. Все так! Да зачем он питомицу-то свою за царя сосватал; без того ее роденьке не бывать бы в чести. Не стали бы Нарышкины царевича Ивана Алексеича изводить, нашу погибель замышлять, новые пошлыны выдумывать, задерживать на-

ше жалованье, в праздничные дни заставлять православных работать и обижать встречного и поперечного.

Пятый стрелец. Что правда, то правда. Всякое худо по их приказу делается, хоть они и таятся. Шила в мешке не утаишь. Народ-то стал ныне подogaдливей. Да недолго им праздновать; будет и на нашей улице праздник. Икона Знаменья Божией Матери их скоро покарает.

Молодой стрелец. Что это за икона, дядя Савельич?

Пятый стрелец. Неужто ты не знаешь? Правда, где тебе и знать! В Москве только с Юрьева дня, а прежде все жил в захолустье.

Молодой стрелец. Расскажи, дядя, пожалуйста, какая икона Нарышкиных-то покарает?

Пятый стрелец. Бывал ли ты в соборной церкви Знаменского монастыря?

Молодой стрелец. Был раза два.

Пятый стрелец. Был, так верно видел и икону. Эту церковь еще при царе Алексее Михайловиче поновил боярин Иван Михайлович Милославский. Он этой церкви давнишний вкладчик. Там местной образ Знаменья Божией Матери украсил он окладом, жемчугом и самоцветными камнями. Лет с десятков назад, в Николин день, подошла после обедни к образу кликуша. Народу в церкви было еще очень много. «Послушайте меня, православные! — закричала она. — Не потерпит Знаменье Пресвятой Богородицы, чтобы Нарышкины были выше старинных бояр; придет время, пропадут Нарышкины, пропадут во веки веков, аминь!». Потом кликуша завизжала и повалилась на пол. Ее вынесли из церкви и положили на землю у паперти. Все думали, что она умерла, и поскорее разошлись от беды. На другой день по всему городу искали кликушу сыщики. Сгибла да пропала, словно на дно канула! Тогда только и речей было по всей Москве, что об этом. С тех пор всякий, кого обижают Нарышкины, непременно отслужит молебен иконе в Знаменском соборе. Видно, дошли чьи-нибудь молитвы: всем Нарышкиным туго приходит.

Первый стрелец. А что, разве про них что-нибудь уж приказано?

**Пятый стрелец.** Приказу еще нет, а велено быть готовым. Иван Андреевич Толстой и братец его подарили нам бочки-то для того, чтоб мы не робели. Чего робеть? закричал я: ведь мы за правое дело вступаемся! Только бы ваша милость не оробела, а стрельцы-молодцы рады с чертом подраться!... Аль ослеп ты, Павлуха, что на меня набрел? Экой олух!

**Павлуха.** А ты зачем на дороге стал? Мало тебе места-то? Еду не свищу, а наеду не спущу!

**Пятый стрелец.** Да ты не едешь, а идешь. Эк тебя бросает в стороны! Ой, ты горе-богатырь! Выпил ковш, да уж и глаза вытарачил.

**Павлуха.** Ковш? нет, брат, не один ковш, а с полдюжинки наберется. Вишь расхвастался! Ты думаешь, что я и выпить не умею. Выпьем-ста не хуже тебя, да еще и голубца по нитке пройдем.

**Первый стрелец.** Светает, ребята! Не пора ли по избам?

**Второй стрелец.** Неужто ты спать хочешь? Этакая баба! Пировать, так пировать всю ночь напролет. Вот, взглянь на Павлуху — молодец! перешел уж к другой бочке. Лежит, а не спит; знай наливает!

Восходящее солнце осветило пирующих. Многие, успев уже подкрепить себя сном, принялись снова за ковши, разговоры и песни. Вдруг у главной съезжей избы раздался звук барабана.

**Третий стрелец.** Быют сбор! Побежим, ребята!

**Четвертый стрелец.** Вставай, Павлуха!

**Павлуха.** Куда вас леший несет?

**Четвертый стрелец.** Разве ты не видишь, что все бегут к главной избе? Ведь сбор быют.

**Павлуха.** И рад бы в рай, да грехи не пускают! *(Силится встать, но опять падает подле бочки).* Беги без меня, куда надобно, а я останусь здесь да сам ударю сбор. *(Начинает кулаком барабанить по дну бочки).*

**Четвертый стрелец.** Эк нарезался, проклятый! Видно, дело без тебя обойдется. Прощай! *(Убегает).*

**Павлуха.** Ай да Федька! Конь бежит, земля дрожит! Словно с цепи сорвался! И я бы побежал, кабы пьян не лежал. Видно, до Нарышкиных добираются. Вот я вас, Хамово поколение, один всех перережу!

Сбежавшиеся у главной избы стрельцы увидели полковников Петрова и Одинцова, подполковника Циклера, пятисотенного Черного, стольника Ивана Толстого, дворян Сунбулова и Озерова. Трое последние одеты были в стрелецкое пальто.

— Товарищи! — закричал Циклер. — Москва и все русское царство в опасности! Лекарь фон Гаден признался, что он, по приказанию Нарышкиных, поднес покойному царю яблоко с зельем. Они же, Нарышкины, придумали на поминках по царе угостить всех вас, стрельцов, вином и пивом, и всех отравить. Они замышляют убить царевича Ивана Алексеевича. К ружью, товарищи! Заступитесь за беззащитного! Царевна Софья Алексеевна наградит вас.

— Смерть Нарышкиным! — закричали стрельцы и бросились в свои избы за оружием. Вскоре они собрались опять на площади, с ружьями и секирами, некоторые же с копьями. Сабель не взяли с собою, по приказанию заговорщиков, которые сочли сабли излишнею тягостию.

— Обрубите покороче древка у секир, товарищи! — закричал Циклер. — С длинным древком секирою труднее рубить головы изменникам!

Приказ был немедленно исполнен. Стрельцы вмиг обрубили древки: один у другого. Стук секир смешался с криком: «Смерть изменникам!».

В это самое время на площади появились два всадника, скачущие во весь опор. Это были Александр Милославский, племянник боярина Ивана Михайловича и стольник Петр Толстой. Остановясь пред главною избою, они сказали несколько слов с Циклером и прочими заговорщиками.

— Стройтесь в ряды! — закричали Циклер, Петров и Одинцов. Когда стрельцы исполнили приказание, Милославский и Толстой поехали мимо рядов их. «Сегодня 15-е мая, — кричали они, — сегодня зарезан был в Угличе царевич Димитрий. Сегодня Нарышкины удушили царевича Ивана Алексеевича! Отмстите кровь его и спасите святую Русь!».

Стрельцы в ярости замахали секирами и воскликнули: «Умрем за святую Русь!». Когда шум прекратился, Циклер, сев на лошадь, подъехал к Милославскому, раз-

вернул свиток бумаги и, обратясь к стрельцам, сказал: «Вот имена изменников и убийц царевича!». Потом он, Милославский и Толстой, объехав ряды стрельцов, оставались пред каждою сотнею и повторяли имена жертв, обреченных на гибель. Съехавшись опять пред главною избою, Циклер закричал:

— Грамотные, вперед!

Из рядов двенадцатитысячного войска отделились семь человек. По данному знаку они приблизились к Циклеру и получили от него, Милославского и Толстого списки, приготовленные для стрельцов по приказанию боярина Милославского.

— Смотрите же,— сказал Циклер,— смерть всем убийцам и изменникам, которые в списках означены; чтоб ни один не уцелел!

Стрельцы возвратились со списками на места свои. В это время полковники Петров и Одинцов, верхом, выехали из-за угла одной из съезжих изб. За ними везли пушки и пороховые ящики. Все заговорщики, сев на лошадей, поехали к Знаменскому монастырю. За ними пошло и все войско при шумных восклицаниях. Отслужив молебен, заговорщики вынесли из церкви икону Знамения Божией Матери и чашу святой воды. Стрельцы преклонили оружие пред образом, перекрестились, ударили в барабаны тревогу, подняли знамена и двинулись к Кремлю.

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### I

*И там, где зданья величавы  
И башни древние царей,  
Свидетели протекшей славы,—  
Лишь груды тел...*

Б а т ю ш к о в

Вместе с восходом солнца Матвеев, Нарышкин и Долгорукий явились во дворец. Вслед за ними, по приглашению царицы, приехали родитель царицы Кирилл Полиевктович Нарышкин, князя Григорий Григорьевич

Ромодановский, Михаил Алегукович Черкасский и другие преданные ей бояре. Большая часть из них, ожидая с часу на час, что пламя бунта вспыхнет, надели под кафтаны латы. Патриарх уведомил царицу, что он занемог и не в силах не только заниматься какими-либо государственными делами, но и встать с постели. Сопровождение продолжалось несколько часов, и после жарких споров и рассуждений все согласилось с мнением князя Михаила Юрьевича Долгорукого. Царица поручила Матвееву съездить немедленно к патриарху, спросить об его здоровье, уведомить о мерах, какие принять было положено, и испросить его благословение.

Едва Матвеев вышел из комнаты, раздался отдаленный громовой удар.

— Что это значит? — сказала царица. — Утро такое ясное, на небе ни одного облачка, неужели это гром?

Князь Черкасский подошел к окну, посмотрел во все стороны и приметил на юге густую тучу, которая быстро поднималась из-за горизонта.

— Собирается гроза, государыня! — сказал он.

— Верно, убьет меня молния! — шепнул князь Долгорукий сидевшему подле него Ивану Кирилловичу Нарышкину. — Мне снилось сегодня ночью, что пророк Илия на огненной колеснице взял меня с собою на небо. После этого сна я до сих пор не могу прийти в себя и чувствую какую-то непонятную тоску. Это даром не пройдет: уж что-нибудь да будет со мною!

— И, полно, Михаил Юрьевич! — возразил вполголоса Нарышкин. — Куда ночь, туда и сон! Неужто ты снам веришь?

Между тем царица отошла к окну и о чем-то тихо разговаривала с своим престарелым родителем. Все бывшие в зале бояре также встали с мест своих и в почти-тельном молчании смотрели на царицу.

Вдруг отворилась дверь. Матвеев вошел поспешно в залу. На лице его заметно было беспокойство, которое он напрасно скрывать старался. Взоры всех обратились на него, и царица спросила:

— Что ты, Артемон Сергеевич?

— Боярин князь Федор Семенович Урусов с подполковниками Стремянного полка Горюшкиным и Дохтуровым попался мне на лестнице. Они говорят, что стрель-

цы из слобод своих рано утром вступили в Земляной город, оттуда двинулись в Белый; в Китай-городе остановились у Знаменского монастыря и скоро подойдут к Кремлю. Я приказал как можно скорее запереть все кремлевские ворота.

— Хорошо, если успеют — сказал Долгорукий. — А на всякий случай я прикажу около дворца построиться Сухаревскому полку в боевой порядок.

Долгорукий сошел в нижние покои дворца, велел бывшему там пятидесятнику Борису, с своею полсотнею стрельцов, выйти на площадь и ударить сбор; а Бурмистрова, который там же ожидал приказаний князя, отправил верхом к полковнику Кравгофу с повелением, чтобы он поспешил с своим Бутырским полком к Красному крыльцу. Отряд Борисова вышел на площадь. В это самое время поднялся сильный вихрь, и вой его соединился с ударами грома, которые почти ни на миг не умолкали.

— Бей сбор! — закричал Борисов барабанщику.

Сокрытые около дворца в разных местах стрельцы Сухаревского полка не могли расслышать звуков барабана при шуме жестокой бури, столь неожиданно поднявшейся.

Долгорукий, войдя опять в залу, начал говорить царице о сделанных им распоряжениях. В это самое время растворилась дверь, ведущая в комнаты царя Петра и царевича Иоанна, и вошел вместе с ними в залу Кирилл Полиевктович. Царица поспешно приблизилась к своему сыну, крепко обняла его и залилась слезами.

Вдруг на Ивановской колокольне раздался звук колокола.

— Что это значит? — сказал князь Черкасский, подходя к окну. Сильный удар грома заглушил унылый звон колокола. Гром стихнул, но звон продолжался, мешаясь с невнятными криками, раздававшимися на площади, и с барабанным боем.

— Они уже у Красного крыльца! — воскликнул Черкасский.

— Кто? бунтовщики? — спросил Долгорукий, вынимая саблю. — Не ошибаешься ли ты, князь? Может быть, это Сухаревский полк?

— Посмотри сам. Вон как машут они секирами! Чу, как кричат! Слышишь ли?



— Я уйму их! — сказал Долгорукий и подошел к двери: но царица остановила его, ужасаясь мысли, что с появлением князя начнется на площади кровопролитие.

— Позволь, Михаил Юрьевич, — сказала она, — чтобы Артемон Сергеевич вышел первый на крыльцо и постарался уговорить мятежников. Надобно узнать, чего они требуют. Может быть, не нужно будет проливать крови... Боже мой!.. крови русских!

Долгорукий отошел от двери, приблизился к князю Черкасскому, смотревшему в окно, и крепко стиснул в руке рукоять своей сабли от негодования, увидев мятежников, окруживших со всех сторон Красное крыльцо густыми толпами.

— Смотри, смотри, Михаил Юрьевич! — кричал Черкасский. — Они ломают на крыльце решетки и перила!

— Государыня! — сказал вошедший в залу подполковник Дохтуров, — меня послал к тебе Артемон Сергеевич. Мятежники думают, что царевич Иван Алексеевич убит, и требуют выдачи его убийц.

— Покажи им царя и царевича. Может быть, они успокоятся, — сказал Наталье Кирилловне отец ее.

Царица взяла за руку Петра и Иоанна и вывела на Красное крыльцо. Толпа стрельцов, взбежав на ступени, окружила царицу.

— Ты ли царевич Иван? — спрашивали они.

— Я! — отвечал царевич трепещущим голосом. — Успокойтесь, меня никто не обижал и обижать не думал.

— Ой ли? — сказал один из стоявших подле него стрельцов гигантского роста. — Слышите ли, ребята? — кричал он. — Царевич сам говорит, что ему никто *ни-какого дурна* не делал! Не идти ли нам по домам?

В ответ на эти слова раздался на площади громкий крик. Бывшие на крыльце стрельцы сошли на площадь. Все кричали, но нельзя было расслышать ни одного слова. Царица с сыном своим и царевичем Иоанном возвратилась во дворец, а Матвеев сошел с крыльца и, воспользовавшись минутою, когда шум утих несколько, начал говорить:

— Я не узнаю в вас, братцы, прежних стрельцов. Вы были всегда храбрыми воинами и верным слугам царскими. Я сам в старину был вашим головою и всегда

любил вас, как родных детей. Послушайтесь моего совета. Я не верю, чтобы вы сами захотели покрыть себя вечным позором и восстать против вашего законного царя: верно, подучили вас злые и коварные люди. Не слушайте их: они вас обманывают. Они сказывали вам, что царевич Иван Алексеевич убит, а вы видели сами, что он жив и здоров. Неужели кто-нибудь из вас захочет погубить навеки душу свою? Нет, братцы! Вспомните Бога, вспомните час смертный! Дадите ли вы добрый ответ на страшном суде Христовом, когда наругаетесь над крестом Спасителя, который вы целовали с клятвою служить верой и правдой царю Петру Алексеевичу? Успокойтесь, возвратитесь в ваши слободы и докажите, что вы все те же храбрые и верные царю стрельцы.

— Кажись, боярин-то дело говорит! — шептали многие из стрельцов друг другу.

— По домам, ребята! — закричало несколько голов.

Матвеев, обрадованный действием своего увещания, вошел во дворец и сказал царице, что стрельцы, по-видимому, успокаиваются. Но едва успел он удалиться, раздался в толпе чей-то голос:

— Нарышкины убьют не сегодня, так завтра царевича Ивана! Тогда где мы возьмем другого царя! Поневоле останемся при младшем брате! А тогда Нарышкины пуще возьмут волю и всех стрельцов перевешают. Иван Нарышкин вчера надевал на себя царскую порфиру и похвалялся своими руками удушить царевича!

— Смерть Нарышкиным! — воскликнули тысячи голов. — Во дворец! Режь изменников!

Стрельцы бросились толпами к Красному крыльцу, но вдруг остановились, увидев на нем князя Михаила Юрьевича Долгорукого с поднятою саблею.

Все притихли. Долгорукий сошел с лестницы.

— Бунтовщики! изменники! — закричал он. — Голова слетит с плеч у первого, кто осмелится хоть одною ногою ступить на это крыльцо! Слушайте меня! Молчать, говорю я вам!.. Что? Меня не слушаться?.. Вели стрелять! — продолжал он, обратясь к Борису, стоявшему с своею полсотнею по левую сторону Красного крыльца.

— Подыми мушкет ко рту! — закричал Борис, —

*Содми с полки! Возьми пороховой зарядец! Опусти мушкет книзу! Посыпь порох на полку! Поколоти немного о мушкет! Закрой полку! Стряхни! Содми! Положи пульку в мушкет! Положи пыж на пульку! Вынь забойник! Добей пульку и пыж до пороху!*

Оставалось только кричать: «Приложися! Стреляй!» Но стрельцы, воспользовавшись продолжительною командою того времени, успели предупредить Борисова. Оглушенный ударом ружейного приклада по голове, он упал без чувств на землю, а стрельцы его, видя невозможность защищаться против превосходной силы, разбежались.

Мятежники после этого бросились на Долгорукого. Сабля его сверкнула, и голова стрельца, который первый подбежал к нему и замахнулся на него секирою, полетела на землю.

— Силен, собака! — кричал, остановясь шагах в двадцати от князя, один из бунтовщиков, бежавших след за первым стрельцом. Товарищи его также остановились, издали грозя Долгорукому секирами.

— Ну, что стали, лешие! — крикнул десятник. — Одного струсили!.. Вперед!

— погоди, я его разом свалю! — сказал стрелец, целясь в князя из ружья.

Раздался выстрел, пуля свистнула, но, попав вскользь по латам князя, которые были на нем надеты под кафтаном, отскочила в сторону и ранила одного из бунтовщиков.

— Что за дьявольщина! — воскликнул десятник. — И пуля его нейдет, а бьет наших же!

— За мной, ребята! — кричал пятисотенный Чермной, бросаясь на Долгорукого с толпою мятежников.

— Тыфу ты, черт! Еще срубил одному голову! — воскликнул один из стрельцов, бежавших за Чермным, остановясь и удерживая своего племянника. — погоди, Сенька, не суйся прежде дяди в петлю. Авось и без нас сладят с этим лешим!

— Посмотри-ка, дядя, посмотри! как он саблей-то помахивает. Вон, еще кого-то хватил, ажно секира из рук полетела!

— Нечего сказать, славно отгрызается. Да погоди, уж, не отбоярится! Что это? он сам бросил саблю!

Долгорукий, видя, что ничто не может удержать мятежников, кинул саблю и закричал окружавшим его со всех сторон стрельцам:

— Не хочу долее защищаться и проливать кровь напрасно. Во всю жизнь мою я старался делать вам добро и любил вас, как отец. Не хочу пережить позора, которым вы себя покрываете. Вы хотите изменить вашему законному государю, забываете, что целовали крест Спасителя с клятвою служить царю верой и правдой. Делайте, что хотите: за все дадите ответ Богу. Предаю вас праведному суду Его. Я вас любил, как детей,— убейте вашего отца!

— Дядя! на что Чермной кафтан-то с князя снимает? — спросил Сенька своего дядю, который все стоял на прежнем месте, держа за руку племянника.

— Ба, ба, ба! под кафтаном у него латы! Ах он, еретик проклятый! Вот так, долой латы, без них легче!

— Взглянь-ка, дядя, он стал теперь ни дать, ни взять, Рында: весь бел, как снег; никак, на нем атласное полукафтанье. Ну, потащили голубчика! Куда это?

— Вишь ты, на Красное крыльцо. Ай да молодцы, наша братья стрельцы!

Втащив Долгорукого на крыльцо, изверги сбросили его на копья. Кровь несчастного князя потекла ручьями по длинным древкам копий и обагрила руки злодеев. Сбросив его на землю, они принялись за секиры и вскоре с зверским хохотом разбросали разрубленные его члены в разные стороны.

Между тем отряд мятежников ворвался во дворец чрез сени Грановитой палаты. Вбежав в комнаты царицы и, наконец, в ее спальню, злодеи увидели Матвеева.

— Хватайте этого изменника! Тащите, ребята! — закричал сотник.

— Не троньте моего второго отца! — воскликнула царница, схватив Матвеева за руку.

— Ну, что вы стали, олухи! — крикнул сотник. — Что вы на нее смотрите? тащите, да и только!

— Просите какой хотите награды, только не убивайте его. Что он вам сделал, безжалостные! Лучше меня убейте

— Ну, ну, ребята, проворнее! Хватайте и тащите изменника. Делайте, что велено. Не робейте.

— Прочь, изверги! — закричал князь Черкасский бросаясь с саблей к мятежникам, и вырвал из рук их Матвеева, которого они вытащили уже из спальни царицы в другую комнату.

— Не раздражай их, князь Михаил Алегукович, и не подвергай самого себя опасности. Пускай они убьют меня одного, я не боюсь смерти. Во всю жизнь я помнил о часе смертном, я готов умереть.

— Нет, Артемон Сергеевич, жизнь твоя еще нужна для царя и для счастья отечества. Прочь, изменники! Не выдам его! Разрублю голову первому, кто подойдет к нам.

— Ребята, приткните его пикой к стене! — закричал сотник. — Не в плечо, не в плечо, Федька! пониже-то, в левый бок норови! Вот так!

Черкасский, раненый в бок подле самого сердца, упал. Злодеи, схватив Матвеева, вытащили его на Красное крыльцо. Приподняв и показывая боярина толпящимся внизу сообщникам своим, закричали они: «Любо ли вам?»

В ответ раздался крик: «Любо, любо!» — и боярин, столько любимый некогда стрельцами и народом, друг покойного царя Алексея Михайловича и воспитатель матери царя Петра, полетел на острые копыя.

— Во дворец! — закричали злодеи. — Ловите прочих изменников!

С этими словами толпа стрельцов, опустив копыя, взбежала на Красное крыльцо и рассеялась по всему дворцу. Трепещущая царица, проливая слезы, удалилась с сыном своим и царевичем Иоанном в Грановитую палату. Бояре, князь Григорий Григорьевич, сын его Андрей Ромодановские, подполковники Горюшкин и Дохтуров, пали под ударами секир. В одной из комнат дворца скрывался стольник Федор Петрович Салтыков. Мятежники схватили его.

— Кто ты? — закричал один из стрельцов, приставя острие копыя к его сердцу. — Молчишь? Отвечай же! Афанасий Нарышкин, что ли, ты? А! видно, язык не верочается, — так вот тебе, собака! »

Обливаясь кровью, Салтыков упал на пол.

— Боже милосердый! Сын мой! — воскликнул боярин Петр Михайлович Салтыков, войдя в комнату и бросаясь на окровавленный труп своего сына.

— Сын твой? — сказал заколовший его стрелец. — А я думал, что он Афанасий Нарышкин.

— Дал ты маху, Фомка! — сказал десятник, — кажись, в списке нет Салтыковых. Дай-ка справлюсь.

С этими словами вытащил он из-за кушака список и начал читать по складам.

— Так и есть. Сына-то нет, а батюшка тут. Приколи его! Вишь, больно вопит по сыне: жаль бедного!

Рыдающий старец, обнимая убитого сына, ничего не слышал из разговора стрельцов. Удар секиры, разрубивший ему голову, прекратил его страдания.

— Нам еще есть над кем поработать! — сказал десятник, заткнув за кушак список. — Осталось еще довольно изменников. Пойдем, ошарим все другие комнаты: не попадутся ли нам Иван да Афанасий Нарышкины. За их головы цена-то подороже, чем за все прочие, положена.

Переходя из комнаты в комнату и встречаясь почти в каждой с другими стрельцами, искавшими своих жертв, десятник увидел наконец спрятавшегося под столом придворного карлика, который, скорчась от страха, прижался к самой стене.

— Эй, ты, кукла! не знаешь ли, где Иван и Афанасий Нарышкины?

— А что дашь, если скажу? — сказал карлик, с притворной смелостью выступая из-под стола.

— Да вот дам тебе раза секирой по макушке.

— Ну-тка дай! Меня-то ничем не убьешь и не заколешь, а тебя самого скорчит в три дуги. Разве ты не знаешь, что все карлики — колдуны?

— Ах ты, чучело! похож ли ты на колдуна? Вот я тебя угомоню!

— Ну, попробуй! Ударь меня не только секирой, хоть щелчком; тебя разом скорчит.

Стрелец хотел ударить карлика кулаком по голове, но вдруг кулак его разогнулся, и он потрепал колдуна-самозванца по плечу.

— Ты, как я вижу, мал да удал! Ну, что ссориться с тобою!

— Ага, струсил! Вот так-то лучше!

— И вестимо лучше! Если ты в самом деле колдун, так знаешь всю подноготную и, верно, укажешь нам, куда запрятались эти изменники? А не укажешь, так я не

побоюсь твоего колдовства: велю пришибить, похороним, да кол осиновый вколотим в спину. Не бойсь, будешь лежать смиренхонько! Говори же, где Нарышкины?

— Иван близко от вас, чуть ли не в этой комнате. Только вам не найти его. Найдут его другие. А Афанасий спрятался в дворцовой церкви Воскресенья на Сеньях.

— Пойдем туда! Если ты нас обманул, так осиново-го кола тебе не миновать! А откуда ты родом, как твое прозвание и давно ли попал в придворные? — спросил десятник карлика.

— Родился я неподалеку от Москвы, зовут меня Фо-мою Хомяком, а в придворные карлики при царице определил меня брат ее, Афанасий Кириллович.

— Тот самый, который теперь спрятался в церкви?

— Да.

— Не жил ли ты прежде в здешней богадельне? — спросил один из стрельцов. — Я тебя, кажись, там видал.

— Жил, — отвечал карлик.

— Где ж ты колдовству-то обучился, — продолжал стрелец, — неужто в богадельне?

— Колдовству меня обучил покойный дед мой, а в богадельню я вступил только для того, чтобы позабавиться. В две недели я пораспугал-там всех: и хромые, и безрукие, и слепые — все разбежались. То-то уж мне сделалось просторно. Хожу, бывало, из горницы в горницу один-одинехонек да посвистываю. Раз царица с Афанасием Кирилловичем приехала осмотреть богадельню. Он увидел меня и смекнул: на что-де такому малому человеку одному этакой большой дом? «Хочешь ли ты в придворные?» — спросил он меня. «Хочу», — отвечал я. На другой день он приехал за мною, увел во дворец, — и с тех пор служу я при комнатах царицы.

— Не ложь, так правда! — сказал стрелец. — Моя тетка живет лет с тридцать в богадельне, а ни один колдун оттуда ее еще не выживал. Она мне рассказывала, что царица взяла тебя к себе по просьбе Афанасья Нарышкина, сжалась над твоим убожеством.

— А вот увидим! — подхватил десятник. — Покажет ли нам этот колдунишка кого нам надобно? Вот, кажется, дверь в церковь. Коли ты нас обманул, так я тебя за ноги, да и об угол!

Один из стрельцов отыскал пономаря и велел ему отпереть церковь. Пономарь хотел сказать что-то в возмущение, но поднятая над головою секира заставила его замолчать и исполнить приказанное.

Афанасий Нарышкин, брат царицы, был комнатным стольником\*. Он отказался от боярства; слишком скромно думая о себе и не доверяя своим мнениям, он не хотел мешаться в дела Государственной Думы. Благотворительность была первая потребность души его, цель его жизни. Услышав, что стрельцы везде его ищут, чтобы предать мучительной смерти, он поспешил к священнику церкви Воскресения на Сенях, некогда им облагодетельствованному, и просил таинства исповеди и причастия приготовить его к вечности. Священник убедил его, почти принудил скрыться, не теряя ни минуты, в церкви, под престолом. Придворный карлик, проходя мимо церкви и увидев входивших в нее Нарышкина и священника, подсмотрел, что только один из них вышел оттуда и запер церковные двери.

Вдруг среди тишины, царствовавшей в храме, Нарышкин слышит у дверей шум. Ключ два раза щелкнул — и тяжелая дверь заскрипела, медленно поворачиваясь на железных петлях. Кто-то вошел в церковь. Он слышит голос: «Показывай же нам его! где он спрятался?» Другой голос отвечает: «Уж я тебе говорю, что он здесь. Велика поставить у окон и дверей часовых».

По шуму шагов Нарышкин мог заключить, что целая толпа ищет его по церкви.

— Смотри ты, колдунишка, если мы его не сыщем — беда тебе! — сказал один голос. — Осталось только один алтарь обыскать.

Нарышкин слышит, что северные двери отворяются, и несколько человек входят в алтарь.

— И здесь его нет! — говорит голос. — Что, колдунишка, струсил? Вот мы тебя, обманщика! Нет ли разве под престолом изменника? Сунь-ка туда пику, Фомка! Авось голос подаст!

---

Комнатными стольниками назывались те из стольников, которые служили при столе царском не только в торжественные, но и в обыкновенные дни. Вообще название **комнатный** прибавлялось к разным тогдашним чинам для отличия и для значения особенной милости и доверенности государя,



Нарышкин, удерживая дыхание, слышит, что пика проткнула парчевой покров престола. Слегка шаркнув по кафтану Нарышкина, она вонзилась в пол.

— Кажись, никого нет! — сказал голос. — Не приподнять ли покров пикой да не взглянуть ли под престол-то?

— Загляни! — закричал другой голос. — Ба, ба, ба! вот он где, изменник! Тащите его оттуда!

Беззащитного Нарышкина схватили. Он не сказал ни слова своим убийцам, не произнес ни одного жалобного стона. Когда его выносили из алтаря, он взглянул на образ Воскресения Христа, стоявший за престолом, вздохнул, закрыл глаза — и душа его погрузилась в жаркую, предсмертную молитву. Преддверие храма Божиего обращено было в плаху. Секиры злодеев пролили кровь невинного. Разрубленное на части тело Нарышкина изверги сбросили на площадь пред церковью.

— Пойдем теперь отыскивать Ивана Нарышкина! — сказал десятник, подняв на плечо секиру, с которой капала еще кровь. — Скажи-ка нам, колдун, где он?

— Я знаю, где он, но если и скажу, то все вам не пайти его! — отвечал карлик.

— А почему так?

— Да так; не найти, и только!

— Заладил одно: не найти! Скажи нам только, где он. Поищем, не сыщем — беда не твоя. Без того я тебя не отпускаю! Гришка! Возьми его за ворот!

— Смотри, Фома — не знаю, как по батюшке — не скорчи меня, пожалуйста! — сказал Гришка. — Мне приказано взять тебя за ворот, а сам бы я тебя волоском не тронул.

— Не ты велел, так и беда не твоя.

— Ну, ну,пусти уж его, пострела! — сказал десятник, когда он со стрельцами и карликом вышел из дворца. — Ступай на все четыре стороны, да не поминай нас лихом!

— Счастлив ты, что меня отпустил. Задержи ты меня еще хоть немножко, я бы тебя так испортил, что никакая ворожея не помогла бы тебе!

— Ну, полно гневаться! Да не испортил ли уж ты меня, скажи по правде. Не сгуби понапрасну!

— То-то, не сгуби! Ты уж вполовину испорчен. В дугу тебя не сведет, а только через два дня ты кликать на-

чнешь: залаешь по-собачьему, захрюкаешь по-свиному и заквакаешь по-утиному. Недели две или три без умолку пролаешь, прохрюкаешь да проквакаешь, а после ничего: тем все и кончится.

— Неужто? — воскликнул с ужасом десятник. — Фомушка, батюшка, отец родной, помилуй! Нельзя ли порчу как-нибудь исправить? Легкое ли дело три недели лаять, да к тому еще хрюкать и квакать! Взмилуйся! А не взмилуешься, так, право, секирой хвачу. Пусть же не даром промучусь. Ну что ж такое! Хрюкать так хрюкать, коли на то пойдешь! Ведь не умру же от этого, а ты-то, чертов сын, уж не воскреснешь. А все-таки лучше, Фомушка, если б ты со мной помирился и порчу из меня выгнал. Разошлись бы мы с тобой приятелями, подброду поздорову.

— Ну, ну, хорошо! Полно кланяться-то. Становись на колена.

Десятник с подобострастием исполнил приказание. Прочие стрельцы, окружив карлика и десятника, смотрели на первого с любопытством и страхом.

— Приложи правую ладонь к земле, — закричал колдун, — и зажмурь правый глаз! Правый, говорят тебе, а не левый! Зажмурь крепче, а не то окривеешь.

Десятник, опершись правой рукой о землю, смотрел одним глазом на карла с умоляющим видом.

— Теперь надобно выдернуть у тебя десять седых волос из бороды. Да смотри, не морщиться, а не то беда!

— Выдерни хоть две дюжины, отец родной, сколько угодно, только избавь от порчи!

— Больше десяти не нужно! Раз, два, три, ну, вот и четыре, пять, вот и шесть, семь, вот восемь... Ну, не хорошо, очень худо: больше нет седых-то, все черные!

— Ахти, мой батюшка, неужто нет? Поищи, кормилец! Не сгуби меня, окаянного!

— Постой, постой! вот, кажется, еще седой волос — девять! ну, а десятого, воля твоя, нет!

— Как не быть, батюшка! сыщется. Поищи, родимый!

— Говорят тебе, нет! Что ж мне делать! Вина не моя! Вот есть, и не один, с седым кончиком, да черт ли в них. Надобно, чтоб весь был седой.

— В усах-то погляди, отец родной, в усах-то нет ли?

— В усах! Что мне усы! Надобно из бороды.

— Этакая напасть какая! Поищи, почтенный, пожалуйста, постарайся.

— Правда, можно вместо одного седого выдернуть десять черных, если хочешь.

— Дергай, кормилец мой, дергай скорее: только порчу-то выгони!

Выдернув еще десять черных волосов карлик с важным видом свернул их в комок, поднес ко рту, пошептал что-то и зарыл волосы в землю.

— Ну, ступай теперь. Да вперед не ссорься с нашим братом.

Десятник в восторге вскочил, поклонился карлику в пояс и поспешно пошел от него с своим отрядом, ворча про себя:

— Проклятый! Не будь он такой сильный колдун, так я изрубил бы его в мелкие кусочки! Пострел этакой! Бесенок! Сам бы ты у меня заквакал, сам бы завизжал поросенком под секирой! Я бы тебя!

Обыскав дворец, мятежники рассеялись по всей Москве, грабили дома убитых ими бояр и искали везде Ивана Нарышкина и всех тех, которые успели из дворца скрыться. Родственник царицы, комнатный стольник Иван Фомич Нарышкин, живший за Москвою-рекою, думный дворянин Илларион Иванов и многие другие были отысканы и преданы мучительной смерти.

Солнце явилось из-за туч на прояснившемся западе и осветило бродящих по Москве стрельцов и брошенные ими на площадях жертвы их ярости. Оставив в Кремле многочисленную стражу, мятежники возвратились в свои слободы.

## II

*От ужаса ни рук не чувствую, ни ног;  
Однако должно скрыть мне робость ради чести.*

Княжнин.

Бурмистров, отправленный Долгоруким к Кравгофу, выехал из Кремля на Красную площадь и во весь опор проскакал длинную, прямую улицу, которая шла с этой площади к Покровским воротам. Проехав чрез них, он вскоре достиг Яузы и въехал в Немецкую слободу. По числу улиц и по виду деревянных домов она походила

на нынешнее богатое село. В слободе были три церкви, одна кальвинская и две лютеранские. Остановясь у дома Кравгофа и привязав у ворот к кольцу измученную свою лошадь, Бурмистров вошел прямо в спальню полковника, который, затворив дверь и не велел слуге никого впускать к себе, курил тайком трубку\*. Кравгоф был родом датчанин, но слыл в народе немцем, потому что в старину это название присваивали русские всем западным иностранцам. По его представлению Бутырскому полку дано было красное знамя с вышитою посредине крупными буквами надписью: «*Берегись!*» Он три недели выдумывал эту надпись и остановился на том, что нельзя лучше выразить храбрости полка и того страха, который он наносит неприятелю; но насмешники перетолковали выдумку его по-своему. Кравгоф-то, говорили они, велит своим поберегаться и не так, чтобы очень, храбриться.

— Князь Михаил Юрьевич Долгорукий прислал меня к тебе, господин полковник, с приказанием, чтобы ты шел как можно скорее с полком ко дворцу.

— К творес? — воскликнул Кравгоф, вскочив со стула и проворно опустив трубку в карман длиннополого своего мундира.

— Да, ко дворцу. Восемь стрелецких полков взбунтовались.

— Мой не понимай, што твой каварит.

— Восемь полков взбунтовались, хотят окружить дворец, убить всех бояр, приверженных к царице, провозгласить царем Иоанна Алексеевича. Ради Бога, поскорее, господин полковник!

— Ай, ай, ай! какой кудой штук! А хто скасал маршировать с мой полък?

— Меня послал к тебе князь Долгорукий.

— Толгирукий? Гм! Он не есть мой нашальник. Если велес сарис, то...

— Помилуй, Матвей Иванович, ты еще рассуждаешь, когда каждый миг дорог.

— Мой сосывать тольшен военний совет, а патом марш.

---

\* Табак запрещено было курить даже и иностранцам. Полковник фон Деллен, по обвинению патриарха Никона, был наказан кнутом за употребление табака.

— Побойся Бога, Матвей Иванович, это уж ни на что не похоже. Есть ли теперь время думать о советах?

— Стрелиц не снает слюшпа, и патому так утивлялся! Гей! Сеньке!

Вошел Сенька, слуга полковника.

— Побеши х геспетин польпольковник, х маиор, х каптень, х порушик, потпорушик, прапоршик, скаши, штоп все припешал ко мне. Ешо вели свать отни ротна писарь.

Бурмистров, видя, что нет возможности принудить упрямого Кравгофа к перемене своего намерения, в величайшей досаде отошел к окну и, скрестив на груди руки, начал смотреть на улицу. Чрез несколько времени стали собираться приглашенные для военного совета офицеры Бутырского полка.

Сначала вошел маиор Рейт, англичанин, потом подполковник Биелке, швед, с капитаном Лыковым. Когда и все прочие офицеры собрались, Кравгоф приказал ротному писарю Фомину принести бумаги и чернилицу, пригласил всех сесть и сказал:

— Князь Толгирукий прислал вот этот косподин стрелица скасать, што восемь полък вспунтирофались и штоп наша полък марш ко творса. Сарись не скасаль нишего. Натопна ли марш?

— Господи, твоя воля! — воскликнул капитан Лыков. — Восемь полков взбунтовались! Да что же тут толковать? Пойдем, побежим драться, да и только!

— Косподин каптень! твой не толышна каварить преште млатший офицер! — воскликнул Кравгоф. — Косподин младший прапорщик, што твой тумает?

— Тотчас же идти ко дворцу и драться!

— Траться? Гм! Косподины все прошие прапорщик, што ви тумает?

— Драться! — отвечали в один голос прапорщики.

— А косподины потпорушики и порушики?

— Драться!

— А где ешо три каптень? Зашем вишу отин?

— Двое захворали, а один, как известно, в отпуске, — отвечал Лыков.

— А зашем нет рапорт о их полеснь?

— Есть, господин полковник! Я вчера подал, — сказал ротный писарь.

— Карашо!.. Ну, а косподин Ликов, што твой тумает?

— Я думаю, что надобно дать время бунтовщикам войти в Кремль, окружить дворец и сделать, что им заблагорассудится, а потом идти не торопясь ко дворцу, взглянуть, что они сделали, и разойтись по домам.

— Твой смеет шутить, косподин каптень! Твой смеет смеяться! — закричал Кравгоф, вскочив со своего места. — Я твой велю сатить на арест.

— За что, господин полковник? Меня спрашивают: что я думаю? я должен отвечать.

— Твой кавариль сперва траться!

— Я и теперь скажу, что без драки дело не обойдется и что надобно бежать ко дворцу, не теряя ни минуты.

— Мальши, каптень! Мой снает не хуше твой поряток. Косподин маиор, што твой тумает?

— Я думаю, что тут нечего долго думать, а должно действовать! — отвечал сквозь зубы Рейт, довольно чисто говоривший по-русски; он давно уже жил в России.

— А твой што скашет, косподин польпольковник?

— Мой скашет, што в такой вашний дело нушно сперва тумать, карашенька тумать. Сперва план, диспозиция, а потом марш!

— Карашо, весьма карашо! Мой сокласна. Фомкин! Тай пумага с перо; я сделай тотшас план и диспозиция.

Выведенный из терпения медленностью Кравгофа, Бурмистров вскочил со своего места и хотел что-то сказать; но вдруг отворилась дверь, и вбежал прапорщик Сидоров, посланный еще накануне полковником в Москву с каким-то поручением.

— Бунт! — закричал он. — Стрельцы убили князя Долгорукого и ворвались во дворец! Я сам видел, как несчастного князя сбросили с Красного крыльца на копы и разрубили секирами!

— Боже милостивый! — воскликнул Бурмистров, сплеснув руками. — Господин полковник, господа офицеры! Вспомните Бога, вспомните присягу! Пойдем против мятежников, защитим царя, или умрем за него!

— Умрем за царя! — закричали все, выхватив шпаги. Кравгоф и Биельке также вытащили из ножен свои мечи. Первый при этом воскликнул: «Да, да! Пудем все умереть!» Биельке прибавил: «Да, да! И мой пудет умереть!»

— Zounds\*! — заревел басом англичанин Рейт, бросаясь к дверям с обнаженной шпагой. В дверях столкнулся он с капралом Григорьевым.

— Где господин полковник? — спросил капрал.

— Што твой натоппа? — сказал Кравгоф.

Капрал, вытянувшись перед ним, начал говорить:

— Все солдаты нашего полка и с капралами разбежались. Теперь, я чаю, одни домовые остались в избах. Я хотел своих солдат остановить, спрашиваю: куда? — ничего не говорят, хватают ружья да бегут. Что прикажете делать, господин полковник?

— Какой кудой штук, какой кудой штук! — повторял Кравгоф, ходя в беспокойстве взад и вперед по комнате. Бурмистров, поклонясь полковнику и прочим офицерам вышел, сел на лошадь и поскакал в Кремль.

— Вон бежит по улице солдат с ружьем! — сказал Лыков. — Так бы и приколот бездельника!

— Где пешит? — сказал Кравгоф, приблизясь к растворенному окну. — Гей! сольдат! сольдат! Кута твой пешит?

Солдат взглянул на окно и побежал далее, не останавливаясь.

— Косподины официр! — воскликнул Кравгоф. — Сольдаты вспунтирофались! Што стелать с пестельники? Сольдат не хошет каварить с комантир! О, я его наушаю каварить! Косподины официр! што ваш тумает стелать?

— А вот я его заставлю говорить! — проворчал Лыков, выбегая из комнаты. Нагнав солдата, он остановил его, отнял ружье и привел, держа за ворот, к полковнику. Приставив к груди его шпагу, капитан закричал:

— Сейчас говори, бездельник, куда ты бежал и зачем? Если солжешь, так я тебя разом приткну к стене.

— Виноват, батюшка! Помилуй! Скажу всю правду-истину! Вчера ходил у нас по избам какой-то дворянин, роздал много денег и обещал еще два-эстолька, если мы заступимся за царевича Ивана Алексеича. Он сказал, что все стрельцы на стороне царевича и что когда они войдут в Кремль, то он пришлет гонца за нами. Гонец приехал, мы и бросились в Кремль. Помилуйте, государи-батюшки! наше дело солдатское; солдат глуп: всему верит!

---

\* Английское восклицание, соответствующее французскому «*merbleu!*».

— Всему верит! — воскликнул Лыков.— Ах ты, злодей-мошенник! Видишь, каким простаком прикидывается. Разве ты забыл присягу? Целовал ли ты крест, чтобы служить царю Петру Алексеевичу верой и правдой?

— Целовал, батюшка, целовал!

— А что же ты теперь делаешь! Дали алтына четыре, так душу и продал сатане! Беги, куда бежал, мы тебя не держим. Стрельцы взбунтовались против царя, и ты бунтуй с ними вместе; стрельцы забыли Бога, и ты забудь. Беги, любезный, беги к ним, прямо к сатане в когти. Что ж ты стоишь? я тебя не держу.

— Да, да, пестельник! Твой путут садить на ад и шарить на горяч, красна калена сковорот! — сказал Кравгоф, думая, что он удачно подделался к простым понятиям солдата о вечных мучениях и сильно на него подействовал.

Солдат, пораженный словами капитана, почувствовал всю меру своего преступления, заплакал и упал к ногам его.

— Приколи меня, батюшка! — говорил он, всхлипывая.— Погубил я свою душу! Приколи меня, окаянного! Отрекся я от Бога. Отцы мои родные, казните, расстреляйте меня!

— Нет; тебя расстрелять еще не за что. Конечно, грех твой велик, но если раскаешься и загладишь вину свою добрым делом, то Бог простит тебя! Чем бежать, прямо в когти сатане, пусть-ка лучше вдогонку за своими товарищами и уговаривай всех, чтоб они не позорили имени русского изменой и не губили душ своих!

Солдат, обняв ноги капитана, вскочил. Лицо его сверкнуло радостью и мужеством.

— Побегу! — воскликнул он.— Стану уговаривать, чтобы образумились и стали грудью за царя. Не послушают, так штыком начну бунтовщиков усовещивать.

— Вот это дело, брат! — сказал Лыков.— И капитан твой побежит вместе с тобою на доброе дело.

— И мы все! — закричали офицеры.

— И ми! Да! И ми! — прибавили Кравгоф и Биельке.

— Идем! марш! — воскликнул громовым голосом Рейт, махая шпагою.— Смерть всем бунтовщикам и изменникам!.. Это что за дьявольщина! — крикнул он, отворив дверь и увидев несколько солдат, стоявших в сенях.



— Стой! — закричали солдаты, прицелясь из ружей в Рейта. — Не велено никого пускать отсюда. Вокруг дома целая рота!

— Я уж как-нибудь пролезу! — закричал Лыков и бросился в двери. Рейт хотел удержать его за руку, но не успел. Усёвещенный Лыковым солдат, бывший с офицерами в комнате, схватил ружье свое и побежал за капитаном.

Несколько ружей прицелились в них, когда они из сеней вышли на улицу.

— Что вы, мошенники! — крикнул Лыков таким ужасным голосом, что вся окружавшая его толпа солдат вздрогнула. — Да как у вас рука-то поднялась прицелиться в меня, вашего капитана! Испугать меня вздумали? Не испугаете! Плюю я на смерть и на вас всех, бездельников. Видите ли, я вот стою, не бегу, не хочу даже и защищаться. Разбойники, что ли, вы, или православные солдаты? Ну, ну, кто из вас отдал душу черту, тот прикладывайся и пали в Лыкова. Бровь не поморщ, упаду с радостью на сырую землю за царя и правое дело. Что ж вы ружья-то опустили?.. Видно, совесть заговорила?.. Слушайте, ребята! Кто меня любит, тот сейчас поднимай на штык подлеца, который осмелится в капитана выстрелить. Спровадьте его подлую душонку прямо в ад, к сатане в гости. Ну, ну, что ж в меня никто не стреляет? Что?.. Головы повесили, беспутые! Стыдно в глаза посмотреть мне, вашему капитану. Ах вы, бараны безмозглые, вороны пустоголовые! Да что это вы затеяли? Какой злодей, какой дьявол вас натолкнул на такое богопротивное дело? Если б вы видели, как мое сердце болит за вас! Жаль, куда мне жаль вас: вы до сих пор были brave солдаты, христиане православные. Эх! как жаль мне вас, солдатушки!.. — Лыков прослезился.

— Виноваты! — заговорили некоторые. — Виноваты, отец наш, капитан! — подхватили многие голоса. — Виноваты! — крикнули наконец все солдаты в один голос. — Согрешили Богу и государю!

Лыков вмиг утер слезы, бодро и весело поднял голову и окинул глазами всех солдат, поправляя усы.

— То-то, виноваты! Велик ваш грех, но можно в нем покаяться — и все дело поправить. Выкиньте дурь из го-

ловы да меня послушайте. Пойдемте-ка унимать бунтовщиков. Коли согласны, так и я командовать начну. Смирно! Стройся!

Солдаты поспешно построились в ряды.

— На караул! Раз! Два! Гаркнем ура! да и марш!

— Ура! — крикнули единодушно солдаты.

— Спасибо, ребята! Теперь скорым шагом марш!

Вся рота двинулась за капитаном. Прочие офицеры, оывшие в доме, последовали за нею. Но они пришли уже поздно в Кремль: на площади лежали одни жертвы; палачей уже там не было.

### III

*Подъялась вновь усталая секира  
И жертву новую зовет.*

Пушкин

На другой день, шестнадцатого мая, рано утром, шел отряд стрельцов по одной из главных улиц Белого города. Поравнявшись с домом князя Юрия Алексеевича Долгорукого, отца начальника стрельцов, убитого ими накануне, они остановились и начали стучаться в ворота.

Малорослый слуга отворил калитку и едва устоял на ногах от ужаса, увидев пришедших гостей.

— Дома ли боярин? — спросил один из них.

— Как не быть дома! Дома, отец мой! — отвечал слуга, заикаясь.

— Скажи боярину, чтоб он вышел на крыльцо: нам до него есть нужда.

— Слушаю! — сказал слуга и побежал на лестницу.

Через несколько времени явился на крыльце восьмидесятилетний князь. Он был без шапки, и ветер развеивал его седые волосы. Лицо старца выражало глубокую скорбь.

— Мы пришли к тебе, боярин, просить прощения, — сказал стрелец, стоявший впереди своих товарищей, — погорячились мы вчера и убили твоего сына!

— Бог вас простит! Я не стану укорять вас. Мне не воскресить уже сына!

— Спасибо тебе, боярин, что зла не помнишь! — сказал стрелец.

— Спасибо! — закричала вся толпа.

— Если же дать нам выпить за твое здоровье и за упокой души твоего сына! — продолжал стоявший впереди стрелец. — У тебя, я чаю, погреб-то, как полная чаша!

Князь, не ответив ни слова, вошел в свою спальню, сел у окна и приказал слуге отпереть для стрельцов свой погреб. Выкатив оттуда бочку, незваные гости расположились на дворе, потребовали несколько кружек и начали пить. Малорослый слуга, отворивший им калитку, потчевал их и низко кланялся.

— Скажи-ка ты, холоп, старик-то вопил вчера по сыне? — спросил один из стрельцов.

— Как же, отец мой. Он лежал хворый в постели: а как услышал про свое горе, то стал на колена перед святыми иконами да так и облился слезами. — Приметив неудовольствие на лице стрельца, слуга примолвил: — Не то, чтобы с горя заплакал, а с радости. «Много ты мне стоил забот и кручины! — сказал он. Спасибо добрым людям, что тебя ухаживали!».

— Врешь ты, холоп! Скажи всю правду-истину: что говорил боярин? Не то хвачу по виску кружкой, так и ноги протянешь!

— Виноват, отец мой, не гневайся, скажу всю правду-истину! — сказал дрожащим голосом слуга.

— Грозился ли на нас боярин?

— Грозился, отец мой.

— Ага, видно, щука умерла, а зубы целы остались! Что же говорил старый хрен?

— Говорил, отец мой, говорил!

— Тыфу ты, дубина! Я спрашиваю: что говорил?

— Щука умерла, а зубы целы остались.

— Вот что? Ах, он злое зелье! Чай, рад бы всех нас перевешать! Что он еще говорил? — закричал стрелец, схватив слугу за шею.

— Взмилуйся, отец мой, ведь не я говорил, чтоб вашу милость перевешать.

— Как, разве он и это сказал?

— Не помню, отец мой! Ахти, мои батюшки, совсем задавил! Отпусти душу на покаяние! Тошнехонько!

— Задавлю, коли не скажешь всей правды!

— Скажу, кормилец мой, скажу! Боярин говорил, что сколько на кремлевских стенах зубцов, столько вас повесят стрельцов!

— Слышите ли, братцы, что старый хрен-то лаял? Постой ты, собака!

С этими словами опьяневший уже стрелец вскочил и бросился на крыльцо. За ним побежало несколько его товарищей. Схватив старца за седые волосы и вытащив за ворота, злодеи изрубили его и, остановив крестьянина, который вез белугу на рынок, закололи его лошадь, отняли у него рыбу и бросили ее на труп князя.

— Вот тебе и обед! — закричали они с хохотом и побежали в Кремль.

В находившейся близ спальни царицы Натальи Кирилловны небольшой комнате, в которую вела потаенная дверь, родитель царицы Кирилл Полиевктович и брат ее Иван Кириллович, скрывшиеся туда накануне, придумывали средство выйти из дворца и тайно выехать из города; убежище свое, указанное им царицею, но многим из придворных известное, они не считали верным. Вскоре после рассвета пошли они в спальню Натальи Кирилловны, которая всю ночь провела в молитве. Иногда, переставая молиться, подходила она к стоявшей у стены скамье, обитой бархатом, и, проливая слезы, благословляла сына своего. Одетый в парчовое полукафтанье, он спал, покаясь на изголовьи, руками матери для него приготовленном. Трепеща за жизнь сына, она решилась уложить его в своей спальне и всю ночь охранять его. Вошедши тихонько к царице, родители ее и брат сообщили ей свое намерение. Видя ее беспокойство, они остались в ее спальне почти до полудня, стараясь успокоить ее советами и утешениями. Между тем проснулся Петр Алексеевич, встал, помолился и начал также утешать свою родительницу.

— Стрелецкий пятисотенный Бурмистров просит дозволения предстать пред твои светлые очи, государыня! — сказала постельница царицы, вошедши в спальню.

— Бурмистров? Я сейчас выйду к нему, — сказала царица. — А вы, батюшка и братец, удалитесь в вашу комнату! Бурмистров до сих пор был предан моему сыну; но в нынешнее время на кого можно положиться?

Когда отец и брат царицы удалились, она вышла к Бурмистрову. Он низко ей поклонился и сказал:

— Государыня! я собрал почти всех стрельцов нашего полка и скрыл в разных местах около Кремля. Мя-

тежники и сегодня войдут опять в Кремль. Позволь, государыня, сразиться с ними! К нам пристанут все честные граждане. Я многим уже раздал оружие. Московские жители всем сердцем любят твоего венценосного сына и с радостью прольют за него кровь свою.

— Благодарю тебя за твое усердие и верность! Дай Бог, чтобы я могла наградить тебя достойно! Не хочу, однако ж, кровопролития. Я узнала, что Софья Алексеевна не хочет отнять царского венца у моего сына, а желает только, чтобы Иван Алексеевич вместе с ним царствовал.

— Как, государыня, у нас будут два царя?

— Софья Алексеевна желает именем их сама править царством и отнять у меня власть, которую мне Бог даровал. Спаситель не велел противиться обидящему. Я уступаю ей власть мою. Дай Бог, чтобы она употребляла ее лучше, нежели я, для счастья России. Не хочу, чтобы за меня пролилась хоть одна капля крови. Благодарю от моего имени всех верных стрельцов и распусти их по домам. Поди и будь уверен, что я никогда не забуду твоей верности и усердия.

— Сердце твое в руке Божией, государыня! Я исполню волю твою!

Едва Бурмистров удалился, раздался звон на Ивановской колокольне, барабанный бой и шумные восклицания перед дворцом на площади. Царевна Марфа Алексеевна, старшая сестра царевны Софии, поспешно вошла в спальню царицы. Бледное ее лицо выражало страх и смущение.

— Срельцы требуют выдачи дядюшки Ивана Кирилловича! — сказала она. — Кравчий князь Борис Алексеевич Голицын пошел на Красное крыльцо объявить им, что Иван Кириллович из Москвы уехал. Злодеи, вероятно, станут опять обыскивать дворец: не лучше ли ему скрыться в моих деревянных комнатах, что подле Патриаршего Двора? Туда мудрено добраться, не зная всех сеней, лестниц и переходов дворца. Постельница моя Клушина, на которую я совершенно полагаюсь, проводит туда дядюшку.

Наталья Кирилловна хотела благодарить царевну, хотела что-то сказать ей, но ничего не могла выговорить. Она крепко обняла ее, и обе зарыдали.

Марфа Алексеевна кликнула свою постельницу, бывшую в другой комнате, и пошла с нею к родителю и брату царицы.

Через несколько минут толпа стрельцов вбежала в спальню Натальи Кирилловны.

— Где брат твой? — закричал один из сотников. — Выдай сейчас брата, или худо будет.

— Ты забыл, злодей, что говоришь с царицей! — воскликнул Петр Алексеевич, устремив сверкающий от негодования взор на сотника.

— Брата нет здесь, — сказала Наталья Кирилловна.

— А вот увидим! — продолжал сотник. — Ребята! пойдем и ошарим все углы.

Стрельцы вышли из спальни и рассеялись по дворцу. После напрасных поисков они вышли на площадь и вызвали на Красное крыльцо несколько бояр.

— Скажите царице, — закричал пятисотенный Чермной, — чтобы завтра непременно был нам выдан изменник Иван Нарышкин, а не то мы всех изрубим и зажжем дворец!

После этого мятежники из Кремля удалились. На другой день опять раздался в Кремле набат и звук барабанов. Вся площадь пред дворцом наполнилась стрельцами. С ужасными угрозами стали они требовать выдачи брата царицы.

Устрашенные бояре собрались в ее комнатах. На всех лицах изображались ужас и недоумение.

— Матушка! — сказала царевна София, войдя в комнату. — Все мы в крайней опасности! Мятежники требуют выдачи Ивана Кирилловича. В случае медленности грозят нас всех изрубить и зажечь дворец!

— Брата нет во дворце, — отвечала царица. — Пусть рубят нас мятежники, если забыли Бога и перестали уважать дом царский.

— Где же Иван Кириллович? Если б он знал про нашу опасность, то, верно бы, сам решился пожертвовать собою для общего спасения.

— Он и пожертвует, — сказал Нарышкин, неожиданно войдя в комнату.

— Братец! что ты делаешь! — воскликнула, побледнев, царица. Упав в кресла и закрыв лицо руками, она зарыдала.

Все присутствовавшие молчали. Удивленная София долго не могла ни слова выговорить. Великодушие Нарышкина победило на минуту ненависть, которую она давно к нему в глубине сердца таила. Наконец царевна сказала:

— Не печалься, любезный дядюшка! Все рано или поздно должны умереть. Счастлив тот, кто, подобно тебе, может пожертвовать жизнью для спасения других. Я бы охотно умерла за тебя; но смерть твоя, к несчастью, неизбежна. Покорись судьбе своей!

— Я не боюсь смерти. Желая, чтоб и другие могли ее встретить так же спокойно, как я встречаю. Дай Бог, чтобы кровь моя успокоила мятежников и спасла отечество от бедствий.

В дворцовой церкви Спаса Нерукотворенного собралось множество стрельцов, согласившихся, по просьбе Нарышкина, чтобы он пред смертью исповедался и приобщился Святых Тайн. Нарышкин, царица Наталья Кирилловна и царевна София, в сопровождении всех бывших во дворце бояр, вошли в церковь. После исповеди началась обедня. Каждая оканчивавшаяся молитва напоминала царице, что час смерти любимого ее брата приближается.

Хор запел «Отче наш». «Уже в последний раз на земле,— думал Нарышкин,— слышу я эту молитву, которую нам Спаситель заповедал.— Он стал на колена. «Да будет воля Твоя!» — повторил он вполголоса. Когда раздались слова: «И остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим!», — Нарышкин от искреннего сердца простил Софию и начал за нее молиться.

Наконец отворились царские врата. Раздался голос священнослужителя: «Со страхом Божиим и верою приступите!» — и Нарышкин, забыв все земное, подошел к чаше спасения.

— Теперь уж недолго осталось жить изменнику! — шепнул один из бывших в церкви стрельцов своему товарищу.

— Певчие, кажется, нарочно пели протяжно, чтобы обедня не так скоро кончилась,— сказал другой стрелец.— Ну, вот уже он приобщился. Опять запели! Будет ли конец этой обедне?

Служба кончилась. Боярин князь Яков Никитич Одоевский вошел торопливо в церковь.

— Государыня! — сказал он, подходя к царице. — Стрельцы, стоящие на площади, сердятся, что заставляют их ждать так долго, и грозят всех изрубить. Нельзя ли, Иван Кириллович, выйти к ним скорее? — продолжал он, обратясь к Нарышкину.

Царица, терзаемая неизобразимою горестию, вовсе не слышала слов Одоевского. Проливая слезы, она смотрела на брата. Он подошел к ней.

— Прости! — сказал он прерывающимся голосом. — Не терзайся! Забудь мою погибель и помни мою невинность!

Почти без чувств упала царица в объятия брата. Бояре плакали. Стрельцы изъявляли нетерпение.

Софья, смущенная раздирающим сердце зрелищем, отвернулась, подошла к иконостасу и, взяв с наоя образ Богоматери, подала царице.

— Вручи эту икону несчастному страдальцу: при виде ее, может быть, сердца стрельцов смягчатся, и они простят осужденного ими на смерть. — Царевна произнесла эти слова громко, чтобы стрельцы, бывшие в церкви, могли их слышать.

Царица подала икону брату. Он с благоговением взял ее и спокойно пошел к дверям золотой решетки, сопровождаемый с одной стороны рыдающею сестрою, а с другой — царвеною Софиею.

Едва отворились двери решетки, раздался неистовый крик:

— Хватай, тащи его!

Окружающие дворец стрельцы, увидев Нарышкина, влекомого толпою товарищей их на площадь, наполнили воздух радостными восклицаниями. Теснясь вокруг своей жертвы и осыпая страдальца ругательствами, злодеи провели его чрез весь Кремль к Константиновскому застенку. Там, за деревянным, запачканным столом, на котором лежало несколько бумажных свитков и стояла деревянная кружка с чернилами, сидел под открытым небом крестный сын боярина Милославского, площадной подьячий Лысков.

— Добро пожаловать! — воскликнул он, увидев Нарышкина. — Так-то все на свете превратно! Сестрица



твоя хотела было меня согнать со света; а теперь я буду допрашивать ее брата. Эй! десятник! Подведи-ка боярина поближе к столу. Тише, тише, господа честные! Вы этак стол уроните. Что Нарышкин-то за невидальщина!

— Начинай же допрос! — сказал стоявший подле Лыскова сотник.

— Не в свое дело не суйся, господин сотник! Ты приказного порядка не смыслишь. Лучше поди-ка посмотри: готово ли все для пытки?

— Все готово! Уж не заботься!

— Ну, Иван Кириллович, примемся за дело! — продолжал Лысков, развертывая один из лежавших на столе свитков.

— К чему меня допрашивать? — сказал Нарышкин. — Я не сделал никакого преступления! Не теряйте времени и скорее убейте меня. За кровь мою дадите ответ Богу. Молю Его, чтобы Он простил всех врагов моих, которые довели меня до гибели!

— Все это хорошо! А допрос-то надобно кончить своим чередом. Тебя никто убивать не хочет. Оправдаешься — ступай на все четыре стороны; не оправдаешься — по закону казнят тебя. Плакаться не на кого. Закон для всех писан.

— Для всех! Вишь что выдумал! — шепнул один из стоявших за стулом Лыскова своему соседу. — По Уложению, надо было бы у самого нос отрезать; а нос-то у него целехонек. Ой, эти приказные твари! Как бы умел кто-нибудь из нашей братии допрос и приговор написать, так я бы этому еретику теперь же обрубил нос-то, да и голову кстати. Вот-те и закон!

— Замышлял ли ты извести царевича Ивана Алексеевича? — спросил Лысков. — Говори же, Иван Кириллович!... Эй, вы! в пытку его!

Видя, что жестокие мучения довели Нарышкина почти до бесчувственности, но не принудили его признаться в преступлении, выдуманном его врагами, Лысков велел снова подвести страдальца к столу.

— Упрям же ты, Иван Кириллович! Однако ж я не хочу тебя напрасно мучить; запишу, что ты признался. Можно ведь и молча признаться. Согласен ли ты на это?

Нарышкин не отвечал ни слова.

— Молчишь — и, стало быть, соглашаешься. Дело доброе. Запишем!.. Надевал ли ты на себя царскую порфиру?... Также молчишь? И это запишем.

Предложив еще около десяти вопросов и не получив ни на один ответа, Лысков записал, что Нарышкин во всем признался. Развернув потом другой свиток, Сидор Терентьевич громко прочитал следующее:

— Уложения главы II, в статье 2-й сказано, что *буде кто захочет Московским Государством завладеть и Государем быть и про тое его измену сыщется до пряма, и такова изменника потому же казнити смертию.* И так, по силе оной статьи, — сказал Лысков с расстановкой, записывая произносимые им слова, — боярина Ивана Нарышкина, признавшегося в измене, казнити смертию. Ну, господа честные, подписывайте приговор — и дело в шляпе. Господин сотник, не угодно ли руку приложить? Вот перо. Еще кому угодно?

— Подпишись за всех разом! — сказал десятник.

— Пожалуй! Надобно будет написать: за неумением грамоте.

— Пиши, как знаешь; это твое дело! — закричало несколько голосов.

Положив перо на стол и свернув свиток, Лысков подал его важно сотнику.

— Вот и приговор! Теперь можно его исполнить!

— Ладно! это уж наше дело! — сказал сотник, разорвав на клочки поданную ему бумагу.

— Что ты, что ты, отец мой! В уме ли ты? Да знаешь ли, что велено делать с тем, кто изорвет приговор?

— Не знаю, да и знать не хочу? Эй, ребята! ведите-ка боярина на Красную площадь. Ба, ба, ба! это еще кого сюда тащат? Что за нищий?

— Не нищий, — сказал пришедший с отрядом десятник, — а еретик и чернокнижник Гадин. Вишь, какое лохмотье на себя надел. Мы насилу его узнали!

— А! милости просим! — воскликнул сотник. — Не принес ли он такого же яблочка, каким уморил царя Федора Алексеевича?

— Надобно его допросить, — сказал Лысков.

— Вот еще! С этим молодцом мы и без допроса управимся! — сказал приведший фон Гадена десятник.

Проходил я мимо Поганого пруда\* и спросил прохожего: не знаешь ли, где живет лекарь? Он указал мне дом. Я на крыльцо. Попался навстречу какой-то парень на лестнице: сын, что ли, лекаря, аль слуга — лукавый его знает! Кто живет здесь? — спросил я. Он было не хотел отвечать и задрожал, как осиноый лист. Я его припугнул. — Батюшки дома нет, молвил он. — А куда ушел? — Не знаю! — Не знаешь! Ах ты, мошенник! Хватай его, ребята! — Он начал кричать; так горло и дерет! Мы и прикололи его. Выбежал на лестницу мужик с метлой. — Эй ты, метла, кто живет здесь? — закричал я. — Лекарь Гудменшев\*\*, батюшка! Я вынул из-за кушака список изменникам. Смотрю: написано лекарь Степан Гаден. Глаголь есть и добро есть: я и смекнул, что Гуд или Гад все едино и что в доме живет нехристь. — Врешь ты, дубина! — крикнул я на мужика. Не Гудменшев, а Гадин. Своего господина назвать не умеет! — Как угодно твоей милости, — молвил он. Вбежали мы в горницы. Вместо образа висит на стене смерть. Признаться, мороз меня подрал по коже. Верно, смекнул я, чернокнижник извел какого-нибудь православного, содрал кожу и кости его на стену повесил. Так сердце у меня и закипело! Начали шарить, обыскивать. Глядь: под кроватью спрятался чернокнижник. Как раз схватили его, на Красную площадь, да и на пики! Потом пошли мы в Немецкую слободу и там поймали этого зверя. Мы было и его на площадь! Так нет: взвыл голосом, да суда просит. Мы и привели его сюда.

— Нечего тут судить да рядить. Чернокнижников, что собак, без суда бей! — закричал сотник. — Тащите его на Красную площадь.

Приведя Нарышкина и Гадена на место казни, изверги подняли их на копыя и, сбросив на землю, изрубили.

В это самое время прибежал престарелый родитель Нарышкина, Кирилл Полиевктович, оставленный тихонько сыном в покоях царевны Марфы Алексеевны во время сна, в который старец невольно погрузился после двух суток, проведенных в непрерывной тревоге. Уви-

\*. Впоследствии пруд сей назван был Чистым.

\*\* Гудменш, приехавший в Россию при царе Алексее Михайловиче из Голландии. О нем пишет Scheltema. Рихтер неправильно называет его: Гутменш.

дев голову сына, поднятую на пике, он поднял руки к небу и в изнеможении упал на землю.

— А! и этот старый медведь вылез из берлоги! — сказал Лысков, бывший в числе зрителей казни. — Поднимите его! — закричал он стрельцам.

— Не хватить ли его лучше по затылку вот этим? — спросил стрелец, поднимая секиру. — Что старика долго мучить!

— Нет, нет, не велено! — сказал Лысков. — Отнесите его ко мне на двор: там готова для него телега. Приказано отправить его в Кириллов монастырь и постричь в чернецы. Пусть там спасается!

#### IV

*Погибни же сей мир, в котором беспрестанно  
Невинность попорана, злодейство увенчанно,  
Где слабость есть порок, а сила — все права.*

Гнедич.

В три дня пало шестьдесят семь жертв властолюбия Софии. По истреблении всех преданных царю Петру бояр, ослепленные царевною и ее сообщниками стрельцы, в уверенности, что они защитили правое дело, выступили спокойно из Кремля в свои слободы. По тайному приказу Софии, 23 мая они опять пришли с Бутырским полком к Красному крыльцу и послали любимого своего боярина князя Ивана Андреевича Хованского, единомышленника и друга Милославского, объявить во дворце следующее: «Все стрельцы и многие другие московские граждане хотят, чтобы в Московском государстве были два царя яко братия единокровные; царевич Иоанн Алексеевич, яко брат больший, и царь да будет первый; царь же Петр Алексеевич, брат меньший, да будет царь второй. А когда будут из иных государств послы, и к тем послам выходити Великому Государю Царю Петру Алексеевичу и противу неприятелей войною идти ему ж Великому Государю, а в Московском государстве правити Государю Иоанну Алексеевичу». Патриарх Иоаким немедленно созвал Государственную Думу, Голос немногих

бояр, бесстрашных друзей правды, утверждавших, что опасно быть двум главам в одном государстве, заглушен был криком многочисленных приверженцев Софии. По большинству голосов Дума решила: исполнить требование стрельцов. Патриарх в сопровождении митрополитов, архиепископов, бояр, окольных и думных дворян пошел в залу, где были царица Наталья Кирилловна, царь Петр Алексеевич, царевич Иоанн, царевна София и все прочие члены семейства царского. Выслушав решение Думы, юный государь сказал: *«Я не желаю быть первым царем, и в том буди воля Божия. Что Бог восхощет, то и сотворит!»*.

Раздался звук большого колокола на Ивановской колокольне. Патриарх вышел на Красное крыльцо и объявил решение Думы и волю царя собравшемуся на площади народу, стрельцам и солдатам Бутырского полка. Восклидая: *«Многие лета царям Ивану Алексеевичу и Петру Алексеевичу! Многие лета царевне Софье Алексеевне!»* — стрельцы возвратились в свои слободы.

Двадцать шестого мая, утром, в столовой боярина Милославского, сидел Сидор Терентьич Лысков за небольшим столиком и завтракал. Дворецкий Мироиыч, с обвязанною ногою, ходил на костылях взад и вперед по комнате.

— Не знаешь ли, Сидор Терентьич, — спросил дворецкий, — зачем боярин сегодня так рано в Думу уехал?

— Сегодня напишут указ о вступлении на престол Ивана Алексеевича.

— Вот что! А царя Петра Алексеевича в ссылку, что ли, пошлют? Ты мне, помнится, тайком сказывал, что царевна Софья думала прежде его уходить; знать передумала?

— Да. Можно было обойтись и без этого.

— Стало быть, Петр Алексеевич останется царем. Да как же это будет, Сидор Терентьич: кто же из двух будет царством править? Ведь надо бы об этом подумать.

— Не беспокойся! Уж об этом думали головы поумнее нас с тобой.

— Все так. Однако ж вот что, Сидор Терентьич: если Петр Алексеевич останется царем, то царица Наталья Кирилловна, пожалуй, захочет по-прежнему пра-

вить царством, пока сын ее будет малолетен. А тогда худо дело! Как тут быть?

— А вот увидим: сегодня в Думе все это решат.

— Нечего сказать, боярин Иван Михайлович сыграл знатную шутку. Чаю, помощники-то его все награждены?

— Разумеется. Они получили все, что царевною было обещано. Ее постельница Федора Семеновна вышла замуж за Озерова и получила такое приданое, что теперь у нее денег куры не клюют. Один Сунбулов недоволен: он ждал, что его пожалуют боярином, а его произвели в думные дворяне. Взбесился наш молодец и ушел в Чудов монастырь; хочет с горя постричься в монахи.

— Знать, его за живое задело.

— Теперь нам знатное будет житье. Крестный батюшка будет всеми делами ворочать по-своему.

— Ну, а стрельцам-то, чаю, будет награда?

— Как же. Их угостят на площади царским столом. После венчания на царство Ивана и Петра Алексеевичей стрельцов назовут Надворною пехотою\*. В монастыри на Двине отправляется стольник князь Львов за монастырскою казною и для высылки таможенных и кабацких голов с деньгами в Москву. Все эти денежки раздадут стрельцам\*\*. Они изберут выборных, которые всегда будут прямо входить к царевне Софье и к государям и бить челом об их нуждах. Любимый их боярин князь Иван Андреевич Хованский назначается их главным начальником. На Красной площади поставят каменный столп с жестяными по сторонам досками: на них напишут имена убитых изменников. Да выдадут еще стрельцам похвальные грамоты с государственною печатью за их верность и усердие к дому царскому и за истребление изменников.

— Видишь ты что! Подлинно: за Богом молитва, а за царем служба не пропадают. Ну, а тебе какая награда, Сидор Терентьич?

---

\* Указом 17 декабря 1682 года они были опять переименованы стрельцами. Надворною пехотою назывались они менее пяти месяцев.

\*\* Каждому стрельцу дано было 10 рублей. Выше замечено, что цена рубля равнялась в то время голландскому червонцу.

— Меня крестный батюшка обещал посадить дьяком в Судный приказ. Уж то-то мне будет раздолье. Бояр, окольничих и всех, кто не под силу, трогать не стану, а примусь за гостей, за купцов гостиной, суконной и черных сотен и за всякого, у кого мошна толста; я из них сок-то повыжму, да и с тобою поделюсь. Только всегда держи мою сторону и нахваливай меня крестному батюшке.

— Уж не бойсь, за этим дело не станет; только не скупись да барышами делись. Ой, ой, ой! ноженьку разбередил!

— Сядь скорее. Охота же тебе ходить; на костылях что за ходьба! Ну что, подживает ли твоя нога?

— Подживает помаленьку. Уф! как бы поймать разбойника, который меня ранил: я бы его своими руками разорвал!

— Знаешь ли, кто тебя ранил? Стрелецкий пятисотенный Бурмистров. Крестный батюшка мне сказывал.

— Чтоб ему издохнуть, анафеме! Чтоб ему в аду места не было! Чай, тягу дал, разбойник?

— Крестный батюшка приказал боярину князю Хованскому везде искать его.

— Рублевую свечу бы поставил, кабы поймали мошеника! Ах да, совсем было забыл: не напомнишь ли ты боярину, как он из Думы приедет, о старухе, что у нас в подвале сидит: что с ней делать прикажет?

— Что за старуха?

— Попадья Смирнова. По приказанию боярина вчера привели ее к нам из Земского приказа. Ее подняли на улице решеточные в тот самый день, как мне ногу подрубili. И с тех пор все содержали на тюремном дворе по приказу же Ивана Михайловича.

— А! вот что! Дело доброе. Чай, уж от нее выпытал крестный батюшка, где ее дочка?

— Спрашивал ее, грозился в пытку отдать. Одно говорит: хоть зарежь, не знаю.

В это время на дворе раздался стук кареты.

— Боярин приехал! — воскликнул Мироныч, поднявшись со скамейки. — Уйти скорее в свою избу.

Дворецкий ушел, а Лысков выбежал на крыльцо встречать Милославского. Он ввел его на лестницу и вошел вслед за ним в рабочую горницу боярина.

— Ну, Сидор, дело кончено! — сказал Милославский, сняв шапку и садясь к столу. — Вот указ, который сегодня послали из разряда во все приказы и ко всем иногородним воеводам.

— Нельзя ли прочитать, батюшка?

— Пора обедать, уж полдень прошел. После обеда прочитаешь. Однако ж постой, покуда на стол не подали, я расскажу тебе содержание указа и прочту места, которые тебя всего более порадуют. Нечего сказать, указ славно написан; немало ломали мы над ним голову. Ни слова не сказано о прежнем решении Думы, чтобы быть избранию на царство общим согласием людей всех чинов Московского государства; не упомянуто ничего об избрании; сказано только, что Иоанн Алексеевич уступил престол брату и что Петр Алексеевич по челобитью патриарха с собором, Думы и народа принял царский венец. О присяге стрельцов умолчано. Сказано, что целовали ему крест бояре, окольные и думные и всяких чинов служилые и жилецкие люди. Далее написано, что сегодня, т. е. 26 мая, патриарх с духовенством, Дума и народ били челом царю Петру, что *«царевич Иоанн Алексеевич ему большой брат, а царем быти не изволил, и в том чинится Российского царства в народе ныне распря, и у них, царя и царевича, просят милости, чтоб они изволили для всенароднаго умирения на прародительском престоле учиниться царями, и скиптр и державу воспрять и самодержавствовать обще»*. Далее сказано, что они восприняли скипетр и державу, и что все целовали им крест, и что, *«посоветовав с матерью своею, царицею Натальею Кирилловною, с своими государскими тетками и сестрами, благородными царевнами, с патриархом, собором и Думою, и по челобитью их и всего Московского государства всяких чинов изволили государственных дел правление вручить сестре своей, царевне Софии Алексеевне, со многим прошением, для того, что они, великие государи, в юных летах, а в великом их государстве долженствует ко всякому устройению многого правление»*.

Потом сказано, что *«при изволении и прощении их государей, патриарх со всем собором подал ей, царевне, на то богоугодное дело свое архипастырское благословение»*. Слушай теперь окончание: *«И великая государыня, бла-*



говерная царевна и великая княжна София Алексеевна, по многим отрицании, к прошению братии своей великих государей и благословению о Святем Дусе отца своего и богомольца, великого господина, святейшего Иоакима, патриарха Московского и всея Руси, и всего освященного собора, склоняся, и на челобитье бояр, и окольничих, и думных, и всего Московского государства всяких чинов всенародного множества людей милостивно призирая, и желая Российское царствие в державе братии своей великих государей соблюдаемо быти во всяком богоугодном устроении, правление восприяти изволила. И по своей государственной богоподражательной ревности и милосердому нраву, изволила всякие государственные дела управлять своим государским, Богом дарованным, высоким рассуждением, и для того указала она, великая государыня, благородная царевна, боярам и окольничим и думным людям видать всегда свои государские пресветлые очи, и о всяких государственных делах докладывать себе государыне». В конце прибавлено, чтобы в указах с именами царей писать имя и царицы.

— Пирог и щи давно уже поданы,— сказал вошедший слуга.

— Пойдем, Сидор, обедать. Ты, я думаю, не меньше моего есть хочешь. Не в пору я с тобой разговаривал и совсем забыл пословицу: соловья баснями не кормят.

На столе, не покрытом скатертью, стоял пирог на оловянном блюде и щи в медной вылуженной мисе. Для боярина подали серебряную ложку, а для Лыскова деревянную, также ножи; вилок же подано не было, потому что предки наши заменяли их руками. Разрезав пирог, Милославский взял в руки кусок и, пригласив Лыскова последовать его примеру, начал есть с большим аппетитом. Когда порядочная доля пирога поубавилась, слуги стоявшие у конца стола, сняли блюдо и опорожнили его. Потом подан был из пшеничной муки каравай. Взяв по куску каравай, Милославский и Лысков придвинули к себе мису и начали хлебать щи прямо из мисы. После того подали вареную в уксусе баранью голову, кожа которой, для красоты, вырезана была в виде бахромы и обложена кругом. За нею последовали жареная курица, приправленная луком, чесноком и перцем, и наконец, каравай с медом. В больших кружках подаваемы

были во время обеда пиво, крепкий мед и французское вино. Наливая из кружек эти напитки, попеременно, в серебряные чарки с ручкой, широкие и плоские, обедавшие запивали каждое кушанье. Встав из-за стола, боярин и крестный сын его, обратясь к висевшим в углу образам, так же, как и перед обедом, помолились, обтерли рукою усы и бороду и поцеловались. Потом вышли они в сад и легли под тенью огромной липы, на приготовленном для них сене, покрытом простынею, положив под головы по мягкой подушке, набитой лебяжьим пухом.

— Ты не узнал еще, батюшка, где дочь старухи Смирновой, твоя беглая холопка? — спросил, лежа, Лысков.

— Не узнал еще. Я велел Хованскому поймать Бурмистрова: от него выпытаем. Сегодня вечером придут ко мне десятка два стрельцов. Походи ты с ними, Сидор, по Москве да поищи беглянки. Авось попадетсЯ.

— Конечно, попадетсЯ. Прикажи только действовать твоим именем. Я подниму на ноги объезжих и всех решеточных: как раз сыщем голубушку!

— Объяви, что тому, кто ее найдет, дам я... Уф, зеваается!.. дам я два десятка рублевиков, да и впредь не оставляю своими милостями. Ну, теперь полно разговаривать: смерть спать хочется. Давно уж не спал я спокойно; много было забот и хлопот! Не вели меня будить никому, Сидор. Ты, я чаю, прежде меня проснешься?

— Сосну часок, другой, третий, как обыкновенно. Только вот что, батюшка, стрельцы, как узнал я, изорвали дела во многих приказах. В Холопьем не оставили почти ни одного клочка бумаги. Можно написать новую кабалу на дочку Смирновой и сказать, что она принадлежит тебе по старинному и полному холопству. Справиться будет не с чем. Тогда ты можешь все с нею делать, что душе угодно. Как состареется и не понадобится для тебя более или же надоест тебе, продай ее, променяй или подари.

— Это дело ты выдумал! — отвечал Милославский впросонках и захрапел. И Лысков вскоре последовал его примеру.

*И как нередко говорят:  
«Когда б не он, и в ум бы мне не впало!»  
А ежели людей не стало,  
Так уж лукавый виноват,  
Хоть тут его совсем и не бывало.*

Крылов.

Купец Лаптев с женою своею, Варварою Ивановною, возвращался от обедни домой. Оба были одеты, как следовало в день воскресный. Он был в светло-синем суконном кафтане, с застежками на груди из широких шелковых тесемок, и в низкой меховой шапке. Полы кафтана закрывали до половины его сафьянные зеленые сапоги. Длинные рукава были засучены; в одной руке держал он шелковый платок, в другой толстую палку с большим костяным набалдашником. Наряд супруги его состоял из малинового штофного сарафана с парчевыми зарукавьями, из алого суконного опашня с доставшими до земли рукавами и из шелковой фаты, надетой сверх меховой шапочки. Полы опашня сверху донизу застегнуты были серебряными пуговицами, такими крупными, что можно было бы ими в случае нужды зарядить пушку вместо картечи. Золотые серьги, жемчужное ожерелье и разные перстни и кольца довершали великолепие ее наряда.

— Что это за указ сегодня в церкви читали? — спросила Варвара Ивановна.

— Неужто ты не поняла? Царевич Иван Алексеевич вступил на престол вместе с братцем, а Софья Алексеевна будет делами править.

— Как? А царица Наталья-то Кирилловна?

— Ее от дел прочь.

— Да за что так?

— Так! Ни за что ни про что! Софье Алексеевне давно хотелось править царством, для того и стрельцы бунтовали.

— Не поминай об этом, Андрей Матвееч, у меня до сих пор сердце замирает. Как Бог нас помиловал! Три дня и три ночи сидели мы дома безвыходно, как в клетке. Сердечушко все изныло! Постучат, бывало, в воро-

та — ноги вот так и подкосятся и в холодный пот бросит. Горемычного соседа нашего ограбили, злодеи!

— Бог тому судья, кто стрельцов взбунтовал. Дай Господи, чтобы впредь все было тихо и смирно.

— Дай Господи!

— Здравствуй, Андрей Матвеевич! — сказал Бурмистров, идя к нему навстречу.

— А! Василий Петрович! Господь Бог и тебя помиловал!

Со слезами на глазах от радости Лаптев бросился обнимать Бурмистрова.

— Милости просим ко мне, хлеба-соли откусать, — сказал Лаптев. — Время уж и за стол: обедни везде отошли.

— Я нарочно пришел к тебе. Есть до тебя дело, Андрей Матвеевич. Где Наталья Петровна?

— Ушла с братцем своим к Николе в Драчах. Жаль ее, мою голубушку; как свечка тает с тоски по своей родительнице. До сих пор о ней ни слуху, ни духу.

— Успокой Наталью Петровну: скажи ей, что она скоро с нею увидится.

— Как, Василий Петрович? Да где же она?

— Теперь еще сказать нельзя.

— Это дело другое.

— Она в руках боярина Милославского, — шепнул на ухо Бурмистров Лаптеву. — Не говори Варваре Ивановне. Я боюсь, чтоб она не сказала об этом Наталье Петровне.

— Господи Боже мой! — сказал шепотом Лаптев.

Варвара Ивановна хотя и шла впереди своего мужа и Бурмистрова, однако ж заметила, что они шепчутся, и решила, во что бы то ни стало выпытать тайну, сообщенную ее сожителю.

— По приказу Милославского, — шепнул Бурмистров, — объезжие с решеточными и бездельник Лысков со стрельцами третьего дня и вчера искали по всему городу Наталью Петровну. Верно, и сегодня искать будут.

— Ахти, мои батюшки! Как же тут быть?

— Надобно Наталью Петровну уговорить, чтобы она решила ехать сегодня же к моей тетке, в Ласточкино Гнездо. Это небольшая деревня в стороне от Троицкой дороги. Я уже ее уведомил об этом. Там всего семь дво-

ров. Крестьяне никуда не ездят, да и в поместье никто не приезжает, кроме моего слуги Гришки, и то раза два в год. Кому придет в голову отыскивать там Наталью Петровну? А ей можно сказать, что она непременно увидится там с своей матушкой, и скоро. Борисов взялся бедную старушку выручить из рук Милославского. Мы с ним, кажется, хорошо придумали, как это сделать.

— Ладно, ладно, Василий Петрович. Ты человек разумный. Ты все устроишь, да и меня из беды выпутаешь.

— А тебе, Андрей Матвеевич, надобно будет сегодня подать челобитную в Земский приказ, что приехавшая к тебе из Ярославля крестница... как бишь ты называл Наталью Петровну?

— Ольга Васильевна Иванова.

— Да, Ольга Васильевна Иванова, двадцать третьего мая, когда стрельцы в последний раз приходили в Кремль, сидела на скамье за воротами и пропала без вести.

— Ладно, Василий Петрович, ладно! Пусть Земский приказ ее ищет. А чтоб усерднее искали, моей челобитной не опорочили и меня как-нибудь не потревожили, поклонюсь я дьяку приказа дюжиною мешков муки да бочонком вишневки. Ведь нельзя без этого.

— И! полно, Андрей Матвеевич! к чему тебе добро свое терять понапрасну.

— Нельзя, отец мой, я знаю приказных. Подай челобитную хоть о том, чтоб тебя кнутом высекли, да не подари: не высекут!

Бурмистров улыбнулся.

— Ну, прощай, Андрей Матвеевич! — сказал он.

— Да куда же ты? Неужто не отобедаешь с нами? Вон уж дом наш близехонько!

— Нельзя, Андрей Матвеевич! Борисов меня дожидается. Как дело есть, так и еда на ум нейдет. Вечером, я думаю, забегу к тебе на минутку.

Поклонясь Лаптеву и жене его, Бурмистров ушел.

— О чем это вы шептались? — спросила Варвара Ивановна.

— Не твое, жена, дело! — отвечал Лаптев.

— Что за дело такое? Уж и жене сказать нельзя! Господи Боже мой! Двадцать три года прожили вместе;

всегда был у нас совет да любовь, а теперь, на старости лет, вздумал от меня таиться. Уж не шашни ли какие за-  
теял?

— Полно вздор-то молоты! Шашни! С ума, что ли я сойду!

— Почему знать. Бес и горами качает!

— Ах ты, дура, дура! Да что с тобой толковать! Не скажу, да и только!

— Не скажешь? Да я тебе покою не дам! Коли ты стал от меня таиться, так ты мне не муж, я тебе не жена. Сегодня же со двора съеду!

— Не бойсь, не съедешь!

В молчании подошли они к дому. Надобно заметить, что Лаптев, будучи от природы робкого характера, не умел поддержать той неограниченной власти, какую в старину пользовались наши предки над своими женами. Это могло произойти частью от неприятного впечатления, которое произведено было на Лаптева чрез неделю после свадьбы, когда он в первый раз захотел воспользоваться правами мужа и поколотить жену свою. Впоследствии, при каждой начинавшейся ссоре, он невольно вспоминал, как за первый толчок, данный им своей супруге, получил он, сверх всякого чаяния, две пощечины, как схватила она его за бороду, как он, вырвавшись, убежал от преследовавшей его по пятам сожительницы на сеновал, и как он терзался, воображая, что она исполнит свою угрозу и одна съест испеченный ею, а им несправедливо осмеянный пирог, за который они поссорились.

На столе стояли уже миса со шами и блюдо с пирогом, когда Лаптев и жена его вошли в комнату.

— Куда это запропастился Андрей Петрович с сестрицей? Как их долго нет! Неужто обедня у Николе в Драчах еще не отошла? Ах да! я и забыл, что он хотел с нею погулять в Царевом саду\* и просил, чтобы их не дожидаться к обеду. Боюсь я, чтоб Наталья Петровна не попала там на глаза мошеннику Лыскову! Конечно, после обеда все в городе спят; однако ж все бы я не пустил

---

\* В Москве были в то время два главные сада: Государев сад подле Кремлевской стены, близ Боровицких ворот, и Царев сад, на Васильевском лугу, в Белом городе, подле окружавшей этот город стены, неподалеку от Яузских ворот.

ее в сад, коли бы знал, что ее ищут. Ну, делать нечего. Авось Бог ее помилует. Дай-ка, жена, вишневки, да сядем за стол.

Варвара Ивановна не отвечала ни слова и, сидя на скамье у окна, смотрела на проходящих по улице.

— Аль ты оглохла? Давай, говорят тебе, вишневки!

Варвара Ивановна встала, обратясь к образам, помолилась и, сев в молчании за стол, разрежала пирог. Муж также, помолясь, сел к столу. Взяв ложку и кусок хлеба, Варвара Ивановна начала хлебать щи, не обращая никакого внимания на мужа.

— Что же, вишневка будет ли сегодня, аль нет? — спросил гневно Лаптев. — Давай ключ от погреба. Если тебе лень, так я сам схожу за фляжкой.

— Нет у меня ключа! Ты не сказываешь мне, про что вы шептались, а я не скажу, где ключ.

— Как, да разве я не хозяин в доме? Разве жена смеет послушаться мужа? В Писании сказано, что муж есть глава жены. Вот еще что выдумала! Сейчас принеси фляжку!

— Не принесу!

— Принеси, говорят! Худо будет! — закричал Лаптев, вскочив со скамьи.

Варвара Ивановна, не теряя духа, спокойно подвинула к себе блюдо с пирогом и, выбрав большой кусок, принялась есть. Не столько нахмуренное лицо жены, сколько вид пирога, напоминавший Лаптеву сеновал, принудил его удержать порыв досады. Он прошел несколько раз по горнице и опять сел к столу.

— Варвара Ивановна! да принеси вишневки! За что ты меня мучишь? Ты ведь знаешь, что я, не выпив чарки, обедать не могу.

— А мне что за дело? Не обедай!

— Не обедай! Да разве ты хочешь уморить меня с голоду?

— Вот пирог! — сказала Варвара Ивановна, подвинув к нему не совсем вежливо блюдо.

— Видим, что пирог! Да без вишневки не пойдет кусок в горло.

— Хлебни шей!

— Ахти, Господи! Какая упрямая!

Лаптев схватил в досаде кусок пирога и начал его убирать за обе щеки. Можно было, глядя на него, поду-

мать, что он каждым куском давится, или принимает отвратительное лекарство.

— Ну что тебе, жена, за охота знать, про что мы шептались? Плевое дело, да и до тебя совсем не касается.

— Коли плевое дело, так скажи, какое.

— Я боюсь: ты проболтаешься да все расскажешь Наталье Петровне. Сохрани Господи!

— Никому не скажу; побожусь, если хочешь.

— Нет, не божись! Писание не велит божиться. Ну, уж так и быть. Давай вишневки! Перескажу тебе; только смотри: не проговорись.

— Прежде скажи, а там и вишневки дам.

— Тьфу ты пропасть — скажи! Ну, все дело в том, что матушка Натальи Петровны попалась в лапы боярину Милославскому.

— Милославскому! Ахти, мои батюшки!

— Василий Петрович хочет ее выручить!

— Помогите ему Господи! Ну, а еще что?

— Больше ничего!

— Да о чем же вы так долго шептались?

— Экая безотвязная!

Лаптев рассказал жене все подробности разговора его с Бурмистровым и заключил подтверждением, чтобы она не говорила ни полслова Наталье. Варвара Ивановна обещала крепко хранить тайну и пошла за вишневок. Чтобы наградить мужа за его откровенность, принесла она полную кружку вместо половины.

Лаптев, которому забота не дала уснуть после обеда, немедленно пошел к дьяку Земского приказа и сказал еще раз, прощаясь с женою:

— Смотри же, не говори!

Вскоре после его ухода возвратилась домой Наталья с братом.

— Ну вот, братец-то дело вздумал, моя ягодка! Что сидеть дома да плакать. Вот сегодня, как погуляла, так и щеки сделались порумянее. Садитесь-ка обедать, мои голубчики. Чай, проголодались?

Брат Натальи тотчас после обеда ушел. Он каждое воскресенье бродил по Москве вдоль и поперек в надежде случайно узнать что-нибудь о судьбе своей матери. Варвара Ивановна и Наталья сели у окна.

— Э-э-эх, мое наливное яблочко! Все-то ты плачешь!



Господь Бог милостив: авось скоро увидишься с родительницей.

— Как разве ты что-нибудь про нее слышала, Варвара Ивановна?

— Нет, я ничего не слыхала! Да полно плакать, мое солнышко! Глядя на тебя, сердце разрывается!

Во время последовавшего за тем молчания Варвара Ивановна придумывала: чем бы ей утешить Наталью. Не сказать ли ей, полно, думала она, что матушка ее жива и здорова. Что, кажется, за беда? Хоть муж и запретил говорить, да мало ли что он без толку приказывает. Я ведь и сама не глупее его! Лишнего-то не выболтаем. Дело другое сказать, что матушка ее у Милославского. Об этом можно и смолчать.

Эти размышления мучили ее до самого вечера. Она не могла даже уснуть после обеда, по обыкновению, и все сидела у окна с Натальей, которая принялась вышивать в пальцах.

— Не введешь ли ты меня, Наталья Петровна, в брань, если тебе скажу добрую весточку? — сказала наконец Лаптева. — Я давно бы тебя порадовала, да муж не велел.

— Что такое, Варвара Ивановна? Уж не узнали ль что-нибудь о матушке? Если тебе угодно, я даже не скажу и братцу, что от тебя услышу.

— Точно ли не скажешь?

— Я тебе даю слово.

— Матушка твоя жива и здорова.

— Боже мой! Не обманываешь ли ты меня, Варвара Ивановна? Где же она? Скажи, ради Бога.

Наталья, вскочив со своего места, со слезами на глазах от радости бросилась целовать руки Лаптевой.

— Где она, — вот этого-то нельзя еще тебе сказать, моя ласточка. Потерпи маленько. Ты скоро, очень скоро увидишься с родительницей. Не сегодня, так завтра.

— Для чего же ты не хочешь сказать, где она? — сказала печальным голосом Наталья. — Может быть, она в руках недобрых людей. Скажи, ради Бога!

— Нет, нет! Что ты это, моя малиновка! Она в руках у доброго человека.

— Для чего же ты не хочешь назвать его? Ах, нет! Я знаю: верно, она в руках Милославского!

— Милославского? Что ты это! Да кто это тебе сказал?

— Знаю, знаю! Она у него! Верно, он ее до тех пор держать будет, пока меня не сыщут. Братец узнал от своего товарища, которого встретил в саду, что меня вчера и третьего дня, по приказанию Милославского, искали по всему городу. Прощай, Варвара Ивановна!

— Куда, куда ты это? Господь с тобой! — закричала испуганная Лаптева, пустясь за Натальей в погоню. Дородность помешала ей сойти скоро с лестницы. Выбежав за ворота, Варвара Ивановна посмотрела во все стороны и, не видя Натальи, пустилась бегом к ближайшему переулку, думая, что увидит там Наталью.

Во всю длину переулку ни одного человека! Только у ворот низенького дома стояла корова и щипала траву на улице. Лаптева побежала к другому переулку. И там никого нет! «Уж не бросилась ли она в реку?» — подумала Варвара Ивановна. От этой мысли кинуло ее в холодный пот. Не имея сил бежать далее, она, едва переводя дух, в совершенном изнеможении побрела к дому. Недоумение, раскаяние, сожаление, страх сильно волновали ее. «Что я скажу, — думала она, — мужу, когда он возвратится домой и спросит: где Наталья? Дернул же лукавый меня за язык! Что, если бедняжка с моих слов да бросилась в реку! Господи Боже мой! что мне делать? Да я весь век стану мучиться, что погубила душу христианскую. Не думала, не гадала я впасть в такое тяжкое согрешение! Помилуй, Господи, меня, грешную!» — В этих мыслях Лаптева начала горько плакать и усердно молиться, стоя на коленях перед образом Николая Чудотворца, которым ее благословил в день свадьбы покойный отец ее. После молитвы села она к окошку. «Да с чего, — начала она размышлять, — пришло мне в голову, что Наталья Петровна утопилась? Может быть, она побежала искать своего братца, чтобы с ним посоветоваться. Однако ж, зачем ей было бежать так скоро? Зачем она простилась со мною?»

Во время этих размышлений ее раздался стук у калитки. «Муж! — подумала Варвара Ивановна, вскочив со скамьи в испуге. — Худо, как совесть нечиста! Бывало, прежде постучит он, и горя мало! Его же собираешься побранить: зачем поздно пришел, а теперь...»

Дверь через несколько времени отворилась, и вошел Бурмистров.

— Дома Андрей Матвеевич? — спросил он.

— Нет еще, отец мой!

— Что с тобой сделалось, Варвара Ивановна? Ты побледнела и вся дрожишь!

— Ничего, Василий Петрович. Так, что-то зябнется!

— А в горнице у вас очень тепло. Не сделалось ли чего-нибудь худого?

— Нет, отец мой, все благополучно!

— А где Наталья Петровна?

— Она все еще гуляет с братцем.

— До сих пор гуляет! Да как же это, Варвара Ивановна? Я брата ее встретил одного на улице, вскоре после обеда. Он сказал мне, что Наталья Петровна осталась с тобою.

— Ох, Василий Петрович! Как бы ты знал, как мне тяжело и горько! Ума не приложу, что мне делать, окаянной. Лукавый меня попутал!

— Как, что это значит?

— Покаюсь тебе во всем, как отцу духовному. Только не брани меня, кормилец мой!

— Ради Бога, скажи скорее, Варвара Ивановна, что сделалось?

— А вот видишь, батюшка. Ты сегодня с мужем шептался, как мы шли от обедни. Я и пристала к нему: скажи, о чем вы шептались? Он долго не говорил. Однако ж я на своем поставила. Он, вишь ты, без вишневки обедать не может. Мне в голову и приди: не дам ему вишневки, пока всего не перескажет. Он крепился, крепился, да наконец мне все и рассказал; не велел только говорить Наталье Петровне.

— А ты, верно, не утерпела, Варвара Ивановна? Так ли?

— Согрешила, грешная! Хотела было ее утешить и сказала только, что матушка ее жива и здорова; а она и привязалась ко мне. Я ей больше ничего не открыла. Пусть провалюсь сквозь землю, если я лгу! Она сама догадалась. Побледнела, задрожала, да и кинулась вон из горницы. Я за ней. Куда тебе! И след простыл! Выручи меня из беды, Василий Петрович, помоги как-нибудь, отец родной!

— Встань, Варвара Ивановна, встань! Как тебе не стыдно в ноги кланяться!

— Батюшка ты мой! Не встану! Мне совестно даже глядеть на тебя.

— Не заметила ли ты, по какой улице и в которую сторону ушла Наталья Петровна?

— Невдомек, отец мой.

— Она, верно, пошла к Милославскому! Дай Бог, чтоб я успел остановить ее.

Бурмистров сбежал с лестницы и, вскочив на свою лошадь, пустился во весь опор по берегу Яузы к мосту. Он вскоре скрылся из глаз Варвары Ивановны, смотревшей из окна ему вслед.

Опять раздался стук у калитки. Вошел в горницу брат Натальи. Бедная Лаптева принуждена была и ему покаяться в своем согрешении. И тот бросился опрометью в погоню за сестрою.

Наконец еще стучат в ворота. «Ну, это муж, сердце чувствует!» — шепнула Варвара Ивановна, вскочив со скамьи и отирая платком пот с лица.

— Куда ушел хозяин? — спросил решеточный приказчик, войдя в горницу. — У ворот сказали мне, что его дома нет.

— Не приходил еще домой! — отвечала Варвара Ивановна.

— Да где ж это он до сих пор шатается? Уж солнышко давно закатилось, пора бы, кажется, и домой прийти. А ты хозяйка, что ли?

— Хозяйка, батюшка.

— Кто еще у вас в доме живет?

— Приказчик Ванька Кубышкин да работница Лукерья.

— А еще кто? Чай, дети есть?

— Были — мальчик и девушка, да от родимца еще маленькие скончались.

— А нет ли еще кого в доме?

— Жила у нас крестница моего сожителя, Ольга Васильевна Иванова.

— Где ж она?

— Пропала, батюшка.

— Пропала? Как так? Давно ли?

— В стрелецкие бунты, отец мой.

— В бунты? Да кто тебе сказал, что были бунты?

— Слухом земля полнится! Да вот и соседа нашего стрельцы ограбили.

— Врешь ты! Не смей этого болтать. Бунта никакого не было. Не только говорить, и думать об этом не веле-но, а не то в Тайном приказе язык отрежут.

— Виновата, батюшка! Мне и невдомек, что бунтов не было. Мое дело женское.

— То-то женское. У бабы волос длинен, да ум короток, а язык и волосов длиннее!

— Длиннее, батюшка, длиннее! Как твоей милости угодно.

— А подана ли челобитная о пропаже?

— Не знаю, отец мой. Об этом у мужа спроси.

— Чего ты указываешь! Без тебя знаем, у кого спросить! А какова приметам крестница?

— Невдомек, батюшка. Волосы, кажись, рыжеватые, глаза иссера карие, рот как быть водится и нос как быть водится.

— Ну, ну, хорошо! Засвети-ка фонарь да ступай за мной.

— Куда? Зачем, отец мой!

— А тебе что за дело? Скорее поворачивайся!

Варвара Ивановна, дрожа, как в лихорадке, пошла в находившуюся на конце двора, подле огорода поварню, достала огня и засветила фонарь. Лукерья, спавшая на полу, приподняла голову, поправила вприсонках лежавшее у нее в головах толстое полено и снова заснула.

— Где лестница на чердак? — спросил приказчик. — Что глаза-то на меня уставила? Показывай лестницу!

Лаптева, едва передвигая ноги от ужаса, вошла с двора в сени и отперла дверь на чердак. Подходя по двору, приказчик закричал:

— Эй, вы! Не зевайте! Двое встаньте у ворот. Никого не выпускайте и не впускайте! Ты Сенька, встань у погреба, ты, Федька, у конюшни, а ты, Антипка, гляди, чтоб кто с двора через забор не перелез.

Войдя в сени вслед за Лаптевой и приблизясь к двери на чердак, приказчик продолжал:

— Ну, что ж стала? Ступай вперед да свети.

Лаптева, ни жива ни мертва, вошла на чердак. Приказчик, осмотрев все углы, сказал:

— Веди теперь на сеновал. Да нет ли еще у тебя горницы какой или чулана? Во всех ли я был?

— Во всех, батюшка!

Осмотрев сеновал, конюшню, сарай, погреб и кладовую, приказчик возвратился с Варварой Ивановной в ее светлицу. В погребе взял он мимоходом фляжку.

— Ну, прощай, хозяйка! за твоё здоровье мы выпьем, Что в этой фляжке?

— Вишневка, отец мой!

— Ладно! Не поминай нас лихом! Да смотри, впред не болтай пустого про бунты. Бунтов не было!

— Знаю теперь, батюшка, знаю! Какие бунты! Правда, не одна я про них болтаю, да все пустое, кормилец! Знать, кому-нибудь во сне нагрезилось.

— А зачем печь у вас сегодня топлена? — спросил приказчик, приложив руку к печи.

— Сегодня не топили, отец мой, а в воскресенье, по приказу его милости, объезжего. Погода была больно холодна.

— Знать, хорошо натопили. Тепла в избе на месяц будет. И теперь дотронуться нельзя до печки: словно накаленный утюг! В другой раз топи меньше. Прощай!

Приказчик ушел. Варвара Ивановна, проводив его, перекрестилась. Не успела она сесть на скамью и поставить фонарь на стол, как шум шагов послышался на лестнице и заставил ее опять вскочить. Вошел Лаптев.

— Что ты, жена? — воскликнул он, взглянув на Варвару Ивановну, — здорова ли? А фонарь на столе зачем? Разве нет свеч? Да уж пора и огонь гасить, а то, пожалуй, нагрянет решеточный, как снег на голову!

— Сейчас ушел отсюда решеточный. Напугал меня до смерти! Весь дом обыскивал.

— Как так?

Выслушав подробное донесение, Лаптев похвалил жену за ее благоразумие. Она, между прочим, сказала ему что скрыла Наталью на сеновале от поисков.

— Что ж ты за ней не сходишь? Я думаю, бедняжка перепугалась? Сходи за ней скорее!

Поправив тускло горевшую лампаду и взяв фонарь, Варвара Ивановна отправилась на сеновал. Возвратясь оттуда через несколько времени, она сказала:

— Наталья Петровна на сене уснула. Такого-то спит сладко, что мне ее разбудить было жалко!

— Вот вздор какой! Неужто ее на всю ночь оставить на сеновале?

— А что ж, Андрей Матвееч, погода теплая. Пусть ее поспит еще хоть немножко. Как сами станем ложиться, так можно будет ее тогда разбудить; а теперь, право, ее жалко тревожить!

— Ну, хорошо, пусть будет по-твоему. Только диво: как могла она заснуть при таком страхе. Решеточный-то недавно ушел?

— Только что пред тобой вышел.

— Диво, да и только! Вот, подумашь, спокойная-то совесть. Беда над головой у бедняжки, а она спит себе, словно младенец!

При словах «спокойная совесть» Лаптева тяжело вздохнула.

— Знаешь ли что, жена? — продолжал Лаптев. — Ведь матушку-то Натальи Петровны выручили!

— Как! Кто выручил?

— Наш кум, Иван Борисыч, по наставлению Василия Петровича. Вот видишь, как было дело, Василий Петрович узнал, что сегодня Милославский, отобедав и отдохнув, поехал на весь вечер в гости к приятелю своему, князю Хованскому, а Лысков с дюжиною стрельцов пошел, слышь ты, по Москве отыскивать Наталью Петровну. Вот Василий Петрович призвал к себе Борисова да человек десять стрельцов Сухаревского полка и послал их в дом к Милославскому. Набольшим в доме остался дворецкий боярина, Мироныч. Когда уж смерклось, Борисов стук в ворота. «Кто там?» — закричал холоп. — «Стрельцы Титова полка, от князя Хованского». — Это, слышь ты, любимый полк боярина, потому что в нем многое множество раскольников, а он сам такой старовер, что и сохрани Господи! Ворота отворили, и Борисов со стрельцами вошел на двор, вызвал дворецкого и сказал ему, что его-де прислал боярин Милославский с приказом: тотчас привести старуху Смирнову в дом князя. «Да как же это? — молвил дворецкий. — Боярин накрепко наказывал без него старуху не выпускать ни на пядь из дому». — «Я уж этого ничего не знаю, — сказал Борисов. — Что нам приказано, то мы и делаем. Пожалуй, мы воротимся и скажем боярину, что ты боишься отпустить без него старуху». — Дворецкий призадумался. «Постой,

постой! — молвил он. — Я сам приведу ее к боярину». — «Как хочешь!» — отвечал Борисов и пошел со двора. Перейдя мост, через который лежала дорога дворецкому, Борисов спрятался со стрельцами на деревянном дворе и сквозь щелку в заборе смотрит на мост. Глядь: дворецкий идет на костылях впереди со старухой, а за ними четыре боярских холопа с дубинами. Лишь только поравнялись они с забором, Борисов, видя, что на улице никого, кроме них, нет, вдруг кинулся на них со стрельцами. Как раз всех втащили на деревянной двор, перевязали и приставили ружья ко лбу. «Если не уймется кричать, тут вам и смерть!» Делать было нечего, замолчали. На крик их прибежал мужик, который сторожил двор. И мужика пугнули да велели молчать. Борисов приказал стрельцам продержат дворецкого с холопами и мужика на дворе до ночи, а сам и увел матушку Натальи Петровны на постоянный двор. Там уже готова была повозка. Пришел Василий Петрович и растолковал все дело старухе. Она и поехала с Борисовым в Ласточкино Гнездо. Василий Петрович сам ее проводил до заставы и сказал на прощанье, что через день и Наталья Петровна к ней приедет.

— Слава Богу! Спасибо Василию Петровичу!

— Уж подлинно что спасибо! Прежде дочь спас, а теперь и мать выручил, да и меня из беды выпутал. Я уж подал челобитную в Земский приказ. Пусть себе ищут мою крестницу! Только вот что: завтра, чуть свет, придет за Натальей Петровной ее братец. Он отпросился на неделю в отпуск из окодемы, для свидания с родительницею, которая будто бы умирает. Наталье-то Петровне надобно бы было сегодня из Москвы уехать, да не успели всего приготовить. Сходи-ко за ней теперь да разбуди. Пусть она скорее путем спать уляжется, а потом ты, пока мы сами не легли, сberi и уклади все ее пожитки.

Барвара Ивановна, вздохнув, взяла фонарь и вышла из комнаты. В ожидании ее возвращения Лаптев начал ходить взад и вперед по комнате.

— Тыфу ты, пропасть! — сказал он наконец про себя. — Да что она там так долго делает?

— Все пропало! Она уже в руках злодея Милославского! — воскликнул брат Натальи, войдя в комнату и бросив на пол свою суконную шапку.



— Что с тобой сделалось, Андрей Петрович?

— Я бежал за нею, что было силы, как Гиппомен или Меланий за Аталантой, но не мог уже догнать ее вовремя.

— Господи помилуй! Да про кого ты говоришь? Что за Маланья с талантом?

Объяснив Лаптеву сравнение свое, взятое из греческой мифологии, Андрей прибавил:

— Перебежав мост, увидел я вдаль, что сестра подходит к дому Милославского. Сердце у меня замерло! Я не мог бежать далее. Она остановилась у ворот. Каково мне было смотреть на нее, Андрей Матвеевич, каково мне было видеть ее у пещеры тигра, куда она войти хочет для того, чтобы собственною гибелью спасти мать свою, уже спасенную! Перекрестясь, она постучалась и вошла в ворота. Бедная сестра! Бедная матушка!

Андрей не мог говорить более и заплакал.

Во время рассказа его сострадание и гнев попеременно наполняли душу Лаптева. Наконец, он вскочил и, ударив по столу рукою, воскликнул:

— Ах, она окайнная! Наделала дела, да еще и обманывать меня вздумала! Погоди уж! Видно, не смеет сюда идти-то. Пускай же сидит всю ночь на сеновале! Пускай ее терзается; поделом ей!

Андрей, преданный своей горести, ничего не расслушал из сказанного Лаптевым. Он сидел у окна и смотрел на улицу. Густые облака, покрывавшие все небо, превратили майский вечер в осеннюю ночь. В душе Андрея было еще темнее, нежели на улице. Лаптев в сильном волнении ходил из угла в угол, садился, опять вставал. Наступила ночь, и крупные капли дождя застучали по стеклам окон. «Не сходить ли мне за женой? — подумал Лаптев. — Или нет, пусть ее еще посидит! Не умрет от этого! Я и сам в старину на этом сеновале сживал!»

Что побудило его переменить намерение? Желание ли наказать жену за проступок и ее исправить, или же чувство мщения, возродившееся при воспоминании о неприятном положении своем на сеновале за двадцать три года пред тем? Пусть решат этот вопрос психологи. А пока они занимаются решением этой важной задачи, взглянем: что делает Бурмистров.

В глубокие сумерки поскакав во весь опор вслед за Натальею от дома Лаптева, он вскоре въехал в многолюдные улицы и должен был пустить лошадь рысью, чтобы не обратить на себя внимание какого-нибудь объезжего и не заставить себя преследовать. В одном переулке встретился он с Борисовым, который шел с матерью Натальи к постоялому двору. Узнав от него, что он выманил дворецкого из дома Милославского и велел его продержать до ночи на дровяном дворе, Василий поехал к дому боярина. Привязав у верей свою лошадь и постучав в ворота, сказал он, что прислан от князя Хованского. Во всем доме Милославского один Лысков знал Бурмистрова в лицо; но Василию было известно, что он ушел со стрельцами отыскивать Наталью.

— Пришла сюда молодая девушка? — спросил он холопа, отворившего ему калитку.

— Беглая-то? Пришла недавно.

— Где же она?

— Спроси об этом у других холопов. Мое дело стоять у ворот.

Василий вошел в дом. В сенях остановил его слуга вопросом:

— Кого твоей милости надобно?

— Я прислан боярином Иваном Михайловичем. Он из дома князя Хованского велел сюда прийти какой-то девушке. Где она?

— Ни боярина, ни дворецкого нет дома; так мы, общим советом, отвели ее в горницу Сидора Терентьича, крестного сына боярина, там ее заперли и послали Федьку-садовника сказать об этом Ивану Михайлычу.

— Хорошо! Отведи меня к ней.

— А зачем? Я ведь твоей милости не знаю.

— Ты вздумал еще умничать. Делай, что велят! — закричал Бурмистров грозным голосом.

Слуга, оробев, повел Василья вверх по крутой лестнице к светлице, где жил Лысков. Сняв со стены висевший на гвозде ключ, он отпер дверь и вошел за Бурмистровым в горницу. Наталья сидела у окна. Бледное лицо ее выражало безнадежность и отчаяние. Увидев Василья, она вскочила и закричала:

— Ради Бога, скажи: где моя бедная матушка? Злодеи заперли меня и не дают мне с нею увидаться.

— Успеешь еще с нею увидаться! — отвечал Бурмистров сурово. — А теперь ступай за мной: боярин Иван Михайлович велел теперь же привести тебя к нему.

— Я не выйду из этого дома, пока не увижусь с нею!

— Так не будет же по-твоему! В этом доме ты никогда с нею не увидишься. Мы упрятали ее в доброе место. Сейчас иди за мной! Мне дожидаться некогда.

Удивленная Наталья посмотрела пристально на Бурмистрова. Поняв двусмысленность слов его, она встала и хотела идти за ним.

— Постой, постой, голубушка! — сказал слуга. — Мы тебя посадили сюда общим советом, так один я отпустить тебя не могу. Надобно прежде собрать всю дворню да потолковать.

— Разве ты не слыхал, дурачина, что боярин приказал привести ее сейчас же к нему?

— Воля твоя, господин честной, а один я отпустить ее не могу. Да чу! Кто-то идет по лестнице! — сказал слуга, подойдя к двери. — Никак Сидор Терентьич! Он и есть. Изволь его спросить, а теперь наше дело сторона.

Слуга, пропустив Лыскова в его горницу, пошел вниз в сени, где он был дневальным.

Сидор Терентьевич остолбенел от удивления. Услышав от слуг, что Наталья заперта у него в комнате и что за нею прислал отец его какого-то стрелецкого пятисотенного, он вовсе не ожидал увидеть Бурмистрова в своей комнате.

— Послушай, бездельник! — сказал ему Василий. — Если ты пикнешь и помешаешь мне делать, что надобно, так я тебе снесу голову с плеч. Знаю, что я этим погублю себя, но тебе от этого легче не будет.

— Что это значит?.. Открытый разбой, что ли?

— Молчать, говорю я тебе! — сказал Василий, вынув саблю.

Лысков замолчал, дрожа от страха, и злости, и внутренне жалел, что всех стрельцов, с которыми он ходил отыскивать Наталью, разослал в разные стороны для поисков. На храбрость холопов Милославского не мог он надеяться, зная притом, что Бурмистров всегда верно исполнял свои обещания.

— Проводи нас с Натальей Петровной за ворота. Только повторяю тебе: если ты не только словом, хоть знаком, изменишь нам и вздумашь нас как-нибудь останапливать, я уж не пожалею ни себя, ни твоей головы. Даю в том честное слово, клянусь всеми святыми!

Вложив в ножны саблю и взяв Лыскова под руку, он пригласил Наталью идти перед ними и, увидев толпу слуг, которые собрались на дворе из любопытства, начал дружески с Лысковым разговаривать:

— Приходи же завтра ко мне обедать! Грешно забывать старых приятелей! — сказал он громко. — Не забудь, что жизнь твоя на волоске и что я никогда не изменял своему слову! — прибавил он шепотом.

Они вышли за ворота. Лысков, по приказанию Бурмистрова, отвязал от верей лошадь Василья, и последний повел ее одною рукою за повод, держа другою Лыскова. Окруженные густою темнотою вечера, приблизились они к мосту. Тогда Бурмистров, опустив руку Лыскова, вскочил на лошадь, посадил Наталью вместе с собою и полетел, как стрела.

— Держи! Грабеж! Разбой! — закричал во все горло Лысков.

В несколько минут Бурмистров был уже у своего дома и приказал Гришке, переодевшись ямщиком, заложить повозку. Взяв с собою все свои деньги и небольшой чемодан с лучшими вещами, Василий поехал с Натальей к Лаптеву.

Андрей все еще сидел у окна, а Лаптев расхаживал большими шагами по горнице. Вдруг услышали они шум на лестнице, дверь отворилась, и вошла Наталья с Бурмистровым. Она бросилась на шею брату. Долго не могли они оба ни слова выговорить. Бурмистров смотрел на них с умилением. Лаптев плакал, как ребенок, от радости.

— Ну, Василий Петрович! — сказал он наконец, отирая рукавом слезы. — Ты настоящий ангел-хранитель Натальи Петровны! Как это ты ее выручил?

— Я расскажу тебе об этом после, Андрей Матвеевич; а теперь надобно подумать о том, как бы скорее отправить Наталью Петровну с братцем в дорогу.

— Как, неужто теперь, ночью? Да и лошадей нигде не достанешь!

— Повозка уж у ворот! Не должно терять ни минуты.  
— Коли так, то все мигом будет готово.  
— А где Варвара Ивановна?  
— На сеновале. Угнала туда, да и не возвращалась.  
Глаза показать стыдно!

— Пойдем к ней скорее. Как же ты так, Андрей Матвеевич, ее там оставил?

— Надо же было ее проучить.

— Вот какой строгий! Я этого за тобой и не знал.

Все сошли вниз. Лаптев засветил свечу и повел всех к сеновалу. Дождь уж перестал, облака редели, и месяц с усеянного звездами небосклона светил гораздо яснее нежели свеча Лаптева.

— Жена! — закричал он.

— Виновата, Андрей Матвеевич, виновата! — раздался голос на сеновале. — Попутал меня лукавый!

— То-то лукавый! Вперед слушайся мужа, да не говори всего, что знаешь. Сойди скорее! Наталья Петровна уж здесь!

— Здесь! Ах ты, моя жемчужина! Уф! гора с плеч свалилась! Где она, мое ненаглядное солнышко?

Варвара Ивановна слезла по крутой лестнице с сеновала и бросилась обнимать Наталью. Через полчаса все ее вещи были уложены. Лаптев тихонько положил в чемодан кожаный кошелек с рублевиками. Потом все вышли в светлицу Варвары Ивановны и сели. Помолчав немного, все вдруг поднялись с мест, помолились и начали прощаться с отъезжавшими. Бурмистров помог Наталье сесть в повозку. Брат сел подле нее.

— Дай Бог вам счастья и всякого благополучия! — говорил Лаптев.

— Дай тебе Господи жениха по сердцу! — повторяла, со слезами на глазах, Варвара Ивановна. — Не забудь нас, моя ласточка! Мы тебя никогда не забудем! — Гришка, взмахнув рукою, пустил лошадей вскачь.

Бурмистров ехал верхом подле повозки. Вскоре приблизились они к заставе. За двадцать серебряных копеек стоявший на часах сторож пропустил их за город без дальних расспросов. До солнечного восхода ехали они без отдыха. Тогда, остановясь в каком-то селе, оглянулись они на Москву; но она уже исчезла в отдалении.

*Судьба нас будто берегла  
Ни беспокойства, ни сомненья!  
А горе ждет из-за угла.*

Грибоедов.

Узнав на опыте, как опасно поверять тайну не только женщине, но даже и женатому мужчине, Бурмистров не сказал при прощании Лаптеву, что он решился тихонько уехать из Москвы, чтобы скрыться от преследований Милославского.

Путешественники наши, отдохнув в селе (которое, как узнали они, называлось Погорелово), пустились далее и вскоре с большой Троицкой дороги своротили на проселочную, пролежавшую сквозь густой лес. Гришка принужден был ехать шагом. Брат Натальи вылез из повозки, пошел подле ехавшего верхом Василья и начал с ним разговаривать о происшествиях в Москве и о случившемся перевороте.

— Я удивляюсь,— сказал Андрей,— как царица Софья Алексеевна до сих пор ничем не наказала Сухаревский полк за его приверженность к царю Петру Алексеевичу. Впрочем, быть может, она читала превосходное творение Платона о праведном. Она, как я слышал, большая охотница до чтения и даже сочиняет стихи.

— Она хочет уверить народ, что не ею произведен бунт и что она приняла правление по усиленной просьбе патриарха и Думы для того только, чтобы положить конец смятению. И за что бы можно было наказать явно Сухаревский полк? Неужели за то, что он, помня присягу, хотел противиться мятежникам и защищать своего законного государя? Я узнал, однако ж, что Милославский предложил ей послать весь полк в какой-нибудь дальний город и что она на это согласилась.

— Стало быть, она не читала Платона... И тебе, Василий Петрович, надобно будет идти с полком?

— Нет. В первый день после бунта я подал челобитную об отставке. Вчера узнал я, что меня уже уволили и что дано тайное приказание Милославскому при первом удобном случае схватить меня ночью и отправить на всю жизнь в Соловецкий монастырь.

— Слава Богу, что ты успел из Москвы уехать; а не то мог бы невинно пострадать, подобно Сократу.

— Мне давно бы надобно было бежать из Москвы... Милославский как-то узнал, что я подрубил ногу его дворецкому. Удивительно, как я до сих пор уцелел! Видно, было слишком много у него хлопот и без меня. Однако же верно бы он наконец меня вспомнил, особенно после вчерашнего случая. Я думаю, Лысков уж ему рассказал, что я гулял с ним по-приятельски под руку и звал его к себе обедать.

— Да, да! — сказал Андрей, засмеявшись. — Сестра мне рассказывала. Это мне напомнило поступок Диогена, если не ошибаюсь, или другого какого-то циника, правильное же сказать, киника, ибо название это происходит от греческого слова кион, которое значит пес, собака. Однажды какой-то богач пригласил этого киника к себе обедать и после обеда начал показывать ему свои разукрашенные палаты. Захотелось кинику плюнуть. Видя везде разостланные по полу дорогие ковры, киник и плюнь в бороду хозяину. Я не нашел-де хуже места в твоих палатах. И тебе бы, Василий Петрович, догадаться да плюнуть в бороду Лыскову!

Рассказав этот анекдот из древней истории, Андрей и сам заметил, что он привел его вовсе некстати; но делать было нечего: сказанного не воротишь. Притом Андрей знал правило всех ученых, что раз сказанное, кстати или некстати, основательно или неосновательно, умно или глупо, — должно поддерживать всеми силами, всем возможным красноречием. Впрочем, Бурмистров не сделал Андрею ни возражения, ни замечания, ни вопроса. Вероятно, он, занятый другими мыслями, вовсе не расслушал рассказа о кинике, и этот рассказ сошел с рук благополучно.

Ехавшая впереди повозка, миновав лес, остановилась.

— Андрей Петрович! — закричал Гришка, приподнявшись и оборотясь к брату Натальи. — Сестрица просит тебя, чтобы ты сел в повозку. Дорога стала лучше, все идет полем, да и Ласточкино Гнездо уж видно.

Андрей сел подле сестры. Гришка свистнул и пустил вскачь лошадей. Переехав вброд небольшую речку, путешественники встретили на берегу другую повозку. Она остановилась.

— Василий Петрович! — закричал голос, и выскочил из повозки Борисов. Василий остановил свою лошадь, и Гришка с большим трудом удержал разбежавшуюся тройку.

— Матушка Натальи Петровны благополучно доехала в Ласточкино Гнездо! — сказал Борисов. — А ты как сюда попал, Василий Петрович?

Василий рассказал ему причину своего поспешного выезда из Москвы и поручил ему продать все оставшиеся в доме его вещи и деньги взять себе.

— Нет, Василий Петрович, я все деньги, какие выручу, к тебе перешлю или привезу сам.

— Разве ты не хочешь принять от меня последнего, может быть, в жизни подарка? Мы Бог знает когда еще с тобою увидимся!

— Что ты это говоришь, Василий Петрович!

Бурмистров соскочил с лошади, подошел к Борисову и сказал ему вполголоса:

— Меня из полка уволили, и царевна Софья Алексеевна тайно велела Милославскому схватить меня и отвезти в Соловецкий монастырь. А по твоей челобитной, которую ты вместе со мною подал об отставке, приказано тебе отказать. Сухаревский полк скоро пошлют в какой-нибудь дальний город. Чаше уведомляй меня о себе. Старайся при первом случае выйти в отставку и прямо приезжай ко мне. Теперь все в руках царевны Софьи Алексеевны; но авось придет время — и все переменится. Тогда опять начнем служить вместе, по-прежнему. Ну, прощай, Борисов! Не забывай меня.

— Прощай, Василий Петрович, прощай! Забудь меня Бог, если я тебя забуду. В малолетстве еще лишился я отца и матери; жил бедняком бесприютным, без роду и племени; ты призрел меня, ты...

Борисов не мог говорить более: слезы градом показались по лицу его.

— Матушка моя, умирая на дальней стороне, — продолжал Борисов прерывающимся от сильного душевного волнения голосом, — через чужих людей прислала мне этот образ. Ей не удалось благословить своего сына!.. Ты заменил мне отца и мать, Василий Петрович! Может быть, мы в этой жизни уж не увидимся: благослови меня вместо отца и матери!..



Борисов, сняв с шеи висевший на черном шнурке небольшой серебряный образ Богоматери, подал Бурмистрову и стал перед ним на колена.

Тронутый до слез Василий, подняв благоговейный взор к небу, троекратно над головою Борисова сделал образом знамение креста. Борисов, поклонясь три раза в землю, приложился к иконе и, приняв ее из рук Василья, опять надел на себя.

— Прощай, Василий Петрович, второй отец мой! — воскликнул Борисов. — Приведи меня Господь еще когда-нибудь с тобою увидеться!

Они бросились друг другу в объятия и долго не могли расстаться. Наконец Борисов вскочил в повозку, взял вожжи и, переехав речку, поскакал по дороге к лесу. Въезжая в лес, он оглянулся и, увидев на берегу речки Василья, который все еще стоял и смотрел ему вслед, закричал издали: «Прощай, второй отец мой!» — и повозка скрылась в чаще леса.

Через полчаса путешественники въехали в Ласточкино Гнездо. На холмистом берегу небольшого озера, в которое впадала речка, стояли восемь крестьянских хижин. Одна из них, находившаяся на краю, отличалась, от прочих величиною, надстроенною над нею светлицею, размаляванными ставнями и вычурною резьбою около окошек. Это был дом помещицы. Гришка остановил у ворот тяжело дышавших от усталости лошадей. На скамье перед домом сидела в задумчивости старуха в черном сарафане.

Наталья и Андрей выпрыгнули из повозки. Раздались восклицания: «Матушка!» — «Дети!» — и в немом восторге старушка прижала дочь, а потом сына к своему сердцу. Когда услышала она, что освобождением своим и спасением дочери обязана Бурмистрову, то, бросясь к нему, начала обнимать его ноги. Василий поднял ее и повел под руку в дом своей тетки.

На дворе встретила их пожилая женщина в сарафане, из голубой китайки, обшитой мишурным позументом, и в шапочке из заячьего меха, белизна которой делала еще заметнее смуглый цвет ее лица, загоревшего от солнца. Это была Мавра Савишна Брусницына, владетельница Ласточкина Гнезда.

— Добро пожаловать, дорогие гости! — сказала

она.— Здравствуй, любезный племянничек! Мы уже с тобой, кажись, лет пять али побольше не видались!

— Да, тетушка!— отвечал, здороваясь с нею, Бурмистров.

— Милости просим в горницу! Я ждала еще сегодня утром дорогих гостей. Что так замешкались? Скоро уж солнышко закатится.

— Нельзя было ранее приехать, тетушка.

— А уж у меня ужин готов и баня топится с раннего утра.

Угостив приезжих ужином, который состоял из нескольких ломтей ржаного хлеба, из щей, поданных в большой деревянной чашке, и из гречневой каши, помещица принудила сначала Наталью, а потом племянника и Андрея отправиться в баню.

— Помилуйте!— говорила она.— У меня дрова-то не купленные! Да как же это можно после дороги не сходить в баню?

— Велика ли дорога, тетушка! Всего-то проехали не более пятидесяти верст.

— Да уж воля твоя, много ли, мало ли проехали, а все-таки вы дорожные, и в бане вам надо попариться. Ведь с утра топится! Я чай, в ней теперь такой пар, что на корточки присядешь!

Воспользовавшись против воли банею, в которой в самом деле легко было задохнуться от жара, все собрались в верхнюю светлицу.

— Что это, племянник, у вас в Москве понаделалось?— спросила помещица.— Вчера посылала я в село Погорелово моего крестьянина Ваньку Сидорова за харчами. Ему порассказали там такие диковинки, что волосы у меня на голове стали дыбом.

— А что он слышал, тетушка?

— Сказывали ему, что злодеи стрельцы проломали кремлевскую стену, царский дворец и Грановитую Палату по камешку разнесли, патриарху бороду опалили, боярина Матвеева втащили на маковку Ивана Великого и оттуда сверзили на пику, всех Нарышкиных живьем изжарили на вениках да на хворосте, подкопались под Ивана Великого, опутали его, батюшку, веревками, свалили наземь, и во всей Москве-матушке не оставили ни кола, ни двора, хоть шаром покати!

— Ну, нет, тетушка! — отвечал, улыбнувшись, Бурмистров. — Были, правда, в Москве смятения, однако ж тебе уж слишком много насаждали. Слухи и толки похожи на снеговой ком: чем далее катится, тем больше становится.

Василий рассказал тетке о бывших в Москве происшествиях.

— Впрочем, — сказал Андрей, — дивиться нечему! И в древние времена бывали мятежи, которые ничем не уступят бунту стрельцов. Например: Катилина составил заговор, и если б не Цицерон, которого многие называют (и, кажется, справедливо) Кикерон, то в Риме произошло бы еще более неистовств, нежели в Москве.

— Так, батюшка! — сказала Мавра Савишна, ничего не понявши из сказанного Андреем. — Экая эта проклятая Катерина! Видно, она была колдунья, коли сказать заговор смыслила. В селе Погорелове живет старый старичишка, Антип Ильин. Змея ли кого ужалит, ногу ли кто топором разрубит, — как раз заговорит, так что и кровь не пойдет.

Андрей, с усмешкой, выразившей сожаление и самодовольство, начал подробно объяснять, кто был Катилина и какой заговор он составил. Мавра Савишна слушала его, по-видимому, с величайшим вниманием. Когда он довел рассказ свой до самого занимательного места, а именно до известной речи Цицерона, то остановился для краткого размышления: перевести ли речь эту целиком, или объяснить вкратце ее содержание. Хозяйка в это время вдруг встала, отворнула дверь в сени и закричала работнице:

— Акулька! Приготовь поскорее в верхней светлице из соломы две постели, для Натальи Петровны и ее матушки, а для Василья Петровича и Андрея Петровича вели постлать сена в чулане. Дорогим гостям, я чай, уже спать хочется.

— Пора, пора, Мавра Савишна! — сказала старушка Смирнова и перекрестила рот, по обычаю, и донные наблюдаемому при зевоте всеми благочестивыми людьми.

Андрей нахмурился, а Василий и Наталья не могли удержаться от улыбки. По приглашению хозяйки, женщины пошли в верхнюю светлицу, а мужчины в чулан, устроенный подле ее нижней горницы. Последняя совмещала в себе и столовую, и гостиную, и залу, и все про-

чие нынешнего времени комнаты, кроме передней, которую заменяли стекольчатые сени. Кухня устроена была на дворе, под одною кровлею с сараем, конюшнею, погребом, курятником и банею. При всем том обладательница Ласточкина Гнезда гордилась своим домом, устроенным по ее плану, гораздо более, нежели в древности Семирамида своим дворцом с висячими садами.

Андрей, по миновании срока своему отпуску, возвратился в Москву. Бурмистров заменил его при прогулках, которыми Наталья, страстная любительница сельской природы, не упускала каждый день наслаждаться. Василий не помнил времени счастливее из всей своей жизни. Чем короче узнавал он Наталью, тем более усиливались в нем любовь к ней и уважение. И в невинном сердце девушки давно таившаяся искра любви, зароненная сначала благодарностию к своему защитнику и избавителю, постепенно зажгла огонь такой чистый, такой священный, что Зороастр верно бы предписал в Зендавесте поклоняться этому огню, если б он мог гореть на жертвеннике.

Однажды, в прекрасный день июня, под вечер, Василий и Наталья, прогуливаясь по обыкновению, дошли по тропинке, извивавшейся по берегу озера, до покрытой кустарником, довольно высокой горы. С немалым трудом взобравшись на вершину, сели они отдохнуть на траву, под тень молодого клена, и начали любоваться прелестными окрестностями. Перед ними синелось озеро; на противоположном берегу видно было Ласточкино Гнездо, окруженные плетнями огороды, нивы и покрытые стадами луга. Слева, по обширному полю, которое примыкало к густому лесу, извивалась речка и впадала в озеро; по берегам ее желтели вдали соломенные кровли нескольких деревушек. Справа мрачный бор, начинаясь от самого берега озера, простирался вдаль, постепенно расширялся, занимал почти весь южный горизонт и, как море, синелся в отдалении. Жители Ласточкина Гнезда и окрестных деревень наследовали от предков своих поверье, что в этом бору водятся нечистые духи, ведьмы и лешие. Несмотря на это, поселяне, занимавшиеся охотою, ходили в Чертово Раздолье (так называли они бор) для стрельяния дичи и рассказывали иногда, возвратясь домой, такие чудеса, что волосы на голове поднимались от ужаса у слушателей.

Солнце скрылось в густых облаках, покрывавших запад. На юго-восточном, синем небосклоне засиял месяц и, отразясь в озере, рассыпался серебряным дождем на водной поверхности, струимой легким ветром; из-за мрачного, необозримого бора, черневшего на юге, медленно поднималась туча; изредка сверкала молния и раздавались протяжные удары отдаленного грома.

— Посмотри, Василий Петрович, — сказала Наталья, — как бледнеет месяц, когда блещет молния!

— Кто? Я бледнею? Неужели ты думаешь, что я боюсь грозы? — отвечал с улыбкой Бурмистров, выведенный словами Натальи из глубокой задумчивости.

— Не ты, а месяц. Я знаю, что стрелецкий пятисотенный не такой трус, как он.

— Виноват! Я так задумался, что вовсе не расслышал тебя, милая Наталья.

Яркий румянец покрыл щеки девушки. Она потупила глаза и начала дышать так прерывисто, как будто бы чего-нибудь сильно испугалась. Это удивило Бурмистрова; он не заметил, что в рассеянности назвал Наталью милою.

— Что с тобой сделалось, Наталья Петровна?

— Ничего... мне показалось, что за этим деревом... Какая сильная молния!.. Я испугалась молнии.

— Как! Ты мне говорила, что вовсе не боишься грозы.

— Это правда! Я не знаю, отчего я в этот раз так испугалась. Скоро пойдет дождь: не пора ли нам домой, Василий Петрович?

— Мы в полчаса успеем дойти до дому. Туча тянется к западу и, вероятно, пойдет стороной.

— Солнце уж закатилось.

— О! нет еще; его заслонило густое облако.

— Нам надобно будет идти по берегу, мимо этого бора. Хотя я и не верю тому, что рассказывала твоя тетушка, однако ж... я боюсь, чтобы матушка не стала об нас беспокоиться.

— Мы еще так мало гуляли. Отчего сегодня ты так домой торопишься? Матушка знает, что мы всегда долго гуляем и что тебе опасаться нечего, когда брат тебя провожает. Ты помнишь, что она, отпуская тебя в первый раз гулять со мною, назвала меня в шутку своим сыном и сказала: смотри же, береги сестрицу! Скажи, Наталья Петровна, как думает обо мне твоя матушка?

— К чему об этом спрашивать? Ты сам знаешь, что ты для нее сделал.

— И всякий сделал бы то же на моем месте. А ты, Наталья Петровна, как обо мне думаешь?

— Ах; какая молния!.. Право, нам пора домой... мы и не приметим, как набежит туча.

Наталья хотела встать, но Василий взял ее за руку. Сердце бедной девушки забилося, как птичка, попавшая в силки; едва дыша, она не смела поднять глаз, потупленных в землю. Бурмистров чувствовал, как дрожала рука ее. На длинных ресницах блеснула слеза, покати-лась по разгоревшейся щеке и упала на пучок василь-ков, который украшал грудь девушки. Василий, устре-мив на нее взор, выражавший чувства, на языке чело-веческом невыразимые, сказал ей:

— Матушка твоя, шутя, назвала меня своим сы-ном. Но если б она сказала это не в шутку, то я был бы счастливейшим человеком в мире. От тебя зависит, ми-лая Наталья, мое счастье. Скажи: любишь ли ты меня столько же, сколько я тебя люблю? согласишься ли иди-ти к венцу со мною? Реши судьбу мою. Скажи: да или нет?

Наталья молчала. Прерывистое дыхание и прелест-ные, полуоткрытые уста показывали всю силу ее душев-ного волнения.

— Не стыдись меня, милая! Скажи мне то словами, что давно уже говорили мне твои прекрасные глаза. Не-ужели я обманывался?

— Я должна во всем повиноваться матушке,— ска-зала Наталья трепещущим голосом.— Если она велит мне...

— Нет, милая Наталья, я не сомневаюсь, что ма-тушка твоя согласится на брак наш; но я тогда только вполне буду счастлив, когда уверюсь, что ты волею идешь за меня, что ты меня любишь. Скажи: любишь или нет?.. Но ты молчишь! Итак... нет!.. Прости меня, Наталья Петровна, что я тебя встревожил,— продолжал Василий, опустив ее руку.— Забудем разговор наш. Ви-жу, что я обманулся в надежде. Завтра же на коня: по-еду, куда глаза глядят! Без тебя нигде не найти мне счастья. Ты скоро забудешь меня, но я, где бы ни был, буду тебя помнить, буду любить тебя, любить до гробо-вой доски!

Крупные слезы покатались по пылающим щекам девушки. Закрыв глаза одною рукою, тихонько подала она другую Василию и произнесла едва слышным голосом — Люби меня!

В это время яркая молния осветила приближавшуюся грозную тучу, и грянул сильный гром; поднявшийся ветер закачал вершины деревьев, в густоте бора раздался ружейный выстрел, но счастливицы ничего не видали и не слышали: они как будто улетели на небо.

Возвращаясь домой, они старались передать друг другу все надежды и опасения, все радости и печали, которые попеременно наполняли сердца их со времени первого свидания. Казалось, они боялись упустить случай высказать все, что таили так долго в глубине сердца. С некоторым удивлением и с неизъяснимо-сладостным чувством предаваясь взаимной откровенности, которая казалась им за полчаса невозможною, они и не заметили, как дошли до Ласточкина Гнезда. Несмотря на их усталость, оба досадовали, что дорога не продолжилась еще на несколько верст для того, чтобы они успели все мысли, все чувства, наполнившие сердца их блаженством, сообщить друг другу. Им представлялось, что вся природа разделяет их счастье. Шум ветра, потрясавшего ветви деревьев, плескание волн, рассыпавшихся седою пеною на берегу озера, и удары грома казались им выражением радости, голосом любви, одушевляющей и неодушевленную даже природу.

В тот же вечер вдова Смирнова благословила образом Спасителя дочь свою и Василья и, обнимая их, со слезами радости назвала двух счастливицев милыми детьми.

С указательного, нежного пальчика Натальи переместилось золотое кольцо на мизинец Василья, а он за этот подарок поблагодарил невесту жемчужным ожерельем, которое досталось ему в наследство от матери. Всякий, кто женится или женился по любви, знает, каким необыкновенно сладостным чувством это небольшое слово «невеста», произносимое в первый раз, наполняет сердце.

Хозяйка, узнав о помолвке своего племянника, показала необыкновенный свой дар красноречия, прочитав без отдыха и скороговоркою длинное поздравление, со всеми употребительными и до сих пор между простым

народом в подобных случаях прибаутками и присловиями: потом побежала она в чулан, принесла оттуда фляжку с настойкой и глиняный стакан, принудила старуху Смирнову поздравить жениха и невесту и налила стакан снова.

— Дай вам Господи,— сказала она,— совет да любовь, прожить сто лет да двадцать и завестись таким же домком, какой я себе построила! — Потом, выпив стакан и поставя его на столе, Семирамида затащила веселую свадебную песню; подперла одну руку в бок, а в другую взяв платок, начала им размахивать, притопывая ногами, приподнимая то одно, то другое плечо и кружась на одном месте.

На другой день, когда Василий ушел гулять с невестою, тетка его, призвав всех своих крестьян, приказала перегородить досками нижнюю свою горницу и прорубить посредине дверь, которую она завесила простынею. Из полотна, данного помещицею, жёны и дочери крестьян сшили перину и подушки и набили их сеном. К стене велела она прикрепить тонкими дощечками половину разбитого своего зеркала, в которое не без труда можно было узнать себя без привычки, потому что поверхность стекла была не очень гладка. При всем том она имела полное право гордиться и этим зеркалом: в то время не только в избе небогатой помещицы, но и в домах знатных людей зеркала почитались за большую редкость.

— Ну! — сказала она, отпустив крестьян и крестьянок и осматривая приготовленную ею горницу. — Вот и спальня готова! Все мигом скипело! То-то племянник подивуется!

Бурмистров, возвратясь с гулянья, в самом деле удивился неожиданной перестройке дома и от искреннего сердца благодарил тетку за ее усердие. Наталья, услышав, что Мавра Савишна называет новую комнату спальнею Василья, покраснела и убежала в сад Семирамиды, несмотря на убедительные приглашения осмотреть архитектурное ее произведение.

— Взглянь-ка, племянник,— говорила Мавра Савишна,— здесь и зеркало есть!

Бурмистров, взглянув в зеркало, чуть-чуть не захотал: хотя он был редкой красоты мужчина, но в зеркале увидел какого-то калмыка, очень неблагообразно-



го; неровное зеркало переделало все лицо Василия по-своему.

День, назначенный для свадьбы, по окончании Петрова поста, в начале июля, приближался. Василий, оседлав свою лошадь, поехал в село Погорелово, где по словам тетки, мог купить все, что только было нужно для его свадьбы. Приехав в село, он прежде всего отыскивал священника. Не объявив ему своего имени и сказав, что он желает по некоторым причинам приехать из Москвы в село венчаться с своею невестою, Бурмистров спросил, можно ли будет обвенчать его без лишних свидетелей?

— Да почему твоя милость так таиться хочет? Согласны ли родители на ваш брак?

— У меня родители давно скончались, а у невесты жива одна мать; она приедет вместе с нами. Нельзя ли, батюшка, сделать так, чтоб, кроме нас, никого не было в церкви? Я бы за это тебе очень был благодарен.

— Чтоб никого не было в церкви? Гм! Это сделать будет трудненько. Надобно, по крайней мере, чтоб приехало с вами несколько свидетелей; а то этак, пожалуй, и на родной обвенчаешь. Нарушить мою обязанность я не соглашусь ни за что в свете. Старинный знакомец мой, покойный отец Петр, по прозванию Смирнов, попал было раз в большие хлопоты.

— А! так ты был знаком с ним, батюшка?

— Как же! Я до сих пор, как случится быть в Москве, навещаю старушку, вдову его. Жива ли она? Уж я ее года с два не видал.

— Жива и здорова. Пожалуй, я ее попрошу приехать со мною. И она тебе скажет, что никакого препятствия к моему браку нет.

— Хорошо, хорошо! Мне очень приятно будет с нею повидаться.

— Нельзя ли будет обвенчать меня попозже вечером или даже ночью?

— Ночью? Гм! А вдова-то Смирнова будет с вами?

— Будет.

— Пожалуй, если уж тебе так хочется. Да что это тебе так вздумалось? Кто венчается ночью? Воля твоя, а уж верно тут что-нибудь да есть.

— После венца я тебе все объясню, батюшка. Ты сам увидишь, что причины моего желания основательны

и никак не могут ввести тебя в какие-нибудь хлопоты.

— Ладно! Хорошо! А это что? — продолжал священник, увидев, что Бурмистров, положил ему на стол кожаный кошелек. — Нет, нет, воля твоя, я не возьму! После свадьбы, если ты захочешь чем-нибудь поблагодарить меня, я не откажусь: у меня большое семейство. А теперь я не приму ничего!

— Мне бы хотелось, батюшка, чтоб разговор наш остался между нами и...

— Обещаю тебе, что все останется в тайне. Я не сделаю вреда ближнему нескромностию, хотя и не знаю, в чем состоит этот вред. Возьми же, сделай милость, назад свой подарок.

Бурмистров принужден был взять назад кошелек и простился с священником. Выйдя на крыльцо, он чрезвычайно удивился: лошадь его, которая была привязана к перилам, исчезла. Думая, что она сорвалась и убежала, он вышел за ворота.

— Держи! хватай его! — раздался крик. Толпа крестьян окружила Бурмистрова.

Вовсе не ожидая такого внезапного нападения, он не успел обнажить своей сабли; его обезоружили и связали. В одном крестьянине узнал он переодетого десятника стрелецкого Титова полка. Десятник сел с ним вместе в телегу, стоявшую у ворот. Несколько конных стрельцов, переодетых в крестьянское платье, окружили их.

— Вези! — закричал ямщику десятник, и вскоре телега, сопровождаемая стрельцами, выехала из села на большую дорогу. Толпа любопытных поселянок и мальчишек смотрела вслед за ними.

— Куда это, кумушка, его повезли? — спросила одна поселянка у другой.

— Знать, в Москву.

— Да зачем это? Как его веревками-то, бедного, скрутили!

— Видно, он из Нарышкиных али изменник какой. Взглянь, как скачут: пыль столбом!

— Жаль его, горемычного!

— И! что его жалеть, кумушка, поделом вору и мука!

## КОНЕЦ ВТОРОЙ ЧАСТИ

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### I

*С кем был! Куда меня закинула судьба!*

Грибоедов.

Солнце уже закатилось, когда Бурмистрова привезли в Москву. Телега остановилась в Китай-городе близ Посольского двора, у большого дома, окруженного каменным забором\*. Ворота отворились, и телега через обширный двор подъехала к крыльцу.

— У себя ли боярин? — спросил десятник вышедшего на крыльцо слугу.

— Дома. У него в гостях Иван Михайлович с крестным сыном.

— Скажи князю, что мы поймали зверя. Спроси: куда его посадить велит?

Слуга побежал в комнаты и, вскоре возвратясь, сказал десятнику, что боярин с гостями ужинает и велел тотчас представить ему пойманного. Четыре стрельца с обнаженными саблями и десятник ввели связанного Бурмистрова в столовую и остановились у дверей.

— Добро пожаловать! — сказал сидевший подле Милославского старик в боярском кафтане. Длинная седая борода, черные глаза, блиставшие из-под нахмуренных бровей, и лоб, покрытый морщинами, придавали лицу старика важность и суровость. Это был князь Иван Андреевич Хованский.

— Где ты поймал этого молодца? — спросил князь десятника.

— В селе Погорелове, верст за сорок от Москвы.

— Вот уж он куда успел лыжи направить! Нет, голубчик, хоть бы ты ушел на дно морское, так я бы тебя и там отыскал! Ну что, Иван Михайлович, — продолжал Хованский, обратясь к Милославскому, — умею я сдерживать слово? Уж коли я обещаю что-нибудь другу, так непременно исполню!

— Спасибо тебе, князь! — сказал Милославский. — Постараюсь отплатить тебе услугу. Царевна Софья

---

\* Царь Федор Алексеевич в 1681 году указал в Китай-городе и Белом строить непременно дома каменные и вместо деревянных заборов по большим улицам ставить также каменные.

Алексеевна будет тебе очень благодарна.

— Что же с этим молодцом делагь прикажешь? — спросил Хованский. — Я его отдаю тебе головою. Вчера я подарил тебе затравленного зайца, а сегодня Бурмистрова. Который зверь лучше?

— Оба хороши.

— Нет, батюшка, — возразил Лысков со злобною усмешкою, — последний зверь лучше. Пословица говорит: блудлив, как кошка, а труслив, как заяц. А Бурмистров похож и на зайца, и на кошку; стало быть, он зверь диковинный, какой-нибудь заморский кот.

Милославский и Хованский засмеялись.

— А знаешь ли, Сидор, другую пословицу: не все коту масленица, бывает и великий пост, — сказал Милославский. — И заморскому коту пришлось попоститься.

Бурмистров, слушая все эти насмешки, с трудом мог скрывать кипевшее в сердце негодование. Обнаружить свои чувства значило бы увеличить злобную радость торжествующих врагов; поэтому он решился с видом хладнокровия на все колкости не отвечать ни слова. Думая, что насмешки не достигают цели и не язвят Бурмистрова, Милославский, вдруг приняв на себя важный вид, спросил грозным голосом:

— Как смел ты украсть мою холопку? Отвечай, бездельник!

— Я не украл, а освободил несчастную девушку, закабаленную обманом.

Губы Милославского посинели и задрожали. Ударив кулаком по столу, он вскочил, хотел что-то сказать, но не мог ничего выговорить, задыхаясь от ярости. Даже Лысков испугался и облил себе бороду пивом из поднесенной им в то время ко рту серебряной кружки.

— И, полно, Иван Михайлович, гневаться! — сказал Хованский, встав из-за стола, взяв за руку и усаживая Милославского. — Пусть его полается! Собака лает, ветер носит. Дай срок: авось запоет другим голосом!

— Куда ты скрыл мою холопку? — вскричал Милославский. — Сейчас признавайся! Этим одним можешь спастись от ожидающей тебя казни!

— Никакие мучения и казни, — отвечал спокойно Бурмистров, — не испугают меня и не принудят открыть убежища Натальи.

— Отведите его на тюремный двор! — закричал Милославский. — Скажите, что я велел посадить его на цепь, за решетку! Я развяжу тебе язык!

Когда увели Бурмистрова, Милославский, обратясь к Лыскову, сказал:

— Напиши, Сидор, сегодня же доклад. Завтра утром поеду к царевне, буду просить ее, чтобы велела этому злодею и бунтовщику Бурмистрову отрубить голову!

— Не лучше ли, Иван Михайлович, — сказал Хованский, — отправить его в Соловецкий монастырь и велеть, чтобы отвели ему на всю жизнь келейку? Там под стенами, слышал я, есть такие подвалы, что и поворотиться негде.

— Нет, Иван Андреевич, оттуда можно убежать. Да и на что долго его мучить? Лучше разом дело кончить.

Простясь с Хованским, Милославский и Лысков, сев в карету, отправились домой.

Через день, поздно вечером, Хованский получил следующую записку: «Боярин Иван Михайлович Милославский, по тайному указу, посылает к начальнику стрелецкого приказа, боярину князю Ивану Андреевичу Хованскому, тюремного сидельца\*, стрелецкого пятисотенного Ваську Бурмистрова, которого за измену, многие его воровства и похвальбу смертным убийством велено казнить смертию. Так как завтра будет венчание обоих царей, то казнить его в эту же ночь, и не на площади, а где ты сам, князь, придумаешь. Июня 24 дня 7190 года».

В этой записке была вложена другая. В ней было сказано: «Постарайся, любезный друг Иван Андреевич, у Бурмистрова выведать: где скрывается беглая моя холопка? Если он это объявит, то казнить его погоди. Тогда я выпрошу ему помилование от смертной казни, и он будет только выслан из Москвы в какой-нибудь дальний город, на всегданнее житье. Обе эти записки возврати мне, как в первый раз с тобою увидимся».

— А где тюремный сиделец? — спросил Хованский по прочтении записок, обратясь к присланному с ними гонцу.

— Стоит на дворе, с сторожами.

— Вели его привести сюда да позови ко мне моего

---

\* Так называли в то время арестантов.

дворецкого. Потом поезжай к боярину Ивану Михайловичу и скажи ему от меня, что все будет исполнено по его желанию.

Гонец вышел, и чрез несколько времени ввели скованного Бурмистрова в рабочую горницу князя.

— Идите домой! — сказал Хованский сторожам. — Тюремный сиделец останется здесь.

Оставшись наедине с Бурмистровым, князь спросил:

— Не был ли родня тебе покойный гость Петр Бурмистров?

— Я сын его, — отвечал Василий.

— Сын? Жаль, что не в батюшку ты пошел! Я был с ним знаком.

Хованский прошел несколько раз взад и вперед по комнате.

— Что приказать изволишь? — спросил вошедший дворецкий, Савельич, который, мимоходом сказать, отличался точностию в исполнении приказаний своего господина, добродушною физиономией, длинным носом, и способностью пить запоем две недели сряду, а иногда и более.

— Есть ли у меня в тюрьме порожнее место?

— Есть два, боярин. Одно в чулане, под лестницей, а другое на чердаке, где сидел недавно жилец Елизаров за то, что не снял на улице перед твоей милостью шапки.

— Отведи туда вот этого и ключ принеси ко мне.

— А цепи-то снять прикажешь?

— Нет, не снимай!

Дворецкий повел Бурмистрова к каменному, в два яруса, строению, которое примыкало к забору, окружавшему двор. Проходя по темному чердаку, Василий заметил справа и слева несколько обитых железом дверей, на которых висели большие замки; у одной из них дворецкий остановился, отворил ее и, введя Бурмистрова, запер его. Осмотрев новое свое жилище, Василий при свете месяца, проникавшем сквозь железную решетку узкого окна, увидел у стены деревянную скамью и небольшой стол, на котором стояла глиняная кружка с водою и лежал кусок черствого хлеба. Сквозь покрытое пылью и паутиною стекло окна Василий рассмотрел длинную улицу, которая вела на Красную площадь,

а вдали — Кремль и колокольню Ивана Великого. Усталость принудила Бурмистрова лечь на скамью, и он вскоре погрузился в сон. За полчаса до полуночи, когда отдаленный колокол на Фроловской башне пробил третий час ночи, стук замка у дверей разбудил Василья. С фонарем в руке вошел к нему Хованский.

— Прочитай! — сказал князь, подавая ему обе записки Милославского и поставив фонарь на стол.

Бегло прочитав бумаги, Василий возвратил их князю.

— Ну, что ж? — спросил Хованский. — Скажешь ли, где беглая холопка Ивана Михайловича?

— Никогда!

— Подумай хорошенько, — продолжал Хованский, — если ты будешь упорствовать, то прежде, нежели явится утренняя заря, труп твой, с отрубленною головою, будет уже зарыт в лесу, без богослужения, а душа твоя низвергнется в преисподнюю, в огонь вечный, уготованный для грешников.

— За предлагаемую цену не куплю я жизни! — отвечал с твердостью Бурмистров. — Милославский истощил уже надо мною все мучения пытки, но понапрасну. Охотно пожертвую и жизнью для спасения Натальи! Прошу одной только милости: позволить мне по-христиански приготовиться к смерти.

— Сотвори крестное знамение, — сказал Хованский.

Бурмистров, пристально взглянув на князя, перекрестился.

— Ты не можешь умереть по-христиански! — сказал князь, приметив, что Василий крестился тремя, а не двумя сложенными пальцами. — Ты богоотступник! Ты отрекся от древнего благочестия и святой веры отцов. Душа твоя — добыча врага человеков и будет сожжена огнем вечным.

— Я уповаю на милосердие Спасителя! — сказал с жаром Бурмистров. — Вечный огонь любви Его пылал еще до сотворения мира; этот огонь оживотворил вселенную и дал бытие человеку; этот огонь в лучах откровения и благодати блещет с Неба, освещает путь жизни смертного, согревает сердце верующего и надеющегося и в смертный час наполняет дивным спокойствием душу всякого, кто не помрачил ее неверием и преступлениями, кто покаянием очистил ее пред смертью. Это спокойствие

должно удостоверить нас, что вечный огонь любви и за могилою не угаснет и наполнит сердце блаженством, которого оно на земле напрасно ищет!

— Я вижу, что ты заблудшая овца, которую еще можно исхитить из стада козлиц. В Писании сказано, что обративший грешника на путь правды спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Знай, что я держусь древнего благочестия. Твой покойный отец был ревностный его поборник. Я докажу тебе истину веры моей не словами, а делом. Отлагаю твою казнь. Если успею обратить тебя на путь истинный, то спасу тебя не только от смерти временной, но и от смерти второй и вечной. Милославскому скажу завтра, что ты уже казнен, а тебе принесу драгоценную книгу, которая откроет тебе заблуждение твое и наставит тебя на путь правый. Буду часто с тобой беседовать и вступать в словопрепирания, чтобы духовные очи твои прозрели истину.

Сказав это, Хованский вышел. Через несколько времени дворецкий князя принес подушку, толстую книгу в старом переплете, жареную курицу и кружку с смородиновым медом. Сняв цепи с Бурмистрова, дворецкий поставил принесенный им ужин на стол, подушку положил на скамью, а книгу подал Бурмистрову.

— Боярин велел сказать, что жалует тебя подушкою для сна, пищею и питьем для подкрепления тела и книгою для исцеления души. Кажись, так! Ведь он у нас мудрен: любит говорить свысока; иной раз и не поймешь его.

— Благодари князя! — сказал Бурмистров дворецкому.

— Ладно, поблагодарю, — отвечал дворецкий, зевая. — Нашему боярину и ночью не спится, и ночью дворецкого туда да сюда помыкает. Куда мудрен он у нас! Затем мое почтение. Пойти уснуть до рассвета.

Дворецкий вышел и запер дверь. Василий принялся прежде всего за ужин; он три дня ничего не ел; потом, разогнув принесенную книгу\*, на открывшейся странице увидел он написанное красными чернилами и крупными буквами заглавие: *«Страдание священнопротопо-*

---

\* Читатели прочтут далее выписки, без перемены слога, из собрания старообрядческих рукописей, которое принадлежало предку автора.



на Аввакума многотерпеливого»; перевернув несколько страниц, прочитал он другое заглавие: «Страдание за древнее благочестие Василия иже бысть Крестецкаго яму»; потом третье: «Инока Авраамия, выписано о времени сем елико от отец навыхох, реку тебе рассуди писания, да познаеши время совершенно». По старинному почерку, которым книга была писана, Бурмистров догадался, что она старообрядческая, хотел взглянуть на общее ее заглавие, но в ней его не было. Не чувствуя охоты читать, он лег на скамью и вскоре заснул глубоким сном.

Проснувшись рано утром, Бурмистров услышал раздавшийся по всей Москве звон колоколов. Он подошел к окну и увидел, что вся улица, которая вела к Кремлю, наполнена была народом. В полдень раздался звук барабанов, и появились в улице, со стороны Кремля, знамена приближавшихся стрельцов. Когда полки их проходили мимо дома Хованского, Василий рассмотрел, что впереди полков шли полковники Циклер, Петров и Одинцов и подполковник Чермной. Первый нес на голове бумажный свиток. Это была похвальная грамота, данная стрельцам царевною Софиею за усердие их к престолу и за истребление изменников\*. Бурмистров неволь-

---

\* В сей грамоте было сказано: «Божиею милостию Мы Великие Государи Цари и проч. (Имя Софин не упомянуто). В нынешнем 190 году Мая в 15 день изволением Всемиловитого Бога и Его Богоматери Пресвятыя Богородицы в Московском Российском Государстве учинилося побиение за дом Пресвятыя Богородицы, и за Нас, Великих Государей, и за все Наше Царское Величество, от великих к ним налог и обид и от неправды в царствующем граде Москве Бояром...» (Следует перечисление убитых мятежниками). Далее в грамоте запрещено называть стрельцов бунтовщиками и изменниками и их наказывать без царских именных указов. Потом сказано, что они никакого злого умышления не имели и никого не грабили; сверх того, освобождались они от разных служеб и повинностей, предоставлялись им разные денежные пособия и льготы, равным образом право судиться с кем бы то ни было в стрельцком приказе и приводить в этот приказ всякого, кто в каком-нибудь воровстве объявится. Велено было во всех приказах дела их вершить безволочитно, и наконец поставить на Красной площади столб, и кто за что побит подписать. Столб этот поставлен был у лобного места с четырьмя по сторонам жестянными (в другой летописи сказано: медными, в третьей: железными) досками. На них написана была означенная грамота и имена убитых стрельцами. Так как доски сии впоследствии, по разрушении столба, были брошены в огонь, то и представляется важный и трудный вопрос антиквариям: из какого металла они были сделаны.

но вздохнул и подумал: «Злодеи, вероломно нарушившие присягу и пролившие столько крови невинных, торжествуют, а я в тюрьме ожидаю смерти!». — Он отошел от окна, сел на скамью и погрузился в горестные размышления, которые прервал дворецкий, принеся ему обед и ужин.

— Боярин, — сказал он, — не велел мне с тобой говорить ни полслова; если ты меня о чем-нибудь спросишь, я отвечать не стану.

— Мне не о чем с тобой говорить!

— Ну как не о чем! — возразил дворецкий. — Впрочем, если сам разговаривать не хочешь, так мое почтение!

Дворецкий вышел.

На другой день Василий от невыносимой скуки принялся за чтение присланной Хованским книги. Наконец, на третий день, в сумерки, вошел к нему князь и, увидев, что он читает книгу, потрепал его по плечу.

— Читай, читай, духовный сын мой! — сказал он. — Я уверен, что эта книга откроет мысленные очи твои и спасет душу твою от гибели. Третьяго дня, увидясь со мной в Грановитой Палате, Милославский спросил о тебе. Я сказал ему, что ты уже казнен. Не объявил ли ты моему дворецкому своего имени?

— Нет, князь.

— Хорошо. Если он вздумает когда-нибудь спросить, как тебя зовут, не отвечай ему ничего или назовись каким-нибудь вымышленным именем. Если ты проговоришься, то принудишь меня в тот же день казнить тебя, не ожидая твоего обращения на путь правды. Будь осторожен. Ты видишь, что я для спасения души твоей подвергаю себя опасности поссориться с Иваном Михайловичем и навлечь на себя гнев царевны Софьи Алексеевны. Впрочем, дело уже сделано! Я ничего не боюсь и очень буду рад, если успею обратить тебя к истинной вере и древнему благочестию. В этом я не сомневаюсь. Тогда я отправлю тебя куда-нибудь подальше от Москвы под чужим именем для обращения других заблудших на путь истинный и для проповедания древнего благочестия. Что ты на это скажешь?

— Во всю жизнь мою старался я следовать совести: что внушит мне она, то я и сделаю.

— Худой тот человек, кто поступает против совести. Я надеюсь, что успею убедить твою совесть и что ты упрямиться не станешь. Впрочем, поговорим об этом в другое время. Будь откровенен со мною, как сын с отцом. Ты зла мне не сделал. Родитель твой был мне приятель; я от искреннего сердца желаю добра тебе.

Василий поблагодарил князя. Сев на скамью и приказав Бурмистрову сесть подле себя, Хованский продолжал ласковым голосом:

— Сегодня за обедом в Грановитой Палате Милославский опять заговорил со мною о тебе и спросил: где казнили тебя и где похоронили? Я отвечал ему, что тебе отрубили при мне голову и похоронили в лесу, что подле Немецкой Слободы. Стыдно было лгать; но греха нет во лжи, если лжешь для того, чтобы спасти душу ближнего. Что у тебя в кружке?

— Вода, князь.

— Вода? Это бездельник дворецкий умничает! Я велел подавать тебе меду.

— Вчера и во все эти дни он приносил мед; только сегодня подал воды.

— Я его проучу за это! Подай-ка мне кружку-то. Голова что-то кружится. Сегодня за обедом нас славно употчевали! Цари в своем столовом платье сидели за особым столом с патриархом; за другой стол по левую руку сели митрополиты, архиепископы, епископы и все священнослужители, бывшие при венчании царей, а по правую руку за кривым столом посажены были мы, бояре, окольные и думные дворяне. Царевна Софья Алексеевна велела всем быть без мест, а меня посадили на третье. На первом месте сидел ближний боярин царственной печати и государственных великих посольских дел обергегетель князь Василий Васильевич Голицын; подле него Иван Михайлович, а потом я с сыном. Пред венчанием царей третьего дня пожаловали сына из стольников прямо в бояре.

— Третьяго дня было венчание?\*

— Да. Разве ты не слыхал во весь день по всей Москве колокольного звона? Рано утром мы, бояре, собрались у государей в Грановитой Палате с окольными

---

\* Бергман, Галем, Голиков и другие пишут ошибочно, что венчание царей было 23 июня. Оно совершено 25 июня 1682 года.

и думными дворянами. В сенях пред Палатою были стольники, стряпчие, дворяне, дьяки и гости, все в золотом платье. Государи велели князю Голицыну принести с казенного двора животворящий крест и святые бармы Мономаха. Для царя Петра Алексеевича сделаны были точно такие же бармы и крест, другой царский венец, другой скипетр и другая держава. Все эти царские утвари бояре отнесли на золотых блюдах под пеленами, унижанными самоцветными камнями, в Успенский собор и передали патриарху. Там устроено было против алтаря, близ задних столпов, высокое *чертожное место*, покрытое красным сукном, с двенадцатью ступенями. На этом месте стояли для царей двои кресла, обитые бархатом и украшенные драгоценными камнями, а по левую сторону от них кресла для патриарха. От ступеней до царских врат постлан был желтый бархат для шествия царей, а для патриарха лазоревый. С правой и с левой стороны от чертожного места до царских врат стояли, покрытые золотыми персидскими коврами, две скамьи, на которых сидели митрополиты, архиепископы и епископы. Принесенные утвари патриарх положил на поставленных на амвоне шести налоях, униженных жемчугом, и после молебна послал князя Голицына с боярами звать царей во храм. Государи с Красного крыльца пошли к собору. Пред ними шли окольные, думные дьяки, стольники, стряпчие и дворяне. Протопоп, с крестом в руке, кропил пред государями путь святою водою. За ними следовали бояре, думные дворяне, дети боярские и всяких чинов люди, а по сторонам шли поодаль солдатские и стрелецкие полковники. По правую и по левую руку, от Красного крыльца до самого собора, стояли ряды стрельцов. По прибытии во храм царей начали им петь многолетие. Они приложились к иконам, Спасовой ризе и мощам, и патриарх благословил их. Потом государи и патриарх сели на места свои. Глубокая тишина воцарилась в храме. Государи, встав вместе с патриархом, сказали ему, что они желают быть венчаны на царство по примеру предков их и по преданию святой восточной церкви. Патриарх спросил: как веруете и исповедуете Отца и Сына и Святаго Духа? Государи сказали в ответ Символ Веры. После того патриарх начал речь. Вся кровь кипела во мне, когда

я слушал исполненные лести и коварства слова этого хищного волка!

— Как, князь, ты называешь святейшего патриарха?

— Хищным волком. Когда я обращаю тебя на истинный путь, и ты так же станешь называть его.

Глаза Хованского заблестали. Сложив двуперстное знамение, он поднял руку и сказал с жаром:

— Клянусь, что я изгоню этого волка из стада. Благословение его недействительно: цари в другой раз должны будут венчаться и получить истинное благословение от рук чистых и праведных. В соборе я с трудом скрывал мое негодование; я готов был пред алтарем заколоть этого лжеучителя и ученика антихристового!

Хованский начал ходить взад и вперед по комнате большими шагами. Наконец, успокоившись, спросил Бурмистрова, рассказывать ли ему конец венчания, и, по просьбе его о том, продолжал:

— После речи хищного волка царей облекли в царские одежды. С налоев, стоявших на амвоне, принесли два животворящие креста патриарху: он благословил ими государей. Потом подали ему на золотых блюдах бармы и царские венцы: он возложил их на царей, вручил им скипетры и державы и посадил их на царском месте. Запели им многолетие. Патриарх, митрополиты, архиепископы, епископы и весь собор лжеучителей встали с мест своих, поклонились и поздравили государей. Затем бояре и все, бывшие в церкви, их поздравляли, а хищный волк сказал им поучение. С того поучения есть у меня список. Я прочту его тебе; слушай: *«Имейте страх Божий в сердцах и сохраните веру нашу истинную чисту, непоколебиму; любите правду и милость и суд правый; будьте ко всем приступны и милостивы и приветны. От Бога дана вам бысть держава и сила от Вышнего, вас бо Господь Бог в себе место избра на земли, и на престол посади; милость и живот положи у нас. Едина добродетель от стяжания бессмертная суть. Языка льстива и слуха суетна не приемлите цари, ниже оболгателя слушайте, ни злым человеком веры емлите, но рассуждайте все по Бозе в правду. Подобаает мудрым последовати, на них же воистину, яко на престоле, Бог почивает. Не тако красная мира вся, яко же добродетель красит царей. Имате и сами Царя, иже есть на небесех.*

Аще бо Он всеми печется, еще потребно есть и вам, царем, ничто ж презирати, и аще хотите милостива к себе имети Небесного Царя, милостивы будите и вы ко всем, да и здѣ добре и благо поживете и да наследники будете небесного царствия. И тогда примите неувядаемые славы венцы, и против своих царских подвигов и трудов примите от Бога мзду сторицею». Потом началась литургия, в продолжение которой цари стояли на древнем царском месте, находящемся в правой стороне собора. От этого места к царским вратам постлали алый, бархатный ковер, шитый золотом. Цари приблизились к вратам. Наследник антихриста вышел из алтаря. Митрополит принес на золотом блюде, в хрустальном драгом сосуде святое место. Цари, приложась к Спасову образу, написанному греческим царем Эммануилом, к иконе Владимирской Божией Матери, написанной Св. Евангелистом Лукою, и к иконе Успения Богородицы, оставились пред царскими вратами, сняли венцы и отдали их боярам, со скипетрами и державами. Помазав царей миром, патриарх велел двум ризничим и двум диаконам ввести их в алтарь чрез царские врата и подал им с диска часть животворящего тела и потир с кровию Христовой: государи, причастившись, вышли из алтаря. Потом патриарх подал им часть антидора; цари надели венцы, взяли скипетры и стали на своем месте. По окончании литургии все поздравляли царей с помазанием миром и с причащением Св. Тайн, а они пригласили на сегодняшний день патриарха и весь собор лжеучителей, также бояр, окольничих и думных дворян, к своему царскому столу. Когда цари в венцах и бармах вышли из собора, сибирские царевичи Григорий и Василий Алексеевичи осыпали их золотыми монетами. Народ, в бесчисленном множестве собравшийся на площади, приветствовал государей продолжительными радостными восклицаниями. Государи по посланному красному сукну пошли к церкви Архангела Михаила, целовали там святыя иконы, мощи св. царевича Димитрия, гробницы деда, их государей, родителя и брата, и прочие царские гробницы. Когда они вышли из церкви на паперть, сибирские царевичи снова осыпали их золотом. Потом, приложась к иконам в церкви Благовещения Пречистой Богородицы, они были еще осыпаны золотом триж-

ды, по выходе из храма теми же царевичами. Оттуда возвратились они чрез Постельное крыльцо в свои царские палаты. Нечего сказать, празднество было славное! Хлопот было много, да жаль, что все понапрасну: царям надобно будет непременно перевенчаться. А это венчанье не в венчанье! Никон был антихрист, а Иоаким его наследник. Я читал тебе поучение этого богоотступника. Слова его исполнены лести и коварства! Так ли говорят и пишут истинные сыны Церкви, которые держатся древнего благочестия? Прочитал ли ты книгу, которую я тебе прислал?

— Еще не всю.

— Дай-ка мне сюда книгу. Разверни любую страницу: сейчас видно, что писали люди не антихристу Никону и не наследнику его, Иоакиму, чета! Прочтем, например, хоть это; слушай: «Священный отец, священнопротопоп *Логин Муромский*, великий во страданиях, во оно же время *Никонова новозаконения*, такоже исполнился великия ревности по благочестию, учаше убо всюду, еже стояти в древнем благочестию твердо и непоколебимо, нового же *Никонова нововнесения* никакоже приимаше. Сего ради Никон, услышав ревность того, послав воины по блаженного отца, повеле того бесчестно взяти, и тому приведенну во время литургии в соборную церковь, Никону ту сушу, и царю на своем царском месте; тогда священный *Логин* к вопросам *Никоновым* с ревностию отвещаваше. Сими изрядными и ревности исполненными глаголы предивного *Логина* Никон уязвился, обуснев яростию, и весь изменился, ни святого устыдился, остроже его и не токмо се, но и одежду с него сняти повеле, не токмо едину, но и вторую, и во единой срачице остави его. Благоревностный же *Логин* начат *Никона* обличати, порицая того деяния и начинания, ими же смущаше колебая koliko российские народы, и распоясався, снем с себе срачицу, верже чрез праг олтарный, *Никону* глаголя: отъял еси одежды моя верхняя, ругая мя, се и срачицу отдаю ти; не боюсь бесчестия, наг изыдох из чрева матере моей, наг и в землю возвращуся. Оттоле наипаче Никон возгоревся гневом, повеле страдальца *Логина* в железа тяжкая вложить и тако скована ругательно влачити, и метлами бити даже до *Богоявленского монастыря*; тако того влекоша биюще и ругающе-

ся во ужасный позор всем зрящим, и привлекише священного мужа несвященнии во оной монастырь, еже за торгом, во едину нага затвориша, ни единого человеколюбия показаша, но и воины Никон пристави, еже твердо и неослабно стрещи его, дабы от человек или знаемых никто же посетил его. И понеже страдалец от всех оставлен и презрен бысть, и знаемых страха ради Никона мучителя, и наг в затворении благодарно терпяше; что же творит всесильный и всемогий Бог? Благодаритию своею того согревает, во оную ночь невидимо страдалцу посылает одежду теплую и шапку на главу его, да от священного Давида священное исполнится слово: сохранит Господь вся любящия Его. Оно внезапное удивление возвестиша Никону стрегущии. Никон же никак умилился, но разгневался рече; знаю аз оны пустосвяты, и повеле шапку с него сняти, а одежду тому оставити...»

Такие ли чудеса найдешь ты в этой драгоценной книге! Священноиерею Лазарю за проповедание древнего благочестия отрезали язык и отрубили руку. У него вырос другой язык, и он начал проповедовать собравшемуся на площади народу древнее благочестие. Ему и этот язык нечестивцы отрубили; но что ж? Лазарь и без языка начал говорить и обличать *Никоново новопредание*, а отрубленная рука сложила двуперстное знамение, благословила народ и приросла к плечу. Через два года вырос у него и язык, велик и доброглаголив, в котором он, впрочем, не имел большой нужды, потому что и без языка явственнно говорил. И это чудо не с одним Лазарем было, а случилось еще с диаконом Федором, со старцем Епифанием, *вскрасною розою благодатного сада*, да с дьяконом Стефаном, по прозванию Черным. Все они сосланы были в *острог Пустоозерский, близ Ледовитого моря-окияна и полуношных стран лежащий*, и там скончались. Что ты на это скажешь? Нельзя без сердечного умиления читать этого сокровища!

Хованский с благоговением поцеловал книгу, перевернул несколько листов и сказал:

— Где ни открой, везде найдешь премудрые и душе-спасительные поучения. Послушай вот это, например: *«Многострадальный Иоанн от Великих Лук, от чина купеческого, великую ревность о древнем благочестии показа и множество народа научи православной вере и ут-*



верди. В Иове же граде научи некоего купца вельми славна и богата. Сего ради пройде слава и к самому епарху в царствующий град и самодержавному монарху. Оклеветан же бысть от некоего боярина ко царю, яко держится древнего благочестия и отвращает народы, еже к церкви Божией не приходити и нового учения не слушати. Посылает царь гонцы по Иоанна и ят бывает и к судии градскому представиша его. Судия же невероваше, зане возрастом бе Иоанн мал и худозрачен, и возопив гласом велиим: о каковая последняя худость, яко же человеком звати недостойна, таковое и толь великое трясение и ужас людям от твари, и толикия народы прельсти. Отвещав же Иоанн к судии, глаголя: высокоблагородный воевода, не дивися моему малому возрасту и худости, но паче прослави всесильного Бога; ибо и в вашем судищном состоянии таковое нечто показуется мало возрастом и худозрачно. Да веси, о воевода! Ты убо аще и главнейший показуешься судия, и всего градского исправления главнейший епарх, но возрастом мал бе, и видением худовиден, еще же единым оком вреден. Удивившися воевода дивному его ответу, преложися на кротость и повеле убо блаженного вести во узилище, дондеже от царствующего града весть примет». Однако я устал уже читать, да и спать хочется; дочитай сам это житие многострадального Иоанна. До свидания!

Хованский вышел, а Бурмистров начал размышлять о странном положении, в которое судьба его поставила.

## II

*Я злобу твердостью сотру.*

Державин.

Настало третье июля, день, назначенный для свадьбы Василья. В мрачной задумчивости сидел он, облокотясь на стол и устремив взор, выражавший безнадежную горечь, на кольцо, которое Наталья ему подарила. Стук замка у дверей прервал его мучительные размышления. Вошел Хованский.

— Сын мой! — сказал он. — Тебя желает видеть учитель и глава наш, священноиерей Никита. Я говорил ему о тебе, и он, начав пророчествовать, сказал, что ты ско-

ро обратишься от дел тьмы на путь правды и будешь ревностным поборником древнего благочестия. Иди за мною!

Удивленный Бурмистров последовал за Хованским. Они дошли до другого конца чердака и спустились по узкой и крутой лестнице в слабо освещенный одним окном подвал, в котором стояло множество бочек. С трудом пробравшись между бочками, приблизились они к деревянной стене. Хованский три раза топнул ногою, и посередине стены отворилась потаенная дверь. Князь ввел Бурмистрова в довольно обширную комнату. Окон в ней не было. Горевшая в углу перед образами лампада освещала каменный свод, нагой, поставленный у восточной стены горницы, и устроенные около прочих стен деревянные скамьи. Человек среднего роста, с бледным лицом и с длинною бородою, благословил вошедших и, обратясь к образам, начал молиться в землю. Бурмистров рассмотрел на нем священническую рясу. Это был Никита. После нескольких земных поклонов он взял за руку Бурмистрова, подвел его к лампаде и, устремив на него быстрый взгляд, спросил:

— Как зовут тебя, заблудшая овца, ищущая спасения?

Бурмистров, не зная, сказал ли Хованский Никите его настоящее имя, посмотрел в недоумении на князя.

— Я говорил уже тебе, отец Никита,— подхватил Хованский,— что его имя должно остаться в тайне до тех пор, пока я не успею обратить его.

— В тайне? У кого отверзты духовные очи, для того не может быть ничего тайного. Его зовут Василий Бурмистров! Не хорошо, чадо Иоанн! Зачем хотел ты передо мною лукавить? Вижу, что ты еще ослеплен земными помыслами! Как мог ты думать, что возможно скрыть что-нибудь пред мысленными очами? Выйди вон и слезами покаяния омой твоё прегрешение.

Хованский смутился, хотел что-то сказать в оправдание; но Никита закричал грозным голосом:

— Горе непокоряющемуся грешнику!

Князь, закрыв лицо руками, вышел, и Никита запер за ним дверь.

— Если я не ошибаюсь,— сказал Бурмистров,— я видел тебя однажды в доме покойного сотника Семена Алексева.

— Я вовсе не знал Алексеева и никогда в его доме не бывал. Но оставим это. Прочитал ли ты книгу, которую тебе князь доставил?

— Прочитал.

— Прояснились ли твои очи, ослепленные силою вражью; сверг ли ты с себя иго антихристова и обратился ли к свету древнего благочестия?

— Я еще более убедился в истине моего верования и от искреннего сердца пожалел, что между православными христианами вкрались расколы.

— Мы одни можем назваться православными христианами, и не тебе, оскверненному печатню антихриста, судить нас. В нас обитает свет истинной веры, а вы во тьме бродите и служите врагу человеческого рода.

— Истинная вера познается из дел. Исполняете ли вы две главные заповеди: любить Бога и ближнего? Мы ближние ваши, а вы ненавидите нас, как врагов; мы ищем соединения с вами, а вы от нас отдаляетесь и производите там раздор, где должны быть одна любовь и братское согласие.

— Ты говоришь по наущению бесовскому и не можешь говорить иначе, потому что служишь еще князю тьмы. Но я знаю, что ты скоро войдешь в благодатный сад древнего благочестия.

— Почему ты так думаешь?

— Я знаю прошедшее, разумею настоящее и прозираю в будущее. Слушай, сын нечестия: ты стоишь на распутии; две дороги пред тобой: одна ведет в лес, где лежит секира и ползают гробовые черви; другая — в вертоград, где есть работа. Ты пойдешь по последней.

— Из слов твоих я вижу, что князь открыл тебе мое положение. Будь уверен, что я не отделюсь от церкви православной и не изменю данной ей клятве, хотя бы мне стоило это жизни.

Никита, нахмурив брови, подошел к налою, взял с него крест и подошел к Бурмистрову.

— Скоро прейдет тьма и воссияет свет; хищный волк изгонится из стада! Сын нечестия! клянись быть с нами, целуй крест: он спасет тебя от секиры, и ты в вертограде найдешь убежище!

Бурмистров поцеловал крест и сказал:

— Повторяю клятву жить и умереть сыном церкви православной!

— Горе, горе тебе! — закричал ужасным голосом Никита, отскочив от Бурмистрова. — Да воскреснет Бог и расточатся враги Его! Сокройся с глаз моих, беги к секире; черви ожидают тебя!

Положив крест на налой, изувер подошел к двери и, отворив ее, позвал Хованского.

Князь вошел с смиренным видом.

— Нехорошо, чадо Иоанн! — возгласил Никита. — Ты хвалился, что приблизил этого нечестивца к вертограду древнего благочестия, и подал мне надежду, что в нем обречем мы делателя; но он не хочет исторгнуться из сетей дьявольских.

— Ты сам пророчествовал, отец Никита, что он будет нашим пособником, исцелит от слепоты весь Сухаревский полк, поможет нам изгнать хищного волка со всем собором лжеучителей и воздвигнуть столп древнего благочестия.

— Да, я пророчествовал, и сказанное мною сбудется.

— Никогда! — возразил Бурмистров.

— Сомкни уста твои, нечестивец! Чадо Иоанн! вели точить секиру: секира обратит грешника.

— Не думаешь ли ты утратить меня смертью? — сказал Бурмистров. — Князь! вели сегодня же казнить меня; пусть смерть моя обличит этого лжепророка! Поклянись мне пред этим крестом, что ты тогда отвергнешь советы этого возмутителя и врага православной церкви, познаешь свое заблуждение, оставишь свои замыслы и удержишь стрельцов от новых неистовств, поклянись, — и тотчас же веди меня на казнь.

— Умолкни, сын сатаны! — закричал в бешенстве Никита. — Не совращай с пути спасения избранных! Ты не умрешь, и предначенное мною сбудется.

— Ради Бога, князь, не медли, произнеси клятву, и я с радостью умру для защиты православной церкви от врагов ее и для спасения святой родины от новых бедствий.

— Не будет тебе смерти, змей-прельститель! Чадо Иоанн, внимай и разумей: пророчество мое сбудется!.. Я слышу глас с неба!.. Завтра ополчатся все воины и народ за древнее благочестие; завтра Красная площадь подвигнется, яко море! Завтра спадет слепота с очей учеников антихриста и процветет древнее благочестие,

аки кедр ливанский, и низвергнется в преисподнюю хищный волк и весь собор лжеучителей. Возрадуйся, чадо Иоанн, яко слава твоего подвига распространится от моря до моря и от рек до конца вселенныя! Завтра на востоке взойдет солнце истины, и ты принесешь чрез три дня кровную жертву благодарения; не тельца упитанного, а коснеющего грешника, противляющегося твоему благому подвигу; и грешник, добыча адова, поможет тако воздвигнуть столп веры старой и истинной,— да сбудется пророчество! И секира не коснется до того дня главы змея-прельстителя! Шествуй, чадо Иоанн, на подвиг! Сгинь, змей-прельститель!

Сказав это с величайшим напряжением, Никита упал и начал валяться по полу с страшными телодвижениями.

Хованский, крестясь, вышел с Бурмистровым и повел его в тюрьму. Взяв от него книгу, которою думал его обратить, князь сказал гневно, запирая дверь:

— Завтра восторжествует древнее благочестие, и ты чрез три дня принесен будешь в благодарственную жертву. Готовься к смерти!

Никита по уходе Хованского встал с пола и пошел на чердак в намерении спуститься оттуда по другой лестнице на двор, потому что выход из подвала заложен был кирпичами. На чердаке встретился с ним Хованский.

— Куда ты, отец Никита?

— Иду на подвиг, за Язу, в слободу Титова полка. Оттуда пойду к православным воинам во все другие полки и велю, чтобы завтра утром все приходили на Красную площадь... Ты мне давеча говорил, что был сегодня у хищного волка в Крестовой Палате. Что он сказал?

— Я, по твоему приказу, говорил, что государи велели ему выйти на лобное место или пред Успенским собором на площадь, для словопрения о вере; но он, как видно, по наущению лукавого, уразумел, что мы хотим его камением побить, и отвечал, что без государей на словопрение не пойдет.

— Не пойдет, так вытащим! Князь тьмы не исхитит его из рук наших. Поспешу за Язу. Прощай!

— Отпусти мне, окаянному, сегодняшние прегрешения мои пред тобою!

С этими словами князь, сложив на грудь крестообразно руки, закрыл глаза и смиренно наклонился пред Никитою.

— Отпускаю и разрешаю! — сказал Никита, благословив князя.

Хованский поцеловал у него руку и, пожелав ему успеха в подвиге, проводил его до ворот.

— А мне приходить завтра на площадь? — спросил Хованский.

— Нет! С солнечного восхода начни молиться, да победим врагов наших, и пребудь в молитве и посте до тех пор, пока я не возведу тебе победы.

Сказав это, Никита надвинул на лицо шапку и вышел за ворота, а князь возвратился в свои комнаты.

### III

*На площадь всяк идет для дела и без дела;*

*Нахлынули; вся площадь закипела.*

*Народ толпился и жужжал*

*Перед ораторским амвоном.*

*Знак подан. Начинай! Рой шумный замолчал,*

*И ритор возвестил высокопарным тоном...*

Б а т ю ш к о в.

На другой день, еще до солнечного восхода, Никита с ревностнейшими сообщниками своими явился на Красной площади. Посредине ее поставили сороковую бочку, покрыли коврами и с боку приделали небольшую лестницу с перилами. Дневные дела наших предков начинались не так поздно, как в нынешнее время: с восходом солнца народ уже появлялся на улицах. Вскоре около воздвигнутой кафедры собралась толпа любопытных. Отряды стрельцов, шедших без всякого порядка, начали один за другим появляться, и вскоре вся площадь покрылась народом.

Никита взошел на кафедру, поднял руки к небу и долго стоял в этом положении.

Глухой говор народа раздавался, как шум отдаленного моря. Все смотрели с любопытством и страхом на необыкновенное явление.

— Здравствуй, Андрей Петрович! — сказал шепотом Лаптев, увидев брата Натальи, который близ него стоял с своими академическими товарищами.

— А, и ты здесь, Андрей Матвеевич!

— Шел было к заутрене, да остановился. Видишь, какое здесь чудо!

— А меня с товарищами послал из монастыря отец-блжуститель: посмотреть, что здесь делается, и ему донести. Сам-то, видишь, страшится сюда идти: ему монастырский служка насказал невесть что. Справедливо сказано, что *fama crescit eundo*.

— Что, что такое? Фома кряхтит в будни? Ну, что ж, Андрей Петрович! Это еще не беда, иной, горемычный, кряхтит и в праздники. Да что это за Фома?

— Не то, Андрей Матвеевич! *Fama crescit eundo*. значит по-русски: молва растет, шествуя.

— Вот что! разумею!.. Да скажи, пожалуйста, кукла там аль живой человек стоит?

— Какая кукла! Это бывший суздальский поп Никита. Он затеял раскол, потом образумился, а нынче, видно, опять принялся за старое. Его многие называют: Пустосвят. Езоп...

Андрей, забывши басню, которую хотел рассказать, остановился.

— Пустосвят-Езоп? Первое слово я понимаю,— сказал Лаптев,— а второе-то что значит, еретик, что ли?

— Не то, Андрей Матвеевич! Езоп был греческий баснописец.

— Греческий иконописец? Разумею! Смотри-ка, смотри, Андрей Петрович, Никита креститься начал, видно, проповедь сказать хочет. Подойдем поближе, продеремся как-нибудь. Этакая давка, словно за заутреней в светлое воскресенье!

На площади водворилось глубокое молчание. Никита, поклонясь на все четыре стороны, начал говорить следующее:

— Священнопротопоп Аввакум многотерпеливый, великий учитель наш, ограда древнего благочестия и обличитель Никонова новозаконения, не ял в великий пост четыредесять дней и видел чудное видение: руки его, ноги, зубы и весь он распространился по всему небеси, и вместил Бог в него небо, и землю, и всю тварь. И, познав тако все сущее, исполнился разум его премудрости. И написа Аввакум дивную книгу и нарече ю Евангелие Вечное; не им, но перстом

Божиим писано. Немнози избрании из сея книжицы познаша истинный путь спасения, его же хочу возвестити вам, народи православнии. Нестъ ныне истинныя церкви на земли, ни в Руси, ни в Греках. Токмо мы еще держим православную христианскую веру и крестимся двема персты, изобразующе в том божество и человечество Сына Божия. А тремя персты кто крестится, той со антихристом в вечной муце будет, то бо есть печать антихристова. Кто же убо и где есть сей антихрист? Мнози от неведения писания глаголют быти ему во Иерусалиме. Ты же уверися, глаголет пророк, яко от севера лукавство изыдет. Афанасий Великий возвестил Антиоху, еже быти антихристу в Скифополии; Скифополь же северна страна, то наша Русская земля. Святый Иоанн Златоуст сказует в Риме ему быти. И сие согласно еже зде быти ему, зане святый Селиверст папа римский, егда послан бысть от Бога к Филофею, патриарху Царя-града, на нашу Русскую землю благочестия ради, исповедал светлую Россию третьим Римом, а Греческое царство второй Рим именуется в писаниях. Святый Кирилл глаголет о антихристе, яко ни от царей, ни от рода царска будет; преподобный же Петр Дамаскин сказует о нем же, яко чернец имать восстати в северной стране, и всех еретиков ереси подымет. И се согласно зело нынешнему времени. Кирилл святый пишет, яко антихрист церковь древнюю Соломонову с иным богомолием, прелести ради, покусится создати, совершенно же совершити не возможет. И писано о нем, яко льстец во всем хочет быти равен Христу. Кто же построил Иерусалим в северной стране, и реку Истру Иорданом переименовал, и церковь такову, какова во Иерусалиме, построил\*, и около своего льстивого Иерусалима селам и деревням имена новыя надавал: Назарет, Вифлеем и прочая? У кого есть новая Галилейская пустыня? Кто и горам имена новыя дал, и едину из оных Голгофою наименовал? Кто чернецов молодых, постригая, именовал херувимами и серафимами? Имеяй ум да разумеет прелесть Ни-

---

\* Патриарх Никон в Воскресенском монастыре, им построенном в 1654 году, за 40 верст от Москвы, на реке Истре, и названном царем Алексеем Михайловичем за красоту здания и местоположения Иерусалимом, соорудил соборную церковь по подобию Иерусалимской.



*кона антихриста и сосуда сатанинского. Аще не явственен еще льстец, то скажу свидетельство о нем, да на том поставите ум свой, яко на камени крепком. Число звериное явственно исполнися в тот год, егда пагубник Никон свои еретические служебники выдал, а святые прежние служебники, по которым отцы наши угодили Богу, повелел вон из церкви изнести. Блюдитесь, православнии! посещати конские стоялища, еже церквами называют сыны антихристовы. Блюдитесь слушати те льстивые служебники, да не погубите душ ваших. Грядите в Кремль! Воздвигните брань за веру истинную, за древнее благочестие, да изгоним из стада хищного волка, наследника антихристового, с сонмом лжеучителей, и да восставим церковь Божию!*

— Восставим церковь Божию! — закричали тысячи голосов. — Врет Пустосвят Никита, хочет нас морочить! Бес в нем сидит! — кричали другие. Вся площадь взволновалась. Никита сошел с кафедры, вынул из-под рясы крест и, подняв его вверх, пошел к Спасским воротам. Более семи тысяч стрельцов и бесчисленное множество людей разного звания, как поток лавы, устремились за Никитою.

Лаптев, видя опасность, угрожающую церкви православной, заплакал. Множество народа, не увлеченного проповедью изувера, осталось на площади. Иной плакал, подобно Лаптеву, другой проклинал Пустосвята.

— О чем плачешь, Андрей Матвеевич? — спросил Борисов, приблизясь к Лаптеву.

— Как не плакать, Иван Борисович! — отвечал печальным голосом Лаптев, отирая рукавом слезы, — вот до каких времен мы дожили! Еретик не велит в церкви Божии ходить, грозит святейшего патриарха прогнать и навязывает всем православным свою проклятую ересь. Того и гляди, что сатана ему поможет! Посмотри-ка, сколько за ним народу пошло: и стрельцы с ним заодно.

— Не все же стрельцы, Андрей Матвеевич; тысяч пять не верят еретику, остались в слободах и не хотят в это дело мешаться. Из нашего полка человек пятьдесят дались в обман. Если б Василий Петрович был здесь, и того бы не было. Вчера, перед полуночью, приходил к нам в полк этот проклятый Никита, наговорил с три короба; думал, что всех наших обратит в свою по-

ганую ересь. Да не тут-то было. В других полках ему более было удачи: Титов на его стороне, более половины Стремянного, Тарбеев также почти весь... да что тут считать! Горе берет! Сам ты знаешь, Андрей Матвеевич, что глупых больше на свете, нежели умных; дураков-то не сеют, а сами рождаются; не диво, что его сторона сильнее. Я было подговаривал наших молодцов схватить проклятого Пустосвята, да и стащить на Патриарший двор. Побоялись других полков. Жаль, право, что Василья Петровича здесь нет: он бы, верно, вывел этого еретика на свежую воду.

— Да куда девался Василий Петрович? — спросил Лаптев. — Вы оба словно на дно канули; я уж с вами с месяц не видался. Да вот и Андрей Петрович! Бог ему судья — совсем забыл меня!

— Василий Петрович, — шепнул Борисов Лаптеву на ухо, — приказал тебе сказать, что он получил отставку и гайком уехал в деревню своей тетки. Только, ради Бога, не говори об этом Варваре Ивановне: неравно дойдет как-нибудь до Милославского — беда!

— Не бось, никому не скажу! Слава Богу, что он успел туда убраться. Я чай, поживает себе припеваючи.

— Да, слава Богу! А я с полком нашим через неделю пойду в Воронеж.

— Как так?

— Царевна Софья Алексеевна приказала.

— Жаль, жаль, Иван Борисович! Экое, слышь ты, горе! Этак совсем без приятелей останешься, не с кем будет и слова перемолвить!

— И мне идти в Воронеж-то больно не хочется. По крайней мере я рад, что мой благодетель, Василий Петрович, поживает в добром месте.

Если бы предоставили нам на выбор какую-нибудь радость или печаль, то всякой, без сомнения, избрал бы первую. Но бывают случаи, в которых лучше избирать последнюю. Что лучше было, например, для двух друзей Бурмистрова: радоваться ли, воображая, что он в безопасности, или печалиться, зная, что жизнь его висит на волоске? Конечно, они согласились бы на последнее, если б от них зависело избрать то или другое; потому что и горькая истина предпочтительнее приятного заблуж-

дения. Итак, почтенные читатели, будем всегда поборниками истины и врагами заблуждения, подобно Андрею, который во время разговора Лаптева с Борисовым протеснился к порожней кафедре и взошел на нее с намерением сказать обличительную речь против Никиты. Его ревность к этому подвигу, без сомнения, удвоилась бы, если б он знал, что, мешая успеху Никиты, он спасает жизнь Бурмистрова.

Увидев на кафедре новое лицо, окружавшая ее толпа замолчала. Ободренный тем, Андрей, избрав за образец речь Цицерона против Катилины, которую знал наизусть, принял величественное положение, приличное оратору. Никита в это время приблизился уже к Спасским воротам и с сообщниками своими стучался в них, требуя с криком, чтобы его впустили в Кремль. Андрей, указывая на него, сказал:

— Доколе будешь, Никита Пустосвят, употреблять во зло терпение наше? (— Пустосвят? Ах ты, собака! — заворчал несколько стрельцов Титова полка, стоявших около кафедры. Дай срок: что он еще скажет? Проучим его!) Долго ли скрывать станешь от нас сие твое бешенство? До чего похвалиться будешь необузданною твоею продерзостию? Или не возмущает тебя защищение горы Палатинской... то есть Кремля? (Оратор сбился, забывший, что он говорит собственную речь без приготовления, а не повторяет наизусть Цицеронову). Или не возмущает тебя ни стража около града, ни страх народный, ни стечение всех добрых людей, ни взоры, ни лица собравшихся здесь сен... православных христиан? (Он чуть было не сказал «сенаторов», но приметив, что около кафедры стоят большею частию мужики, нашелся и счастливо избежал неуместного выражения). Или ты не чувствуешь, что твои советы явны? Или ты не видишь, что уже все сии сановитые мужи (описав рукою полукружие, он указал на мужиков) только от одной умеренности удерживают свои совести... яснее сказать, руки, и не налагают их на тебя? Кого ты из нас чаешь, кто бы не знал, что ты нынешнею и прошлую ночью делал, где был, каких людей созвал и какие имел советы? (В этом месте оратор последовал в точности Цицерону, не зная, впрочем, откуда взялся на площади Никита. Стрельцы начали шептаться между собою: — Да видно, этот краснойбай —

лазутчик! Как узнал он, что отец Никита в слободе у нас по ночам скрывался и с нашими старшими советовался? Убьем его!) Чего ожидаешь ты еще, Никита Пустосвят, когда уже ночь злобных твоих сборов покрыть не может, когда уже все ясно и наружу вышло? Перемени свои мысли, поверь мне! Позабудь... о твоей ереси: со всех сторон ты пойман; все твои предприятия яснее полуденного света. (В это время Никита и несколько стрельцов толстым чурбаном старались вышибить Спасские ворота). Что ты ни делаешь, что ни предприемлешь, что ни замышляешь,— то все я не токмо слышу, но ясно вижу и почти руками осязаю. Вспомни прошедшую ночь, то уразумеешь, что я тщательнее бодрствую для спасения... церкви православной, нежели ты для погубления оной. Здесь, здесь между нами, господа... православные христиане, в сем преименитом и святейшем всего земного круга совете, есть такие люди, которые думают погубить меня и всех нас и, следовательно, всю вселенную. (— Ага, догадался! — заворчали стрельцы.— Вот мы тебя!) В таких обстоятельствах, Никита Пустосвят, выйди из города: ворота отворены! (Стрельцы оглянулись на Спасские ворота, но увидели, что их еще не выломали). Выведи с собою всех своих сообщников; очисти город. От великого меня избавишь страха, коль скоро между мною и тобою стена будет! С нами быть тебе больше невозможно. Не снесу, не стерплю, не попущу!

Лаптев, приметив, что стрельцы поднимают каменья и собираются около кафедры, уговорил Борисова и товарищей Андрея стащить оратора и избавить его от угрожающей опасности.

Кончив введение речи, заимствованное из Цицерона, Андрей продолжал:

— Ты говорил, Никита Пустосвят, что протопоп Аввакум ничего не ел четырнадцать дней, распространился по всему небу и вместил в себя всю вселенную,— о верх нелепости! Не говоря уже о том, что без всякой пищи и четырнадцать часов пробыть довольно трудно, исследуем вкратце: может ли поместиться целая вселенная в утробе человеческой? (Смех и громкое одобрение. Сердце оратора забилося от радости). Может ли...

В это время Борисов и два товарища Андрея схватили его и потащили долой с кафедры.

— Что это значит? Пусти, пусти меня, ради Бога, Иван Борисович, дай кончить речь! — кричал Андрей во все горло. — Послушай, Петрушка, я тебя живого не оставлю! Видно, мало я тебя поколотил вчера перед ужином. Да что вы на меня напали, белены, что ли, обьелись? Пустите! Куда вы меня тащите? Сенька, мошенник, совсем воротник оторвал, я с тебя твой новый кафтан сдеру!

Несмотря ни на просьбы, ни на угрозы оратора, его стащили с кафедры. Стрельцы, думая, что Борисов и товарищи Андрея хотят поколотить его, бросились к ним на помощь, а стоявшие около кафедры мужики кинулись отнимать его у Борисова, чтобы ввести опять в торжестве на бочку для окончания речи. Неизвестно, чем бы кончилось все это; но, к счастью, растворились Спасские ворота, и стрельцы бросились в Кремль, оставив поле сражения за мужиками, защищавшими оратора.

Таким образом, роковая речь Цицерона, поставившая Андрея в Ласточкином Гнезде в неприятное и смешное положение, на Красной площади чуть не навлекла ему побой. Не понимая, куда и зачем тащили его в одну сторону Борисов с товарищами, в другую мужики, а в третью стрельцы, он дивился действию своего красноречия и думал, что его постигнет участь Орфея, растерзанного вакханками. Надвинув шапку на глаза, в величайшей досаде пошел он скорым шагом в Заиконоспасский монастырь. Между тем Никита, сопровождаемый бесчисленным множеством народа, вошел в Кремль и приблизился к царским палатам. Боярин Милославский вышел на Постельное крыльцо и от имени царевны Софии Алексеевны спросил предводителя толпы, Никиту, чего он требует.

— Народ московский требует, чтобы восстановлен был столп древнего благочестия и чтобы на площадь перед конским стоялищем, которое вы именуете Успенским собором, вышел хищный волк и весь сонм лжеучителей для прения с нами о вере.

— Я сейчас донесу о вашем требовании государям, — сказал Милославский, — и объявлю вам волю их.

Боярин вошел во дворец и, опять явясь на Постельном крыльце, сказал:

— Цари повелели прошение ваше рассмотреть патриарху, он, верно, преклонится ко всенародному молению. А для вас, стрельцы, царевна Софья Алексеевна приказала отпереть царские погреба в награду за ваше всегдашнее усердие к ней и за ревность к вере православною. Она просит вас, чтоб вы в это дело не мешались. Положитесь на ее милость и правосудие. Если бы патриарх и решил это дело неправильно, то на нем от Бога взыщется, а не на вас.

Сказав это, Милославский удалился в покои дворца.

— Здравия и многия лета царевне Софье Алексеевне! — закричали стрельцы всех полков, кроме Титова. — К погребам, ребята!

Никита, видя, что воздвигаемый им столп древнего благочестия, подмытый вином, сильно пошатнулся и что ряды его благочестивого воинства приметно редеют, закричал грозным голосом:

— Грядите, грядите, нечестивцы, из светлого вертограда во тьму погребов, на дно адово! Упивайтесь вином нечестия! Мы и без вас низвергнем в преисподнюю хищного волка!

С этими словами пошел он из Кремля, и вся толпа двинулась за ним,

#### IV

*Враг рек: пойдем, постигнем, пожжем,  
Корысти разделим! Се жатва нам обильна!  
Упейся, меч, в крови...*

Мерзляков.

Между тем Хованский, исполняя приказание пребыть в посте и молитве до возвещения победы, с солнечного восхода молился в своей рабочей горнице не столько об успехе древнего благочестия, сколько о скорейшем прибытии Никиты, потому что давно прошел уже полдень, и запах жареных куриц, поданных на стол, проникнув из столовой в рабочую горницу, сильно

соблазнял благочестивого князя. Сын его, князь Андрей, сидел в молчании на скамье, у окошка\*.

— Взгляни, Андрюша,— сказал он наконец сыну, кладя земной поклон,— нейдет ли отец Никита; да вели куриц-то в печь поставить; я думаю, совсем остыли.

— Отца Никиты еще не видно,— отвечал князь Андрей, растворив окно и посмотрев на улицу.

— И подаждь ему на хищного волка победу и одоление!— прошептал старик Хованский с глубоким вздохом, продолжая кланяться в землю.— Да скажи, чтоб Фомка не в самый жар куриц поставил; пожалуй, перегорят!.. Да пройдет царство антихриста, да воссияет истинная церковь, и да посрамятся и низвергнутся в преисподнюю все враги ее!.. Андрюша, эй! Андрюша! скажи дворецкому, чтоб приготовил для отца Никиты

---

\* Сын боярина Артемона Матвеева, граф Андрей Матвеев, в своей летописи между прочим пишет о Хованском, что отец человек трусливый, а сын легкомысленный и высокомерный. Раупах в прекрасной трагедии «Die Fürsten Chawansky» описал князя Андрея героем; но трагедия его основана большею частию на вымысле. Из наших летописей видно, что главное действующее лицо во время мятежа раскольников был старейший Хованский. Сын боярина Матвеева оправдывает обоих князей, говоря, что обвинение их в умысле против царского дома, патриарха и бояр было следствием личной злобы и коварства боярина Милославского. Он ссылается в том на догадку старожилых людей, тогдашних политиков московских. Но догадка эта весьма сомнительна, хотя ей и поверил Бергман. Означенные выше политики полагали, что Милославский решился погубить Хованских посредством клеветы по двум причинам: первая, по их мнению, состояла в боязни его, чтобы чрез Хованских, приобретших особенную любовь стрельцов, не открылось участие его, Милославского, в бунте 15 мая; вторая — в опасении, чтобы Хованские, пользуясь влиянием своим на стрельцов, не приобрели слишком большой силы. Чтобы оценить достоверность этих причин в повествовании Матвеева, должно не упустить из виду: 1) что Милославский погубил боярина Матвеева, отца летописца; 2) что посему нельзя вполне полагаться на беспристрастие последнего, когда он все возможные злодеяния приписывает Милославскому, которого называет скорпионом; 3) что Милославский был друг старого Хованского, и по его стараниям последний сделан был начальником Стрелецкого приказа; 4) что Милославскому вечно было опасаться, чтобы Хованский не открыл участия его в бунте 15 мая; потому что Софья очень хорошо знала об этом участии, которое послужило к возведению ее в правительницы государства. По всем этим причинам мы решились следовать в описании мятежа раскольников не столько повествованию Матвеева, сколько летописи монаха Медведева и другим источникам, с этою летописью согласным.

кружку настойки, кружку французского вина да кувшин пива.

Молодой князь вышел и, вскоре возвратясь, сказал:

— Пришел отец Никита.

— Пришел!— воскликнул Хованский, вскочив с пола и не кончив земного поклона.— Вели скорее подавать на стол! Где же отец Никита?

— Он здесь, в столовой.

Старик Хованский выбежал из рабочей горницы в столовую и вдруг остановился, увидев мрачное и гневное лицо Никиты.

— Так-то, чадо Иоанн, исполняешь ты веления свыше! Не дождавшись моего возвращения и благовестия, ты уже перестал молиться.

— Что ты, отец Никита! Я с самого рассвета молился и до сих пор пребыл в посте, хотя уже давно пора обедать. Спроси Андрюши, если мне не веришь.

— Ты должен был молиться и ждать, пока я не пойду к тебе и не возвещу победы. Но ты сам поспешил ко мне навстречу и нарушил веление свыше. Ты виноват, что пророчество не исполнилось и древнее благочестие не одержало еще победы; ибо, по маловерию твоему, ослабел в молитве.

Хованский не отвечал ни слова; совесть его сильно смутилась от мысли, что Никита, и за глаза видя глубину его души, узнал, что ею несколько раз овладевали во время молитвы досада, нетерпение и помыслы о земном, то есть о жареных курицах. Никита же, видя смущение князя, тайно радовался, что ему удалось неисполнение своего пророчества приписать вине другого.

Все трое в молчании сели за стол. По мере уменьшения жидкостей в кружках, приготовленных для отца Никиты, лицо его прояснялось и морщины гневного чела разглаживались, а по мере уменьшения морщин слабели в душе Хованского угрызения совести. Таким образом, к концу стола опустевшие кружки совершенно успокоили совесть Хованского, тем более что он и сам, следуя примеру своего учителя, осушил кружки две-три веселящей сердце влаги. После обеда Никита пригласил князей удалиться с ним в рабочую горницу. Старик Хованский приказал всем бывшим у стола холопам идти в их избу, кроме длинноносого дворецкого, которому



велел стать у двери пред сенями, не сходить ни на шаг с места и никого в столовую не впускать. Когда князья с Никитою вошли в рабочую горницу и заперли за собою дверь, любопытство побудило Савельича приблизиться к ней на цыпочках и приставить ухо к замочной скважине. Все трое говорили очень тихо, однако ж дворецкий успел кое-что расслушать из тайного их разговора.

— Завтра,— говорил Никита,— надобно выманить хищного волка. Это твое дело, чадо Иоанн; а мы припасем камень. Скажи, что государи указали ему идти на площадь.

— Убить его должно, спору нет,— отвечал старик Хованский,— только как сладить потом с царевной? Не все стрельцы освободились от сетей дьявольских, многие заступятся за волка!

— Нет жертвы, которой нельзя было бы принести для древнего благочестия! Потщись, чадо Иоанн, просветить царевну, а если она будет упорствовать, то...

Тут Никита начал говорить так тихо, что Савельич ничего не мог расслышать.

— Кто ж будет тогда царем?— спросил старик Хованский.

— Ты, чадо Иоанн, а я буду патриархом. Тогда процветет во всем русском царстве вера старая и истинная и посрамятся все враги ее. Сын твой говорил мне, что ты королевского рода?

— Это правда: я происхожу от древнего короля литовского Ягелла\*.

— Будешь и на московском престоле!

— Но неужели и всех царевен надобно будет принести в жертву?— спросил князь Андрей.

— Тебе жаль их! Вижу твои плотские помыслы,— сказал старик Хованский.— Женись на Катерине-то: не помещаем; а прочих разошлем по дальним монастырям. Так ли, отец Никита?

— Внимай, чадо Иоанн, гласу, в глубине сердца моего вещающему: еретические дети Петр и Иоанн, супостатки истинного учения Наталия и София, хищ-

---

\* В общем гербовнике Российской империи сказано, что род князей Хованских происходит от Гедимины, великого князя литовского, а род сего последнего от великого князя Владимира.

ный волк со всем сонмом лжеучителей, совет нечестивых, нарицаемый Думою, градские воеводы и все мощные противники древнего благочестия обрекаются на гибель, в жертву очищения. Восторжествует истинная церковь, и чрез три дня принесется в жертву благодарения нечестивец, дерзнувший усомниться в глаголах духа пророчества, вещавшего и вещающего моими недостойными устами!

Последовало довольно продолжительное молчание.

— А что будет с прочими царевнами?— спросил наконец старик Хованский.

— Не знаю!— отвечал Никита.— Глас, в сердце моем вещавший, умолкнул. Делай с ними, что хочешь, чадо Иоанн! Соблазнительницу сына твоего, Екатерину, отдай ему головою, а всех прочих дочерей богоотступного царя и еретика Алексея, друга антихристового, разошли по монастырям.

— А как, отец Никита, быть со стрельцами, которые пребудут во зле и не обратятся на путь истинный? Конечно, все они меня любят, как отца родного, однако ж половина полков еще в сетях дьявольских. Можно...

В это время дворецкий, почувствовав охоту чихнуть, большими шагами на цыпочках удалился от двери. Сгорбясь от страха, схватив левою рукою свой длинный нос и удерживая дыхание, он поспешил встать на свое место пред сенями и перекрестился, вздохнув из глубины своих легких, подобно человеку, которого хотели удушить и вдруг помиловали. Сердце его сильно билось. Глядя нос, который был стиснут в испуге слишком неосторожно, дворецкий шептал про себя: «Чтоб тебя волки съели, проклятого; в пору нашло на тебя чиханье!» Поуспокоившись, Савельич опять начал поглядывать на дверь рабочей горницы. Прошло более часа. Впечатление испуга постепенно ослабело, и бесенок любопытства, высунув головку из замочной скважины, начал манить дворецкого к двери. Перекрестясь, он стал тихонько к ней приближаться; но благоразумный нос с истинным, самоотвержением снова погрозил хозяину обличить его в преступлении, принудил его поспешно возвратиться на свое место и снова был стиснут. Не он первый, не он последний на свете подвергся притеснению за благонамеренное предостережение своего вла-

стелина, увлекаемого страстию. Однако ж Савельич вскоре увидел всю несправедливость свою к носу и почувствовал искреннюю к нему благодарность: едва успел он встать перед сенями, как дверь рабочей горницы отворилась, и князья вышли в столовую с Никитою, который, простясь с ними и благословив их, отправился в слободу Титова полка.

— Позови ко мне десятника! — сказал старик Хованский дворецкому.

— Что прикажешь, отец наш? — спросил вошедший десятник.

— Когда пойдешь после смены в слободу, то объяви по всем полкам мой приказ, чтобы вперед присылали ко мне всякий день в дом для стражи не по десяти человек, а по сту и с сотником. Слышишь ли?

— Слышу, отец наш.

— Да чтобы все были не с одними саблями, но и с ружьями. Пятьдесят человек пусть надевают кафтаны получше; они станут ходить проводниками за моею каретою, когда мне случится со двора ехать. Слышишь ли?

— Слышу, отец наш.

— Еще пошли теперь же стрельца ко всем полковникам, подполковникам и пятисотенным; вели им сказать, что я требую их к себе сегодня вечером, через три часа после солнечного заката. Ну, ступай!

— Про какого нечестивца, — спросил молодой Хованский, — говорил отец Никита?

— Про многих. Ныне истинно благочестивых людей с фонарем поискать.

— Он говорил, что кто-то усомнился в его даре пророчества. Кого он разумел?

— Пятисотенного Бурмистрова, который у меня в тюрьме сидит. Хорошо, что ты мне об нем напомнил. Эй, дворецкий!

— Что приказать изволишь? — сказал дворецкий, отворив дверь из сеней, у которой подслушивал разговор боярина с сыном.

— Есть ли у нас дома секира?

— Валяется их с полдюжины в чулане, да больно тупы, и полена не расколешь!

— Наточи одну поострее. Дня через три мне понадобится.

— Слушаю!

— Приготовь еще телегу, чурбан, столько веревок, чтоб можно было одному человеку руки и ноги связать, и два заступа. Ступай! Да смотри, делай все тихомолком и никому не болтай об этом; не то самому отрублю голову!

— Слушаю!

— А носишь ты еще мед и кушанье с моего стола тому тюремному сидельцу, к которому я посылал с тобою книгу?

— Ношу всякий день, по твоему приказу.

— Вперед не носи, а подавай ему, как и прочим, хлеб да воду. Ну, ступай! Да смотри, если проболтаешься — голову отрублю!.. Пойдем в рабочую горницу, Андрюша, отдохнем немного, мы после обеда еще не спали сегодня. Да надобно с тобой еще кое о чем посоветоваться. Помоги нам, Господи, в нашем благом подвиге!

Вечером собрались в доме Хованского стрелецкие полковники, подполковники и пятисотенные и пробыли у него до глубокой ночи.

## V\*

*Ослепли в буйстве их сердца:  
Среди крамол и пылких прений,  
Упившись злобой и грехом,  
Не видят истинных видений.*

Г л и н к а.

На другой день, пятого июля, патриарх Иоаким со всем высшим духовенством и священниками всех московских церквей молился в Успенском соборе о защите православной церкви против отпадших сынов ее и о прекращении мятежа народного.

---

\* Описанные в сей главе происшествия изображены Голиковым и другими неполно и неверно. Он ввел в ошибку не только своих читателей, но и гравера, который вырезал на меди большой эстамп, изображающий прение духовенства с раскольниками в Грановитой палате и геройский поступок юного Петра (который вовсе не был в то время в этой палате). Голиковым принята была в основании «Летопись российская и последование царств от Рюрика до кончины Петра Великого». Бергман (часть 1, стр. 120) сомневается в справедливости описания Голикова, говоря, между прочим, о ре-

Между тем Никита и сообщники его, собравшись за Язуою, в слободе Титова полка, пошли к Кремлю в сопровождении нескольких тысяч стрельцов и бесчисленного множества народа. Пред Никитою двенадцать мужиков несли восковые зажженные свечи; за ним следовали попарно его приближенные сообщники с древними иконами, книгами, тетрадами и налоями. На площади пред церковью Архангела Михаила, близ царских палат, они остановились, поставили высокие скамьи и положили на налои иконы, пред которыми встали мужики, державшие свечи. Взяв свои тетради и книги, Никита, расстриги-чернецы Сергей и два Савватия и мужики Дорофей и Гаврило начали проповедовать древнее благочестие, уча народ не ходить в хлевы и амбары (так называли они церкви). Патриарх послал из собора дворцового протопопа Василия для увещания народа, чтобы он не слушал лживых проповедников; но толпа раскольников напала на протопопа и верно бы убила его, если бы он не успел скрыться в Успенский собор. По окончании молебна и обедни патриарх со всем духовенством удалился в свою Крестовую палату. Никита и сообщники его начали с криком требовать, чтобы патриарх вышел на площадь пред собором для состязания с ними. Толпа изуверов беспрестанно умножалась любопытными, которые со всех сторон сбегались на площадь, и вскоре весь Кремль наполнился народом.

Князь Иван Хованский, войдя в Крестовую палату, сказал патриарху, что государи велели ему и всему духовенству немедленно идти во дворец через Красное крыльцо. У этого крыльца собралось множество раскольников

---

чи, сказанной будто бы при сем случае с Петром: «Так как мы не знаем, сколько принадлежит из сей речи юному царю и сколько его историку (на немецком сказано: *Bewunderer*) <восхищающий>.— А. Р., Д. С.>, то лучше согласиться, что царь ничего при сем случае не сказал». Неверность описания Голикова доказывается многими неопровержимыми историческими источниками, которыми мы воспользовались. Вот они: 1) Увет Духовный, сочинение патриарха Иоакима, который был одним из главных действующих лиц во время описанных Голиковым событий; 2) летопись монаха Сильвестра Медведева, также современника и очевидца происшествий; 3) Третье послание митрополита Игнатия; 4) Розыск св. Димитрия Ростовского; 5) Полное историческое известие о старообрядцах протоиерея Андрея Иоаннова и 6) старообрядческие рукописи, о коих сказано в конце четвертой части, в показаниях источников, на коих роман основан.

с камнями за пазухою и в карманах. Патриарх, не доверяя Хованскому, медлил. Старый князь, видя, что замысел его не удастся, пошел во дворец, в комнаты царицы Софии, и сказал ей с притворным беспокойством:

— Государыня! стрельцы требуют, чтобы святейший патриарх вышел на площадь для прения о вере.

— С кем, князь?

— Не знаю наверное, государыня; изволь сама взглянуть в окно. Господи Боже мой! — воскликнул Хованский, отворяя окно. — Какая бездна народу! Кажется, вон эти чернецы, что стоят на скамьях, близ налоев, хотят с патриархом состязаться.

— Для чего же ты не приказал схватить их?

— Это невозможное дело, государыня! Все стрельцы и весь народ на их стороне. Я боюсь, чтобы опять не произошло — от чего сохрани, Господи! — такого же смятения, какое было пятнадцатого мая.

— А я всегда думала, что князь Хованский не допустит стрельцов до таких беспорядков, какие были при изменнике Долгоруком.

— Я готов умереть за тебя, государыня; но что ж мне делать? Я всеми силами старался вразумить стрельцов, — и слушать не хотят! Грозят убить не только всех нас, бояр, но даже... и выговорить страшно!.. даже тебя, государыня, со всем домом царским, если не будет исполнено их требование. Ради самого Господа, прикажи патриарху выйти. Я просил его об этом, но он не соглашается. Чего опасаться такому мудрому и святому мужу каких-нибудь беглых чернецов? Он, верно, посрамит их пред лицом всего народа и успеет прекратить мятеж.

— Хорошо! Я сама к ним выйду с патриархом.

— Сама выйдешь, государыня! — воскликнул Хованский с притворным ужасом. — Избави тебя Господи! Хоть завтра же вели казнить меня, но я тебя не пушу на площадь: я клялся охранять государское твоё здравие — и исполню свою клятву.

— Разве мне угрожает какая-нибудь опасность? Ты сам говорил, что и патриарху бояться нечего.

— Будущее закрыто от нас, государыня! Ручаться нельзя за всех тех, которые на площади толпятся. Изволь послушать, какие неистовые крики, словно вой диких зверей! Нет, ни за что на свете не пушу я твоё царское величество. Пусть идет один патриарх; я буду ох-

ранять его. Если и убьют меня, беда невелика; я готов с радостью умереть за тебя, государыня!

— Благодарю тебя за твое усердие, князь. Я последую твоим советам. Иди к патриарху и скажи ему моим именем, чтобы он немедленно шел во дворец.

— Через Красное крыльцо, государыня?

— Да. А мятежникам объяви, что я потребовала патриарха к себе и прикажу ему тотчас же выйти к ним для состязания.

По уходе Хованского София, кликнув стряпчего, немедленно послала его к патриарху и велела тихонько сказать ему, чтобы он изъявил на приглашение Хованского притворное согласие и вошел во дворец не чрез Красное крыльцо, а по лестнице Ризположенской. Другому стряпчему царевна велела как можно скорее отыскать преданных ей, по ее мнению, полковников Петрова, Одинцова и Циклера и подполковника Чермного и объявить им приказание немедленно к ней явиться.

Всех прежде пришел Циклер.

— Что значит это новое смятение? — спросила гневно София. — Чего хотят изменники-стрельцы? Говори мне всю правду.

— Я только что хотел сам, государыня, просить позволения явиться пред твои светлые очи и донести тебе на князя Хованского. Вчера по его приказанию мы собрались у него в доме. Он совещался с нами о введении старой веры во всем царстве и заставил всех нас целовать крест с клятвою хранить замысел его в тайне. Он всем нам обещал щедрые награды.

— И ты целовал крест?

— Целовал, государыня, для того только, чтобы узнать в подробности все, что замышляет Хованский и донести тебе.

— Благодарю тебя! Ты не останешься без награды. Кто главный руководитель мятежа?

— Руководитель явный — расстриженный поп Никита, а тайный — князь Хованский.

— Сколько стрелецких полков на их стороне?

— Весь Титов полк и несколько сотен из других полков.

— Хорошо! Поди в Грановитую палату и там ожидай моих приказаний.

Циклер удалился. Войдя в Грановитую палату, он стал у окошка и, сложив на грудь руки, начал придумывать средство, как бы уведомить Хованского, что царевне Софии известен уже его замысел. Не зная, которая из двух сторон восторжествует, он хотел обезопасить себя с той и другой стороны, давно привыкнув руководствоваться в действиях своих одним корыстолюбием и желанием возвышаться какими бы то ни было средствами.

Между тем к царевне Софии пришел Чермной.

— И ты вздумал изменять мне! — сказала София грозным голосом. — Ты забыл, что у тебя не две головы?

Чермной, давший накануне слово Хованскому наедине за боярство и вотчину убить царевну, если бы князь признал это необходимым, — несколько смутился; но, вскоре ободрившись, начал уверять Софию, что он вступил в заговор с тем только намерением, чтобы выведать все замыслы Хованского и ее предостеречь. Подтвердив уверения свои всеми возможными клятвами, он сказал наконец царевне, что готов по ее первому приказанию убить изменника Хованского.

Заметив его смущение, София, хотя и не поверила его клятвам, однако ж решила скрыть свои мысли, опасаясь, чтобы Чермной решительно не перешел на сторону Хованского.

— Я всегда была уверена в твоём усердии ко мне, — сказала царевна притворно ласковым голосом. — За верность твою получишь достойную награду. Я поговорю с тобой ещё о Хованском; а теперь поди в Грановитую палату и там ожидай меня.

Едва Чермной удалился, вошел Одинцов.

— Готов ли ты, помня все мои прежние милости, защищать меня против мятежников? — спросила София.

— Я готов пролить за твоё царское величество последнюю каплю крови.

— Говорят, князь Хованский затеял весь этот мятеж. Правда ли это?

— Клевета, государыня! Не он, а нововведения патриарха Никона, которые давно тревожат совесть всех сынов истинной церкви, произвели нынешний мятеж. Этого надобно было ожидать. Отмени все богопротивные новизны, государыня, восставь церковь в прежней чистоте её, — и все успокоятся!

— Я знаю, что вчера у князя было в доме совещание.



— Он заметил, что все стрельцы и народ в сильном волнении, и советовался с нами о средствах к отвращению грозящей опасности.

— Не обманывай меня, изменник! Я все знаю! — воскликнула София в сильном гневе.

Одинцов, уверенный в успехе Хованского и преданный всем сердцем древнему благочестию, отвечал:

— Я не боюсь твоего гнева: совесть меня ни в чем не укоряет. Ты обижаешь меня, царевича, называя изменником: я доказал на деле мое усердие к тебе. Видно, старые заслуги скоро забываются! Не ты ли уверяла нас в своей всегдашней милости, когда убеждала заступиться за брата твоего? Мы подвергали жизнь свою опасности, чтобы помочь тебе в твоих намерениях. Без нашей помощи не правила бы ты царством.

Пораженная дерзостью Одинцова, София чувствовала, однако ж, справедливость им сказанного и долго искала слов для ответа; наконец, сказала, стараясь скрыть овладевшее ею негодование:

— Я докажу тебе, что я не забываю старых заслуг. Докажи и ты, что усердие твое ко мне не изменилось.

Вместе с этими словами София твердо решила, по укрощении мятежа и по миновании опасности при первом случае казнить Одинцова.

— Что приказать изволишь, государыня? — спросил вошедший в это время Петров.

Царевна, приказав и Одинцову идти в Грановитую палату, спросила Петрова:

— Был ли ты вчера у Хованского на совещании?

— Не был, государыня.

— Не обманывай меня, изменник! Мне уже все известно!

Петров был искренно предан Софии. Слова ее сильно поразили его.

— Клянусь тебе Господом, что я не обманываю тебя, государыня! — сказал он. — Я узнал, что князь Иван Андреевич замышляет ввести во всем царстве Аввакумовскую веру, и потому не пошел к нему на совещание, хотел разведать о всем, что он замышляет, и донести твоему царскому величеству.

— Поздно притворяться! Одно средство осталось тебе избежать заслуженной казни: докажи на деле мне

свою преданность. Если стрельцы сегодня не успокоятся, то я и без тебя усмирю их, и тогда тебе первому велю отрубить голову.

— Жизнь моя в твоей воле, государыня! Не знаю, чем заслужил я гнев твой. Я, кажется, на деле доказал уже тебе мою преданность: я первый согласился на предложение боярина Ивана Михайловича, когда он после присяги царю Петру Алексеевичу...

— Скажи еще хоть одно слово, то сегодня же будешь без головы! — воскликнула София, вскочив с кресел. — Поди, изменник, к Хованскому, помогай ему в его замысле! Я не боюсь подобных тебе злодеев! Ты скоро забыл все мои милости. Прочь с глаз моих!

Петров, оскорбленный несправедливыми укоризнами, почти решился исполнить приказание царевны и действовать с Хованским заодно. Подойдя уже к дверям, он остановился и, снова приблизясь к Софии, сказал:

— Государыня! у тебя из стрелецких начальников немного верных, искренно преданных тебе слуг, на которых ты могла бы положиться. Один я не был на совещании у Хованского. Сторона его и без меня сильна. Не отвергай верной службы моей и не заставь меня действовать против тебя!

София, думая, что Петров устрасился угроз ее и оттого притворяется ей преданным, но считая, впрочем, что в такую опасную для нее минуту может быть не бесполезен и тот, кто из одного страха предлагает ей свои услуги, сказала Петрову:

— Ну, хорошо, загладь твою измену; я прощу тебя, если увижу на деле твое усердие ко мне.

— Увидишь, государыня, что ты меня понапрасну считаешь изменником.

По приказанию Софии Петров пошел в Грановитую палату.

— Что ж нам теперь делать, Иван Михайлович? — спросила София.

Боярин Милославский, отдернув штофный занавес, за которым скрывался во время разговора царевны с Хованским и с приходившими стрелецкими начальниками, сказал ей:

— Из всего я вижу, что на стороне Хованского не более половины стрельцов и что бояться нечего. Только не

должно допустить, чтобы патриарх вышел на площадь для состязания. Если его убьют, то все потеряно. Во всяком злодействе первый шаг только страшен, а я знаю, что Хованский с сообщниками условился начать дело убийством патриарха.

— Я уже велела ему сказать, чтобы он вошел во дворец по Ризположенской лестнице.

— Для чего, государыня, велела ты Циклеру, Петрову, Одинцову и Чермному идти в Грановитую палату? Мне кажется, что ни на одного из них положиться нельзя.

— А вот увидим.

София, кликнув стряпчего, послала в Грановитую палату посмотреть, кто в ней находится.

Стряпчий, возвратясь, донес, что он нашел в палате Циклера, Петрова и Чермного.

— Вот видишь ли! — сказала София, когда стряпчий вышел. — Я не ошиблась: только Одинцов изменил мне и пошел на площадь.

Однако ж София, несмотря на свою проницательность, очень ошибалась, потому что один Петров, на которого она всего менее надеялась, держался искренно ее стороны. Чермной, расхаживая большими шагами по Грановитой палате и мечтая об обещанном боярстве и вотчине, снова решился еще тверже прежнего действовать с Хованским заодно и по первому его приказанию принести Софию в жертву древнему благочестию. Какая вера ни будь, новая или старая, и кто ни царствуй, София или Иван, для меня все равно — размышлял он — лишь бы добиться боярства да получить вотчину в тысячу дворов; а там по мне хоть трава не расти! Циклер с нетерпением ожидал приказаний Софии, чтобы скорее уйти из Грановитой палаты, предостеречь Хованского и, таким образом обманув и царевну, и князя, ждать спокойно конца дела и награды от того из них, кто восторжествует.

— Не знаете ли, товарищи, — спросил Петров, — для чего царевна сюда нас послала?

— Она велела мне ждать ее приказаний, — отвечал Циклер.

— А мне говорила, — сказал Чермной, — что она сама придет сюда.

— Чем все это кончится? — продолжал Петров. Признаюсь: мне эти мятежи надоели. Хоть мы и хорошо сделали, что послушались Ивана Михайловича и заступились за царевича Ивана Алексеевича, однако ж надобно и то сказать: если б не было бунта пятнадцатого мая, так не было бы и нынешнего. Я с вами говорю, как с товарищами. Вы из избы сору не вынесете?

— Стыдись, Петров! — сказал Циклер. — После всех милостей, которые нам оказала царевна Софья Алексеевна, грешно слабеть в усердии к ней. Этак скоро дойдешь и до измены! Что до меня касается, так я за нее в огонь и в воду готов!

— И я также, — сказал Чермной. — Смотри, Петров! Чуть замечу, что ты пойдешь на попятный двор да задумаешь изменять Софье Алексеевне, так я тебе голову снесу, даром, что ты мне приятель: Я готов за нее отца родного зарезать!

— Что вы, что вы, товарищи! Кто вам сказал, что я хочу изменять царевне? Я только хотел с вами поболтать. Мало ли что иногда взбредет на ум; а у меня что на уме, то и на языке, когда я говорю с приятелями.

— То-то с приятелями! — сказал Чермной. — Говори, да не заговаривайся.

Между тем как они разговаривали, София совещалась с Милославским, а Хованский сообщил ее приказание патриарху: идти во дворец чрез Красное крыльцо. Патриарх, предуведомленный стряпчим, согласился, и Хованский, выйдя из Крестовой палаты на площадь, вмешался в толпу.

Афанасий, архиепископ Холмогорский, с двумя епископами, с несколькими архимандритами, игуменами разных монастырей и священниками всех церквей московских, пошел из Крестовой палаты к Красному крыльцу. Все они несли множество древних греческих и славянских хартий и книг, чтобы показать народу готовность к состязанию с раскольниками.

Вся площадь зашумела, как море. Не видя патриарха, стоявшие у Красного крыльца с камнями не знали, на что решиться, и шептали друг другу:

— Волка-то нет! Что ж нам делать? Спросить бы князя Ивана Андреевича. Куда он запропастился? А, да вот он!

Хованский, протеснясь сквозь толпу, приблизился к архиепископу Афанасию и спросил:

— А где же святейший патриарх?

— Он уже с митрополитами в царских палатах,— отвечал Афанасий.

— Как! да когда же он туда прошел? Я с Красного крыльца глаз не спускал: все смотрел, чтобы святейшего патриарха не затеснили и дали ему дорогу.

— О святейшем патриархе заботиться нечего, он уж прошел. А вот мы как пройдем сквозь эту толпу? Взгляни, какая теснота у Красного крыльца! Вели, князь, твоим стрельцам очистить нам дорогу.

Вместе с Афанасием и следовавшим за ним духовенством Хованский вошел во дворец.

— Государыня! — сказал он Софии, — вели святейшему патриарху немедленно идти на площадь: проклятые бунтовщики угрожают ворваться по-прежнему во дворец и убить патриарха со всем духовенством и всех бояр. Я опасаюсь за твое государское здравие и за весь дом царский!

— Я назначила быть состязанию в Грановитой палате, — отвечала София. — Объяви, князь, бунтовщикам мою волю.

Истоцив все возможные убеждения и видя непреклонность царевны, Хованский вышел на Красное крыльцо и велел позвать Никиту с сообщниками в Грановитую палату, куда между тем пошли София, сестра ее, царевна Мария, тетка их, царевна Татьяна Михайловна и царица Наталья Кирилловна в сопровождении патриарха, всего духовенства и Государственной Думы, немедленно собравшейся по приказанию царевны. София и царевна Татьяна Михайловна сели на царские престолы, подле них поместились в креслах царица Наталья Кирилловна, царевна Мария и патриарх, потом по порядку восемь митрополитов, пять архиепископов и два епископа. Члены Думы, архимандриты, игумены, священники, несколько стольников, стряпчих, жильцов, дворян и выборных из солдатских и стрелецких полков, в том числе Петров, Циклер и Чермной, стали по обеим сторонам палаты.

Наконец отворилась дверь. Вошел Хованский и занял свое место между членами Думы, за ним вошли двена-

дцать мужиков с зажженными восковыми свечами и толпа избранных сообщников Никиты с налоями, иконами, книгами и тетрадями; наконец явился сам Никита с крестом в руке. Его вели под руки сопроповедники его, крестьяне Дорофей и Гаврило, за ним следовали чернецы Сергей и два Савватия. На поставленные налои были положены иконы, книги и тетради, и мужики со свечами, как и на площади, стали пред налоями.

Когда шум, произведенный вошедшими, утих, София спросила строгим голосом:

— Чего требуете вы?

— Не мы,— отвечал Никита,— а весь народ московский и все православные христиане требуют, чтобы восстановлена была вера старая и истинная и чтобы новая вера, ведущая к гибели, была отменена.

— Скажи мне: что такое вера, и чем различается старая от новой? — спросила София.

— Вера старая ведет ко спасению, а новая к гибели. Первой держимся мы, а второй следуете все вы, обольщенные антихристом Никоном.

— Я не о том спрашиваю. Скажи мне прежде: что такое вера?

— Никто из истинных сынов церкви об этом вопрошать не станет, всякий из них это знает. Я не хочу отвечать на твой вопрос потому, что последователи антихриста не могут понимать слов моих. Не хочу метать напрасно бисера...

— Лучше скажи, что не умеешь отвечать. Как же смел ты явиться пред царское величество, когда сам не знаешь, чего требуешь? Как смел ты надеть одежду священника, когда тебя лишили этого сана за твое второе обращение к ереси, в которой ты прежде раскаялся?

— Хищный волк с сонмом лжеучителей не мог меня лишить моего сана: власть его дарована ему антихристом. Я не признаю этой власти и до конца земного моего странствования не буду ей повиноваться.

— Замолчи, бунтовщик, и встань сюда, к стороне! Что ж, не вздумал ли ты меня послушаться? Я тотчас же прикажу отрубить тебе голову!

Никита, нахмутив брови, замолчал и отошел к стороне.

— Говорите: зачем пришли вы? — спросила София, обратясь к сообщникам Никиты.

— Подать челобитную твоему царскому величеству! — отвечал чернец Сергей, вынув из-за пазухи бумагу.

По приказанию царевны один из членов Думы, взяв у него челобитную, начал читать ее вслух\*.

Она состояла из двадцати четырех статей и никем не была подписана. В начале было сказано: *«Бьют челом святыя Восточныя Церкви Христовы, царскіе богомольцы, священнический и иноческий чин и все православные христиане опрично тех, которые новым Никоновым книгам последуют, а старые хулят».*

По прочтении каждой статьи начинался спор и, по опровержении ее, приступаемо было к чтению следующей.

---

\* Для любителей старины выписываем содержание сей челобитной. Раскольники писали следующее: 1) В новой книге «Скрижаль» иподиакон Дамаскин повелевает православным христианам ходить без крестов, по-татарски, и пишет: какая польза или добродетель носить крест на раме своем? 2) Он же именует безгрешного Сына Божия Грешным. 3) В книге Иоанна Дамаскина, называемой «Нebesа», сказано: «Всяк убо не исповедуя Сына Божияго и Бога во плоти пришествовати, Антихрист есть». Слова эти означают, что Сын Божий не приходил еще, а придет. 4) Новые книги во многих местах не проповедуют воскресенья Сына Божия, как-то: в служебниках на литургии, в триодях в Великую субботу, в тропаре «Благообразный Иосиф», в тропаре Женам Мироносицам и в кондаке «Иже бездну затворивый», 5) В новом Требнике помещено моление лукавому духу. 6) Над умершими вместо помазания святого масла велено сыпать пеплом. Это срамно не только творити, но и глаголати. 7) Нововводители животворящий крест, из певга, кедра и кипариса делаемый, оставили и возлюбили крыжлатинский. 8) В новых книгах велено креститься не двумя, а тремя перстами, против предания святых отцов. 9) В нынешние последние времена проповедники новой веры стали очень горды и немилосердны: за одно неугодное им о вере слово мучат и хотят предать смерти. 10) В новых книгах велено говорить аллилуия трижды. Но это латинская ересь, ибо должно говорить дважды, по преданию цареградского патриарха Иосифа. 11) Нововводители неизвестно для чего в молитве Иисусовой «Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас!» сделали перемену и велят говорить: «Господи Иисусе Христе Боже наш» и проч. 12) В новых книгах в Символе Веры вместо несть конца сказано: не будет конца. Так поступили униаты, присоединясь к Риму. 13) В тех же книгах напечатано: «И в Духа Святаго Господа животворяшаго». В старых же книгах после слова Господа сказано еще истиннаго. 14) В новых книгах Символ Веры изменен еще тем, что в слове Иса (Иисуса) прибавлена буква и. Нововводители отделяют этим Сына Божия во ин состав от Божества. 15) В новых книгах

Когда дошла очередь до пятой статьи, в которой было сказано, что в новом Требнике напечатана молитва лукавому духу, то Хованский, расхаживая по палате, будто бы для прекращения шума, подошел к Никите и шепнул ему:

— Не опасайся, отец Никита, угрозы царевниных и не слабей в святом усердии к древнему благочестию.

Едва Хованский успел отойти от него, как Никита, не дав патриарху окончить начатого им возражения, закричал:

— Сомкни, хищный волк, уста свои, исполненные лести и коварства! Дела ваши обличают вас! Если б вы были не ученики антихристовы, то не стали бы молиться врагу человеческого рода!

— Ты говоришь это потому, что плохо знаешь грамматику! — сказал спокойно архиепископ холмогорский Афанасий. — Пустясь в море богословия, ты у берега не заметил запятой и, наткнувшись на этот подводный камень, сам тонешь, да и других на дно с собою тащишь. В молитве на крещение сказано прежде: *«Ты сам влады-*

---

на Троицкой вечерне отменена эктения большая и молитва Святому Духу. Притом ныне молятся стоя, по-римски, на коленях и глав не преклоняют. 16) В новых книгах на отпуске Троицкой вечерни напечатано: «*иже от отчих и божественных недр истощивый себе*», а в старых сказано: «*излив себе*». 17) В новых служебниках архиерейские молитвы пред литургиею отменены, а в Соловецкой обители находятся служебники, писанные за 500, за 600 лет и более, в них есть архиерейские молитвы. Эти древние служебники с Никоновыми разнятся. 18) В старых служебниках велено служить над семью просвирами, а не над пятью, да и на просвирах нововводители ставят вместо прежнего истинного осьмиконечного креста четвероконечный крест латинский. 19) В новых книгах напечатано в тропаре «*Во гробе плотски и на престоле был еси*», а в старых сказано *беше*, а не *был еси*. 20) Никон завел вместо жезла святителя Петра Чудотворца святительские жезлы со змеями, заняв сие от жидов. 21) Новые учителя иноческий чин совершенно исказили: ходят в церковь и по площадям без мантий, как иноземцы; клобуки переменили и носят подклейки, как женщины, поверх лба, не по преданию святых отцов. 22) В новом Требнике не велено возлагать мантий на постригаемых в иноки. 23) Новые учителя в Московском государстве греческими книгами православную веру истребили до того, что и следа нет православия, и учат нас новой вере как мордву и черемису, будто бы совсем не знающих Бога и истинной православной веры. 24) По установлению Никона архиереи благословляют, осеняя народ обеими руками, по-римски.

В сочинении патриарха Иоакима «Увет Духовный» содержится полное опровержение сей челобитной.



ко Господи Царю прииди»; далее же следует: «Да не снидет со крещающимся, молимся тебе, Господи, дух лукавый» и проч. Итак, все сказанное в этой молитве относится к Богу, равно как и слова «молимся тебе, Господи». Если б последние относились к духу лукавому, то они не были бы отделены знаками препинания, да и дух лукавый должно было бы поставить в звательном падеже и сказать: душе лукавый.

— Сатана, которому вы молитесь, говорит твоими нечестивыми устами! — воскликнул Никита. — Я смышлю в твое из *грамматического художества* и знаю, что оно учит не вере истинной, а знакам препинания; оно помогает полагать препинания православным на пути спасения. Оттого-то и антихрист Никон, учитель ваш, любил грамматическое художество, оттого и вы...

— Замолчи! — воскликнула София и велела продолжать чтение челобитной.

По прочтении осьмой статьи, в которой доказывалось, что должно креститься двумя, а не тремя перстами, Никита, не обращая внимания на слова царевны, приказывавшей ему замолчать, начал с жаром читать из тетради, которую взял с наложья, следующее:

*«Великие страдальцы Алексий и Феодор, града Ростова, начаша обличати Никоново новопредание. Царь же не восхоте сих озлобити, аще и духовнии наступоваху на кровопролитие, но не послуша царь, во изгнание осуждает их в Поморскую страну, во окиянские пределы, близ Кольского острога в монастырь Кандалажский, иде же всякую скорбь и тесноту и скудость приемлюще яко до сорока лет. Сего ради от всюду народи притекающе слышати от них душеполезные словеса, от всея поморские страны. Тогда на Холмогорех новопоставленному архиепископу Афанасию, лютейшу зело завистию Никоновых новопреданий любителю, возвещено бысть о сих блаженных, яко всю поморскую страну подтверждают еже о древнем благочестии. Архиерей, яростию распалився, воины взяв от воеводы, в Кандалажский монастырь посылает. Тогда взяша страдальцев, в темницу за крепкую стражу посадиша, по сем представиша архиерею, и прежде увещеваху, еже креститися тремя персты и прияти новопечатыне книги. Они же не приемляху, но и приемлющих поношаста. Тогда архиерей повеле*

бити их и вопрошаше: покоряетелися? Страдальцы же никакого же хотяху, но терпети обещающиеся за древнее благочестие. Недоумеваяся архиерей коим бы хитротворением привлеци к своей воли, повеле их в темницу посадити и голодом морити, хотя сих некими прелестями одолети. Брашно начат к тем от себя посылати, но прежде нечто действовав над брашны и рукою пятиперстным благословением оградив, посылает. Спящу вседивному Феодору, Алексий брашно приемлет, и егда голодом преклоняем, восхоте Алексий от принесеннаго прияти брашна, восстав Феодор, удержав его за руку и рече: не прикасайся приносимым, не видиши ли змия черного на брашне лежаща? Прежде помолися со слезами и увидиши прелесть. Тогда Алексий начат молитися и виде на всех брашнях змиево лежание. Тогда взял брашно, верзе за оконце на землю. Стрегущии зряху, возвещают сия архиерею. И начаста страдальцы голодом пребывати, от архиерея не приемлюще брашна. И некогда Алексий, жаждою объят быв, повеле стрегущему сосудец принести воды. Стрегущий шед доложися архиерею. Повеле архиерей принести воды и взял к себе нечто действовавшее, и рукою оградив пятиперстным сложением, посылает. Но духопрозрительный Феодор, взял сосуд, рече Алексиеви: видиши ли яко змий в сосуде на воде плавает? Также дивный Феодор глагола ко стрегущему: был где с водою? Оному же отпирающемуся, глаголаше старец: само видение воды являет, яко у архиерея был еси, сего ради змий черный по воде плавает невидимо. И тако взял воду за окно изливает на землю. Преподобный Феодор голодом преставися; многотерпеливый же Алексий девять седмиц\* без пищи и пития препроводив, преставися, и тако оба скончашася за древнее благочестие».

— Вот дела твои, душегубец! — воскликнул Никита, обратясь к Афанасию. — Вы повелеваете всем креститься тремя перстами, порицая истинное двуперстное сложение, а сами втайне слагаете пять перстов и призываете диавола на пищу и питье для оболыбления православных! Горе тому, кто вас слушается! Ваше троеперстное сложение есть печать антихриста, а пятиперстное — знак союза с врагом человеческого рода!

---

\* Итого 63 дня.

— Душегубцы! богоотступники! дети антихристовы! — закричали все сообщники Никиты, подняв правые руки вверх с двумя сложенными пальцами. — Так, так должно креститься!

Стрельцы, стоявшие на площади, слыша крик в Грановитой палате, начали громко роптать, вынимая сабли. Народ, ужаснувшись, заволновался на площади.

София с теткою и сестрою и царица Наталья Кирилловна встали с мест своих в намерении удалиться из палаты.

— Если вы попускаете бунтовщиков в нашем присутствии и при святейшем патриархе до таких неистовств, — сказала София Петрову, Циклеру и Чермному, — то ни царям, ни мне, ни всему дому царскому в Москве более оставаться невозможно; мы все удалимся в чужие страны и объявим народу, что вы этому причиною.

— Мы готовы за тебя положить свои головы, государыня! — отвечал Петров и начал умолять Софию переменить ее намерение.

По усиленным просьбам его, равно Циклера и Чермного, София опять села на один из престолов, и все заняли прежние места свои.

Когда восстановилось в палате молчание, архиепископ Афанасий сказал Никите:

— Греки, от которых Россия приняла православную христианскую веру при великом князе Владимире, крестятся, слагая три перста. Обычай этот сохраняет греческая церковь по преданию апостольскому. Вы ссылаетесь на Феодорита, епископа кирского, будто бы повелевающего креститься двумя перстами, но вы лжете на Феодорита. Еще в лето миробытия шесть тысяч шестьсот шестьдесят шестое еретик Мартин Армянин учил слагать персты по-вашему и был предан проклятию собором, бывшем двадцатого октября того же года в Киеве. Притом молитва не состоит в одном сложении перстов: должно поклоняться Богу духом и истиною. Если сердце ваше исполнено страсти к раздорам, гордости и ненависти к братьям вашим, если вы не покоряетесь установленным от Бога властям и производите мятеж народный, то как ни слагайте персты, молитва ваша не будет услышана. Бог внемлет молитвам праведных, ко-

которые соблюдают две главные заповеди Его: любить Бога и ближнего,— которые любят даже врагов своих.

— Не тебе учить нас, душегубец! — воскликнул Никита.— Не из любви ли к ближним уморил ты голодом великих страдальцев Феодора и Алексия?

— Ты клеветешь на меня! узнавши, что они учат народ не ходить в церкви, распространяют между ним ересь свою вопреки царскому запрещению, объявленному им при отправлении их еще при патриархе Никоне в Кандаджский монастырь, я потребовал их к себе и старался всеми мерами обратить их к церкви православной. Не моя вина, что на кушанье и питье, которые я им посылал с моего стола трезились им какие-то черные змеи и что они бросали кушанье и выливали питье за окно. По словам самого Феодора, змей по воде плавал невидимо; как же он видел его? Вольно им было, испугавшись невидимого змея, уморить себя голодом и жаждою. За это нельзя винить меня. Притом, нельзя верить твоему повествованию. Кто говорит, что человек пробыл без пищи и питья девять недель, тот явно лжет.

— Ты уморил праведных страдальцев, душегубец! Услышьте моление мое, преподобный Феодор и много-терпеливый Алексий, помогите отомстить смерть вашу. Погибни, сын погибели!..

С этими словами Никита в исступлении бросился на Афанасия и хотел ударить его крестом в висок, но полковник Петров удержал его руку и с величайшим усилием оттащил от архиепископа. Во всей палате произошло смятение.

— Если ты осмелишься еще сойти с твоего места и сказать хоть одно слово, то я, как послушника царской власти, прикажу казнить тебя! — сказала София Никите.

Когда чтение челобитной кончилось, раздался благовест к вечерне. Начинало уже смеркаться. София встала с престола и сказала раскольникам:

— Теперь уже поздно решить вашу челобитную. Собрание продолжается с десятого часа дня; все устали. Завтра опять будет назначено собрание, и вам явится указ на ваше прошение.

София с теткою и сестрою и царица Наталья Кирилловна удалились в свои покои, и все вышли из Грановитой палаты, Никита и сообщники его посреди бесчислен-

ной толпы народа пошли из Кремля на Красную площадь, подняв правые руки вверх с двумя сложенными пальцами и восклицая:

— Победили! победили! Так слагайте персты! По-нашему веруйте!

Взойдя на лобное место и положив на налон иконы, продолжали они кричать народу:

— По нашему веруйте! Мы всех архиереев оспорили и посрамили!

После этого сказали они народу поучение, будто бы по царскому повелению, и сошли с лобного места, чтобы удалиться в главное место собрания их, в слободу Титова полка.

Вдруг глаза у Никиты закатились, и он упал на землю в страшных судорогах. Пена била у него изо рта.

Сообщники его остановились в недоумении; толпа стрельцов и народа окружила их.

Наконец Никита пришел в чувство и встал, шатаясь, на ноги.

— Хватайте его! — закричал полковник Петров, бросаясь с отрядом стрельцов своего полка к Никите.

— Не тронь! — закричали стрельцы, единомышленники раскольников.

— Хватайте, вяжите его! Крепче, Ванька, затягивай! — продолжал Петров. — Не мешайте нам, дурачье! Что вы за этого еретика заступаетесь, разве не видали вы, как его нечистый дух ударил оземь? От всякого православного дьявол бежит не оглядываясь. Явно, что этот бездельник — колдун и чернокнижник, — и всех вас морочит.

Слова эти произвели на защитников Никиты приметное впечатление. Сообщники его в страхе разбежались, и толпа, шедшая за ним до Тюремного двора, постепенно рассеялась.

На другой день, шестого июля, рано утром вывели Никиту на Красную площадь. Палач с секирой в руке стоял уже на лобном месте. Вскоре вся площадь закипела народом.

Думный дьяк прочитал указ об отсечении головы Никите, если он всенародно не раскается в своих преступлениях и в своей ереси. В последнем случае велено было его сослать в дальний монастырь.

Никита, выслушав указ, твердыми шагами взошел на лобное место.

— Одумайся! — сказал думный дьяк.

— Предаю анафеме антихриста Никона и всех учеников его! Держитесь, православные, веры старой и истинной!

— Итак, ты не хочешь раскаяться? — спросил дьяк.

— Умираю за древнее благочестие!

Перекрестясь двумя перстами, Никита положил голову на плаху. Народ хранил глубокое молчание.

Секира, сверкнув, ударила по плахе. Брызнула кровь, и голова Никиты, отлетев от туловища, покатилась. Все, бывшие на площади, невольно вздрогнули и, вполголоса разговаривая друг с другом, мало-помалу рассеялись.

## VI

*Он, думой думу развивая,  
Верней готовит свой удар;  
В нем не слабеет воля злая,  
Неутолим преступный жар.*

Пушкин,

Смерть Никиты сильно поразила и опечалила Хованского. С Одинцовым и с некоторыми другими, самыми ревностными поборниками старой веры, отслужив ночью панихиду по великом учителе своем и включив его в число мучеников, Хованский поклялся идти по следам его и во что бы то ни стало утвердить во всем Русском царстве древнее благочестие. Он начал еще более прежнего потворствовать стрельцам, исходатайствовал у Софии указ\* о переименовании их, по обещанию ее, Надворною пехотою, и всеми мерами старался их привязывать к себе, чтобы чрез них достигнуть своей цели. Вскоре все стрельцы без исключения начали называть его отцом своим, и всякий из них готов был пожертвовать жизнью за старого князя. Поступки его не укрылись от Софии. Повторяемые уверения Хованского в неизменной преданности считала она по справедливости притворством и была уверена, что он ждет только удобного слу-

---

\* 28 июля 1682 года,

чая для исполнения замысла, разрушенного смертью Никиты. Основываясь на доносе Циклера, она думала, что вся цель Хованского состоит во введении старой веры в России и что поэтому он опасен не ей самой, а только патриарху и духовенству. Зная приверженность стрельцов к князю, царевна боялась вооружить его против себя, продолжала оказывать ему прежнее доверие и искала случая удалить его под каким-нибудь благовидным предлогом из столицы. Милославский давно смотрел с завистью на возрастающее могущество Хованского и, наконец, поссорясь с ним явно, из друга превратился в непримиримого врага его. Наблюдая за всеми поступками Хованского, он доносил обо всем Софии. Циклер вкрался в доверенность князя, чтобы обезопасить себя и что-нибудь выиграть при новом мятеже, и в то же время помогал Милославскому в наблюдениях за Хованским. Незадолго до первого сентября, месяца через полтора после смерти Никиты, Циклер рассказал Милославскому, что он из некоторых слов Хованского и сына его заметил, что замыслы их не ограничиваются повсеместным восстановлением в государстве древнего благочестия, а простираются гораздо далее. Уведомленная о том София, опасаясь, чтобы Хованский не произвел опять мятежа во время празднования нового года в наступавшее тогда первое число сентября\*, решила удалиться из Москвы с обоими царями и со всем домом царским в село Коломенское. Хованский остался в Москве. Еще девятнадцатого августа, в день крестного хода в Донской монастырь, замышлял он произвести мятеж и предать смерти патриарха, Государственную Думу и весь дом царский и, по избранию стрельцов, сделаться парем московским. Но София с обоими царями приехала в монастырь по прибытии уже туда патриарха, а Хованский, подумав, что она с царями вовсе не будет присутствовать при этом торжестве, отложил исполнение свое-

---

\* В древности считали в России новый год с весны, от первого новолуния по равноденствию. После принятия христианской веры начали счислять время с сотворения мира и праздновать церковный год 1-го марта, а гражданский 1-го сентября. При митрополите Феофане собор, бывший в Москве, решил как церковный, так и гражданский год начинать 1-го сентября. В 1700 году Петр Великий указал праздновать новый год 1-го января и счислять время от Рождества Христова.

го замысла до другого удобного времени. По отъезде в село Коломенское София велела объявить царское повеление Хованскому, чтобы он присутствовал при молебствии на дворцовой площади, которое должен был совершать патриарх в день нового года. Повеление это имело две цели: во-первых, под видом особой доверенности к Хованскому поручить ему надзор за порядком при назначенном торжестве и таким образом всю ответственность за нарушение порядка возложить на того человека, которого наиболее должно было в этом случае опасаться; во-вторых, этим средством обезопасить патриарха во время молебствия посреди тех самых стрельцов, которые недавно замыслили убить его, вызвав на площадь.

Хованский, обманувшись в надежде совершить первого сентября то, что не удалось ему исполнить девятнадцатого августа, вопреки царскому повелению пробыл весь день нового года дома, не присутствовал при молебствии и послал вместо себя окольного Хлопова.

Стрельцы, державшиеся древнего благочестия, не смея без приказа их главного начальника покуситься на беспорядки, ограничились оскорбительными для патриарха восклицаниями во время молебствия и разными неопределенными угрозами, которые навели ужас на всех московских жителей.

Поздно вечером пришли к Хованскому сын его, князь Андрей, и полковник Одинцов и долго совещались с ним наедине в рабочей горнице боярина.

Во время ужина вошел в столовую дгорецкий Савельич. Румяный, как вечерняя заря, нос его показывал, что он, несмотря на все свои заботы и хлопоты, не упустил в такой торжественный день сходить на Отдточный двор и с кружкою в руке заочно поздравить своего господина с наступившим новым годом.

Поклонясь низко князю и пошатнувшись немного в сторону, он оперся о стол обеими руками и сказал довольно внятно, несмотря на то, что язык плохо ему повиновался:

— На тот случай, если б ты, боярин, неравно подумал, что я сегодня пьян, пришел я доложить твоей милости, что у меня — хоть к присяге веи — во рту капли не бывало.

— Это видно! — сказал князь Андрей, засмеявшись.



— Пошел вон, дуралей! — закричал старик Хованский.

— Пойти-то я пойду, только надобно прежде доложить еще, что у нас приключилась превеликая беда. Не хотелось бы мне тревожить твою милость в этакой день, да делать нечего, дело важное!

— Что такое? — спросил Хованский, несколько испугавшись.

— А вот изволишь видеть, боярин: давеча, в то самое время, как приезжал к тебе от царевны Софьи Алексеевны гонец, стряслась такая беда, что и сказать страшно, язык не ворочается...

— Вижу, что он не ворочается, пьяница! — закричал Хованский. — Говори скорее: что за беда?

— Этого нельзя сказать тебе при других.

— Каково вам это кажется! — сказал Хованский, посмотрев на сына и Одинцова. — Ты, видно, ум пропил, разбойник! Здесь лишнего никого нет, все сейчас говори!

— Коли ты приказываешь, то я, пожалуй, скажу. А то сам же ты велел мне молчать и грозил отрубить голову, если я проболтаюсь.

— Добьюсь ли я от тебя сегодня толку, мошенник! — закричал князь, вскочив со своего места.

— Секира-то пропала!

— Какая секира, пьяница!

— Воля твоя, боярин, виноват не я. Ты сказал мне тогда, что эта секира понадобится тебе через три дня, и велел ее наточить. Я и наточил ее, вытесал и чурбан, и веревки, и два заступа приготовил и убрал все в чулан, знаешь, в тот, где разный хлам валяется. Я несколько раз тебе докладывал, что надобно купить новый замок к чулану и что твой повар Федотка сущий вор. Ан так и вышло! Как он накануне твоего тезоименитства прошлого года бежал и замок тогда же украл, мошенник, сверх того из погреба бутылку любимой твоей настойки, которую ты сам изволил делать, мой вязаный колпак да еще кой-какие мелочи...

— Что ты за вздор мелешь! Ты что-то болтал про давешнего гонца и про какую-то беду, — говори толком, пьяница, и не ври посторонщины.

— Какая тут посторонщина! Изволь только до конца выслушать. Ты мне на прошлой неделе приказывал купить на Отдаточном дворе вина для настойки. Прихожу

я сегодня туда не то чтобы выпить, а чтобы вина купить для твоей милости,— глядь, в углу стоит наша секира! Я спрашиваю у продавца: откуда он взял ее? Он сказал мне, что какой-то де мужик принес секиру и заложил ее в двух алтынах за кружку вина. Я и смекнул: знать, кто-нибудь стянул у нас секиру из чулана. Что тут за диво, коли замка нет! Эй, вели купить замок, боярин; этак и все растащат! Я, однако ж, беду поправил и секиру выкупил на свои деньги. Стало быть, два алтына за твоею милостью. Ну да ничего, сочтемся.

Одинцов и князь Андрей захохотали.

— Пошел вон, дурачина! — закричал Хованский. — Только для нового года прощаю тебя. Напейся ты у меня в другой раз!

Дворецкий низко поклонился и вышел из комнаты не по прямой, однако ж, геометрической линии, а по ломаной.

— Про какую толковал он секиру? — спросил Одинцов старика Хованского.

— Я велел ее приготовить для Бурмистрова.

— Как, разве он еще жив? Я думал, что ему давно уже голову отрубили. По всей Москве говорили об этом.

Хованский объяснил Одинцову причины, по которым, отсрочив казнь Бурмистрова, решил он тайно содержать его в тюрьме своей, и прибавил:

— Великий страдалец Никита повелел принести его в благодарственную жертву. чрез три дня по восстановлении древнего благочестия. Не сомневаюсь, что скоро принесем мы эту жертву. Господь явно по нас поборает. Он поможет нам совершить подвиг наш во славу Божию и истребить с лица земли еретиков.

— Я положил секиру в чулан, — сказал Савельич, войдя опять в комнату, — и привесил к двери замок с моего старого сундука.

— Убирайся вон, бездельник! — закричал Хованский.

— Я купил его лет пять тому назад за четыре алтына; а так как ты не господин наш, а настоящий отец, то я уступаю тебе этот замок, хоть он и новехонек, за три алтына. Стало быть, за твоею милостию с давешними всего пять алтын. Еще забыл я спросить тебя: отцу-то Никите отрубили голову, — кто же теперь будет патриархом? Царем будешь ты, боярин, это уж дело решенное, а патриарха-то где бы нам взять?

— Что это значит? — воскликнул Хованский, вскочив со своего места. Схватив со стола нож, подошел он к дворецкому и, взяв его за ворот, приставил нож к сердцу. — Говори, бездельник, где ты весь этот вздор слышал? Дворецкий как ни был пьян, догадался однако ж, что он лишнее выпил и оттого выболтал лишнее. Чтобы выпутаться из беды, решил он прибегнуть к выдумке.

— Помилуй, боярин, за что ты на меня взъелся? — сказал он. — Я все это слышал на Отдаточном дворе.

— Что!!! На Отдаточном дворе? — воскликнул Хованский, изменяясь в лице.

— Истинно так! Там все как в трубу трубят, что ты будешь царем и выберешь другого патриарха.

Хованский, стараясь скрыть испуг свой и смущение, сел опять к столу и отер рукою холодный пот, выступивший на лице его.

— Там насчитал я человек с тридцать подьячих, чернослободских купцов и мужиков: все пили за твое государственное здравие. Грешный человек, не удержался, и я выпил за здравие твоего царского величества!

— Поди, выпишь! Если ты скажешь кому-нибудь хоть одно слово о всех этих бреднях, то я велю тебе язык отрезать.

Когда дворецкий вышел, старик Хованский, обратясь к Одинцову, сказал:

— Кто-нибудь изменил нам! Нет сомнения, что царский двор все уже знает, если уж на Отдаточном многое известно. Что нам делать?

— Не теряй, князь, бодрости, — отвечал Одинцов. — Бог видит, что мы подвигаемся за доброе дело; Он наставит нас и нам поможет.

— Однако ж не должно терять времени, — сказал молодой Хованский. — Надобно подумать о мерах предосторожности: могут вдруг схватить нас.

— Всего лучше, — сказал Одинцов, — скрыться в какое-нибудь не отдаленное от Москвы место, созвать туда всех наших сподвижников, посоветоваться и, призвав Бога в помощь, идти против еретиков. В коломенском войска-то немного.

— Я сам то же думал, — сказал старик Хованский. — Но куда мы скроемся? Что обо мне подумают мои дети, моя Надворная пехота?

— Я объявлю им, чтоб они до приказу твоего оставались спокойно в Москве.

— Можно оставить здесь с ними Циклера,— продолжал старик Хованский,— и поручить ему, чтобы он наблюдал за всеми поступками еретиков и нас обо всем извещал.

— Циклера? Давно я хотел сказать тебе, князь, что он человек ненадежный. Хоть он и притворяется тебе преданным, но я бьюсь об заклад моею головою, что он ищет во всем своей только выгоды и при первой твоей неудаче на тебя восстанет.

— Почему ты так об нем думаешь? Он на деле доказывает свое усердие к древнему благочестию.

— Притворяется! Ведь он перекрещен в нашу веру из немцев, а верно, втайне держится своей лютеранской ереси. Того и гляди, что он нам изменит! Я даже думаю, что никто другой, как он, донес о наших намерениях супостатке истинной церкви Софье и что от него разнеслись по Москве все эти слухи, о которых говорил твой дворецкий. Мне сказывал один из стрельцов, что видел недавно, как Циклер поздно вечером пробирался в дом Милославского.

— Милославского? Точно ли это правда?

— Какая надобность стрельцу лгать на Циклера!

— Благодарю тебя, Борис Андреевич, что ты меня предостерег. Однако ж... Мудрено поверить, чтоб Циклер был изменник. Отчего бы ему так действовать решительно? Мне кажется, он готов голову положить за истинную церковь.

— Он всегда решителен, когда видит, что можно чужими руками жар загрести. Покуда есть опасность, он виляет на ту и на другую сторону, а как начнет одна сторона одолевать, так он к ней как раз и пристанет, тогда в огонь и в воду лезть готов; подумаешь, что он-то все и сделал. Знаю я его! До пятнадцатого мая был он тише воды ниже травы, а как счастье повезло Ивану Михайловичу, наш Циклер так вперед и рвется. За то и поместье ему досталось получше, чем нам, грешным. По мне, так изменник Петров лучше этого Иуды!

— А где Петров? — спросил старик Хованский.

— Уехал сегодня утром в Коломенское.

— Туда и дорога! — сказал князь Андрей.— Мы с ним скоро там увидимся.

Во время последовавшего затем молчания старый князь ходил взад и вперед по комнате, на лице его изображалось сильное душевное волнение.

— Андрюша! — сказал он сыну, — осмотри пашу стражу: все ли сто человек налицо? Вели всем зарядить ружья. На всю ночь поставить у ворот часовых. Да скажи дворецкому, чтобы подал мне ключ от калитки, что на черном дворе, и чтобы велел оседлать наших лошадей и поставить у калитки.

— Куда ты, князь, собираешься? Теперь уже скоро полночь, — сказал Одинцов.

— Я хочу идти спать. Ночуй у меня, Борис Андреевич, а лошадь твою вели с нашими вместе поставить. Хоть опасаться нечего, однако ж все-таки лучше приготовиться на всякий случай; спокойнее спать будем. Да не лучше ли теперь же нам уехать из Москвы, как ты думаешь?

— К чему так торопиться? Ляжем, благословясь, спать. Утро вечера мудренее. Успеем и завтра уехать. Прежде надобно посоветоваться со всеми нашими сподвижниками, да и их всех взять с собой. Пускай и Циклер с нами едет; а в Москве оставим с Надворною пехотою Чермного, он будет один знать, где мы. Когда придет время подвига, пошлем к нему приказ, чтобы поспешил к нам с войском, и пойдем истреблять еретиков.

В это время вошел в комнату Циклер. Приметив беспокойство старика Хованского и перемену в его обращении с ним, от тотчас подумал: не узнал ли что-нибудь старый князь об его сношениях с Милославским.

— Я пришел к вам с важными вестями, — сказал он. — Слышал ли ты, князь, что Милославский вчера вечером, а Петров сегодня утром уехали в Коломенское?

— Все это знаю, — отвечал старик Хованский. — Знаю и то, что ты по вечерам ходишь в гости к Ваньке Подорванному!\*

— Я только что хотел об этом говорить. По старой дружбе призывал он меня на днях к себе, сулил золотые горы и звал меня с собою в Коломенское. Я и притворился, что держусь стороны еретиков, а он сдуру и выболтал мне все, что на сердце лежало. Уж как тебя тру-

---

\* Прозвище, которое было присвоено простым народом Милославскому.

сят еретики! Однако ж ни он, ни супостатка истинной веры Софья ничего не знают о наших намерениях. Не худо бы застать их врасплох! Когда ты, князь, думаешь приступить к делу?

— Мера терпения Божия еще не исполнилась! Господь укажет час, когда должны мы будем извлечь мечи наши на поражение учеников антихриста. Завтра вечером уезжаем мы из Москвы.

— Куда?

— Увидишь куда. Тебе надобно будет ехать с нами. Ночуй у меня. Завтра целый день ты мне будешь нужен, а вечером отправимся вместе в дорогу.

— Очень хорошо! Вели, князь, теперь же послать за моею лошадыю. Я пришел сюда пешком, завернувшись в опашень. Милославский велел подглядывать объезжим и решеточным за всеми, кто к тебе приезжает или приходит.

— Так ты его и испугался?

— Есть кого бояться! Я для того только решил приходить к тебе тайком, чтобы этот Подорванный все думал, что я на стороне еретиков. Я хочу на днях побывать в Коломенском. Он мне еще что-нибудь разболтает, а я все тебе перескажу. Я слышал, что он советовал Софье послать в Москву и во все города грамоты с указом, чтобы стольники, стряпчие, дворяне, жильцы, дети боярские, копейщики, рейтары\*, солдаты, боярские слуги и всяких чинов ратные люди съехались к Коломенскому. Хоть этой сволочи бояться нечего — что она сделает против храброй Надворной пехоты и стройного Бутырского полка\*\* — однако ж надобно поразведать: правда ли это? Если в самом деле так, то лучше, не теряя времени, чагрнуть в Коломенское, да и концы в воду. А там изберем царя и нового патриарха; хищного волка низвергнем в преисподнюю и составим новую Думу. Ты наш отец, а мы дети твои. Будешь царем, а мы боярами. Я люблю говорить прямо! Что на сердце, то и на языке!

---

\* Копейщики составляли небольшое пехотное войско, размещенное по городам для охранения внутренней безопасности. Они вооружены были только копьями и оттого получили свое название. Рейтарами назывались конные полки, утвержденные царем Алексеем Михайловичем вместе с солдатскими.

\*\* Летописи наши называют иногда солдатские полки **строеными**. Слово это хорошо выражает иностранное название **регулярий**.

— Не пленяйся, Иван Данилович, боярством и не прельщай меня царским венцом. Я дожил до седых волос и уверился, что все в мире этом суета сует, кроме веры истинной. Для нее подвизаюсь я, для нее извлекаю меч против обольщенных антихристом еретиков, проливших кровь праведника. Если я и желаю царского венца, то для того только, чтобы ниспровергнуть царство антихриста, восстановить древнее благочестие и спасти душу мою. Мне уже недолго осталось жить на свете, пора и о спасении души подумать! Впрочем, да свершается воля Всевышнего со мною, я с верою следую, куда рука Его ведет меня. Если Он судил мне быть на престоле для восстановления в Русском царстве матери нашей истинной церкви, потщусь совершить Его назначение; если же Он повелит мне прославить имя Его моею кровию, секира и плаха не устроят меня. Великие страдальцы Аввакум сожженный и Никита обезглавленный заслужили уже небесный мученический венец, который славнее всех земных венцов царских. Прославлю Господа, если Он и меня сподобит этого венца!

Сказавши это, Хованский удалился в свою спальню. Одинцов и Циклер в комнате, для них отведенной, легли на ковры и, не сказав друг другу ни слова, заснули, а князь Андрей пошел осматривать стражу и исполнять все другие приказания отца. Когда часовые были поставлены и лошади оседланы, он лег в постель и целую ночь не смыкал глаз, мечтая о браке своем с царевною Екатериною. Будет, думал он, сожалеть, недостойная сестра ее, надменная Софья, что отвергла предложение отца моего. Родственный союз с князьями Хованскими, происходящими от короля Ягеллы, показался ей унижительным! Пусть же погибает она, пусть погибают все ее родственники, кроме моей невесты! По смерти отца я взойду с нею на престол московский. Я докажу свету, что Хованские рождены царствовать: завоюю Литву, отниму у турок Грецию и заставлю трепетать русского оружия всех государей земли; подданные будут обожать меня; я восстановлю правосудие, прекращу все церковные расколы. Не буду слушаться, подобно отцу моему, какого-нибудь расстриженного попа, воля моя для всех будет законом.

Утренняя заря появилась уже на востоке, когда заснул преступный мечтатель.

## VII

*Исчезли замыслы, надежды,  
Сомкнулись алчны к трону вежды.*

Державин.

Второго сентября на рассвете преданный Софии стрелецкий полковник Акинфий Данилов пробрался окольною дорогою к селу Коломенскому. Он выехал из Москвы ночью для донесения царевны о всем, что произошло в столице в день нового года. Окна коломенского дворца, отражавшие лучи восходящего солнца, казались издали рядом горящих свеч. Данилов приметил, что вдруг блеск среднего окна исчез, и заключил, что его кто-нибудь отворил. «Неужели царевна уже встала?» — подумал он. Подъехав на близкое расстояние к дворцу, он увидел у окна Софию.

Привязав лошадь к дереву, которое росло неподалеку от дворца, Данилов подошел к воротам. Прибитая к ним какая-то бумага бросилась ему в глаза. Он снял ее с гвоздя и увидел, что это было письмо с надписью: *«Вручить государыне царевне Софии Алексеевне»*. Немедленно был он впущен в комнату царевны. Она стояла у окна. Милославский сидел у стола и писал.

— Что скажешь, Данилов? Что наделалось в Москве? — спросила царевна, стараясь казаться равнодушною.

— Вчерашний день прошел благополучно, государыня. Только во время молебствия раскольники из стрельцов говорили *непригожие слова*.

— Был Хованский на молебствии?

— Он послал вместо себя окольного Хлопова, а сам пробыл весь день дома.

— Слышишь, Иван Михайлович? Он явно ослушается моих повелений. Теперь я согласна поступить, как ты сегодня мне советовал... Что это за письмо? От кого?

— Не знаю, государыня, — отвечал Данилов. — Оно было прибито к воротам здешнего дворца.

София, распечатав письмо, прочитала с приметным волнением:

*«Царем Государем и Великим Князем Иоанну Алексеевичу, Петру Алексеевичу вся Великая и Малыя и*



Белыя России Самодержцем извещают московский стрелец, да два человека посадских на воров, на изменников, на боярина князь Ивана Хованского да на сына его князь Андрея. На нынешних неделях призывали они нас к себе в дом девяти человек пехотного чина да пяти человек посадских и говорили, чтобы помогали им доступити царства Московского и чтобы мы научали свою братью Ваш царский корень извести и чтоб придти большим собранием извести в город и называть Вас Государей еретическими детьми и убить Вас Государей обоих и Царицу Наталью Кирилловну, и Царевну Софию Алексеевну, и Патриарха, и властей; а на одной бы Царевне князь Андрею жениться, а достальных бы Царевен постричь и разослать в дальние монастыри; да бояр побить Одоевских троих, Черкасских двоих, Голицыных троих, Ивана Михайловича Милославского, Шереметьевых двоих и иных многих людей из бояр, которые старой веры не любят, а новую заводят; а как то злое дело учинят, послать смущать во все Московское государство по городам и по деревням, чтоб в городех посадские люди побии воевод и приказных людей, а крестьян поучать, чтоб побии бояр своих и людей боярских; а как государство замутится, и на Московское б царство выбрали царем его, князь Ивана, а Патриарха и властей поставить кого изберут народом, которые бы старые книги любили; и целовали нам на том Хованские крест, и мы им в том во всем, что то злое дело делать нам вообще, крест целовали ж; а дали они нам всем по двести рублей человеку и обещалися пред образом, что если они того доступят, пожаловать нас в ближние люди, а стрельцам велел наговаривать: которые будут побиты, и тех животы и вотчины продавать, а деньги отдавать им стрельцам на все приказы\*. И мы, три человека, убояся Бога, не хотя на такое дело дерзнуть, извещаем Вам Государем, чтобы Вы Государи Свое здоровье оберегли. А мы, холопы Ваши, ныне живем в похоронках; а как Ваше Государское здравие сохранится, и все Бог утишит, тогда мы Вам Государем объявимся; а имен нам своих написать невозможно, а примет у нас: у одного на правом плече бородавка черная, у другого на правой ноге поперек берца рубец, посечено, а третьего объявим мы, потому что у него примет никаких нет».

\* Полки назывались также приказами.

В тот же день весь царский дом поспешно удалился из села Коломенского в Савин монастырь, и тайно посланы были оттуда по приказанию Софии в разные города царские грамоты, в которых предписывалось стольникам, стряпчим, дворянам, жильцам, детям боярским, копейщиками, рейтарам, солдатам, всяких чинов ратным людям и боярским слугам спешить днем и ночью к государям для защиты их против Хованских, для очищения царствующего града Москвы от воров и изменников и для отмщения невинной крови, стрельцами во время бунта пятнадцатого мая пролитой.

Вскоре после этого царский дом из Савина монастыря переехал в село Воздвиженское. Получаемые из Москвы от Циклера известия то тревожили, то успокаивали Софию. Хованский в течение двух недель оставался в Москве в совершенном бездействии. София приписывала это его нерешительности и придумывала средство силою или хитростью избавиться от человека, столько для нее опасного. Приверженность стрельцов к старому князю всего более препятствовала в этом царевне и устрашала ее.

Между тем Хованский начал тем более чувствовать угрызения совести, чем менее представлялось препятствий к исполнению его замысла. С одной стороны, ложно направленное и слепое усердие к вере, увлекавшее его к восстановлению древнего благочестия и к отмщению за смерть Никиты, с другой стороны, ужас, возбуждаемый в нем мыслию о цареубийстве, которое казалось ему необходимым для достижения цели, указанной, по ложному его убеждению, Небом, производили в душе Хованского мучительную борьбу. Нередко со слезами молил он Бога наставить его на путь правый и ниспослать какое-нибудь знамение для показания воли Его, которой он должен был бы следовать. Однажды на рассвете после продолжительной молитвы старый князь взял Евангелие. На раскрывшейся странице первые слова, попавшиеся ему на глаза, были следующие: «Воздадите кесарева кесареви, и Божия Богови».

Эти слова Спасителя произвели непостижимое действие на князя. Он вдруг увидел бездну, на краю которой стоял до сих пор с закрытыми глазами. Грех цареубийства представился ему во всем своем ужасе. Совесть, этот голос Неба, этот нелицемерный судья дел и помы-

слов наших, иногда заглушаемый на время неистовым криком страстей, совесть громко заговорила в душе Хованского. Слезы раскаяния оросили его бледные щеки. Он упал пред образом своего ангела и долго молился, не смея поднять на него глаз. Ему казалось, что ангел его смотрит на него с небесным участием, сожалением и укоризною во взорах. В тот же день вечером Хованский с сыном, Циклером и Одинцовым тихонько уехал в село Пушкино, принадлежавшее патриарху. Он твердо решился оставить все свои преступные замыслы, служить царям до могилы с непоколебимою верностью и усердием нелицемерным и просьбами своими со временем склонить царей к восстановлению церкви, которую считал истинною.

Узнавши, что сын малороссийского гетмана едет к Москве, Хованский через Черного, оставшегося в столице, послал донесение к государям и в выражениях, которые показывали искреннюю его преданность им, испрашивал наставления: как принять гетманского сына? Шестнадцатого сентября Черной, знавший один место убежища князя, привез к нему присланную в Москву царскую грамоту, в которой содержались похвала его верной и усердной службе и приглашение приехать в Воздвиженское для словесного объяснения по его донесению.

Одинцов и молодой Хованский, зная что в Воздвиженском все делается не иначе, как по советам Милославского, предостерегали старого князя от сетей этого личного врага его и не советовали ему ехать в Воздвиженское. Оба они тайно осуждали его за нерешительность и трусость, считая их причиною неисполнения его прежних намерений. Как удивились они, когда услышали от старика Хованского, что он оставил все свои замыслы и решился до гроба служить царям как верный подданный.

Молодой Хованский, глубоко огорченный разрушением всех своих мечтаний властолюбия и потерей надежды вступить в брак с царевною Екатериною, немедленно уехал из села Пушкино в принадлежавшую ему подмосковную вотчину на реке Клязьме.

Циклер проводил его туда, дал ему совет не предаваться отчаянию и поскакал прямо в село Воздвиженское.

В селе Пушкино остался со стариком Хованским Одинцов. Он истощил все свое красноречие, чтобы возбудить в князе охладевшую, как говорил он, ревность к древнему благочестию, представлял ему невозможность примириться с Софией и с любимцем ее Милославским и угрожал ему неизбежною гибелью. Хованский показал ему царскую грамоту, в которой с лаской звали его в Воздвиженское, и сказал:

— Завтра день ангела царевны Софьи Алексеевны: Завтра поеду я в Воздвиженское и расскажусь пред нею в моих преступных, вероятно, ей уже известных, замыслах. Она, верно, меня простит, и я до конца жизни моей буду служить ей верой и правдой. Это не помешает мне подвизаться за церковь истинную. По словам Спасителя, буду я воздавать кесарева кесареви, и Божия Богови. Сердце царево в руке Божией! Может быть, я доживу еще до того радостного дня, когда юный царь Петр Алексеевич по достижении совершеннолетия убедится просьбами верного слуги своего и восстановит в русском царстве святую церковь в прежней чистоте ее и благолепии.

Одинцов, слушая внимательно князя, закрыл лицо руками и заплакал.

— Губишь ты себя, Иван Андреевич, и всех нас вместе с собою! Охладело в тебе усердие к вере старой и истинной! Смотри, чтобы Бог не наказал тебя и не потребовал на Страшном Суде ответа, что ты не исполнил воли Его и не довершил твоего подвига! Я своей головы не жалел и не жалею и с радостию умру, если Всевышний так судил мне, за древнее благочестие!

Рано утром семнадцатого сентября боярин, князь Иван Михайлович Лыков с несколькими стольниками и стряпчими и с толпою вооруженных служителей их выехал по приказанию Софии из Воздвиженского. Циклер открыл ей, где скрываются Хованские, и получил за это в подарок богатое поместье.

Приблизясь к селу Пушкину, вся толпа остановилась в густой роще. Лыков послал в село одного из служителей разведать, там ли старый князь.

Сняв с себя саблю, посланный при входе в село встретил крестьянина и спросил его:

— Не знаешь ли, дядя, где тут остановился князь Хованский?

— Где остановился князь Хованский? А Господь его знает!

— Нельзя ли как-нибудь поразведать?

— Поразведать... а на что тебе?

— Я к нему прислан из Москвы с посылкой.

— Из Москвы с посылкой... Нешто. Экое горе! — продолжал крестьянин, почесывая затылок. — Сказал бы тебе, где остановился князь Хованский, да не знаю, дядя. Поспрошай у бабы, вон что корову-то гонит, авось она тебе скажет.

Служитель, приблизясь к указанной крестьянке, повторил свой вопрос.

— Почем нам знать, где Хованский! — отвечала крестьянка. — Ну, ну, пошла, окаянная! — закричала она, ударив свою корову хлыстом. — Что рыло-то приворотила к репейнику! экую нашла невидаль!

— У кого бы мне спросить, тетка?

— А у кого хошь!.. Куды тебя черт понес! — закричала крестьянка, пустясь вдогонку за побежавшей коровой. — Экое зелье какое! словно бешеная кляча скачет!

— Эй, дедушка! — сказал служитель, увидевши старика, который вышел из ворот ближней избы, — где бы мне найти здесь князя Ивана Андреевича?

— Князя Ивана Андреича?

— Да.

— А что это за князь Иван Андреич?

— Хованский, начальник Надворной пехоты.

— А что это за Надворна пехота?

— Ну, стрельцы. Слышал, я чай, что-нибудь про стрельцов?

— Как не слышать, вестимо, что слышал!

— Где же Хованский-то?

— А разве ты не знашь?

— Как бы знал, так и не спрашивал бы.

— Вестимо, что не спрашивал бы! Экое, парень, горе, ведь и я не знаю. Да постой! Спросить было у дочки: она больно охоча калякать со всеми молодыми мужиками и парнями. Пытал я ее журить за то. Я чай, она все знает. — Эй, Малашка! — закричал старик, постукав кулаком в окно.

— Что, батюшка? — отвечала дочь крестьянина, высунув заспанное лицо в окно.

— А вот дядя спрашивает: где князь Хованский?

— Хованский?.. Бог его знает. Он с саблей, что ль, ходит?

— С саблей,— отвечал служитель.

— Видела я ономнись, как по грибы в лес ходила, немолодого уж парня с саблей, знаешь, там, под горой, где крестьянские гумна. Никак и шатер там в лесу стоит.

— Где же это? — спросил служитель.

— А вот ступай прямо-то, большой троицкой дорогой, да и поверни в сторону, как дойдешь вон до той избушки, что на сторону-то пошатнулась, а как повернешь, то и увидишь пригорок, а как пригорок-то увидишь, так и обойди его, да смотри не забреди в болото: и не великонько оно, а по уши увязнешь; а как обойдешь пригорок, так и увидишь гумна, а за гумнами лес. Тут-то шатер и есть.

Обрадованный этим сведением, служитель поспешил сообщить свое открытие князю Лыкову. Немедленно со всею толпою князь выехал из рощи и вскоре, минув указанный пригорок, увидел в лесу шатер, который белелся между деревьями.

В шатре сидел старик Хованский с Одинцовым. Оба вздрогнули, услышав конский топот. Одинцов, вынув саблю, вышел из шатра.

— Ловите! хватайте изменников! — закричал Лыков.

Толпа служителей бросилась на Одинцова и, несмотря на отчаянное его сопротивление, скоро его обезоружила.

Хованский сам отдался им в руки. Его и Одинцова связали и, посадив во взятую из села крестьянскую телегу, повезли.

Когда они доехали до подмосковной вотчины, которая принадлежала молодому Хованскому, то Лыков повелел немедленно окружить дом владельца.

Вдруг из одного окна раздался ружейный выстрел, и один из служителей, смертельно раненный, упал с лошади. В то же время в других окнах появились вооруженные ружьями холопы князя.

— Ломай дверь! в дом! — закричал Лыков.

Раздалось еще несколько выстрелов, но пули ранили только двух лошадей.

Дверь выломали. Сначала служители, а за ними Лыков с стольниками и стряпчими вбежали в дом. Князь Андрей встретил их с саблею в руке.

— Не отдамся живой! Стреляйте! — кричал он своим холопам. Те, видя невозможность защитить своего господина, бросили ружья, побежали и начали прыгать один за другим в окна. Молодого князя обезоружили, связали и, посадив на одну телегу с отцом его и Одинцовым, привезли всех трех в Воздвиженское.

По приказанию Софии все бывшие в этом селе бояре немедленно собрались во дворец. Когда все сели по местам, Милославский вышел из спальни царевны и объявил ее повеление: судить привезенных преступников.

Хованских ввели в залу. Думный дьяк Федор Шакловитый прочитал сначала письмо, которое снял второго сентября с ворот дворца полковник Данилов, а потом приготовленный уже приговор. В этом приговоре Хованские были обвиняемы: в самоуправстве в раздаче государственных денег без царских указов, в самовольном содержании разных лиц под стражею, в потворстве Надворной пехоте с отягощением других подданных и монастырей, в ложном объявлении царских указов, в неуважении к дому царскому и презрении ко всем другим боярам, в покровительстве раскольникам и Никите-пустосвяту, в замысле ниспровергнуть православную церковь, в неисполнении царских повелений об отправлении полков в Киев, в село Коломенское и против калмыков и башкирцев, в неповиновении царскому указу присутствовать при торжестве в день нового года, в ложных докладах царевне Софии и, наконец, в умысле истребить царский дом и овладеть Московским государством. В конце приговора было сказано: *«И Великие Государи указали вас, князь Ивана и князь Андрея Хованских, за такие ваши великие вины и за многие воровства и за измену казнить смертию»*.

Когда думный дьяк прочитал громким голосом эти последние ужасные слова, то старик Хованский, сплеснув руками и взглянув на небо, глубоко вздохнул, а князь Андрей, содрогнувшись, побледнел, как полотно.

— Нас без допроса осуждаете вы на смерть! — сказал старый князь. — Пусть явятся наши тайные обвини-

тели! Последний из подданных вправе этого требовать. Допросите нас в их присутствии, выслушайте наши оправдания — и тогда нас судите!

— Твои обвинители — дела твои! — отвечал Милославский.

— Дела мои? Иван Михайлович! не для меня одного будет Страшный Суд!.. Я не пролил столько невинной крови, сколько пролили другие!... Одной милости прошу у вас, бояре: позвольте мне упасть к ногам милосердой государыни царевны Софьи Алексеевны и оправдаться пред нею. Успеете еще казнить меня!

— Что ж? Почему не согласиться на его просьбу? — начали говорить вполголоса некоторые из бояр.

— Хорошо, — сказал Милославский, — и я согласен. Я спрошу государыню царевну, велит ли она предстать изменникам пред ее светлые очи?

Милославский встал и пошел в спальню Софии. Выйдя из залы в другую комнату, он несколько минут постоял за дверью, опять вошел в залу и объявил, что царевна не хочет слушать никаких оправданий и повелевает немедленно исполнить боярский приговор.

Хованских и Одинцова, который стоял на дворе, окруженный стражею, вывели за дворцовые ворота. Все бояре вышли вслед за ними на площадь.

— Где палач? — спросил Милославский полковника Петрова.

— По твоему приказу искал я во всех окольных местах палача, но нигде не нашел, — отвечал Петров в смущении.

— Сыщи, где хочешь! — закричал Милославский.

Петров удалился и чрез несколько минут привел Стремянного полка стрельца, приехавшего вместе с ним из Москвы. Последний нес секиру.

Два крестьянина по приказанию Петрова принесли толстый отрубок бревна и положили на землю вместо плахи.

— К делу! — сказал стрельцу Милославский.

Служители подвели связанного старика Хованского к стрельцу и поставили его подле бревна на колени.

— Клади же, князь, голову! — сказал стрелец.

Читая вполголоса молитву, Хованский начал тихо склонять голову под секиру. Несколько раз судорож-



ный трепет пробежал по всем его членам, и он, вдруг приподнимаясь, устремлял взоры на небо.

— Делай свое дело! — закричал Милославский стрелшу.

Стрелец, взяв князя за плеча, положил голову его на плаху.

Раздался удар секиры, кровь хлынула, и голова, в которой недавно кипело столько замыслов, обрызганная кровью, упала на землю.

Князь Андрей, ломая руки, подошел к обезглавленному трупу отца, поцеловал его и лег на плаху.

Раздался второй удар секиры, и голова юноши, мечтавшего некогда носить венец царский, упала подле головы отца.

— Теперь твоя очередь, — сказал Милославский Одинцову, который стоял, связанный и окруженный слугами, близ боярина.

Одинцов содрогнулся; кровь оледенела в его жилах и прилилась к сердцу.

— Как? — сказал он дрожащим голосом. — Меня еще не допрашивали и не судили.

— Не твое дело рассуждать! — закричал Милославский. — Исполни, что приказывают! Эй вы! положите его на плаху.

Служители, схватив Одинцова, потащили его к плахе.

— Бог тебе судья, Софья Алексеевна! — кричал Одинцов. — Так это мне награда за то, что я помог тебе отнять власть у царицы Натальи Кирилловны! Бог тебе судья! Не ты ли обещалась всегда нас жаловать и миловать! Бог тебе судья, Иван Михайлович! Сжалось надо мной, бояре: дайте хоть время покаяться и приготовиться по-христиански к смерти; здесь недалеко живет наш священник.

— Руби! — закричал Милославский, и не стало Одинцова.

Тела Хованских положили в один приготовленный гроб и отвезли в находившееся неподалеку от Воздвиженского Троицкое село, Недельное\*, а труп Одинцова зарыли в ближнем лесу.

---

\* Так сказано во II томе Полного собрания законов Российской Империи на стр. 467. В 6-й части Записок Туманского на стр. 95 в напечатанной летописи село сие названо Городец.

На другой день, осьмнадцатого сентября, был отправлен в Москву к патриарху стольник Петр Зиновьев с объявительною грамотою об измене и казни Хованских. Милославский, между прочим, поручил ему по приказанию царевны Софии освободить всех тех, которые содержались в тюрьме старого князя; но Зиновьева предупредил комнатный стольник царя Петра Алексеича князь Иван Хованский, другой сын казненного. Выехав в ночь на осьмнадцатое сентября из Воздвиженского, прискакал он в Москву и объявил стрельцам, что его отец, брат и Одинцов казнены смертию без царского указа и что бояре, находившиеся в Воздвиженском, набрав войско, хотят всех стрельцов, жен и детей их изрубить, а дома их сжечь. Ярость стрельцов достигла высочайшей степени. В полночь раздался звук набата и барабанов. Вся Москва ужаснулась. Стрельцы немедленно бросились к Пушечному двору\* и его разграбили. Несколько пушек развели по своим полкам, другие поставили в Кремле; ружья, карабины, копья, сабли, порох и пули раздали народу; поставили сильные отряды для стражи в Кремле, на Красной площади, в Китай-городе, у всех ворот Белого города и во многих местах Земляного, в котором устроили несколько укреплений, загородили улицы насыпями и палисадами. Жен и детей своих со всем имуществом перевезли они из стрелецких слобод в Белый город. На всех площадях и улицах Москвы во всю ночь раздавались неистовые крики мятежников, ружейные выстрелы, звук барабанов и стук колес от провозимых телег, пушек и пороховых ящиков. Посреди этого смятения Зиновьев успел въехать в Москву. Приблизясь к Кремлю, увидел он, что ему невозможно туда пробраться для вручения грамоты патриарху, потому что у всех ворот кремлевских стояли на страже толпы мятежников. Он принужден был остаться в Китай-городе в ожидании удобного случая проехать в Кремль и решился покуда исполнить другое поручение Милославского, которое состояло в том, чтобы освободить всех содержащихся в тюрьме Хованского.

Зиновьев с помощью встреченного им во дворе холопа отыскал дворецкого Савельича, который, испугав-

---

\* Арсенал.

шись бунта, скрылся в конюшню, лег в порожнее стойло и велел завалить себя сеном.

— Эй, дворецкий! где ты тут запрятался?

— А вот он здесь! — сказал холоп, разгребая сено. — Иван Савельич! вот к тебе прислан его милость с приказом от царевны Софьи Алексеевны. Ведь ты у нас набольший в доме-то.

Дворецкий высунул из сена голову, напудренную сенною трухою, и, отирая пот с лица, катившийся градом от страха и удушливой теплоты под сеном, усталвил глаза на Зиновьева.

— У тебя ключи от тюрьмы князя Ивана Андреевича? — спросил Зиновьев.

— Ключи?.. — Кажись, у меня. Батюшки светы, стреляют! — закричал он, услышавши несколько выстрелов, которые раздались в это время на улице, и снова зарылся в сено.

— Вытащи его оттуда, — сказал Зиновьев холопу. Тот с немалым трудом исполнил приказанное и поставил на ноги Савельича, у которого нижние зубы стучались о верхние, как в самой лихорадке.

— Давай скорее ключи от тюрьмы! — продолжал Зиновьев. — Царевна Софья Алексеевна приказала выпустить всех тюремных сидельцев.

— Не спросясь князя Ивана Андреевича, я не смею дать ключей твоей милости, — отвечал Савельич дрожащим голосом.

— Ну так сходи на тот свет да спросись. Князю отрубили вчера голову за измену и сыну его также.

— Как! — воскликнул дворецкий, сплеснув руками. Он был самый старинный слуга Хованского и искренно был к нему привязан. Сильная горесть вмиг прогнала его трусость. — Ах мои батюшки! — завопил Савельич, обливаясь слезами, — отец ты мой родной, князь Иван Андреич! Уж не увижу я на сем свете твоих очей ясных! Некому будет меня уму-разуму поучить. Батюшка ты наш! Отрубили тебе твою головушку! Пропали мы, бедные, осиротели без тебя!

Холоп, глядя на дворецкого, также заплакал.

— Ну полно выть! Давай ключи! — закричал Зиновьев.

— Возьми, пожалуй, — сказал дворецкий, продол-

жая плакать и отвязывая ключи от кушака.— Я уж не дворецкий теперь. Ох, горе, горе! Не найти уж нам, Антипка, такого доброго господина! — продолжал он оборотясь к холопу.— Сгибли мы, окаянные!\*. Из дворцких попадусь я в дворники, а тебя, Антипка, заставят каменья ворочать! Натерпимся горя! Не нажить уж нам такого господина! Пропали наши головушки!

Зиновьев, приказав дворецкому выпустить всех содержавшихся в тюрьме князя, велел им всем встать в ряд на дворе. В числе их находился и Бурмистров. С начала июля всякий день ждал он казни, обещанной Хованским, и давно уже потерял надежду на избавление.

Можно легко вообразить, как удивился он, когда было ему объявлено, что смертельный враг его, Милославский, по приказанию царевны Софьи прислал нарочного для его освобождения. Он заключил из этого, что после смерти Никиты и Хованских ни одному человеку в мире не известно, что старый князь, нарушив повеление Софии, сохранил ему жизнь и в тайне берег ее, чтобы лишить его жизни тогда, когда восторжествует древнее благочестие. Бурмистров не знал, что еще Одинцову известна была тайна его сохранения, равно не знал и того, что Одинцов унес с собою эту тайну в могилу, потому что Зиновьев объявил только о казни одних Хованских.

В искренней жаркой молитве вознеся благодарность Богу за свое неожиданное освобождение, Бурмистров поспешил прямо в дом к приятелю своему, купцу Лаптеву.

## VIII

*Добро лишь для добра творить.*

Державин.

— Молись, Варвара Ивановна, молись, не отставай,— говорил Лаптев жене, своей, которая при своей дородности давно уже устала вместе с ним класть перед ико-

---

\* Холопы разделялись на полных, или старинных, и кабальных. Первые по смерти господина доставались его наследникам, а вторые получали свободу с обязанностью закабалить себя в холопство кому-нибудь другому, по их избранию, или же наследникам умершего.

нами земные поклоны.— Писание велит непрестанно молиться!

— Я чаю, скоро светать начнет, Андрей Матвееч! Не время ли уж и обед готовить!

— До обеда ли теперь! По всему видно, что настали последние времена. Что это? Ну, пропали мы! Кажется, кто-то стучит в калитку. Да, чу! где-то из пушек палят! А колокола-то, колокола-то как воют!

— Господи, Боже мой! помилуй нас, грешных! — прошептала с глубоким вздохом Лаптева.

Муж и жена начали еще усерднее кланяться в землю.

Вдруг отворилась дверь, и вошел Бурмистров. От долгого пребывания в тюрьме, худой пищи и продолжительных душевных страданий он так похудел и сделался бледен, что не только ночью в горнице, освещенной одной лампадою, но и днем можно было его счесть за мертвеца.

— С нами крестная сила! — воскликнул Лаптев, поualeся на пол и закрыв лицо руками.— Ну, прощай Варвара Ивановна! Преставление света! Мертвые встают из гробов!

Лаптева, оглянувшись на вошедшего в горницу и рассмотрев лицо его, закричала, что было силы, и полезла под кровать.

— Что вы, что вы так перепугались! — сказал Василий.— Я такой же живой человек, как и вы. Встанька, Андрей Матвеевич, да поздоровайся со мною, мы уж с тобой давно не видались.

С этими словами поднял он своего приятеля с пола.

Лаптев, несколько времени посмотрев пристально в лицо Бурмистрову и уверясь, что перед ним стоит не мертвец, а старинный друг его, заплакал от радости и бросился его обнимать.

— Жена! — кричал он.— Вылезай скорее!... Господи, Боже мой! не ждал я такой радости!.. Варвара Ивановна! вылезай!.. Да как это Бог тебя сохранил, Василий Петрович? Я уж давно по тебе панихиду отслужил... Варвара Ивановна! Да что ж ты не вылезашь!

Лаптева, лежа под кроватью, от сильного испуга расслышала только то, что муж ее кличет.

— Прощай, Андрей Матвеевич, прощай голубчик

мой! Пусть уж он тебя одного тащит, а я не вылезу! Приведи меня Господь на том свете с тобой увидаться!

— Авось и на этом еще увидимся! — сказал Лаптев, подходя к кровати. — Помоги мне, Василий Петрович, ее вытащить. Она так тебя перепугалась, что ее теперь оттуда калачом не выманишь. Да помоги, Василий Петрович! Видишь, как упирается! Мне одному с нею не сладить!

Бурмистров, едва удерживаясь от смеха, подошел к Лаптеву, который с величайшим усилием успел уже вытащить сожительницу свою из-под кровати. Василий начал помогать ему, чтобы поднять ее с пола.

Варвара Ивановна в ужасе зажмурила глаза, махала руками и в полной уверенности, что ее тащит мертвец в преисподнюю, кричала жалобным голосом:

— Охти, мои батюшки! помилуй меня, отец родной! отпусти душу на покаяние! Отслужу по тебе сорок панихид; колокол велю вылить, чтобы тебя из аду благовестил! Уф! какие холодные руки!

Между тем вошел в горницу Андрей, брат Натальи, и в изумлении остановился у двери. Лаптев и Бурмистров, хлопотавшие около Варвары Ивановны, вовсе его не заметили.

«Что бы это значило? — подумал он. — Каким образом очутился здесь Василий Петрович, которому давно голову отрубили и которого я давно оплакал? Если он не мертвец, то отчего Варвара Ивановна в таком ужасе, и для чего и куда он ее ночью тащит? Если же он мертвец, то почему Андрей Матвеевич так равнодушен в его присутствии и почему он с таким усердием помогает ему тащить жену свою?». Вспомнив, что Плиний повествует о явлении мертвеца в одном римском доме, он разрешил свое недоумение тем, что Бурмистров после казни был брошен где-нибудь в лесу, и что он явился Лаптеву как Патрокл другу своему, Ахиллесе, требуя погребения. При этой мысли Андрей почувствовал пробежавший от ужаса по всему телу озноб, перекрестился и хотел бежать вон из горницы. На беду его он при входе в светлицу Варвары Ивановны плотно затворил за собою дверь, не зная, что замок этой двери испорчен и что ее нельзя отворить, если она захлопнется. Схватясь за ручку замка, начал он ее проворно вертеть то

в ту, то в другую сторону; с каждым безуспешным поворотом ручки ужас его возрастал и достиг высшей степени, когда Бурмистров и Лаптев положили на кровать обеспамятевшую от страха Варвару Ивановну, и когда Василий, увидев Андрея, пошел к нему с распростертыми объятиями.

— Чур меня! чур меня! — закричал Андрей во все горло, бросаясь опростелить от двери. В испуге перескочил он через Варвару Ивановну, лежавшую на краю постели, приподнял другой край перины, касавшийся стены, и под нее спрятался.

Бурмистров не мог удержаться от смеха; Лаптев также захохотал, схватясь обеими руками за бока.

— Ах ты, Господи! и смех и горе! — проговорил он прерывающимся от хохота голосом. — Добро моя жена, а то и Андрей Петрович подумал, что ты мертвец. Этак он от тебя бросился, словно мышь от кошки! Ох, батюшки мои! бока ломит от смеху!

— Неужто ты думаешь, Андрей Матвеевич, что я в самом деле испугался? Хе! хе! хе! Я не так суеверен, как ты думаешь, — сказал Андрей, приподняв перину и высунув улыбающееся лицо, на котором не изгладись еще признаки недавнего ужаса. — Мне вздумалось пошутить и насмешить вас. Не правда ли, что я очень удачно притворился и весьма естественно представил испуг и ужас?

— Кто это тут говорит? — спросила слабым голосом Лаптева, которая пришла между тем в память и ободрилась, видя, что и муж и Бурмистров хохочут.

— Это я, Варвара Ивановна! — отвечал Андрей, вылезая из-под перины.

— Господи, твоя воля! да откуда ты это взялся, Андрей Петрович, вместе со мной на постели? — сказала удивленная Лаптева, оглянувшись на Андрея.

— В самом деле это забавно! Хе, хе, хе! Я пошутил, Варвара Ивановна! — отвечал последний, перешагнув через нее и прыгнув на пол.

— Осрамил ты мою головушку! — сказала Лаптева, слезая с постели.

По просьбе Андрея, Лаптева и жены его Бурмистров объяснил, отчего прошел по Москве общий слух об его казни, и каким образом избежал он смерти.

Несколько отдаленных пушечных и ружейных выстрелов обратили разговор к ужасному мятежу, который в Москве так неожиданно вспыхнул.

— Что-то будет с нами? — сказал со вздохом Лаптев.

— Признаться, — сказал Андрей, — эта ночь долго не выйдет у меня из памяти. Вчера, утомясь дневными трудами, лег я спокойно в постель. В самую полночь слышу набат, стрельбу на улице из ружей, крик, стукотню и Бог знает что!... Я вскочил с постели и оделся; все мои товарищи также. Мы все словно обезумели. Бегаем из комнаты в комнату и спрашиваем друг у друга: что такое наделалось? Вдруг вбегают к нам подполковник Чермной с саблей в руке, а за ним толпа стрельцов. Выгнали всех нас на улицу и начали раздавать нам оружие: кому саблю, кому пикю, кому секиру. Сев на лошадь, Чермной закричал: «Ступайте все за мной на Красную площадь». Пришли мы туда: Господи, Боже мой! Площадь зачерпнулась народом. Шум, крик, беготня, сумятица! У меня голова закружилась. Тут мужик с ружьем, здесь посадский с пикой, там купец с саблей. Чермной подвел меня к толпе мужиков и сказал им: «Вот ваш пятисотенный! Он человек грамотный, даром, что молод; слушайтесь его как самого меня; а не то всех велю перестрелять, как галок!» Сказавши это, он ускакал. «Что вы за люди?» — спросил я у мужика, стоявшего близ меня с рогатиной. «Мы ямщики, — отвечал он. — Не знает ли твоя милость, зачем нас сюда пригнали?». Я ему ничего не ответил, потому что сам его хотел о том же спросить. Я постоял, постоял, смотрю: в руке у меня сабля. Народ со всех сторон теснит меня как при выходе из церкви. «Что за ахинея! — подумал я. — Не во сне ли я все это вижу? Какими судьбами из учеников академии попал я в пятисотенные!». Вспомнив совет Горация: *Nil admirari... et cetera\**, который переведу вам в другое время, я по кратком размышлении бросил саблю и побежал, Андрей Матвеевич, к тебе, чтобы посоветоваться и узнать, что за чудеса у нас в Москве совершаются? У меня и теперь голова не на месте. Мудрено ли, что после такого переполоха я испугался... то есть чрезвычайно обрадовался, ког-

---

\* Ничему не следует удивляться... и так далее (лат.).



да неожиданно увидел здесь воскресшего из мертвых Василия Петровича, и с радости вздумал пошутить. Недавно я с товарищами, в воскресенье под вечер, ходил в лес, что подле Немецкой слободы, и отыскивал твою, Василий Петрович, могилу. Не помню, кто говорил мне, что тебя там будто бы при его глазах похоронили.

— Что ж мы станем делать? — сказал Лаптев. — Не убраться ли нам поскорее из Москвы подобру-поздорову, например, хоть в поместье к твоей тетушке, Василий Петрович?

— Это невозможно, — отвечал Бурмистров, — на всех заставах стоят отряды мятежников. Они никого не выпускают за город и не пропускают в Москву.

— Экое горе какое!

— Позавидуешь, право, матушке и сестре! — сказал Андрей. — Они, я думаю, ничего не знают, что здесь делается.

— Здоровы ли они? — спросил Бурмистров.

— Я уж месяца три не получал от них никакого известия, — отвечал Андрей, — с тех самых пор, как в конце июня приезжал сюда из Ласточкина Гнезда твой слуга Гришка. Он расспрашивал меня, что с тобой делалось после того, как схватили тебя в селе Погорелове. Я сказал ему, что о тебе нет ни слуху, ни духу. Он заплакал, да с тем и поехал назад.

В это время вбежал в комнату приказчик Лаптева, Иван Кубышкин, и бросился ему в ноги.

— Взгляни-ка, хозяин, как меня нарядили! — воскликнул он сквозь слезы. — Научи меня, глупого, что мне делать! Бунтовщики всучили мне в руки вот это ружьецо, напялили на меня кожаный кушак с этими окаянными пистолетами, да прицепили эту саблю, и велели, чтобы я с ними заодно бунтовал. Не то, де, голову снесем! Я с самой Красной площади бежал сюда без оглядки.

— Господи, Боже мой! Что ж, гонятся, что ли, они за тобой?

— А мне невдомек, хозяин. Кажись, что погони нет.

— Слава Богу! — сказал Лаптев. — Сними-ка скорей саблю и кушак-то, да засунь куда-нибудь и с ружьем вместе; вот хоть сюда, под кровать, да подальше; или нет, постой! брось лучше всю эту дрянь в помойную яму.

— Для чего бросать? — сказал Бурмистров. — Может быть, эта дрянь пригодится. Поддай все сюда. Какой славный карабин! Сними-ка саблю. Это кто тебе надел ее на правый бок?

— Дали-то мне ее бунтовщики, а нацепил-то я сам. — отвечал приказчик, подавая Василью саблю вместе с пистолетами.

— Ого! какая острая! И пистолеты не худы. Жаль, что полк мой далеко от Москвы; с ним бы я что-нибудь да сделал.

Вынув из кожаного пояса две пули и две жестяные трубочки с порохом, заткнутые пыжами, Бурмистров начал заряжать пистолеты. Приказчик, сдав оружие, перекрестился и вышел из комнаты.

Безоблачный восток зарумянился зарею, и вскоре лучи утреннего солнца осыпали золотом струи смиренной Яузы.

Вдруг под окнами дома Лаптева послышался шум. Бурмистров, взглянув в окно, увидел, что несколько солдат тащат мимо дома связанного офицера. Схватив саблю и пистолеты и надев на себя кожаный пояс с зарядами, Василий выбежал из комнаты.

Нагнав солдат, закричал он им:

— Стой! Куда вы его тащите, бездельники?

— А тебе что за дело? — отвечал один из солдат.

— Сейчас развяжите офицера!

Солдаты остановились.

— Да что ты нам за указчик? Знать мы тебя не хотим! — бормотали некоторые из них.

— Что? Вы смеее ослушаться! Вас всех расстреляют!

— Не расстреляют! — сказал один из солдат. — Что вы рты-то разинули, да слушаете этого выскочки! Потащим нашего-то гуся, куда надобно!

— Так умри же, бездельник! — воскликнул Бурмистров и выстрелил в бунтовщика из пистолета. Солдат, раненный в плечо навывлет, упал.

— Хватайте, вяжите его! — закричал он толпе мужиков, собравшейся около солдат из любопытства.

Охота с кем бы то ни было подрасть за правое дело, презрение к опасностям и желание блеснуть удальством составляли и составляют отличительные, врож-

денные черты русского характера. Мужики по первому слову Бурмистрова, вооружась одними кулаками, бросились на бунтовщиков, вмиг их обезоружили и перевязали.

Офицера, отнятого у солдат, Бурмистров пригласил войти в дом Лаптева, а связанных солдат велел ввести к нему на двор и запереть в сарай.

— Кому обязан я моим избавлением? — спросил офицер, войдя за Васильем в светлицу Лаптевой и поклонясь хозяину, хозяйке и Андрею. — Кого должен благодарить я за спасение моей жизни?

— Без помощи этих добрых посадских я бы ничего не успел сделать, — отвечал Бурмистров. — Меня благодарить не за что.

— Как не за что? Как бы не ты, так капитана Лыкова поминай как звали! Бездельники тащили меня на Красную площадь и хотели там расстрелять.

— Капитан Лыков?.. Боже мой! Да мы, кажется, с тобой знакомы. Помнишь, в доме полковника Кравгофа...

— То-то я смотрю: лицо твое с первого взгляда показалось мне знакомо. Да отчего ты так похудел и побледнел? Как бишь зовут тебя? Ты ведь пятисотенный?

— Был 'пятисотенным. После бунта пятнадцатого мая вышел я в отставку. Ну, что поделявает Кравгоф? Где он теперь?

— Он через неделю после бунта уехал со стыда в свою Данию. Полуполковник наш, Биельке, умер — вечная ему память! — и майор Рейт начал править полком. Недели на две уехал он в отпуск и сдал мне свою должность, а без него, как нарочно, и стряслась беда. Сегодня в полночь услышал я, что в Москве бунт. «Ах, ты дьявол! — подумал я, — да будет ли конец этим проклятым бунтам!». Как раз собрал я весь наш полк и хотел из нашей слободы нагрянуть на бунтовщиков, этих окаянных стрельцов... виноват! Из ума вон, что ты сам служил в стрелецких полках.

— Да не угодно ли сесть, господин капитан? Я чаю, твоя милость устала! — сказал Лаптев, поклонясь Лыкову и придвигая для него к столу скамейку.

— Как не устать! Я-таки поработал сегодня: пятерых бездельников своими руками заколол за упрямство.

— Не пойдем! — кричат — да и только. Меня горе взяло. Ах, вы, мошенники! Я вам дам знать не пойдем! Весь наш полк довел уж я из Бутырской слободы до Земляного города. «Ребята! — закричал я. — От меня не отставай! Катай бунтовщиков, чтобы небу было жарко!». Первая рота, нечего сказать, отличилась, молодцы! настоящие русские солдаты: так на вал за мной и лезут. Стрельцы начали было отстреливаться. «Погодите, дружки! Дуй их прикладами!» — закричал я. Струсила хваленая Надворная пехота. Бунтовать — ее дело, а драться — так нет! Побежали, мошенники, врассыпную. Я с вала кричу прочим ротам: «За мной!». А они, подлецы, ни с места! «Провалитесь же вы сквозь землю, поганные трусы! — крикнул я. — Я и с одной храброй ротой раскатаю бунтовщиков. Вперед, ребята! Дадим себя знать этой Надворной пехоте». Спустились мы с вала да стали подбивать приятелей в затылок свинцовым горохом. Бегут себе, не оглядываясь, ну так, что смотреть жалко! «Вперед!» — кричу я своим молодцам, да грехом и насунул на пушки. Тьфу ты, пропасть! Черт же знал, что у вас, мошенников, и эти чугунные дуры есть. Вижу я, что дело неладно, да уж коли на то пошло: «Бери пушки! — закричал я солдатам. — За мной!». Бросились мы вперед, а нас вдруг как вспрыснут картечью! Нечего сказать: умеючи выстрелили — легло и наших довольно! Вижу я, что делать нечего и что у нас храбрости много, да людей мало, и велел я своим отступать, а чугунные дуры, разозлясь, так на нас и лают да ухают одна за другой! Вышли мы из Земляного города. Я прямо к прочим ротам, и начал их ругать на чем свет стоит; а меня, подлецы, схватили, руки назад, затащили веревкой, да и потащили к этому сатане, Черному, на Красную площадь. Они хотели, спросясь его, меня расстрелять. Тьфу, какая досада! Я бы согласился лучше удавиться! Ведь полк-то наш, кроме первой роты, опять себя опозорил и пристал к этим окаянными бунтовщикам. Срам, да и только! Право, пришлось удавиться с досады!

Лыков от сильного негодования вскочил со скамьи, начал ходить большими шагами взад и вперед по комнате, и слезы навернулись у него на глазах.

— А знаешь ли, что поганные бунтовщики было за-

теяли? — продолжал он, обратясь к Бурмистрову. — Поймали они стольника Зиновьева, который прислан был из Воздвиженского с царскою грамотой к патриарху, привели его к святейшему отцу и велели грамоту читать вслух. Как услышали они, что Хованские казнены за измену — батюшки-светы! — взбесились и заорали в один голос: «Пойдем в Воздвиженское и перережем там всех!». И патриарха то убить грозились. А как услышали, что царский дом со всеми боярами едет в Троицкий монастырь, что там есть войско, крепкие стены, а на стенах-то чугунные дуры, так и храбрость прошла. Как раз хвосты поджали, бездельники, и объявили, что если из монастыря придет войско к Москве, то они поставят посадских с женами и детьми перед собой и из-за них станут драться. Я думаю как-нибудь из Москвы даг тягу в монастырь. Не поедешь ли и ты вместе со мною?

— Душой был бы рад, — отвечал Бурмистров, — да нет возможности отсюда вырваться. Станем здесь что-нибудь делать.

— А что, в самом деле! Двое-то что-нибудь да свахляем.

— Можно подговорить поболее посадских и других честных граждан. Бунтовщики всем жителям раздали оружие. Нападем на них врасплох, ночью. Жалеть их нечего!

— Ай да пятисотенный! — воскликнул Лыков, вскочив со своего места и бросаясь обнимать Бурмистрова. — Одолжил, знатно выдумал! Поцелуй! поцелуй еще раз!

Лаптев, тихонько дернув Бурмистрова за рукав, повел его из светлицы, в нижнюю комнату, затворил дверь и сказал ему шепотом:

— Не во гнев тебе будет сказано, Василий Петрович, мне кажется, что тебе лучше всего спрятаться на несколько дней у меня в доме, а потом при помощи Божьей тихомолком выбраться из Москвы. Если дойдет до царевны Софьи Алексеевны и Милославского, что ты жив, того и смотри, что тебя схватят, отрубят голову али пошлют туда, куда ворои костей не заносит. Милославский, сам ты знаешь, на тебя пуще сатаны зол и по-своему всеми делами ворочает. Уж он тебя, слышь ты, не помиует да выпытает еще, где Наталья Петровна? Ты и себя и ее погубишь. Милославский ведь не по-

смотрит на то, что ты бунтовщиков уймешь. Их — Бог милостлив — и без тебя уймут, а Софье-то Алексеевне вперед наука — прости, Господи, мое согрешение! Ее, видимо, Бог наказывает за то, что она обидела царицу Наталью Кирилловну. Как бы не взбунтовала она против нее, нашей матушки, стрельцов, так они и теперь бы против нее самой не бунтовали. Пусть капитан один усмиряет разбойников, а тебе, Василий Петрович, лучше из Москвы подальше убраться. Посезжай с Богом в Ласточкино Гнездо и обрадуй твою невесту. Я чаю, бедненькая, по тебе с утра до вечера плачет. Женился бы и зажил как в раю! Капитану-то можно поусердствовать для Софьи Алексеевны: она, верно, его наградит; а тебе чего ждать от нее?

— Неужели ты думаешь, — отвечал Бурмистров, — что тогда только должно действовать, когда можно ожидать награды? Нет, Андрей Матвеевич, ты любишь читать Священное Писание, вспомни-ка, что там сказано. Велено делать добро, не думая о награде; велено полагать душу свою за ближнего. Если мы делаем добро для того только, чтобы заслужить похвалу, награду или славу, то поступаем нечисто. Тогда только исполняем мы обязанности наши, когда руководствуемся в действиях одною бескорыстною любовью к Богу и ближним. Вот, Андрей Матвеевич; долг всякого христианина. Я прожил уже тридцать лет на свете. Жизнь коротка: не должно терять время на дела нечистые или бесплодные! Кто может назвать будущий день, будущий час — своим? Кто может быть уверен, что он долго еще не предстанет пред Нелицемерным Судией для отчета в делах своих?

— Так, Василий Петрович, истинно так! — сказал со вздохом Лаптев. — Однако ж мне, право, жаль тебя! Ты уймешь бунтовщиков, а тебя положат на плаху или пошлют в ссылку, ты знаешь Милославского-то.

— Знаю, что он злой человек, но уверен в том, что власть, какая бы ни была, лучше безначалия. Например, теперь всякий презренный бездельник, всякий кровожадный злодей может безнаказанно ворваться в дом твой, лишит тебя жизни, разграбит твоё имение, может оскорбить каждого мирного и честного гражданина, обесчестить его жену и дочерей, зарезать невинного

младенца на груди матери. Милославский, как ни зол, но этого не сделает. Если не любовь к добру, то, по крайней мере, собственная польза и безопасность всегда будут побуждать его к охранению общего спокойствия и порядка, которых ничем нельзя прочнее охранить, как исполнением законов и строгим соблюдением правосудия. Может быть, по страсти или злобе окажет он несправедливость нескольким гражданам, но зато целые тысячи найдут в нем защитника и покровителя. Итак, скажи: не лучше ли безначалия власть, даже несправедливыми путями приобретенная? Справедливо, что Бог не оставляет ее долго в руках недостойных. Годунов, при всем своем уме, Лжедмитрий, при всей своей хитрости, вместе с жизнью лишились царских венцов, святотатственно ими похищенных. Прочная, истинная власть даруется Богом помазанникам Его. Не должны ли мы охранять этот священный дар Всевышнего, не жалея последней капли крови? Не должны ли мы считать противниками самого Бога восстающих против власти царской? Какое преступление может быть ужаснее поднятия святотатственной руки и на пролитие крови помазанника Божия?

— Так, Василий Петрович, истинно так, и в Писании сказано: «Несть бо власть, аще не от Бога». Она страшна одним злодеям и мошенникам. Писание говорит: «Хощеши же ли не бояться власти, благое твори», и еще сказано: «Противляйся власти, Божью повелению противляется». Святой Апостол Петр поучает: «Братство возлюбите, Бога бойтесь, царя чтите».

— Итак, я надеюсь, что ты не станешь мне советовать, чтобы я оставил свое намерение. Если б даже стрельцы бунтовали против одной Софьи Алексеевны, и тогда бы я стал против них действовать. Но вспомни, что злодеи хотят погубить весь дом царский и царя Петра Алексеевича — надежду отечества. Не клялся ли я защищать его до последней капли крови?

— Эх, Василий Петрович, да мне тебя-то жаль! Подумай о своей головушке; вспомни о своей невесте: ведь злой Милославский, пожалуй, запяует тебя до смерти, чтобы узнать, куда ты скрыл ее?

— Ну, что ж? я умру, но Милославский не узнает ее убежища.

Лаптев хотел что-то еще сказать, но не мог ни слова более выговорить, заплакал и крепко обнял Бурмистрова.

— Да благословит тебя Господь! — сказал он наконец, всхлипывая. — Делай, что Бог тебе на сердце положил, а я буду за тебя молиться. Он посильнее и царевны Софьи Алексеевны, и Милославского. Он защитит тебя за твое доброе дело.

После этого оба пошли в светлицу.

— Ну что, пятисотенный, когда же приступим к делу? У нас есть еще помощники!

— Кто? — спросил Бурмистров.

— А вот этот молодец! — отвечал Лыков, взяв за руку Андрея. — У него так руки и зудят на драку с бунтовщиками! Ей-Богу, молодец! Я бы его сегодня же принял в наш полк прапорщиком! Брось-ка, Андрей Петрович, свою академию, возьми вместо пера шпагу, да начни писать вместо черных чернил красными.

— Можно владеть и мечом и пером вместе! — отвечал Андрей. — Юлий Цезарь, по другому же произношению Кесарь, был и отличный полководец и отличный писатель.

— Чудная охота марать бумагу! Ну да уж пусть так! оставайся в академии; только теперь помогай нам.

— Пойдем, капитан, и ты, Андрей Петрович, в нижнюю горницу, — сказал Бурмистров, — надобно нам посоветоваться. Не пойдешь ли и ты с нами, Андрей Матвеевич? Я думаю, мы наскучили Варваре Ивановне, верно, ей уж давно пора заняться хозяйством.

— Посоветоваться? Ой уж мне эти советы! — воскликнул Лыков. — Кравгоф был смертельный до них охотник и до того досоветовался, что нас чуть было всех не перестреляли, как тетеревей!

— А нам надобно, — сказал Василий, — посоветоваться для того, чтобы перестрелять бунтовщиков, как тетеревей.

— Право? Вот для этого так и я от советов не прочь!

Лыков пошел с Бурмистровым и Лаптевым в нижнюю горницу. Андрей, восхищаясь, что его пригласили для военного совета, последовал за ними, перебирая в памяти латинских и греческих писателей, которые рассуждали о военном искусстве.



— Да не лучше ли вам здесь посоветоваться? — сказала Варвара Ивановна. — Ведь я никому ничего лишнего не выболтаю.

— Нет, жена! Не мешай дело делать, а лучше приготуе-ка обед. Помнишь сеновал-то?

— Да, я чаю, и ты его не забыл! — отвечала Лаптева.

— Ну, ну, полно! Кто старое помянет, тому глаз вон!

## IX

*Грядую тянутся в наш стан;  
Главу повинную приносят.*

Лобанов.

Через несколько дней после описанного в предыдущей главе совещания капитан Лыков пришел утром к Лаптеву.

— Не здесь ли Василий Петрович? — спросил он хозяина, который вышел в сени ему навстречу.

— Здесь, господин капитан, в верхней светлице.

— Ну, пятисотенный, — воскликнул Лыков, войдя в светлицу, — все труды наши пропали, все пропало!

— Как! Что это значит? — спросил Бурмистров с беспокойством.

— Да что, братец, досадно! Ведь не удастся нам с тобою потешиться над проклятыми бунтовщиками! Дошел до них слух, что около Троицкого монастыря собралось сто тысяч войска. Я слышал от верного человека, что сто хоть не сто, а тысяч с тридцать. Что же? Ведь собачьи-то дети не знают, куда деваться со страха. Бросились к боярину Михаилу Петровичу Головину, который на днях от государей в Москву приехал, и нутка в ноги ему кланяться. «Нас-де смутил молодой князь Иван Иванович Хованский!» — режут, как бабы, и помилования просят. Уф, как бы я был на месте боярина, помиловал бы я вас, мошенников! С первого до последнего велел бы вздернуть на виселицу!

— Слава тебе, Господи! — воскликнул Лаптев, перекрестясь. — Стало быть, бунтовщики унимаются?

— Унялись, разбойники! А, право, жаль: смерть хотелось мне с ними подраться! Вот, потом они бросились от боярина Головина к святейшему патриарху, и тому бух в ноги. Патриарх отправил в Троицкий монастырь архимандрита Чудова монастыря Адриана, а после того еще Илариона, митрополита суздальского и юрьевского, с грамотами к царям, что бунтовщики-де просят их помиловать и обещаются впредь служить верой и правдой. Софья Алексеевна прислала в ответ на эти грамоты приказ, чтобы до двадцати человек выборных из каждого полка Надворной пехоты пришли в Троицкий монастырь с повинною головою. Собрались все, мошенники, на Красной площади и начали советоваться, идти ли выборным в монастырь? Ни на одном лица нет. Ходят, повеся голову, как шальные. Я хотел было еще постоять да посмотреть, а как услышал, что затевается у мошенников совет, я и пошел оттуда без оглядки. Терпеть не могу советов!

— Какие чудеса происходят на Красной площади! — сказал Андрей, войдя в светлицу, — такие чудеса, что и поверить трудно.

— Что, что такое? — спросили все в один голос.

— Сотни две главных бунтовщиков надели на шею петли и вытянулись в ряд гусем. Перед каждым из них встали два стрельца с плахой, а сбоку еще стрелец с секирой. И Чермной надел на себя петлю. Тут подошли к бунтовщикам жены и ребятишки их, чтобы проститься с ними. Какой начался вой да плач! Оглушили, просто оглушили! Ребятишки-то схватились ручонками за ноги отцов, кричат и не пускают их идти. Хоть они и злодеи, но мне, признаюсь, их жалко стало. Все побледнели, как полотно, целуют своих ребятишек, а слезы у самих так градом и катятся. А жены-то, жены-то их! Я не мог смотреть более на эту раздирающую сердце картину. Прощание Гектора с Андромахой, если б я был свидетелем этой трогательной сцены, едва ли бы произвело на меня такое впечатление. Я сам заплакал, как дурак, и ушел с площади.

— Есть о чем плакать! Хорошо они сделали, что петли сами на себя надели. Тут же я велел бы всем им шей-то покрепче перетянуть, разбойникам. Ах, да! Хорошо, что вспомнил. Вели-ка, Андрей Матвеевич, моих

солдат, что у тебя в сарае сидят, вывести на двор. Я сейчас приду.

— Обедали ль они, Варвара Ивановна? — спросил Лаптев, обратясь к жене.

— Нет еще!

— Как, Андрей Матвеевич! Да неужто ты кормишь этих злодеев?

— Не с голоду же их уморить, господин капитан. И Писание велит накормить алчущего.

— Не стоят они этого. Охота же была тебе кормить десятерых мошенников! Ну да уж пусть так. Что съедено, того не воротишь. Вели же, пожалуйста, их вывести. Я тотчас возвращусь.

Лыков поспешно вышел. Через полчаса привел он на двор Лаптева около тридцати солдат первой роты и поставил их в ряд. Один из них держал пук веревок. Бурмистров, Лаптев и Андрей вышли на крыльцо, а Варвара Ивановна, отворив из сеней окно, с любопытством смотрела на происходившее.

— Ребята! — закричал Лыков солдатам первой роты. — Вы дрались с бунтовщиками по-молодецки! Я уж благодарил вас и теперь еще скажу спасибо и, пока у меня язык не отсохнет, все буду говорить спасибо!

— Рады стараться, господин капитан! — гаркнули в один голос солдаты.

— За Богом молитва, а за царем служба не пропадают. Будь я подлец, если вам чрез три дня не выпрошу царской милости. Всех до одного в капралы, да еще и деньжонок вам выпрошу, чтобы было чем на радости пирушку задать.

— Много благодарствуем твоей милости, господин капитан!

— А покуда сослужите мне еще службу! Всем этим подлецам, трусам, бунтовщикам и мошенникам наденьте петли на шею. Я научу вас не слушаться капитана и таскать его по улицам, словно какую-нибудь куклу! Отведите их всех на Красную площадь. Оттуда идут стрельцы в Троицкий монастырь просить помилования; там с ними разделаются: пойдут с головами, а воротятся без голов! Проводите и этих всех бездельников в монастырь. Надевайте же петли-то!

— Взмилуйся, господин капитан! — заговорили выведенные из сарая солдаты.

— Молчать! — закричал Лыков, взошел на крыльцо и, вместе с Бурмистровым, Лаптевым и Андреем войдя в нижнюю горницу, сел спокойно за стол, на котором стояли уже пирог и миса со щами.

Прошло несколько дней. Наконец возвратились в Москву все мятежники, которые пошли в Троицкий монастырь с повинною головою. София объявила им, чтобы они немедленно прислали в монастырь князя Ивана Хованского, возвратили на Пушечный двор взятые оттуда пушки и оружие, покорились безусловно ее воле и ждали царского указа. Патриарх Иоаким послал между тем к царям сочиненный им *Увет Духовный*, содержащий в себе опровержение челобитной, которую подал Никита с сообщниками, и увещание всем раскольникам, чтобы они обратились к церкви православной. Он получил в ответ царскую грамоту о принятии царями приношения его с благодарностью и о прощении мятежников, если они все то исполнят, что объявлено было тем из них, которые приходили в Троицкий монастырь. Осьмого октября собрались стрельцы и солдаты Бутырского полка на площади пред Успенским собором. По окончании обедни патриарх прочел Увет Духовный и объявил указ, что цари, по ходатайству его, приемля раскаяние бунтовщиков, их прощают. Все, бывшие в церкви, после того целовали положенные на наложках Евангелие и руку святого апостола Андрея Первозванного, изображавшую тремя сложенными перстами крестное знамение. Один Титов полк остался непреклонным, не захотел отречься от древнего благочестия и с площади возвратился в слободу.

На другой день, девятого октября, пришли в Крестовую палату выборные из покорившихся стрельцов, со слезами благодарили патриарха за его ходатайство и просили его донести царям, что они вполне чувствуют их милосердие и клянутся служить им верой и правдой. Патриарх немедленно пошел в Успенский собор. На площади пред церковью стояли ряды стрельцов и Бутырский полк. Раздался звон колоколов, и бесчисленное множество народа собралось во храм.

Отслужив благодарственный молебен, патриарх сказал раскаявшимся мятежникам:

— *Людие Божии! Видите сами явленное вам милосердие Творца, иже в руке Своей царские сердца имеет. Творец неба и земли вложи в сердца благочестивых наших царей помиловать вас и прощение вам даровати. Аз им, государем, о вас во Христе чадах велия прошения сотворих, да оставят вам долги ваши, и оставиша. Сего ради помните сие и мене, суща яко в поручении по вас, не предадите; оставите всякое зломысльство сердец ваших и поживете благо лета многа. И не возмогите навести на мене и на себе злобного и клятвенного порока.*

— Да не будет на нас,—воскликнули тронутые стрельцы,—милость Божия и Пречистыя Богородицы, если мы крестное целование и обещание наше нарушим! Да будет на изменниках проклятие Божие!

Патриарх, благословив крестом всех, бывших в соборе, пошел в сопровождении многочисленного духовенства в Крестовую палату. Народ и стрельцы вышли из церкви на площадь. Радость сияла на всех лицах; все славили милосердие государей, обнимались и поздравляли друг друга.

По просьбе стрельцов название «Надворная пехота» было отнято, столб, в честь них поставленный на Красной площади, был сломан, и находившиеся на них жестяные доски с похвальной грамотою и с именами убитых ими пятнадцатого мая мнимых изменников брошены были в огонь.

После того дом царский вознамерился возвратиться в Москву. Прежде въезда в столицу цари остановились в селе Алексеевском. Патриарх с выборными из стрельцов прибыл в село, и последние со слезами просили государей отпустить им вины их и возвратиться в престольный город. Им подтверждено было прощение, и весь дом царский поехал в Москву. От самого села до столицы стрельцы без оружия стали по обеим сторонам дороги и, при проезде царей падая на землю, громко благодарили их за оказанное им милосердие. Царь Иоани Алексеевич, бледный и задумчивый, ехал, потупив глаза в землю; и по-видимому, обращал мало внимания на происходившее. Огненные взоры юного Петра, обращаемые на мятежников, выражали попеременно то гнев, то милость. У городских ворот стрельцы поднесли государям хлеб и соль и похвальную гра-

моту, данную им после бунта пятнадцатого мая, за истребление мнимых изменников, которая по приказанию царей в то же время была уничтожена.

Ивана Хованского сослали в Сибирь. Чермной по ходатайству Мирославского получил прощение. Циклеру пожалована была вотчина в триста дворов, а Петрову в пятьдесят, и все многочисленное войско, собравшееся к Троицкому монастырю для защиты царей против мятежников, было щедро награждено и распущено. София, повелев разослать всех непокорившихся стрельцов Титова полка по дальним городам, назначила начальником Стрелецкого приказа думного дьяка Федора Шакловитого и пожаловала его в окольничие.

## Х

*Будь тверд в злосчастные минуты,  
Но счастью тож не доверяй!*

Капнист.

По восстановлении в Москве спокойствия Бурмистров тайно выехал ночью из города. Лаптев, Андрей и капитан Лыков проводили его до заставы. Первый при прощании обещал неусыпно наблюдать за Варварой Ивановной, чтобы она кому-нибудь не проговорила о том, что Василий жив.

Начинало светать, когда Бурмистров въехал в село Погорелово. Расплатясь с своим извозчиком, он купил в селе лошадь, надел на нее седло и сбрую, взятые им из Москвы, и немедленно поскакал далее. Вскоре увидел он проселочную дорогу, которая вела в Ласточкино Гнездо. Сердце его забилося сильнее. Нетерпение обрадовать свою невесту заставило его погонять лошадь, которая и без того неслась во весь опор. Но так как во всей вселенной нет ничего быстрее мысли человеческой, которая в один миг может перескочить в Камчатку, из Камчатки на луну, а с луны спрыгнуть в комнату, где читается эта книга, то почтенные читатели на крылатой мысли без труда обгонят нетерпеливого жеиixa, прежде него прибудут в Ласточкино Гнездо, и узнают, что там еще за несколько дней до выезда его из Москвы случилось следующее необыкновенное происшествие.

Крестьянин Мавры Савишны Брусницыной, Иван Сидоров, под вечер пошел по ее поручению в Чертово раздолье, чтобы настрелять дичи. Не смея зайти далеко в бор, бродил он между деревьями шагах в двадцати от озера, на берегу которого стояло Ласточкино Гнездо. На беду его не попалось ему на глаза ни одной птицы до позднего вечера. Заря угасла уже на западе. Белый охотник того и смотрел, что попадется ему навстречу леший, ростом с сосну, или пустится за ним в погону Баба Яга в ступе с пестом в одной руке и с помелом в другой. Наконец, с величайшею радостью заметил Сидоров на березе тетерева. «Слава тебе, Господи! — прошептал он. — Застрелю этого глухого черта, да и домой вернусь! Нет, Мавра Савишна, вперед изволь сама ходить сюда за дичью по вечерам, а уж я не ходильщик — воля твоя!».

Второпях прицелившись в тетерева, Сидоров только что хотел выстрелить, как вдруг услышал позади себя чей-то голос. Руки опустились у него от страха, ноги подкосились, и он, упав на землю, пополз, как лягавая собака, и скрылся под ветвями густого кустарника. Вскоре услышал он, что сухие листья и ветви, покрывавшие землю, хрустят под чьими-то ногами. Шум приближается к нему, и голос, его испугавший, становится явственнее и громче. Прижавшись к земле от страха и творя молитву, Сидоров слышит следующие слова:

— Сядем здесь, на эту кочку. Не знаю, как ты, а я очень устал.

— И я чуть ноги волочу! — говорит другой голос. — Ведь мы целый день бродили. Ну уж лесок! Нечего сказать. Как бы не солнышко, так мы, верно бы, заблудились. Думали ль мы, когда жили в Москве, что нас Господь приведет скитаться в таком омуте. Злодей этот Милославский! Не дрогнула бы у меня рука воткнуть ему эту саблю в горло по самую рукоять: он погубил нас!

Сидоров, ездивший часто по поручениям своей помещицы в село Погорелово за разными покупками, узнавал от тамошних поселян, а иногда от проезжих обо всем, что происходило важного и примечательного в столице. В последнюю поездку свою услышал он там от одного из знакомцев, что князя Ховаиские по нагово-

рам Милославского были преданы патриархом анафеме и потом повешены где-то в захолустье на осине. Наслышавшись прежде от достоверных старых людей, что в Чертовом раздолье кроме нечистых духов, ведьм и леших водятся и мертвецы, Сидоров смекнул, что бесы сняли проклятых патриархом Хованских с осины и перенесли в свое гнездо, в Чертово раздолье. Жалоба на Милославского, произнесенная голосом неизвестного, навела Сидорова на эту мысль. Он оледенел от страха и начал прощаться с белым светом. Долго лежал он ничком на земле, удерживая дыхание и не смея сквозь ветви кустарника взглянуть на мертвецов, которые, сидя на кочке, неподалеку от него, продолжали разговаривать. Наконец, они встали. Сидоров слышит, что они подходят к нему. В ужасе запустил он обе руки в рыхлую и мшистую землю и уцепился за корни кустарника. Если б в это время вздумал кто-нибудь тащить Сидорова, хоть не в преисподнюю, а в его собственную избу, то пришлось бы ему прежде вырвать из земли кустарник — так крепко неустрашимый охотник ухватился за корни. Мертвецы прошли мимо него, приблизились к берегу озера и остановились шагах в пятнадцати от Сидорова, обернувшись к нему спиною.

«Знать, они меня не видали! — подумал он. — Кажись, они ушли. Зевать-то нечего! Встать было, да и бежать отсюда без оглядки домой, покамест они не воротились». Он вытащил тихонько руки из земли, взял лежавшее подле него ружье и, стиснув зубы, которые били тревогу не хуже самого искусного барабанищика, решил-ся взглянуть сквозь ветви кустарника в ту сторону, куда мертвецы удалились.

«Ах вы, дьяволы! — прошептал Сидоров, — да это, кажись, не мертвецы, на них и саванов нет! Чтоб волк вас съел, окаянные побродяги! Натко! шатаются вечером в лесу, калякают, да добрых людей пугают! Я вам за это всажу по пригоршне дрови в затылки, да еще и пулю в придачу!». Вынув из висевшей у него сбоку сумки пулю, опустил он ее в дуло ружья. «Леший вас знал, что вы живые люди! Кажись, что живые!.. Так и есть! На обоих сабли, шапки да кафтаны стреленные. Никак это стрельцы беглые. Погодите, дружки! Живых-то я и десятерых не испугаюсь!»



Сидоров, все еще лежа под кустарником, прицеливался в одного из стрельцов, размышляя: «Одного-то я застрелю, а другого пришибу прикладом». Уж он готов был выстрелить, но вдруг опустил ружье: «Да за что ж я ухожу их? — подумал он. — Ведь они не хотели меня настрашать, а я сам, по своей охоте, их испугался. Может быть, они и добрые люди. Дай-ка послушаю, с чем они толкуют».

Положив ружье на землю, Сидоров решился подслушать разговор стрельцов. Приблизясь к берегу озера, они долго смотрели на Ласточкино Гнездо, и один из них, продолжая говорить, несколько раз указал на дом Мавры Савишны. Потом оба возвратились к той самой кочке, на которой прежде отдыхали, и сели боком к Сидорову в таком от него расстоянии, что он мог рассмотреть их лица и явственно слышать все слова их.

— Нет, Иван Борисович, не ропщи на Милославского! — сказал один из стрельцов. — Я больше потерял, нежели ты. Я был сотником, а ты пятидесятником. У меня был дом в Москве, а ты жил у приятеля. Конечно, мы всего лишились; однако ж я за все благодарю Господа! Во всем этом я вижу перст Его, указующий мне путь спасения. Девять лет хранил я тайну, которую тебе теперь открою. Теперь могу я возвестить тебе все, что у меня таилось так долго на сердце. Срок, назначенный преподобным Аввакумом многотерпеливым, настал, и я должен исполнить его повеление. В изгнании нашем из Москвы, в лишении нашем всех суетных благ, земных, в найденном нами во глубине этого леса убежище, в усердии твоём ко мне, в покорности всех бывших в моей сотне стрельцов — во всем я вижу знамение, что наступило время к совершению дела, возложенного на меня свыше. Я не только не ропщу на Милославского, но считаю его моим благодетелем, желаю ему всякого добра и рад все для него сделать. Теперь всё готово для моего подвига. Священнослужителя только не достаёт нам, но сегодня в полночь пошлет его иам Господь; в этом я не сомневаюсь.

— В последний раз, — сказал другой стрелец, — как ходил я, переодетый крестьянином, в деревню за съестными припасами, расспрашивал я об ней мальчика и узнал, что ее зовут Наталья. Нам легко будет ее похи-

тить. В доме помещицы теперь нет ни одного мужчины. Она была помолвлена. Жених ее жил несколько времени в этой деревне, но с тех пор, как схватили его в селе Погорелове, ни один мужчина к помещице не приезжал. Крестьян у нее также немного, всего человек семь или восемь; что они сделают против десятерых? Я велел всем взять ружья и дожидаться нас у холма, вон там, на берегу этого озера.

— Пойдем в деревню ровно в полночь, а пока что отдохнем здесь. В ожидании ночи открою тебе тайну, о которой говорить начал. Ты знаешь, что я учился четыре года в Андреевском монастыре\*. Прилежанием и добрым поведением заслужил я любовь всех учителей и был одним из лучших учеников, но на двадцатом году случилась со мною странная перемена: я пристрастился к пьянству и был исключен из училища. Все родственники, товарищи и знакомые винили меня; но я вовсе был не виноват. Враг человеческого рода, ходящий по земле и рыкающий, как лев, который ищет добычи, погубил меня. О святках случайно познакомился я с каким-то неизвестным мне человеком. Он выдал себя за новгородского дворянина. Однажды зазвал он меня на Кружечный двор и, несмотря на все мои отговорки, принудил выпить с ним ковш вина. Я заметил, что, принявшись за ковш, он не перекрестился, и, не знаю сам каким образом, принудил и меня выпить оставшееся вино, не дав мне времени сотворить крестное знамение. После этого я с ним никогда не видался, и во мне явилась

---

\* В сем монастыре, находившемся в то время за городом, на Москве-реке, положено было при царе Алексее Михайловиче в 1665 году основание Славяно-Греко-Латинской академии, стараниями окольного Федора Михайловича Ртищева. Царь Федор Алексеевич в 1679 году перевел эту академию в Китай-город, в Заиконоспасский монастырь, называвшийся **Старый Спас**, и дал академии в 1682 году привилегию, которою, между прочим, был пожалован Андреевский монастырь **того училища блюстителю и учителем на довольное и лепотствующее препитание и нужных исполнение**. Еще прежде того при царе Михаиле Федоровиче заведена была Греко-Латинско-Славянская школа на Патриаршем дворе. Олеарий осматривал ее в 1639 году. Он пишет, что патриарх Филарет с согласия царя хотел устроить подобные училища во многих местах.

Из этого видно, сколь несправедливо мнение, что стремление к просвещению в России началось со времен Петра Великого и что до сего государя русские не радели об оном. Первый государь из дома Романовых покровительствовал уже просвещению.

страсть к вину, которой я не в силах был преодолеть. Иногда предавался я ей в течение целого месяца и более. Я чувствовал, что гублю себя. Все говорили, что я пью запоем, но все очень ошибались. Меня беспрестанно, днем и ночью, смущал и тянул к вину этот иовгородской дворянин. Ковш, выпитый мною с ним вместе, не выходил у меня из головы. Я старался думать о чем-нибудь другом, но чем более употреблял усилий, тем сильнее мучила меня неутолимая жажда. Самая молитва мне не помогала. Иногда удавалось мне однако ж с неописанными мучениями превозмогать обольщения лукавого, и я вдруг переставал пить. Тогда совесть моя успокаивалась, на сердце делалось легко и весело, и я возносился духом туда, куда обыкновенные люди, преданные суете мира и работающие греху, не имеют доступа. Сколько видений, самых восхитительных и самых ужасных, являлось тогда предо мной! Сколько открывалось пред глазами моими таинств, ни одному смертному неизвестных. Когда я приходил в это необыкновенное состояние духа, все говорили про меня, что я мешаюсь в рассудке. Я не оскорблялся этим; я чувствовал превосходство свое над обыкновенными людьми, глядел на них с состраданием и из любви к ним желал, чтоб и они могли видеть и постигать то же, что я видел и постигал. Однажды, после победы, одержанной мною над искушителем, вознесся я духом так высоко, как никогда еще не возносился, и шел чрез одно подмосковное село. Вдруг яркое пламя и густой, клубящийся дым поразили глаза мои. Я пошел вперед и увидел, что горит сельская церковь. Поселяне старались гасить пожар, но напрасно: огонь обхватил все здание, крыша и колокольня с треском рухнули. Когда ветер разнес густой дым, столбом поднявшийся над горящими развалинами церкви, один пылающий иконостас с затворенными царскими вратами представился моим глазам. Наконец загорелись царские врата и начали медленно отворяться. Из алтаря блеснуло яркое сияние и осветило дальнюю окрестность. Вдруг заметил я, что за алтарем стоит в белой одежде Аввакум многотерпеливый с пальмовой ветвью и крестом в руке. Выйдя из алтаря, начал он восходить по дыму, который несся к небу с развалин церкви. С дыма святой мученик перешел на белое облако, которое

стояло на востоке, и, взглянув на меня, указал в небесной вышине золотую дверь. Я упал на землю и начал молиться. После молитвы увидел я еще три тысячи мучеников, пострадавших за древнее благочестие. Все они, один за другим, вышли также из пылающего алтаря и по черному дыму перешли на белое облако вслед за Аввакумом, и начали все они подниматься к золотой двери, которая сияла ярче звезды. Вскоре потерял я их из виду. Тогда оглянулся я на церковь и что ж увидел? Иконостас с царскими вратами и алтарь превратились уже в груды горящих углей, с которых несли синеватый мрачный дым. Вдруг из этого дыма поднимается... кто бы ты подумал?.. новгородский дворянин! Я задрожал. Он указал мне глубокую бездну, на краю которой стоял я, сам того не примечая. На самом дне этой бездны увидел я раскаленную железную дверь. Зеленый пламень, как расплавленная медь, прорывался сквозь щели и замочную скважину двери. Она медленно отворилась, я взглянул в нее — и обмер от ужаса. Я дал обет Аввакуму многотерпеливому никогда и никому не говорить, что я за дверью увидел. Если б я и не дал этого обета, то все бы не нашел слов для описания видения, которое мне представилось. Новгородский дворянин захлопал в ладоши, начал прыгать и запел песню, от которой у меня волосы на голове поднялись дыбом. Преподобный Аввакум сказал мне, что всякий, кого он особенно не охраняет, погибнет навеки, если хоть одно слово услышит из этой песни. Я решился никогда не повторять ее, чтобы не погубить кого-нибудь из ближних. Почему могу я знать, кого многотерпеливый праведник охраняет и кого нет? И начал новгородский дворянин спускаться в бездну к железной двери, а за ним пошли вслед, появляясь один за другим, из синеватого дыма, антихрист Никон и еще три тысячи единомышленников его, которые вместе с ним гнали древнее благочестие. Все они были в черных саванах. Никон, заменивший жезл учителя Петра чудотворца иудейским жезлом со змеями, с головы до ног был обвит черным змеем. Я отворотился от ужасного зрелища. В это самое время кто-то взял меня за руку. Я оглянулся, и невольно благоговейный трепет пробежал по всем моим членам: подле меня стоял Аввакум. «Иди за мною!» — ска-

зал он мне и повел меня из села на какую-то высокую гору, с которой спустились мы в густой лес. «Видел ли ты видение у горящей церкви?» — спросил он меня. «Видел», — отвечал я. «Девять годов храни в сердце твоём все, что ты видел, — продолжал он, — и все, что я еще покажу тебе. В нынешнее антихристово время мир утопает в нечестии; нигде нет истинной церкви; все на земле осквернено и нечисто. Удались в глубину леса, сокройся навеки от мира и восставь истинную церковь, которую покажу тебе. Для этого подвига должен ты принять крещение водою небесною; ибо на земле нет воды неоскверненной. Все моря, озера, реки и источники заражены прикосновением слуг антихристовых. Сказав это, повел он меня далее, в самую середину леса и, показав истинную церковь, исчез. Меня нашли в лесу дровосеки чуть живого, принесли домой, и я долго был болен горячкою. По выздоровлении страсть к пьянству во мне совершенно исчезла. Девять лет хранил я молчание о моем видении, терпел часто голод и холод и, наконец, по убеждению дяди вступил в стрельцы. В конце прошедшего августа минуло девять лет с тех пор, как я сподобился беседовать с преподобным Аввакумом. Памятуя слово его, удалился я однажды в лес, наломал ветвей, скрепил их тонкими прутьями, древесною смолою и глиною, и устроил купель. В то время шел дождь несколько дней сряду. Когда купель наполнилась до половины небесною водою, я погрузился в нее и принял крещение, мне заповеданное. Возвратясь в Москву, начал я помышлять о воздвижении истинной церкви. Ты знаешь, что потом случилось с нашим полком. Я с радостию услышал весть о нашем изгнании из Москвы, с радостию вышел из этого Содома. Здесь, в этом лесу, скроемся навсегда от служителей антихриста и от всего нечестивого мира, воздвигнем в тайне истинную церковь и достигнем золотой небесной двери.

Вечерняя заря угасла. Стрельцы встали и пошли по берегу озера к холму, у которого их ожидали десятеро сообщников. Сидоров, выслушав весь разговор, вылез из-под куста и побежал без оглядки в дом своей помещицы.

— Ну что, принес ли дичи? — спросила его Мавра Савишна, которую он вызвал в сени.

— Какая дичь, матушка! Я насилу ноги уплел, чуть не умер со страху.

— Ах ты, мошенник! Дуру, что ли, ты нашел; не обманешь меня, плут! Видно, ты и в лес-то не ходил, а весь вечер пролежал на полотах.

— Нет, Мавра Савишна, не грехи! Я пролежал не на полотах, а под кустом.

— Что? под кустом? Да ты никак потешаешься надо мной, или с ума спятил! Завтра нечего будет на обед подать! Я тебя научу надо мной потешаться! Видно, борода-то у тебя густа! Смотри, разбойник, вцеплюсь!

— Воля твоя, Мавра Савишна! Изволь над моей бородой тешиться, сколько душе угодно, а только уж я в другой раз за дичью под вечер не пойду. Уж лучше утопиться!

— Не белены ли ты объелся? Что на тебя за дурь нашла, мошенник!

— Поневоле найдет дурь, коли душа со страху в пятки ушла! Изволь-ка, Мавра Савишна, выслушать меня, так и гневаться перестанешь.

— Ну что, что такое? говори, плут, скорее.

— А вот изволишь видеть. Бродил я долго по лесу, нет ни одной птицы, хоть ты плачь! Напоследки вижу я: сидит на дереве глухой тетерев. Я как раз прицелился да и услышал голос. Я и смекнул, что дело неладно, и нырнул под куст; и увидел я двух человек. Хованские ль они, стрельцы или, али лешие какие — лукавый их знает! Сели они неподалеку от меня и понесли такую околесную, что я ни словечка не понял. Болтали они что-то про пожар, про золотую дверь, да еще про железную, про антихриста, про какого-то дворянина, про Милославского, и про всякую всячину! Один, который постарше и с бородавкой на щеке, указывал, кажись, на твой дом и болтал, что он прежде пил запоем и что надо сегодня ночью, никак, утащить Наталью Петровну.

— Утащить Наталью Петровну! Да что ты, мошенник, в самом деле меня пугаешь! Ведь как начну со щек на щеку, так дурь-то и выбью.

— Бей, матушка, Мавра Савишна! Дело наше крестьянское; за всяким тычком не угоняешься; только уж будут к тебе сегодня ночью гости.

Испуганная Семирамида, приказав Сидорову собраться к ней на двор всех крестьян ее с их семействами, побежала в верхнюю светлицу, чтобы сообщить ужасную весть старухе Смирновой и Наталье. Работница Акулина, мимоходом услышав кое-что из разговора Мавры Савишны с Сидоровым, выбежала за ворота и, остановив проходившую мимо дома куму свою, сказала ей несколько слов на ухо. Кума пошла далее и говорила что-то с другой крестьянкой. Вмиг по всему Ласточкиному Гнезду распространилась молва, что Сидоров в Чертовом раздолье встретил лешего и прибежал оттуда без памяти. Другие же, менее суеверные, говорили, что он вовсе лешего не видал и утверждали, напротив, что из леса выехала в ступе Баба Яга, пустила в Сидорова пестом, чуть-чуть не попала ему в затылок и до самой деревни гналась за ним, без отдыха колотя его в спину помелом.

Вскоре все жители Ласточкина Гнезда собрались на дворе помещицы. Мавра Савишна, посоветовавшись со старухой Смирновой и Натальей, осталась при том мнении, что какая-нибудь шайка воров собирается ограбить ее дом, который стоил ей столько трудов и издержек. Она решилась защищаться до последней крайности, приказала Сидорову зарядить ружье целою пригоршнею дрови, всем же другим крестьянам, женам их, сыновьям и дочерям велела вооружиться топорами, косами, вилами и граблями. Давно известно, что отчаяние может придать и трусливому человеку необыкновенную храбрость. Это случилось и с Маврой Савишной. Принудив старуху Смирнову и Наталью из верхней светлицы переместиться на ночь в баню и уверив их, что опасаться нечего, Семирамида с косою в руке и в мужском тулупе, надетом сверх сарафана, вышла к своему войску.

— Смотрите, вы, олухи! — закричала она, — не зевать! Только лишь вору нос вынесут, колоти их, окаянных, чем попало!

— Слушаем, матушка, Мавра Савишна! — закричало войско на разные голоса, в числе которых были женские и детские. Прошел целый час. Войско Семирамиды все еще стояло в боевом порядке. Предводительница для возбуждения своей храбрости удалилась на минуту в чулан и подкрепила себя стаканом настойки; потом, явсь

опять перед войском, подняла она косу на плечо, подбоченилась и начала бодро расхаживать взад и вперед по двору. Наконец, настала полночь. Большая часть войска, к несчастью, убеждена была, что должно отразить нападение не воров, а Бабы Яги, и совершенно потеряла уверенность в победе, а без этой уверенности в войске ничего бы не успел сделать и сам Наполеон, если б судьба поставила его в трудное положение Мавры Савишны.

Вскоре после полуночи вдруг раздался у ворот стук. Войско Семирамиды вмиг рассыпалось в разные стороны, как груда сухих листьев от набежавшего вихря. Сама предводительница, кинув оружие на землю, опрометью бросилась в курятник, захлопнула за собою дверь и всполошила спавших его обитателей. Петухи и курицы подняли страшный крик и начали бегать и летать из угла в угол как угорелые. Один Сидоров доказал свою неустрашимость. Он подошел к самым воротам, прицелился, выстрелил, влепил всю дробь в ворота и последний убежал с поля сражения. Семирамида, услышав выстрелы, упала навзничь и простилась со светом, почувствовав, что ее колют пикою в горло. И никто бы на ее месте не мог в темноте рассмотреть, что уколол ее когтями петух, соскакнувший с насеста к ней на шею. До сих пор историки не разрешили, кто кого более тогда перепугал: петух ли Семирамиду, или Семирамида петуха?

История также не объясняет, долго ли пробыла владетельница Ласточкина Гнезда в курятнике. Известно только то, что она, на рассвете войдя в баню, нашла там одну старуху Смирнову, которая горько плакала. От нее узнала она, что два человека, вооруженные саблями, вырвали из рук ее Наталью и, несмотря на крик и сопротивление бедной девушки, унесли ее за ворота.

Нужно ли говорить, что почувствовал Бурмистров, когда приехал в Ласточкино Гнездо и узнал о похищении Натальи? Напрасно расспрашивал он бестолкового Сидорова о разговоре, им подслушанном, и о приметах похитителей его невесты, напрасно искал он ее по всем окрестным местам. Услышав от Сидорова, что похитители упоминали в разговоре не один раз имя Милославского, Василий уверился, что его Наталья попала в ру-



ки сладострастного злодея и что он разлучен с нею навсегда. В состоянии, близком к отчаянию, простясь с ее матерью и с своею теткою, сел он на коня и поскакал по первой попавшейся ему на глаза дороге. Мавра Савишна стояла на берегу озера и, обливаясь слезами, смотрела ему вслед. Долго еще в отдалении топот копыт раздавался. Наконец все утихло, и Мавра Савишна тихонько побрела к своему дому, чтобы утешить вдову Смирнову, которую Бурмистров поручил ее попечению.

## КОНЕЦ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

### I

*Бежишь от совести напрасно:  
Тиран твой — сердца в глубине;  
Она с тобою повсечасно;  
Летит на корабле и скачет на коне.*

Дмитриев.

Прекрасный майский день вечерел. Заходившее солнце золотило верхи отдаленных холмов. Поселянки гнали с полей стада свои и при звуке рожка, на котором наигрывал песню молодой пастух, дружно и весело пели: «Ты поди, моя коровушка, домой!».

На скамье под окнами опрятной и просторной избы сидел священник села Погорелова, отец Павел. Вечерний ветер развеивал его седые волосы. Пред ним, на лугу, играл мячом лет пяти мальчик в красной рубашке. Задумчивые взоры старика выражали тихое удовольствие, ощущаемое при виде прелестной природы человеком, который, несмотря на седины свои, сохранил еще свежесть чувств, свойственную юности.

Всадник, по-видимому, приехавший издалека и остановивший перед священником свою лошадь, прервал его задумчивость.

— Нельзя ли, батюшка, мне ночевать у тебя? — спросил всадник, спрыгнув с лошади и подходя к бла-

гословению священника.— Лошадь моя очень устала, и я не надеюсь поспеть до ночи туда, куда ехать мне надобно.

— Милости просим,— отвечал гостеприимный старик.

Всадник, привязав лошадь к дереву, которое густыми ветвями осеняло дом священника, сел подле него на скамью.

— Издалека ли, добрый человек, и куда едешь? — спросил отец Павел.

— Еду я в поместье моей родственницы, с которою уже шесть лет с лишком не видался.

— А как прозываешься ты?

— Другому бы никому не сказал своего имени, а тебе скажу, батюшка. Я давно уж знаю тебя.

— Давно знаешь? — сказал священник, пристально вглядываясь в лицо незнакомца.— В самом деле, я, кажется, видал тебя. Однако ж не помню, где. Разве давно когда-нибудь? Не взыщи на старике, память у меня уж не та, что в прежние годы.

— А помнишь ли, батюшка, как приезжал к тебе однажды стрелецкий пятисотенный и спросил тебя обвенчать его ночью, без свидетелей?

— Да неужто это ты в самом деле? Быть не может! С тех пор прошло около шести лет. Когда ж ты успел так состариться?

— Горесть прежде времени заставит хоть кого состариться,— отвечал незнакомец, которого имя, вероятно, не нужно уже сказывать читателям.

— Не то чтобы ты состарился, а похудел. Видно, был нездоров? Бог милостив, поправишься, так опять будешь молодец. Сколько тебе лет от роду?

— Тридцать четыре года.

— А мне так уж восьмой десяток идет.

В это время подошла к разговаривавшим пожилая женщина с смуглым лицом и, взглянув на приезжего, бросилась его обнимать, восклицая:

— Господи Боже мой! да откуда ты взялся, мой дорогой племянник?

— А ты как попала сюда, тетушка? Я ехал к тебе в поместье.

— В поместье? — сказала, вздохнув, женщина.—

Было оно у меня, да сплыло! И домик мой, который я сама построила, достался в недобрые руки. Что делать! видно, Богу так было угодно.

— Как, разве ты продала свою деревню?

— Нет, племянничек; давай мне Софья Алексеевна свои палаты за мой домик, не променялась бы я с нею. Выгнали по шее, так делать было нечего. Взыла голосом, да и пошла по миру. Как бы не укрыл нас со старухой, с нареченной твоей тещей, отец Павел — дай Господи ему много лет здравствовать! — так бы мы обе с голоду померли.

— Полно, Мавра Савишна! — сказал священник. — Кто старое помянет, тому глаз вон.

— Нет, батюшка, воля твоя, пусть выколют мне хоть оба глаза, а я все-таки скажу, что ты добрый человек, настоящая душа христианская. Во веки веков не забуду я, что ты приютил нас, бедных. Много натерпелась я горя без тебя, любезный племянничек! Вскоре после того, как ты от нас уехал, Милославский узнал, — знать, сорока ему на хвосте весть принесла, — что невеста твоя жила у меня в доме. Прислал он тотчас за нею холопов; а как услышал, что Наталья Петровна пропала, так и велел меня выгнать в толчки на большую дорогу, а поместье мое подарил, злодей, и с домиком, своему крестному сыну, площадному подьячему Лыскову. Долго мы с твоей нареченной тещей шатались по деревням да милостыни просили. Как бы не батюшка, так бы мы...

— Ну, полно же, Мавра Савишна! — прервал священник, — что ни заговоришь, а все сведешь на одно.

— Да уж воля твоя, батюшка, сердись, не сердись, а я до гробовой доски стану твердить встречному и поперечному, что ты благодетель наш.

Бурмистров, тронутый несчастьем тетки и оказанною ей помощью скромным благотворителем, хотел благодарить священника; но последний, желая обратить разговор на другой какой-нибудь предмет, спросил:

— А куда пошла наша старушка?

— Смирнова-то, батюшка? В церковь, отец мой. Сегодня, вишь ты, поминки по Милославском. По твоему совету мы каждый год ходим с нею вместе во храм Божий за его душу помолиться.

— Как, разве умер Милославский? — воскликнул Бурмистров.

— Умер, три года ровно тому назад\*, — отвечал священник. — Боярин князь Голицын да начальник стрельцов Шакловитый мало-помалу пришли в такую милость у царевны Софьи Алексеевны, что Ивану Михайловичу сделалось на них завидно. Он уехал в свою подмосковную вотчину — она верст за пять отсюда — и жил там до самой своей кончины. Он призывал меня к себе, чтоб исповедать и приобщить его пред смертью. Господь не сподобил его покаяться и умереть по-христиански.

— Расскажи, батюшка, племяннику-то, сказала Мавра Савишна, — как скончался Милославский. Не приведи Бог никого этак умереть!

— Да, — сказал священник, — не в осуждение ближнего, а в доказательство, как справедливы слова Писания, что смерть грешников люта, расскажу я тебе, сын мой, про кончину Милославского. Три года прошло с тех пор, а я как будто теперь еще слышу все слова его и стенания. Молись и ты за его душу. Я знаю, что в жизни сделал он тебе много зла; но истинный христианин должен и за врагов молиться... Ночью прискакал от Милославского за мною холоп его. Я взял с собою святые дары и поспешил в село к боярину. Вошел я в спальню и увидел, что он в жару мечется на постели. Несколько раз приходил он в память. Я хотел воспользоваться этими минутами и начинал исповедь; но он кричал ужасным голосом: «Прочь! прочь отсюда! Кто сказал тебе, что я умираю? Я еще буду жить, долго жить!». Отирая холодный пот с лица, он потом утихал, говорил, чтобы все имение его раздать по монастырям; но после того, как бы вдруг что-то вспомнив ужасное, начинал хотеть. И теперь еще этот судорожный смех у меня в ушах раздается! «Все вздор! — восклицал он. — Я не умру еще! Успею еще покаяться! Голицын и Шакловитый узнают Милославского!». Пред последним вздохом своим подозвал он меня к себе и слабым голосом сказал, чтобы я его исповедовал. На вопросы мои не отвечал он ни слова и все смотрел пристально на дверь. В глазах его изображались тоска и ужас. Думая, что

\* Боярин Милославский умер в 1686 году. С 22 мая 1680 года управлял он Приказом Большия Казны, Московскою Таможнею, Померною и Мытною избою, городовыми таможнями и всякими денежными доходами. Пред кончиною стал он удаляться от дел и жил большею частию в своих вотчинах.

он не в силах говорить, я продолжал глухую исповедь и, кончив ее, хотел его приобщить. «Одинцов! — закричал он вдруг страшным голосом. — Дай, дай мне приобщиться... не дави мне горло... ох, душно!.. уйди прочь!.. не мучь меня!». Помолчав несколько времени, он схватил меня за руку и с трепетом указал мне на дверь. «Батюшка! — сказал он шепотом. — Вели запереть крепче дверь, не впускай их сюда... мне страшно! Зачем они пришли? Скажи им, что меня нет здесь; уговори их, чтоб они меня не мучили. А!.. они указывают на меня в окошко!.. Заприте, заприте окно крепче!.. Видишь ли, батюшка, сколько безголовых мертвецов стоят у окошка? Кровь их течет к моей постели!.. Видишь ли... вот это Хованские, а это Долгорукий и Матвеев! Не пускайте, не пускайте их сюда!.. Ради Бога, не пускайте!». Голос его начал постепенно слабеть, и он умер на руках моих.

— Мы молились сегодня за его душу, помолись и ты, племянник, чтобы... Этаким ты баловень, Ванюша, ведь прямехонько мне в лоб мячом попал!

— Играй, Ваня, осторожнее! — сказал священник мальчику в красной рубашке.

— Что это за дитя? — спросил Бурмистров.

— Он сиротинка, — отвечала Мавра Савишна. — Отец Павел принял его к себе в дом вместо сына. Да уж не кивай мне головой-то, батюшка, уж ничего не смолчу, все твои добрые дела племяннику выскажу.

— Какая холодная роса поднимается! — сказал священник. — Не лучше ли нам в дом войти? Милости просим.

— Вишь как речь-то заминает, — продолжала Мавра Савишна, входя с племянником в дом вслед за священником. — Знаем, что роса холодна, да знаем и то, что у тебя сердечушко куда горячо на добро — дай Господи тебе здоровья и многие лета.

## II

*Вилась дорожка; темный лес  
Чернел перед глазами.*

Жуковский.

Бурмистров рассказал священнику, своей тетке и возвратившейся вскоре после входа их в горницу старухе Смирновой, что он более шести лет ездил по разным

городам, напрасно старался заглушить свою горечь и наконец не без труда решился побывать в гех местах, где был некогда счастлив.

— Мне бы легче было,— говорил он,— если б Наталья умерла; тогда бы время могло постепенно утешить меня. Мысль, что потеря моя невозвратна, не допускала бы уже никогда в сердце мое надежды когда-нибудь снова быть счастливым и не возбуждала бы во мне желания освободить из рук неизвестного похитителя мою Наталью, желания, которое беспрестанно терзало меня, потому что я чувствовал его несбыточность.

— Да, да, любезный племянник! — сказала Мавра Савишна со вздохом.— До сих пор о ней ни слуху ни духу! Да и слава Богу!

— Как слава Богу, тетушка?

— А вот, вишь ты, Милославский завещал кое-какие пожитки свои крестному сыну, этому мошеннику Лыскову, да и Наталью-то Петровну назначил ему же после своей смерти. Прежний мой крестьянин Сидоров приезжал прошлою осенью сюда и сказывал, что Лысков везде отыскивает твою невесту, что она, дескать, принадлежала его крестному батьке по старинному холопству, что он волен был ее кому хотел завещать и что Лысков норовит ее хоть на дне морском отыскать и на ней жениться.

— Так не Милославский ее похитил? — воскликнул Бурмистров.

— Какой Милославский! — отвечала Мавра Савишна.— Если б тогда попалась она в его руки, так уж верно бы давно была замужем за этим окаянным Лысковым и поживала бы с ним, проклятым, в моем домике. Уж куда мне горько, как я об нем вспомню: ведь сама строила!

Мавра Савишна, растрогавшись, захныкала и начала утирать кулаками слезы.

На другой же день Бурмистров сел на коня и поскакал в Ласточкино Гнездо. Отыскав Сидорова, начал он его снова расспрашивать о приметах похитителей Натальи, о месте, где он их подслушал, и об их разговоре. Ответы Сидорова были еще бестолковее, нежели прежде. Он прибавил только, что недавно, рано утром отправясь на охоту в Чертово Раздолье, видел он там

опять несколько человек в стрелецком платье, и между ними того самого, у которого в первую встречу в лесу со стрельцами заметил на щеке черную бородавку.

— Его рожато больно мне памятно! — говорил Сидоров. — Он так настрашал меня тогда, проклятый, что и теперь еще меня, как вздумаю об этом хорошенько, мороз по коже подирает.

— Не заметил ли ты, куда он пошел из лесу?

— Кажись, он пошел по тропинке, в лес, а не из лесу. Тропинку-то эту я заметил хорошо потому, что она начинается в лесу, за оврагом, подле старого дуба, который, знать, громовой стрелой сверху донизу раскололо надвое, словно полено топором. Да здорова ли, Василий Петрович, Мавра Савишна? Я уж давно в Погорелове не бывал. Чай, ты оттуда?

— Она велела тебе кланяться и попросить тебя, чтобы ты сослужил мне службу. Проводи меня теперь же к той тропинке, по которой стрелец в лес ушел.

— Нет, Василий Петрович, воля твоя, теперь я ни для отца родного в Чертово Раздолье не пойду. Взглянька, ведь солнышко закатывается. Разве завтра утром?

— Я бы тебе дал рубль за работу.

— И десяти не возьму!

— Ну, нечего делать! Хоть завтра утром проводи меня да покажи тропинку.

— Хорошо-ста. Да на что тебе показать-то? Разве ты этих побродяг искать хочешь? Да вот и мой теперешний боярин, Сидор Терентьевич, собирается также послоняться по лесу. Он ездил нарочно в Москву и просил своего милостивца, Шакловитого, чтобы прислал к нему десятка три стрельцов. У меня-де в лесу завелись разбойники. Тот и обещал прислать. А ведь обманул его Сидор-то Терентьич. Он хочет искать не разбойников, а Наталью Петровну. Никак он смекает на ней жениться. Не ехать ли вам в лес вместе? Авось вы двое-то лучше дело сладите. Ты сыщешь этих окаянных побродяг, а он Наталью Петровну. Да ведь и ты в старину к ней никак сватался?

— Отчего Лыскову вздумалось ехать в лес?

— Отчего! Я надоумил его. Поезжай-де, барин, в Чертово Раздолье, авось там клад найдешь. Ну, да если

и шею сломит, плакать-то я не стану: ведь житья нам нет от него. Авось его там ведьма удавит! Ну, ему ли там отыскать Наталью Петровну! Коли она и впрямь попалась в этот омут, так, я чаю, ее давным-давно поминай как звали!

Ночевав в избе Сидорова, Бурмистров на рассвете оседлал лошадь и поспешил к Чертову Раздолью, сопровождаемый своим путеводителем, который без седла сел на свою клячу. Въехав в лес, они вскоре прискакали к оврагу; слезли с лошадей, осторожно перебрались с ними на другую сторону оврага, увидели расколотый молниею дуб и подле него тропинку, которая, извиваясь между огромными соснами, терялась в глубине бора. Отдавши Сидорову обещанный рубль, Василий накрепко наказал ему ни слова не говорить об их свидании и разговоре Лыскову, сел опять на своего коня и поскакал далее по тропинке. Путеводитель его, несколько времени посмотрев ему вслед, махнул рукою, проворчал что-то сквозь зубы и, вскочив на свою клячу, отправился домой. Чем далее ехал Василий, тем лес становился мрачнее и гуще, а тропинка менее заметною. Часто густые ветви деревьев, наклонившиеся почти до земли, преграждали ему дорогу. Иногда принужден он был слезать с лошади, брать ее за повод и пробираться с большим трудом далее. По знакам, вырезанным справа и слева на деревьях, удостоверился он, что едва заметная тропинка, по которой он ехал, давно уже была проложена и вела, вероятно, к какому-нибудь человеческому жилищу. Долго углубляясь таким образом в лес, увидел, он наконец довольно широкую просеку и вдали покрытую лесом гору. Приблизясь к горе и поднявшись на нее, Василий влез на дерево и рассмотрел на вершине горы обширное деревянное здание весьма странной наружности, обнесенное высокою земляною насыпью. Спустясь с дерева, сел он снова на свою лошадь и между мрачными соснами, окружавшими со всех сторон насыпь, объехал ее кругом и увидел запертые ворота. Он начал в них стучаться.

— Кто там? — закричал за воротами грубый голос.

— Впусти меня! — отвечал Василий. — Я заблудился в этом лесу.



Через несколько времени ворота отворились. Бурми-  
стров въехал в них и едва успел слезть с лошади, как  
человек, впустивший его за насыпь, опять запер ворота  
и, подбежав к лошади Василья, воткнул ей в грудь саб-  
лю. Бедное животное, обливаясь кровью, упало на зем-  
лю.

— Что это значит? — воскликнул Бурмистров, вы-  
хватив свою саблю.

— Ничего! — отвечал ему хладнокровно неизвест-  
ный. — Волею или неволею ты сюда попал, только дол-  
жно будет тебе здесь навсегда остаться; уж у нас такое  
правило. Да не горячись так, любезный, здесь народу-то  
много: с тобою сладят. Ты ведь знаешь, что с своим уста-  
вом в чужой монастырь не ходят. Пойдем-ка лучше к на-  
шему старшему. Да вот он никак сюда и сам идет.

Василий увидел приближавшегося к нему человека  
в черном кафтане; за ним следовала толпа людей, во-  
оруженных ружьями и саблями. Бурмистров, всмотрясь  
в него, узнал в нем бывшего сотника Титова полка Пет-  
ра Андреева. Последний, вдруг остановясь, начал крес-  
титься и, глядя на Василья, не верил, казалось, глазам  
своим.

— Что за чудо! — воскликнул сотник. — Не с того ли  
света пришел ты к нам, Василий Петрович? Разве тебе  
не отрубили головы?

— Ты видишь, что она у меня на плечах, — отвечал  
Бурмистров, приметив между тем на щеке сотника чер-  
ную бородавку и вспомнив рассказ Сидорова.

— Да какими судьбами ты попал в наше убежище?

— Я рад где-нибудь приклонить голову. Ты ведь  
знаешь, что Милославский наговорил на меня Бог знает  
что царевне Софье Алексеевне и что она велела мне  
давным-давно голову отрубить. Я бежал из тюрьмы  
Хованского и с тех пор все скрывался в этом лесу. Не  
дашь ли ты мне уголка в твоём доме, Петр Архипович?

— Это не мой дом, а Божий. Все в него входящие  
из него уже не выходят и не сообщаются с нечестивым  
миром.

— Я готов здесь на всю жизнь остаться!

— Искренно ли ты говоришь это?

— Ты знаешь, что я никогда не любил лукавить. Я искренно рад, что нашел наконец убежище, которого давно искал.

— Иван Борисович! — сказал сотник, обращаясь к стоявшему позади его пожилому человеку, бывшему пятидесятнику Титова полка. — Отведи Василья Петровича в *келью оглашенных* и постарайся скорее *убедить* его.

Бурмистров, обольщаясь слабою надеждою выведать что-нибудь у Андреева о судьбе своей Натальи, решился во всем ему повиноваться и беспрекословно последовал за пятидесятником.

Андреев, подозревая последнего к себе, шепнул ему что-то на ухо и ушел в небольшую избу, которая стояла близ ворот.

Пятидесятник ввел Бурмистрова в главное здание, которое стояло посреди двора, спустился с ним в подполье и запер его в небольшой горнице, освещенной одним окном с железною решеткою. Осмотрев горницу, в которой более ничего не было, кроме деревянного стола и скамьи, покрытой войлоком, Василий нечаянно увидел на стене несколько едва заметных слов, написанных каким-нибудь острием. Многие слова невозможно было разобрать, и он с трудом мог прочитать только следующее: «Лета 194-го месяца июля в 15-й день заблудился я в лесу и... во власть... долго принуждали... их ересь, но я... морили голодом... повесить... через час на смерть... священнический сын Иван Логинов».

Нужно ли говорить, какое впечатление произвела на Василья эта надпись, по-видимому, еще ни разу не замеченная Андреевым, который один был грамотен из всех обитателей таинственного его убежища?

Наступила ночь. Утомленный Бурмистров лег на скамью, но не мог заснуть до самого рассвета. Тогда послышалось ему в верхних горницах дома пение и потоп шум, производимый несколькими бегающими людьми. Вскоре опять все затихло, и Василий, как ни напрягал слух, не мог ничего более расслышать, кроме ветра, который однообразно свистел в вершинах старых сосен и елей.

*От милых ближних вдалеке  
Живет ли сердцу радость?  
И в безутешной бы тоске  
Моя увяла младость!*

Жуковский.

Вскоре после солнечного восхода вошел в горницу Василья бывший пятидесятник Титова полка Иван Горохов. После длинной речи, в которой он доказывал, что на земле нет уже нигде истинной церкви и что антихрист воцарился во всем русском царстве, Горохов спросил:

— Имеешь ли ты желание *убелиться*?

Бурмистров хотя и не вполне понял этот вопрос, однако ж отвечал утвердительно, потому что к спасению себя и своей невесты, которая, по догадкам его, находилась во власти Андреева, не видел другого средства, кроме притворного вступления в его сообщники. Притом желал он приобрести этим способом доверенность сотника и узнать, не томится ли в убежище его еще какая-нибудь жертва изуверства, которую ожидает такая же участь, какая постигла несчастного, возбуждившего в Василии глубокое сострадание прочитанною на стене надписью.

Пятидесятник взял Василия за руку и сказал ему:

— Горе тебе, если притворяешься. Ужасная казнь постигнет тебя, если ты из любопытства или страха изъявил согласие соделаться сыном истинной церкви. *Пророческая обедня* изобличит твое лукавство.

После этого вывел он его из подполья и, взойдя вместе с ним по деревянной лестнице в верхние горницы дома, остановился пред небольшою дверью, которая была завешена черною тафтою.

— Отче Петр! — сказал пятидесятник. — Я привел к двери истинной церкви оскверненного человека, желающего *убелиться*.

— Войдите! — отвечал голос за дверью, пятидесятник ввел Бурмистрова в церковь, наполненную сообщниками Андреева. Все стены этой церкви от потолка до полу покрыты были иконами. Пред каждою иконою горела восковая свеча. Нигде не было заметно ни малей-

шего отверстия, чрез которое дневной свет проникал бы в церковь. Вместо алтаря устроено было возвышение, обитое холстом и расписанное в виде облака, а на возвышении стояла деревянная дверь, увешанная бисером, стеклянными обломками и другими блестящими вещами. Отражая сияние свеч, она уподоблялась яркому золоту.

— Скоро начнется обедня,— сказал Андреев Бурмистрову.— Ты прежде должен покаяться по нашей вере. Встань на колена, наклони голову до земли и ожидай, покуда священник не позовет тебя.

Бурмистров исполнил приказанное, внутренне жалея отпавших сынов церкви и чувствуя невольное отвращение, смешанное с удивлением, при виде нелепых обрядов, столько удалившихся от истинного христианского богослужения.

Все бывшие в церкви запели:

Приидите последнее время,  
Грядут грешники на суд,  
Дела на раменах несут!  
И глаголет им Судия:  
Ой вы, рабушки-рабы!  
Аз возмогу вас простити,  
И огонь вечный погасити.

Когда кончилось пение, Бурмистров слышит, что дверь, находившаяся на возвышении, отворилась. Чей-то нежный голос говорит ему:

— Иди ко мне!

Бурмистров встал... и кого же увидел? На возвышении, пред блестящею дверью, стояла в белой одежде с венком из лесных цветов на голове и с распущенными по плечам волосами Наталья. Радость и изумление сильно потрясли его душу. Он долго не верил глазам своим. И бедная девушка, увидев жениха своего, едва не лишилась чувств. Страх обличить его пред изуверами придавил ей сверхъестественные силы. С неизобразимым трепетом сердца подала она знак рукою Василию, чтобы он к ней приблизился.

— Поклонись священнику, что ты отрекаешься от прежнего своего нечестия и всякой скверны,— сказал Андреев,— покайся ему во всех беззакониях твоих и скажи, что ты хочешь убелиться,

Все стоявшие близ возвышения удалились от него, чтобы не слышать исповеди Бурмистрова. Подойдя к своей невесте, он по приказанию ее стал пред нею на колени и тихо сказал:

— Наталья, милая Наталья, скажи ради Бога, как попалась ты в этот вертеп изуверов? Научи меня, как спасти тебя?

— Да, спаси, спаси меня! — отвечала трепещущим голосом Наталья. — О! если б ты знал, сколько я перенесла мучений от этих изуверов!

— Ты бледнеешь, милая Наталья! — прошептал Бурмистров. — Ради Бога, собери все твои силы, скрой твое волнение. Во что бы то ни стало я спасу тебя!

— Тише, тише говори, они нас услышат.

— Научи меня, как избавить тебя, я на все готов.

— Отсюда невозможно убежать. Всякого беглеца изуверги называют Иудой-предателем и вешают на осине!

— Скажи, что ж нам делать? Я еще не знаю ни правил, ни обрядов этого убежища изуверов. Неужели нет никаких средств к побегу?

— Никаких. Прошу тебя об одном: беспрекословно повинуйся здешнему главе. За малейшее непослушание он сочтет тебя клятвoprеступником и закоснелым противником истинной церкви. Пятеро уже несчастных случайно попались в его руки. Я убеждала их исполнять все его приказания, но они, считая меня сообщницею еретиков, не послушались меня, с твердостью говорили, что они не изменят церкви православной, и все погибли.

— И я не изменю истинной церкви. Клянусь спасти тебя и истребить это гнездо изуверов.

— От тебя еретики потребуют торжественной клятвы, что ты волею вступаешь в их сообщество и никогда им не изменишь.

— Я дам эту клятву и ее нарушу. Если бы безумный, бросаюсь на меня с ножом, принудил меня произнести какую-нибудь нелепую клятву, неужели я должен был бы исполнить ее или упорством заставить его меня резать?

— Слова твои успокаивают мою совесть. Меня часто мучило раскаяние, что я, спасая жизнь свою, решилась исполнить все нелепости, которые мне предписы-

вал мой похититель. Много раз решалась я неповиновением избавиться от мучительной жизни, но всегда ты приходил мне на ум. Слабая надежда когда-нибудь спастись из рук моих мучителей и с тобою увидеться воскресала в моем сердце. Для тебя переносила я все мучения и дорожила жизнью.

— Милая Наталья! Сам Бог послал меня сюда для твоего избавления. Положимся на его милосердие. Я не предвижу еще средств, как спасти тебя, но Он наставит меня!

— Я всякий день со слезами Ему молилась! Кто ж, как не Он, послал тебя сюда? Предадимся Его воле и, хотя спасение наше кажется невозможным, но для Него и невозможное возможно!.. Пора уже кончить исповедь. Глава пристально на нас смотрит. Не забудь моей просьбы исполнять все, что он тебе скажет. Не измени себе и подивись нелепостям, которые ты еще увидишь!

Наталья, положив руку на голову Бурмистрова, сказала:

— Буди уболен!

Андреев и сообщники его подошли к возвышению и начали целовать Бурмистрова.

— Поклянись, — сказал он Василию, — что ты добровольно вступаешь в число избранных сынов истинной церкви. Оборотись лицом к *небесным вратам*, подними правую руку с двоеперстным знаменiem и повторяй, что я буду говорить. *Никон, антихрист и сосуд сатанинский, бодый церковь рогами и устав ее стираяй!* — *отрекаюся тебе и клянусь соблюдать уставы истыя церкви; аще ли нарушу клятву, да буду предан казни и сожжен огнем, уготованным диаволу.*

По произнесении клятвы Андреев подвел Бурмистрова к двери, находившейся на возвышении, и сказал ему, чтобы он три раза пред нею повергся на землю. После того все вышли вон из церкви, надели на себя белые саваны и взяли в руки зажженные свечи зеленого воска. Андреев, подавая саван Бурмистрову, приказал ему надеть его на себя и также взять свечу. Когда все возвратились в церковь, Наталья в белой широкой одежде с черным крестом на груди и подпоясанная кожаным поясом, на котором было начертано несколько славянских букв, вышла из небесных врат и стала посередине

церкви. Андреев и все его сообщники составили около Натальи большой круг и начали бегать около нее, воскликая, чтобы на нее сошел дух пророчества.

Через несколько времени все остановились, и Андреев, встав пред Натальею на колени, спросил:

— Новый сын истинной церкви будет ли всегда ей верен?

— Будет! — отвечала Наталья.

— Нет ли у него в сердце какого-нибудь злого умысла против меня?

— Нет!

— Не грозит ли мне какая-нибудь опасность?

— Не грозит!

— Не буду ли я когда-нибудь схвачен слугами антихриста?

— Не будешь!

Таким образом все сообщники Андреева, один после другого, предлагали вопросы. Нелепость их часто затрудняла Наталью, однако ж она по врожденной остроте ума ее всегда находила приличные ответы.

Наконец дошла очередь до Бурмистрова. Он встал на колени и спросил:

— Не смутит ли меня когда-нибудь враг человеческого рода, и не изменю ли я истинной церкви?

— Ты всегда будешь ей верен!

Андреев, услышав этот двусмысленный ответ, ласково взглянул на Бурмистрова.

Когда очередь спрашивать опять дошла до Андреева то он предложил вопрос:

— Антихрист Никон давно уже пришел и умер; когда же будет кончина мира, и нынешние времена последние или еще не последние?

— Я скажу тебе это чрез три дня, — отвечала Наталья, несколько затрудненная таким вопросом, и пошла из церкви. За нею и все последовали.

Объясним читателям, каким образом Наталья сделалась священником раскольников.

Когда София повелела Титов полк за непокорность разослать по дальним городам, Андреев, которому назначено было идти в Астрахань, отправляясь туда из Москвы со своею сотнею, убил на дороге посланного с ним проводника и пошел окольными дорогами в дру-

гую сторону. Случайно прохoдив близ Ласточкина Гнезда и увидев на берегу озера густой лес, он скрылся в него с пятидесятником Гороховым и со своими стрельцами, почитавшими его за набожность святым, и решился избрать в глубине этого леса место для устройства истинной церкви, которую, по его убеждению, показал ему Аввакум. Церковь эта, без сомнения, была создана бредом воображения его, которое приходило в сильное расстройство после каждого припадкa запоя. От последнего избавила его другая сильная болезнь — горячка, но воображение его не излечилось. Найдя удобное место для осуществления призрака, который представился ему в бреду, он увидел однажды Наталью, когда она прогуливалась по берегу озера, подсмотрел, что она ушла в дом Мавры Савишны, и решился ее похитить, потому что в церкви, которую он хотел воздвигнуть, следовало быть священником молодой девушке. Он вовсе не знал, что Наталья была невеста Бурмистрова. Читателям известно все остальное.

Андреев, помня пророчество Натальи о Бурмистрове, начал обходиться с ним ласково и доверчиво, возлагал на него разные поручения и ходил однажды с ним вместе в лес на охоту, которая составляла главный способ пропитания членов воздвигнутой им церкви.

Вечером, накануне дня, назначенного Натальею для разрешения предложенного Андреевым вопроса, он послал Василия в ее горницу, чтобы спросить, в какое время можно будет на другой день служить пророческую обедню? Бурмистров воспользовался случаем, чтобы условиться с Натальею о средствах к их побегу. Долго не находили они никакого, наконец Василию пришла мысль счастливая и решительная. Он сообщил ее с восторгом своей невесте и решился испытать придуманное им средство, хотя и видел ясно всю его опасность.

Наталья назначила служить обедню за три часа до захождения солнца. Бурмистров прежде ухода в свою келью сообщил об этом Андрееву, сказал, что священник для открытия великой тайны о времени кончины мира находит нужным совершить самое торжественное служение, повелевает весь завтрашний день всем поститься и надеется ответить на предложенный ему великий вопрос в ту самую минуту, когда солнце закатится.



И Василий и Наталья целую ночь не смыкали глаз, нетерпеливо ожидая рассвета. Наконец солнце появилось на востоке. Оба думали, что готовит им наступивший день: спасение или гибель?

За три часа до солнечного заката собрались все в церкви, одевшись в саваны и взяв в руки свечи зеленого воску. Когда Наталья в своей одежде стала посредине церкви, началось пение и потом бегание вокруг по-прежнему. В утомлении несколько раз все останавливались и, отдохнув, снова начинали бегать. Поставленному на кровле дома часовому было приказано известить бывших в церкви о минуте, когда солнце начнет закатываться. Все поглядывали на церковную дверь, не исключая Василия и Натальи, хотя они по другим побуждениям, нежели прочие, нетерпеливо ждали вестника. Наконец он вошел торопливо в церковь и сказал:

— Закатывается!

Любопытство еретиков достигло высшей степени. Они перестали бегать и, храня глубокое молчание, устремили взоры на Наталью.

— Я не в силах еще возвестить вам великой тайны, которую вы знать желаете,— сказала Наталья торжественным голосом.— Повергнитесь все на землю и вознесите души ваши к небу. Изгоните из сердец все суетные помыслы. Да не смущает слуха вашего никакой земной звук и да не прельщают зренья никакие суетные призраки этого мира: ни камень, ни дерево, ни вода, ни свет, ни мрак; все земное заражено прикосновением слуг антихриста. Скоро по молению вашему услышите тайну тайн!

Все раскольники с благоговением легли на пол, ниц лицом, зажали уши и зажмурили глаза.

Бурмистров с сильным трепетом сердца тихонько встал с пола и, взяв Наталью за руку, повел из церкви. Бедная девушка едва дышала. Они подошли к двери. Василий начал ее медленно отворять, опасаясь, чтобы она не закричала. Наконец вышли они из церкви, спустились с лестницы и, пройдя поспешно двор, приблизились к воротам. Через высокую насыпь перелезть было невозможно, другого же выхода, по словам Натальи, не было. По ее совету Бурмистров вошел в избу привратника, стоявшую близ ворот, и начал искать в ней ключа.

Смотрев все уголки, он в недоумении остановился перед деревянным столом у окошка, не смея выйти к Наталье и сказать ей о безуспешности своих поисков. Он почти уже решился сломать висевший на воротах замок, избегая, сколько возможно, неминуемого при том шума. В эту самую минуту вошла в избу с радостным лицом Наталья, держа ключ в руке.

— Он висел на верее,— сказала она шепотом.

Бурмистров осторожно отворил ворота и вывел невесту свою за насыпь. Оба перекрестились и поспешно начали спускаться с горы к известной уже читателю просеке. Вскоре они достигли ее и побежали к тропинке.

Между тем раскольники, лежа на полу с зажмуренными глазами и заткнутыми ушами, с нетерпением ожидали повеления священника встать для услышания тайны, которая сильно заняла их воображение. Прошло около часа. Андреев, долго лежа на полу наравне с другими, наконец вышел из терпения. Священник истинной церкви не может быть заражен прикосновением слуг антихриста — размыслил Андреев и решился тихонько взглянуть на Наталью. Увидев, что ее посередине церкви нет, он вскочил и закричал ужасным голосом:

— Измена! предательство!

Все раскольники, услышав крик его, вскочили. Вмиг выбежали они вслед за своим главою из церкви, переоделись в стрелецкие кафтаны, схватили сабли и пустились в погоню за беглецами.

Между тем Василий и Наталья, добежав уже до знакомой первому тропинки, поспешно шли по ней к выходу из леса. Видя утомление девушки, Бурмистров принужден был идти потише и, наконец, остановиться, чтобы дать ей время отдохнуть. С трудом переводя дыхание, она села на кочку, покрытую мхом. Вдруг позади их послышался отдаленный шум.

— Побежим, милая Наталья, за нами погоня! — воскликнул Бурмистров.

Оба побежали. Бедная девушка вскоре потеряла последние силы. Схватив Василия за руку и прислонясь к плечу его, сказала она слабым голосом:

— Я не могу бежать далее!

Бурмистров, схватив ее на руки, продолжал бежать по тропинке. Наклонившиеся до земли ветви и широко раскинувшиеся кустарники часто его останавливали. Наконец тропинка пересеклась оврагом, и оставалось уже не более версты до выхода из леса, который приметно редел. Перебравшись через овраг, утомленный Бурмистров остановился для короткого отдыха и посадил Наталью на камень, лежавший между кустами. В это самое время раздался в отдалении голос:

— Вон, вот они! — и вскоре начали один за другим появляться бегущие толпою раскольники с поднятыми саблями.

Василий хотел снова взять Наталью на руки, но она, вскочив с камня, указала ему в ту сторону, куда им бежать было должно, и произнесла голосом, который выражал изнеможение и отчаяние:

— Мы погибли!

Василий, взглянув туда, куда Наталья ему указывала, увидел Лыкова, ехавшего верхом им навстречу в сопровождении конного отряда стрельцов. Сидоров шел подле него, сняв шапку. Оружия с Бурмистровым не было, потому что он бежал с Натальею прямо из церкви. Что оставалось ему делать? На что он должен был решиться: отдаться ли в руки раскольников или же Лыкова? Он стоял в недоумении, поддерживая Наталью за руки. Между тем бегущие раскольники и Лыков к нему приближались. Последний, однако ж, был от него вдвое ближе, нежели первые. Схватив толстый сук с земли, решил он защищать свою невесту до последней крайности и умереть под саблями противников.

— Обоих на осину! — кричал Андреев своим сообщникам. — Не уйдете, предатели! Бегите, друзья, бегите за мной скорее!

— Тропинка уже близко отсюда, барин, вон там, за оврагом, — говорил Сидоров Лыкову, — мы как раз до нее доберемся! Я тебе покажу, куда ехать, а там и ступай все прямо... Господи твоя воля! — воскликнул он в ужасе.

— Что с тобой сделалось, дурачина? — спросил Лыков. — Чего ты испугался?

Сидоров не мог ничего отвечать от страха и, дрожа, указал на Василия и Наталью. Они стояли неподвижно

но. Белая одежда их освещена была вечернею зарею, алое сияние которой проникало сквозь ветви деревьев и кустарников.

— Что в самом деле за дьяволыщина! — воскликнул Лысков, несколько испугавшись и всматриваясь в показанных ему Сидоровым двух человек. — Они как будто бы в саванах! Тут должны быть какие-нибудь плутни! За мной, ребята! Схватим этих мошенников!

Он поехал со стрельцами вперед, а Сидоров пустился бежать из леса с такою быстротою, что гончая собака едва ли бы перегнала его. Прибежав без души в Ласоточкино Гнездо, объявил он там прочим крестьянам, что господин их встретил в лесу двух мертвецов и хотел было бежать, но что они его по дьявольскому наваждению потянули к себе со всеми стрельцами.

Прискакав на близкое расстояние к Бурмистрову, Лысков закричал:

— Кто вы таковы? Отдайтесь нам в руки, а не то я велю изрубить вас.

— Прежде разможду я тебе голову, а потом сдамся! — закричал Бурмистров.

Лысков, услышав знакомый голос и всмотревшись в лицо Василия, содрогнулся и от ужаса опустил из руки повод своей лошади. Он был уверен, что Василию давно уже отрубили голову, и никак не ожидал увидеть его в саване посреди леса. Наталью, вероятно, он не узнал или счел ее за привидение.

— Что ж ты медлишь? — закричал Бурмистров. — Нападай на меня, если смеешь!

Лысков дрожащею рукою начал доставать повод в намерении скакать из леса без оглядки. Лошадь, приметив, что седок на ней ворочается и, ожидая удара поводом, подвинулась еще ближе к Бурмистрову. Стрельцы остались на прежнем месте, в некотором от Лыскова отдалении и, ожидая его приказаний, смотрели со страхом и изумлением на происходившее. Бурмистров заметил ужас Лыскова и тотчас понял причину этого ужаса. В голове его блеснула счастливая мысль.

— Час твой настал, злодей! — закричал он торжественным голосом, бросив на землю толстый сук, который держал в руке. — Никто на свете не спасет тебя! Иди за мною!

Лысков, обеспамятев от страха, спустился с лошади и повалился на землю перед Бурмистровым.

— Позволяю тебе жить на этом свете еще десять лет, если ты сделаешь хоть одно доброе дело, — продолжал Бурмистров. — Схвати этих разбойников, которые бегут сюда, и предай их в руки правосудия.

Лысков вскочил с земли, сел на лошадь, махнул стрельцам и пустился с ними навстречу раскольникам.

Началась между ними упорная драка. Долго раздавались удары сабель и крики сражающихся, долго ни та, ни другая сторона не уступала. Наконец, раскольники побежали, и Лысков со стрельцами пустился их преследовать. Тем временем Василий и Наталья, выбежав из леса, пошли в Ласточкино Гнездо. Заря уже угасла на западе. Бурмистров решился идти в избу Сидорова, выпросить у него телегу и немедленно ехать с Натальей в село Погорелово, куда Лысков не возвратился еще в деревню, где почти все жители уже спали.

— Кто там? — закричал Сидоров, услышав стук у двери своей избы.

— Впусти меня скорее! — сказал Бурмистров.

— Ах! это никак ты, Василий Петрович. Слава тебе Господи! видно, ты цел воротился из лесу.

Сидоров, отворив дверь и увидев наряд Василия и Натальи, отскочил от них аршина на три и прижался в переднем углу к стене, под иконами.

— Что ты, что ты, брат! — сказал Василий, входя с Натальей в избу. — Ты, верно, подумал, что к тебе мертвецы в гости пришли? Не бойся, мы тебе ничего не сделаем. Заложи-ка поскорее телегу, да ссуди меня каким-нибудь кафтаном и шапкой, а для Натальи Петровны достань где-нибудь сарафан и повязку. Мы теперь же уедем в Погорелово. Приезжай завтра туда за твоим платьем. Да нельзя ли, братец, все это сделать попроворнее? Я тебе завтра дам три серебряных рубля за хлопоты. Только смотри: ни слова не говори Лыскову.

— Да ты никак и впрямь не мертвец! — сказал Сидоров, все еще поглядывая с недоверчивостью и страхом то на Василия, то на его жену. — Да кто вас угрозил так нарядиться? Святки, что ли, справляете? Раненько заприказывали! До святка-то еще можно сорок сороков тетеревей настрелять.

— У Сидорова все дичь на уме, — сказала Наталья, с улыбкой взглянув на Бурмистрова.

— Однако ж, братец, нельзя ли все поскорее спроворить? — сказал Василий. — Нам дожидаться некогда. Да одолжи мне, кстати, до завтра твоего ружья.

— Сейчас, сейчас, Василий Петрович. Все мигом будет готово!

Сидоров проворно заложил свою лошадь в телегу, сбегал к замужней сестре своей за сарафаном и повязкой, вытащил из сундука свой праздничный кафтан и шапку, достал из чулана ружье свое с сумкой и подал все Бурмистрову.

Когда Василий и Наталья, переодевшись, сели уже в телегу, Сидоров сказал:

— А кто же будет лошаденкой-то править? Разве мне самому, Василий Петрович, вас прокатить!

Без шапки, сел он на облучке телеги, взял вожжи, приосанился, ударил лошадь плетью и поскакал по дороге к Погорелову, присвистывая и крича:

— Ну, родимая, не выдай! Знатно скачет, только держись.

Еще прежде полуночи он приехал в Погорелово. Нужно ли описывать радость Натальиной матери, которая так неожиданно увидела дочь свою после долгой разлуки? Отец Павел не мог удержаться от слез, глядя на обрадованную старуху и восторг дочери. Мавра Савишна, вскочив со сна, второпях надела на себя вместо своего сарафана подрясник отца Павла и выбежала здороваться с неожиданными гостями, а потом от восхищения пустилась плясать, несмотря на свою духовную одежду.

— Мавра Савишна! — сказал, улыбнувшись, отец Павел, — погляди на себя: ты, кажется, мой подрясник надела. Полно плясать-то!

— Ничего, батюшка, на такой радости не грех и в подряснике поплясать — прости Господи мое согрешение! Ай люшеньки люли!

Сидоров, которому Мавра Савишна после пляски поднесла стакан настойки, остался против приказанья Василия ночевать в доме отца Павла и, получив свое платье, ружье и обещанную награду, на другой уже

день возвратился в Ласточкино Гнездо в полной уверенности, что барина его, Лыскова, утащили лешие и мертвецы в преисподнюю и что никто не спросит его, куда он и с кем ночью ездил.

#### IV

*Не знаешь, как он силен у двора  
Пропал ты, и навек!*

Княжнин.

Было около полудня, когда Сидоров подъехал к избе своей. На беду его, Лысков сидел на скамье перед своим домом под тенью березы, отдыхая после вчерашней безуспешной погони за раскольниками и ломая голову над чудесною встречею его в лесу с Бурмистровым. Увидев Сидорова, махнул он ему рукою. Впустив лошадь свою с телегою на двор, бедняк почувствовал холод и жар в руках и ногах от страха и побежал к своему барину.

— Куда ты ездил, мошенник?

— А в лес за дровами, батюшка.

— Так это ты шатался целую ночь напролет по лесу, а? Говори же, разбойник! Ты и днем боишься в лес ходить!

— Виноват, батюшка! Сглупа мне невдомек, что ночью в лес за дровами не езда.

— Куда же ты ездил? Говори мне, плут, всю правду. Федька, палок!

— Взмилуйся, отец родной, Сидор Терентьич, за что?

— Я тебе покажу, за что. Катай его! — закричал Лысков своему холопу Федьке, которого главная должность состояла в том, чтобы иметь всегда запас палок и чтобы колотить без пощады всякого, кого барин прикажет.

Сидоров повалился в ноги Лыскову и признался, что он ездил в село Погорелово.

— В Погорелово? А зачем? Небось к прежней помещице? Ах ты бездельник! Она-то вас и избаловала! Федька, принимайся за дело!

— Помилуй, Сидор Терентьич! — продолжал Сидоров, кланяясь в ноги Лыскову. — Я не к помещице ездил.

— Так к черту, что ли, мошенник? Говори мне всю правду, не то до полусмерти велю приколотить.

— Скажу, батюшка, всю правду-истину. Лаптишки у меня больно изорвались, так я и собрался в Погорелово за покупкой. Там кума моя, Василиса, славные лапти плетет.

— Да что ты, бездельник, меня обманываешь! Понадобились лапти, так ночью за двадцать верст за ними поехал! Ах ты разбойник! До смерти прибью, если не скажешь правды. Привяжи его к этой березе, Федька, да принеси палок-то потолще. Я из тебя выбью правду!

Холоп потащил бедняка к березе.

— Скажу, Сидор Терентьевич, все скажу, только помилуй! — закричал крестьянин, вырвавшись из рук холопа и снова упавши в ноги Лыскову. — Я отвез в Погорелово Василия Петровича с Натальей Петровной.

Лысков, несмотря на свое изумление, схватил палку и собственноручно излил гнев свой на бедного крестьянина. Потом велел оседлать свою лошадь и, взяв с собою Сидорова и еще четырех крестьян, вооруженных ружьями, поехал немедленно в Погорелово, решась отнять у Бурмистрова Наталью, которую считал своею холопкою.

Приехав в село, он остановился у дома священника, зная, что у него живет тетка Бурмистрова, и потому полагая наверное, что Наталья более негде быть, как в доме отца Павла.

Лысков вошел прямо в горницу. Мавра Савишна ахнула, старуха Смирнова заплакала, Наталья, побледнев, бросилась на шею матери, а отец Павел, не зная Лыскова, смотрел на всех в недоумении. Бурмистрова не было в горнице.

— Что, голубушка, не уйдешь от меня! Изволь-ка собираться проворнее. Поедем ко мне в гости, уж и телега у ворот для тебя стоит. Что ж, за чем дело стало? Простись с родительницей, да поедем проворнее.

— Прежде умру! — отвечала Наталья, рыдая и обнимая мать свою.

— Вот пустяки какие! Есть от чего умирать! Да тебе, моя красоточка, будет у меня не житье, а масленица. Ну, да ведь если волей нейдешь, так и силой пота-



шат. Эй, Ванька, Гришка, пөдите все сюда, тащите ее в телегу!

— Хотя я и не знаю твоей милости,— сказал отец Павел, с изумлением и негодованием смотревший на Лыкова,— однако ж, как хозяин этого дома, кажется, могу спросить: по какому праву разлучаешь ты мать с дочерью?

— Ха, ха, ха! По какому праву! Она моя холопка, вот и все тут. Если б сбежала ко мне на двор твоя лошадь или корова, ты бы, я чаю, пришел за нею, и я бы, верно, не спросил: по какому праву берешь ты с моего двора твою корову? Эх, старинушка! дожил до седых волос, а тебя же мне надобно учить. Что ж вы, олухи, ее не тащите! Крику-то, что ли, ее испугались? Ну, поворачивайтесь! Под руки ее, под руки возьмите! Да отвяжись ты, старая ведьма! Этак за дочку-то уцепилась! Ты мать, а я господин. Делать-то нечего! Оттолкни ее, Ванька!

— Это что? — воскликнул Бурмистров, входя в горницу.— Прочь, бездельники! Вон отсюда!

Крестьяне, испуганные грозным голосом Бурмистрова, отошли от Натальи.

— Не лучше ли тебе идти вон? — сказал Лыков.— Я сегодня же донесу царевне Софье Алексеевне, что ты живехонек. Она, не знаю кому-то, голову велела отрубить.

— Доноси, кому хочешь, только убирайся вон! — закричал Василий.

— Да как ты смеешь отбивать у меня мою холопку? Коли на разбой пошло, так я велю защищать себя. Ружья-то у пятерых заряжены. Ты думаешь, что я тебя испугался. Волоском меня тронь, так я стрелять велю! Ты и то шесть лет с лишком у смерти украл. По-настоящему, надобно схватить тебя да отправить в Москву. Хватайте его, ребята, вяжите! Что ж вы, бездельники? У него оружия нет, чего вы трусите? Хватай его, Ванька!

— Как, это ты, Сидоров, на меня нападешь! Ну, ну, смелее! Попробуй схватить меня!

— Да что ж, Василий Петрович, делать, воля господская: велят, так и на отца родного кинешься!

— Полно, Сидоров! Опустив-ка лучше мою руку, ведь я посильнее тебя. Мне не хочется против тебя защищаться.

— Мошенник ты, Ванюха! — закричала Мавра Савишна, — забыл ты мою хлеб-соль! Ну да Бог с тобой!

Бурмистров между тем схватил ружье Сидорова. Последний притворялся, будто старается удержать ружье всеми силами, и между тем шептал Бурмистрову:

— Дай мне тычка, а ружье-то отними!

Другие крестьяне хотели броситься к Сидорову на помощь, но отец Павел остановил их, закричав:

— Грешно, дети, грешно пятерым нападать на одного.

Бурмистров для вида толкнул своего противника и вырвал у него ружье.

— Ой мои батюшки! — закричал Сидоров, упав на рожно на пол. — Этакой медведь какой, никак мне ребро переломил.

Лысков задрожал от злости и закричал крестьянам:

— Стреляйте! Я ответчик за его голову.

Крестьяне, исполняя приказание господина, прицелились в Бурмистрова.

— Застрелите, дети, и меня вместе! — сказал отец Павел, став подле Василия.

Все ружья вдруг опустились.

Бурмистров, прицелясь в Лыскова, сказал:

— Ты хотел меня застрелить как разбойника, а против разбойников по закону позволено защищаться. Сейчас уйди отсюда, а не то посажу тебе пулю в лоб.

— Хорошо, — воскликнул Лысков, задыхаясь от злобы, — я уйду, только уж поставлю на своем. Сегодня же пошлю челобитную к царевне Софье Алексеевне.

— Да уж поздно, хамово поколение, поздно, семя крапивное! — закричала Мавра Савишна, которая вместе с старухой Смирновой старались привести в чувство упавшую в обморок Наталью. — Я уж с племянником сама написала на тебя сегодня челобитную батюшке-царю Петру Алексеевичу!

— Очень рад, — сказал Лысков, — нас царь рассудит.

— Племянник-то мой мне растолковал, что ты в моем поместье не владелец и что Ласточкино Гнездо и с домиком все-таки мое, даром что меня по шее оттуда выгнали!

— Не рассказывай всего тому плуту, тетушка. Убейся же вон! Чего ты еще дожидаться?

— Уйду, сейчас уйду, дай только слово сказать. Ты ведь, святой отец, хозяин этого дома. Если укрываешь у себя мою холопку, так и отвечать должен за нее, если она убежит. Тогда я за тебя примусь. Не забудь этого. Прощай! Авось скоро увидимся. Пойдемте, мошенники! Пятеро не могли с одним сладить!

— Если хочешь, тетушка, то прикажи твоим крестьянам остаться здесь,— сказал Василий,— Лысков не помещик их, он завладел твоим имением не по закону, а самовольно. Ты настоящая помещица.

— Коли так,— воскликнула Мавра Савишна, посадив пришедшую в чувство Наталью на скамью,— то я вам всем приказываю не уходить отсюда ни на пядь!

— Слушаем, матушка! — сказали в один голос обрадованные крестьяне.

— Кормилица ты наша! — прибавил Сидоров, бросясь к Мавре Савишне,— дай поцеловать твою ручку! Опять ты наша госпожа! Слава тебе Господи!

— Врешь ты, разбойник! — закричал Лысков.— Я ваш господин! Осмейтесь не пойти со мною: до полу-смерти всех велик батогами образумить.

— Не прикжешь ли, матушка, Мавра Савишна, самого его образумить и проводить отсюда? — спросил Сидоров, сложив кулаки и поправляя рукавицы.

— Вон его толкай, Ванюха! — закричала Мавра Савишна.— Живет мошенник в моем домике ни за что ни про что да еще над моими крестьянами смеет ломаться! Вон его!

— Ребята, не отставай! — закричал Сидоров, выталкивая Лыскова в шею из горницы.— Проводим его милость за ворота, ведь госпожа приказала.

— Прибавь ему, Ванюха, прибавь ему, мошеннику! — кричала Мавра Савишна.

Крестьяне, вытолкав Лыскова за ворота, возвратились в горницу и спросили помещицу, что им еще делать прикажет.

— Пусть они покуда останутся у меня в доме,— сказал отец Павел,— да не велишь ли им, Мавра Савишна, помочь моей работнице, она пошла в огород гряды полоть?

— Слышите, ребята? Ступайте гряды полоть, да смотрите: не пускайте козла в огород. Неравно Лысков сюда воротится, так опять его в шею!

— Слушаем, матушка! — сказали крестьяне и вышли из горницы.

— Ну, племянник, — сказала Мавра Савишна, — потешили мы себя — вытолкали мошенника. Только что-то будет с нами? Ведь разбойник на всех нас нажалуется царевне Софье Алексеевне!

— Так что ж? Пусть его жалуется. Твоя челобитная прежде придет к царю Петру Алексеевичу.

— Разве он, наш батюшка, за нас заступится, а не то бедовое дело: все пропадем как мошки!

— И, полно, тетушка! Правому нечего бояться. Я теперь же поеду в село Преображенское и ударю челом царю.

— Да, да, поезжай скорее, пока нас всех еще не перехватили да не сковали.

## V

*Ко скипетру рожденны руки  
На труд несродный простирая:  
Звучат доднесь по свету звуки,  
Как он секирой ударял.  
Лучи величества скрывая,  
Простым он воином служил.*

Державин.

Кто из русских не знает села Преображенского, этой колыбели величия Петра? Кто не читал или не слышал про забавы царственного отрока с его потешными на обширных полях, которые это село окружали?

Еще при царе Алексие Михайловиче в Преображенском был устроен Потешный двор, родоначальник русских театров. Там, как повествуют Разрядные Записки, в 1676 году была комедия; тешили Великого Государя иноземцы, как Алаферна Царица Царю голову отсекала, и на органах играли немцы, да люди дворовые боярина Артемона Сергеевича Матвеева. Того ж году была другая комедия там же, как Артаксеркс велел повесить Амана, и в органы играли, и на фиолах, и в струменты, и танцевали.

Родитель Петра Великого, царь Алексей Михайлович, особенно любил село Преображенское и часто там

отдыхал от забот государственных, предаваясь любимой забаве своей, соколиной охоте. Оно служило приятным убежищем царице Наталье Кирилловне и царю Петру Алексеевичу во время правления Софии. Там юный государь завел, сначала в небольшом числе, потешных из юношей равных с ним лет. Это небольшое войско, служившее к увеселению монарха и, получившее от того свое название, мало-помалу умножилось, и часть этого войска была переведена в село Семеновское. С того времени потешные разделились на Преображенских и Семеновских, и впоследствии из них учреждены были в 1695 году полки Преображенский и Семеновский.

Сначала потешные составляли одну только роту. Капитаном ее был женевец Лефор, любимец Петра Великого. Вступив в русскую службу в 1677 году, он отличил себя храбростью в походе против татар и турок. Впоследствии юный царь узнал и полюбил его, начал учиться у него голландскому языку и вступил к нему в роту солдатом. Наравне с сослуживцами своими юный царь спал в палатке, бил зорю, стоял по очереди на часах, возил на тележке землю для устройства крепостцы, словом сказать, подавал собою пример своим подданным воинской подчиненности, и наконец монарх России с великою радостью получил чин сержанта. На слова патриарха, старавшегося, по совету бояр, отвлечь юного государя от несоразмерных с его силами и возрастом трудов, он отвечал: «Труды не ослабляют здоровья моего, а напротив, его укрепляют. Много времени проходит у меня и в пустых забавах, но от них, владыко святой, никто меня не отвлекает».

В 1684 году, в день Преполовления, двенадцатилетний царь, находясь в Москве и осматривая Пушечный двор, приказал стрелять в цель из пушек и метать бомбы. Окружавшие его бояре убеждали монарха не подходить близко к пушкам. Вместо ответа он взял фитиль, смело приложил к затравке — и пушка грянула.

Развивающийся с каждым днем гений юного царя тревожил властолюбивую Софию. В 1688 году, двадцать пятого января, Петр Алексеевич, вместе с царем Иоанном и с царевною, присутствовал в первый раз в Государственной Думе и с тех пор был удаляем от со-

вещаний: царевна увидела, что, допустив влияние Петра на дела государства, она лишит сама себя власти. Несмотря на это, рожденный для престола гений не останавливался на пути своем, и София с беспокойством предугадывала, что юный царь скоро твердою рукой возьмет у нее скипетр, ему по праву принадлежащий.

Солнце поднялось уже до половины из-за отдаленного бора, когда Бурмистров приближался к Преображенскому с челобитною своей тетки. При въезде в село он услышал оклик часового «кто идет?» и остановил свою лошадь.

— Здесь ли его царское величество? — спросил Бурмистров.

— Его царское величество в Москве, — отвечал часовой.

— Как? мне сказали, что царь Петр Алексеевич здесь, в Преображенском.

— Говорят тебе, что царя здесь нет. Посторонись, посторонись! Прапорщик идет: надобно честь отдать.

Бурмистров увидел приближавшихся к нему двух офицеров. Один из них был лет семнадцати, высокого роста, с открытым, прелестным лицом, на котором играла кровь юношества. *Если об это была девица, то все бы влюблялись в нее\**. Другой был человек также высокого роста, лет тридцати пяти, с привлекательною физиономиею и благородною поступью. Оба разговаривали по-голландски.

Бурмистров, соскочив с лошади и сняв шапку, приблизился к молодому офицеру, стал перед ним на колени и подал ему челобитную.

Офицер, взяв бумагу, спросил:

— Кто ты таков?

— Я бывший пятисотенный Сухаревского стрелцкого полка, Василий Бурмистров.

— Бурмистров?.. Про тебя мне, как помнится, говорила что-то матушка. Не ты ли удержал твой полк от бунта?

— Я исполнил свой долг, государь!

— Встань! Обними меня! Тебе неприлично стоять передо мной на коленях: я прапорщик, а ты пятисотенный.

---

\* Слова Кемпфера, который во время аудиенции видел Петра Великого, когда сему государю было 16 лет от роду.

Бурмистров, встав, почтительно приблизился к царю, который обнял его и поцеловал в лоб.

— Вот, любезный Франц,— сказал монарх, обратясь к полковнику Лефору и потрепав Бурмистрова по плечу,— верный слуга мой, даром что стрелец. А где теперь полк твой?

— Не знаю, государь. Я вышел давно уже в отставку.

— А зачем?

Бурмистров рассказал все, что с ним было. Царь несколько раз не мог удерживать своего негодования, топал ногою и нахмуривал брови, внимательно слушая Василия.

— Отчего Милославский так притеснял тебя? Что-нибудь да произошло между вами?

Бурмистров, зная, что Петр столько же любил правду и откровенность, сколько ненавидел ложь и скрытность, объяснил государю, чем навлек он на себя гонения.

— Так вот дело в чем!.. А где теперь твоя невеста?

— Неподалеку от Москвы, в селе Погорелове. Тамошний священник приютил ее вместе с ее матерью и моею теткою, которая лишена противозаконно своего небольшого поместья. Ее челобитная и головы наши в твоих руках, государь! Заступись за нас! Без твоей защиты мы все погибнем!

Бурмистров снова стал на колени перед Петром.

— Встань, встань, говорю я тебе!

Прочитав челобитную, Петр воскликнул:

— Так этот Лысков отнял имение у твоей тетки да еще и невесту у тебя отнять хочет! Не бывать этому!

— Он поехал в Москву на меня жаловаться.

— Кому жаловаться?

Бурмистров смутился, не смея произнести имя царицы Софии.

— Что ж ты не отвечаешь? Кому хотел он жаловаться? Сестре моей, что ли?

— Он угрожал, что надо мной исполнится приговор по старому докладу покойного боярина Милославского.

— То есть что сестра моя велит этот приговор исполнить? Говори прямо, смелее! Я люблю правду!

— Он надеется на помощь главного стрелецкого начальника, окольного Шакловитого.

— Пускай надеется! — воскликнул Петр, топнув ногою. — Будь покоен: я твой защитник! Иди за мною.

Бурмистров, взяв свою лошадь за повод, последовал за царем и Лефором. Вскоре вышли они из села на поле, где Преображенские и Семеновские потешные в ожидании прибытия царя стояли уже под ружьем.

— Начни, полковник, ученье, и где стать мне прикажешь? — спросил Петр Лефора.

— У первой Преображенской роты.

— А ты, пятисотенный, — сказал Петр Бурмистрову, — останься на этом месте, да посмотри на ученье моих преображенцев и семеновцев. Это не то что стрельцы.

Царь, положив в карман челобитную, которую держал в руке, вынул шпагу и стал на указанное место.

По окончании ученья Петр подошел к Лефору и пожал ему руку.

— Ну что? — сказал государь, обратясь к Бурмистрову. — Каково мои потешные маршируют и стреляют? Они успеют три раза залпом выстрелить, покуда стрельцы ружья заряжают. А за все спасибо тебе, любезный Франц! Обними меня!

После этого царь вдруг спросил Бурмистрова:

— Где же была до сих пор твоя невеста? Ты ведь говорил, что Милославский завещал ее Лыскову. Почему ж этот плут только теперь вздумал ее у тебя отнимать?

Бурмистров рассказал, как он освободил ее из рук раскольников.

— Что ж ты мне давеча этого не сказал?

— Я думал, что это не стоит внимания твоего царского величества.

— Нехорошо, пятисотенный, от меня не должно ничего скрывать. Царю все знать нужно.

По коротком размышлении Петр продолжал:

— Я велю дать тебе опасную грамоту\*. Посмотрим,

---

\* Когда кто-нибудь угрожал убить другого, то по челобитной сего последнего государю выдавалась просителю опасная грамота с большою заповедью. В грамоте сей означалось, что если тот, кто на другого похвалился смертным убийством, исполнит свою угрозу, то заплатит заповедь (от пяти до семи тысяч рублей и более). Если кто после этого совершал убийство, тот наказывался смертию, и родственники убитого получали из имения убийцы половину написанной в грамоте заповеди, другая же половина взыскивалась в казну.



кто осмелится тронуть тебя и твою невесту. Лыскову прикажу я возвратить немедленно поместье твоей тетки и заплатить ей сто рублей проторей и убытков, чтобы он вперед не осмеливался обижать честных людей... Справедливо ли написана челобитная твоей тетки?

— За справедливость челобитной ручаюсь я моею головою, государь.

— Не забудь слов твоих и помни, кому они сказаны... Полагаясь на жалобу одной стороны, я никогда не действую, но для тебя отступаю от своего правила и потому, что тебе верю, и потому, что дела поправить уже будет нельзя, когда отрубят тебе голову... Ну слушай же еще: я дам тебе роту моих потешных. Исполни прежде все то, что будет написано в грамоте, а потом поди с ротой, схвати всех раскольников, у которых была твоя невеста, и приведи всех в Москву, на Патриарший Двор. Я напишу об них святейшему патриарху. Которую роту, полковник, можно будет с ним послать? — спросил Петр Лефора.

— Я думаю, что лучше выбрать охотников.

— Хорошо! Объяви, в чем состоит поручение, и вызови охотников.

Лефор, подозвав к себе всех офицеров, передал им приказание царя. Офицеры, возвратясь на места свои, объявили приказ полковника солдатам.

— Ну кто ж охотники? — закричал Лефор. — Выступите из ряда!

Весь длинный строй потешных двинулся вперед.

— Ого! — воскликнул государь. — Все охотники! Хорошо, похвально, ребята! Но всех вас много для этого похода; пусть идет третья рота. Смотри ж, пятисотенный, я поручаю эту роту тебе. Да не переучи ее по-своему. Не отправить ли с тобой офицера? Или нет: двое только будете мешать друг другу, да и солдат с толку собьете. Следуй за мною: я дам тебе грамоту, а потом ступай в поход. Я надеюсь, что ты не ударишь себя лицом в грязь.

Петр, сопровождаемый Лефором и Бурмистровым, при громком звуке барабанов пошел к селу. Через несколько часов Бурмистров с ротою потешных поспешал уже к селу Погорелову.

В опасной грамоте, данной ему государем, было сказано, что тот, кто убьет Бурмистрова, будет наказан смертию и заплатит семь тысяч рублей заповеди. В конце было прибавлено, что кабала, написанная на Наталью, уничтожается, что Ласточкино Гнездо возвращается прежней помещице и что завладевший этою деревнею подьячий Лысков обязан ей заплатить убытков и проторей сто рублей; если же считает себя правым, то явился бы немедленно в Преображенское с доказательствами.

## VI

*Все готовились к смерти; никто не смел упомянуть о сдаче.*

Карамзин.

Через несколько дней Бурмистров был уже в Погорелове. Назначив одни сутки солдатам для роздыха и разместив их по крестьянским избам, он пошел к дому отца Павла.

— Ну что, племянник, — воскликнула Мавра Савишна при входе Василия в горницу, — подал ли ты мою челобитную батюшке-царю Петру Алексеевичу?

— Подал, но еще не знаю, чем дело кончится, — отвечал Василий. Он хотел не вдруг объявить тетке о царском повелении, чтобы более ее обрадовать.

Мавра Савишна тяжело вздохнула. Отец Павел, бывший также в горнице, начал ее утешать и советовать, чтобы она, возложив надежду на Бога и царя, не предавалась преждевременно унынию. Вскоре потом вошла в горницу Наталья со своей матерью. Обе начали расспрашивать Василия о последствиях его поездки в Преображенское, но он не успел еще им ответить, как под окнами дома раздался конский топот, и Мавра Савишна, взглянув в окно, закричала:

— Ну! пропали мы!

— Что такое, тетушка? — спросил Бурмистров.

— Мошенник Лысков приехал и с ним ратной силы на конях видимо-невидимо! Ох мои батюшки, пропали наши головушки!

— Ничего, тетушка, будь спокойна!

— Желаю здравия! — сказал Лысков, входя в горницу с злобною радостью на лице. — Я говорил вам в прошлый раз, что мы скоро опять увидимся. Вот я и приехал, да еще и не один — со мною тридцать конных стрельцов. Эй, войдите сюда! — закричал он, оборотясь к двери.

Вошли шесть стрельцов с обнаженными саблями.

— Схватите этого молодца, — сказал он им, указывая на Бурмистрова, — свяжите и отвезите в Москву к благодетелю моему, а вашему главному начальнику.

— Пойдите, ребята! — сказал спокойно Василий подошедшим к нему стрельцам. — Еще успеете взять и связать меня, я никуда не уйду. По чьему приказу, — спросил он Лыскова, — хочешь ты отослать меня в Москву?

— Да вот прочти, приятель, эту бумагу — увидишь, кто приказал схватить тебя. Делать-то нечего! Уж лучше покориться, а станешь упрямиться, так худо будет!

Василий, взяв поданную ему бумагу, начал читать ее, а Лысков между тем сказал Наталье:

— А ты, моя холопочка, сбирайся проворнее ехать со мною.

Наталья посмотрела на него с презрением и, обняв мать свою, заплакала. В это время вошел в горницу Сидоров с вязанкою дров, чтобы затопить печь по приказанию Мавры Савишны. Увидев Лыскова со стрельцами, он от страха уронил дрова на пол и, сплеснув руками, остановился у двери как истукан.

— Не плачь, милая Наталья, успокойся! — сказал Бурмистров. — Тебя Лысков не увезет отсюда и меня не отправит в Москву, эта бумага ничего не значит!

— Как ничего не значит! — воскликнул Лысков. — Да ты бунтовать, что ли, вздумал? Разве не прочитал ты повеление царевны Софьи Алексеевны, объявленного мне главным стрелецким начальником? Знать, у тебя от страха в глазах зарябило!

— Нет, вовсе не зарябило. В доказательство я прочту тебе еще другую бумагу. Слушай.

Вынув из кармана грамоту царя Петра, начал он читать ее вслух.

Отец Павел был тронут до слез правосудием государя. Наталья в восторге обнимала мать свою и плакала от радости. Стрельцы вложили в ножны свои саб-

ли и сняли шапки. Лысков то краснел, то бледнел, дрожа от досады, а Мавра Савишна восклицала:

— Что, взял, мошенник? Недолго нажил в моем домике, царь-то батюшка защитил меня, бедную!

Обрадованный Сидоров подбежал к ней и, поцеловав у нее руку, спросил:

— Не прикажешь ли, матушка, Мавра Савишна, опять проводить отсюда его милость, Сидора Терентьича?

— Не тронь его, Ванюха! Лежачего не бьют.

— Да он, матушка, не лежит еще, а стоит словно пень какой. Взглянь-ка на него: ведь совсем парень-то ошалел. Позволь проводить.

— Дай срок, и сам уйдет!

В самом деле Лысков, видя, что делать нечего, и не смея ехать в Преображенское, поглядел на всех, как рассерженная ехидна, поспешно вышел из горницы, сел на свою лошадь и поскакал с сопровождавшими его стрельцами в Москву.

На другой день Бурмистров, простясь с отцом Павлом, с Натальею, ее матерью и своею теткою, повел роту потешных в Ласточкино Гнездо. Прибыв туда и останавливаясь там для отдыха, пошел он потом в Чертово Раздолье и еще прежде солнечного заката достиг горы, на которой находилось жилище Андреева и его сообщников. Он приказал солдатам зарядить ружья и начал подниматься на гору. На площадке, расчищенной перед насыпью в том месте, где были ворота, Василий поставил роту и сам влез на дерево, чтобы взглянуть на насыпь. На дворе не было ни одного человека. Вдруг слышалось в здании, которое стояло посреди двора, пение, и вскоре опять все утихло. Бурмистров приказал одному из солдат выстрелить, чтобы вызвать раскольников из дома и объявить им царское повеление. Гул повторил раздавшийся выстрел, и Бурмистров через несколько времени увидел Андреева и его сообщников, поспешно выходивших из дома. Все они были вооружены саблями и ружьями. Один из них нес стрелецкое знамя. Андреев взошел на насыпь по приставленной к ней лестнице и, увидев роту, закричал:

— Все сюда, за мной!

Бурмистров, спустясь с дерева, встал перед ротой. Все раскольники поспешно взобрались на насыпь.

Василий объявил Андрееву цель своего прихода и прибавил:

— Ты видишь, что со мною целая рота храбрых солдат, если станешь нам противиться, мы начнем приступ. Не принудь нас к кровопролитию, лучше сдайся и покорись царской воле.

Вместо ответа Андреев выстрелил в Бурмистрова; пуля, свистнув, ушла в землю подле самого Василия, означив место, куда она попала, взлетевшею пылью и песком.

— Прикладывайся, стреляй! — закричал Василий.

Залп ружей грянул, и несколько убитых и раненых полетело с насыпи.

— Стреляйте! — воскликнул в бешенстве Андреев, махая саблею. Два или три выстрела один за другим раздались с насыпи, но никого не ранили из потешных, которые снова выстрелили в их противников залпом и привели их в совершенное расстройство.

Не слушая крика Андреева, раскольники побежали к лестнице, тесня друг друга.

— На деревья, ребята! — закричал Бурмистров потешным. — Стреляй беглым огнем!

Солдаты проворно взобрались на густые деревья, окружавшие со всех сторон насыпь, и начали стрелять в бежавших к главному зданию раскольников. В густой зелени деревьев беспрестанно в разных местах мелькали с треском струи огня. Белый дым клубами пробирался между ветвями к вершинам и рассеивался в воздухе.

Андреев, оставшийся на насыпи, в ярости рубил саблею землю. Когда пальба прекратилась, Василий, стоявший близ ворот, закричал ему:

— Сдайся! Ты видишь, что не можешь нам противиться!

Андреев, заскрежетав зубами, бросил в Бурмистрова свою саблю. Тот отскочил, и сабля, повернувшись на лету, рукояткою ударила в землю с такою силой, что ушла в нее до половины. Бросаясь потом на колени и подняв руки к небу, Андреев вполголоса произнес какую-то молитву и спустился по лестнице с насыпи.

Бурмистров, приказав нескольким потешным остаться на деревьях для наблюдений за действиями раскольников, собрал всех прочих пред воротами, велел

устроить перекладину, срубить дерево и вытесать тяжелое бревно, с одного конца заостренное. Повесив на перекладину это бревно на веревочной лестнице, взятой им из Преображенского, приказал он солдатам как можно сильнее бить заостренным концом в ворота. Вскоре они в нескольких местах от сильных ударов раскололись.

— Кто-то вышел из дома и идет к насыпи! — закричал один из потешных, бывший на дереве неподалеку от Василия, — он восходит на лестницу.

— Бейте сильнее, ребята, в правую половину ворот! — воскликнул Бурмистров, — она больше раскололась.

— Остановитесь! — закричал пятидесятник Горохов, появившийся на насыпи, — не трудитесь понапрасну. Глава наш требует одного получаса на молитву и размышление. Он видит, что вы сильнее, и намеревается без сопротивления сдаться. Не смущайте нас шумом в последней молитве по нашей вере истинной.

— Скажи главе, — сказал Бурмистров, — что я согласен исполнить его требование. Если же чрез полчася вы не сдадитесь, мы вышибем ворота и возьмем всех вас силою.

Горохов, спустясь с насыпи, возвратился в дом.

Бурмистров велел солдатам отдохнуть. Чрез несколько времени один из потешных закричал с дерева:

— Несколько человек вышли из слухового окна на кровлю дома. Все без оружия и на всех, кажется, саваны.

— Верно, они хотят молиться, — сказал Бурмистров.

— Что это? — воскликнул потешный, — двое тащат на кровлю какую-то девушку, и она также вся одета в белом.

— Это их священник, — продолжал Василий.

— Из нижних окон дома появился дым. Господи Боже мой! кажется, дом загорается снизу, вот уж и огонь пышет из одного окошка.

— Ломайте скорее ворота, ребята! — закричал Василий.

Между тем все раскольники и глава их в саванах вышли на кровлю дома и запели свою предсмертную молитву. Они решились лучше сжечь себя, нежели со-

общиться с нечестивым миром. Жертва их изуверства, несчастная девушка, где-нибудь ими похищенная после освобождения Натальи, громко кричала и вырывалась из рук двух державших ее изуверов, которые, не обращая на жалобный вопль ее внимания, продолжали петь вместе с прочими унылую предсмертную песнь. При шуме пожара Василий расслушал только следующие слова:

Мире нечестивый, мире оскверненный,  
Сетию антихриста, яко мрежею, уловлений!  
Несть дано тебе власти над нами,  
И се стоим пред небесными вратами,

Расколотые ворота слетели с петель, и Бурмистров с потешными вбежал на двор. Из всех нижних окон дома клубился густой дым и лилось яркое пламя. Вбежать в дом для спасения девушки было уже невозможно, приставить к дому лестницу и взобраться на кровлю также было нельзя. Вопль несчастной жертвы, заглушаемый унылым пением ее палачей, которые стояли неподвижно с поднятыми к небу глазами, раздирал сердце Бурмистрова.

— Кто из вас лучший стрелок? — спросил он потешных.

— Мы и все-таки в стрельбе понаторели, — отвечал один из преображенцев, — однако ж всех чаще попадает в цель капрал иащ, Иван Григорьевич.

— Эй, капрал, — закричал Василий, — убей этих двух, которые держат бедную девушку за руки.

— Боюсь, чтоб в нее не попасть, пожалуй, рука дрогнет.

— Стреляй только смелее, авось как-нибудь спасем эту несчастную. Если же ее застрелишь, то все легче ей умереть от пули, нежели сгореть.

— Как твоей милости угодно, — отвечал капрал и начал целиться из ружья. Несколько раз дым скрывал от глаз его девушку и державших ее изуверов.

— Помогн, Господи! — сказал шепотом капрал и, выждав миг, когда дым пронесся несколько, спустил курок. Один из раскольников опустил руку девушки, схватился за грудь свою обеими руками и упал.

— Славно! молодец! — воскликнул Бурмистров. — Теперь постарайся попасть в другого.

Один из потешных подал ружье свое капралу.

— Ох, батюшки! — сказал он, вздохнув. — Душа не на месте! рука-то проклятая дрожит.

— Стреляй, брат, скорее, не робей! — закричал Бурмистров.

Капрал, перекрестясь, начал целиться. Сердце Бурмистрова сильно билось, и все потешные смотрели с беспокойным ожиданием на первого своего стрелка.

Раздался выстрел, и другой раскольник, державший девушку, смертельно раненный, упал.

— Слава Богу! — воскликнули в один голос потешные.

Девушка, бывшая почти в беспамятстве, побежала и остановилась на краю кровли той стороны дома, которая еще не была объята пламенем. Раскольники, смотревшие на небо и продолжавшие свое погребальное пение, не заметили движения девушки. Продолжая жалобно кричать, она глядела с кровли вниз. Горевшее здание было в два яруса и довольно высоко.

— Ребята! — закричал Бурмистров. — Поищите какого-нибудь широкого холста, на который ей можно было бы броситься. Скорее! Она без того убьется!

Потешные рассыпались по двору; некоторые побежали в избу привратника. Один из них увидел стрелецкое знамя, брошенное раскольниками подле насыпи, схватил его и закричал:

— Товарищи, нашел; за мной, скорее!

Подбежав к горевшему дому, потешные сорвали с древка и натянули стрелецкое знамя, которое было вдесятеро более нынешних.

— Бросься на знамя! — закричал Василий девушке.

Страх убития несколько времени ее останавливал. В это время Андреев побежал к девушке и хотел ее остановить.

— Оглянись, оглянись, он тебя схватит! — воскликнул Бурмистров, и девушка, перекрестясь, бросилась на знамя.

Радостный крик потешных потряс воздух. Девушка после нескольких судорожных движений впала в глубокий обморок, и ее вынесли на знамени за ворота. Бурмистров с трудом привел ее в чувство. Посмотрев на



себя и с ужасом увидев, что она еще в саване, девушка вскочила и сбросила с себя свою гробовую одежду.

— Посмотри-ка, красавица какая! — шепнул один из потешных другому. — Какой сарафан-то на ней знатный, никак шелковый.

— Нечего сказать, — отвечал другой, — умели же еретики ее нарядить. На этакую красоточку надели саван, словно на мертвеца!

Девушка была так слаба, что идти была не в силах. Ее опять положили на знамя и понесли с горы. Между тем яркое пламя обхватило уже все здание, и унылое пение раскольников, прерываемое по временам невнятными воплями и заглушаемое треском пылающих бревен, начало постепенно умолкать. Вскоре Василий с ротою достиг просеки и, пройдя ее, остановился для отдыха у известной читателям тропинки. Солнце уже закатилось, и вечерняя темнота покрыла небо. Отдаленное яркое зарево освещало красным сиянием верхи мрачных сосен. Вскоре после полуночи Бурмистров пришел в Ласточкино Гнездо и приказал потешным провести ночь в крестьянских избах. Потом, выслав из дома своей тетки холопов Лыскова, поместил он в верхней светлице спасенную им девушку, а сам решился ночевать в спальне, которую Мавра Савишна приготовила для его свадьбы. Долго еще сидел он у окна и смотрел с грустным чувством на зарево, расстилавшееся в отдалении над Чертовым Раздольем. Наконец зарево начало гаснуть и совершенно исчезло при серебристом сиянии месяца, который, выглянув из-за облака, отразился в зеркальной поверхности озера. Повсюду царствовала глубокая тишина, прерываемая по временам раздававшимся в лесу пением соловья.

«Боже мой, Боже мой! — подумал Бурмистров, приведенный в умиление прелестною картиною природы и безмятежным спокойствием ночи. — До чего могут доводить людей суеверие и предрассудки!».

Наконец сон начал склонять Василия; он лег на постель и скоро заснул, с невольным ужасом и состраданием припоминая унылое пение раскольников, пресцавшихся посреди огня с жизнью.

На другой день Василий узнал от спасенной им девушки, что она ехала с своим дядею, бедным городовым

дворянином Сытиным, из Ярославля в Москву; что ночью раскольники на них напали на дороге, дядю ее убили, а ее увлекли в их жилище, и что Андреев долго морил ее голодом и принудил наконец исполнить его волю и принять на себя звание священника устроенной им церкви.

— Господи Боже мой! что будет со мною? — говорила девушка, заливаясь слезами. — После смерти моих родителей дядюшка призрел меня. Злодеи убили влого отца моего! Теперь я сирота беспомощная! Где приклоню я голову?

— Успокойся, Ольга Андреевна! — сказал ей Бурмистров. — Бог не оставляет сирот.

Вскоре после полудня Василий, собрав свою роту, отправился с девушкой в Погорелово и встречен был за воротами восхищенною Натальею, старухою Смирновою, отцом Павлом и Маврою Савишною. Все вошли в горницу. Расспросам не было конца. Когда Василий рассказал, между прочим, как спас он приведенную им с собой девушку от смерти, то Наталья, взяв ее ласково за руку, посадила подле себя и всеми силами старалась ее утешить. Ольга горько плакала.

— Ах, Господи, Господи! — восклицала Мавра Савишна, слушая рассказ Бурмистрова, — так это ты, горемычная моя пташечка, осталась на белом свете сиротинкою! Неужто у тебя после покойного твоего дядюшки — дай Бог ему царство небесное! — никого из роденьки-то не осталось?

— Никого! — отвечала Ольга, рыдая.

— Не плачь, не плачь, мое красное солнышко: коли нет у тебя родни, так будь же ты моею дочерью. Батюшка-царь защитил меня, бедную. Есть теперь у меня деревнишка и с домиком; будет с нас, не умрем с голоду. Обними меня, старуху, моя сиротиночка!

Ольга, пораженная таким неожиданным великодушием и тронутая нежными ласками новой своей благодетельницы, бросилась на шею Мавре Савишне и начала целовать ее руки. Последняя хотела что-то оказать, но не могла и, обнимая Ольгу, навзрыд заплакала. Все были тронуты.

— Господь вознаградит тебя за твое доброе дело, Мавра Савишна! — сказал отец Павел.

— И, батюшка, не меня вознаградит, а тебя. У кого я переняла делать добро ближним? Как бы не ты, так я бы с голоду померла. Было время, сама ходила по миру!

По общему совету положено было, чтобы Бурмистров свез Ольгу сначала в Преображенское, чтобы представить ее царю Петру, а потом приехал бы с нею в Ласточкино Гнездо, куда Мавра Савишна со старухой Смирновой и Натальею намеревалась через день отправиться.

Приехавши с Ольгою в село Преображенское, Василий пошел с нею ко дворцу; за ним следовала рота потешных. Царь сидел у окна с матерью своей, Натальею Кирилловной, и супругою, Евдокиєю Феодоровной\*. Увидев Бурмистрова, он взглянул в окно и спросил его:

— Ну что, исполнил ли ты мое поручение? А это что за девушка? Верно, твоя невеста?

— Это, государь, племянница дворянина Сытина, убитого раскольниками. Они хотели ее сжечь вместе с собою.

— Сжечь вместе с собою! — воскликнул Петр. — Войди сюда вместе с девушкой.

Бурмистров, войдя во дворец, подробно рассказал все царю.

— Это ужасно, — повторял Петр, слушая Василия и несколько раз вскакивая с кресел. — Вот плоды невежества! Изуверы губили других, сожгли самих себя, хотели сжечь эту бедную девушку, и все были уверены, что они делают добро и угождают Богу.

— Они более жалки, нежели преступны, — сказал Лефор, стоявший возле кресел Петра. — Просвети, государь, подданных твоих. Просвещение отвратит гораздо более злодейств и преступлений, нежели самые строгие казни.

— Да, любезный Франц! — воскликнул с жаром Петр, схватив за руку Лефора, — даю тебе слово: целую жизнь стремиться к просвещению моих подданных.

— Остались ли у тебя родственники после погибшего дяди? — спросила Ольгу царица Наталья Кирилловна.

— Нет, государыня, никого не осталось, — отвечала

---

\* Царь Петр Алексеевич вступил в брак 27 января 1689 года с Евдокиєю Феодоровной Лопухиною.

Ольга дрожащим от робости голосом.— Тетка моего избавителя берет меня к себе в дом вместо дочери.

— Твоя тетка? — спросил Петр Бурмистрова, — та самая, у которой Лысков отнял поместье?

— Та самая, государь!

— Скажи ей, что если Лысков и кто бы то ни был станет как-нибудь притеснять ее, то пусть она прямо приезжает ко мне с жалобою — я буду ее постоянный защитник и покровитель.

— Отдай твоей новой матери этот небольшой подарок, — сказала царица Наталья Кирилловна, сняв с руки золотой перстень с драгоценным яхонтом и подавая Ольге. — Скажи ей, чтобы она уведомила меня, когда станет выдавать тебя замуж, я дам тогда тебе приданое и сама вышью для тебя подвенечное покрывало.

— Чем заслужила я такую милость, матушка-царица? — сказала со слезами на глазах Ольга, бросаясь на колени пред Натальей Кирилловной.

— Можно ли и мне подарить этой девушке перстень? — спросила царя на ухо юная прелестная супруга его. Несколькo раз заметив бережливость Петра, она без согласия его не решалась ни на какую издержку.

Петр легким наклоном головы изъявил согласие, и молодая царица, подавши Ольге со своей руки перстень с рубином, до слез была растрогана пламенным и вместе почтительным изъяснением ее благодарности.

— Ну, пятисотенный! — сказал Петр Бурмистрову, — спасибо тебе за твою службу! Чем же наградить тебя?.. Хочешь ли ты служить у меня, в Преображенском? Да что тебя спрашивать, по глазам вижу, что хочешь. Я жалую тебя ротмистром. Ты, как я заметил, славно верхом едешь. Здесь есть у меня особая конная рота, ее зовут Налеты\*. Объяви им, любезный Франц, что назна-

---

\* В то время были две особые роты: одна называлась Налеты, другая Нахалы. Первая набрана была из охотников и боярских слуг, вторая составлена была из людей, отданных в военную службу их господами. В 1694 году во время маневров, известных под именем Кожуховского похода, они находились под командою князя Ромодановского со стороны потешных, сражавшихся против стрельцов. В «Опыте трудов Вольного Российского Собрания» в IV части сказано, что Нахалы были конные, а Налеты — пешие; но нет сомнения, что это показание должно понимать наоборот. Самое название Налеты доказывает, что они составляли конную роту, а Нахалы, следовательно, пешую.

чил Бурмистрова их начальником. Итак, ты остаешься, новый ротмистр, здесь. Ах, да, совсем забыл! Прежде тебе надобно жениться. Отвези эту девушку к своей тетке, потом женись и приезжай с твоею молодою женою ко мне в Преображенское. Пойдем, любезный Франц! — продолжал Петр, обратясь к Лефору. — Надобно сказать спасибо солдатам третьей роты и их за поход наградить.

Петр вышел с Лефором из горницы, потрепав мимоходом Бурмистрова по плечу и примолвив:

— Прощай, ротмистр, до свидания!

Обе царицы между тем подошли к растворенному окну, из которого видна была стоявшая пред дворцом третья рота.

Бурмистров и Ольга вышли из дворца и отправились в Ласточкино Гнездо. Мавра Савишна, бывшая уже там с Натальей и ее матерью, выбежала в сени навстречу племяннику. Кто опишет восторг ее, когда Ольга подала ей подарок царицы! Она ничего не могла сказать, упала на колени и, целуя с жаром перстень, навзрыд плакала.

Ольга осталась у своей новой матери, а Бурмистров, рассказав тетке все подробности его поездки в Преображенское, сел на коня и поскакал в Погорелово, чтобы сообщить все отцу Павлу и посоветоваться с ним о своем браке. Тогда наступал июнь месяц, и через день начинался Петров пост, поэтому Василий принужден был отложить на несколько недель свою свадьбу.

## VII

*К чему нам служит власть, когда, ее имея,  
Не властны мы себе счастливыми творить,  
И сердца своего покоить не умея,  
Возможем ли другим спокойствие дарить?*

Карамзин.

— Нет, князь, — говорила царица София ближнему боярину царственной печати и государственных великих посольских дел оберегателю князю Василию Василье-

вичу Голицыну\*.— Не стану, не могу сносить этого долее! Мальчик смеет мне противиться и мешаться в дела правления! Скажи мне откровенно, какие меры всего лучше принять для отвращения всех этих беспорядков?

— Государыня! ты знаешь мое искреннее усердие к твоему царскому величеству: я готов исполнить все, что ты мне приказать изволишь; я знаю, что государыня, подобная тебе в мудрости, никогда не повелит верноподданному предпринять что-нибудь несогласное с совестью и его долгом.

— Я требую совета, а не исполнения моих повелений.

— Не смею ничего советовать в таком важном деле, государыня. Одна твоя мудрость может указать то, что предпринять должно. Долг мой, как и всякого нелицемерного слуги твоего, состоит в беспрекословном и ревностном исполнении воли твоей.

— Ты удивляешь меня, князь. Если б я давно не знала тебя и менее была уверена в твоём усердии ко мне, то легко могла бы подумать, что ты, подобно многим другим боярам, держишься стороны моего младшего брата в надежде получить от него более милостей, нежели от меня. Неужели мальчик может лучше меня управлять государством, ценить и награждать заслуги и отдавать каждому свое? Ты еще помнишь, я думаю, что брат мой не хотел пустить тебя на глаза после возвращения твоего из крымского похода. Я знала, я могла усмотреть истинные причины неудач твоих. Я не уважила голоса твоих завистников и клеветников. Им легко было воспользоваться неопытностью ребенка, кото-

---

\* Многие из летописей наших и некоторые писатели, как русские, так и иностранные, приписывают князю Голицыну разные преступные умыслы против Петра Великого, но самый приговор, состоявшийся об этом боярине, его оправдывает. Он обвинен был только в том, что угрожал царевне Софии, докладывал ей дела без ведома обоих царей и писал в грамотах и других бумагах имя Софии вместе с именами государей. Еще была ему поставлена в вину безуспешность крымского похода. Он был наказан лишением боярства и имения и сослан сначала в Яренск, а потом в Пустозерск. Де ла Невиль см. (De la Neuville. Relation curieuse et nouvelle de Moscow, ala Haye, 1699), живший несколько времени в Москве, в доме князя, описывает его человеком великого ума. По свидетельству его, он был самый образованный из всех тогдашних бояр, знал латинский язык и вообще отличался любовью к просвещению.

рая могла бы погубить тебя, если б я не защитила, не спасла тебя. Вместо опалы, которая тебе грозила, ты получил за крымский поход награду\*. Ты не забыл еще, князь, кого ты благодарил за это?

— Скорее солнце пойдет от запада к востоку, нежели я забуду все милости твоего царского величества.

— Отчего же ты так боишься посоветовать мне, как остановить шалости гордого и своенравного мальчика, руководимого советами врагов моих? Поверю ли я, что брат мой, которого до сих пор занимают в Преображенском одни детские забавы, без постороннего влияния мог мешаться в дела правления и причинять мне беспрестанные досады? Ясно, что его именем действуют другие, поопытнее и постарше его. Ты понимаешь меня; тебе хорошо известны мои недоброжелатели.

— Я осмеливаюсь думать иначе, государыня. Царь Петр Алексеевич по дарованиям и зрелости ума своего не похож на семнадцатилетнего юношу. Он любит, чтобы ему в глаза говорили правду, и умеет пользоваться советами. Могу, однако ж, уверить твое царское величество, что, по моим замечаниям, не другие чрез него действуют, а он сам везде первый идет впереди.

— Мудрено поверить!.. Но если б это было и справедливо, то я найду средство остановить его. Он не лишит меня принадлежащей мне власти. Я знаю, что вся цель его состоит в этом.

— Ничего не смею на это сказать, государыня. Права его участвовать в делах правления неоспоримы. Ты сама, государыня, их признала: семь лет тому назад по воле твоей Петр Алексеевич вместе с Иоанном Алексеевичем был венчан на царство.

— Что ж ты сказать этим хочешь? — воскликнула София, гневно посмотрев на князя. — Не думаешь ли ты, что я устражусь мальчика и решусь погубить Россию, предоставляя ему одному управление, для которого он еще и слишком молод, и слишком неопытен?

---

\* Голицын получил за второй крымский поход в награду кубок золоченый с кровлею, кафтан золотой на соболях, денежные придачи 300 рублей да вотчину в Суздальском уезде село Решму и Юмохонскую волость. См. Поли. Собрание законов Российской Империи. Т. III. С. 25.

— Боже меня сохрани от этой мысли! Я только считаю, что всего было бы лучше сблизиться с царем Петром Алексеевичем. Разрыв с ним опасен для твоего царского величества. Уступчивость и ласка гораздо более на него подействуют, нежели пренебрежение к нему и явная с ним ссора. Он будет доволен и самым малым участием в делах правления. Ласковость твоя совершенно его обезоружит.

— Неужели ты думаешь, что я себя унижу до такой степени и стану искать благосклонности моего меньшего брата? Пусть он прежде ищет моей! И чем он может мне быть опасен? Все подданные любят меня, все стрельцы готовы по первому моему слову пролить за меня кровь свою!

— Его потешные, государыня... я давно уже говорил, что...

— Его потешные мне смешны! Они тешат меня более, нежели их повелителя. Пусть забавляется он с ними и с иноземными побродягами в Преображенском. Почему же не позволить ребяческой игры ребенку?

— Окольный Федор Иванович Шакловитый,— сказала постельница царевны,— просит дозволения предстать пред светлые очи твоего царского величества.

— Позови его сюда.

Шакловитый, помолясь перед образом, висевшим в переднем углу, низко поклонился царевне и подал ей жалобу Лыскова. София, прочитав эту бумагу, покраснела от гнева.

— Прочитай,— воскликнула она, подавая челобитную Лыскова князю Голицыну.— Не посоветуешь ли ты после этого сблизиться с моим братом?

Голицын начал внимательно читать бумагу, а Шакловитый между тем, пользуясь произведенным на Софию впечатлением, начал говорить ей:

— Если и вперед все так пойдет, то немного можно ожидать доброго. Ты повелеваешь, государыня, казнить бунтовщика, а Петр Алексеевич его защищает; ты приказываешь отдать помещику беглую холопку, а меньшой брат твоего царского величества освобождает ее от кабалы да выгоняет еще помещика из деревни и отдает ее какой-то нищей.



— Я прекращу эти беспорядки! — воскликнула София. — Приказываю тебе сегодня же схватить и казнить бунтовщика Бурмистрова; холопку Наталью возвратить Лыскову; отнятую у него деревню также отдать ему. Употреби для этого целый полк стрельцов, если нужно.

— А я бы думал поступить иначе, государыня. Торопиться не нужно. Пусть в Москве поболее об этом деле заговорят, а там будет видно, что всего лучше предпринять.

— И мне так же кажется, — сказал князь Голицын, — что осторожнее будет наперед объясниться с царем Петром Алексеевичем: он увидит свою ошибку и, без сомнения, охотно ее поправит.

— Благодарю тебя за твой совет, князь! — сказала София, стараясь казаться спокойною. — Сходи теперь же к святейшему патриарху и скажи ему, чтобы он завтра утром приехал ко мне.

Когда Голицын ушел, то Шакловитый, посмотрев насмешливо ему вслед, сказал:

— Хитростью похож он на лисицу, а трусостью на зайца. Мне кажется, что он держится стороны врагов твоих, государыня.

— Я узнаю это, — отвечала София.

— Зачем, государыня, послала ты его к святейшему патриарху? Неужели хочешь ты с святым отцом в таком деле советоваться? Положись на одного меня. Из всех слуг твоих я самый преданный и усердный. Я доказал тебе это и еще докажу на деле.

— Я уверена в этом. Я удалила Голицына для того только, чтобы поговорить с тобой наедине. Посмотри: нет ли кого за этой дверью?..

— Никого нет, государыня! — отвечал Шакловитый, растворив дверь и заглянув в другую комнату.

Дверь снова затворилась. Часа через три Шакловитый вышел из горницы царевны Софии и поехал к полковнику Циклеру. Возвратясь домой, он велел призвать к себе полковника Петрова и подполковника Черного. Они ушли от него ровно в полночь.

*Вдруг начал тмиться неба свод —  
 Мрачнее и мрачнее,  
 За тучей грозною идет  
 Другая вслед грознее.*

Жуковский.

Петров пост прошел, и наступил июль месяц. Бурмистров в Ласточкином Гнезде занемог, и свадьба его была отложена до его выздоровления. Не прежде, как в начале августа, он выздоровел. Спеша исполнить повеление царя, приказавшего ему приехать тотчас после женитьбы на службу в Преображенское, он просил Мавру Савишну как можно скорее сделать все нужные приготовления к его свадьбе. По ее назначению Василий с невестою, старуха Смирнова и сама Мавра Савишна с Ольгою отправились в село Погорелово, чтобы отпраздновать в тот же день сговоры в доме отца Павла; на другой день положено было обвенчать Василия и Наталью, а на третий хотели они отправиться в Преображенское.

Брат Натальи, Андрей, который уже кончил академический курс, купец Лаптев с женою и капитан Лыков приехали по приглашению на сговор Василия. Бурмистрова благословили образом и хлебом-солью Лаптев и жена его, а Наталью — ее мать и капитан Лыков, принявший на себя с величайшим удовольствием звание посаженного отца невесты. Отец Павел, совершив обряд обручения, соединил руки жениха и невесты. Начались поздравления, и Мавра Савишна в малиновом штофном сарафане, который подарил ей племянник, явилась из другой горницы с торжествующим лицом и с большим подносом, уставленным серебряными чарками. Проговорив длинное поздравление обрученным, она начала потчевать всех вином. Андрей, приподняв чарку и любуясь резьбою на ней, сказал:

— Какая роскошь и прелесть! Не знаешь, чему отдать предпочтение: содержащему или содержимому?

— Выкушай, Андрей Петрович, за здоровье обрученных! — сказала Мавра Савишна, кланяясь.

— Если б я был Анакреон, то написал бы стихи на эту чарку.

— Ну, ну, хорошо! Выкушай-ка скорее, а там, пожалуй, пиши что хочешь на чарке.

Андрей, усмехнувшись, выпил вино и, обратясь к Бурмистрову, спросил:

— Откуда, Василий Петрович, взялись на твоих сговорах такие богатые сосуды? У иного боярина этаких нет.

— Не знаю,— отвечал Василий.— Спроси у тетушки об этом.

— Эти чарки привезены в подарок обрученным их милостью,— отвечала Мавра Савишна, указывая на Лаптева и жену его.

Бурмистров и Наталья, несмотря на все их отговорки, принуждены были принять подарок и от искреннего сердца поблагодарили старинных своих знакомцев.

— Славная чарка! — воскликнул Лыков.— Из этакой не грех и еще выпить; да и вино-то не худо. Кажется, французское?

— Заморское, батюшка, заморское! — отвечала Мавра Савишна, наливая чарку.

— Да уж налей всем, а не мне одному.

Когда все чарки были наполнены, Лыков, встав со скамьи, воскликнул:

— За здравие нашего отпа-царя Петра Алексеевича!

— За это здоровье и я выпью, хоть мне и одной чарки много! — сказал отец Павел, также встав со скамьи, и запел дрожащим стариковским голосом: — Многая лета!

Стройный голос Василья соединился с голосом старика. Лыков запел басом двумя тонами ниже, а Лаптев одним тоном выше; жена его и Мавра Савишна своими звонкими голосами покрыли весь хор, а Андрей в восторге затянул такие вариации, что всех певцов сбил с толку. Все замолчали. Одна старушка Смирнова, крестясь, продолжала повторять шепотом: — Многая лета!

После этого начались разговоры о столичных новостях.

— Как жаль, что тебя не было в Москве осьмого июля! — сказал Лыков Бурмистрову.— Уж полюбовался

бы ты на царя Петра Алексеевича. Показал он себя! Нечего сказать! Софья-то Алексеевна со стыда сгорела.

— Как, разве случилось что-нибудь особенное? — спросил Василий.

— Да ты, видно, ничего еще не слышал. Я тебе расскажу. В день крестного хода из Успенского собора в собор Казанской Божией Матери оба царя и царевна приехали на обедню. После службы, когда святейший патриарх со крестами вышел из Успенского собора, Софья Алексеевна в царском одеянии хотела идти вместе с царями. Я кое-как протеснился сквозь толпу к их царским величествам поближе и услышал, что царь Петр Алексеевич говорит царевне: «Тебе, сестрица, неприлично идти в крестном ходе вместе с нами; этого никогда не водилось. Женщины не должны участвовать в подобных торжествах». — «Я знаю, что делаю!» — отвечала Софья Алексеевна, гневно посмотрев на царя, а он вдруг отошел в сторону, махнул своему конюшему, велел подвести свою лошадь, вскочил на нее, да и уехал в Коломенское. Царевна переменялась в лице, сперва покраснела, а потом вдруг побледнела и начала что-то говорить царю Иоанну Алексеевичу. Все на нее глаза так и уставили. Привязалась ко мне, на грех, какая-то полоумная баба, видно, глухая, да и ну меня спрашивать: «Куда это батюшка-то царь Петр Алексеевич поехал?». И добро бы тихонько спрашивала, а то кричит во все горло. Я того и смотрю, что царевна ее услышит, мигаю дуре, дернул ее раза два за сарафан — куда тебѣ! Ничего не понимает! Я как-нибудь от нее, а она за мной, схватила меня, окайнная, за полу, охает, крестится и кричит: «Уж не злодеи ли стрельцы опять что-нибудь затеяли? Видно, их, воров, царь-то батюшка испугался? Не оставь меня, бедную, проводи до дому, отец родной! Ты человек военный: заступись за меня. Мне одной сквозь народ не продаться. Убьют меня, злодеи, ни за что ни про что!». Ах, черт возьми! Как бы случилось это не на крестном ходе, да царевна была не близко, уж я бы дал знать себя этой бабе, уж я бы ее образумил!

— По всей Москве, — сказала Лаптева, — несколько дней только и речей было, что об этом. Сказывала мне кума, что царевна разгневалась так на братца, что и не приведи Господи!

— Молчи, жена! — воскликнул Лаптев, глядя бороду. — Не наше дело!

— Кума-то сказывала еще, что злодеи-стрельцы опять начинают на площадях собираться, грозятся и похваляются...

— Да перестанешь ли ты, трещотка! — закричал Лаптев.

— Пусть я трещотка, а уж бунту нам не миновать.

— Я того же мнения, — сказал важно Андрей, осушавший в это время пятую чарку французского вина. — Да нет, если правду сказать, то и родственники царя Петра Алексеевича поступают неблагоразумно. Я сам видел, как боярин Лев Кириллович Нарышкин ездил под вечер с гурьбою ратных людей по Земляному городу, у Сретенских и Мясницких ворот ловил стрельцов, приказывал их бить обухами и плетью и кричал: «Не то вам еще будет!». Сказывали мне, что он иным из них рубил пальцы и резал языки. «Меня, — говорил он, — сестра царица Наталья Кирилловна и царь Петр Алексеевич послушают. За смерть братьев моих я всех вас истреблю!». Такими поступками в самом деле немудрено взбунтовать стрельцов.

— Коли на правду пошло, — примолвил Лыков, — так и я не смолчу. И я слышал об этом. Только говорили мне, что будто не боярин Нарышкин над стрельцами тешится, а какой-то подьячий приказа Большой казны Матвей Шошин. Этот плут лицом и ростом очень похож, говорят, на Льва Кирилловича. Тут, впрочем, большой беды я не вижу. Боярин ли он, подьячий ли, все равно, пусть его тешится над окаянными стрельцами; поделом им, мошенникам.

— Нет, капитан, — сказал Бурмистров, — я на это смотрю другими глазами... Давно ли ты, Андрей Петрович, видел этого мнимого Нарышкина?

— Видел я его на прошлой неделе, да еще сегодня ночью в то самое время, как шел через Кремль от одного из моих прежних учителей к Андрею Матвеевичу, чтобы вместе с ним на рассвете из Москвы сюда отправиться.

— Что ж он делал в Кремле?

— Бродил взад и вперед по площади около царского дворца с каким-то другим человеком и смотрел, как

выламывали во дворце, у Мовной лестницы, окошко. Мне показалось это странно, однако ж я подумал: боярин знает, что делает; видно, цари ему приказали. Я немного постоял. Окно выломали, и вышел к Нарышкину из дворца истопник Степан Евдокимов, которого я в лицо знаю, да полковник стрелецкий Петров. Начали они что-то говорить. Я расслышал только, что Петров называл неизвестного человека, стоявшего подле Нарышкина, Федором Ивановичем.

— Это имя Шакловитого! — сказал Бурмистров,ходя взад и вперед по горнице с приметным на лице беспокойством.

— Ночь была довольно темная,— продолжал Андрей,— и они сначала меня не видали. На беду, месяц выглянул из-за облака. Вдруг Нарышкин как закричит на меня: пошел своей дорогой, зевака! Не смей смотреть на то, что мы делаем по царскому повелению.— Нет, нет! — закричал Федор Иванович.— Лучше поймать его. Схвати его, Петров! — Полковник бросился за мной, но не догнал; я ведь бегать-то мастер.

— А где царь Петр Алексеевич? В Москве? — спросил Бурмистров.

— Я слышал, что его ждали в Москву сегодня к ночи,— отвечал Андрей.

— Прощай, милая Наталья! — сказал Бурмистров.— Я еду, сейчас же еду! Дай Бог, чтоб я успел предостеречь царя и избавить его от угрожающей опасности!

Все удивились. Наталья, пораженная неожиданною разлукою с женихом, преодолела, однако ж, свою горесть и простилась с ним с необыкновенною твердостью.

— Да с чего ты, пятисотенный, взял, что царю грозит опасность? — спросил Лыков.

— Я тебе это объясню на дороге. Ты, верно, поедешь со мною?

— Пожалуй! Для царя Петра Алексеевича готов я ехать на край света, не только в Москву. К ночи-то мы туда поспеем.

— И я еду с вами! — сказал Андрей.— Я хоть и плохо верхом езжу, однако ж с лошади не свалюсь и от вас не отстану. Александр Македонский и с Буцефала. правильнее же сказать, с Букефала не свалился. Неужто, Андрей Матвеевич, твой гнедко меня сшибет?

— А меня пусть хоть и сшибет моя ворона, только я от вас не отстану, опять на нее взлезу да поскачу! — продолжал Лаптев. — Прощай, жена!

Все четверо сели на лошадей, простились с оставшимися в Погорелове и поскакали к Москве.

## IX

*На расхищение расписаны места.*

*Без сна был злобный скоп, не затворяя ока,  
Лишь спит незлобие, не зная близко рока.*

Ломоносов.

Между тем прежде, нежели Бурмистров выехал из Погорелова, с наступлением вечера тайно вошло в Москву множество стрельцов из слобод их. Циклер и Чермной расставили их в разных скрытных местах, большую же часть собрали на Лыков и Житный дворы, находившиеся в Кремле, и ждали приказаний Шакловитого.

— Мне кажется, — сказал Чермной стоявшему подле него полковнику Циклеру, — что мы и сегодняшнюю ночь проведем здесь понапрасну. Вчера мы с часу на час его ждали, однако ж он не приехал из Преображенского.

— Авось приедет сегодня. Это кто к нам крадется? — сказал Циклер, пристально смотря на приближавшегося к ним человека. — Ба! это истопник Евдокимов! Добро пожаловать! Что скажешь нам, Степан Терентич? Что у тебя за мешок?

— С денежками, господин полковник. Изволь-ка их счетом принять да раздай теперь же стрельцам. Так приказано.

— Давай сюда! Это доброе дело! Да не видал ли ты нашего начальника? Куда он запропастился? Мы уж давно здесь его ожидаем.

— Теперь он в Грановитой палате. Там хочет он ночевать, если и сегодня не приедет к ночи из Преображенского он-то. Вы понимаете, про кого я говорю?

— Где нам понять! — воскликнул Чермной. Ох ты, придворная лисица! И с нами-то не смеет говорить без обиняков. Чего ты трусишь?

— Оно лучше, господин подполковник, как лишнего не скажешь! Счастливо оставаться! Мне уж идти пора!

Вскоре после ухода истопника явился Шакловитый. Собрав около себя пятидесятников и десятников стрелецких, он сказал им:

— Объявите всем, что я с часу на час жду вести от полковника Петрова, который послан мною в Преображенское. Если весть придет оттуда хорошая, то на Ивановской колокольне ударят в колокол, и тогда надобно напасть на дома изменников и врагов царевны и всех изрубить без пощады. Вот вам список изменников. Все, что вы найдете в домах у них, возьмите и разделите между собою. Потом ступайте к лавкам торговых людей, которые держат сторону изменников: все товары и добро их — ваши!

В списке, который Шакловитый подал стоявшему близ него пятидесятнику, означены были имена всех бояр, преданных царю Петру Алексеевичу, и многих богатых купцов. В числе последних находился Андрей Матвеевич Лаптев.

Сказав еще несколько слов на ухо Циклеру и Черному, Шакловитый вместе с ними удаллся в Грановитую палату. Вскоре прибыл к нему стрелец, посланный из Преображенского Петровым, с письмом. Шакловитый, от нетерпения узнать скорее содержание письма, вырвал его из рук стрельца и, приказав ему идти на Лыков двор, прочитал вполголоса Циклеру и Черному:

— «Сегодня в Москву он не будет и ночует в Преображенском. По приказу твоему расставил я, когда смерклось, надежных людей в буераках и в лесу и зажигал два раза близ дворца амбар, чтобы выманить кого нам надобно; но проклятые потешные тотчас сбегались и тушили пожар. Теперь они разошлись уже по избам. Скоро наступит полночь. Когда все в селе уgomонятся, я опять зажгу амбар. Авось в третий раз удастся приказ твой исполнить. Тогда я сам прискачу в Москву с вестью». Какая досада! — воскликнул Шакловитый, разорвав письмо на части. — Он просто трусит! Жаль, что я послал его туда! Не идти ли нам всем в Преображенское?

— Оно, кажется, будет вернее! — сказал Черной. — Окружим село, нападём на потешных врасплох и разом все дело кончим.



— Не лучше ли подождать немного? — продолжал Циклер. — Может быть, Петров скоро привезет нам добрую весточку.

— Ты, видно, такой же трус, как он! — сказал Шакловитый, сердито посмотрев на Циклера. — Потешных, что ли, ты испугался? Мы вчетверо их сильнее! Поди-ка на Лыков двор и скажи моим молодцам, чтобы все шли на Красную площадь к Казанскому собору, а ты, Чермной, с Житного двора приведи всех стрельцов также к собору, да пошли гонцов и за прочими полками. Оттуда все пойдем к Преображенскому.

Около полуночи на Красной площади собралось несколько тысяч стрельцов. Шакловитый раза три прошел мимо рядов их и ободрял войско к предстоявшему походу. Потом велел он подвести свою лошадь и занес уже ногу в стремя, когда прискакал гонец от Петрова и подал письмо Шакловитому.

Прочитав письмо, злодей побледнел и задрожал.

«Измена! — писал Петров. — Стрельцы Мишка Феоктистов и Митька Мельнов передались на сторону врагов наших и впущены были во дворец. Нет сомнения, что царь все уже знает. Вскоре после полуночи уехал он с обеими царицами и с сестрою его, царевною Натальею Алексеевною, неизвестно куда из Преображенского. Я спешу теперь со всеми нашими окольною дорогою к Москве. У всех у нас руки опустились. Близ Бутырской слободы обогнал нас Бурмистров. Лошадь его неслась, как стрела, и мы не успели остановить его. Я его видел сегодня мельком в Преображенском, незадолго до отъезда царя. Верно, он послан к генералу Гордону с приказом привести к царю Бутырский полк, которым этот иноземец правит. Преображенские и Семеновские потешные также выступили куда-то из села, и так идут, что за ними и верхом не поспеешь».

— По домам! — закричал Шакловитый, дочитавши письмо. — Никто не смей и заикнуться, что был здесь на площади. Голову отрублю тому, кто проболтается.

Все стрельцы беспорядочными толпами удалились с площади и возвратились в свои слободы, а Шакловитый с Циклером и Чермным поспешно пошел в Кремль. Близ крыльца, чрез которое входили в комнаты царевны Софии Алексеевны, попался Шакловитому навстречу Сидор Терентийч Лысков.

— Слава Богу, что я нашел тебя, Федор Иванович! — воскликнул он. — Я обегал весь Кремль. Слышал ты, что он из Преображенского уехал?

— Слышал! — отвечал Шакловитый.

— Знаешь ли, куда? Я уж успел это разнюхать. Он отправился в Троицкий монастырь.

— Ну, так что ж?

— Как — ну так что ж! Там покуда нет еще ни одного потешного. Зачем ты стрельцов-то распустил; нагрянул бы на монастырь врасплох, так и дело было бы в шляпе.

— Ах ты, приказная строка — нагрянул бы! Потешные и Бутырский полк пошли уже давно к монастырю. Теперь и на гончих собаках верхом их не обгонишь!

— И, Федор Иванович! Ты, как я вижу, совсем дух потерял. Дай-ка мне десятка хоть три конных стрельцов. Увидишь, что я прежде всех поспею в монастырь и все дело улажу.

— Бери хоть целую сотню, только меня в это дело не путай. Удастся тебе — все мы спасибо скажем; не удастся — один за всех отвечай. Скажи тогда, что я тебе стрельцов брать не приказывал и что ты сам их нанял за деньги.

— Пожалуй, я на все согласен. Увидишь, что я всех вас выпутаю из беды. А нет ли, Федор Иванович, деньжонок у тебя, чтобы стрельцов-то нанять? Одолжи, пожалуйста. Ведь скажу не то, если попадусь в беду, что я не нанял, а взял стрельцов по твоему приказу.

— На, вот пять рублей. Больше со мной нет, все стрельцам давеча раздал.

— Ладно! Дай-ка мне ручку твою на счастье перед походом. Вот так! Прощай, Федор Иванович!

Лысков побежал к постоялому двору, где оставил свою лошадь, два пистоleta и саблю, а Шакловитый ушел во дворец. Чермной и Циклер остались на площади.

— Как думаешь ты, товарищ, — спросил Чермной, — я чаю, царевна отстоит нас? Ведь не в первый раз мы с тобой в беду попались. Притом вина не наша. Неужто нам можно послушаться, когда Федор Иванович приказывает! Мне, впрочем, сдается, что Лысков уладит дело.

— Я то же думаю! — сказал Циклер. — Пойдем-ка домой да ляжем спать. Утро вечера мудренее.

Оба пошли из Кремля.

— Дня через три Софья Алексеевна будет уж одна царством править, — продолжал Чермной. — То-то нам будет житье! Уж верно, обоих нас пожалует она в бояре!

— Без сомнения! — сказал Циклер. — Однако ж прощай! Мне надо идти в эту улицу налево, а тебе все прямо. До свидания!

— Да что ты так невесел? Ты и на меня тоску наводишь.

— Напротив, я совершенно спокоен и весел. Мне кажется, что не я, а ты очень приуныл! Не робей и не отчаивайся прежде времени. Что за вздор такой! Не стыдно ли тебе! Ну, до свидания! Завтра увидимся!

Они расстались. Чермной, возвратясь домой, лег в постель, но не мог сомкнуть глаза целую ночь. То чудилось ему, что по лестнице входит толпа людей, посланных взять его под стражу; то представлялось ему, что дьяк читает громким голосом приговор и произносит ужасные слова: казнить смертию. Холодный пот выступал у него на лице. Крестьясь, повторял он шепотом: «Господи, помилуй!» и еще в большее приходил содрогание. В эту минуту готов он был отдать все свое имение, отказать от всех своих честолюбивых видов, надеть крестьянский кафтан и проливать пот над сохою, только бы избавиться от той мучительной, адской тоски, которая терзала его сердце. Ужасно безутешное положение преступника, когда ожидание заслуженной, близкой казни разбудит в нем усыпленную совесть и когда он, ужаснувшись самого себя, почувствует, что ни в небе, ни на земле не осталось уже для него спасения.

Циклер почти то же чувствовал, что и Чермной. Он вовсе не ложился в постель и всю ночь ходил взад и вперед по своей спальне. На рассвете он несколько успокоился слабою надеждою спастись от угрожавшей ему казни. Едва взошло солнце, он оседлал свою лошадь и поскакал в Троицкий монастырь в намерении доказать правоту свою доносом на участвовавших в преступном против царя умысле, в который сам многих вовлек и примером, и словом, и делом. «Если они станут обвинять меня в соучастии с ними, — размышлял он дорогою, —

то мне легко будет оправдаться присягою и уверить царя, что все наговоры их внушены им желанием отомстить мне за открытие их преступления».

На половине дороге нагнал его Лысков с толпою конных стрельцов, спешивший к Троицкому монастырю.

— Ба, ба, ба! — закричал Лысков, увидев Циклера. — Ты также пробираешься к монастырю? Доброе дело! Поедем вместе. Ум хорошо, а два лучше. Ты ведь знаешь, для чего я туда еду?

— Знаю! — отвечал Циклер. — Поезжай скорее и не теряй времени. Жаль, что лошадь моя очень устала: я за тобой никак не поспею. Уж, видно, тебе одному придется дело уладить; тогда и вся честь будет принадлежать тебе одному.

— Видно, ты трусишь, господин полковник! До свидания! В самом деле, мне надобно поспешить. За мной, ребята! — закричал он стрельцам. — Во весь опор!

Циклер удержал свою лошадь, которая пустилась было вскачь за понесшеюся толпою злодеев.

«Если ему удастся — хорошо! — размышлял он. — Я тогда ворочусь в Москву и первый донесу об успешном окончании дела царевне. Если же его встретят потешные, то, без сомнения, положат всех на месте, и я не опоздаю приехать в монастырь с доносом и с предложением услуг моих царю Петру».

## Х\*

*Ты, Творец, Господь всесильный,  
Без которого и влас  
Не погибнет мой единый,  
Ты меня от смерти спас!*

Державин.

— Вот уж и монастырь перед нами! — кричал Лысков следовавшим за ним стрельцам. — Скорее, ребята! К воротам!

---

\* Описанное в сей главе происшествие в Троицком монастыре разнообразно рассказано многими нашими и иностранными писателями. Штелин и Сегюр относят его к периоду возмущения стрельцов, Галем ко второму, которое было после казни Хованских; то же сказано в некоторых учебных русских книгах. Но Петр Великий

Подъехав к монастырской стене, Лысков начал стучаться в ворота.

— Кто там? — закричал привратник.

— Налеты, — отвечал Лысков. — Его царское величество приказал нам приехать за ним сюда из Преображенского. Здесь, чаю, нет еще никого из наших товарищей. Потешные-то еще не бывали?

— Не пришли еще. Вы первые приехали. Да точно ли вы налеты? Мне велено их одних да потешных впустить в монастырь, и то спросив прежде — как бишь это? Слово-то такое мудреное! — Похоже на пароль, помнится.

— Пароль, что ли?

— Да, да, оно и есть. Ну-ка скажи это слово.

— Вера и верность. Ну, отворяй же скорее ворота.

— Сейчас, сейчас!

Ворота, заскрипев на тяжелых петлях, растворились, и Лысков въехал со стрельцами за монастырскую ограду.

Царь Петр Алексеевич с матерью его, царицею Натальею Кирилловною, находился в это время в церкви и стоял с нею близ алтаря. Стрельцы, обнажив сабли, рассыпались в разные стороны для поисков. Двое из них вошли в церковь. Юный царь, оглянувшись и увидев двух злодеев, быстро приближавшихся к нему с обнаженными саблями, схватил родительницу свою за руку и ввел ее в алтарь. Стрельцы вбежали за ним туда же.

— Чего хотите вы? — закричал Петр, устремив на злодеев сверкающий взор. — Вы забыли, что я царь ваш!

---

и царица Наталья Кирилловна во время первого бунта, по свидетельству современных летописцев Медведева и Матвеева, находились в Москве. Во второй бунт весь царский дом из села Воздвиженского уехал в Троицкий монастырь. Но означенное происшествие и тогда не могло случиться. Из наших летописей видно, что стрельцы после казни Хованских произвели возмущение в Москве и приходили, правда, в монастырь, но для того только, чтобы просить помилования; потому что там собралось многочисленное войско для защиты царского дома. Посему всего вероятнее, что происшествие это случилось в 1689 году, при Шакловитом; тогда Петр Великий с родительницею, супругою и сестрою поспешно спасся из Преображенского от стрельцов в Троицкий монастырь ночью (см. Полное собрание законов Российской империи, том III, стр. 36 и 63). Злодеи, следовательно, могли его тогда преследовать и ворваться в монастырь, предупредив войско, которое вскоре прибыло для защиты царя.

Оба стрельца, невольно содрогнувшись, остановились.

Царь Петр Алексеевич между тем, поддерживая одною рукою трепещущую свою родительницу, другою оперся об алтарь.

— У него оружия нет! — шепнул наконец один из стрельцов. — Я подойду к нему.

— Нет, нет! — сказал шепотом другой, удержав товарища за руку. — Он стоит у алтаря. Подождем, когда он выйдет из церкви; ему уйти отсюда некуда.

В это время послышался конский топот, и оба злодея, вздрогнув, побежали вон из церкви. Опасность была близка, но невидимая десница всемогущего Бога сохранила Его помазанника и там, где, казалось, нельзя было ожидать ниоткуда помощи и спасения.

— За мной, товарищи! Смерть злодеям! — воскликнул Бурмистров, въезжая во весь опор с налетами в монастырские ворота. Лысков, услышав конский топот, с помощью нескольких стрельцов выломил небольшую калитку и выбежал за ограду. Все стрельцы, оставшиеся в монастыре, были изрублены налетами. Двое из них и Бурмистров бросились в погоню за Лысковым, оставив лошадей своих у калитки; потому что она была так низка, что и человеку можно было пройти чрез нее не иначе, как согнувшись. Вскоре нагнал он Лыскова и пятерых стрельцов, которые с ним бежали. Они остановились, увидев погоню, и приготовились к обороне.

— Сдайся! — закричал Лыскову Василий.

Лысков выстрелил в Бурмистрова из пистолета и закричал стрельцам:

— Рубите его!

Пуля со свистом пронеслась мимо, и Лысков бросился на Василья с поднятою саблею; но один из налетов предупредил злодея, снес ему голову и в то же время упал, проколотый саблею одного из стрельцов. На оставшегося налета напали вдруг двое, а на Бурмистрова трое. Налету удалось скоро разрубить голову одному из противников; потом ранил он другого и бросился на помощь к Василью. Раненый между тем приполз к трупу Лыскова, вытащил из-за пояса его пистолет и, выстрелив в налета, убил его; но вскоре сам потерял последние силы и с истекшею кровью лишился жизни.

Между тем Василий дрался как лев с тремя врагами. Одному разрубил он голову, другого тяжело ранил; но третий ему самому нанес удар в левую руку и бросился в лес, увидев бежавших к ним от монастыря двух человек.

Василий, чувствуя, что силы его слабеют, правую рукою поднял с земли свою саблю и, опираясь на нее, пошел к монастырю. Вскоре голова у него закружилась, и он упал без чувств на землю.

Через несколько часов Бурмистров пришел в чувство. Открыв глаза, увидел он, что перед ним стоит приятель его купец Лаптев и что он сам лежит на постеле в опрятной избе. Изба эта находилась за оградой, неподалеку от главных монастырских ворот.

— Слава Богу! — сказал Лаптев. — Наконец он очнулся! Мы, Василий Петрович, думали, что ты совсем умер. Как бы не подняли мы тебя да не перевязали твоей раны, ты бы, верно, кровью изошел!

— Благодарю вас! — сказал слабым голосом Бурмистров. — Как попал ты сюда, Андрей Матвеевич, с Андреем Петровичем?

— Сегодня на рассвете услышали мы в Москве, что царь Петр Алексеевич ночью уехал наскоро из Преображенского в монастырь и разослал во все стороны гонцов с указом, чтобы всякий, кто любит его, спешил к монастырю для защиты царя против стрельцов-злодеев. Я с Андреем Петровичем и побежал в Гостиный двор, собрал около себя народ и закричал: «Друзья любезные! злодеи стрельцы хотят убить нашего царя-батюшку. Он теперь в Троицком монастыре: поспешим туда и положим за него свои головы!» — «В монастырь!» — крикнули все в один голос. «Кому надобно саблю, ружье, пику, — закричал я, — тот беги в мою оружейную лавку и выбирай, что кому надобно». Посмотрел бы ты, Василий Петрович, как мы из Москвы-то сюда скакали на извозчицких телегах: земля дрожала! На каждую телегу набралось человек по десяти. Слышь ты, сотни четыре народу-то из Гостиного двора да из купеческих рядов с нами сюда приехали.

В это время послышался громкий звук барабанов. Андрей, взглянув в окно, увидел, что Преображенские и Семеновские потешные и Бутырский полк с распущен-

ными знаменами, скорым шагом шли к монастырским воротам. Перед полками ехали верхом генерал Гордон и полковник Лефор.

— Ба! — воскликнул Андрей. — Это, кажется, выступает капитан Лыков перед ротою... он и естъ!

— Как это полки-то так скоро сюда успели? — спросил Лаптев, подходя к окну.

— Видно, на крестьянских подводах прискакали, — отвечал Андрей.

— Этакое войско — молодец к молодцу! — продолжал Лаптев. — Сердце радуется! А это что за обоз там приехал?.. вон, вон, Андрей Петрович, полее-то! Никак все крестьяне. Ба! да все с топорами, косами и вилами. Эх их сколько высыпало. Кто это впереди-то идет? Господи Боже мой! священник, кажется... так и есть! Видишь, крест у него в руке сияет.

Когда толпа крестьян, предводимая священником, приблизилась, то Андрей воскликнул:

— Да это отец Павел идет перед ними. Он, точно он. А это, видно, все крестьяне села Погорелова!

Андрей и Лаптев долго еще смотрели в окно. Со всех сторон беспрестанно спешили к монастырю стольники, стряпчие, дворяне, дьяки, жильцы, дети боярские, копейщики, рейтары. Все бояре, преданные царю Петру Алексеевичу, также прибыли в монастырь. Вскоре в монастырских стенах сделалось от бесчисленного множества народа тесно, и многие из приезжавших останавливались под открытым небом, за оградой монастыря.

Лаптев, оставив с Бурмистровым Андрея, вышел из избы в намерении отыскать отца Павла и спросить его: не приехала ли с ним Варвара Ивановна? С трудом отыскал он его в бесчисленной толпе народа и узнал, что и Варвара Ивановна, и Мавра Савишна с Ольгою, и Наталья с матерью хотели непременно ехать к монастырю и что он с великим трудом отговорил их от этого намерения.

Они не успели еще кончить начатого разговора, как потешные, Бутырский полк, налеты и все прибывшие в монастырь для защиты государя начали выходить один за другим на поле. Полки построились в ряд, и вмиг разнеслась везде весть, что царь скоро выедет к войску и народу. В самом деле, Петр на белом ко-



не, в прапорщичьем мундире, вскоре выехал из ворот в сопровождении бояр, генерала Гордона и полковника Лефора. Земля задрожала от восклицаний восхищенного народа. Это изъятие любви подданных глубоко тронуло царя. Он снял шляпу, начал приветливо кланяться на все стороны, и на глазах его навернулись слезы.

Бурмистров, услышав крик народа, попросил Андрея узнать причину крика. Тот вышел из избы, вмешался в толпу, увидел вдали царя и вместе со всеми начал кричать во всю голову «ура!».

В это самое время прошла поспешно мимо его женщина в крестьянском кафтане и с косою на плече. За нею следовало человек семь крестьян, вооруженных ружьями.

— Здорово, Андрей Петрович! — сказал один из них.

— Ба! Сидоров! Как ты здесь очутился?

— Мавра Савишна изволила сюда приехать с твоею сестрицею, с матушкою, хозяйушкою Андрея Матвеевича и с Ольгой Андреевной. Они остались вон там, в той избушке.

— Куда же вы идете?

— Не знаю. Госпожа приказала нам идти за нею.

Андрей, нагнав Семирамиду Ласточкина Гнезда, которая ушла довольно далеко вперед с прочими ее крестьянами, спросил ее:

— Куда это ты спешишь, Мавра Савишна?

— Хочу голову свою положить за царя-батюшку! Жив ли он, наше солнышко? Не уходили ли его разбойники стрельцы? В пору ли я поспела?

— Вон он, на белой лошади.

— Слава Богу! — воскликнула Мавра Савишна и, оборотясь лицом к монастырю, несколько раз перекрестилась. — А матушка-то его, царица Наталья Кирилловна, жива ли, супруга-то его, нашего батюшки? Сохранил ли их Господь?

— Они в монастыре.

— А где же стрельцы-то разбойники? Да мне только до них добраться, я их, окаянных!

— Нет, здесь стрельцам уже не место, Мавра Савишна.

— Кажись, что не место. Да нет ли где хоть одного какого забеглого? Я бы ему косою голову снесла! Да вот, кажется, идут разбойники. Погляди-ка, Андрей Петрович, глаза-то у тебя помоложе. Вон, вон! Видишь ли? Да их никак много, проклятых!

Андрей, посмотрев в ту сторону, куда Мавра Савишна ему указывала, увидел в самом деле вдали приближавшийся отряд стрельцов.

— Что это значит? — сказал Андрей. — Они, видно, с ума сошли: да их здесь шапками закидают.

— Ванюха! — закричала Мавра Савишна Сидорову. — Ступай к ним навстречу. Ступайте и вы все с Ванюхой! — сказала она прочим крестьянам. — Всех этих мошенников перестреляйте.

— Народу-то у нас маловато, матушка Мавра Савишна, — возразил Сидоров, почесывая затылок. — Стрельцов-то сотни две сюда идут; а нас всего семеро: нам с ними не сладить!

— Не робей, Ванюха, сладим с мошенниками. Коли станут они, злодеи, вас одолевать, так я сама к вам кинусь на подмогу.

— Нет, матушка Мавра Савишна, побереги ты себя. Уж лучше мы одни пойдем на драку. Скличу я побольше добрых людей, да и кинемся все гурьбой на злодеев.

Сказав это, Сидоров вмешался в толпу и закричал:

— Братцы! разбойники стрельцы сюда идут, — проводим незваных гостей!

Толпа зашумела и заволновалась; несколько сот вооруженных людей побежало навстречу приближавшемуся отряду стрельцов. Начальник их, ехавший верхом впереди, не вынимая сабли, поскакал к толпе и закричал:

— Бог помощь, добрые люди! Мы стрельцы Сухаревского полка и спешим в монастырь для защиты царя Петра Алексеевича!

— Обманываешь разбойник! — закричало множество голосов. — Тащи его с лошади! Стреляй в него!

— Господи Боже мой! — воскликнул купец Лаптев, рассмотрев лицо начальника отряда, — да это никак ты, Иван Борисович!

— Андрей Матвеевич! — сказал стрелец, спрыгнув с лошади и бросаясь на шею Лаптеву. — Господь привел меня опять с тобою увидаться!

Они крепко обнялись. Между тем несколько человек окружило их, и многие прицелились в стрельца из ружей.

— Не троньте его, хорошие люди! — закричал Лаптев. — Это пятидесятник Иван Борисович Борисов. За него и за всех стрельцов Сухаревского полка я вам поручаю. Этим полком правил пятисотенный Василий Петрович Бурмистров.

— Коли так, пусть их идут сюда! — закричала толпа.

— А где второй отец мой, Василий Петрович? — спросил Борисов Лаптева.

— Он лежит раненый, вон в той избушке.

— Раненый? Пойдем, ради Бога, к нему скорее!

Дорогою Лаптев узнал от Борисова, что Сухаревский полк шел к Москве по приказу Шакловитого; что на дороге встретился гонец с царским повелением, чтобы всякий, кто любит царя, спешил защищать его против мятежников, и что весь полк пошел тотчас же к монастырю.

— Я с своею полсотнею опередил всех прочих моих товарищей, — прибавил Борисов. — Скоро и весь полк наш придет сюда.

— Доброе дело, Иван Борисович, доброе дело! Ну вот мы уж и к избушке подходим. То-то Василий Петрович обрадуется, как тебя увидит. Он часто поминал тебя, Иван Борисович!

Они вошли в хижину. Бурмистров сидел в задумчивости на скамье, с подвязанною рукою.

— Вот я к тебе нежданного гостя привел, Василий Петрович, — сказал Лаптев.

Бурмистров, при всей своей слабости, вскочил со скамьи, увидев Борисова, а этот со слезами радости бросился в объятия Василья. Долго обнимались они, не говоря ни слова. Наконец Лаптев, заметив, что перевязка на руке Бурмистрова развязалась, посадил его на скамью и вместе с Борисовым насилу уговорил его, чтоб он лег успокоиться. Лаптев только что успел перевязать ему снова рану, как отворилась дверь, и вошли неожиданно Наталья с ее матерью и братом, отец Па-

вел, Мавра Савишна с Ольгою, Варвара Ивановна и капитан Лыков.

— Здравия желаю, пятисотенный! — воскликнул Лыков. — Я слышал, что тебя один из этих мошенников стрелыцов царапнул саблею. Ну что рука твоя?

— Кровь унялась; теперь мне лучше.

— Признаюсь, мне на тебя завидно: приятно пролить кровь свою за царя!.. Поди-ка поздравь жениха, любезная моя дочка! — продолжал он, взяв за руку Наталью и подведя ее к Бурмистрову. — Не стыдись, Наталья Петровна, не красней! Ведь я твой посаженный отец: ты должна меня слушаться. Поцелуй-ка жениха да пожелай ему здоровья. Ой вы, девушки! Ведь хочется смерть самой подойти, а нет, при людях, видишь, стыдно.

— Что это, господин капитан, — сказала старушка Смирнова, — как можно девушке до свадьбы с мужчиной поцеловаться!

— Не слушай господина капитана, Наталья Петровна, — прибавила Мавра Савишна. — Этакой греховодник, прости Господи! Ведь голову срезал девушке, да и нас всех пристыдил.

— Велик стыд с женихом поцеловаться! Это у нас, на Руси, грехом почитается, а в иностранных землях так все походя целуются! — возразил капитан и принудил закраसेвшуюся Наталью поцеловаться с женихом своим.

— Ну посмотри, что он завтра же выздоровеет! — примолвил Лыков. — Что, пятисотенный? Ты, я чаю, и рану свою забыл?

— Желательно, чтобы Россия сравнялась скорее в просвещении с иностранными землями, — сказал Андрей, взглянув украдкой на Ольгу. С первого на нее взгляда, еще в селе Погорелове, она ему так понравилась, что он твердо решил к ней свататься.

Наступил вечер. Около монастыря запылали в разных местах костры, и пустынные окрестности огласились шумным говором бесчисленной толпы и веселыми песнями. По просьбе Бурмистрова Лыков растворил окно, и все бывшие в хижине внимательно начали слушать песню, которую пел хор песенников, собравшихся в кру-

жок неподалеку от кижинны. Запевало затягивал, а прочие певцы подхватывали. Они пели:

**За п е в а л о**

Волга, матушка-река,  
Ты быстра и глубока

**Х о р**

Ты куда струи катишь,  
К морю ль синему бежишь?

**За п е в а л о**

Как по той ли по реке  
Лебедь белая плывет.

**Х о р**

На крутом на берегу  
Лебедь коршун стережет.

**За п е в а л о**

Поднимался он, злодей,  
Закружился он над ней.

**Х о р**

Остры когти распускал,  
На лебедушку напал

**За п е в а л о**

Остры когти вор навел,  
Грудь лебяжью вор пронзил.

**Х о р**

Где ни взялся млад орел  
По поднебесью летит.

**За п е в а л о**

Не каленая стрела  
Кровь злодейску пролила:

**Х о р**

Вора млад-орел убил  
И лебедку защитил.

**За п е в а л о**

Не лебедка то плыла,  
Не она беды ждала;

**Х о р**

То не коршун нападал,  
То не млад-орел спасал.

**За п е в а л о**

А сторонушке родной  
Зла хотел злодей лихой,

**Х о р**

А спасал ее наш царь,  
Млад надежа-государь!

— Лихо пропели! — сказал Лыков стоявшему подле него Лаптеву. — Ба! да у тебя никак слезы на глазах, Андрей Матвеевич! Что это с тобой сделалось?

— Смерть люблю слушать, коли хорошо поют, господин капитан, — отвечал Лаптев, утирая слезы. — Запевало-то знатный, этакой голос, — ну так, слышь ты, за ретивое и задевает.

## XI

*На зорки очи прозорливых  
Туманы дымные падут.  
Начнут плести друг другу сети  
И в них, как в безднах, пропадут.*

Г л и н к а.

Вскоре дошел слух в Москву о собравшемся в Троицкий монастырь бесчисленном множестве народа. Царевна София немедленно призвала к себе для совещания князя Голицына и Шакловитого.

— По моему мнению, — сказал Голицын, — твоему царскому величеству всего лучше удалиться на время в Польшу. Все верные слуги твои последовали бы за тобою... Я слышал, что полковник Циклер подал подробный донос царю.

— И это ты, князь, мне советуешь! — воскликнула с гневом царевна. — Мне бежать в Польшу?.. Никогда! Это бы значило подтвердить донос презренного Циклера! Я в душе чувствую себя правою и ничего не опасюсь. Младший брат мне не страшен; другой брат мой такой же царь, как и он. Ты забыл, князь, что я еще правительница!

— Беспрекословным исполнением воли твоей я докажу тебе, государыня, что мое усердие к тебе никогда не изменится, хотя бы мне грозила опасность вдесятеро более настоящей. Я рад пожертвовать жизнью за твое царское величество!

— На тебя одну возлагаем мы все надежду! — сказал Шакловитый. — Спаси всех нас, государыня! Клеветники очернили верного слугу твоего перед царем Петром Алексеевичем. Погибель моя несомненна, если ты за меня не вступишься. Полковника Петрова и подпол-

ковника Чермного увезли уже по приказу царя в Троицкий монастырь для допросов.

— Для чего же ты допустил увести их? — воскликнула София, стараясь скрыть овладевшее ею смущение.

— Я не смел противиться воле царской. Чермной не хотел отдаться живой в руки приехавших за ним стрельцов Сухаревского полка, ранил их пятидесятника, однако ж должен был уступить силе.

София, по некотором размышлении, послала Шакловитого пригласить к ней сестер ее, царевен Марфу и Марию, и тетку ее, царевну Татьяну Михайловну. Когда они прибыли к ней, то она со слезами рассказала им все, что, по словам ее, сообщили о ней царю Петру Алексеевичу клеветники и недоброжелатели. Убежденные ее красноречием, царевны поехали немедленно в Троицкий монастырь для оправдания Софии и для примирения ее с братом. Услышав, что избранные ею посредницы остались в монастыре, царевна пришла в еще большее смущение и послала чрез несколько дней патриарха к царю Петру. Но и это посредничество не имело успеха. Наконец, царевна сама решилась ехать в монастырь. В селе Воздвиженском встретили ее посланные царем боярин князь Троекуров и стольник Бутурлин и объявили ей, по царскому повелению, что она в монастырь впущена не будет. Пораженная этим София возвратилась в Москву. Вскоре прибыли туда боярин Борис Петрович Шереметев и полковник Нечаев с сильным отрядом и, взяв всех сообщников Шакловитого, отвезли в монастырь; Шакловитого же нигде не отыскивали.

Через несколько дней прибыл из монастыря в столицу полковник Сергеев и объявил, что он имеет нечто сообщить Софии по воле царя Петра Алексеевича. Немедленно был он впущен в ее комнаты.

— Зачем прислан ты сюда? — спросила София.

Сергеев, почтительно поклонясь царевне, подал ей запечатанную царскою печатью бумагу.

София велела бывшему в комнате князю Голицыну распечатать свиток для прочтения присланной бумаги. Князь дрожащим голосом прочитал:

«Великие государи цари и великие князи Иоани Алексеевич, Петр Алексеевич, всея Великия и Малыи и Белья России самодержцы, указали в своих великих государей грамотах и в Приказах во всяких делах и в челобитных писать свое великих государей имено-

вание и титулу по сему, как писано в сем указе выше сего, и о том из Розряду во все приказы послать памяти. Сентября 7 дня 7198 года\*.

— Они не вправе этого сделать! — воскликнула София. — Моего имени нет в этом указе. Он недействителен!.. Князья! напиши сейчас же другой указ об уничтожении присланного. Объяви, что тот будет казнен смертью, кто осмелится исполнить указ, написанный и разосланный без моего согласия.

— Государыня, ты никогда не отвергала советов искренно преданного слуги твоего. Дозволь ему еще раз, может быть, в последний раз в жизни, сказать откровенно свое мнение. Указ твой не будет иметь никакой силы и действия без имен обоих царей. Если же имена их царских величеств написать в указе без их согласия, то они могут обвинить тебя в присвоении принадлежащей им власти.

— А разве я не имею теперь права обвинить их в отнятии у меня власти, неоспоримо мне принадлежащей? — сказала в сильном волнении София. — В объявлении о вступлении их на престол было сказано, чтобы во всех указах писать вместе с их именами и мое имя. С тех пор власть их соединена нераздельно с моею. Покуда они цари, до тех пор я правительница. Поезжай сейчас же в монастырь, — продолжала она, обратясь к Сергееву, — и перескажи все слышанное здесь тобою. Объяви младшему брату моему, что я решусь на самые крайние средства, если он не отменит этого несправедливого указа.

— Исполню волю твою, царевна! — сказал Сергеев. — Но прежде должен я еще исполнить повеление царя Петра Алексеевича. Он приказал взять Шакловитого и привезти в монастырь.

— Шакловитый бежал из Москвы, и ты напрасно потеряешь время, если станешь его отыскивать.

— Царь повелел мне искать его везде, не исключая даже дворца.

— А я тебе запрещаю это!

— Не поставь меня в необходимость, царевна, оказывать неуважение к повелению дочери царя Алексея Михайловича. Дозволь мне исполнить царское повеление,

---

\* 1689 года.



которое я не решился бы нарушить и тогда, если б мне предстояла неминуемая смерть.

С этими словами Сергеев пошел к двери, которая вела в другую комнату.

— Ты осмеливаешься обыскивать мои комнаты! — воскликнула София. — Остановись! Я велю казнить тебя!

В это время вошел князь Петр Иванович Прозоровский и сказал царевне, что царь Иоанн Алексеевич повелел сообщить ей, чтобы она дозволила Сергееву взять Шакловитого, скрывающегося в ее комнатах.

София переменилась в лице, хотела что-то отвечать, но Сергеев отворил уже дверь в другую комнату и вывел оттуда Шакловитого.

— Спаси меня, гусударыня! — воскликнул последний, бросаясь к ногам Софии. — Тебе известна моя невинности!

— Покорись, Федор Иванович, воле царской! — сказал Прозоровский. — Если ты невинен, то тебе нечего бояться: на суде докажешь ты правоту свою. Правый не боится суда. Если же ты станешь противиться, то полковнику приказано взять тебя силою и привезти в монастырь. С ним присланы сто солдат, которые стоят около дворца и ожидают его приказаний. Итак, не сопротивляйся и поезжай теперь же в монастырь.

Шакловитый, ломая руки, вышел из дворца с Прозоровским и Сергеевым.

Когда его привезли в монастырь, то собралась немедленно Государственная Дума. После четырехдневных допросов Шакловитый, Петров и Чермной были уличены в умысле лишить жизни царя Петра Алексеевича и его родительницу и произвести мятеж. Одиннадцатого сентября царь повелел думному дьяку выйти на крыльцо и прочитать всенародно *розыскное дело* о преступниках. По окончании чтения со всех сторон раздался крик: «Смерть злодеям!» — и Дума приговорила их к смертной казни. Истопник Евдокимов, подъячий Шошин и другие соумышленники Шакловитого сосланы были в Сибирь.

Когда Шакловитого, Чермного и Петрова вели к месту казни, то последний, повторив перед народом признание в своих преступлениях, сказал:

— Простите меня, добрые люди! Научитесь из на-

шого примера, что клятвопреступников рано или поздно постигает неизбежное наказание Божие. За семь лет перед этим присягнул я царю Петру Алексеевичу, изменил ему, и вот до чего дошел я наконец! Храните присягу, как верный залог вашего и общего счастья.

Чермной, бледный, как полотно, укорял Циклера, который шел подле него, ведя отряд стрельцов, окружавший преступников.

— Ты погубил нас всех! — говорил Чермной. — Нашею гибелью хочешь ты прикрыть твои злодеяния. Тебе за донос дали награду, а нас ведут на казнь. Не знал я тебя до сих пор, злодея-изменника: давно бы мне тебя зарезать!

— Не укоряй его, Чермной! — сказал Петров. — Я знаю, что Циклер столько же преступен, сколько и мы. Он донес на нас, но я его прощаю. Мы заслуживаем казнь, к которой приговорены. Придет время, ответит и он Богу за дела свои. Берегись, Циклер, чтобы и тебя не постигла когда-нибудь равная с нами участь. Не надейся на хитрость твою, она тебе не поможет, и правосудие Божие совершится над тобою так же, как и над нами, если искренним раскаянием не загладишь твоих преступлений.

— Напрасно стараешься ты, Петров, очернить меня, — сказал Циклер, — тебе не поверят. Если б я был в чем-нибудь виноват, то его царское величество не наградил бы меня ныне поместьем в двести пятьдесят четвертей и подарком в тридцать рублей.

Вскоре после казни Шакловитого и его сообщников боярин князь Троекуров послан был царем Петром в Москву. Он пробыл около двух часов у царя Иоанна Алексеевича и пошел потом в комнаты царевны Софии для объявления ей воли царей. Властолюбивая София принуждена была удалиться в Новодевичий монастырь. Там постриглась она и провела остальные дни жизни под именем Сусанны\*. Боярина князя Голицына приговорили к ссылке в Яренск.

---

\* Она скончалась 3 июля 1705 года в этом монастыре, где и была погребена.

*И мой последний взор на друга  
устремитя.*

Дмитриев.

— Что это, Андрей Матвеевич, за звон по всей Москве сегодня? — спросила Варвара Ивановна своего мужа, который отдыхал на скамейке в светлице жены. Накануне того дня, тридцатого сентября, возвратился он из Троицкого монастыря в дом свой, уверясь, что никакая опасность не угрожает уже царю Петру Алексеевичу.

— Разве ты забыла, что сегодня праздник Покрова пресвятыя Богородицы.

— Вестимо, что не забыла; да обедни давно уж отошли. а все-таки звонят на всех колокольнях. Посмотри-ка, Андрей Матвеевич, посмотри! — сказала Варвара Ивановна, подойдя к окну. — Куда это народ-то бежит? Уж не стрельцы ли окаянные опять что-нибудь затеяли?

— Типун бы тебе на язык! Нет уж, матушка, полно им бунтовать, прошла их пора!

— Как, Андрей Матвеевич, ты дома! — воскликнул Андрей, входя в комнату. — Разве не слышал ты, что сегодня царь Петр Алексеевич въезжает в Москву?

— Неужто, — вскричал Лаптев, спрыгнув со скамейки. — Жена! одевайся проворнее, пойдем встречать царя-батюшку.

Все трое вышли из дома и поспешили к Кремлю. Народ толпился на улицах. На всех лицах сияла радость. От заставы до Успенского собора стояли в два ряда Преображенские и Семеновские потешные, Бутырский полк и стрельцы Сухаревского полка. Даже заборы и кровли домов были усыпаны народом. Взоры всех обращены были к заставе. Наконец раздался крик: «Едет, едет!», и вскоре царь на белой лошади в сопровождении Лефора и Гордона появился между стройных рядов войска. За ним ехали Налеты под предводительством Бурмистрова. Черная перевязка поддерживала его левую руку. Гром барабанов смешался с радостными восклицаниями народа. Когда царь подъехал к кремлевскому дворцу, Иоанн Алексеевич встретил на крыльце сво-

его брата, нежно им любимого. Они обнялись и оба пошли к Успенскому собору. Там патриарх совершил благодарственное молебствие. По выходе из храма цари едва могли достигнуть дворца сквозь толпу ликующего народа. В тот же день щедро были награждены все прибывшие к Троицкому монастырю для защиты царя.

День уж вечерел. Бурмистров, поместив своих Налетов на Лыкове дворе, поспешил к своему дому. При взгляде на этот дом, так давно им оставленный, сердце Василия наполнилось каким-то сладостно-грустным чувством. Сколько воспоминаний приятных и горестных возбудил в Василье вид его жилища! Он вспомнил беспечные, счастливые дни молодости, проведенные вместе с другом его, Борисовым, вспомнил первую встречу свою с Натальею и прелесть первой любви, вспомнил и бедствия, которые так долго всех их угнетали.

Долго стучался он в ворота. Наконец слуга, его Григорий, живший в доме один, как затворник, и охранявший жилище своего господина, отворил калитку.

— Барин! — воскликнул он и упал к ногам своего господина, заплакав от радости.

— Встань, встань! Поздоровайся со мной, Григорий, — сказал Бурмистров. — Мы уж давно с тобой не видались.

— Отец ты мой родной! — восклицал верный слуга, обнимая колена Василия. — Не чаял я уж тебя на этом свете увидеть.

Василий вошел в дом и удивился, найдя в нем все в прежнем порядке. Григорий сберег даже дубовую кадочку с померанцевым деревцем, стоявшую в спальне Бурмистрова, — последний подарок прежнего благодетеля его и начальника, князя Долгорукого. Всякий день слуга поливал это деревце, обметал везде пыль и перестилал постель, как будто бы ожидая к вечеру каждого дня возвращения господина.

Когда Василий вышел в свой сад, то, увидев там цветник, над которым он и Борисов часто трудились весною, остановился в задумчивости. Цветы все поблекли, и весь цветник засыпан был желтыми листьями деревьев, обнаженных рукою осени.

— Помнишь ли, барин, как Иван Борисович любил этот цветник? Уж не будет он, горемычный, гулять с тобой в этом саду!

— Как, почему ты это говоришь? — спросил Василий.

— Да разве ты не знаешь, барин, что он приезжал в Москву из монастыря со стрельцами и что подполковник Чермной, когда Иван Борисович хотел взять этого злодея, ранил его кинжалом?

— Поведи меня, ради Бога, к нему скорее! — воскликнул Бурмистров. — Где он теперь?

— Лежит он неподалеку отсюда, в избушке какого-то посадского. Я его хотел положить в твоём доме, да сам Иван Борисович не захотел. «Где ни умереть, — сказал он, — все равно».

Встревоженный Бурмистров последовал за слугою и вскоре подошел к избушке, где лежал Борисов. Послав слугу за лекарем, осторожно отворил он дверь и увидел друга своего, который лежал на соломе при последнем издыхании. Подле него сидела жена посадского и плакала. Пораженный горестию, Василий взял за руку Борисова. Тот открыл глаза и устремил угасающий взор на своего друга, которого он называл вторым отцом своим за оказанные ему благодеяния.

— Узнал ли ты меня? — спросил Василий, стараясь скрыть свою горесть. — Я пришел помочь тебе: сейчас придет лекарь и перевяжет твою рану.

— Уж поздно! — отвечал слабым голосом Борисов. — Это ты, второй отец мой! Слава Богу, что я с тобой успею проститься!

Бурмистров хотел что-то сказать своему другу в утешение, но не мог, тихо опустил его хладеющую руку, отошел к окну, и заплакал.

— Сходи скорее за священником! — сказал он на ухо жене посадского. — Он умирает!

— Я уж призывала священника, — отвечала тихо женщина, — но больной не хотел приобщиться и сказал батюшке, что он раскольник.

— Раскольник! — невольно воскликнул Бурмистров, пораженный горестным удивлением.

Борисов, услышав это восклицание, собрал последние силы, приподнял голову и сказал:

— Не укоряй меня, Василий Петрович! Может быть, я и согрешил перед Богом, но что делать! Я дал уже клятву и нарушить ее не хочу, чтобы больше не согрешить. Без тебя, второй отец мой, некому было меня предостеречь. В Воронеже познакомился я с сотником Андреевым. Все говорили про него, что он святой. Не мое дело судить его, один Бог может видеть его душу. Андреев уговорил меня перекреститься в веру истинную. Он уверил меня...

Глаза Борисова закрылись, он склонил голову и простерся, недвижимый, на соломе.

С великим трудом Василий привел его в чувство.

Увидев лежавший подле Борисова небольшой серебряный образ Богоматери, который он снял с шеи, Василий взял этот образ и сказал Борисову:

— Друг мой! Помнишь ли, как ты просил меня, расставаясь со мною, вместо отца и матери благословить тебя этою иконой? Заклинаю тебя теперь: если ты еще не перестал любить меня и верить, что и я люблю тебя по-прежнему, то не упорствуй в заблуждении твоём, присоединись опять к церкви православной, и Бог поставит тебя с одра болезни.

— Нет, второй отец мой, я чувствую, что кончина моя близка. Благослови меня перед смертью этим образом, но отломи прежде это колечко с четвероконечным крестом. Андреев открыл мне, что это печать Антихриста.

— Друг мой! крест важен не потому, что он четырехконечный или осьмиконечный, а потому, что он напоминает нам распятого за нас Спасителя. Сами раскольники крестятся, изображая крест четырехконечный, и между тем отвергают его, как печать Антихристову. На каждом шагу спотыкаются они, не понимая, в чем состоит истинная вера, которая предписывает нам братскую любовь и единомыслие, а не споры и расколы, всегда противные Богу. Изувер Андреев морил людей голодом, убивал их и наконец сжег самого себя,— и ты этого человека допустил обольстить тебя!

— Я верю тебе, второй отец мой; ты никогда не давал мне совета пагубного. Но клятва, которую я дал, меня связывает.

— Клятва, данная по заблуждению, не действительна. Стремиться к истине и отвергать заблуждение — вот клятва, которую должны мы соблюдать целую жизнь.

— Ах, Василий Петрович! трудно человеку узнать истину! Почему знать, кто заблуждается: вы или мы?

— Христос установил одну истинную церковь на земле. Мы сделались при великом князе Владимире единоверцами греков, и православная церковь процветает с тех пор в нашем отечестве. Раскольники отделились от нее, затеяв споры, от которых апостол Павел повелевает христианам удаляться. Итак, право ли они поступили?

— Боже! просвети меня и укажи мне путь правый! — сказал Борисов, закрыв лицо руками.

Между тем купец Лаптев, услышав об отчаянном положении Борисова, бросился к отцу Павлу, который вместе с ним из Троицкого монастыря приехал в Москву и остановился в доме своего племянника, также священника приходской церкви. По просьбе Лаптева отец Павел немедленно пошел к Борисову, неся на голове Святые дары. Перед ним, по обычаю того времени, утвержденному царским указом, шли два причетника церковные с зажженными восковыми свечами, а священника окружали десять почетных граждан, в том числе Лаптев. Все они, сняв шапки, держали их в руках. Прохожие останавливались, всадники слезали с лошадей и молились в землю, когда мимо их проходил священник. Царь Петр, случайно попавшийся ему навстречу, также слез с лошади, снял шляпу и присоединился к гражданам, окружавшим отца Павла. Вместе со всеми вошел он в хижину, где лежал Борисов.

— Приступи к исполнению твоей обязанности, — сказал царь тихо священнику и, увидев Бурмистрова, спросил его: — Не родственник ли твой болен?

— Это, государь, пятидесятник Сухаревского полка Борисов. Его ранил Чермной, когда он хотел взять его и отвезти в Троицкий монастырь.

— Злодей! — воскликнул монарх, содрогнувшись от негодования. Потом приблизился он к Борисову, взял его за руку и с чувством сказал: — Ты за меня пролил кровь твою, Борисов. Дай Бог, чтоб здоровье твое скорее восстановилось: я докажу тогда, как умею я награждать

верных и добрых моих подданных... Был ли здесь лекарь? — спросил царь, обратясь к Бурмистрову.

— Я послал уже за ним, государь.

— Исповедуй, батюшка, и приобщи больного Святых таин,— продолжал царь.— Мы все покуда выйдем из дома, чтобы не мешать тебе, а потом все вместе поздравим Борисова.

С Борисовым остался один отец Павел. Ревность к истине и любовь к заблудшему ближнему воодушевили старца и придали ему увлекательное, непобедимое красноречие. Борисов познал свое заблуждение, обратился к церкви православной, и луч горней благодати озарил его пред смертью. Старец приобщил его и потом отворил дверь хижины.

— Поздравляю тебя, друг мой! — сказал царь Петр Борисову, взяв его за руку.— Лучше ли ты себя чувствуешь?

— Ах, государь, я умираю; но мне стало легче вот тут! — отвечал Борисов прерывающимся голосом, положив руку на сердце.— Да благословит тебя Господь и да ниспошлет тебе долгое и благополучное царствование!.. Прощай, второй отец мой, прощай, Василий Петрович! Я последовал твоему совету: умираю сыном церкви православной! Благодарю тебя!.. Чермной, бедный Чермной! я тебя прощаю, от искреннего сердца прощаю!.. Благослови меня, батюшка! Да наградит тебя Бог за то, что ты спас меня от вечной гибели!.. Боже милосердый! Ты не отверг и разбойника раскаявшегося, не отвергни и меня!.. Услышь молитву мою: утверди и возвеличь царство русское и сохрани его от...

Голос Борисова начал слабеть. Он перекрестился, тихо вздохнул, прижал к устам образ, присланный ему матерью, взглянул на Василья и переселился в мир лучший. На спокойном лице его изобразилась тихая, младенческая улыбка.

У Лаптева катились в три ручья слезы. Бурмистров не мог плакать от сильной горести.

На другой день прах Борисова предали земле, и царь почтил память доброго и верного подданного присутствием своим на похоронах его.



Наступил декабрь. Царь Петр с Лефором и Гордоном удалился из Москвы в Преображенское и повторил Василью приказание: приехать туда вслед за ним не иначе, как с молодою женою.

Мавра Савишна в одни сутки сделала в доме своего племянника все нужные приготовления к свадьбе. Когда собрались гости, то она посадила за стол, уставленный кушаньями, Василья с его невестою, и два мальчика разделили их занавесом из красной тафты. Варвара Ивановна, сняв с головы Натальи подвенечное покрывало, начала расчесывать гребнем из слоновой кости прелестные ее кудри. Вскоре прибыл отец Павел, благословил крестом жениха и невесту, и все отправились в церковь. Наталью посадили в богато украшенные сани, в которых ехала некогда к венцу Варвара Ивановна. Хомут лошади увешан был лисьими хвостами. С невестою сели жена Лаптева и Мавра Савишна. Василий, капитан Лыков, Андрей и Лаптев отправились в церковь верхом. По возвращении из церкви все сели за стол и не успели еще приняться за первое блюдо, как вдруг отворилась дверь, и вошел царь Петр в сопровождении Лефора. Все вскочили с мест.

— Поздравляю тебя, ротмистр! — сказал царь. — И тебя поздравляю, молодая! Сядьте все снова по местам. Отчего вы все так встревожились? Разве я так страшен? Кажется, дети не должны бояться отца. Мне было бы приятно, если б подданные мои считали меня отцом своим.

— Они и считают тебя отцом, государь! — отвечал Бурмистров.

— Докажите же это мне на деле. Я не хочу смущать вашего праздника. Продолжайте веселиться, как будто бы меня здесь не было. Я теперь не царь, а гость ваш. Садись-ка, любезный Франц, сюда к столу, а я подле тебя сяду. Вот сюда! Проси же, молодая, прочих гостей садиться. Они все-таки стоят,

После стола, за которым царь выпил первый за здоровье молодых, все встали с мест и в почтительном молчании смотрели на Петра, который, подойдя к скну, начал разговаривать с Лефором.

Лаптев, дрожа от восхищения и робости, смотрел на Петра во все глаза.

— Как зовут тебя, добрый человек? — спросил его царь, приблизясь к нему и потрепав его по плечу.

Лаптев вместо ответа повалился в ноги царю.

Петр поднял его и сказал:

— Встань и поговори со мною. Что ты меня так боишься? Разве ты сделал что-нибудь худое?

— Нет, надежа-государь, — отвечал Лаптев, заикаясь, — худа никакого за собою не знаю; но кто пред Богом не грешен, а пред царем не виноват?

— В чем же ты виноват предо мною?

— Во всем, надежа-государь, во всем!

— Я бы желал, чтобы все подданные мои были предо мною виноваты так, как ты, во всем, и чтобы не было ни одного в чем-нибудь виноватого. А скажи-ка мне: кто из Гостиного двора и купеческих рядов привел к Троицкому монастырю до четырехсот человек для моей защиты? Ты думаешь, что я этого не знаю?

— Виноват, надежа-государь! Я только скликал народ и объявил твой указ: и старый, и малый — все так и бросились сами к монастырю, а я их не приваживал.

— За эту вину надобно наказать тебя. Приготовь завтра, любезный Франц, грамоту о пожаловании купца Гостиной сотни Лаптева гостем.

Лаптев снова упал к ногам царя и заплакал, не имея сил выговорить ни одного слова.

— Ну полно же, — сказал Петр, — встань! Я знаю, что ты благодарен за оказанную тебе милость. Старайся торговать еще лучше, веди дела честно и показывай другим собою пример. Я и вперед тебя не забуду. А ты, Лыков, что подельываешь? Бутырский полк не пристал уж в последний раз, как прежде, к стрельцам?

— Бог сохранил от этого позора, государь! — отвечал Лыков, вытянувшись.

— Что ж ты ныне не подрался со стрельцами? Ты ведь однажды с одной ротой, как помнится, чуть не отбил у них пушек в Земляном городе.

— Отбил бы, государь, да народу у меня было мало. Притом мошенники успели нас вспрыснуть раза два картечью. Поневоле пришлось отступить!

— Знаю, знаю, что и храбрые офицеры иногда отступают. А что тебе лучше нравится: идти назад или вперед?

— Вперед, государь, когда можно поколотить неприятеля, и назад, когда должно побережь и себя, и солдат на другой раз. Так мне покойный майор Рейт приказывал.

— Будь же ты сам майором. Я посмотрю: что ты приказывать другим станешь.

— Стану всем приказывать, чтобы шли за мною в огонь и в воду за твое царское величество.

— Ну, а ты, ученый муж, что скажешь? — сказал Петр, обратясь к Андрею. — Ты также с Лаптевым приехал к монастырю?

— Точно так, государь.

— Я слышал, что ты большой мастер сочинять и говорить речи. Кто тебе из древних ораторов лучше всех нравится?

— Цицерон, государь.

— Мне сказывали, что ты говорил речь на Красной площади против расстриженного попа Никиты Пустосвята.

— Я успел сказать только введение; договорить же речи не мог, потому что народ стащил меня с кафедры и едва не лишил жизни.

— Договори же речь твою на кафедре в Заиконоспасском монастыре. Я назначаю тебя учителем в академию. Только смотри, чтоб ученики не стащили тебя с кафедры. Ну, прощай, ротмистр! — продолжал царь, обратясь к Бурмистрову. — Я нарочно приехал в Москву, чтобы побывать на твоей свадьбе. Приезжай скорее в Преображенское. Я постараюсь, чтобы ты забыл там все, что перенес за верность твою ко мне. До свидания! Вручи завтра эту грамоту священнику села Погорелова, который привел всех своих прихожан к Троицкому монастырю. Я его назначаю в дворцовые священники. Это ожерелье, которое жена моя носила, надень на твою жену; а ты, молодая, возьми эту саблю и надень не на ротмистра, а на подполковника налетов.

Вручив Василью драгоценное жемчужное ожерелье, царь снял с себя саблю, подал Наталье и вышел поспешно с Лефором, не дав времени излить пред ним чувства благодарности, которые наполнили сердца счастливой четы.

— Посмотри, милый друг! — сказала Наталья, надевая саблю на мужа своего дрожащими от радости руками. — На рукояти вырезаны какие-то слова.

Василий, вынув из ножен саблю до половины, взглянул на рукоять и прочитал надпись: «За преданность церкви, престолу и отечеству».

В июле 1709 года сидел отставной, за полученными в сражениях ранами, бригадир у окна своего дома и любовался на золототерхый Кремль, осыпанный яркими лучами заходящего солнца. У другого окна вышивала в пяльцах жена бригадира. Хотя ей было уже за сорок лет от роду, но, судя по сохранившимся прекрасным чертам лица ее и по стройному стану, можно было подумать, что она не достигла еще и тридцатилетнего возраста. На покрытой шелковым ковром скамье, которая стояла у стены, сидели седой, как лунь, старик с его женою, отличавшейся необыкновенною дородностью, и пожилой человек с важным лицом. Последний рассматривал внимательно ландкарту России, которую держал в руках. На другой скамье, сгорбясь, о чем-то перешептывались две старухи. Они попеременно кашляли; по временам обращались они с вопросами к пожилой, красивой женщине, которая стояла у печки. Одна из старух казалась лет семидесяти, другая лет девяноста.

— Что ни говори, — сказал человек, державший ландкарту, сидевшему подле него седому старику, — а дожили мы до трудных времен: того и смотри, что шведский король, этот Юлий Кесарь наших времен, возьмет Полтаву и разобьет наше войско наголову.

— Да разве ты не слыхал, — сказал бригадир, — что царь Петр Алексеевич спешит со свежим войском на помощь к осажденным?

— Слышал; однако ж, откровенно сказать, я дрожу, ожидая развязки этой ужасной борьбы между двумя сильнейшими монархами Севера. Под стенами Полтавы решится участь России. Дай Бог, чтоб счастье было ныне нам, русским, благоприятнее, чем под стенами

Нарвы. Право, приходит иногда на ум, что Петр Алексеевич едва ли хорошо сделал, уничтожив стрельцов, и заменив их войсками, по-европейски образованными. Под Нарвой-то шведы их порядком поколотили. Подобного поражения и стрельцы никогда не претерпевали.

— Ты удивляешь меня! — сказал бригадир. — Вспомни, сколько раз стрельцы бунтовали, сколько раз жизнь государя и благо-отечества подвергались от этого мятежного войска опасности. Мы и теперь бы не наслаждались спокойствием, если б это войско еще существовало. Помнишь ли, в какой пришли ужас все жители Москвы в 1698 году, когда во время пребывания государя в Вене стрельцы, собравшись из разных мест, двинулись к столице в намерении овладеть ею, ниспровергнуть законную власть и вручить царевне Софии управление царством. Если бы боярин Алексей Семенович Шеин с воеводою Ржевским и генералами Гордоном и князем Кольцовым-Масальским не встретил их у Воскресенского монастыря, за сорок шесть верст от столицы, то она потонула бы в крови. С их стороны было до двадцати тысяч, с нашей не более двенадцати; однако ж их разбили наголову. Можно ли после этого жалеть об уничтожении стрельцов? Они только останавливали государя на каждом шагу в его великих предприятиях. Еще в Вене, когда он получил известие от князя Федора Юрьевича Ромодановского о новом возмущении стрельцов, государь решился их уничтожить. У меня есть список с ответа его Ромодановскому.

Бригадир, встав, подошел к письменному своему столу, который стоял у одного из окон горницы, и, отыскав в ящике список, о котором говорил, прочитал:

*«Письмо твое, июня 17 дня писанное, мне отдано, в котором пишет ваша милость, что семя Ивана Михайловича\* растет. Я прошу вас быть крепким, а кроме сего ничем сей огонь угасить не можно. Хотя зело нам жаль нынешнего полезного дела, однако ж сей ради причины будем к вам так, как вы не чаете».*

— Да! — сказал седой старик. — Это проклятое семя глубоко запало в нашу русскую землю. Как бы не ба-тюшка-царь Петр Алексеевич, так, слышь ты, и ныне

---

\* Милославского.

были бы от этого семени цветки да ягодки. Чего-то в нашей матушке-Москве не бывало! Много раз и твоя жизнь, господин бригадир, висела на волоске, и меня злодей Шакловитый хотел убить, а добро мое разграбить. Однако ж Господь сохранил всех нас. Недаром сказано в Писании, что и волос с главы нашей не спадет без воли Божией. Вот мы, слава Богу, до сих пор живы и здоровы; а где все изменники и бунтовщики? Все погибли!

— Неужто-таки все? — спросила жена старика.

— Да немного их уцелело. Перечтем по пальцам. О казненных говорить уж нечего. Боярин Иван Михайлович Милославский давным-давно умер, и такую смертью, какой не дай Бог и злему недругу; племянника его, комнатного стряпчего Александра Ивановича Милославского, убили на дороге разбойники; стольник Иван Толстой пропал без вести; кормовой иноземец Озеров после свадьбы его с постельницей царевны Софьи Алексеевны, Федорой Семеновной, запил с горя, жену свою — видно, хороша была, покойница! — убил и сам удавился. Уцелели только Петр Андреевич Толстой, бывший городской дворянин Сунбулов да немец Циклер.

— Циклер? — сказал бригадир. — Да разве ты не знаешь, что и этот хитрец наконец попался? Ах да, ведь ты был в тот год по твоим торговым делам в Архангельске, так, верно, и не слыхал об этом. Циклер добился уж в думные дворяне. Царь Петр Алексеевич, узнав его покороче, назвал его однажды собеседником Ивана Михайловича Милославского. Циклер начал с тех пор питать в сердце тайную злобу и, наконец, вступил в заговор с окольничим Алексеем Соковниным, стольником Федором Пушкиным, стрельцами Васильем Филипповым и Федором Рожиным да донским казаком Петром Лукьяновым. У них было положено лишить государя жизни и избрать Циклера на престол. Царь сам с одним только денщиком поехал вечером в дом Соковнина и нашел там собравшихся заговорщиков. Все они были взяты капитаном Лопухиным, прибывшим по царскому приказу с отрядом Преображенского полка, и четвертого марта 1697 года всех их казнили смертью.

— Вот что! Так и Циклера, наконец, Бог попутал! — сказал старик. — А слышал ты, господин бригадир, что

царь недавно встретил Сунбулова в Чудове монастыре? Царь, слышь ты, был в соборной церкви того монастыря и приметил, что один чернец после обедни не подошел к антидору. Узнав, что этот чернец был Сунбулов, государь подозвал его к себе и спросил: «Для чего ты нейдешь к антидору?» — «Я-де не смею и глаз на тебя поднимать, не только пройти мимо тебя, государь!» — «Почему подал ты против меня голос, когда избирали меня на царство?» — спросил его еще царь. — «Иуда предал Спасителя за тридцать сребреников, а я предал тебя за обещанное боярство». — Государь, видя его раскаяние, помиловал его и оставил в монастыре.

— Стало быть, только Сунбулов да Петр Толстой, — примолвил человек с ландкартой, — не погибли.

— Толстой, — сказал бригадир, — принял участие в первом стрелецком бунте, когда еще был очень молод. Он вскоре раскаялся и загладил вину свою усердною службою царю Петру Алексеевичу. Из стольников вступил он прапорщиком в Семеновский полк, дослужился до капитанского чина и переведен был в Преображенский полк, а ныне находится в Царьграде послом его царского величества.

В это время вбежал в комнату девятилетний сын бригадира в слезах и бросился к отцу на шею.

— Что с тобой сделалось, Федя?

— В саду играли мы в войну, батюшка, — отвечал мальчик, продолжая плакать, — я был царь Петр Алексеевич, а двоюродный мой братец Алеша — шведский король Карл; мои братцы были русские генералы и солдаты, а его братец и сестрица Маша — шведские. Я начал было делать из прутиков Полтаву, а Алеша не дал кончить и всю Полтаву притоптал ногами.

— Какой шалун! Ты, Олинька, худо за ним смотришь, — сказал человек, державший ландкарту, женщине, которая стояла у печки и разговаривала с двумя старухами.

— Скажи ему, Федя, — сказала женщина сыну бригадира, — чтоб он сейчас же опять построил Полтаву, а не то... Да вот и сам победитель пришел сюда! Зачем ты, Алеша, озорничаешь?

— Я совсем, матушка, не озорничал!

— Зачем ты притоптал Полтаву? — спросил человек с ландкартой.

— Мы играли, батюшка, в войну. Федя, Миша и Вася стали на одну сторону, а я с братцем Гришей и сестрицей Машей на другую. Мы все навали с рябины ягод, начали стреляться и условились так: если мы первые попадем Феде в лоб ягодой, то Полтава моя, а если они мне, то я должен идти к нему в плен. Сестрица Маша с первого раза попала Феде в лоб — я и притоптал Полтаву.

— Так зачем же ты понапрасну жалуешься, Федя? — сказал бригадир. — Так ли происходило сражение, как рассказал Алеша? — спросил он у прочих детей, вошедших во время рассказа Алеши в горницу.

— Мы, мы победили! — закричали в один голос брат и сестра Алеши.

— Я ему попала ягодой в самый лоб! — прибавила Маша.

— Не стыдно ли тебе плакать, Федя? — сказал бригадир. — Перестай.

— Да ведь досадно, батюшка! Как бы я был шведский король, да меня победили, так я бы не заплакал.

— Кто это к нам приехал? — сказала жена бригадира, смотря в окно. — Должен быть дорожный: лошади чуть дышат, и повозка вся покрыта пылью.

Все подошли к окну и увидели вышедшего из повозки какого-то генерала, который завернут был в плащ.

Через несколько минут отворилась дверь, и генерал вошел в горницу.

— Боже мой! — воскликнул бригадир, бросаясь в объятия генерала. — Вот неожиданный гость!

Они крепко обнялись. Генерал, поздоровавшись со всеми бывшими в комнате, сел на скамью.

— Не из армии ли, любезный друг, приехал? — спросил его бригадир.

— Прямо оттуда!

— Ну что, каково идут наши дела?

— Да плоховато! Мошенники-шведы так нас, русаков, бьют, что только держись!

— Быть не может!

— Я тебе говорю! Шведский король задал нам такого трезвону под Полтавой, что и теперь еще в ушах звенит!



— Ах, Боже мой! — воскликнули все печальным голосом.

— А где же царь Петр Алексеевич? Неужели в самом деле армия наша разбита? — спросил бригадир.

— Бутырский полк, в котором я прежде служил, весь положен на месте, Семеновский и Преображенский отдались в плен, а все прочие разбежались!

— Господи Боже мой! — воскликнул седой старик, сплеснув руками и вскочив со скамьи. — Скажи, ради Бога, господин генерал: царя-то батюшку помиловал ли Господь? Уж и он не попался ли в полон к врагам-шведам?

— Не правду ли я сказал, — шепнул человек с ландкартой бригадиру, — что и стрельцов иногда пожалеть можно?

— Ну что уж вас мучить! — продолжал генерал. — Этак я вас всех встревожил! Не бойтесь: все это я налгал, а теперь и правду скажу. Наш царь под Полтавой раскатал шведов в прах!

— Слава Богу! — воскликнули все в один голос.

— Сам король едва ноги уплел!

— Ура! — закричали все дети, прыгая от радости и хлопая в ладоши.

— Ура! — затянул дрожащим голосом седой старик, присоединясь к детям и также захлопав в ладоши. — Кричите, детки, кричите громче: ура!

— Ха, ха, ха! Старый да малый раскричались! — сказал генерал, засмеявшись.

— Слава тебе, Господи! — прибавила одна из старух, сидевших на скамье. — Теперь враги-шведы, чай, уж не придут к Москве! Я того и смотрела, что доберутся, проклятые, до моего поместья, да домик мой сожгут.

— Нет уж, теперь шведов опасаться нечего! — сказал бригадир. — Право, не верится, что русские достигли такой степени славы.

— Посмотрел бы ты, бригадир, — продолжал генерал, — каким орлом летал царь во время сражения. Перед началом битвы стал он пред войском и сказал: *«Воины! пришел час, который решить должен судьбу отечества, и вы не должны помышлять, что сражаетесь аз Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за отечество, за православную нашу веру и цер-*

ковъ. Не должна вас также смущать слава неприятеля, яко непобедимого, которую ложную быти вы сами победами своими над ним неоднократно доказали. Имейте в сражении пред очами вашими правду и Бога, поборающего по вас. На Того единого, яко всесильного во бра-нех, уповайте; и о Петре ведайте, что ему жизнь его не дорога, только бы жила Россия, благочестие, слава и благосостояние ея!». Потом благословил он войско, сотворив знамение креста своею шпагою, и велел начать сражение. Раздалась команда «пали!» — и наши грянули по шведам из пушек, а они в нас из своих. Они бросились к нам, а мы к ним, и как сошлись сажень на двадцать, то и начали вспрыскивать друг друга картечью да ружейным огнем. Наконец дошло дело до штыков. Шведы разрезали было наш фронт и закричали уж «победа!» — нет, любезные, погодите! Царь налетел со вторым баталионом Преображенского полка и всех шведов пробившихся чрез наш фронт, уgomонил. В это время князь Меншиков и генерал-поручик Боур с конницею с двух флангов ударили на неприятельскую конницу. Пустилась, матушка, наутек! А пехота наша, видя то, пошла в штыки; раздалось «ура» — и шведской армии как не бывало! Во время сражения пуля прострелила на царе шляпу. Бог его помиловал!

— Бог хранит царей, жертвующих собою для счастья вверенных им народов, — сказал бригадир. — Сколько раз избавлял Он царя Петра Алексеевича от опасностей! Ну что ты теперь скажешь? — продолжал он, обратясь к человеку с ландкартой. — Кажется, нельзя жалеть, что победителем Карла XII, спасителем и отцом отечества, уничтожены были стрельцы.

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

КОНСТАНТИН  
МАСАЛЬСКИЙ

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК





В 1723 году, на Санкт-петербургском острове (нынешней Петербургской стороне, которая в то время была главная часть города), на Троицкой площади, стоял в ряду других строений дом купца Ильи Фомича Воробьева, не каменный и не деревянный, а такой, какого не сыщешь ныне во всем Петербурге. Он был, как называли тогда, *мазанка*, и не простая мазанка, а *образцовая*, потому что строился по примерному чертежу, утвержденному Петром Великим. На лицевой стороне дома, посредине, находилась дверь с крыльцом в три ступени и по три окна с правой и с левой стороны двери. Вот все, что можно сказать о наружности здания. Внутренность его описывать не станем и потому, что ее можно увидеть и ныне, войдя в любой дом мещанина, держащегося старины, и потому, что не многие смотрят на внутреннюю красоту: была бы хороша только наружность.

Илья Фомич, возвратясь летним вечером из гостиного двора и надев халат, отдыхал после дневных хлопот в креслах, стоявших у окошка. Кстати заметить, что гостинный двор находился тогда посредине Троицкой площади и состоял из мазанкового четвероугольного в два яруса здания. В нижнем ярусе устроены были лавки, а в верхнем амбары. На дворе, посредине сего четвероугольника, стояла деревянная изба, где помещалась ратуша. С Большой Невы и с Малой, с двух сторон предположено было прорыть к гостиному двору каналы для привоза товаров на судах, но сие предположение не успели исполнить.

Против Ильи Фомича сидела в других креслах молодая девушка и вязала чулок. Не станем описывать ее красоты. Скажем только, что эта девушка была прелестна, и предоставим читателю рисовать в воображении образ ее по своему идеалу. Предвидим, что столько же будет создано различных, несходных между собою, мысленных портретов этой девушки, сколько эта повесть будет иметь читателей; и если какими-нибудь судьбами переведут ее на китайский язык, то прелестная Мария в воображении какого-нибудь мандарина-читателя превратится в дородную девушку небольшого роста, с утиною походкою, прищуренными глазами, пухлыми щеками и широким, приплюснутым носом. Разумеется, что Мария была вовсе не похожа на этот китайский идеал красоты.

Весьма близкое подобие сего идеала нельзя сказать вошло, нельзя сказать и вошла, а вошел неожиданно в комнату Ильи Фомича, ибо сие подобие был калужский купеческий сын Карп Силыч Шубин, на двадцать пятом году своей жизни приехавший в первый раз в столицу. Отец его, за несколько недель пред тем умерший, принадлежал к числу приятелей Ильи Фомича, хотя они в мнениях и правилах жизни совершенно различествовали один от другого. Илья Фомич брил бороду, носил немецкое платье и выучился грамоте, а отец Шубина до самой кончины не переменил покроя кафтана и хранил бороду как зеницу ока, потому что был раскольник. Он воспитал в своих правилах и сына, который до смерти отца постоянно жил в каком-то ските и с роду не видал ни одного человека, одетого по-немецки и с бритой бородою.

Илья Фомич весьма удивился, увидев перед собою вечером такого красивого молодца, каков был Карп Силыч. Он видал его в Калуге еще ребенком, но с тех пор китайский идеал красоты вырос и достиг такого совершенства, что Воробьев вовсе его не узнал, тем более что Карп Силыч, по примеру отца держась раскола, носил платье, предписанное указом для раскольников. На нем надет был длиннополый суконный кафтан, весьма низко подпоясанный, с четвероугольником из красного сукна, нашитым на спине. В руках держал он с желтым козырьком картуз, который было предписано носить задом наперед.

— Ты, верно, меня не узнал, Илья Фомич? — сказал Шубин после нескольких поклонов перед иконами. — Я привез тебе грамотку от моего дяди.

Он подал Воробьеву письмо, и, между тем как тот разбирал оное, глаза Шубина, произведя общий обзор всем предметам, находившимся в комнате, остановились на Марии, и так пристально, что девушка несколько смутилась, покраснела и ушла в свою комнату.

— Господи, твоя воля! — воскликнул Илья Фомич, прочитав письмо и бросаясь обнимать гостя. — Давно ли к нам ты в Питер приехал, Карп Силыч?

— И получаса не будет.

— Милости просим, милости просим! Мы с твоим покойным батюшкой были искренние приятели. Как ты, Карп Силыч, вырос и похорошел! Я совсем не узнал тебя!

— Слышал ты, Илья Фомич, что батюшка мой приказал тебе долго жить?

— Слышал, царство ему небесное! Тебя он наследником-то назначил?

— Вестимо, что меня. Я слышал, что в Питере выгодно торгуют. Хочу здесь лавку завести. Как посоветуешь?

— Барышей больших нет от здешней торговли, однако ж и убытку нет, коли приняться за дело умеючи. Много ли наличных-то у тебя?

— Довольно-таки есть! С меня будет. Никак и ты остался батюшке должен?

— Отдам, Карп Силыч, отдам! Да не пора ли нам поужинать? Эй! Маша! Ужин проворнее!

— Сейчас, батюшка! — отвечала девушка из другой комнаты.

— Это дочь твоя, Илья Фомич? — спросил Шубин, повертывая свой картуз обеими руками.

— Нет, это сирота без роду и племени. Я с малых лет воспитал ее.

— А кто же был ее батюшка-то?

— Да бог весты! Какой-то шведский дворянин.

— Так поэтому ей нельзя за нашего брата, русского, замуж выйти?

— Почему ж нельзя! Разве ты не читал царского указа? По этому указу можно и на иноземке жеиться.

— Видишь ты что! А давно эта сирота живет у тебя?

— Одиннадцатый уж год. Ей было от роду десять лет, как я взял ее к себе. Она жила прежде на дворе у моего соседа с каким-то стариком, пленным офицером шведским, по прозванию Нолькен. Этот офицер долго жил в Питере, научился кой-как говорить по-нашему и был со мной знаком. В свою сторону он боялся воротиться — я расскажу тебе почему — и жил здесь словно нищий; все хирел да хирел и наконец слег в постель. Раз призвал он меня к себе, рассказал, как ему досталась эта девушка, и со слезами просил не оставить ее после его смерти. Я сам расплакался и дал ему слово. Он через неделю после того умер.

— Что ж он тебе рассказывал?

— Вот видишь ли, прежде вся эта сторона, где ныне Питер стоит, принадлежала шведам. Река Нева называлась у них Ниен, а там, где в нее впадает речка Охта, при истоке сей речки, на левом берегу, стояла крепость шведская Ниеншанц. Где теперь Питер, там были лес да болота непроходимые. Только близ того места, где Почтовый двор\*, стоял дом какого-то помещика, шведского дворянина. Сказывал мне Нолькен его прозвание, да я забыл. Около дома находилась его деревня. Еще была близ взморья деревушка Калинкина. На другом берегу Невы, почти напротив дома шведского дворянина, стояла рыбацья избушка. Царь Петр Алексеич, взяв в 1702-м году 11 октября крепость Орешек, по-шведски Нётебург, назвал ее Шлюссель-бургом и в апреле 1703-го года подступил с войском к Ниеншанцу. Царь был тогда капитаном бомбардирской роты Преображенского полка. 30 апреля начали стрелять по крепости из двадцати пушек да бросать бомбы из двенадцати мортир. Пальба во всю ночь продолжалась. 1 мая, в пятом часу утра, неприятель ударил *шмад*, выслал переговорщиков, и крепость сдалась. На другой день к вечеру наши караульщики донесли, что на взморье появились шведские корабли. 6 мая вечером царь и Александр Данилыч Меншиков, который был тогда поручиком, с солдатами Преображенского да Семеновского полков на тридцати лодках поплыли к устью Невы и скрылись за островом, что лежит к мо-

---

\* Ныне на сем месте Мраморный дворец.



рю против Калинкиной деревни, а 7-го числа пред рассветом напали на шведские суда и взяли из них два. После этой победы собрался Военный совет и решил, чтобы вместо Ниеншанца, который стоял далеко от моря и на неудобном месте, искать нового места для заложения крепости. Царь изволил осмотреть все невские острова и выбрал из них один, который назывался веселым островом\*. На нем 16 мая, в Троицын день, заложена была царем крепость и названа Санкт-Петербург, а поблизости из рыбацкой избушки царь изволил устроить для себя дворец. Завтра тебе покажу этот дворец, Карп Силыч. Ты, верно, ахнешь! Он втрое меньше моего дома. Нечего сказать: совсем не царское жилище! Около крепости и дворца начали расти, как грибы, другие дома. Я был из первых здешних обывателей. Торговал прежде всякой всячиной, а ныне... о чем бишь я заговорил, Карп Силыч? Ах, да! Вспомнил! Шведский помещик, изволишь видеть, был вдовец. У него было только и семьи, что маленькая дочь Маша. Как наши подступили к Ниеншанцу, он отправил все свое добро за море и хотел бежать. Нолькен, который служил в гарнизоне Ниеншанца, часто ездил к нему в гости. Он рассказывал мне; что этот дворянин знался с нечистыми духами, часто целые ночи в светлице над его домом виден был свет, то красный, то синий, то голубой, то зеленый. В то время, как брали Ниеншанц, разъезжал по окрестным местам окольный Петр Афраксин с несколькими сотнями новгородских дворян и смотрел, чтобы шведы откуда-нибудь нечаянно не подошли на выручку. Нолькен за день до того, как наши окружили Ниеншанц, поехал в гости к шведскому дворянину, долго прогостил у него и не успел возвратиться в крепость. Он очень испугался и начал опасаться, чтобы его не расстреляли за то, что он не вовремя от должности отлучился. Дворянин присоветовал ему бежать вместе с ним за море. Взяв на руки дочь, которой тогда только что год минул, дворянин велел Нолькену следовать за ним и дал ему нести небольшой ящик из черного дерева. Через Васильевский остров добрались они уже до взморья, где ожидала их лодка, но, когда они к ней подходили, человек пять новгородских дворян,

---

\* Ljusteilande,

объезжавших берег дозором, закричали издали: стой! Дворянин и Нолькен бросились к лодке, но один из объезжих выстрелил из ружья и ранил дворянина. Он упал и, видя, что объезжие скачут к нему, отдал свою малютку Нолькену. «Я умираю! Спасайся! — сказал он ему слабым голосом. — Замени ей отца. Береги этот ящик, что у тебя в руках. Пусть она раскроет его наедине, и не прежде, как через двадцать лет, 1 октября 1723-го года, в полночь. Горе тому, кто этот ящик прежде раскроет!» Он хотел что-то еще сказать, но объезжие подскакали, схватили Нолькена и увели его к начальнику их, окольникову Апраксину. Его отправили с Машею в Шлюссельбург, где он и прожил более шести лет. Потом дозволили ему переселиться в Питер. До самой смерти своей Нолькен не мог узнать, что случилось с отцом Маши. О чем бишь я заговорил, Карп Силыч? Ну, после вспомню, а теперь милости просим за ужин.

Хозяин ввел гостя в другую комнату. На круглом столике, накрытом белою как снег скатертью, стояло блюдо с пирогом. Легкий пар поднимался от него и наполнял комнату ароматом, который более нравится, чем запах амбры, всякому, у кого тонкое обоняние и пустой желудок. Илья Фомич сел рядом с гостем, а Мария против них. В начале ужина Карп Силыч исподтишка поглядывал на нее от времени до времени, а к концу ужина, когда он выпил, по настоятельному убеждению хозяина, шестую чарку гданской водки, начал он смотреть на девушку во все глаза. По окончании ужина Мария ушла в свою комнату, а Карп Силыч, посмотрев ей вслед, сказал хозяину с замешательством:

— Если б я... если б ты, Илья Фомич... если б... дело-то, знаешь, щекотливое! Стыд меня разбирает!

— Что такое, Карп Силыч?

— У меня наличных столько, что я могу здесь дюжину лавок купить. Я уж давно собираюсь жениться. Не сыщешь ли ты, Илья Фомич, для меня невесты? Приданого мне не надобно. Была бы девушка нравом добрая, лицом красивая, ума-разума не глупого. Ты здесь давно живешь, у тебя, чай, знакомых много.

— Да в тебе, как я вижу, молодецкая кровь горячая — что твой кипяток! Я сам смолоду похож был на тебя. В субботу сосватался, а в воскресенье женился! Покойница жена моя и одуматься не успела.

— Посватай, в самом деле, за меня хорошую невесту! Я бы тебе спасибо сказал.

— За этим дело не станет! Только, скажу тебе правду, в этом кафтане вряд ли ты девушке из порядочного дома приглянешься.

— А почему ж нет?

— Девушки, изволишь видеть, не столько смотрят на ум и богатство, сколько на красивое лицо... тьфу, пропасть, не то сказал!.. сколько на красивое платье. Ты, вот изволишь видеть, носишь бороду да кафтан, а здесь в Питере все одеваются по-немецки.

— Да как это по-немецки? Этак, что ли, как ты, Илья Фомич? Я, пожалуй, завтра ж себе такой же шелковый балахон, как у тебя, куплю.

— На мне надет теперь халат, а немецкое платье совсем особого покроя. Вот завтра на мне увидишь. Оденься-ка и ты, Карп Силыч, по-немецки. Дело сделаешь! Здесь кафтаны и бороды стали очень уж редки. И я носил прежде русское платье, но делать было нечего, как начали говорить про меня: все люди в шапках, один бес в колпаке! Поневоле обрился и перерядился.

— Чуть ли и мне не хватиться за ум. Ведь я теперь сам себе господин! Дядя, конечно, заворчит, да наплевать мне на него! Ведь не отец же родной, в самом деле! Да ты, я вижу, зеваешь, Илья Фомич, сон тебя склоняет. Разве уж поздно?

— Оно хоть и не поздно, однако ж и не рано! Чу! На Троицкой колокольные часы бьют. Раз... два... три... четыре... пять... шесть... семь... восемь. Эти часы царь Петр Алексеич велел привезти сюда из Москвы: с Сухаревой башни. Через час караульщики с трещотками по улицам пойдут, и шлагбомы по концам улиц опустят. О чем бишь я заговорил?

— Прощай, Илья Фомич! Утро вечера мудренее. Завтра успеем дело решить.

Шубин с Троицкой площади вошел в Большую Дворянскую улицу и вскоре прибыл к дому, где он с приказчиком своим по приезде в Петербург остановился. На другой день рано утром отправился он в гостинный двор за разными покупками и лишь только поравнялся с большим деревянным домом князя Бутурлина, отли-

чавшимся куполом и статуею Бахуса иаверху, как толпа мальчишек окружила Шубина. Прыгая и указывая на четвероугольник из красного сукна, который был нашит у него на кафтане, они хохотали и кричали: «У! У! Туз бубновый идет! Туз бубновый!»

— Отстаньте, бесенята! — проворчал сердито Карп Силыч.

Мальчишки пуще захохотали.

— Молчи, желтый картуз! — закричал один из них, который был постарше. — Смотрите-ка, ребята! На картузе у него желтый козырь. Туз-то, видно, козырный. Вишь, он каким козырем идет!

Карп Силыч вышел из терпения и, схватив с земли попавшуюся ему палку, побежал за насмешником. Вся толпа вмиг рассыпалась в разные стороны, однако ж издали продолжала воспевать хором: «Туз бубновый! Туз козырный! Что, взял!»

Шубин не выдержал нападения и решился возвратиться домой.

— Беги тотчас же на рынок! — сказал он своему приказчику, войдя в комнату и бросив с досадой картуз на пол. — Купи немецкое платье, самое лучшее! Что глаза-то вытаращил! Не для тебя небось, а для меня! Ты мужик, ходишь и в кафтане, а я купец! Да борода-брея позови!

— Неужто, Карп Силыч, твоя милость...

— Молчи и делай, что велят! — закричал Шубин, топнув.

Изумленный приказчик, ворча что-то про себя и качая головой, вышел. Вскоре после его ухода явился полковой брадобрей, остриг волосы Шубину, причесал его, обрил бороду и, получив за работу рублевик, ушел. И стал молодец хотя и не книжен, да хорошо острижен.

Через несколько времени приказчик принес в узле купленное им платье и шляпу.

— Одевай же меня скорее! — сказал Шубин.

— Да я не умею! — отвечал приказчик, развязывая узел.

— Что ж ты купца не расспросил? Он должен знать, как это платье надевается! Этакой олух! Да не заметил ли ты вчера, как мы в город въезжали, немецкого платья на прохожих?

— Помилуйте, батюшка! Мы въехали в город вечером. Притом было туманно!

— У тебя часто с похмелья в глазах туманно! Давай все платье сюда! Я сам оденусь! Ну, вот чулки! Натягивай! Тише, дубина: разорвешь! А это что такое?

— Это никак штаны!.. Карп Силыч! Побойтесь господи! Что дядюшка скажет, как услышит...

— Не твое дело, козлиная борода! Помоги надеть штаны!

— Охота надевать такую дрянь! В песне недаром поется: «На дружке-то штаны после деда сатаны». Сатана это немецкое платье выдумал!

— Послушай, Прощка! Я тебе плюху дам, если не замолчишь.

От незнания ли, с намерением ли, только приказчик напялил на своего хозяина штаны задом наперед и с усилием начал застегивать их сзади.

— Да так ли ты надел, Прощка? Что у меня наперед за мешок? Можно сюда всыпать четверик гороху, а поясицу так жмет, что сил нет!

— Что ж делать! Видно уж, покрой таков. То ли дело русское платье! Просторно, хорошо, славно!

— Ну, ну! Застегивай! Полно толковать-то. А это что?

— Это *жалеть*. Купец, помнится, называл вот эту ветошку с двумя окошками жалетем, а вот это кафтаном *как солнце*\*. И названья-то какие дурацкие! Жалеть! Видно, кто это платье носит, тот будет жалеть.

— Замолчишь ли ты! Да не так, пустая голова! Уж коли штаны сзади застегиваются, то, верно, и жалеть, и как солнце так же. Русской кафтан спереди застегивают, а немецкий сзади.

— Так-с!.. Вот еще какая-то ветошка! — сказал приказчик, подавая галстук.

— Это носовой платок! Разве не видишь, дурачина! Давай сюда. Ба! Да он о трех углах, а не о четырех. Бережливый эти немцы! На обухе рожь молотят, зерна не уронят! А вот здесь наперед у кафтана и карман есть, куда платок можно спрятать. Славно придумано. Ну, подавай шляпу!

---

\* Саксонский,

Посмотревшись в зеркало, одетый по-немецки, идеал китайской красоты улыбнулся от удовольствия, сдвинул немного шляпу набок и, выставив конец галстука из кармана, вышел бодро на улицу. Самодовольствие и воротник его кафтана, подпиравший ему подбородок, поднимали лицо его вверх и принуждали смотреть на небо, через шляпы прохожих, которые останавливались и глядели ему вслед с удивлением. Шубин относил это к богатству и щеголеватости своего наряда и не слышал земли под собой от восторга. Наконец один попавшийся ему навстречу прохожий, одетый по-немецки, разрушил его очарование. Бедный Карп Силыч, с ужасом заметив, что одет был вовсе не так, как следовало, от сильного стыда покраснел по уши, а по рукам и ногам заползали у него мурашки. Сначала он хотел было бежать назад домой, но, оглянувшись и увидев вдали собравшуюся толпу извозчиков, которые смеялись и на него указывали, решился, скрепив сердце, искать убежища в доме Воробьева, ибо до этого дома оставалось гораздо менее пространства, чем до его квартиры. С чувством, подобным тому, с каким в жестокую бурю мореплаватель, заметивший в корабле сильную течь, спешит к пристани, летел Шубин на всех парусах к дому Воробьева, надвинув шляпу на лицо. Подбежав к крыльцу, отворил он тихонько дверь и, войдя в сени, начал снимать с себя кафтан, чтобы надеть его, как должно. Воробьев, бывший тогда дома, услышав в сенях шорох, послал свою воспитанницу посмотреть, кто пришел. Мария, отворив дверь из комнаты и увидев мужчину без кафтана, ахнула и захлопнула двери. Карп Силыч чуть не сгорел от стыда и в отчаянии присел на пол, закрывшись кафтаном.

— Что с тобой сделалось, Маша? — спросил удивленно Воробьев. — С чего ты испугалась?

— В сенях какой-то мужчина!

— Ну так что ж? Давно ли ты стала так мужчин бояться!

— Я, батюшка, не испугалась, а только... да посмотри сам в сени!

Воробьев отворил дверь и увидел Карпа Силыча, все еще сидевшего на корточках и закрывавшегося кафтаном. Он подошел к нему и, взяв его за руку, поднял на ноги.

— Ба!.. Карп Силыч!.. Да я тебя насилу узнал! Ворожил, что ли, ты на полу? А кафтан-то зачем ты снял?

— Я... мне...— отвечал Шубин в замешательстве,— мне очень жарко стало, вишь, я слишком скоро к тебе шел, а здесь в сенях такой приятной ветерок продувает.

— Вот проказник! Вздумал у меня в сенях прохладиться! Да что это на тебе как штаны и камзол надеты! Никак задом наперед!

— Нет, это я теперь их так повернул!

— Помилуй, Карп Силыч! Да это невозможное дело! Как это тебя угоразило? Надень, по крайней мере, камзол и кафтан как следует. Постой, постой! Не так! Дай, я тебе помогу. Вот этак! Ну, теперь пойдем в горницу, милости просим!

Он ввел его в комнату. Мария, поклонясь Шубину, едва удержалась от смеха, вспомнив его испуг и положение в сенях.

Так как день был праздничный, то Шубин пробыл у Воробьева до самого вечера. Разговор их переходил от предмета к предмету и наконец остановился на сумме, которую Илья Фомич должен был отцу Карпа Силыча.

— Поверь Богу,— сказал Воробьев,— что деньги эти за мной не пропадут, только теперь нет у меня ни копейки в наличности. Не рассудишь ли разве, Карп Силыч, у меня этот дом купить? Тогда бы в долге сочлись.

— Нельзя ли дом осмотреть? Я подумаю.

— Маша! Посвети-ка нам.

Мария встала со своего места и взяла со стола свечу.

Воробьев повел за нею гостя из комнаты в комнату. Когда они вошли в спальню Марии, то Шубин, приметив черный небольшой ящик, стоявший на столике под образом, спросил:

— Не тот ли это ящичек, про который ты мне говорил, Илья Фомич?

— Тот самый.

При сих словах Мария вздохнула, и пламя свечи, которую она держала в руке, затрепетало от ее вздоха.

— Что бы в нем такое быть могло? — продолжал Шубин, подойдя к столику и осматривая ящик с любопытством.— Уж не камень ли драгоценные?

— Быть не может! Ящичек легок, как перо! — отвечал Воробьев. — А вот Маша осенью его раскроет. Срок, который родитель ее назначил, скоро уж наступит. Авось и нам она тогда скажет, если можно будет, что такое хранится в этом ящичке.

Осмотрев все прочие комнаты, Шубин возвратился с хозяином в ту, где сей последний принимал обыкновенно гостей, а Мария, по его приказанию, пошла в поварню хлопотать об ужине.

— Ну что? — сказал Воробьев. — Как тебе домик мой нравится?

— Старенек, однако ж похаять нельзя. Дай мне пораздумать недельки две, авось дело у нас сладится. Поговорим еще на досуге об этом, а теперь скажи мне, пожалуйста: неужто ты не знаешь, что лежит в ящике? Я бы на твоём месте тайком раскрыл его да посмотрел.

— Как это можно, Карп Силыч! Сам я передал Маше волю ее родителя, да сам же ее и нарушу! У Маши только и родни осталось на свете, что этот ящик. Бедненькая его так любит и бережет, что и сказать нельзя! Она все надеется найти в ящичке какое-нибудь письмо, по которому она отыщет отца своего.

— А что ж, и то быть может.

— Нет, я не думаю этого. Зачем бы было ее отцу завещать, чтобы она раскрыла ящик не прежде, как через двадцать лет, притом наедине и в полночь. Он даже и день назначил, а именно первое октября. Тут что-нибудь да есть особенное! Чем ближе подходит срок раскрывать ящик, тем больше страх меня разбирает.

— Уж не сила ли нечистая в ящике-то сидит! Лучше бы ты его в огонь бросил.

— Оборони Господи! Если и в самом деле лукавые в ящике заперты, то они, пожалуй, как бросишь их в печь, весь дом разнесут... Поговорим о чем-нибудь другом, Карп Силыч! Смерть не люблю я говорить о чем-нибудь страшном, на ночь глядя.

— Крепко ли ящик-то заперт, Илья Фомич?

— Ни щелочки на ящике не видно, а ключ Маша носит на шее.

Простясь с Воробьевым, Шубин ушел и во всю дорогу ломал голову: если не сила нечистая, то что бы такое могло быть в ящике?



Прошло недель шесть после приезда его в Петербург, и он почти каждый день посещал Воробьева. Необыкновенная красота Марии с самого первого свидания с нею произвела на него сильное впечатление, и он вскоре влюбился в девушку по уши. Замечая, однако ж, с ее стороны совершенную холодность и невнимательность к нему, Шубин внутренне на это досадовал и все придумывал средство, как бы довести Воробьева до того, чтобы он решился выдать за него замуж свою воспитанницу, против ее воли. «Как будет моею женою,— размышлял он,— так поневоле меня полюбит; лишь сначала надо задать ей хорошую острастку, а потом приласкать, так небось будет шелковая. Недаром говорят: люби жену как душу, а бей как шубу».

Через несколько времени Шубин, за обедом у одного из знакомых ему купцов, услышал, что торговые дела Воробьева весьма запутались и что ему не миновать за долги острога. Он очень обрадовался этой новости и на другой же день пошел к Воробьеву. После обыкновенных приветствий Шубин завел разговор о женитьбе и объявил, что он имеет желание жениться на Марии. Воробьева несколько не удивило это предложение, ибо он давно заметил страсть Шубина. Поблагодарив за предложение, он продолжал:

— Жаль мне, очень жаль, что ты, Карп Силыч, ранее не посватался. Маша бы зажила с тобою припеваючи! Только изволишь видеть, у нее уже есть жених.

— Как? Кто такой? — воскликнул Шубин, изменяясь в лице.

— Перед тобой таиться я не стану и как искреннему приятелю все расскажу в подробности. На дворе у меня несколько лет сряду нанимал небольшую горенку молодой иконописец из разночинцев, Павел Павлыч Никитин. Славной детина! Сметливый, честный, работающий! Два года жил он вместе с каким-то пленным шведом и так выучился от него по-шведски, что говорил на этом языке, как на своем природном, и даже мог читать шведские книги. С малых лет остался он сиротою после отца и матери, воспитан был в школе, которую завел преосвященный Феофан в Новгороде, приехал потом в Питер и начал доставать себе хлеб писанием святых икон. Мастерству этому выучился он са-

моучкой. Бывало, целый день сидит, сердечный, за работой. Кроме икон, писал он и другие картины. Вот посмотри, Карп Силыч, на этой стене Полтавское сражение. Это он подарил мне в светлое воскресенье вместо красного яичка. Ведь славно написано! Знакомый капитан мне рассказывал, что шведы совсем было одолели наших, и если б не... О чем бишь я заговорил? Ах, да, об Никитине. Я его вскоре полюбил как родного. Одна была беда, что мастерство его немного ему выгоды приносило: с трудом доставал он хлеб насущный. Однажды царь Петр Алексенч в доме князя Бутурлина увидел картину и спросил, кто ее писал. Ему сказали, что Никитин. Его царское величество велел тотчас его представить себе, обласкал его и дал указ отправить его на два года за море, в Тальянское государство, чтобы он там еще лучше картины писать научился. Прибежал Никитин ко мне без памяти от радости. Я в то время сидел с Машей за обедом. Лишь только услышала она, что Никитин уезжает на два года за море, как вдруг переменялась в лице, встала поспешно из-за стола и ушла в свою комнату, сказав, что ей очень нездоровится. Я как раз смекнул делом и сам себе думаю: авось Никитин не догадается. Только что же? У моего молодца навернулись слезы, побледнел он, как белый платок, бросился мне в ноги и начал целовать мою руку. «Что с тобой сделалось, Павел Павлыч? — спросил я. — Господь с тобой!» А он молчит себе, целует только мою руку да плачет. «Если я вернусь из-за моря, — сказал он наконец, — и успею что-нибудь нажить моим мастерством, то дашь ли ты нам свое благословение? Белый свет не мил мне без нее. Ты заменил Маше отца! Будь и мне, сироте, отцом». Мы обнялись с ним, и я дал ему слово выдать за него Машу, когда он из-за моря воротится. Посмотрел бы ты, Карп Силыч, как мое обещание его обрадовало, как он благодарил меня! Не охотник я плакать, а признаюсь, глядя на его радость, я расплакался. На другой день он уехал из Питера, а я Машу в допрос. Ведь до сих пор не признается, плутовка, что ей Никитин полюбился: начнет уверять, оправдываться. Что с ней станешь делать! Впрочем, ведь и все почти девушки похожи на Машу. Не скоро скажут, что у них в сердчишке таится. Однако ж

я знаю наверное, что она ни за кого другого, кроме Никитина, замуж не пойдет.

— Почему ж ты так думаешь? Что ей за охота обвенчаться на нищем да голод и холод целый век терпеть! Скажи-ка ей про меня. Авось она передумает.

— Нет, Карп Силыч! Грешно мне будет не сдержать моего слова.

— Послушай, Илья Фомич, ты мне должен, и должен немало! Срок платить давно уж наступил. Выдашь за меня Машу: буду ждать хоть десять лет уплаты; не выдашь: плати завтра же деньги! Завтра же подаю на тебя челобитную!

— Карп Силыч! Деньги твои за мною не пропадут. Твой покойный батюшка давно дело со мной имел и не разу на меня не жаловался. Напрасно ты так горячишься. Сам рассуди: честно ли я поступлю, если нарушу мое слово, которое дал Никитину. На сих днях он должен возвратиться из-за моря! Притом я не хочу ни за что принудить Машу выйти за тебя замуж против воли. Я наперед знаю, что она не согласится.

— Поговори с нею. Беды от этого не будет.

— Пожалуй. Я все сделаю в твою угод. Только не пеняй на меня, Карп Силыч, и не ссорься со мною, если не успею уговорить ее. Вспомни и то, что если бы и захотел я ее принуждать, так по царскому указу нельзя будет выдать ее замуж насильно.

— Прощай! Не отдаешь невесты, так долг отдай. Завтра увидимся.

Хлопнув дверью, Шубин вышел. Мария, сидевшая в своей комнате за работой, ничего не слыхала из сего разговора. Добрый Воробьев, уверенный в ее любви к Никитину, целый вечер был задумчив и не имел духа сообщить ей предложение Шубина. Зная доброе сердце своей воспитанницы, он не решался открыть ей положения дел своих и опасался, чтоб она не пожертвовала собою и не погубила себя для его спасения: он коротко узнал Шубина и был уверен, что выдать ее за него замуж значило погубить ее.

На другой день явился к Воробьеву вместе с Шубиным купец Спиридон Степанович Гусев, староста Тро-

ицкой площади\*. На нем был саксонский кафтан из темно-синего сукна, бархатный голубой камзол и плисовые черные штаны. Лоб его украшался несколькими морщинами, рыжими бровями и довольно обширную лысиной. Маленькие, прищуренные глаза с первого взгляда показывали в нем человека хитрого и корыстолюбивого. Нос его имел сходство с яблоком порядочной величины, тем более что на конце вместо стебелька чернелась бородавка, а сжатые жеманно губы постоянно сохраняли насмешливое выражение. К чести наших предков надобно сказать, что старосты вообще выбирались из людей честных и бескорыстных, но Спиридон Степанович, добившись хитростью и происками звания старосты, начал тихомолком набивать свой карман, брать от челобитчиков добровольные приношения и вполне оправдал пословицу: в семье не без урода.

— Здравия желаю! — сказал Гусев тонким и высоким голосом, составлявшим резкую противоположность с его толстым брюхом и низким ростом. Толщину его можно было сравнить с гиперболою, голос с ирониею, а всего Гусева с олицетворенною, самую смелую антитезою. — Давно уж мы не видались! Жаль мне только, что мой приход не так тебе будет приятен, — продолжал он, вынимая из кармана бумагу и подавая Воробьеву.

Прочитав ее, сей последний изменился в лице. Это был указ ратуши о немедленной уплате долга Шубину — в противном случае предписано было Воробьева посадить тотчас же в острог.

— Я подам апелляцию, — сказал Воробьев, отдавая Гусеву указ дрожащею рукою. — Кажется, меня нельзя посадить в острог прежде, чем имение мое будет продано.

— Да ведь ты, Илья Фомич, уж представил в ратушу опись всему твоему движимому и недвижимому имению, кроме наличных денег. Ратуша рассчитала, что

---

\* В 1718 году с каждого двора в Петербурге назначен был караульщик. Они обязаны были прекращать на улицах драки, ловить воров, гасить пожары, ходить ночью по улицам с трещотками и вообще наблюдать за порядком. Над десятью караульщиками начальствовал десятник, а при каждой слободе, площади или улице определялся староста, который заведовал десятниками и доносил обо всем генерал-полицеймейстеру. Караульщики, десятники и старосты избирались из городских обывателей.

как бы выгодно ни продалось твое имение, нельзя будет уплатить и половины долгов, не считая долга Карпу Силычу. Чем же ты ему-то заплатишь, если у тебя нет наличных?

— Спиридон Степаныч! Тебе известно, что у меня четыре барки с товаром на Неве льдом разбило. С тех пор, как я ни старался, не мог поправиться. Не я виноват!

— Да и не я, Илья Фомич! Так у' тебя нет наличных?

— Все мои должники согласились ждать уплаты, пока я не поправлюсь.

— Нет, я не согласен! — проворчал Шубин. — Я и так долго ждал.

— Что же мне делать, Илья Фомич? — продолжал Гусев. — Если у тебя нет наличных, то я принужден буду исполнить указ.

— Возьми мои последние пять рублевиков! — вскричал Воробьев, вскочив со стула, вынув деньги из кармана и бросив их перед Шубиным. — Делайте со мной что хотите! У меня нет больше ни копейки.

— Не горячись напрасно, Илья Фомич! — заметил кладноокровно Гусев. — Умел брать займы, умей и отдавать. Эй! Войдите сюда! — закричал он, отворив дверь в сени.

Вошли два караульщика с десятским.

— Отведите его в острог!

Шубин, приблизясь к Воробьеву, сказал ему вполголоса:

— Согласись на мое предложение, и я соглашусь ждать долга вместе с прочими займодавцами.

— Умру в остроге, но не погублю сироты!

Марии в это время не было дома. Воробьева караульщики связали и, предводительствуемые десятником, повели в острог, а староста и Шубин пошли в австерию, которая находилась близ моста, ведущего с Троицкой площади в крепость. Если бы какой-нибудь волшебник восстановил этот давно истлевший домик, то австерия очутилась бы при самом въезде на нынешний Троицкий мост, и тогда, без сомнения, большая часть расчетливых немцев-ремесленников, спешащих летом в воскресные и праздничные дни на Крестовский остров.

перестали бы нанимать извозчиков у Троицкого моста, входили бы в австерию, закуривали бы сигарки, выпивали бы бутылку пива и стакан пуншу и, взвешивая удобство австерии с привлекательностью трактира на Крестовском, повторяли бы надпись, которая украшала беседку одного из петербургских любителей садов и гласила: *Незачем далеко, и здесь хорошо!*

Австерия снаружи представляла небольшое четвероугольное здание. На главном ее фасаде находилась посредине дверь, два окошка с левой стороны двери и столько же с правой. Шесть тонких колонн, соединенных низенькими резными перилами, поддерживали приделанный к дому деревянный навес и составляли таким образом открытую галерею, которая предназначена была для того, чтобы изяществом своим привлекать прохожих во внутренность австерии, подобно замысловатому предисловию, служащему для привлечения читателей к прочтению книги. В австерии продавались от казны дорогие водки, иностранные вина, вообще напитки разного рода и закуски. Продажею заведовал бургомистр и несколько купцов, нарочно для сего избравшихся. Петр Великий в праздники, отслушав обедню в Троицкой церкви, а в будни после присутствия в Сенате, заходил в австерию с своими приближенными на чарку водки. Сначала пред сим домиком, по случаю побед или других радостных событий, отправлялись разные торжества и сожигаемы были фейерверки, до построения в 1714-м году на Троицкой площади Коллегий, которые заменили австерию для собраний двора во время торжеств\*.

К этому-то домику поспешал Шубин с покровителем своим, старостою, в намерении угостить его заморски-

---

\* Коллегии сии состояли из шести двухэтажных мазанок, с кровлями, которые почти равнялись вышиною самому зданию. В верхнем этаже каждой мазанки было четыре окна, в нижнем также четыре, но гораздо меньшего размера, и дверь посредине. В сем здании открыто в 1718 году заседание учрежденных Петром Великим Коллегий. В то же время туда переведен был Правительствующий Сенат, который с 1711 года помещался в деревянном, одноэтажном здании (с десяти окнами, с колоннами), находившемся в С.-Петербургской крепости. Каменные Коллегии, до сих пор сохранившиеся на Васильевском острове, заложены были при Петре Великом в 1722 году, но заседание в оных открыто не прежде 1732 года, в царствование Анны Иоанновны.

ми винами и водками. Гусев хотя и носил немецкое платье, не мог, однако ж, изменить одному почтению по древности обычая, который и доныне еще на Руси существует и состоит в том, чтобы взятки всегда были сопровождаемы угощением на счет челобитчика.

Приближаясь к австерии, Гусев заранее наслаждался мысленно запахом и вкусом напитков, до которых он был большой охотник. Сердце его сильно билось от удовольствия, как будто бы хотело перепрыгнуть в левый карман камзола и поздороваться со спрятанными там десятью серебряными рублевиками, которые накануне находились в кармане Шубина и каким-то образом перешли оттуда в камзол старосты. Не дойдя, однако ж, шагов на сто до австерии, Гусев остановился.

— Мне что-то австерия эта не нравится! — сказал он Шубину. — Пойдем лучше в другую.

— Да разве есть другая?

— Как же! На этом же острове, в Большой Никольской улице. Точь-в-точь, как эта, только не деревянная, а мазанковая, и столбов да перил наперед не нет. Впрочем, не красна изба углами, красна пирогами! Там все то же продается, что и здесь.

— Да почему ж нам в эту нейти?

— Ну, так! Пойдем, пожалуйста!

Этой причины: *ну, так!* Шубин вовсе не понял. Летописцы разным образом ее толковали, но один из них, кажется, более всего приблизился к истине. Он пишет, что Гусев, вероятно, не пошел в первую австерию по следующим причинам. Вид этого дома напомнил ему царя, который иногда выпивал там чарку водки; в камзоле Гусева лежали десять рублевиков, взятка, конечно, не из больших, однако ж он знал, что царь терпеть не мог и маленьких. Старосте казалось, что эти рублевики в том месте, где царь бывает, закричат, пожалуй: «Воры! Караул! Держите его!» А хоть бы и этого не случилось, так все как-то страшно было принимать угощения от челобитчика в австерии, где государь бывает. Царь есть солнце, рассуждает летописец, а совесть взяточника уподобляется филину, который боится света солнечного и всегда прячется от него подальше. Зело жаль, восклицает он далее, что солнце едино есть, филинов же окаянных многое множество в дубравах и

вертепах скрывается. *Но как ни рассуждай, а Миловзор уж там!* — сказал Дмитриев, и мы скажем: как ни рассуждай, а Гусев с Шубиным уже пируют в австении, между тем как бедный Воробьев, униженный, связанный, приближается к острогу. Видно, и в то время, хотя оно было ближе нынешнего к давноминувшему золотому веку, иногда плуты или глупцы наслаждались благами жизни, а люди честные, умные терпели от них гонения и страдали.

В той же самой улице, называвшейся Большою Никольскою, где находилась другая австения, стояла губернская канцелярия, одноэтажное деревянное здание, походившее на большую избу, и близ нее острог. Представьте себе огромный, окованный железом сундук, только без крышки: вот лучшее подобие тогдашнего острога. Он был устроен таким образом: довольно обширная четвероугольная площадка огорожена была в три сажени вышиною частоколом из бревен, плотно скрепленных железом и заостренных сверху. Дабы отнять возможность подрыва под частокол, настланы были вместо пола три ряда самых толстых досок, также скрепленных железом. В этот сундук можно было попасть только через одну узенькую дверь, проделанную в частоколе и украшенную со стороны улицы двумя круглыми будками, которые в свою очередь украшались остроконечными крышками, похожими на сахарную голову или на стоящий прямо спальный колпак с бубенчиком, ибо на верху крышек приделано было также для украшения по деревянному шарiku. Один наружный вид этого жилища несчастья (ибо и преступление, сказал Карамзин, есть несчастье) наводил уныние; каково же было тому, кто из светлого, теплого домика своего попадал во внутренность острога? Только потолок печального здания мог несколько развеселять его обитателей, ибо так был великолепен, что и в богатейшем дворце не найти подобного. Цвет сего потолка был светло-голубой, по временам он переменялся в темно-голубой или синий, иногда же в темный, неопределенный цвет, но тогда по всему потолку начинали блистать разной величины алмазы белыми, алыми, голубыми, фиолетовыми и другими лучами. Иногда потолок украшался занавесами. Иные из них были посеребрены по краям



столь ярко, что и ночью сияли; другие были столь легки и полупрозрачны, что от малейшего ветерка двигались; третьи уподоблялись белизною снегу и отличались такою разнообразною бахромою, какой никогда не выдумать ни одной модной торговке. Случалось, что потолок покрывался серыми или красноватыми занавесами, и тогда золотые стрелы придавали им необыкновенную красоту; иногда появлялась на нем сырость, так, что с него капала вода, однако ж эта сырость ничуть не портила алмазных его украшений. Случалось также, что с потолка падали круглые, то разным образом ограненные алмазы или белый пух. Потолок этот был так высоко поднят от полу, что если бы в него при Петре Великом кто-нибудь пустил из острога ядро и если б оно могло лететь вверх, не останавливаясь, то и ныне бы все летело, и даже не только ныне, но и чрез тысячу тысяч лет все бы до потолка не достало.

Один ревностный защитник старины объяснил, почему потолок в остроге был заменен небесным сводом. Он утверждал, что это сделали с тем намерением, чтобы преступников, забывших небо и соблазненных земными призраками, отделить трехсаженным частоколом от последних и принудить беспрестанно устремлять взоры на одно первое. Предоставляем читателям решить: имел ли архитектор; строивший острог, эту человеколюбивую мысль. Мы сами решить это не беремся. Дело прошлое! Мудрено нам, потомкам, судить предков! Надобно вспомнить, что и мы будем предками — так же, как они, присмиреем, исчезнем со всеми нашими замыслами, надеждами, страстями и делами и будем жить на земле в одних темных воспоминаниях, в одних книгах, в истории, романах и повестях; от каждого писателя зависеть будет вызывать нас из праха и заставить действовать по-своему. Чего не взведет иной сочинитель на нашу голову! Обличить его будет некому. Горькая участь наша!.. Утешимся, однако ж. Чего бояться потомства? Теперь оно еще не существует, оно ничто. Придет время, оно явится, зашумит, заволнуется, подобно нам, и для чего же? Для того только, чтобы обратиться снова в ничто и уступить место новым поколениям. Невольно после этого скажешь с Фамусовым: *Пофилософствуй! Ум вскружится!*

Ум наш точно бы вскружился, если б небесная, утешительная мысль о вечной, неземной жизни не объясняла нам цели исчезающих с лица земли одно за другим поколений.

— О чем бишь я заговорил? — молвил бы теперь Воробьев, если б он сам рассказывал про себя повесть и если б караульщики не подвели уж его к описанному выше острогу. Дверь, заскрипев на железных петлях, отворилась, и тюремный сторож, выглянув из острога, принял Воробьева с рук на руки от караульщиков. Дверь захлопнулась.

Бедняк, вздохнув, невольно посмотрел на высокий потолок острога и, прислонясь к частоколу, закрыл лицо руками.

Между тем Мария, купив в Гостином дворе припасы для обеда, отослала их домой с работницей, которая ее сопровождала, и пошла к Троицкой церкви\*. Мария хотя и родилась от шведа, но по убеждению своего воспитателя перекрестилась на тринадцатом году возраста в греко-российскую веру. Она вошла в храм, усердно помолилась и, выходя на площадь, заметила подле себя вышедшего вместе с нею из церкви молодого человека. Он следовал за нею. Мария, потупив глаза в землю, поспешала к дому, но молодой человек от нее не отставал.

— Ты, верно, Марья Павловна, меня не узнала, — сказал он наконец.

---

\* Соборную церковь св. Троицы построил Петр Великий в 1710 году, в память заложения Санкт-Петербурга, ибо городу сему положено было основание в праздник св. Троицы. Храм сей был очень необширен; стена его со стороны Невы представляла только пять окон и одну дверь. Столько же окон было и в противоположной стене. Над церковью возвышалась четвероугольная колокольня в два яруса и другой небольшой шпиль. В 1714 году пристроили к храму большую трапезу и с обеих сторон по приделу, отчего здание получило крестообразный вид. На колокольне находились часы, привезенные по приказанию Петра Великого из Москвы, с Сухаревой башни, и висел примечательный колокол, взятый в Або у шведов. Петр Великий принос в дар сему храму сделанные им самим из кости паникадило и образ св. апостола Андрея. В царствование императрицы Елисаветы Петровны церковь сия за ветхостью была сломана и построена вновь в 1746 году в ее первобытном виде, но в 1750 году она сгорела, и на том же месте воздвигнута была церковь, перенесенная из Летнего сада, та самая, которая донныне сохранилась,

Она невольно вздрогнула, быстро подняла глаза и увидела перед собою Никитина. Взоры ее блеснули радостью, сердце затрепетало, как крыло бабочки, играющей на солнце, щеки покрылись ярким румянцем, и полуоткрытые, прелестные уста искали слов для ответа и не находили.

— Сегодня только приехал я в Петербург, поспешил прежде всего в церковь излить пред Богом благодарность за благополучное возвращение на родину и потом думал идти к твоему батюшке. Здоров ли он?

— Слава Богу, здоров,— отвечала торопливо Мария, несколько оправаясь от смущения, произведенного в ней столь неожиданною и радостною встречей с женихом.

Мог ли сей последний не заметить этого смущения? Оно доказало ему, что долговременное отсутствие не изгладило его из памяти Марии; оно уверило его, что он любим по-прежнему. Сердце его наполнилось ощущениями, которые словами выразить невозможно. Счастливы и не заметили, как подошли к дому.

— Я привез из Италии несколько списков с лучших картин,— сказал Никитин.— Завтра я тебе покажу их, мой ангел! Увидишь, что я пишу не по-прежнему. Ныне искусство мое, при помощи Божией, может доставить мне хлеб. Я не желаю многого! Лишь бы ты не терпела ни в чем нужды и была счастлива! Ты, верно, знаешь, милая, по какому праву я говорю с тобою так откровенно? Твой батюшка при отъезде моем дал мне слово, и я уверен, что оно дано не против твоего согласия. Не правда ли?

Мария молчала и потупила снова глаза в землю. Две слезы, подобные алмазам, навернулись на длинные ее ресницах. Иногда и молчание красноречиво и быстро выражает более чувствований и мыслей, нежели речи, которые Гомер называл крылатыми. Но одни ли речи можно назвать крылатыми? Почему не сравнить радостей, счастья с крылатыми райскими птичками, изредка прилетающими к человеку? Как часто эти редкие на земле птички вдруг поднимают крылышки и скрываются навсегда, навсегда! Это испытали Мария и жених ее.

В то самое время, когда сердца их утопали в радости, вдруг вошел в комнату приказчик Воробьева с заплаканными глазами.

— Где батюшка? — спросила его Мария.

— Ах, матушка Марья Павловна! Дожили мы до горя до беды! Бедный хозяин мой, отец наш родной, Илья Фомич!

— Что такое случилось? — спросила, побледнев, Мария.

— В острог его посадили, матушка, в острог! — приказчик, утирая слезы, рассказал все в подробности Марии. Он как-то узнал и об условии, на котором Шубин соглашался ждать уплаты долга.

Райская птичка подняла крылышки, взвилась высоко и скрылась из глаз Марии.

Когда приказчик вышел из комнаты, Мария едва слышным голосом, прерываемым рыданиями, сказала Никитину:

— Я любила тебя, искренно любила!.. Теперь не стыжусь признаться в этом!.. Мы, верно, были бы счастливы!.. Но, видно, мне суждено быть за другим!.. Простимся навсегда! Не возражай мне. Я должна на это решиться. Он воспитал меня, он заменил мне отца! И он в остроге! Пусть умру я, но я должна спасти его!

Мария, выбежав из комнаты и увидев приказчика, сказала ему твердым голосом: «Веди меня к Шубину!» Приказчик, проводив своего хозяина до самого острога и возвращавшись домой, увидел Шубина и старосту, сидевших у окна в австении, которая была в той же улице, где находился и острог. Он повел Марию. Несчастный Никитин издали следовал за нею. Легче было бы ему следовать за гробом невесты.

— Выкушай еще чарочку! — говорил Шубин, кланясь в пояс старосте.

— Не много ли будет, хе, хе, хе! Недаром говорится: первая чарка колом, другая соколом, а последние мелкими пташками летят. Я уж и счет этим пташкам потерял!

— Неужто ты пьешь по счету. Спиридон Степаныч? Беды не будет, если чарочку-другую и просчитаешь. Гей, молодец! Дай-ка еще фляжку заморского! На моей свадьбе я еще не так тебя угощу, благодетель мой! Это еще что! Цветки, а там будут ягодки!

— Ба! Что это за женская персона вошла сюда? — воскликнул Гусев. — Тьфу, пронасты! Как она озирается! Уж не юродивая ли какая?

— Ты здесь? — сказала Мария, взглянув на Шубина. Кровь кипела в ее жилах, но бедная девушка усиливалась скрыть свое волнение и старалась казаться спокойною. — Ради Бога, освободи батюшку из острога!.. Я согласна идти к венцу с тобой! Но только освободи его, теперь же, сейчас!

Шубин вытаращил на нее глаза. Бессмысленное лицо его ясно показывало, что он, поднося Гусеву, не забывал и себя.

— Хе, хе, хе! Дело идет, кажется, на лад! — заметил староста. — Счастливцев ты, Карп Силыч! Другие за невестами ухаживают, кланяются им, а к тебе сама невеста пришла с поклоном. Хе, хе, хе! Что ж ты ей ничего не отвечаешь? Разве раздумал жениться? Обними свою нареченную!

У Шубина появилась на лице такая же приятная улыбка, какая бы украсила физиономию осла, если бы он мог улыбаться. Он встал со стула, пошатнулся немного в сторону и протянул руки к Марии, чтобы обнять ее, но она его оттолкнула.

— Прежде освободи батюшку!

— Видишь еще, спесь какая! — сказал староста. — Освободи ей, изволишь видеть, батюшку! Пожалуй! За этим дело не станет! Ты соглашаешься, Карп Силыч, ждать уплаты долга вместе с прочими займодавцами?

— Какого долга? Я ей, кажись, ничего не должен! Будет женою, так сочтемся!

— Хе, хе, хе! Не ты говоришь, я вижу, а хмель говорит. Грешные люди! Выпили мы с тобою немножко сегодня! Я знаю, впрочем, что ты ждать долга согласен.

— Что такое? Чего ждать долго? Нет, Спиридон Степаныч! Я не согласен. Коли жениться, так завтра же к венцу!

— Ну, ну, ладно. Пойдем-ка к острогу.

— Пойдем. Не испугаешь острогом! Куда хочешь веди! Хоть к чертям в гости, лишь бы эта кралечка от меня не отстала!

— Она с нами пойдет. Эй брат! Да ты и дверей уж не видишь, а хочешь выйти на улицу в окошко! Хе, хе,

хе! Сядь-ка лучше да подожди меня здесь. Лучше я схожу один и приведу сюда ее батюшку.

Староста вышел. Мария хотела идти за ним вслед, но Шубин, сидевший близ двери, встал, шатаясь, и загородил ей дорогу.

— Куда, моя распрекрасная? Куда ты от жениха своего бежишь? Я не пушу. Жить не могу без тебя! Тошно! Да что ж ты толкаешься! Ведь коли честью не останешься, так силой удержу. Нет, матушка! Стой! Не выпущу! Сам черт меня не сдвинет и от дверей не оттащит!

Он схватился за ручку замка. Бедная Мария, заплавав, отошла от двери и села на скамейку, стоявшую в темном углу горницы.

Между тем староста, войдя в острог, сказал Воробьеву, что Шубин хочет с ним поговорить.

— Пойдем-ка, Илья Фомич! — продолжал он. — Полно сердиться! Я тебя помирю с Шубиным. Что тебе за охота сидеть в остроге.

— Если он хочет опять предложить мне прежнее условие, то не о чем мне и говорить с ним. Для своего спасения я ни за что на свете не решусь погубить сироты безродной!

— Не о том дело, Илья Фомич! Никого губить тут не требуется! Пойдем-ка. Увидишь, что я вас помирю! Что ж ты нейдешь? Если острог тебе так понравился, так можно ведь будет сюда воротиться. Тьфу, какой упрямый!

Взяв за руку Воробьева, староста почти насильно вывел его из острога и сказал на ухо тюремному сторожу, чтобы он послал вслед за ними к австерии двух караульщиков и велел им дожидаться его на улице.

Едва успел Воробьев войти с старостою в австерию, как Мария, вскочив со скамьи, бросилась своему воспитателю на шею.

— Батюшка! — повторяла она, рыдая и целуя его руки.

Воробьев прижимал ее к сердцу и плакал. В это время Никитин, с отчаянием в душе, давно ходивший взад и вперед по улице мимо австерии, решил войти в нее, почти не понимая сам, что он делает.

— Вот, изволишь видеть, Илья Фомич! — сказал

староста, не приметив вошедшего Никитина.— Грешно бы было, конечно, да и по царскому указу нельзя принудить Марью Павловну выйти замуж за Шубина, но она сама этого желает. По тому же царскому указу ты отказать ей в этом не можешь. Ударь-ка по рукам с Карпом Силычем, так и дело будет в шляпе. Он бы долгу своего подождал, ты бы дела свои поправил и поживал бы себе в своем домике. Ведь в остроге-то куда жить не хорошо! Хе, хе, хе!

— Да, любезный батюшка! Благослови меня! Я согласна выйти замуж за Карпа Силыча. Он так богат! Я буду с ним счастлива! Боже мой! — воскликнула она, увидев Никитина, и закрыла лицо руками. Он стоял неподвижно у двери. На лице его выражалось неизобразимое душевное страдание.

Глубоко тронутый Воробьев, оглянувшись, протянул руки и, подойдя к Никитину, крепко обнял его. Потом, подведя его к Марии, сказал ей:

— Вот жених твой, Маша! Я дал ему слово. Знаю, что ты любишь его. Господь благословит вас! Живите счастливо! А обо мне не беспокойтесь. Я довольно пожил на свете. И в остроге с чистою совестью доживу я свой век спокойно!..

Никитин, пораженный его великодушием, напрасно искал слов, чтобы выразить кипевшие в груди его чувствования: то смотрел он на Марию, то на ее воспитателя, и слезы текли из глаз его.

Воробьев хотел соединить их руки, но Мария, тихо оттолкнув руку Никитина, воскликнула:

— Нет, нет! Никогда! Ни за что на свете!

— Для чего же ее принуждать? — заметил староста, подводя к Воробьеву Шубина, с трудом державшегося на ногах.— Вот жених ее! Этот ей нравится. Не упрямясь, Илья Фомич! Видишь, она как тебя просит, колена твои обнимает! Какой несговорчивый! Благослови ее за Карпа Силыча. Право, он детина знатной!

— Нет, Машенька! — сказал Воробьев.— Я не изменю своему слову! Не дам тебе благословения! Пока я жив, не пойдешь ты к венцу с этим богачом! Не губи себя для меня! Вот жених твой! Он беден, он такой же, как ты, сирота, но Бог милосердный отец всех сирот! Да благословит он вас! Прощайте! Живите счастливо,

и, когда я умру, вы, верно, дети, придете на моей могилке поплакать и добром меня помянете. Прощайте, мои милые! Веди меня в острог! — продолжал он твердым голосом, обратясь к старосте, и пошел к двери.

— Батюшка! Ради Бога! — восклицала рыдавшая Мария и бросилась вслед за ее воспитателем, но староста остановил ее. В изнеможении опустила она руки и голову и закрыла глаза. Передав ее в объятия Шубина, староста вышел вслед за Воробьевым на улицу и велел двум караульщикам, ожидавшим там его приказаний, связать старика и вести за ним в острог.

Мария, опамятававшись и открыв глаза, с ужасом вырвалась из объятий Шубина. Потеряв равновесие, он закачался, как лодка, бросаема волнами, и упал подле двери, ворча сердито:

— Я тебя, злодейку! Научу я тебя толкать своего мужа!

Купец, продававший напитки в австении, во все время описанной сцены стоял в молчании за прилавком.

— Подними меня! — закричал ему Шубин.

— Сам встанешь! — ответил купец.

— Подними! Не то убью! — заревел Шубин, стуча кулаками в пол.

— Как бы староста не был твой приятель, я бы тебя, нахала, умел проводить отсюда!

— Не плачь, милый друг, не плачь! — говорил между тем Никитин Марии, взяв ее за руку и сажая на скамейку. — Я буду день и ночь работать. Бог поможет мне! Я заплачу долг Шубину за твоего батюшку, он освободится из острога, как тогда мы будем счастливы!

— Подними меня, разбойник!

— Ах, Боже мой! Я вспомнил про твой ящичек, милый друг. Ты еще не раскрыла его?

— Нет, срок еще не пришел, — отвечала Мария.

— Может быть, в нем найдешь ты золото или какую-нибудь драгоценность. Ах, дай Бог! Тогда бы ты выкупила батюшку.

Утопающий крепко хватается и за плывущую ветку, не рассчитывая, что она удержать его не может поверх глубины, всасывающей свою жертву. Так и Мария в предположении, очень еще сомнительном, жениха своего увидела луч надежды и радостно предалась этому



чувству. Сопровождаемая Никитиным, она немедленно пошла к дому своего воспитателя.

Староста, оставив Воробьева в остроге, поспешил возвратиться в австерию и, торопливо входя туда, запнулся за Шубина, который после ухода Марии с Никитиным подвинулся еще ближе к двери и растянулся подле самого порога. Он успел схватить Спиридона Степановича за ногу и чуть не уронил его.

— Что за дьявол лег тут у дверей! — воскликнул сердито староста.

— Ага! Попался, голубчик! — сказал Шубин, вообразив, что он держит за ногу купца, который отказался поднять его. — Вот я тебя! Теперь я тебе пересчитаю ребра! Нет, не вырвешься! Погоди!

С сими словами дал он пинка своему благодетелю. Это и не с пьяными случается, только с тою разницею, что пинки даются людьми, стоящими или поставленными на ноги, благодетелям, которые уже упали или уронены.

— С ума ты сошел! — закричал староста, повалясь на пол подле Шубина. — Бить меня! Да как ты осмелился!

— Ах, Спиридон Степаныч! Я думал, что это не ты. Прости меня великодушно!

После униженных извинений с одной стороны и строгого выговора с другой приятели, лежа, помирились, при помощи продавца напитков встали и удалились из австерии.

Через несколько дней настало 1 октября. Можно легко вообразить, с каким нетерпением ожидала Мария этого дня. Прежнее ожидание, открыть в таинственном ящике какое-нибудь известие об отце ее, возбужденная недавно надежда найти там драгоценность, которая бы могла доставить ей средство помочь ее воспитателю, томившемуся в остроге, страх открыть ящик одной и в полночь — все это сильно волновало Марию. Никитин, поздно вечером оставив кисть и закрыв свой ящик с красками, пришел к своей невесте, чтобы разговорами несколько развлечь ее и успокоить. Они сели ужинать и, продолжая разговаривать, смотрели от времени до времени на стенные часы. Пробило одиннадцать. Однообразный звук маятника напоминал им, что ми-

нута, столь долгожданная, скоро наступит. Чем ближе подвигалась стрелка к цифре XII, тем сильнее бились сердца Марии и жениха ее.

— Не пора ли, мой друг, тебе идти? — сказал Никитин, вдруг прервав начатый им рассказ про Италию и указав на часы. До полуночи осталась одна минута.

Мария невольно вздрогнула, взяла в молчании свечу со стола и с сильным трепетом сердца пошла в свою комнату. Затворив за собою дверь, подошла она к столику, на котором стоял ящик ее, перекрестилась, взглянув на образ, висевший на стене над столиком, и сняла с шеи черную ленту, на которой носила она ключ от ящика.

Часы начали бить полночь. Мария трепещущей рукою открыла ящик. Внутренность его обита была черным бархатом. В ящике увидела Мария бумагу, писанную на неизвестном ей языке, и пергаментный свиток, связанный черною лентою. Более ничего в нем не было. В недоумении взяла она бумагу и свиток и решилась показать их знавшему шведский язык Никитину, предполагая, что бумага была написана на сем языке. С этим намерением вышла она в другую комнату.

— Что, моя милая? — спросил ее торопливо Никитин, глядя на нее пристально.

— Вот что нашла я, — отвечала Мария, подавая ему бумагу и свиток.

Никитин, прочитав первую, побледнел. Взяв потом пергаментный свиток, осмотрел он его внимательно, хотел развязать ленту, которою свиток был связан, но вдруг, как бы испугавшись, положил его на стол и задумался. Потом начал он еще раз внимательно читать бумагу.

Мария, устремя на него испытующий взор, старалась угадать волновавшие его мысли. На лице Никитина ясно изображались изумление, радость, страх и нерешимость.

Когда Никитин прочитал во второй раз бумагу, Мария спросила его:

— Нет ли надежды узнать что-нибудь о моем родителе?

— Никакой.

— Что же в себе содержит бумага?

— Это его завещание.

Мария, схватив бумагу, покрыла ее поцелуями и оросила слезами.

— Что батюшка пишет? — спросила она прерывающимся от сильного душевного волнения голосом.

— Не спрашивай меня, милая! Лучше тебе не знать содержания этого завешания.

— Что это значит?

— Если все то справедливо, что сказано в бумаге, то мы с тобою можем приобрести несметное богатство. Все зависит от этого пергаментного свитка, но прочитывать его я не решаюсь. Это ужасно!

— Ты меня удивляешь! Объяснись, ради Бога!

— Нет, милая! Не принуждай меня, для собственного твоего спокойствия!

Убежденный неотступными просьбами Марии, желавшей непременно знать последнюю волю отца своего, Никитин наконец решился сообщить ей содержание завешания. Мария, изменяясь в лице, почти с ужасом его слушала.

— Как ты думаешь, друг мой? — спросил Никитин. — Решиться ли мне прочитать этот свиток?

— Нет, нет! — воскликнула Мария. — Если меня любишь, не делай этого!

— Мы бы могли тотчас же помочь бедному твоему воспитателю и освободить его из острога.

— Но подумай, что ты можешь погубить себя навсегда!

— Совесть моя ни в чем меня не укоряет, друг мой. Душа моя чиста. Кажется, я могу на это решиться. Может быть, я и заблуждаюсь. Тогда, конечно, гибель моя несомненна.

— Нет, нет! Решаться на такой опыт слишком ужасно! Прежде должно испытать все другие средства к освобождению моего бедного батюшки.

Мария взяла завешание отца и пергаментный свиток и снова заперла их в ящик. Никитин, простясь с нею, пошел домой, погруженный в размышления. Мария не могла сомкнуть глаз целую ночь.

На другой день, 2 октября, Никитин пришел опять вечером к своей невесте, несмотря на сильную бурю, которая поднялась еще с самого утра. Разговор их снова начался об открытии, сделанном ими накануне. Не-

ожиданно вошел в комнату Шубин. Он низко поклонился Марии и сказал:

— Прости меня великодушно, Марья Павловна, что я пришел к тебе так поздно. Я узнал, что в ящике, который тебе родитель оставил, ты не нашла ничего, кроме каких-то грамоток.

— Ты уж узнал об этом! — сказала Мария, вспыхнув от гнева.

— Как не узнать! Слухом земля полнится.

— За сколько рублей купил ты мою тайну у нашей работницы? Кроме ее, никто не мог знать до сих пор, что я нашла в ящике.

— Нет, Марья Павловна. Я не говорил ни слова с твоей работницей. Да дело не в том. Я пришел спросить тебя: согласна ли ты идти к венцу со мною? Дай мне верное слово, и батюшку твоего завтра же выпустят из острога. Это от меня одного зависит. Никто, кроме меня, тебе помочь не может.

— Неправда! — возразила вспыльчиво Мария. — Иногда лоскуток написанной бумаги лучше наличных денег. Я могу обойтись без твоей помощи! Твой долг будет тебе чрез несколько дней уплачен.

Никитин, заметив, что Мария, увлеченная негодованием, высказала Шубину более, нежели сколько требовала осторожность, сделал ей знак головою. Мария, почувствовав свою неосмотрительность, замолчала. Но Шубин по ее ответу начал догадываться, что в ящике найдена ею какая-нибудь важная бумага. Может быть, думал он, отец ее завещал ей богатое наследство в Швеции. Ответ Марии сильно смутил его, уничтожив надежду на придуманное им средство принудить ее выйти за него замуж.

Староста, по советам которого Шубин действовал, ходил между тем взад и вперед по Троицкой площади и ждал окончания переговоров своего приятеля, поглядывая изредка на дом Воробьева. Войти в дом не решился он и для того, чтобы не показать явного пристрастия в деле Шубина, и для того, что находил свое присутствие лишним при объяснениях Карпа Силыча с Мариею. Все небо покрыто было тучами, вечерняя темнота все более и более сгущалась, и порывистый ветер со стороны моря дул с необыкновенною силою.

Шубин несколько времени простоял неподвижно, глядя на Марию и сбираясь с мыслями, и решился наконец идти к своему благодетелю на площадь за советами. Поклонясь Марии и посмотрев злобно на Никитина, он вышел из комнаты, но вскоре вбежал опять и закричал:

— Мне нельзя уйти отсюда! Двери на крыльце и ворота крепко-накрепко заперты. Сквозь все щели забора бежит с площади вода.

Никитин подошел к окну, отворил форточку и, несмотря на вой ветра, услышал шипение волн, которые, разбегаясь с площади, достигали до самого дома и разлетались брызгами и пеной.

— Наводнение! — воскликнул он.

— Боже мой! — сказала вполголоса испуганная Мария.

Староста, прогнанный водою с площади, подбежал к дому Воробьева, но, увидя, что дверь на крыльце и ворота заперты, взлез на забор и сел на него верхом.

Никитин, продолжая смотреть в окно, несколько раз отирал платком с лица водяные брызги. В то самое время, когда рев порывистого ветра стих на несколько мгновений, с ужасом услышал Никитин вдали жалобный крик: «Тону! Тону! Батюшки, помогите!» Первая мысль, в нем мелькнувшая, была спасти утонувшего, но что бы то ни стало. «Но каким средством спасти несчастного! Это невозможно!» — была вторая мысль, наполнившая сердце Никитина горестию и состраданием. Через несколько времени опять раздался тот же крик: «Тону! Тону!» — и вскоре голос умолкнул.

Буря все более и более свирепела, и вода быстро прибывала. Густой мрак покрывал всю Троицкую площадь. Никитин, взяв со стола две свечи, приставил их к стеклу окна и снова начал смотреть в форточку, стараясь увидеть, по крайней мере, высоту воды, которой она уже достигла. Сияние свеч разлилось на небольшое пространство пред домом Воробьева и, споря с мраком, слабело по мере отдаления; наконец, побежденное врагом своим, оно умирало, не имея силы пробиться далее в черный, непроницаемый океан тьмы. Из этого океана являлись, как привидения в развевающихся белых саванах, кипящие пеною волны и, шумя,

бежали к дому. От ударов их стена начала дрожать. Никитин, как живописец, на несколько времени забылся и смотрел на эту картину с ужасом, смешанным с наслаждением. Вдруг вспомнив возрастающую с каждою минутою опасность, он начал наблюдать: прибывает ли вода или нет? Когда ветер стихал, являлись из мрака ровные, широкие волны, когда опять ударял порыв вихря, волны возрастали и на вершине их крутилась пена. Вдруг появился вал, подобный великану, который на седой главе своей нес труп человека. Никитин, содрогнувшись, отскочил от окна и закрыл фортку.

— Не нужно ли будет, — сказал он, — из осторожности переносить отсюда вещи на чердак? Вода, кажется, все прибывает.

Мария побледнела. Шубин захохотал от страха. Все начали носить на чердак, что попадалось первое под руку. Шубин усердно помогал Марии и Никитину. Вскоре присоединились к ним приказчик и работница Воробьева. Как обыкновенно бывает в подобных случаях, носили вещи малостоящие и забывали дорогие. Мария, однако ж, не забыла своего ящика, который был ей всего на свете драгоценнее, как единственная вещь, оставшаяся после отца. Шубин, разогнав несколько страх свой мыслию, что вода не дойдет до чердака, обратил внимание свое на ящик. Он считал его препятствием к браку своему с Мариею, ибо думал, что в этом ящике хранится средство, о котором она говорила, уплатить ему долг и освободить ее воспитателя из острога. Выждав время, когда он один остался на чердаке, бессовестный схватил ящик, спрятал в глубокой карман своего саксонского кафтана и пошел вниз помогать в перенесении на чердак остальных вещей.

В это время набежавшая сильная волна ударила в окна той комнаты, где находились Мария и жених ее. Рамы задребезжали, и одно расшибленное стекло зазвенело.

— Пойдем, милая, вверх скорее! — сказал Никитин, взяв Марию за руку. — Мы не успеем всего переносить. Скоро вода вольется в комнаты.

Они пошли вверх. Мария, вдруг как бы проснувшись от страшного сна, вспомнила про своего воспита-

теля, заключенного в остроге. Представив опасность, которой он там подвергался, она вскрикнула от ужаса.

— Что с тобой, друг мой? — спросил Никитин, ведя ее по лестнице.

— Бедный мой батюшка! Он утонет!

Никитин старался ее успокоить, говоря, что примут меры для спасения находящихся в остроге.

Мария, взойдя на чердак, бросилась в кресла и в отчаянии ломала руки. Никитин, приметив слабый красноватый свет, проникавший с площади в слуховое окно, подошел и выглянул в оное. Над Выборгскою стороною увидел он расстилавшееся зарево. Кровавое его сияние рассеяло несколько мрак этой страшной ночи.

Троицкая площадь в то время была гораздо обширнее нынешней и продолжалась до самого берега Невы. Одна Троицкая церковь и австерия стояли на берегу. Никитин подумал, что видит перед собою море. Вся площадь Троицкая, широкая Нева и обширный луг, находившийся на другом берегу Невы между Летним садом и Почтовым двором, составили необозримую водную поверхность, покрытую волнами. Против течения реки доски, бревна, лодки, суда быстро неслись по воде, гонимые ветром. Казалось, весь Финский залив, поднявшись, стремился на Петербург. Зрелище было поразительно.

Когда Никитин отошел от окна, Шубин стал на его место. Представившаяся ему картина разрушения в такой привела его страх, что он начал дрожать как осиновый лист. Во время пребывания его в ските много раз слышал он поучения, в которых описывалась кончина мира. Невольно вспомнил он эти описания, глядя на мрачное небо, на зарево, которое как будто бы происходило от загорающейся земли, на выступившие из берегов воды, которые все стремились разрушить. При том ужасной рев ветра, треск падающих заборов, крик людей, просящих помощи, — все это приводило душу в содрогание. «Уж не кончина ли мира настала?» — подумал Шубин, вспомнив, что в ските многие из тамошних проповедников предсказывали близкое наступление последнего дня.

Погруженный в сии размышления, вдруг услышал он сильный треск и вслед за оным раздавшийся над головой его голос: «Преставление света!»

Оледенев от ужаса, Шубин отскочил от слухового окна и бросился в ноги прежде Марии, а потом Никитину.

— Преставление света! — воскликнул он. — Я слышал голос с неба! Простите меня, многогрешного! Я обижал вас, хотел вам зла. Теперь ничего не нужно человеку! Блажен, кто зла не творил и делал дела благие! Простите меня, многогрешного!

— Помилуй, что с тобой сделалось? — спросил удивленный Никитин, поднимая лежавшего перед ним кающегося грешника.

— Я слышал голос, своими ушами слышал! Простите меня, окаянного!

Никитин подошел снова к слуховому окну и увидел прежнюю картину наводнения. Он начал вслушиваться и ничего не мог различить, кроме воя ветра и шума волн. Наконец он в самом деле слышит над собою голос: «Батюшки светы. Весь Питер, видно, потонет!»

— Кто там? — закричал живописец, высунувшись по пояс из окошка.

— Я! — отвечал староста Гусев, перелезший с забора на кровлю дома. Толстяк стоял подле трубы, схватясь за нее обеими руками. — Нельзя ли мне как попасть на чердак? Я того и смотрю, что меня отсюда ветром сшибет.

Никитин отыскал на чердаке длинный шест, которым Воробьев иногда гонял голубей, сохранив с молодых лет страсть к сей забаве. Протянув сей шест к старосте, Никитин советовал ему, чтобы он, держась за шест, осторожно спустился к окошку. Гусев последовал совету и сполз на чердак.

— Ты, Спиридон Степаныч, закричал, когда я смотрел в окно: «преставление света»? — спросил Шубин.

— Я. С ближнего дома ветер сорвал крышу, и с таким треском, что у меня душа в пятки ушла.

— Ты меня до смерти перепугал!

— Да уж что говорить! Не мы одни с тобой теперь трусим!

Вода между тем все возвышалась более и более и влилась в комнаты. Зарево, происшедшее от загоревшейся близ Петербурга деревни, начало гаснуть, и блеск его слился с зарею, появившеюся на прояснившемся востоке. Ветер стал постепенно слабеть и к по-



лудню утих совершенно. Вода начала быстро сбывать.

— Не поспешить ли нам домой? — сказал Гусев, глядя в слуховое окно. — По площади народ уж ходит. Сколько на ней бревен, дров, лодок и разного хламу! Надо взглянуть, что у нас дома вода напроказила.

Поклонясь Марии, староста и Шубин, с похищенным ящиком в кармане, вышли.

Никитин, по просьбе Марии, немедленно повел ее к острогу, чтобы узнать об участи ее воспитателя. Там сторож губернской канцелярии сказал им, что все заключенные были переведены на чердак дома, где помещалась сия канцелярия, и что ни один из них не утонул. С облегченным сердцем возвратилась Мария с женихом домой и начала отыскивать своего ящика на чердаке между расставленными в беспорядке разными вещами. Нигде не находя его, бедная девушка заплакала. Никитин осмотрел все углы, но напрасно. Сначала подумал он, что ящик забыт был внизу и что его унесло водою, но Мария твердо помнила, что она прежде всех других вещей перенесла свой ящик на чердак.

— Верно, Шубин или староста унес его! — сказала Мария в слезах.

Никитин, которому сие подозрение показалось очень вероятным, дал слово Марии во что бы то ни стало открыть похитителя.

Староста, сопровождаемый Шубинным, шел между тем скорым шагом к дому своему, который находился в конце Дворянской улицы, на берегу Малой Невы. Он похвалил своего приятеля за сметливость и расторопность, когда тот сообщил ему о приобретении ящика, и горел нетерпением скорее узнать содержание бумаг, найденных Мариею. При входе в дом свой он поразился, заметив, что вода не влилась в его комнаты, а затопила одни подвалы.

— То ли дело, — воскликнул он, — как дом-то выше построишь! Теперь многие охают, а мне хоть трава не расти. Все сухо и цело! Давай же сюда ящик-то! — продолжал он, запирая дверь комнаты, в которую они вошли.

— Вот он, Спиридон Степаных, — сказал Шубин, вынимая ящик из кармана. — Только он заперт. Ключ остался у моей невесты. Она его на шее носит.

Гусев взял большую связку ключей разной величины, почти все перепробовал и наконец кое-как отпер ящик. Взяв бумагу и пергаментный свиток, он развязал ленту, которою сей последний был связан, надел на нос очки, взглянул сначала на свиток, потом на бумагу и пробормотал:

— Это какая-то тарабарская грамота! Я ни слова разобрать не могу!

Вспомнив, что отец Марии был швед, он продолжал:

— Верно, это по-шведски написано! Этакая досада! Ах да! Мой брат Александр знает по-шведски. Он долго жил в Стекольном\*, по торговым моим делам. Не позвать ли его? Как ты думаешь, Карп Силыч?

— Чтоб он не рассказал кому-нибудь и не ввел меня в беду!

— Как это можно! На него я полагаюсь, как на самого себя. Он не введет нас болтовством в хлопоты. Я от него никогда ничего не тайл. Притом я содержу его, даю ему стол и помещение. С ума разве он сойдет! Постой-ка я схожу за ним.

— Да не говори же ему, однако ж, Спиридон Степанович, откуда достались нам эти грамотки.

— Смешон ты, Карп Силыч! Не тебе учить меня осторожности. Я прожил поболее твоего на свете. Да, впрочем, не беспокойся! Я скажу ему, что нашел этот ящик на улице. После наводнения мало ли что теперь по улицам валяется. Свалим всю беду на воду, так и концы в воду.

Чрез несколько минут староста возвратился в комнату с меньшим своим братом, который весьма походил лицом на старшего, только сей последний был его гораздо потолще и вместе потоньше. Младший мастер был писать бумаги тогдашним приказным слогом и исправлял должность письмоводителя старосты.

— Переведи-ка, братец, эти бумаги. Кажется, они писаны по-шведски,— сказал староста.— я шел вот с этим приятелем моим и поднял их по дороге.

Брат Гусева взял сначала бумагу, прочитал ее про себя и воскликнул:

— Это чудеса, если это все правда!— Потом взял он пергаментный свиток, прочитал его с возраставшим

---

\* Стокгольм,

приметно вниманием и опять начал снова читать. Глаза его блистали радостью, руки дрожали, однако ж он усиливался скрывать свое волнение.

— Переведи же скорее, что тут написано, — сказал Гусев.

— Да что переводить! — отвечал его брат. — Все вздор! Написано наставление, как жить должно на свете.

— Только-то! — проворчал Гусев.

— Ну, так возьми себе, Карп Силыч, эту находку. Мы хоть и вместе с тобой ее нашли, однако ж я тебе свою долю уступаю. В каком еще богатом ящике спрятана была такая дрянь!

Положив бумагу и свиток в ящик, он подал его Шубину. Александр Степанович между тем мигал и старался знаками остановить брата, но, увидев, что он знаков его не заметил и что Шубин положил уже ящик в карман, брат Гусева с приметною досадой взял его за руку и вывел в другую комнату.

— Я тебе мигал, мигал — ничего не видишь! — сказал он вполголоса. — Возьми ящик назад!

— А что?

— Возьми, говорят! Не знаешь ты, какое сокровище отдал! После я тебе все расскажу. Чудеса, да и только! Смотри ж, брат! Чур, со мной все пополам. Не то и переводить не стану.

— Что такое пополам? Растолкуй, пожалуйста! Я ничего не понимаю!

— После поговорим: прежде возьми ящик.

— Пожалуй, за этим дело не станет.

Они вошли опять в комнату, где был Шубин. Староста, поговорив о наводнении, о погоде, о хлопотах по своей должности и о разных других предметах, сказал наконец Шубину, когда тот начал с ним прощаться в намерении идти домой:

— Не лучше ли тебе ящик-то у меня оставить? С этакой дрянью в беду попадешь, пожалуй. Я бы отыскал хозяина и отдал бы ему его добро. Находка-то, право, незавидная!

Шубину показалось подозрительно, что староста с братом выходил о чем-то посоветоваться в другую комнату. Опасаясь, чтоб хитрый старик как-нибудь не

вздумал изменить ему, его запутать и сорвать с него взятку, решился Шубин удержать ящик у себя.

— Зачем тебе хлопотать, Спиридон Степаныч! — отвечал он. — У тебя и без того хлопот полон рот. Я скорее тебя отыщу хозяина и скажу ему, что нашел этот ящик на улице. Он мне еще спасибо скажет. Хозяина найти нетрудно!

Поцеловавшись с Гусевым и поклонясь его брату, пошел он к дверям. Староста, заметив недоверчивость Шубина, решился было насильно взять у него ящик, но его остановила мысль, что Шубин, поссорясь с ним, может везде кричать о сделанных уже ему и обещанных подарках за содействие к женитьбе на Марии и таким образом ввести его в беду. Провожая Шубина, он потирал себе лоб и сбирался с мыслями.

Александр Степанович, видя, что Шубин уходит, вскочил со стула и остановил его.

— Постой, подожди немножко! — сказал он. — Надо поговорить с тобой.

— В другое время поговорим. Теперь мне домой пора, — отвечал Шубин, стараясь скорее уйти, но Александр Степанович подбежал к двери и ее запер.

Шубин рассердился и вместе струсил.

— Что ж это такое! — закричал он. — Разве можно так с гостями поступать!

— Послушай, братец! — шепнул на ухо старосте брат его. — Делать нечего! Возьмем и этого лешего в часть. И трое разделим добычу, так все-таки будет с нас.

— Ничего я не понимаю! — отвечал Гусев с досадою. — Что такое нам делить? Ну, трое так трое! Я согласен. Присядь-ка, Карп Силыч; полно гневаться. Мы тебе добра хотим.

Шубин, успокоенный этими словами, сел. Александр Степанович, посмотрев в замочную скважину, дабы удостовериться, не подслушивает ли их кто у дверей, начал говорить вполголоса:

— Находка ваша лучше всякого клада! Можно вдруг разбогатеть пуще Александра Данилыча. Дай-ка ящик сюда; я переведу вам бумаги, так вы оба ахнете.

— Да отдай же ящик, Карп Силыч! — воскликнул

Гусев, приметив нерешительность Шубина.— Все, что ни достанем, разделим поровну. Никому обидно не будет!

— Поклянись прежде! Оба поклянитесь!— отвечал Шубин.— Я ведь не знаю, что у вас на уме.

Староста и брат его начали с жаром божиться, и Шубин подал им ящик.

Вынув сначала бумагу, Александр Степанович начал читать ее, нередко останавливаясь и многое искажая своим переводом. Она содержала в себе следующее:

«Неизвестен час, в который смерть постигнет человека. Помышляя об этом, решился я написать сии строки. Родни у меня никого нет, кроме младенца Марии, единственной дочери и наследницы моего небольшого поместья и дома, где я ныне живу. Дом сей построен на берегу реки Ниен моим покойным дедом против острова Льюстейланде. Он получил в подарок от его величества короля Густава Адольфа означенное поместье вскоре после заключения мира с русскими в Столбове, в 1616 году. Подлинный акт о сем пожаловании хранится в Архиве королевской канцелярии, в Стокгольме, под номером 2729 книги актов 1616 года, а в моих бумагах есть формальный список с сего акта, дошедший ко мне от деда. Пишу сие, дабы не предъявил кто по смерти моей несправедливого спора, и дочь моя не лишилась законного небольшого наследства. Если я умру в такое время, когда она не придет еще в совершенный возраст, то заклинаю святым Олафом того, кому первому попадет в руки сие мое завещание (будет ли он чиновник правительства или кто другой), исполнить в точности волю мою и хранить в тайне все то, что я здесь сообщаю. Это необходимо как для блага моей дочери, так и для собственной его пользы. В этом ящике положен вместе с сим завещанием пергаментный свиток, писанный предком моим в Стокгольме, в 1323 году. Свиток сей сохранялся в нашем семействе в течение четырех почти веков и переходил от отца к сыну. В оном описано средство лечить всякие болезни, поддерживать жизнь и здоровье человека, отдалять старость и превращать ртуть и свинец в чистое золото. Средство сие ранее не получит силы и действия, как в

полночь 1 октября будущего 1723 года. Если кто-нибудь ранее попытается отыскивать это средство, тот навсегда уничтожит его силу и погубит самого себя. Найти же его после назначенного срока, не подвергаясь никакой опасности, может только тот, кто совершенно чист в совести, кто в душе хранил всегда добродетель и кто чужд корыстолюбия, зависти и всех других страстей и пороков. Посему заклинаю всякого прежде испытать себя строго, ибо если кто-либо недостойный прочтет пергаментный свиток и решится им воспользоваться, тот может умереть скоропостижно или на всю жизнь лишиться рассудка. Кто усомнится в сем, того опыт удостоверит в истине слов моих. Во всяком случае попадет он навек во власть духов земли, без помощи которых нельзя отыскать означенного выше средства. Человеку добродетельному и чистому сердцем опасаться, однако ж, нечего: ибо духи его страшатся и ему повинуются. Отысканное средство должно хранить в тайне и втайне употреблять его. Кто не надеется на свою добродетель, тот может передать пергаментный свиток другому, достойнейшему. Кто бы он ни был, я заклинаю его святым Олафом прежде прочтения пергаментного свитка произнести клятву, отдавать половину золота, которое он приобретает будет, моей дочери Марии. Не исполнивший сей моей просьбы докажет свое корыстолюбие и бессовестность, и духи земли накажут виновного. Ее же прошу, если она первая прочитает это заветование, не читать пергаментного свитка и передать тому, кого она по добродетели признает достойным, ибо, по моему убеждению, никакая женщина не может иметь той силы души, которая необходима для безопасного отыскания означенного средства. Писано в поместье Ниенбонинг, февраля в 9 день 1703 года, и подписано моею рукою: Павел Ван, шведский дворянин».

Спиридон Степанович и Шубин не проронили ни одного слова из прочитанного.

— Духи земли? Гм! — сказал староста, глядя лоб рукою. — Это дело, как я вижу, не без чернокнижества! Прослушать ли нам другую-то бумагу, Карп Силыч? Как ты думаешь? — спросил он Шубина и, обратясь к брату, продолжал: — Повтори-ка, что сказано про то, когда недостойный прочтет пергаментный свиток и пожелает им воспользоваться?

— Сказано, что тот попадет во власть духов земли.

— Гм! Шутка плохая!.. Ты прочитал, брат, свиток-то?

— Прочитал, да ведь я еще не решился им воспользоваться. Нас здесь трое. Смешно было бы счесть себя всех достойнее.

— И я не так самолюбив, не считаю себя лучше других! Прочти, однако ж, этот свиток. Мы с Карпом Силычем слушаем и подумаем.

В пергаментном свитке содержалось следующее:

«Стокгольм, октября в 5 день 1323 года. Всякого приступающего к прочтению сего пергамента, кто бы он ни был, заклинаю седмикратно спросить самого себя так: добродетелен ли я и совершенно ли чист душою? Кому совесть ответит: да — тот может смело прочесть пергамент, кому же скажет: нет! — тот погубит себя, если дерзнет далее читать здесь написанное и пожелает употребить оное в свою пользу. Да знает читающий, что он в назначенный срок получит силу повелевать духами земли, если он добродетелен, в противном случае духи сии ныне же им овладеют, и тогда уже никто ему не поможет. Достигнув столетней старости и предчувствуя близкий конец свой, не хочу я унести с собою во гроб плода трудов и неутомимых изысканий, коим посвятил я долговременную жизнь. С молодых лет постоянно стремился я к открытию таинств природы. В молодости моей, в 1275 году, был я в Лондоне и познакомился там с знаменитым мудрецом, коему подобного не бывало на земле и не будет. Я говорю о знаменитом Раймунде Лулле. Вскоре после прибытия его в Лондон был он представлен королю Эдуарду I. В благодарность за то, что монарх сей достойно почтил мудрость пред лицом всего блестящего двора своего, Лулл, оставшись наедине с королем, потребовал несколько фунтов ртути и в присутствии его величества превратил ее в золото. Можно представить себе изумление короля! Он просил Лулла поселиться навсегда в Лондоне, но сие светило мудрости освещало берега Темзы не более полугода. Лулл возвратился в Германию, оставив Эдуарду на память 50 000 фунтов ртути, превращенной в золото, из которого вычеканены были первые монеты, называвшиеся рознобли. Это известно целой Англии. Я употребил все силы заслужить

внимание и благосклонность знаменитого Лулла и удостоился счастья приобрести не только его знакомство, но даже дружбу. Вместе с ним поехал я из Лондона в Германию, где дожил до седых волос. Близ Лейпцига купил я замок и, поселясь в нем вместе с Луллом, посвятил жизнь свою изучению таинств природы под руководством сего светила мудрости. Невозможно поместить здесь все то, что я узнал от него. Упомяну о главном. Он объяснил мне цель славного Египетского лабиринта. Сия цель до знаменитого Лулла никому из древних и новых мудрецов не была известна. Лабиринт сей, в древнейшие времена построенный близ Меридова озера, неподалеку от города Крокодилополиса, состоял из трех тысяч великолепных зал, окруженных высокою стеною и рядом столпов. Половина сего огромного здания находилась под землею. Чужеземцу не позволялось входить во внутренность лабиринта, да если бы и вошел кто, то тщетно стал бы искать выхода, ибо он был так устроен, что вошедший непременно должен был заблудиться. В этом здании, как открыл мне Лулл, жили втайне египетские златоделатели, превращавшие простые металлы в золото. По покорении Египта римлянами лабиринт опустел, но искусство живших в нем златоделателей было описано в некоторых рукописях, которые хранились в Александрийской библиотеке. Обыкновенно утверждают, что драгоценная сия библиотека, хранившая в себе всю мудрость древних, сожжена была в 642 году по приказанию калифа Омара, но Лулл неопровержимо доказал мне, что сие мнение несправедливо. В части города Александрии, называвшейся Брухион, находились близ гавани чертоги повелителей Египта и великолепное здание библиотеки, где помещалось более четырехсот тысяч рукописей. Оно сгорело во время осады Александрии Юлием Кесарем, но осталось отделение сей библиотеки, состоявшее из трехсот тысяч рукописей и помещавшееся в храме Юпитера Сераписа. Когда император Феодосий Великий в 392 году повелел разрушить языческие храмы во всей Римской империи, то архиепископ Феодосий, с помощью монахов и воинов, опустошив храм Юпитера Сераписа, велел все рукописи из библиотеки раздать по общественным баням, где ими и пользовались в течение полугода вместо дров. В конце 4-го



века историк Орозий, посетив библиотеку, увидел в ней одни пустые шкафы. Сие опустошение драгоценного книгохранилища случилось за два с половиною века прежде того времени, в которое приписывается сожжение оно́го Омару\*. Однако ж, для блага человечества, многие рукописи, обреченные огню, были похищены из общественных бань и, переходя из рук в руки, как драгоценность, уцелели до наших времен. Из этих рукописей Лулл почерпнул свою глубокую мудрость. Из них узнал он и постиг то, что неведомо и непостижимо ни одному из смертных, ныне на земле живущих. Он многое открыл мне, но многое обещал еще открыть, когда я буду достоин услышать великие и недоступные истины и таинства. Я ждал сего времени с таким же нетерпением, с каким жаждет взглянуть на дневный свет человек, заключенный на целую жизнь в глубокий, мрачный рудник. Но я ждал напрасно! В 1315 году смерть, как грозное облако, затмила неожиданно великое светило мудрости. Пораженный сею невозвратимою потерею, я продал замок и возвратился в отечество. Поселясь в Стокгольме, я продолжал изучать природу и открывать все в ней сокровенное. Все сообщенное мне великим Луллом и самим мною открытое помещено в книге, которую я намерен сжечь пред смертью, если не встречу никого достойного, кому бы мог я передать накопленные мною сокровища мудрости. Так как на приобретение сих сокровищ пожертвовал я почти всем наследственным именем, дошедшим ко мне от предков, то для вознаграждения потомков моих открываю им средство сохранять жизнь, здоровье и счастье и доставать золото, для которого почти все делается на свете и которое почти все может делать. Прошу моего любезного племянника, единственного наследника моего, сохранить сей свиток и передать кому-либо достойному из рода Сванов, да сохранится сей свиток в сем роде до тех пор, пока не придет срок сим свитком воспользоваться. Срок сей наступит через четьреста лет. К тебе обращаюсь, счастливый потомок мой! Кости мои истлеют, память обо мне исчезнет, а ты воспользешься плодом жизни моей, моих трудов и изысканий. Между

---

\* Это доказано новейшими германскими писателями,

нами чернеет бездна четырех веков, но ты услышишь голос мой. Внимай ему с уважением.

Современник историка Орозия, мудрец Юлий Фирмикус, живший в 4-м столетии после Р<ожества> Х<ристов>, пишет: «Если какой-либо дом находится под влиянием планеты Меркурия, то она всякому новорожденному в сем доме дает познание астрономии; Венера посылает веселую жизнь; Марс — воинское и оружейное искусство; Юпитер — познание богословия и законов; Сатурн — познание алхимии; Солнце — познание четвероногих».

Я родился под влиянием планет Сатурна и Венеры, как открыл мне великий Лулл. Я бы сравнился с сим мудрецом в познании алхимии, но влияние Венеры мне мешало, и веселая жизнь, сею планетою внушаемая, нередко отвлекала меня от трудов и изысканий. Однако ж в старости успел я превозмочь влияние сей последней планеты, и никто из соотечественников моих не мог сравниться со мною в алхимическом искусстве, в коем первые наставления преподавал мне Лулл. Умирая, он подарил мне рукопись, находившуюся в книгохранилище храма Юпитера Сераписа. Руководствуясь ею, я сделал следующее.

В полночь пошел я на кладбище, вызвал духа земли и наполнил два глиняные сосуда землею, которую он указал мне. В один сосуд зарыл я луч месяца, а в другой, когда возшло солнце, луч-сего светила и произнес заклинание. Сосуды сии хранятся у меня на окне, в моей спальне. Когда протекут три века, должно будет в каком-либо необитаемом месте вырыть семиугольную яму, глубиною в три фута, и, осторожно выложив землю из сосудов на дно ямы, наполнить ее обыкновенною землею. Сие должно быть сделано в полночь. Когда после того пройдут еще сто лет, то в полночь же должно прийти на то место и произнести: «Демон тес гес! Гелиос, хрюсос, селене, лифос». Когда дух земли повторит сии слова, то должно будет разрыть яму.

Там из зарытого луча солнца образуется длинная полоса золота, а из луча месяца небольшой, синеватый камень. Золото будет самое чистое, какого нигде найти нельзя, а камень будет состоять из отверделой ко-

ренной стихии, которая во всех вещах содержится и составляет их начало. Обратив самую малую часть сего камня в порошок и взяв крупинку золота, положи в плавильный горшок вместе с двадцатью фунтами свинца, олова или ртути и поставь на огонь. Вскоре металл сильно закипит, подобно воде, появятся на поверхности пузыри багряного цвета. Тогда взяв какой-нибудь чистый сосуд, вылей в него металл, и когда сей последний остынет, то пожелтеет, и таким образом получится слиток самого чистого золота, который будет шестою частию тяжелее употребленного в дело свинца, олова или ртути. Сверх того, довольно принять в воде две или три порошинки означенного синеватого камня, чтобы излечить себя от какой бы то ни было болезни. Таким образом можно сохранять сим средством жизнь и здоровье до глубокой старости. Предваряю, однако ж, тебя, счастливый потомок мой, что ты сообщаемым тебе таинством тогда только успеешь воспользоваться, когда тобою не будут владеть никакие пороки и страсти. Тогда дух земли тебе покорится и тебе послужит, в противном же случае он тобою овладеет, и ты навеки погибнешь. Если не надеешься на себя, передай сей свиток другому. Кто бы ни был владелец свитка, он должен хранить его в тайне, и все действия, относящиеся к свитку, производить не иначе, как с полночи до рассвета. Нарушение сего лишит свиток всякой силы и действия.

Адепт\* Карл Сван».

Хотя Александр Степанович с большим трудом перевел свиток и многое в нем искажил своим переводом, однако ж главное хорошо поняли старший брат его и Шубин.

— Ну, нечего сказать!— заметил староста.— От этакой грамоты немудрено с ума сойти. Я теперь словно шальной. Почти ни о чем порядком рассудить не могу.

— А вот здесь на свитке есть еще приписка, только уж другую рукою,— сказал Александр Степанович и начал приписанное переводить.

---

\* Алхимисты называли адептами тех, которые, по мнению их, нашли философский камень (*Lapis Philosophorum*), Камень сей также назывался у них *Menstruum universale*.

«Переселясь из Стокгольма в Ингерманландию, в пожалованное мне королем поместье Ниенбонинг, привез я с собою оба глиняные сосуда и в срок, назначенный предком, зарыл землю, в сосудах хранившуюся, сего октября 1-го числа 1623 года. Место, где я совершил сие, находится на необитаемом острове, который лежит близ моего поместья. Должно переехать реку Ниен и потом идти все прямо на север. Встретится небольшая речка. Переправясь через нее и продолжая все идти на север, дойдешь до рукава реки Ниен и увидишь на другой стороне тот необитаемый остров. Он весь покрыт лесом, а по берегам его множество лежит камней. Близ берега, в рукаве реки Ниен, виден большой камень, около которого вода сильно шумит и струится. Против самого сего камня должно пристать к острову. Пройдя тридцать шагов от берега, увидишь в лесу другой камень, почти в рост человека. На нем я выскреб концом моей шпаги: *till vänster* (влево). Отступая от этого камня в левую сторону восемь шагов, найдешь место, где зарыта земля из двух сосудов».

— Где ж бы это было? — сказал староста.

— Должно быть, на острове, который принадлежит канцлеру графу Гаврилу Ивановичу Головкину и называется Каменным, — отвечал Александр Степанович. — Близ берега этого острова лежит в Малой Неве большой камень. В здешних местах больше нигде я таких камней не видал.

— Правда! — продолжал староста. — Место-то найдем, за этим дело не станет. Да искать ли его, вот о чем прежде надобно подумать.

— Помилуй, брат! Неужто нам упустить из рук такое сокровище!

— Не о том я говорю. Нас трое. Мы уж условились делить все, что ни достанем, поровну. Только дело в том, кто ж из нас пойдет разрывать яму. Ведь надобно идти в полночь?

— Да, в полночь. Что ж за беда! Если совесть у кого чиста, тому бояться нечего. Притом неизвестно, что это за такой дух земли. Неужто дьявол в самом деле — наше место свято!

— А кто же другой-то?

— Мне сдается, что этот швед нарочно написал это,

чтобы только напугать того, кому в руки этот свиток попадется.

— И то быть может.

— Кто ж из нас отыскивать клад пойдет? Я бы советовал тебе, любезный брат. У тебя душа предобрая! Вот ты меня кормишь и поишь. Чего тебе бояться! Как бы у меня совесть была так же чиста, как твоя, то я бы ни на минутку не призадумался.

— Нет, братец! Я хоть и очень подозреваю, что швед хотел только пугать православных, однако ж... Да сходи ты за кладом! Ну кому ты зло сделал? У тебя такой нрав, что и курицы не обидишь! Или ты сходи, Карп Силыч.

— Ни за что на свете! — воскликнул Шубин. — Да я умру со страху.

— Какой же ты трус! — продолжал староста. — Вот тебе так уж бояться совершенно нечего! До двадцати пяти лет вырос ты под надзором родителя, все жил среди благочестивых людей. Этаких, как ты, со свечой поискать! Ну скажи, что у тебя есть на совести? Ничего нет, да и быть не может.

— Ну нет, Спиридон Степаныч, есть кое-что! Без того нельзя. Ведь и я человек.

— А я скажу, Карп Силыч, что ты вовсе не похож на человека, а настоящий ангел. Я лучше знаю тебя, чем ты сам себя. В тебе душа истинно ангельская! Разумен, целомудрен, степенен, честен, великодушен...

— Благодарю покорно за доброе слово, Спиридон Степаныч! Однако ж мне кажется, что ты мне ни в чем не уступишь. Надобно, во-первых, сказать, что ты меня разумнее, во-вторых...

— Кто? Я тебя разумнее? Помилуй! Ты себя обижаешь!

— Да неужто ты меня глупее?

— Глуше, гораздо глупее! А о брате и говорить нечего. Он перед тобой совершенный осел.

— Именно осел! — подтвердил Александр Степанович. — У меня ума нет ни крошки.

— И у меня также! — сказал староста. — Надобно правду сказать.

— Воля ваша! Пусть вы оба не хитры, только уж и я вас ни на волос не умнее! Стало быть, мы все трое поровну глупы, — возразил Шубин.

— Нет, Карп Силыч! Не обижай себя. У тебя ума — палата! — сказал Александр Степанович.

— Помилуйте! Вы оба люди грамотные, я же аза в глаза не знаю!

— Грамотные! — воскликнул староста. — Неужто ты думаешь, что все грамотные уж и умные люди? Не всякой умен, кто учен. Вон есть у меня знакомый немец: все науки знает, а как заговорит, так уши вянут.

Долго еще длился сей необыкновенный спор, в котором двое старались всеми силами себя унижить и приписать себе сколько можно более недостатков и худых качеств, дабы возвысить третьего. Наконец согласились решить дело жребием. Положили в колпак три пятака, из которых на одном провели слегка черту иглою, и условились, чтобы тот шел отыскивать клад, кто вынет пятак с чертою. Разом сунули они в колпак правые руки. Роковой пятак попался Шубину.

— Нет, нет! — закричал он, побледнев. — Не пойду, хоть зарежьте!

— Как? От слова ты отступаешься? — воскликнули в один голос староста и брат его.

— Отступаюсь!

— Да мы тебя принудим!

— Я раскрою все твое плутовство! — продолжал староста. — Я донесу генерал-полицеймейстеру, откуда ты этот ящик достал. Ты, я вижу, плут!

— А кто говорил сейчас, что я настоящий ангел и что ты меня по всему хуже? Коли я плут, так ты уж кто?

Начался другой спор, совершенно противоположный первому, и весьма обыкновенный, в котором двое нападали на третьего, унижали, стращали и бранили его. Шубин отбранивался, повторяя: «Давеча вы не то говорили!» По долгом прении заключили мир на том условии, чтобы всем трем отправиться ночью за кладом, положив в карманы по кусочку ладана, для защиты от нечистой силы.

Смеркалось. По мере того как сияние зари слабело на западе, в сердцах искателей клада усиливался страх. Каждый из них, однако ж, по наружности храбрился, стараясь придать духу товарищам. Пробило на Троицкой колокольне десять часов вечера.

— Не пора ли нам идти в поход? — сказал староста. — Не увидим, как и полночь наступит.

— Пора, пора! — отвечал брат его. — Мешкать нечего. Я возьму с собой на всякой случай мое охотничье ружье, а ты, Карп Силыч, возьми заступ. Тьфу, пропасть! Какой же ты трус! Ничего не видя, уж ты дрожишь как осиновый лист. Коли взялся за гуж, не говори, что не дюж. На других только тоску наводишь.

— Да кто тебе сказал, что я трушу? Лучше взгляни сам на себя. Лицо-то у тебя ни дать ни взять снятое молоко.

— Ах вы трусы, трусы! — сказал староста, качая головою и с усилием скрывая пронимавшую его дрожь. — Вы на меня посмотрите! Чего тут бояться? Ведь у нас есть ладан в карманах, так что нам сделается! Притом взгляните, как месяц сияет. Светло точно днем!

Надев сверх кафтанов длиннополые сюртуки и взяв с собою черный ящик, ружье и заступ, вышли они из дома. Пройдя всю Дворянскую улицу, поворотили они направо и вскоре вошли в лес, который покрывал почти половину Санкт-Петербургского острова. Начиная от того места, где ныне стоит Второй кадетский корпус, по всему берегу против Петровского и Крестовского островов не было ни одного дома. Ни Большого проспекта, ни Каменноостровского не существовало. По левую сторону сего последнего строения оканчивалось тою улицею, где ныне стоит церковь св. апостола Матвея. В этой улице находились только избы, построенные для солдат Санкт-Петербургского гарнизона. Означенная церковь была гораздо менее нынешней и деревянная. С левой стороны Каменноостровского проспекта строения простирались не далее того места, где стоит церковь св. Николая Чудотворца, называемая в Трунилове. Сей церкви еще тогда не было\*. Берега Карповки, усеянные ныне дачами, покрыты были соснами, елями и изредка березами.

---

\* Она первоначально устроена была в 1738 году, во время правления Анны Иоанновны, в деревянном доме комиссара Крепостной конторы Ивана Трунилова; нынешнюю же заложили при императрице Елисавете Петровне, в 1760 году. Вот, от чего произошло сохранившееся до сих пор название: в Трунилове.

На Аптекарском острове находились только четыре деревянные домика, где жили смотритель и садовники Ботанического сада, доныне зеленеющего на том же месте. Сверх того, на берегу Малой Невы подле этого сада находилось Немецкое кладбище и хижина, где жили рыбаки. Вся остальная часть острова покрыта была лесом. На другом берегу Карповки стояло уединенное Новгородское подворье, устроенное архиепископом Феофаном, который купил землю после умершего санкт-петербургского оберкоменданта Романа Вплимовича Брюса. Острова Крестовский, Елагин и Каменный также были все покрыты лесом. На сих трех островах было одно только строение: деревянный двухэтажный дворец (в пять окошек по лицу, с балконом), построенный для сестры Петра Великого, царевны Натальи Алексеевны, на принадлежащем ей Крестовском острове. Дворец сей стоял на месте нынешней дачи княгини Белосельской. Елагин остров назывался тогда Шафировым потому, что принадлежал вице-канцлеру Шафирову. Его называли также Мишиным с тех пор, как появился на нем медведь необыкновенной величины, которого боялись самые отважные охотники. Наконец, двое из них убили незваного гостя и представили огромную шкуру Шафирову. Там, где ныне сады Строганова и Головина, Новая деревня и модные летние жилища петербургских жителей на Черной речке, была совершенная глушь.

Через час пробравшись на берег Карповки, искатели клада поворотили направо, прошли мимо Новгородского подворья и вскоре приблизились к тому месту, где устроен был небольшой паром для переезда с Петербургского острова на Аптекарский, к Ботаническому саду. Переправясь на другую сторону, они мимо сего сада прошли через Немецкое кладбище и приблизились к рыбацкой хижине. Сказав, что они отправляются стрелять волков, которых водилось тогда множество в окрестностях Петербурга, и наняв у рыбаков лодку, спустились они по Малой Неве и вышли на лесистый берег Каменного острова, увидев возвышавшийся неподалеку от берега большой камень, около которого вода струилась и журчала. От сего камня произошло название острова.



— Теперь надобно отсчитать от берега тридцать шагов,— сказал Александр Степанович.

Все трое, прижимаясь один к другому, начали углубляться в лес и считать шаги. Лучи месяца, пробиваясь между ветвями елей и сосен, яркими полосами разрезывали мрак леса.

— Посмотрите-ка, посмотрите! — воскликнул староста, указывая вперед. — Кажется, уж виден камень, которого мы ищем.

— Где, где? — закричали брат старосты и Шубин, остановясь как вкопанные. Рассмотрев освещенный месяцем камень, выглядывавший, как привидение, из-за низкого кустарника, Шубин бросился бежать к лодке, которая осталась у берега. За ним пустились также бегом староста и брат его. Всем троим казалось, что кто-то за ними гонится.

Добежав до берега и переведя дух, дородный Спиридон Степанович несколько раз охнул и спросил:

— Что тебе померещилось, Карп Силыч?

— Ничего! Я увидел только камень, и такой на меня страх напал, что в глазах зарябело.

— Тьфу, пропасть! Как ты меня перепугал!

Собравшись с духом, пошли они опять в лес и приблизились на цыпочках к испугавшему их камню. Казалось, что они подходили к спящему медведю.

— Смотрите-ка, смотрите! — прошептал брат старосты, указывая на слово, начертанное на камне, которое с трудом разобрать было можно. — Написано: *till vånster*. Теперь надобно нам отступить влево на восемь шагов и потом... что бишь сказано в свитке? Вынь-ка его из ящика, Карп Силыч!

Шубин подал свиток брату старосты.

— Здесь сказано, что сначала надобно над ямой проговорить в полночь какие-то неизвестные слова. Я думаю, скоро уж и полночь наступит?

— А вот услышим, как часы будут бить на Троицкой колокольне. Часовой колокол такой звонкой, что версты за три слышен. Теперь же все тихо, как на кладбище.

— Потом, когда слова эти повторит, знаете, он-то, тогда яму надобно разрыть — и дело с концом.

— А кто же из нас слова-то скажет? — спросил Шу-

бин.— Воля ваша! Я один говорить их не стану. Скажем их все вместе, в один голос.

— Ну, ну, хорошо! — сказал брат старосты.— Я буду читать эти слова по свитку, а вы оба за мною повторяйте.

— Чу! Кажется, бьет полночь! — воскликнул староста, прислушиваясь к отдаленному звону колокола.— Точно!

Брат старосты, глядя в свиток, начал дрожащим голосом подсказывать слова, которые произнести было должно.

— Говорите же за мной: демон тес гес!

— «Демон тес гес!» — пробормотал шепотом староста и чуть-чуть не перекрестился, а у Шубина окаменел язык от ужаса.

Начали прислушиваться, но слова не повторялись духом земли. Легкий ветер просвистел лишь над ним в ветвях сосны, и снова все замолчало.

Немного ободрясь сею тишиною, все трое произнесли погромче: «демон тес гес», и вдруг, к неизобразимому их ужасу, чей-то голос повторил сии слова так громко, что отголосок в лесу откликнулся.

Каждый опустил руку в карман и схватил кусочек ладана. Все трое дрожали, как в лихорадке. Когда остальные неизвестные слова, ими произнесенные, были повторены тем же голосом, брат старосты схватил заступ и начал рыть на том месте, где надобно было искать клада. Пот лил с него градом и от усилий, и от страха. Уж он вырыл яму около трех футов глубиною, но ни золото, ни синеватый камень не показывались. Наконец заступ ударился о что-то твердое, и все трое увидели, когда земля была разгребена на том месте, небольшой продолговатый камень.

— Возьми же, Карп Силыч! — сказал староста Шубину.— Ведь ты пятак-то с зарубкой вынул.

Шубин стоял неподвижно, как верстовой столб, и поглядывал на камень. Скорее решился бы он взять в руку скорпиона. Брат старосты, подняв находку, подал Шубину, который против воли взял ее и положил в карман.

— Ну, теперь и до золота скоро доберемся! — продолжал староста.— Дай-ка, брат, я примусь рыть. Ты уж устал.

— Оставьте все и бегите отсюда! Вот я вас! — кричал вблизи их прежний голос.

Брат старосты выскочил из ямы, как испуганный петух, подле которого невзначай выстрелили из ружья, и все побежали к лодке с такою быстротою, что и хороший рысак едва ли бы обогнал их. Ящик с бумагами, ружье и заступ остались у ямы. Староста зацепил за нагнувшуюся ветвь шляпою, и она слетела на землю. В ужасе он этого и не приметил, да если б и приметил, то, конечно бы, не остановился. До шляпы ли тут! Лишь бы голову на плечах унести в целости.

Какое перо опишет ужас, овладевший искателями клада, когда они, прибежав к берегу, увидели, что лодка их исчезла. Невзвидев земли под собою, пустились они бегом вдоль берега. Без отдыха пробежали они в несколько минут около версты, по направлению к Крестовскому острову, от того места, где близ берега лежал в воде камень и где ныне перегибается через Малую Неву прекрасный Каменноостровский мост. Наконец толстяк староста, выбившись из сил, прислонился к дереву и, задыхаясь, воскликнул отчаянным голосом.

— И бежать — смерть, и не бежать — смерть!

Вскоре и брат его, и Шубин в изнеможении повалились ниц лицом на мокрую траву берега. Долго лежали они в сем положении, не смея поднять глаз, ибо думали, что злой дух бежит к ним с распушенными когтями. Наконец брат старосты, не слыша никакой погони, осмелился приподнять голову и осмотреться. Увидев близ него лежавшего неподвижно Шубина, он спросил:

— Жив ли, Карп Силыч?

— Чур меня! — загорланил Шубин, прижимаясь к земле и хватаясь за траву. — Сгинь, сгинь, нечистая сила! У меня ладан!

— Это я с тобой говорю, Карп Силыч! Я тебя спросил: жив ли ты?

— И сам не знаю! У меня всю память отшибло! Головы на плечах не слышу!

Собравшись с силами, они осмелились встать и начали робко озираться во все стороны. Староста тихонько прибрел к ним, почти на каждом шагу охая и потирая руками колена.

— Что нам делать, любезные друзья? — сказал он плачевным голосом. — Лодка наша пропала! Как нам теперь быть?

— Скоро уж рассветает, — отвечал брат его, — авось кто-нибудь проплывет по реке. Ба! Да вон, кажется, наша лодка!

Все взглянули, куда он указал, и увидели в самом деле нанятую ими у рыбаков лодку, которую несло течением вниз по реке.

— Мы мало ее втащили на берег, — сказал староста. — Вода, видно, прибыла. Досада какая! Клада не достали, а прогуляли лодку, ружье, заступ да шляпу. Голова у меня так зябнет, что сил нет!

Сказав это, он повязал лысую голову платком:

— Полно, Спиридон Степаныч! — заметил Шубин. — Ты еще о таких пустяках тужишь!

— Рыбак-то меня знает. Надобно ведь будет за лодку ему заплатить. Лукавый нас понес отыскивать этого проклятого клада! Один только убыток!

— Полно, Спиридон Степаныч, полно! — повторил Шубин, озираясь. — Ведь он близко от нас. Неравно услышит да рассердится! Ты всех нас погубишь!.. Ты думаешь, что лодка-то пустая плывет? — продолжал он вполголоса, значительно взглянув на старосту.

— Я в ней никого не вижу.

— Ведь не во всякое же время он тебе покажется! Видимое дело, что он у нас и лодку, и ящик, и ружье, и заступ отнял и поехал, куда надобно, да и шляпа твоя ему же попалась. Вон, он никак на Крестовский в лодке пробирается. Хорошо, что он нам-то ничего не сделал! Ах, батюшки! Как вспомню про давешнее, так и теперь меня мороз по коже подирает.

Все трое сели на траву. Можно, наверное, сказать, что никто из жителей Петербурга никогда не ждал рассвета с таким нетерпением, как наши искатели клада. Наконец восток заалел. На петербургских колокольнях заблаговестили к заутрени.

— Ну, теперь уж бояться нечего! — сказал староста, перекрестясь. — Пойдем вдоль берега, авось кто-нибудь проплывет.

Встав с земли, пошли они опять к тому месту, где ночью вышли на берег. Брат старосты, несмотря на предостережения Шубина, решился посмотреть разры-

тую яму. С чувством, подобным тому, с каким входит в присутственное место опоздавший канцелярист, предполагающий, что взыскательный начальник его давно уж там,—приблизился Александр Степанович к яме. Оставленные заступ, ружье и ящик исчезли. Александру Степановичу сделалось страшно, и он скорым шагом возвратился к двум его спутникам, которые между тем, увидев кого-то плывшего в лодке, махали ему и кричали, чтобы он перевез их на Аптекарский остров.

— Тыфу, пропасть! — воскликнул староста. — Оглох, что ли, он? Как мы ни кричим, ничего не слышит! Даже и не оглянется!

— Полно, человек ли это! — заметил Шубин. — Кликать ли нам его? Это, кажется, тот же Савка, на тех же санках. Видно, он, окаянный, уж на Крестовском вдоволь нашатался и поплыл в другое место. Вишь, какие затеи! Давеча был невидимкой, а теперь уж принял человеческий образ.

Лодка скрылась из вида. Через несколько времени появился в челноке рыбак, плывший мимо Каменного острова. На крик искателей клада он подплыл к берегу, посадил их в челнок и перевез на Аптекарский остров.

— А где ж моя лодка, Спиридон Степаныч? — спросил он, высаживая на берег старосту.

— Куда-то уплыла. Мы, братец, тебе за нее заплатим.

— Дай тебе господи здоровья! Ты, вестимо, меня, бедняка, не обидишь, отец наш.

— Приди ко мне завтра за деньгами, — проворчал староста.

Выйдя на берег, искатели клада прошли чрез Немецкое кладбище, переправились на другую сторону Карповки и пошли по берегу Малой Невы к Дворянской улице. Берег был застроен низенькими избами, где жили большею частью финны. Начиная же от нынешнего Самсониевского моста, тянулся далее по берегу Малой Невы и загибался на Большую Неву ряд строений каменных, мазанковых и деревянных. Это были дома сенаторов и других важных чиновников. Ныне на сем месте городские амбары. На противоположном берегу Выборгской стороны видны были каменное здание, где помещались лазареты сухопутный и морской,

деревянные провиантские магазины и водочный двор. На сем же берегу, ближе к церкви св. Самсония, находилось несколько деревянных изб, где помещался Сиявин баталион; означенная же церковь была совсем не в том виде, в каком ныне находится. Нынешнюю начали строить в 1728 году и освятили в 1740-м, в царствование императрицы Анны Иоанновны, на том же месте, где Петр Великий в 1710 году соорудил деревянную церковь в память Полтавской победы. Она была гораздо менее нынешней, деревянная, с квадратными окнами и с одною главою, над которою возвышался шпиль с крестом. Невысокая колокольня, построенная из сложенных накрест бревен, стояла отдельно, а вокруг церкви огорожено было деревянным забором обширное кладбище. Около церкви не было вовсе жилищ, и она, окруженная лесом, находилась в то время за городом.

— В доме твоём, батюшка Спиридон Степаныч, неблагополучно! — сказал дворник старосты, отворяя калитку, в которую сей последний постучался.

— Что такое? — спросил староста, испугавшись. Брат его и Шубин с беспокойным ожиданием устремили глаза на дворника.

— Да как рассветало, батюшка Спиридон Степаныч, начал я двор мести. И был я на дворе один-одинехонек, и ворота были заперты, и калитка тоже. Вот я мету себе и вдруг слышу: подле меня что-то упало. Оглянулся я и вижу: лежит заступ. Не успел я его поднять, летит еще сверху ружье. Словно с неба свалились! Я не знал, что и подумать. Смекнул я, что разве кто-нибудь через забор перебросил. И для чего бы, кажись? Побежал я к воротам, выглянул на улицу: ни бешеной собаки нет! Истинно, никого не было, батюшка Спиридон Степаныч, а ружье и заступ упали. Я поставил их вон туда, в уголок.

Староста ничего не отвечал на донесение дворника. На лице его изображались изумление и испуг.

— Видно, ему, окаянному, не понравились ружье и заступ, — заметил Шубин. — Стало быть, он только ящик, лодчонку да шляпу твою, Спиридон Степаныч, у себя оставил. Видно, носить ее станет. Шляпа-то у тебя была новая?

— Нет! Я уж ее года три таскал!

— Ну, так и жалеть нечего! Пусть он в твоей старой шляпе щеголяет! По Сеньке и шапка! Как он ее только на рога-то напялит?

Все трое вошли в ту же комнату, где они совещались, спорили и кидали жребий, затворили дверь и, пожелав друг другу спокойного дня (ибо ночь уже прошла, и очень для них беспокойная), легли на постланных перинах, дабы подкрепить истощенные силы сном.

— Вот, Марья Павловна, твой ящик! — сказал Никитин, неожиданно войдя в комнату своей невесты.

Мария сидела в задумчивости у окна и глядела на улицу.

— Я тебе вечно за это буду благодарна! — сказала с живостью удивленная и обрадованная Мария. — Где ты нашел его?

Никитин объяснил все невесте. Он целый день исподтишка наблюдал за поступками Шубина и заметил, что сей последний очень долго пробыл в доме старосты. Ходя около дома до позднего вечера, увидел наконец Никитин, что староста с братом и Шубин вышли на улицу и что один из них нес заступ. Догадавшись об их намерении тем легче, что ему отчасти известно было содержание бумаг, хранившихся в ящике, последовал он неприметно за искателями клада на Каменный остров, скрылся близ них в кустарнике и, подслушав их разговор, начал наблюдать за их действиями. Когда дух земли не повторил неизвестных слов, ими произнесенных, то Никитин, удостоверясь, что написанное в пергаментном свитке заключало в себе одни мечты, вздумал напугать похитителей ящика, дабы наказать бессовестных. Читателям известно уже, как привел он в ужас суеверов, как они подумали, что в лодке их, унесенной поднявшеюся в реке водою, поплыл на Крестовский нечистый дух, а потом как они сочли плывшего в лодке Никитина за того же духа. После бегства старосты и его спутников от ямы Никитин разрыл ее еще глубже, но никакого золота не нашел. Взяв оставленные ими заступ и ружье, он мимоходом перебросил их через забор на двор Гусева и пошел с ящиком к Марии. Она поставила его на гречнее место. Хотя ящик и не мог уже, как прежде, возбуждать в ней мечтаний о перемене судьбы ее, но он ей был по-преж-

нему дорог, как единственная вещь, оставшаяся после отца ее.

Между тем староста, брат его и Шубин проснулись и встали. Сей последний почувствовал, что у него в кармане что-то тяжелое, опустил туда руку и с ужасом вынул продолговатый камень, ими найденный, про который он совершенно забыл, без памяти кинувшись из ямы. По общем совещании, приказали они дворнику принести ружье и заступ, брошенные на двор нечистою силою, вышли из дома на берег Малой Невы и кинули в воду и камень, и ружье, и заступ на том месте, где теперь стоит Самсониевский мост.

Если и в нынешнем веке найдутся люди, верующие в таинства алхимий и ищущие философского камня, то мы считаем долгом уведомить их о сем обстоятельстве, дабы они, не тратя понапрасну времени и трудов на изыскания, поспешили прямо на Петербургскую сторону, наняли водолаза и велели ему, нырнув под Самсониевский мост, отыскать на дне реки брошенный глупым Шубиным камень, которого в течение нескольких столетий безуспешно искали сотни мудрецов и ученых, снискавших европейскую известность. Конечно, будет трудно найти эту драгоценность, ибо недаром говорится: один дурак бросит в воду камень, а семеро умных не вытащат.

Через несколько дней после сего происшествия Никитин, взяв с собою лучшую картину своей работы, список с знаменитой Корреджиевой ночи в уменьшенном размере, целое утро носил ее по домам вельмож и других жителей Петербурга, славившихся богатством. Иной предлагал ему за произведение его кисти рублевик, другой два, третий говорил, что его предки и без картин счастливо прожили на свете. Художник увидел с горестию, что соотечественники его весьма еще были далеки от той степени образованности, на которой рождается любовь к изящным искусствам, и что сам Корреджио или даже Рафаэль умер бы в России нищим, никем не оцененный, если б вместо гениальных творений не решился писать плохих подражаний неисканным греческим иконописцам. Он удостоверился, что труд его едва доставит ему самому пропитание и что приобрести живописью сумму, нужную на выкуп из острога воспитателя Марии, столь же было невозможно,



как и добыть посредством алхимии философский камень или кусок золота из свинца. Возвратясь домой, поставил он свою картину в темный чулан, убрал туда же и прочие свои работы и почти с отчаянием в душе начал ходить взад и вперед по комнате. «Нет, милая Мария! — размышлял он. — Видно, не суждено нам быть счастливыми! Богатый Шубин, эта ничтожная тварь, назовет тебя своею женою!.. Безумец я! Я посвятил жизнь свою живописи, которой здесь никто не ценит! лучше было бы мне, по примеру Шубина и других ему подобных, учиться не живописи, а плутовству в торговле и бессовестности! Выгоднее было бы сделаться ростовщиком или приказным, бездушным взяточником! Тогда бы не боялся я умереть с голоду! Тогда бы Мария могла быть моею! О боже мой! что будет со мною?»

С сердцем, растерзанным горестию, пошел он к Марии. Глядя на нее и внутренне прощаясь с нею навсегда, он долго старался казаться спокойным и веселым. Тяжело ему было решиться разрушить откровенным признанием все светлые мечты, которые он передавал Марии в каждое свидание с нею и которые наполняли ее сердце сладостною надеждою и верою в будущее счастье. Часто говорили они, с какою радостью обнимет их старик Воробьев, освобожденный из острога, и назовет их милыми детьми; с каким восторгом пойдут они все трое во храм благодарить Всевышнего за ниспосланное благополучие. Наконец Никитин, не имея сил скрывать долее неизобразимого мучения души своей, сказал все Марии. Не станем описывать их прощания, ибо есть положения, есть чувства, которых словами изобразить невозможно.

Бедная девушка опасно занемогла.

Когда ее здоровье, при пособии лекаря, чрез полтора месяца восстановилось, она пригласила к себе Шубина и умоляла его освободить из острога ее воспитателя.

— Это от тебя зависит, Мария Павловна! — отвечал Шубин. — Не я виноват! Давно бы тебе вступить в законный брак со мною. Зачем медлила? Дотянули мы с тобой дело до Филиппова поста. Теперь венчаться нельзя. Впрочем, до Рождества недолго. Сыграем свадьбу, и в тот же день Илью Фомича выпустят на волю. Вот тебе рука моя!

— Как? Неужели он должен будет до тех пор томиться в остроге? — воскликнула горестно Мария.

— Да как же иначе? Если его теперь на волю выпустить, то он тебе выйти за меня замуж не позволит, я не соглашусь ждать своего долга, и опять все дело спутается.

Как ни уверяла Мария, что она выпросит у своего воспитателя согласие на брак ее с Шубиным, сей последний остался непреклонным в своем намерении освободить его не прежде, как в день свадьбы по совершении венчания.

Шубин начал с того времени почти каждый день посещать свою невесту. Бедная девушка, твердо решась на пожертвование собою для спасения ее второго отца, скрывала снедавшую ее грусть в глубине сердца, ласками отвечала на ласки, возбуждавшие в ней отвращение, благодарила за подарки и все думала о Никитине. Одна только мысль несколько утешала ее страдания, мысль, что она не перенесет их и скоро избавится от мучительной жизни.

Никитин, забросив кисть свою, совершенно охладел ко всему в жизни. Она казалась ему тягостным бременем. Без цели бродил он днем по пустынным окрестностям Петербурга и большую часть ночи проводил в воспоминаниях о Марии, тем сильнее его терзавших, чем были они сладостнее. Сердце наше не может чувствовать вполне блага, которым обладает, и ценит его в тысячу раз более, когда лишается невозвратно. Часто Никитин вскакивал с постели, изнемогая от страданий, и в его душе мелькала ужасная мысль: лишить себя жизни. Голос веры начинал тогда говорить, и страдалец, смирясь перед ним, утихал, плакал, как ребенок, и наконец погружался в самозабвение. Тогда появлялась пред ним толпа неясных образов, не производивших на сердце его никакого впечатления. Жизнь, смерть, природа, люди, самая Мария представлялись ему чем-то чужим, не имеющим к нему никакого отношения.

Наступил праздник Рождества Христова. Никитин, преданный одной своей горести, не считал ни дней, ни чисел. И что ему было считать! Страдания его казались ему вечными мучениями ада.

Благовест пред заутреней раздавался на всех петербургских колокольнях, но он не слышал его. Сидя у окна, следил он взором, без всякой мысли, мимолетные облака, осребрившиеся полным месяцем, и чувствовал только, что сердцу его от чего-то тяжело, очень тяжело.

Когда рассвело, вдруг отворилась дверь его комнаты, и вошел мужчина высокого роста.

— Не ты ли, брат, живописец Никитин? — спросил вошедший.

— Что тебе надобно? — сказал живописец, продолжая смотреть в окно.

— Ты, видно, не узнал меня! Я давно уже слышал, что ты возвратился из Италии, и каждый почти день собирался к тебе, да все было недосуг. Поздравляю, брат, с праздником! Поцелуемся!

— Ваше величество! — воскликнул Никитин, бросаясь к ногам Петра Великого.

Царь поднял его и продолжал:

— Покажи-ка, брат, свою работу. Любопытно посмотреть, как ты ныне пишешь.

Никитин вынес из чулана несколько картин и поставил одну на стол, прислонив к стене. Это был список с Корреджиевой ночи. Несмотря на то, что размер картины был уменьшен и что Никитин далеко не приблизился к подлиннику, картина его имела неоспоримые достоинства. Рисунок был верен и правилен. Неподражаемое сияние, разливающееся от младенца — Иисуса, изображено было очень удачно. Монарх долго стоял в безмолвии, рассматривая картину.

— Вот где родился Спаситель мира, Царь царствующих! — сказал он вполголоса про себя, преданный размышлениям. — Не в золотых палатах, воздвигаемых суетностию и гордостью человеческою, а в хлеве, посреди пастырей смиренных! Не блещет вокруг него земное величие, а сам он сияет величием небесным. Одни пастыри и мудрецы пришли поклониться ему. Не раздаются поздравления льстецов, притворно радующихся, а уста ангелов возвещают его славу небу, мир земле и благоволение человекам.

Монарх замолчал и снова погрузился в размышления

— Прекрасно! — сказал он, обратясь к Никитину и

потрепав его по плечу.— Спасибо, брат, тебе! Я вижу, что ты недаром съездил в Италию.

Осмотрев все прочие картины, царь спросил:

— Ну, что ж ты еще писать будешь? Не начал ли чего-нибудь?

— Не буду ничего писать, ваше величество! — отвечал печально Никитин.

— Как не будешь? Почему? — спросил удивленный царь.

Никитин бросился к ногам его и с откровенностию сына, жалующегося отцу на свои бедствия и горести, высказал монарху все, что тяготило его душу и убивало его дарование.

Царь, выслушав его внимательно, нахмурил брови и продолжал:

— Так тебе не более двух рублевиков давали за эту картину?

— Точно так, ваше величество!

— А много ли нужно денег на выкуп из острога воспитателя твоей невесты?

— Четыре тысячи рублей.

— Да отчего он так много задолжал? Видно, захотел вдруг разбогатеть и разорился, как обыкновенно бывает.

— Нет, ваше величество. У него несколько барок с товаром на Неве разбило; от этого все дела его расстроились.

Царь подошел к окну и посмотрел несколько времени на улицу. Приметно было, что он о чем-то размышляет.

— Послушай, Никитин! — сказал он, отойдя от окна.— Приди сегодня на ассамблею, в дом Меншикова, и принеси с собою лучшие из твоих картин. Прощай!

Никитин проводил царя до ворот и долго смотрел вслед за его санями, быстро удалявшимися.

В четвертом часу вечера живописец, отобрав десять лучших картин своих, завязал их в большой холст, нанял сани и отправился на Васильевский остров.

Дом князя Меншикова, после многократных перестроек до сих пор сохранившийся и составляющий часть Первого кадетского корпусу, занимал в то время по

Невской набережной в длину пятьдесят семь саженьей. В царствование императрицы Анны Иоанновны, когда дом сей отдан был для Кадетского корпуса, его перестроили и увеличили, уничтожив множество пилястр и других архитектурных украшений, которыми загромождена была лицевая сторона здания. Позади оногo зеленел обширный сад, украшенный аллеями, оранжереею и беседкою. С правой и с левой стороны сада тянулись два длинные деревянные в два яруса флигеля, которые при императрице Анне Иоанновне за ветхостию были сломаны. С Невы проведен был к сим домам канал. Подле дома Меншикова с правой стороны, на берегу Невы, стоял небольшой каменный дом его дворецкого, Соловьева. С левой стороны подле сада находилась мазанковая церковь, построенная Меншиковым, во имя воскресения Христова, со шпиром и небольшим куполом, обитыми жестию. Внутри шпица были устроены куранты, и на каждой из четырех сторон оногo находилось по круглой мраморной доске с одной стрелкою, показывавшею часы. Церковь сию сломали в 1730 году. Место, где ныне находятся Коллегии, огорожено было деревянным забором. Их только что начинали тогда строить.

Дом Меншикова, превосходивший великолепием все тогдашние здания Петербурга, предназначен был для приема посланников, которые со свитами помещались в двух флигелях, описанных выше. До построения всех сих зданий Посольский дом, принадлежавший также Меншикову, находился на Санкт-Петербургском острове, близ домика Петра Великого. Дом сей сломали в 1710 году. Он был мазанковый, одноэтажный, в восемнадцать окошек по лицу. Каждое окно отделялось от другого деревянною колонною такого ордера, какого не сыщешь ныне ни в одном курсе архитектуры. Посредине здания был уступ в шесть окошек, и между ними в центре дверь с крыльцом, украшенным затейливыми резными перилами.

Никитин, взехав на берег Васильевского острова, приблизился к дому Меншикова и увидел во всех окнах пышное освещение, а над крыльцом прозрачную картину, на которой сияла надпись: *Ассамблея*. Свет из окошек длинными полосами ложился на берег и на белое, ледяное покрывало Невы, на другом берегу ко-

торой тянулся ряд домиков адмиралтейских мастеровых (нынешняя Английская набережная). Он вззошел на лестницу, объявил в передней слугам, что он художник, оставил на сохранение их свои картины и впустил был в комнаты. В первой гвардейские и морские офицеры и несколько приказнослужителей шаркали и важно раскланивались с дамами, которые умильно приседали под звук полковой музыки, гремевшей с хоров, и тем ниже, чем выше поднимались аккорды менуэта. Государственный канцлер граф Головкин и адмирал Апраксин сидели рядом у окна и смотрели на танцовавших. У других окошек и вдоль стен сидели и стояли многие другие вельможи, художники, мастеровые, корабельные плотники, гражданские чиновники, купцы, таможенные смотрители. Никитин перешел в другую комнату и увидел и там ту же смесь

Одежд и лиц,  
Племен, наречий, состояний.

В этой комнате за расставленными столами пестрели карты и стучали шашки. Здесь толстый купец играл в дурачки с сухошавым коллежским советником (который в те времена по важности своего звания был не то, что ныне); там секретарь, подняв нос, не с высокомерием, однако ж, а с покорностью, проигранное им в носки число ударов принимал счетом от челобитчика, и в досаде, что сей последний без пощады бьет полководю, произносил внутренне обещание, кроме ударов принять еще кое-что счетом же и провести своего противника за нос. На третьем столе играли таможенные смотрители в зеваки; на четвертом три немца, схватясь с одним русским, лезли в горку; на пятом один немец учил трех русских гран-пасьянсу.

В следующей комнате увидел Никитин дым, который пускали в глаза иностранные мастеровые и художники из табачных трубок, молчаливо беседуя с русским медом и пивом, пенившимся в больших кружках. Выйдя, или лучше сказать, спустясь с этого облака в танцевальную залу, живописец пошел к двери, у которой теснилась толпа и смотрела на что-то, происходившее за порогом. Не без труда пробравшись к этому непреступному порогу, увидел Никитин собрание девиц и дам. Первые (в особенности пожилые) гадали разным

образом о женихах; вторые, составив кружок, занимались игрою: кошка и мышка. Мышкою был десятилетний мальчик, единственный представитель мужской половины рода человеческого в этой дамской комнате. Какая-то пригожая молодая вдова, потрясая своими фижмами, как Амур крыльями, ловила мальчика. Бедняжка совсем почти задохся, а привлекательная противница все-таки продолжала неумоимо преследовать свою жертву, представителя сословия **мужчин**, забыв пословицу: кошке игрушки, а мышке слезки.

Раздавшийся по зале всеобщий шепот, который оттого сделался громче иного крику, отвлек Никитина от двери. Все повторяли: «Государь, государы!» — и живописец увидел царя, вошедшего без свиты, под руку с хозяином дома, князем Меншиковым.

Когда кавалеры вдоволь наклонялись, а дамы до усталости наприседались, менуэт кончился. Посредине залы явился человек в старинном боярском кафтане, в высокой шапке из заячьего меха и с зеленою бородою, достававшею ему почти до пояса. Если б эта борода была не шелковая и цветом синяя, то можно было бы подумать, что женоубийца Рауль Синяя борода вздумал повеселиться в ассамблее. Это был придворный шут Балакирев. Взоры всех устремились на него.

Балакирев, обратясь лицом к царю, снял шапку и повалился на пол по старинному обычаю, отмененному Петром Великим, который, заметив, что и на грязных улицах сей обычай свято соблюдался, велел народу при проезде царя только кланяться, прибавив: «Я хочу народ мой поставить на ноги, а не заставить его при мне валяться в грязи!»

— Великий государь! — сказал шут. — Бьет челом твой нижайший и подлейший раб, боярский сын Доримедошка, по прозванию Пустая голова!

— Не по форме просишь! — заметил, смеясь, Апраксин.

— Не в форме сила! Сила не каравай: и без формы хороша. Матушка-сила меня с ног без формы сбила!

Громкий смех раздался в зале. Шут, встав между тем с пола, проговорил форменное начало просьбы и продолжал:

— Пункт первый. Укажи, великий государь, песню спеть. Пункт второй. И спел бы, да голосу нет. Пункт

третий. Был у меня голос, да сплыл. Князь Александр Данилыч оттягал, оттого голос у него гораздо моего сильнее стал. Как закричит — все его слушаются, а я закричу — так только один дурак Балакирев меня слушается, одному ему страшно. Никто не хлопочет, а всяк надо мной же хохочет.

— Ну, спой песню и без голоса, — сказал советник Коллегии, у которого было на голове волосов не менее, как звезд на небе в полдень.

— Горло без голоса то же, что голова без волоса. Я полтора ста таких голов набрал и привел ко дворцу. Царь, я чаю, помнишь? Да не в том дело. Есть у меня, признаться, голос, только не свой, а краденый. У меня борода длинна, да и у козла не короче. Свел я с ним дружбу и сослужил ему службу. У меня князь Данилыч мой голос оттягал, а я у козла голосок украл. Запою, заслушаешься! Что твой петух! Случается, что и курица петухом поет, почему ж мне не спеть по-козлиному? А и то бывает, что иной по речам — человек, по рогам — козел, а по уму — осел. Ну, слушайте ж, добрые люди, козлиную песню:

В госудаевой конторе  
Молодец сидит в уборе,  
На затылке-то коса  
До шелкова пояса.

Перед ним горой бумага,  
Сбоку спичка, словно шпага,  
На столе чернил ведро,  
Под столом лежит перо.

За ухом торчит другое.  
Вот к нему приходят двое;  
Псклонились до земли:  
«Мы судиться-де пришли!

Этот у меня детина  
В долг три выпросил алтына,  
Росту столько ж обещал;  
Я ему взаймы и дал.

И пошли мы на кружало.  
Денег у меня не стало.  
Что тут делать! За бока  
Взял я разом должника.

Рост взыскал я. Дело право!  
Рассуди ж теперь ты здраво:  
Сколько должен мне земляк?  
Ничего-де. Как не так!



Поверши ты нашу ссору». —  
Дело требует разбору, —  
Молвил дьяк на то истцам.  
— Я вам суд по форме дам.

Обещал ты сколько роста? —  
«Я не должен ничего-ста!  
Дал мне три алтына сват  
И тотчас же взял назад».

— Взял он только рост условный.  
Коль не хочешь в уголовный,  
Весь свой долг да штраф сейчас  
Подавай сюда, в Приказ.

Ты ж за то, что без решения,  
Не по силе Уложения,  
Рост взыскал, любезный мой,  
Заплати-ка штраф двойной.

Что ж вы, как шальные стала,  
Иль хотите, чтоб связали  
И в острог стащили вас?  
Исполняйте же указ!

«Как? Весь иск-то в три алтына!» —  
Молвил тут один детина.  
«Сват, не лучше ль нам с тобой  
Кончить дело мировой?»

Дьяк вскочил, да так прикрикнул,  
Что никто из них не пикнул,  
Только б ноги унести,  
Заплатили по шести.

Пропев песню, шут важно поклонился на все четыре стороны.

— А про какое время ты пел? — спросил Меншиков. — Ныне уж, кажется, таких судей не водится.

— Почему мне, дураку, это знать! Мне дело спеть, а про нынешнее ли время, про старинное ли козел песню сложил, не мое дело! Тот пускай это смекнет, кто всех умнее, а я, окаянный, всех глупее. Эй вы, православные! — закричал шут, обратясь к толпе приказно-служителей. — Кто из вас всех разумнее, тот выступи вперед да ответ дай князю Александру Данилычу. Никто не выступает! Сиятельный князь! Меня не слушают! Прикажи умнейшему умнику вперед выступить. Зачем он притаился?

— Затем, что только самый глупый человек может почитать себя всех умнее.

— Ой ли! А я почитаю себя всех глупее, стало быть, я всех умнее.

— Именно,— сказал Апраксин, смеясь.— Потому ты и должен ответить на вопрос князя Александра Данилыча. Скажи-ка, водятся ли ныне такие дьяки, про какого ты пел?

— Дьяков давно уж нет, а ныне все секретари, ассессоры, Коллегий советники, рекетмейстеры, прокуроры и другие приказные люди, которых и назвать не умею. Поэтому я разумею, что козел сложил песню про старину и что этот дьяк жил-был при князе Шемяке. Вернее было бы спросить об этом самого козла, да где теперь найдешь его! Впрочем, я и без него знаю, что ныне таким дьякам не житье, пока жив посошок. Он ростом не великонец, вершиками двумя меня пониже и такой худенькой, гораздо потоньше вот этого голландца. Только куда какой охотник гулять по долам, по горам, а подчас и по горбам! И по моему верблюжьему загорбку он гуливал, мой батюшка! С тех пор мы с ним познакомились. Всего больше не любит он взятки. Возьми хоть маленькую, а посошок и пожалует в гости, и готов переломать кости, если кто на него не угодит. Видишь, он очень сердит. Пусть бы он колотил взяточников, а за что ж он дураков-то, примером сказать меня, иногда задевает? В сказке сказывается, что Дуреньбабень рассердил чернеца, а чернец сломал об него свой костыль, и

Не жаль ему дурака-то,  
А жаль костыля-то.

И посошку, моему любезному дружку, следовало бы себя пожалеть и со мной, глупым, не ссориться.

— Ты разве забыл, что ты всех умнее? — заметил Апраксин.

— Забыл! У меня память что старое решето. Положи хоть арбузов горсть, так и те просеются. Это решето не то что карман иного кафтана. Кладут в него всякую всячину; весь разлезется и пролырится пуше решета, а небось ничего не просеешь. Все в нем остается! И золотая песчинка не проскочит.

— У кого же такой карман? — спросил царь, посмотрев на многих из вельмож, над которыми Особая

комиссия производила следствие по обвинению их в противозаконных поборах и доходах.

— Не знаю! Не перечтешь и шитых кафтанов, не только карманов. Притом в чужой карман грешно заглядывать! Темно там, ничего не видно, хоть глаз уколи. Я не охотник глаза колоть. Иного и в бровь уколешь, так напляшешься.

— Ты сегодня много говоришь лишнего. Надобно тебя наказать за нарушение порядка в ассамблее. Подайте-ка Большого Орла.

Принесли огромный бокал, наполненный вином.

— Великий государь, помилуй! — закричал Балакирев. — В чем провинился я пред тобою?

— Пей! — сказал царь.

С лицом, выражавшим горесть и отчаяние, шут опорожнил бокал и, упав перед царем, сказал:

— Заслужил я гнев твой и чувствую все мое тяжкое преступление. По милосердию твоему, государь, и еще мало, окаянный, наказан. Совесть угрызает меня. Вели еще наказать. Не страшно мне наказание, а страшен гнев твой! Подайте мне еще Орла. Да нет ли побольше этого?

— Смотри, чтоб орел не прилетел с посошком, про который ты говорил.

— С посошком! — воскликнул шут, проворно вскочив с пола и теснясь сквозь толпу в другую комнату. — Убраться было скорее отсюда!

— Принес ли ты свои картины? — спросил Петр Великий, подходя к Никитину.

— Принёс, ваше величество.

— Расставь их вдоль этой стены.

Когда живописец исполнил приказание, царь велел позвать Балакирева и сказал ему:

— Продай все эти картины с аукциона.

Шут, услышавший кое-что при дворе о картинах Рафаэля, понял слова государя по-своему и закричал:

— Господа честные! Продаются картины знаменитого и славного живописца Рафаэля, он же и Санцио. Товар лицом продаю, без обмана, без изъяна. Картины знатные! Продам без барыша, за свою цену. А уж какой живописец-то, этот пострел Санцио! Даже самому

господину супер-интенданту, первому иконописцу Ивану Ивановичу\*, он в мастерстве не уступит!

— Все ты не дело говоришь! — сказал Петр и, обратясь к Меншикову, продолжал: — Объясни ему, Данилыч, что значит продажа с аукциона. Ведь он в самом деле не бывал за границей.

Когда Меншиков растолковал Балакиреву порядок аукционной продажи, то шут, передвинув из угла к картинам небольшой круглый столик, взял стоявшую в том же углу трость Петра Великого и закричал:

— Нужен бы мне был молоток, да за него дело делает вот этот посошок, знакомец мой и приятель.

Стукнув по столу, Балакирев объявил условия продажи и, указав на первую картину, сказал:

— Оценка рубль.

— Два рубля! — сказал один из купцов.

— Итого три рубля. Первый раз — три рубля, второй раз — три рубля, никто больше? Третий раз...

— Десять рублей! — сказал Апраксин.

— Итого тринадцать. Никто больше? Третий...

— Полтина! — сказал купец.

— Не много ли прибавил? — заметил Балакирев. — Не разорись. — Затянув решительное: «в третий раз!» — он поднял трость.

Апраксин надбавил полтора рубля, и Балакирев, как ни растягивал свое: «третий раз!» — принужден был стукнуть тростью.

Уж продано было восемь картин, и остались только две. Иная пошла за десять рублей, иная за пять, иная еще за меньшую цену. Шут-аукционер при всех стараниях выручил только сорок девять рублей. Бедный Никитин вздохнул.

Дошла очередь до списка с Корреджиевой ночи. Высшую цену, двадцать рублей, предложил невысокого роста, плечистый и довольно дородный посадский, в немецком кафтане тонкого коричневого сукна и с седыми на голове волосами. Это был славившийся богатством подрядчик Семен Степанович Крюков, поселив-

---

\* В 1707 году определен был Иван Иванович Заруднев, лучший из тогдашних иконописцев, суперинтендантом, для надзора за своими собратиями. В 1722 году подтверждено было указом Синода и Сената, чтобы Заруднев надзирал за правильным писанием икон,

шийся в Петербурге вскоре после основания оногo. Он много раз брал на себя разные казенные подряды и работы и был лично известен царю. Доныне сохранился в Петербурге, как объяснится ниже, памятник этого малорослого подрядчика, превосходящий величиною монумент самого Петра Великого. Впрочем, он был человек почти без всякого образования. Когда Никитин приходил к нему в дом со списком с Корреджиевой ночи, то Крюков сказал: «Предки и отцы наши жили и без картин, и я, грешный, проживу благополучно без них на свете».

— Итак, двадцать рублей,— сказал Балакирев, поднимая трость.— Третий раз...

Чем более шут тянул это слово и поднимал выше трость, тем ниже упал духом Никитин. Двадцать рублей за полугодовой непрерывный труд! Плохое поощрение для художника! Никитин стоял в толпе, уподобляясь преступнику, которому объявили смертный приговор. Он пришел в ассамблею с неясною, но тем не менее утешительною надеждою, которую возбудило в его сердце приказание государя: принести в дом Меншикова картины. Надежда сия уступила место прежней горести и отчаянию, когда живописец увидел, что вырученными за его работы деньгами невозможно уплатить и пятидесятой части дома Шубину.

Балакирев готов уж был стукнуть тростью, как вдруг раздались слова: «Триста рублей!»

Триста рублей были в то время важная сумма. Все оглянулись с удивлением в ту сторону, откуда раздался голос, и увидели Никитина, обнимавшего колена Петра Великого.

— Встань, брат, встань! — говорил государь, поднимая Никитина. — Не благодари меня! Я лишнего ничего не дал за твою картину. Боюсь, не обидел ли я тебя? Может быть, ты дороже ценишь труд свой?

У Никитина катились градом слезы. Он не имел силы выразить словами благодарность свою монарху и в молчании, с жаром прижимал державную руку его к устам своим.

Все были тронуты. Даже вечно смеявшийся Балакирев, поглядывая исподлобья то на Никитина, то на государя, украдкой хотел отереть рукавом слезу, не шу-

тя покотившуюся по щеке его, но не успел, и слеза капнула на его зеленую бороду.

Началась продажа последней картины.

— Кто купит эту картину, — сказал Петр Великий. — тот докажет мне, что он меня из всех моих подданных более любит.

Вся зала заволновалась, и цена вмиг возросла до девятисот рублей. Аукционер едва успевал выговаривать свои первые, вторые и третьи разы и, сбившись, наконец, от торопливости в счете денег, закричал:

— Эй ты, Балакирев! Неужто ты любишь менее других своего царя? Сколько ты, пустая голова, даешь за картину?

— Полторы тысячи! — отвечал он сам себе, изменив свой басистый голос в самый тонкий. — Докажу, что и дурак любит искренно царя не меньше всякого умника! Третий раз...

Он хотел стукнуть тростью, но Меншиков остановил его, сказав: «Две тысячи!»

— Третий раз...

— Три тысячи! — воскликнул Апраксин.

— Третий раз...

— Четыре тысячи! — закричал Головкин.

— А я даю пять! — прибавил подрядчик Крюков. — Никому на свете не уступлю!

Балакирев, подняв трость, затыкнул: «третий раз!» Меншиков и все другие вельможи готовились надбавить цену, но государь, приметив сие, дал знак рукою аукционеру, и трость с такою силою стукнула по столу, что он зашатался.

— Данилыч! — сказал монарх на ухо Меншикову, взяв его за руку. — Я уверен, что ты и все твои сослуживцы меня любите. Однако ж ты, я чаю, не забыл, что на тебе и на многих других есть казенный начет. Чем платить несколько тысяч за картину, лучше внести эти деньги в казну. От этого для народа будет польза. Вы этим всего лучше любовь свою ко мне докажете. Скажи-ка это всем прочим, кому надобно.

— Будет исполнено, государь! — отвечал Меншиков, поклонясь.

Между тем богатый Крюков, с торжественным лицом, гордо поглядывал на толпившихся около него людей разного звания и принимал поздравления с лестною по-

купкою. А Никитин, Никитин! Что он тогда чувствовал? Всякий легко вообразит это, поставив себя на его место.

— Подойди-ка, брат Семен, ко мне!— сказал монарх подрядчику.— Спасибо! Из любви ко мне ты сделал то, что в иностранных, просвещенных государствах делается из любви к изящным художествам. При помощи Божией и в моем царстве будет со временем то же. Все-таки спасибо тебе! Я тебя не забуду!

Царь поцеловал Крюкова в лоб и потрепал по плечу. Подрядчик чувствовал себя на седьмом небе от восторга.

— В награду за твой поступок я прикажу назвать канал, который ты вырыл здесь в Петербурге, твоим именем\*. Доволен ли ты?

— Я и так осыпан милостями вашего величества. Не за что награждать меня! Что мне пять тысяч! То же, что иному пятак!

— Ну что, Никитин? — продолжал царь, обратясь к живописцу.— Оставишь ты свое искусство или будешь и вперед писать?

Никитин снова бросился к ногам государя. Благодарность и любовь к нему, достигнув беспредельности, не могли вмещаться в одном сердце. В лице, в глазах, во всех движениях видно было стремление сих чувств наружу. Он весь был любовь и благодарность.

Монарх, выйдя из залы, спустился с лестницы, сел в небольшие сани и поехал по невскому льду к своему любимому дворцу — маленькой хижине, до сих пор стоящей на берегу и напоминающей славу великого человека потомству красноречивее всякого мавзолея.

На другой день, рано утром, Никитин, внеся в ратушу весь долг Воробьева Шубину, исходатайствовал указ об освобождении его из острога и побежал к старосте Гусеву. Прочитав поданную Никитиным бумагу, Гусев встал со стула от удивления и с приметною досадою спросил:

— Кто ж это заплатил за него деньги?

— Я дал слово этого не сказывать, — отвечал Никитин.— Этот человек желает остаться неизвестным. Внес деньги в ратушу я, по его поручению.

---

\* Крюков канал, донные сохранивший сие название, окончен был в 1717 году означенным подрядчиком.

— Видно, у него много лишних денег!

— Сделай милость, пойдем же скорее, Спиридон Степанович, к острогу.

— Мне еще недосуг теперь. Оставь указ у меня. Я его исполню, как следует, в свое время.

— И тебе не грешно медлить, когда от тебя зависит теперь же обрадовать несчастного, который так давно томится в остроге!

— Молоденек еще ты меня учить! Я знаю, что делаю!

— Я учить никого не намерен, а скажу только, что если ты не пойдешь сейчас же со мною, то я с указом побегу прямо к Антону Мануиловичу\*, а в случае нужды к самому царю.

Испуганный сею угрозою, староста, ворча что-то сквозь зубы, схватил с досадою шляпу, надел шубу и пошел с Никитиным к острогу. Вскоре приблизились они к губернской канцелярии, отыскиали смотрителя острога, и староста, приказав ему освободить Воробьева, не взял, а вырвал из рук Никитина указ, спрятал в карман и пошел поспешно домой. Если бы все роптания и разнообразные ругательства, которые он на возвратном пути произнес вполголоса, каким-нибудь волшебством превращались в цветы, то вся дорога от губернской канцелярии до жилища старосты была бы усеяна самыми пестрыми цветами, особенно же увядшими колокольчиками, которые изобразили бы исчезнувшую надежду на звонкие монеты, обещанные Шубиным старосте за свадьбу с Мариєю. Эта исчезнувшая надежда служила средоточием всех морщин на гневном и лысом челе старосты и уподоблялась драгоценности, уроненной в воду и произведшей на ее поверхности множество расходящихся во все стороны кругов, которые бывают весьма похожи на морщины, происходящие от гнева и досады.

Не таковы морщины, производимые долговременными горестями и страданиями. Не скоро они исчезают! Они не переменились на бледном лице Воробьева, когда он, выйдя из острога, радостно бросился в объятия Никитина. Долго обнимались они, не говоря ни слова.

---

\* Девьер, первый Санкт-Петербургский генерал-полицеймейстер, зять князя Меншикова,



— Неужто я на воле? — воскликнул наконец старик. — Разве мой долг уплачен?

— Весь уплачен!

— Кем? Скажи, ради бога!

— Не знаю. Деньги были присланы ко мне от неизвестного.

Старик поднял руки к небу, и слезы, бежавшие из глаз его, свидетельствовали, что он молился за своего благотворителя.

Вскоре они подошли к дому, которого так уже давно не видал его хозяин. Воробьев снова заплакал, увидя свое жилище, как будто при неожиданном свидании с искренним другом, навсегда разлучившимся. Несмотря на слабость старика, происходившую и от лет и от страданий в заточении, он взбежал на крыльцо, как юноша, чем-нибудь восхищенный, и вместе с Никитным вошел в комнаты.

Раздалось восклицание: «Батюшка! Любезный батюшка!» — и Мария, вне себя от восторга, была уже в объятиях своего воспитателя, целовала его руки и отирала поцелуями слезы умиления, катившиеся по бледным щекам старика. Он крепко прижимал ее к своему сердцу.

Жених Марии Шубин, бывший также в комнате, едва верил глазам своим. Вскочив со стула при входе Воробьева в комнату, он с трудом удержался на ногах и, схватясь одною рукою за спинку стула, другою стиснул свой подбородок, как будто для того, чтобы удержать голову и не допустить ее совсем спрятаться между поднявшихся от испуга и удивления плеч. Довольно долго пробыл он в сем положении, не зная, что ему делать и что говорить.

— Ты можешь. Карп Силыч, — сказал ему Никитин, — теперь же идти в ратушу и получить свои деньги.

— Сам их возьми! — проворчал Шубин, посмотрев на живописца, как голодная собака, у которой отняли кость.

— Здравствуй, Карп Силыч! — сказал Воробьев, увидев Шубина, которого прежде и не заметил. — Много от тебя я горя перенес! Впрочем, не виню тебя. Ты взыскивал свои деньги. Покойный батюшка твой так бы не поступил, однако ж. Добрый был человек! Он, верно бы, дал мне время поправиться.

— И я без крайней нужды не стал бы с тебя долга взыскивать. Прости меня великодушно, Илья Фомич.

— Бог тебя простит! Да скажи, пожалуйста, какими судьбами ты в моем доме очутился?

— Я... я нареченный жених Марьи Павловны. В будущую среду назначена свадьба. Мы уж кольцами поменялись. Я не принуждал ее. Присягну в этом. Спроси ее, если не веришь.

— Как, Машенька? Неужели ты против моей воли...

— Да, батюшка! — прервала Мария. — Для твоего спасения я решилась собой пожертвовать.

Тронутый старик снова прижал ее к сердцу и продолжал:

— Ты, верно, не захочешь идти к венцу без моего благословения? Вот жених твой, которого ты любишь, с которым будешь счастлива. Я вас благословил и теперь снова благословляю. Сюда, Павел Павлыч, сюда! Дай прижать тебя к сердцу. Вот тебе рука моей Машеньки!

— Не позволю этого, не допущу! — закричал Шубин, побледнев от досады. — На что это похоже! Она мне слово дала! Ее не обвенчают! Я не допущу!

— Не сердись. Карп Силыч! — сказал спокойно Воробьев. — Не велико было б счастье твое и Маши, когда бы ее обвенчали с тобой против ее склонности! Притом, если б ты или я, например... о чем бишь я заговорил?

— Да уж не бывать ей ни за кем другим! — кричал Шубин, выбегая из комнаты. — Я подам прошение, буду жаловаться! Уж поставлю на своем! Десяти тысяч не пожалею!

Он вбежал к старосте Гусеву в таком расстроенном виде, как будто бы спасался от гнавшегося за ним по пятам бешеного волка.

— Что с тобой сделалось? — вскричал староста, поднявшись со стула и сняв с головы колпак.

— Помоги, Спиридон Степаныч! Две тысячи, три дам. только помоги!

— Да в чем дело?

Карп Силыч объяснился, и началось между ними совещание, как помешать браку Никитина.

Часто посещая Марию и по праву жениха бродя по всем горницам, Шубин с удивлением увидел однажды стоявший на прежнем месте черный ящик, отнятый у них, по его убеждению, злым духом.

Во время совещания он сообщил старосте свое открытие, которое до того времени хранил в тайне.

— Точно ли ты уверен, что это тот самый ящик? — спросил Гусев.

— Тот самый. Я его осматривал.

— Теперь я понимаю, — продолжал староста, — откуда Никитин взял деньги на уплату тебе долга. Он закабалил себя лукавому и достал золото, которого мы искали. Пусть его себя губит! Таковской!

— Да как же он мог достать золото без ящика? Я расспрашивал работницу Марьи Павловны и узнал, что ящик давно уж у нее стоял на столике, а кто ей принес — неизвестно. Никитин ни разу у нее не бывал с тех пор, как я сосватался, и она ни разу с ним не видалась. Работница за нею подглядывала денно и нощно. Я ей за это двадцать рублей заплатил.

— Что ж! Может быть, ящик пустой, а бумаги у Никитина. Послушай, Карп Силыч! Точно ли дашь три тысячи, если я улажу твою свадьбу?

— Помогни только! В долгу не останусь.

— По рукам! Я знатно придумал.

Позвав брата своего, Спиридон Степанович поручил ему написать донесение генерал-полицеймейстеру Девьеру. Когда тот кончил бумагу, староста прочитал ее вслух. Она содержала в себе следующее:

«Господину

Санкт-Петербургскому генералу-полицеймейстеру  
Троицкой площади, что на Санкт-Петербургском острове, старосты Спиридона Степанова сына Гусева

### ДОНОШЕНИЕ

Понеже надлежит мне, старосте, о всяких делах, в коих касательство есть до важных интересов, так о всяких курioзных необыкновенностях аккуратно репортовать Ваше Высокоблагородное Генеральство, того для со всяким поспешением доношение учинить имею без всякого нападка, страсти, лжи и затевания о нижеследующем. Ведомо мне учинилось, что у здешнего ря-

дового купца\* Илии Воробьева проживает свейского дворянина дочь Марья, у которой в секретном хранении пребывал некакий ящик черного дерева и невеликой фигуры. По зрелой рефлексии возымев подозрение в чернокнижестве, имел я неослабное надзирание и чрез агента моего тот ящик достал для обследования. В оном объявились две бумаги с чернокнижественною инструкциею, как золотого доставать и некакий чудный камень, силу медикамента против всякого недуга имеющий, получить. В силу сей инструкции следовало идти в ночное время на Каменный остров, что в даче господина канцлера, графа Головкина, отыскать камень с надписанием свейского слова, такожде яму с чернокнижественным золотом и таковым же камнем. Надлежало для споможения к таковому делу некоего духа призвать. Не щадя живота своего в толико интересном обстоятельстве, упросил я брата моего Александра да купецкого сына Карпа Шубина идти вместе на такой кондиции, чтобы обследование учинить при них двух свидетелях, как регламенты повелевают. Пришед к яме, разрыли оную; нечистая же сила помешательство учинила, отняв у нас ящик и прогнав нас зело ужасным устрашением от ямы так, что живота едва не лишены были. Ныне же известно учинилось, что нареченный ящик доставлен обратно нечистою силою той же свейской дворянской дочери Марье, а полюбовник оной, живописного дела мастер Павел Никитин, в сильном подозрении обретается в делании воровских денег из чернокнижественного золота, и в том при расспросе легко уличей быть может. Во всем оном, как я, староста, так вышеобъявленные два свидетеля под присягою неложное показание, как надлежит, учинить весьма обязуемся. И о том о всем репортую сим доношением, прошу у Вашего Высокоблагородного Генеральства резолюции о взятъе в Синявин баталион\*\*, или хотя в острог той

---

\* Купцы, торговавшие в Гостином дворе, назывались рядовыми.

\*\* Синявиним баталионом назывались несколько изб на Выборгской стороне, против нынешних Петровских казарм. В сих избах помещался баталион Санкт-петербургского гарнизона, состоявший при Петре Великом в ведении обер-комиссара и директора над городскими строениями Синявина. В одной избе содержались государственные и другие важные преступники,

свейской дворянской дочери и с любовником, для обследования, дабы по суду возможно было указ учинить, кто чему будет достоин».

Староста подписал бумагу.

— Теперь они все запляшут по нашей дудке! — сказал он, потирая руки. — Я пугну этим доношением Воробьева и принужу его выдать за тебя его воспитаннику. Ты ведь согласишься, брат, и ты, Карп Силыч, присягнуть, в случае нужды, в том, что ящик отняла у нас нечистая сила?

— В правде почему не присягнуть! — отвечал брат.

— Присягну и я, — сказал Шубин, — только боюсь погубить мою невесту. В бумаге-то много и на ее голову написано!

— Положись уж на меня. Она легко оправдается. Обследование буду производить я, если дойдет до того. Одного Никитина спутаем. Он уж не отвертится. Тогда я легко уговорю его принять всю вину на одного себя и очистить на суде Марью Павловну. Ее освободят, а его казнят. А впрочем, Воробьев, верно, согласится без всяких хлопот на твою свадьбу.

Шубин бросился целовать старосту, и сей последний к вечеру того же дня пошел к Воробьеву. Прочитанное донесение сильно испугало его и смутило, но когда староста объявил условие, на котором он соглашался замять все это дело, то Воробьев решительно сказал, что он во всем этом видит одни новые козни, полагается на царское правосудие и слышать ни о чем не хочет.

В первом пылу досады, происшедшей от обманутого ожидания, Гусев пошел прямо к генерал-полицеймейстеру и подал ему свое донесение.

Девьер, родом португалец, был мужчина высокого роста и приятной наружности. Хотя пронизательные черные глаза, того же цвета волосы и смуглый цвет лица обличали в нем уроженца страны южной, но, давно живя в России, он совершенно обрусел и по языку, и по характеру.

— Что за странность! — воскликнул он, прочитав донесение старосты — Неужели ты и два свидетеля утвердите присягою то, что здесь написано?

— Хоть в Троицком соборе, с колокольным звоном!

— Надобно это дело хорошенько исследовать. Или

вас обманули, или вы обманываетесь, или меня обманывают.

— Помилуйте, ваше генеральство! Я, кажется, никогда не подавал милости вашей необстоятельных доношений. Прикажите произвести обследование, так все выйдет наружу.

— Хорошо, я согласен! Отбери допросы и завтра мне обо всем донеси. Только смотри, чтобы все было сделано согласно с законом и совестью.

Сказав это, Девиер, торопившийся куда-то ехать, вышел.

— Ладно! — ворчал староста, выйдя на улицу и поспешая к своему дому. — Согласно с законом и совестью! Гм! Благо велел начать обследование, а уж все будет сделано как следует. Все слажу так, что ни закону, ни совести не к чему будет придраться!

На другой день утром, взяв с собой четырех десятников, вооруженных дубинами, пошел он к дому Воробьева. Мария принуждена была отдать ему свой ящик, хотя со слезами просила не отнимать у нее единственной вещи, оставшейся после отца.

Гусев вышел уже на крыльцо, в намерении отправиться к Никитину, чтобы взять его под стражу, и встретил живописца, который спешил к своей невесте.

— Стой, любезный! — воскликнул староста. — Схватите-ка его, ребята, и ведите за мной! Хе, хе, хе! Шел к невесте, а очутишься в другом месте!

Мария из окна увидела, как десятники связали ее и потащили вслед за старостою. Старик Воробьев еще накануне рассказал ей о замыслах Гусева. Кровь бросилась ей в лицо от негодования.

— Куда ты, куда, Машенька? — закричал Воробьев, видя, что она бежит из горницы.

— Сейчас возвращусь, батюшка! — отвечала Мария и скрылась.

Зная, что царь после заседания в Сенате (помещавшемся в здании Коллегий на Троицкой площади) почти каждый день заходил с приближенными вельможами в австерию, она пошла прямо к сему домику и в ожидании государя села на деревянную скамью, под высокую сосну, которая росла на лугу неподалеку от австерии, подле кронверка крепости. На Веселом острове и на берегу острова Санкт-Петербургского, при зало-

жении города, весь лес был вырублен, за исключением трех сосен, которые Петр Великий велел оставить для будущих жителей Петербурга в память того, что там, где видят они город, был прежде лес. Одна из этих сосен стояла у Соборной церкви, в крепости, другая на лугу против нынешнего Сытного рынка, а третья, как сказано выше, близ кронверка.

Взор Марии устремлялся то на Коллегии, то на австерию. Каждый прохожий высокого роста, появлявшийся на Троицкой площади, возбуждал ее внимание. С сильным биением сердца ожидала она появления государя. Наконец, увидев вдали царя, шедшего по площади к австерии с князем Меншиковым, адмиралом Апраксиным и некоторыми другими вельможами, Мария быстро пошла ему навстречу.

— Защити, государь, спаси нас! — воскликнула она, бросаясь перед Петром на колена.

— Здесь не место просить меня, душенька! — сказал государь, взяв за руки Марию и подняв ее с земли. — Поди к моему старому дворцу и там меня дожидайся. Я сейчас туда буду и расспрошу тебя о твоём деле.

Сказав это, монарх вошел в австерию с вельможами, а Мария тихими шагами приблизилась к домику Петра Великого. Через несколько времени явился и царь в сопровождении одного денщика, отпер низкую дверь своего дворца и, нагнувшись, вошел в домик, дав знак рукою Марии за ним последовать. Из прихожей вошел он направо в большую комнату, которая сначала была залом, а потом обращена была в кабинет, когда постоянным жилищем царя сделался дворец, в Летнем саду находящийся. Для не бывавших в домике Петра Великого не излишне заметить, что эта зала не отличается обширностью, хотя она и превосходит величиною обе остальные комнаты этого единственного в мире дворца. Ширина ее — семь шагов, длина — столько же. И это небольшое пространство стеснялось еще голландскою печью, нагревавшею весь дворец. У кого в доме есть зала хотя на один шаг длиннее этой и на один грош где-нибудь позолочена, тот может смело похвалиться, что дом его великолепнее царских чертогов. В зале всего три окна; одно обращено на юг, другое на запад, третье на север: они закрывались на ночь ставнями. Каждое из них занимает гораздо более простран-

ва в ширину, нежели в высоту. У южного окна стоял стол с разложенными на нем бумагами, планами, чертежами и математическими инструментами. Стеклянная чернильница, представлявшая корабль, блестела посредине стола, только вместо парусов белелось на ней несколько перьев. В одном углу висел небольшой образ св. апостолов Петра и Павла, в другом помещался токарный станок. К окну, обращенному на запад, придвинут был узкий и длинный столик, на котором были расставлены сделанные из дерева модели кораблей, галер, фрегатов и других судов.

Войдя в сей кабинет, царь снял с себя шубу, повесил ее на гвоздь, прибитый в углу, и передвинул от стены к столу деревянный стул с резною высокою спинкой с подушкою из черной кожи. Сев перед столом, подзвал он к себе Марию, которая свою теплую епанчу положила на пол в прихожей, ибо денщик сел на скамейку, там стоявшую, и на ней для епанчи нисколько не осталось места. Ласково расспросив Марию об ее деле, царь продолжал:

— Я вижу, что отец твой верил алхимии и занимался ею. Винить его за это нельзя, ибо в Швеции, как мне известно, до сих пор многие занимаются этою наукою. Они нисколько не хотят обманывать других, а сами себя обманывают. Было время, что в самых просвещенных государствах умнейшие люди ревностно трудились над алхимическими опытами. Итак, будь спокойна. За то, что отец твой заблуждался, ты отвечать не будешь. Но скажи, почему замешался в это Никитин.

Этот вопрос привел Марию в сильное смущение. Потупив прекрасные глаза, она перебирала рукою свой тафтяный передник и не говорила ни слова. Щеки ее, покрасневшиеся от мороза и едва успевшие во время разговора с царем принять их обыкновенный цвет, снова покраснелись пуще прежнего, а так как философы утверждают, что одно и то же действие производится одною и тою же причиною, то должно согласиться, что мороз и стыд — одно и то же. Посему, отброся все старые определения стыда, следует его признать внутренним морозом, умеряющим жар любви и других сильных страстей.

— Что ж ты ничего не отвечаешь? — сказал царь, пристально посмотрев на Марию.



— Ваше величество! Он... жених мой! — отвечала девушка таким голосом, как будто бы просила помилования в важном преступлении.

— Жених? Вот что! — продолжал монарх, улыбнувшись. — Поздравляю тебя! Ай да Никитин! Недаром он живописи учился. В картинах и не в картинах умеет оценить красоту. Ступай теперь с Богом домой и, повторяя, будь спокойна. Я поговорю с Девиером о твоём деле и просьбы твоей не забуду.

Мария удалилась, а царь, вынув из кармана книжку, написал: *О девице\**. Петр Великий всегда носил с собою небольшую книжку и записывал в ней дела, обращавшие на себя особенное его внимание, или означал краткими намеками предначертания, представлявшиеся ему при непрерывных думах о благе подданных.

Прошло несколько дней. Никитин не возвращался из острога. С каждым часом усиливалось беспокойство Марии и старика Воробьева.

— Его царское величество забыл твою просьбу, Машенька! — говорил последний со вздохом. — Не одно наше дело у него на уме: всего ему, отцу нашему, не упомянуть! Или не наговорили ль ему лхоеи на нас невесть что! Погубят нас, бессовестные!

— Не беспокойся, любезный батюшка! Невинным нечего бояться! — возразила Мария, хотя внутренне еще более своего воспитателя опасалась хитрого старосты.

— Быть худу! Сердце мое чувствует! — продолжал старик. — За себя-то я не боюсь, за тебя мне страшно, Машенька! Если староста подал начальству доношение, которое он мне читал, — тебя засудят! Как оправдаешься? Два свидетеля готовы присягнуть. Павел Павлыч, конечно, станет говорить, что напугал дураков-то он и ящик тебе достал, да ему не поверят. Скажут, что из любви он тебя защищает. Притом его и самого обвиняют в чернокнижестве. Беда, со всех сторон беда! Ох, этот ящик твой! Недаром мне всегда на него глядеть было страшно! Я бы никак, если бы знать да ведать... о чем бишь я заговорил?.. Чу! Кто-то подъехал к крыльцу. Взгляни-ка в окно. Ох, мои батюшки.

---

\* Сии слова и ныне можно видеть в одной из тринадцати сохранившихся записных книжек Петра Великого.

Мария не успела еще отдернуть тафтяную занавеску, висевшую на окне, когда Девьер вошел в комнату.

— Ты ли купец Воробьев? — спросил он.

— Точно так, батюшка! — отвечал старик, низко поклонясь.

— А эта девушка, верно, твоя воспитанница?

— Точно так, батюшка! — повторил Воробьев дрожащим голосом.

Девьер, посмотрев пристально на Марию, вынул из кармана ящик ее и поставил на стол. Молчание и суровый вид генерал-полицеймейстера смутили девушку. Она переменилась в лице.

— Мне некого послать за старостою. Я приехал сюда один, — продолжал Девьер, обратясь к Воробьеву. — Он недалеко живет отсюда. Пошли кого-нибудь за ним и вели сказать, чтоб он пришел сюда.

— Слушаю, батюшка!

С сердцем, нывшим от беспокойства, побежал Воробьев в поварню и отправил свою работницу за старостою, у которого сидел в это время Шубин.

— Что это значит? — воскликнул Спиридон Степанович, когда явился к нему работница Воробьева. — Кто послал тебя?

— Сам хозяин послал.

— Что ему надобно?

— Не ведаю, кормилец! Выбежал в поварню, словно угорелый, и промолвил только: беги скорей за Спиридоном Степанычем!

— Хорошо! Скажи, что буду.

Когда работница ушла, то Гусев продолжал:

— Ага! Знать, одумался! Верно, хочет согласиться на твою свадьбу. Пойдем-ка к нему вместе, Карп Силыч! Трусость, видно, на него напала. Надобно этим часом пользоваться. Кстати ты у меня случился. Пойдем скорее, ударим с ним по рукам, и дело в шляпе!

Вскоре подошли они к дому Воробьева. При входе в комнату староста изумился, увидев Девьера.

— По твоему донесению его величество повелел мне самому произвести исследование, — сказал сей последний. — Подтверждаешь ли ты и теперь, что написал?

— Подтверждаю! Какую угодно присягу приму, и не я один, а еще два свидетеля. Вот один из них здесь, налицо. Это купеческий сын Шубин.

— Присягнешь ты? — спросил Девьер.

— Хоть десять раз сряду. Все буду стоять в одном и том же.

— В чем же?

— А в том, что нечистый дух — наше место свято! — отнял у нас вот этот ящик и что мы трое со страху чуть живы остались.

— Хорошо! — сказал Девьер. — Я сейчас возвращусь.

Через несколько минут ввел он в комнату Никитина.

— Расскажи, как ты напугал старосту на Каменном острове.

Никитин начал подробный рассказ о том, что уже известно читателям.

— Что вы на это скажете? — продолжал Девьер.

— Он все это выдумал, ваше генеральство! — сказал староста. — Притом свидетелем в собственном деле быть нельзя. Закон это воспрещает.

— Справедливо, но три свидетеля докажут, что Никитин точно на Каменном острове был, когда вы искаликлада. Не отнял ли еще что-нибудь у вас нечистый дух, кроме ящика?

Староста, упомянув в донесении об одном ящике, приведен был в смущение сим вопросом, а Шубин, видя, что он молчит, начал говорить:

— Нечистый отнял у нас еще лодку, ружье, заступ да старую шляпу Спиридона Степаныча. Ружье и заступ подкинул он на двор, и мы бросили их в воду, а лодка и шляпа остались у него.

— Представь, Никитин, свидетеля.

Живописец, выйдя в сени, принес старую шляпу старосты, потерянную им во время бегства от ямы.

— А другой свидетель, — продолжал Девьер, — лодка, которую вы наняли у рыбака. Он случайно отыскал ее у берега Крестовского острова. Эти два свидетеля подтверждают, что нечистый дух во всем этом деле принимал столько же участия, сколько вон этот чистенький чухонец, который везет теперь мимо дома воз угольев.

— Нет, ваше генеральство! — возразил Шубин. — Коли нечистая сила отдала ящик Никитину, так вестимо, что и шляпу, и лодку она же ему доставила.

— Положим так, но что ты скажешь против третьего свидетеля, рыбака? Он показывает, что Никитин

вслед за вами также нанял у него лодку и поехал на Каменный остров.

Шубин, не зная, что отвечать, поглядывал на старосту.

— Итак, исследование кончено. Впрочем, и нужды в нем не было. Я для того только допрашивал, чтоб вы уверились, что не сила нечистая, а Никитин напугал вас, и поделом. Без того вы стали бы разглашать в народе небылицу и утверждать его в суеверии. Теперь, надеюсь, вы будете умнее. Его величество решил ваше дело,— продолжал он, обратясь к Никитину и Марии.— Вот что он изволил написать на моем донесении: «Старосте с двумя свидетелями сказать дурака и их вразумить, чтоб они впредь умнее были и особенно в народе небылиц не разглашали, а если бы у них какой злой умысел, то оштрафовать. Старосту, яко неспособного, отставить и выбрать на его место другого благонадежного человека. Никитина немедленно из острога освободить, а его невесте отдать ящик».

Староста и Шубин, повесив голову, вышли. Носились два слуха: один, что они разошлись в разные стороны по выходе из дома Воробьева, а другой, что они в досаде разбранились на улице и для утешения себя поколотили друг друга, желая над кем-нибудь выместить свое горе и неудачу.

— Это еще не все! — продолжал Девьер.— Открой, невеста, свой ящик.

Мария исполнила приказанное и увидела, кроме заветания отца и пергаментного свитка, еще что-то завернутое в бумаге. Она развернула ее по приказанию Девьера, и серебряные рубли посыпались на пол.

— Это царь пожаловал тебе на приданое,— продолжал Девьер.

— Когда я донес ему, что вы оба сироты, то он сказал, что будет вашим посаженным отцом и сам приедет к вам на свадьбу. Желаю вам счастья! Прощайте!

Девьер удалился. Старик Воробьев, бросаясь на колена перед образом, начал со слезами молиться. За кого он молился — не знаем. Никитин прижал Марию к сердцу. Оба плакали, упоенные счастьем.

Ящик, напоминавший прежде Марии раннюю потерю отца, стал с тех пор напомирать ей, что добрый и великодушный царь заменил ее потерю. С тех пор Ни-

китин каждый раз, принимаясь за кисть, благословлял в душе державного покровителя искусств и просвещения. Он дожил до учреждения Академии художеств в славное царствование императрицы Екатерины II, тщательно возвращавшей в отечестве нашем все посеянное ее великим предшественником. Новые художники далеко опередили Никитина и почти вытеснили с поприща искусства. Кисть его вместе с ним устарела, но он не покидал ее, исполняя завет царя и чтя его священную память. В глубокой старости жил он с Мариєю на Выборгской стороне, в небольшом домике, с двумя сыновьями, которые, посвятив себя медицине, содержали престарелых родителей. Напрасно убеждали они отца их оставить кисть, замечая, что труды его даром пропадают, а зрение с каждым днем все более и более слабеет.

— Нет, любезные дети! — говорил старик. — Я обещал благодетелю моему царю Петру Алексеевичу не покидать живописи. Без него не прожил бы я с моею старухой до сих пор счастливо; давно бы, давно лежали бы мы оба в земле сырой, а вас бы и на свете не было, любезные дети!

За несколько дней до смерти он все еще занимался живописью и дрожащею кистью усиливался изобразить черты Петра Великого. С улыбкой, выражавшею сострадание и умиление, смотрели сыновья на тщетные усилия старца.

— Полно тебе, Павлыч, себя понапрасну мучить! — сказала Мария, почтенная и седая старушка. — Портрет твой более похож на меня, чем на царя Петра Алексеевича.

Старик глубоко вздохнул.

— Да, устарел я уж, Маша! Ничего почти не вижу. Однако ж как-нибудь кончу этот портрет. Пусть дети наши сохраняют его. Ящик твой будет им напоминать, что мы были с тобой сироты и что царь Петр Алексеевич сделался отцом и благодетелем нашим, а этот портрет пусть им напоминает, что до последних дней мы сохранили благодарность к нашему благодетелю.

И старик снова принялся за работу.



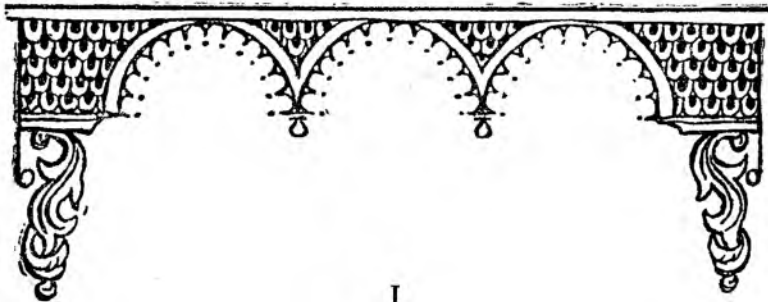
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

КОНСТАНТИН  
МАСАЛЬСКИЙ

ОСАДА УГЛИЧА







# I

Версты за две от Углича, за Волгой, возвышается холм, покрытый кустарником и окруженный мелким лесом. После 1611 года он долгое время сохранял название Богоявленской горы, но сейчас и это название исчезло. Без уцелевших страниц старинной летописи никто и не узнал бы, что на этом холме стоял некогда монастырь Богоявления Господня; что деревянную церковь, кельи и ограду превратили в пепел литовцы и что в стенах сожженного монастыря погибли тридцать восемь иноков и более трехсот окрестных жителей, искавших в святой обители спасения от неприятельских мечей.

В прекрасное весеннее утро — в 1610 году — подъехал к ограде Богоявленского монастыря всадник, привязал вороного коня своего к дереву и постучался в дверь кельи игумена Авраамия. Зеленое полукафтанье всадника застегнуто было на груди широкими петлицами из золотых шнурков. Перекинутая через плечо сафьяновая перевязь, вышитая серебром, поддерживала дорогую турецкую саблю. Грусть и задумчивость отображались на прекрасном лице всадника. Глаза его, исполненные жизни и выражения, обличали в нем душу добрую, благородную, мужественную.

Благословив незнакомого пришельца, Авраамий ласково пригласил его войти в келью, сел с ним на деревянную скамью и спросил, что привело его к нему, в уединенное его убежище?

— Привела меня слава твоей святой жизни, твоей мудрости. Не откажи в благодеянии, которое ты можешь мне оказать. Я буду просить у тебя суда.

— Суда?! — спросил удивленный старик. — На кого?

— На собственное мое сердце.

— Я не могу быть судьей, не зная твоего противника.

— В этом мире ты один узнаешь его, отец Авраамий. Перед тобой одним обнаружу все его тайны. О, если бы твои советы, твое посредничество примирили меня с моим противником! Перед тобой — стрелецкий голова Феодосий Алмазов. Покойные родители мои были небогаты, но целую жизнь старались делать ближним добро. Я был единственный сын их. Наравне со мною они воспитывали Иллариона, мальчика, которого усыновили и спасли от беспомощного сиротства. В последние годы царствования Иоанна Грозного я лишился матери; отец мой, спасаясь от незаслуженной казни, принужден был бежать в Польшу. Там я с Илларионом вступил в училище. Через несколько лет мы вышли оттуда, уже взрослые, в числе первых учеников. Между тем в Польше отец мой призрел еще двух малолетних девочек, которые по смерти родителей своих, беглецов русских, остались на чужой стороне круглыми сиротами. Когда Евгения и Лидия — так зовут их — подросли, то польский вельможа, покровитель отца моего, взял их в дом к себе и воспитал вместе со своими дочерьми. По окончании воспитания они обе возвратились к отцу моему, который вскоре после этого занемог безнадежно. Умирая, он завещал мне и трем сиротам, им призренным, возвратиться в Россию, возложив на меня заменить его для них, и велел жить всем нам вместе, в дружбе и согласии, как родным. Мы все поклялись исполнить его последнюю волю. Он, благословив нас, скончался. По возвращении на родину вступил я в стрелецкое войско, и брат мой, Илларион (он моложе меня пятью годами), через несколько лет последовал моему примеру. Счастье нам благоприятствовало. Теперь мне тридцать три года, а я уже стрелецкий голова и начальник Углической крепости. Брат мой — пятисотенный моего полка. Мы оба, по совести, можем сказать, что не были последними на полях битвы.

До приезда в Углич я жил в Москве. Там сердце указало мне спутницу жизни. Питая друг к другу любовь чистую, пламенную, мы наконец превозмогли все препятствия, которые долго мешали нашему счастью, и я назвал ее своею. Все говорят, что на земле невозможно найти полного счастья. Нет, это несправедливо, отец Авраамий! Я, я наслаждался этим счастьем! Правда, оно

скоро улетело — и навсегда. Она покинула меня, милан, незабвенная Ольга! Скоро ушла она на небо с этой бедной земли. О, как дорого заплатил я за свое счастье! Легче было бы мне, если бы оторвали половину моего сердца, но я не роптал, я даже не плакал — я не мог плакать. Меня утешала мысль, что я страдаю один, что моя Ольга на небе, где счастье вечно, неизменно, где ее уже не может постигнуть утрата, подобная моей. На языке человеческого нет выражений, чтобы изобразить то, что я чувствовал, когда вокруг гроба ее раздавалось похоронное пение, когда мои запекшиеся уста прильнули к ее холодной щеке, где недавно играл так пленительно румянец жизни, — к ее руке, неподвижной, которой она, угасая и подарив мне исполненный любви прощальный взор, в последний раз пожала мою руку!

Как бы горячо я тогда обнял того, кто мне дал бы хоть одну слезу, которая бы уменьшила страдание сердца! Но я не плакал. Отойдя от гроба, я упал перед образом Богоматери. И вдруг, как светлый ангел посреди мрачных, клубящихся туч, блеснула в растерзанной душе мысль, что Ольга с любовью и состраданием смотрит на меня из другого, высшего мира и молит там бесконечную Благодать ниспослать мне в утешение, — и в тот же миг непостижимая отрада наполнила сердце, и слезы потекли из глаз моих. Мне даже казалось, что это были слезы радости.

Возвращался ли ты когда-нибудь, отец Авраамий, с кладбища, похоронив там человека, которого ты любил, который был тебе дороже жизни? И теперь еще душа содрогается при одном воспоминании о чувствованиях, раздиравших сердце, когда я шел к опустевшему дому от могилы, сокрывшей в себе навсегда все мое счастье, все мои радости! Нет, я этого рассказать не в силах. Ты не поймешь моих невыразимых страданий.

Феодосий опустил голову и замолчал.

— Проходят, исчезают, как дым, наши радости, — сказал Авраамий, — но также проходят и страдания. И что вся земная жизнь наша? Она, по словам апостола, пар, на малое время являющийся. Но настанет для нас другая, бесконечная жизнь. Утешься: она уже настала для той, которую ты оплакиваешь!

— Эта мысль всегда утешала меня, — сказал Феодосий, — но столько раз овладевали мной безутешная го-

ресть и отчаяние! Весь мир опротивел мне. Сколько миллионов сердец, часто думал я, бьется теперь на земле, но все эти сердца не заменят для меня одного утраченного. Из этого сердца изливался источник моего счастья. Смерть оледенила, разрушила его, и источник моего счастья иссяк, и я на земле, как в беспредельной степи, томлюсь жаждою, которой ничто утолить не может. Все, что прежде меня радовало, что возбуждало во мне сладостные ощущения, воспоминания, мечты,— все это вдруг превратилось в яд, который мертвил меня. Шел ли я в рощу, где мы часто гуляли с ней,— и мне казалось, что каждое дерево говорило: ты один, ее уже нет с тобой, она уже никогда не придет в эти места! Попадались ли мне на глаза какой-нибудь наряд ее, какая-нибудь любимая вещь — сердце мое сжималось, я страдал, как в пытке, но не имел сил отвести глаз от того, что меня терзало. Я бы не вынес моих мучений, если бы участие моих домашних, их непрерывные заботы обо мне не поддерживали меня. Они не возвратили мне счастья, но удержали меня на земле, чтобы жить для них. Время залечивает самые глубокие раны сердца. Прошло уже два года с тех пор, как смерть похитила мое счастье; жало горести притупилось. Осталось в душе одно уныние, одно убийственное равнодушие ко всему. Я не мог уже ничем наслаждаться, разучился радоваться! Всех более принимала во мне участие Евгения, одна из сирот, призренных отцом моим. Живя с нею под одной кровлей с детства, я издавна любил ее, любил наравне с братом моим Илларионом и с Лидией, другою сиротой, которую покойный родитель воспитал вместе с нами. Но теперь я люблю ее более всего на свете. С каким искусством, с какою нежностью умела она утолять мои сердечные терзания, отгонять от меня ядовитое дыхание отчаяния! В ней воскресла для меня моя Ольга. Но я не должен так любить ее: она принадлежит уже другому. Брат мой Илларион давно, еще при жизни моей Ольги, оценил Евгению и привязался к ней со всею пылкостью первой любви. Прошло уже три года, как он открыл ей свое сердце, поклялся ей в вечной любви и требовал и ее клятвы. Она знала доброе сердце Иллариона; сила его страсти изумила, испугала ее. Чтобы его успокоить, она произнесла клятву, которой он от нее требовал. С тех пор Илларион называет ее своею невестой и употребляет все воз-

можные усилия, чтобы приобрести средства к жизни. Он не хочет отягощать меня собой и решился тогда обвенчаться с Евгенией, когда будет в состоянии жить своим домом. Несколько раз предлагал я ему разделить небольшой достаток мой, но он всегда отказывался, говоря, что на мне еще лежит обязанность устроить судьбу Лидии, и что он и без того уже многим мне обязан. Моеими стараниями, ему уже обещано место стрелецкого головы; он скоро получит его и достигнет цели своих желаний. Евгения уедет с ним, и я... опять останусь один, второй раз потеряю в ней мою Ольгу. Боже мой! Боже мой! Зачем я так люблю ее!.. Но нет, я не должен любить ее... пусть Илларион будет счастлив. Дай Бог, чтобы и она была с ним счастлива, так счастлива, как только возможно на земле. Я решился затаить любовь мою, чтобы не разрушить, не уменьшить благополучия моего брата и Евгении. Для них я принесу, я должен принести эту жертву. Давно и твердо решился я на это, но... иногда плачу дань человеческой слабости. Бывают минуты, когда я завидую брату Иллариону, когда мне кажется, что он не стоит Евгении, не сумеет оценить и осчастливить ее. Стыжусь сказать: я его тогда ненавижу, его, моего брата, которого люблю с детства! Тогда в сердце моем восстает ужасная борьба; часто я сам не понимаю чувств своих. О, какие это ужасные минуты! Недавно испытал я еще новое мучение. Илларион, получив письмо из Москвы, в котором уведомляли его, что он скоро будет назначен головою, прибежал в восторге домой и подал письмо Евгении. Она прочитала его, и мне показалось, что неожиданная весть не произвела в ней большой радости, что она даже стала задумчивее прежнего. Во мне мелькнула мысль: любит ли она Иллариона? Не сожалеет ли она, что связала совесть свою клятвой?

— Итак, мы скоро расстанемся? — сказала она мне. Эти простые слова отдались в моем сердце, как крик утопающего. Не знаю, что со мной сделалось. Боже мой, думал я, если Евгения проникла в глубину моего сердца, если она то же чувствует втайне ко мне, что я к ней, если и у нее в душе такая же ужасная борьба? Для чего же не объясниться нам, не открыть чувств наших? Но возможно ли это? Она не захочет убить Иллариона, она для него собой пожертвует так же, как я для них собой жертвую. Что, если, не любя, она идет за него? Она будет

страдать и скрывать свои страдания. Нет, нет! Илларион не захочет погубить ее, если он хоть сколько-нибудь ее любит. Но если он не в силах будет принести этой жертвы — что с ним будет? Вот мысли, которые меня с тех пор день и ночь терзают. Я изнемогаю от душевной борьбы и не знаю, что делать должен. Разъясни, отец Авраамий, мысли и чувства мои, рассуди меня с моим сердцем и произнеси беспристрастный приговор. Я исполню его.

Старик покачал головой и задумался.

— Я почти уже переплыл житейское море, — сказал он после продолжительного молчания. — И для меня странен долетающий ко мне издали голос страстей земных. Не говорю это в укор тебе, сын мой. И я был молод, и меня обуревали страсти. Теперь, оглянувшись назад, вспомяв время, когда вместо этих белых седин вились на моих плечах русые кудри, я с удивлением спрашиваю самого себя: неужели это был я? Быстро проходит все земное!.. Красота, любовь, все наши страсти, которые так волнуют нас, не более как призраки сна, то пленяющие, то терзающие нас. И счастлив тот, кто устоит против обольщений их, чью совесть не увлекут они с пути прямого. Пролетают скоро душевные бури, но угрызения совести остаются надолго в том, кто пал, кто не выдержал бури. До самых дверей могилы преследует нас стыд падения. Эта дверь, ведущая в другой, высший мир, страшна для того, кто, приближаясь к ней, стыдится самого себя, самого себя ужасается.

— Желал бы я скорее подойти к ней! — сказал стрелец. — Этот мир для меня несносен.

— Стыдись своей слабости! Желать себе смерти грешно. Веришь ли ты, что Бог даровал жизнь нам, что Он ее поддерживает и ведет нас к другой, настоящей жизни, через временный путь борьбы, испытаний, лишений? Кто знает, что возложил Господь на тебя. Что предназначил тебе совершить в этой жизни? Может быть, рука твоя понадобится отечеству; может быть, она предназначена защитить от врагов тысячи твоих ближних, вдов беспомощных, младенцев невинных. Спасая их, ты не с теперешним унынием твоим бросишься к дверям могилы, — с мечом в руке, — и, сопровождаемый благословениями спасенных тобою, скажешь: «Я не даром жил на свете!»

— О! Это была бы смерть сладостная, — сказал Феодосий. — Я бы избавился от моих мучений. Но пока я жив, я все буду мучиться. Как успокою я сердце, чем уйму его терзания? Дай совет, наставь меня, отец Авраамий!

— Спроси и послушай совета внутреннего твоего наставника. Две главные заповеди даны нам: любить Бога всей душой и ближнего, как самого себя. Верь, что без воли Творца ничто в мире случиться не может, кроме зла, которое делает человек, один человек, противясь воле Божьей. Поступай всегда так, чтобы твои намерения, побуждения, решимость могли быть перед судом собственного твоего сердца согласны с любовью к Богу и ближним — и ты никогда не ошибешься, не сделаешь зла.

Долго еще разговаривали они. Солнце уже склонялось к западу, когда Феодосий в глубокой задумчивости подъехал на своем вороном коне к воротам угличской крепости.

## II

В Угличе до сих пор сохранился ров, который обозначает, где была в старину крепость. Земляные валы и каменные стены, ее окружавшие, давно скрыты; уцелели только из старинных зданий каменный дворец царевича Димитрия и церковь Преображения, с отдельной, высокой колокольной. Теперешний дворец не что иное, как маленький, четырехугольный домик, с неправильными окошками. В первом этаже кладовые, на втором одна комната. Но к этому дворцу, в старину, приделаны были различного вида и величины деревянные строения, которые составляли с ним одно неправильное целое. Теперь около дворца обширная площадь, а подле нее сад, которые прежде были застроены деревянными домами частных лиц. Крепость стояла на высоком берегу Волги. Несколько подземных, потаенных ходов вели из крепости к реке и оканчивались небольшой железной дверью, прикрытой кустарниками.

Со стороны Волги земляной вал был невысок и стоял на самом краю крутого берега. Из окон домов, находившихся в крепости, видны были на далекое расстояние река и луговая сторона ее, с деревьями, монастырями, мельницами, рощами, лесами, холмами.

У одного из таких окон сидели Евгений и Лидия, шили какие-то для себя наряды. Феодосия и Иллариона не было дома.

— Как я ни посмотрю на тебя, сестрица,— сказала Лидия,— все мне приходит в голову, что мы с тобой в Угличе первые красавицы. Да что я говорю, в Угличе...

— Не скажешь ли, в целом свете, Лидия?

— Ну, нет. Это будет немножко хвастливо. Что же касается до Углича, мы, наверное, здесь первые. Что тут скромничать! Я видала здесь много прекрасных лицом девушек, но все они похожи на кукол: и пошевелиться не смеют.

— И мы были бы с тобой такие же молчаливые, если бы воспитывались не в Польше. Зато послушай, что здесь про нас говорят!

— Ну что, что говорят? Да здесь никто и говорить-то не умеет. Молодые рта разинуть не смеют, а пожилые и старые сожмут разве что значительно губы и покачают своими умными головами. Это еще беда небольшая.

— Нас все называют басурманками.

— Басурманками! — вскричала Лидия, захохотав.— Да за что это?

— За то, что мы не соблюдаем здешних обычаев.

— Хороши обычаи! Каждая девушка сиди в своей светлице, как в клетке, и не смей носу высунуть в окошко; с мужчинами не говори ни слова, как немая, и только родственникам в пояс кланяйся, сложа степенно руки; прогуляться по городу и не думай, а пойдешь в церковь, то иди с конвоем бабушек и тетюшек, земли под собой не слыша от страха и потупив глаза; взглянуть на мужчину, хоть бы ему было девяносто лет от роду, не смей. Мне кажется, здешние красавицы и на попа в церкви смотреть боятся. Не смотри на мужчин! Да что они за звери такие! Почему нам на них не смотреть, и прямо в глаза? Чего их бояться? Они глазают же на нас!

— Ты рассуждаешь по-польски, а мы теперь в Угличе. Каждая земля, каждый город имеет свои нравы и обычаи...

— Которым я следовать не хочу. Каждая девушка, которая поумнее и образованнее других, может иметь свои нравы и обычаи. Пускай с нас берут пример.

— Мы с тобой одних лет, и было бы смешно, если бы я вздумала учить тебя. Но... я боюсь, чтобы ты не по-



вредила своей доброй славе и не подала повод к пересудам.

— Не боюсь я никаких пересудов! От них никто не избавится, хоть в лес от людей убеги. И тут какая-нибудь найдется благочестивая кумушка, которая, вздохнув, скажет: «Девка-то в лес ушла; ну, что ей одной в лесу делать?!»

— С такими правилами ты не найдешь себе жениха здесь.

— Есть чего искать! Пусть они меня ищут. Не может быть, чтобы я никому не понравилась. Да надобно, чтобы и он мне понравился. А все-таки прежде я его хорошенько помучу: больше ценить меня будет.

— Не ошибись в расчетах, сестрица!

— Да у меня никаких расчетов нет. Буду всем показывать себя, какова я есть. Уж притворяться ни для кого не стану; буду на всех смотреть, выбирать, сравнивать. Разве это не весело? Пусть меня пересуживают! У кого совесть чиста, тот может всякому смело смотреть в глаза, не исключая и молодых мужчин, которые не весть как много о себе думают. А уж если я кому понравлюсь и увижу, что он меня стоит, потешу же я себя над ним; я его переучу по-своему. Здешние все женихи немножко на медведей похожи; а мой будет и мазурку танцевать, и играть на гитаре, и петь, и читать латинские книги, в которых я, правда, и сама толку не знаю.

— Ах ты, веселая головушка!

— Да что же, разве лучше по-твоему... грустить да задумываться? И о чем грустить тебе? У тебя уже есть жених. Илларион-то славный малый! Он всех здешних женихов за пояс заткнет. Как он мазурку танцует! Этак здешним женихам и во сне проплясать не пригрезится. Посмотрела, как они танцуют: словно глину месят!

— Как будто семейное счастье зависит от одной мазурки.

— Конечно, не зависит, но мазурка семейному счастью не мешает. Знаешь ли что, сестрица? Мне кажется, что Илларион не очень тебе нравится. Если это правда, то уступи мне его. Я тебя за это поцелую.

— Перестань, что ты за пустяки говоришь, сестра!

— Ну, скажи правду, признайся, мы здесь одни. Ты очень любишь Иллариона?

— Люблю.

— Больше всех на свете?

— Конечно.

— А что ты скажешь о Феодосии?

— Это что за вопросы? Я люблю и Феодосия, но так же, как и ты.

— Ну, а он тебя так чересчур любит.

— Я думаю, так же, как и тебя.

— Нет, не так же, большая разница! Я давно за ним примечаю. Он думает, что я ветреная, что я ничего не понимаю. Нет, я гораздо догадливее, нежели он воображает. Отчего, например, со мной он говорит охотно и много, а с тобой все выбирает время говорить, и более молчалив, когда ты тут?

— Перестань пустяки выдумывать. Тебе, кажется, хочется убедить меня, чтобы я уступила тебе Иллариона.

— Вот еще! Уж не упрек ли это? Не нужно мне твоего Иллариона. Я постараюсь понравиться Феодосию. Он также танцует порядочно мазурку; или найду кого-нибудь из здешних, да отучу его от всего, что мне в нем не понравится, и выучу его всему, всему, что мне нравится. Он лучше Иллариона будет.

— Ах, Лидия, ты совершенное дитя! Завидую твоему веселому характеру.

— А я твоему не завидую. Ты невеста, и так часто грустишь. Посмотри на меня, когда я буду невестой: грусть тогда на десять верст не осмелится ко мне подъехать.

— Дай Бог, чтобы она всегда была на сто верст от тебя. Но в жизни никто не избегал печали. Так жизнь устроена!

— А я перестрою ее по-своему.

— Что ты хочешь перестроить, Лидия,— спросил Феодосий, входя в комнату,— свою светелку, что ли?

— Нет, не светелку, а жизнь.

— Как, жизнь?

— Да вот, сестрица говорит, будто бы жизнь так устроена, что всегда и всем надобно печалиться, даже невестам.

— Ты, Лидия, переиначиваешь слова мои,— заметила Евгения, немного смутившись.— Надобно знать связь всего нашего разговора.

— Какую же ты мысль сказала, Евгения? — спросил

Феодосий, стараясь принять шутливый и веселый вид. Между тем обе девушки заметили, что он скрывал от них сильное душевное волнение.

В это время в комнату вошел Илларион.

— Еще хорошие вести из Москвы, — сказал он. — Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, которого теперь Москва на руках носит, обещал говорить обо мне царю. Он хочет сам выступить против польского короля Сигизмунда, который стоит теперь у Смоленска, не смея идти вперед и стыдясь отступать. А в Калуге, куда бежал тушинский самозванец, князь намеревается отрядить небольшое войско, чтобы уничтожить шайку злодея. Он хочет пожаловать меня в стрелецкие головы и назначить в это войско, которое, по окончании похода, останется в Калуге. Бог услышал мои молитвы, милая Евгения! Счастье наше недалеко.

Он поцеловал свою невесту.

— Так мы скоро и на свадьбе попируем? — вскричала Лидия, прыгая от радости. — Уж как же я мазурку протанцую — все на меня заглядятся!

— Ты побледнела, Евгения, — сказал Илларион, пристально глядя ей в глаза. — Что с тобой случилось?

— Всякое неожиданное известие, как бы оно радостно ни было, производит на меня странное действие. Я сама себя не понимаю.

— Когда же, сестрица, ты пойдешь к венцу? — спросила Лидия, целуя Евгению.

— Я хотел тебя о том же спросить, моя милая, — сказал Илларион, взяв Евгению за обе руки и нежно глядя ей в глаза. — Поход в Калугу почти нельзя назвать походом, это скорее будет прогулка. На то, чтобы выгнать из города ничтожную шайку самозванца и уничтожить ее, потребуется несколько часов. Мне бы хотелось, моя милая, чтобы молодая жена моя поздравила меня с победой.

— Я в твоей воле, Илларион. Я готова ехать с тобой, куда хочешь.

— Итак, наша свадьба будет здесь, в Угличе, перед отъездом в Калугу. Ты согласна, Евгения?

— В Угличе, непременно в Угличе! — воскликнула Лидия. — Феодосию нельзя будет ехать на свадьбу к вам, в Калугу, а мне и подавно. Кто же без меня невесту к венцу оденет? Кто на свадебном пиру протанцует мазурку

так хорошо, как я? Без моей мазурки и свадьба будет не в свадьбу.

— Что это? У тебя слезы на глазах, Евгения? — удивился Илларион. — Я, пожалуй, подумаю, что ты выходишь замуж за немилого. Ты, кажется, совсем не рада. Скажи, ради Бога, что с тобой?

— Мне пришло в голову, что я должна расстаться надолго и — кто знает, — может быть, навсегда с моей сестрицей Лидией!

— А со мной, Евгения, ты расстанешься без всякого сожаления? — спросил Феодосий, стараясь придать своему голосу шутливое выражение, но голос его от сильного внутреннего движения дрожал.

Евгения бросилась Феодосию на шею, прижалась лицом к его плечу и заплакала.

### III

Илларион гулял с Евгенией по крутому берегу Волги. Разговор их переходил от предмета к предмету. Глаза Иллариона сияли восторгом, упоением счастья. Евгения также была весела. Но по временам задумчивость мелькала на ее лице. Прелестные глаза девушки опускались к земле, и если в это время какая-нибудь шутка Иллариона вызывала на ее устах улыбку, то в этой улыбке заметна была какая-то принужденность.

— Скажи мне, Евгения, отчего ты все печальна? О чем тебе теперь печалиться?

— С чего ты взял, Илларион, что я печальна?

— Ты, без сомнения, что-нибудь скрываешь от меня.

— У меня нет от тебя ничего тайного.

— Докажи мне это. Скажи мне, о чем думала ты теперь, когда так засмотрелась на струи Волги?

— Мне пришло в голову старое сравнение реки с жизнью. Я увидела вон это лебединое перо: посмотри, как быстро несет его Волга. Куда плывет оно? Где остановится? Так и мы не знаем, что будет с нами? Куда умчит нас быстрый поток жизни?

— Он умчит тебя в мои объятия. Он принесет тебя к порогу скромного, светлого домика, где ждут тебя неизменная, пламенная любовь и семейные радости, кото-

рых нет ничего выше на земле. Ах, Евгения! Ты меня не так любишь, как я тебя. Если бы ты так же любила, то так же бы и радовалась близости нашего счастья.

— Ты несправедлив, Илларион. Ты знаешь давно, что я люблю тебя; более любить я не умею. Ценю вполне мое счастье и благодарю за него Бога, но при всем том не могу защитить себя от грустных мыслей; они невольно приходят в голову. Таков уж мой характер, которому я иногда сама не рада. Я люблю вспоминать о прошедшем, ценю настоящее, умею наслаждаться им, но боюсь будущего. Я никогда не предавалась, как другие, мечтам, надеждам и пламенным желаниям. Что было, того никто не отнимет у меня; наслаждения в настоящем могла бы чувствовать живее, если бы не отравлялись они мыслью, что все на земле является на миг. О будущем я стараюсь никогда не думать. Положим, что одни радости ожидают нас впереди. Но что такое будущее? Оно — богатый запас, верная добыча для прошедшего. Чему назначено быть, тому назначено и пройти. Поэтому ожидание будущего счастья никогда меня не радует. И кто знает, придет ли еще оно?

— К чему, моя милая, так мрачно смотреть на жизнь? Много в ней горя, но много и радостей. К чему ожидать одного худого? Теперь счастье наше недалеко и, кажется, верно. Неужели и это тебя не радует?

— Я не люблю притворства, я должна быть откровенна с тобой. Я бы обманула тебя, если бы отвечала, что радует.

— Не радует... Ты меня не любишь, Евгения!

— Не обижай меня напрасным подозрением. Нет, Илларион! Я люблю тебя, очень люблю, но... говорят, что любовь дает нам полное блаженство. Сердце мое его не чувствует. Счастье мое отравляется многим, многим!

— Чем же?

— Не должна ли я расстаться, разойтись по разным дорогам жизни с Лидией, с которой росла с младенчества? А бедный Феодосий, который так много потерпел в жизни, который утратил навсегда свое счастье? Лидия не может для него заменить меня. Она слишком весело смотрит на жизнь, не примет в нем такого участия, не поймет его страданий и не сумеет облегчить их. Если я вижу, что страдает другой и что я могу помочь ему, пожертвовав своим собственным счастьем, я готова на

эту жертву. Она тем для меня легче, что я не могу быть счастлива при мысли о страданиях другого, которые я умела облегчать и которые облегчать уже не буду в силах.

— Зачем же, Евгения, ты уверяла, что любишь меня? Останься с Феодосием. Я поеду один в поход и постараюсь разлюбить, забыть тебя. О! Это слишком дорого мне будет стоить. Евгения, Евгения! Что сделала ты со мной?! Для чего давно не сказала, что меня не любишь, что меня любить не можешь?

— Ты бы стал страдать, Илларион, а я люблю тебя наравне с Феодосием — нет! Люблю тебя более, потому что теперь я необходимее для тебя, чем для него. Горесть его лишилась уже прежней силы; он может теперь обойтись без меня и найдет утешение в твердости души своей; а ты, если бы я отвергла любовь твою, ты, наверное, не перенес бы этого. Я твоя, Илларион! Но ты плачешь? Нет, нет, нет! — воскликнула она, бросаясь ему на шею и целуя его в глаза, наполненные слезами. — Я тебе не позволю плакать.

Илларион в восторге сжал ее в объятиях.

— Так ты меня любишь, Евгения?

— Ты давно уже это знаешь. Я никогда никого не обманывала.

Феодосий, облокотясь на пушку, смотрел в глубокой задумчивости с земляного вала на Волгу. Лидия, оставшись дома одна, не знала, что делать со скукой. Из окна увидев Феодосия, она вздумала взобраться к нему на вал.

— А вот и я здесь! — сказала она, запыхавшись. — Как трудно взбежать сюда: я совсем задохнулась.

— Лидия! — удивился Феодосий. — Откуда ты явилась? Что это тебе вздумалось!

— Я увидела из окна, что ты стоишь у этой пушки, повеся нос, и будто подслушиваешь: не скажет ли тебе чего пушка? Он от нее ни словечка не дождетсЯ, подумала я, и побежала сюда, чтобы поговорить с тобой. Ты, кажется, очень печален, Феодосий.

— Нимало, я только задумался.

— Нет, ты печален, и я знаю отчего.

— А отчего бы, например?

— Оттого, что Евгения скоро замуж выходит и отсюда уезжает.

— Напротив: ее счастье меня радует. Правда, что мне грустно с нею расставаться, но, я думаю, и тебе не весело.

— Да нельзя ли как сделать, чтобы они здесь остались? Ведь я пропаду с госки. Ты всегда такой задумчивый, а без Евгении от тебя и слова никогда не добьешься. Ты будешь очень горевать, да и она также.

— Почему это?

— Потому что она тебя любит более, чем Иллариона.

— Не говори пустяков, Лидия.

— Ну пусть я говорю пустяки; только я знаю то на-верное, что ты любишь Евгению более всего на свете; она любит тебя более, чем Иллариона, а я... люблю Иллариона более, чем она. Но Илларион меня не любит — так и Бог с ним!

— Откуда все это пришло тебе в голову?

— Пришло с разных сторон; через эти два окошечка, которые называются глазами и которые, говорят, очень светлы и не дурны, да еще отсюда.

Она положила руку на сердце.

— Ты настоящий ребенок, Лидия!

— Хорош ребенок: девятнадцать лет.

— Я не говорю: по летам.

— Что ж, глупа я, что ли, по-твоему?.. Как бы не так!.. Видишь, ему досадно, что я догадалась о том, что она ото всех скрывает. Не беспокойся, не проведешь меня! Я давно все вижу. Глаза-то у меня не для одной красоты вставлены. И уши также, у девятнадцатилетнего ребеночка, не для того только, чтобы будущий муж мой за какую-нибудь проказу мог иметь удовольствие выдрать меня за уши. Да я ему еще это и не позволю.

— А ты стоила бы этого, Лидия, за все твои выдумки.

— Ну, хорошо, выдери мне ухо, если ты по чистой совести уверен, что я говорю неправду. Что? Рука, видно, не поднимается?

— Я в совести уверен только в том, что ты большая проказница.

— А я уверена в том, что ты очень худо делаешь, тая ото всех нас настоящие твои чувства. Если Евгений увидит, что ты ее так любишь, то и она скрываться не станет. Может и то быть, что она теперь сама не понимает чувств своих. Илларион сначала погорюет немножко, но я его постарюсь утешить. Он наконец меня полюбит и

на мне женится; все уладится как нельзя лучше; все будем довольны и счастливы.

Совет Лидии сильно взволновал Феодосия. Он с трудом мог скрыть свое волнение и не отвечал ей ни слова. Взглянув в сторону, он сказал:

— Кто это идет сюда к нам? Гонец, кажется. Откуда и какие вести привез он?

Гонец подошел и, поклонясь, подал свиток Феодосию.

— Боже мой! — вскричал он, прочитав свиток. — Какое ужасное несчастие!

— Что, что такое? — сказала, встревожась, Лидия.

— Племянник царя, князь Михаил Васильевич, скоропостижно скончался. Какая потеря для отечества! Какая радость для врагов России!

— Это тот самый князь, который хотел говорить царю об Илларионе и послать его в Калугу?

— Да, Лидия, тот самый. Боже мой, Боже мой! Смерть в такие молодые годы и в такое время! Пойдем, Лидия, домой скорее. Иди за мною, — прибавил он, обратясь к гонцу.

#### IV

С кончиной князя Михаила Скопина-Шуйского закатилась счастливая звезда царя Василия Иоанновича. Польский король Сигизмунд, стоявший до того времени в недоумении у Смоленска, решился действовать наступательно. Тушинский самозванец, подкрепленный Сапегою, из Калуги подступил к Москве и стал лагерем в селе Коломенском. Гетман Жолкевский, посланный Сигизмундом с небольшим отрядом навстречу русскому войску, которое шло к Смоленску под начальством брата царского, князя Дмитрия Шуйского, сошелся с ним близ села Клушина и разбил его наголову, воспользовавшись изменой наемных иностранцев. Рязанский дворянин Прокопий Ляпунов поднял знамя бунта, обвиняя царя Василия и брата его Дмитрия в отравлении князя Михаила, которого народ называл отцом отечества.

Феодосий и Илларион готовились выступить с углицким полком стрельцов к Москве, по присланному повелению царскому.

— Завтра, на рассвете, пойдем в поход, — сказал Феодосий, осматривая свое оружие.



— А когда воротитесь — Бог знает, — заметила Лидия. — Ну что мы без них станем делать, сестрица? Одна кухарка Сидоровна останется с нами — очень весело! Мне ужас как плакать хочется!

— Я бы тебе советовал, Лидия, пойти скорее в свою комнату и лечь спать, — сказал Феодосий. — Скоро уже полночь. Вы обе слишком устали сегодня, снаряжая нас в дорогу.

— Да, уснешь теперы! Посмотри там какие тучи... вот и молния!.. Июль уже на исходе, а ни одной грозы еще не было. Зато, я думаю, сегодня ночью будет такой гром, что уж и я струшу. Уф, какой удар! Сестрица! Сестрица! Отойди от окошка.

— Я не боюсь грозы и люблю смотреть, как извивается молния.

— Затвори, по крайней мере, окошко.

— Что это, Евгения? — сказал Илларион, отводя ее от окна. — Ты, любуясь на молнию, плачешь? Перестань горевать, мой друг! Мы скоро воротимся.

В это время послышался у ворот стук, и вскоре вошел торопливо в комнату стрелецкий сотник Иванов. Незадолго до того Феодосий послал его в Москву с донесениями стрелецкому приказу.

— Что это значит, Илья Сергеевич? — сказал удивленный Феодосий. — Для чего ты так поспешно воротился?

Иванов начал приглаживать свои седые волосы и вздохнул, не говоря ни слова.

— Что с тобой?

— Я такие вести привез из Москвы, Феодосий Петрович, что ты ни за что не поверишь мне и подумаешь, что я помешался.

— Ради Бога, говори скорее, что такое?

— У нас уже нет царя!

— Боже мой! Неужели скончался?

— Нет, он жив.

— Я не понимаю тебя.

— Изменники и бунтовщики свели его с престола и насильно постригли в монахи.

— Возможно ли!

— Положено избрать царя всей землей, а до того времени государством будет править князь Федор Иванович Мстиславский с боярскою думой. Во все города

отправлены грамоты об этом и крестоприводные записи. И к тебе прислана записка с приказом, чтобы ты по ней всех нас и всех угличан привел к присяге. Вот он

В записи было сказано: «Целую крест на том: мы дворяне, и чашники, и стольники, и стряпчие, и головы, и дети боярские, и сотники, и стрельцы, и казаки, и всякие служивые люди, и приказные, и гости, и торговые, и черные, и всякие люди всего Московского государства били челом боярам и князю Федору Ивановичу Мстиславскому с товарищами, чтобы прямил Московское государство, пока нам Бог даст государя, и крест нам на том целовать, что нам во всем их слушать и суд их всякий любить, что они кому за службу и за вину приговорят, и за Московское государство, и за них стоять, и с изменниками биться до смерти, а вора, который называется царевичем Димитрием, на Московское государство не желать, и между собою, друг над другом и над не-другом никакого зла не хотят, никому не мстить, не убивать, не грабить, зла ни над кем не мыслить и ни в какую измену не вступать. А выбрать государя на Московское государство им боярам и всяким людям всей земли; а боярам князю Федору Ивановичу Мстиславскому с товарищами за государство стоять и нас всех праведным судом судить, и государя выбрать с нами, всякими людьми, всей землей, сославшись с городами, кого даст Бог на Московское государство. А бывшему государю царю и великому князю Василию Ивановичу всея Руси отказать и на государевом дворе не быть и впредь на государстве не сидеть, и нам над государем и над государынею и над его братьями убийства не чинить никакого зла, а князю Димитрию, да князю Ивану Шуйскому с боярами в думе не сидеть».

Феодосий, прочитав грамоту, смял ее и бросил на стол.

— Поклянусь в одном, чего требуют, биться насмерть с изменниками.

— Вся Москва, Феодосий Петрович, присягнула, — сказал Иванов. — Многие города также. Что же мы одни против всех станем делать?

— Будем делать то, к чему обязывают нас честь и совесть. Разве можно играть клятвами? Разве не клялись мы служить царю Василию Ивановичу и стоять за него до последней капли крови? Кто поручится мне, что

новую клятву не нарушат завтра же, как и прежнюю? К чему это все поведет?

— А если правда,— заметил Илларион,— что на пиру князя Дмитрия, по воле царя, был отравлен спаситель отечества, князь Михаил Васильевич?

— Пусть судит его в этом Бог, мы судить царя не вправе. Притом это одно подозрение или, еще вероятнее, клевета. Илья Сергеевич! Ты завтра поедешь с донесением моим к царю Василию Ивановичу. Я напишу, что он поручил мне Углич; что я без его повеления не сдам крепости никому на свете; что я исполню все, что он укажет, и буду ждать его царского слова.

— Ты погубишь себя и всех нас,— сказал Илларион.

— Может быть, я погибну, но никогда не погублю моей чести и совести. Пусть узнают все, что Углич остался верным царю Василию. Все преданные ему соберутся сюда. Возникнет войско, пойдет на изменников и возвратит царю престол его...

## V

Иванов из Москвы написал Феодосию, что ищет случая передать его донесение царю Василию, который жил в монастыре под строгим присмотром. Время между тем текло, и тучи, одна другой темнее, всходили над нашим отечеством. Почти вся Россия присягнула сыну польского короля Владиславу, между тем как Сигизмунд замышлял присвоить Россию себе и уничтожить ее, соединив с Польшей. Гетман Жолковский занял Москву, шведы брали русские города на северо-западе; измена, смятение, грабежи волновали все государство.

В конце октября Феодосий получил от Иванова письмо. «Дожили мы до позора! — писал он.— Русский православный царь в плену у ляхов. Наши изменники выдали Василия Ивановича гетману Жолковскому, а тот, переодев его в простое литовское платье, повез царя к польскому королю Сигизмунду в лагерь под Смоленском».

Феодосий сдал начальство над угличской крепостью Иллариону, приказав править ею от имени царя Василия, не сдавать никому до конца, а сам, переодевшись в польскую одежду, сел на коня и поскакал в Смоленск.

Через несколько дней забелели перед ним вдаль каменные башни крепости. Повсюду около стен виднелись шатры поляков, их шанцы и туры, с наведенными на крепость пушками. Особенно сильны были укрепления поляков по левую сторону Копытинских ворот. Феодосий подъехал к цепи часовых, собираясь пробраться в лагерь.

— Кто идет?

Феодосий назвал польскую фамилию, первую пришедшую ему в голову, сказал, что он из Москвы послан Жолковским в лагерь и что сам гетман вскоре прибудет сюда. Однако часовой колебался.

— Что у вас за спор? — спросил польский всадник, подъехав к Феодосию. — Кто ты такой?

Прежде чем продолжить наш рассказ, следует поподробнее объяснить, кто такой этот всадник.

Это был пан Струсь, не тот, известный полковник Струсь, который во время пожара Москвы 1611 года прискакал с отрядом из Можайска на помощь полякам и впоследствии отстаивал Кремль, осажденный князем Пожарским. Последний попал в историю, вероятно, и не помышляя об этом; а первый мечтал постоянно, но не попал, хотя и стоил того по многим причинам. Он был дальний родственник полковника. Владея в Польше довольно обширным поместьем, он жил без всякого расчета. В роскоши, гостеприимстве и великолепии он не хотел отставать от первых богачей Польши и вскоре промотал все имение. Это побудило его поступить на военную службу и отправиться в поход со всей многочисленной своей дворней, которую ему было нечем кормить. Он надеялся при взятии приступом двух, трех русских богатых городов поправить свое состояние. Он хотел сверх того при всяком случае не упускать военной добычи и года через два думал воротиться на свою родину богаче прежнего. Главная его страсть была честолюбие. Он хотел быть выше всех на свете, мечтал попасть в вельможи и даже со временем, при благоприятных обстоятельствах, в короли.

Природа создала его трусливым и изнеженным сибаритом; но, с другой стороны, от непомерного честолюбия, он так боялся прослыть трусом, что приходил от одной мысли об этом в отчаяние, которое делало его храбрым до неистовства. Естественно, что в этой на-

сильственной храбрости не было ни постоянства, ни хладнокровия. Когда порыв отчаяния утихал, когда он был уверен, что неустрашимость его уже доказана, и что можно без срама уклониться от опасности, он всегда от нее спасался, как заяц. От этого он всегда был первым в нападении, и первым же, когда другие отступали или бежали.

Желание быть выше всех, не уступать никому делало его во мнениях упрямым и настойчивым до невероятности. Он готов был спорить со всяким, о чем бы то ни было, хоть до драки. Занимаясь в молодости изучением польского законодательства, он употреблял в дело свои познания при спорах, и так привык мнения свои подкреплять словами закона, что наконец начал большей частью выдумывать статьи и артикулы существующих или небывалых королевских повелений, статутов, конституций и сеймовых постановлений, если только спор происходил не при каком-нибудь юристе или адвокате. Иногда, разгорячась, он отчаянно спорил и с юристами, уверенный, что никто из них не может твердо помнить бесчисленного множества польских законов.

Он был чрезвычайно нетерпелив и вспыльчив. Противоречие тотчас выводило его из себя. Если он что-нибудь выдумывал, на что-нибудь решался или давал другому какой-нибудь совет, то не мог спокойно спать, не исполнив своей мысли или не принудив другого последовать его совету.

В этих случаях он целый день, а нередко и целую неделю все думал об одном и том же. Мысль: как бы сделать это, как бы доказать ему, как бы принудить его, уличить, довести *ad absurdum*, беспрестанно вертелась у него в голове и мучила его. От этого он был чрезвычайно рассеян; помнил малейшие подробности разговора или спора, который был за неделю, и забывал, что было им или ему сказано за минуту. Еще особенная черта его характера была та, что он легко влюблялся. Двадцать лет сряду твердил он, что в будущем месяце непременно женится, и дожил до сорока пяти лет холостяком. Однажды вздумалось ему припомнить по порядку красавиц, в которых он был страстно влюблен. Он начал их считать и не мог окончить счета. Ему самому стало смешно. Счет его остановился на семьдесят чет-

пертой, в 1605 году; осталось еще исчислить предметы любви за пять лет и несколько месяцев.

Он был среднего роста, довольно толст и неуклюж. Воображая себя чрезвычайно ловким, он не делал ни одного движения, ни одного шага спроста; беспрестанно рисовался и становился в разные живописные позы, как будто собираясь танцевать, и крутил свои длинные усы. Глаза у него были большие, черные; густые брови с проседью находились в беспрестанном движении. Он то опускал их, то поднимал, то кривил; орлиный нос его, довольно длинный и согнувшийся, как мелкий шляхтич перед богатым паном, старался, казалось, заглянуть в рот, который часто улыбался невпопад и потом быстро принимал, также редко впопад, важное и строгое выражение. Когда он слушал чей-нибудь рассказ, то всегда нижней губою прижимал верхнюю к носу, кивал значительно головой и делал жесты то одобрения, то осуждения, то сомнения.

Основным же, преобладающим выражением на его физиономии и вообще наружности было выражение самодовольства и гордости, с легким оттенком глупости.

И вот эта самая особа подъехала к Феодосию с вопросом «кто ты такой?».

— Я шляхтич Ходзинский, — ответил Феодосий польски. — Приехал сюда из Москвы по поручению гетмана Жолковского, который сюда скоро будет.

— А зачем он прибудет сюда? Мы и без него возьмем Смоленск. В храбрости мы ему не уступим.

— Он везет сюда московского царя, которого взял в плен.

— Взял в плен! Чертов хвост! Да это превосходно! Но послушай, любезный, ты, мне кажется, врешь.

— Нет, пан, я говорю правду.

— Дьявольская бомба! Царь москалей — наш пленник! Это превосходно! Да здравствует Польша!

— Вели же, вельможный пан, пропустить меня в лагерь. Я хочу записаться в какой-нибудь полк из здешних. Полкам, которые в Москве, совсем не платят жалованья.

— Хочешь ли служить под моим начальством? Я пап Струсь. Ты, я думаю, слышал обо мне?

— Как не слыжать! Я сочту за особую честь служить у вас.

— Так поди к моему ротмистру и вели себя внести в список. Или подожди, я сам тебя запишу.

Струсь в рассеянности забыл, что он еще не полковник, а ротмистр. Он вынул из кармана бумагу и карандаш и записал вымышленное имя Феодосия.

— А сколько ты хочешь жалованья? — продолжал Струсь.

— Сколько назначите. Я торговаться не стану.

— Чертов хвост! Да ты лихой малый. Ну, иди же за мной. Я назначу, в которой тебе быть палатке. О жалованье не беспокойся, будешь мною доволен.

На другой день прибыл гетман Жолковский. По всему лагерю разнеслась весть, что он привез взятого им в плен царя московского. Везде поднялся шумный говор. Везде раздавались радостные восклицания.

Сигизмунд для большего блеска велел Жолковскому представить ему царя Василия перед лицом всего войска. Королевская палатка стояла на холме, на некотором расстоянии от крепости, и была закрыта от выстрелов земляным валом. Перед палаткой устроили нечто наподобие трона, на котором должен был сидеть Сигизмунд, принимая Шуйского. Около трона разостлали несколько ковров, где должна была стоять королевская свита. Звук трубы подал знак войску о начале торжества.

Струсь, сопровождаемый Феодосием, которого он очень полюбил, протеснился сквозь толпу и, чтобы лучше все видеть, влез с ним на земляной вал, который находился подле королевской палатки. На валу и со всех сторон около холма и палатки стояло уже много народа.

— Желаю здравия, пан! — сказал Струсь, увидев на валу в числе зрителей своего полковника Ивана Каганского.

— Здравствуйте, ротмистр! — отвечал тот.

— Скоро ли торжество начнется? — спросил Струсь.

— Король уже приехал, и теперь в палатке. Я думаю, он сейчас оттуда выйдет и сядет на трон. Как отсюда все хорошо увидим! Вал невысок, можно даже расслышать, что там внизу говорить будут.

— Дьявольская бомба! Это прелюбопытно! А вот позвольте, полковник, представить вам шляхтича Ходзинского. Он вчера записался в наш полк.

— А кто его записал? — спросил Каганский, оглядев Феодосия с ног до головы.

— Я записал.

— Кажется, следовало бы сначала представить его полковнику и потом только записывать.

— Извините, полковник, это совсем не было нужно. Ротмистр имеет полное право принять и записать кого бы то ни было.

— Извините, ротмистр, вы, я вижу, не знаете до сих пор твердо порядка.

— Я не знаю порядка? Чертов хвост! Мы в этом никому не уступим! Разве вы забыли статус Вислицкий 1347 года? Да и в статусе короля Владислава Ягеллы 1420 года сказано: «Ротмистр имеет право принять и записать в полк всякого желающего».

— Я не знаю ваших статусов, знаю только то, что...

— Не знаете статусов, полковник? А что говорит артикул пятнадцатый сеймового постановления 1583 или 1585 года? Не помню точно.

— Артикул этот говорит, что ротмистру не следует учить своего полковника.

— Вы, я вижу, шутите над законом и забываете, что в обычаях земли Краковской 1505 года, *Consuetudines Cracovienses*, постановлено на подобные случаи очень строгое правило.

— Ах, отстаньте, прошу вас, ротмистр! Вы меня задавить хотите цитатами из всех статусов, постановлений и обычаев, какие только бывали или не бывали на свете. К чему толковать с глухим о музыке?

— Стало быть, вы согласны, что ротмистр имеет право...

— Согласен, на все согласен! Тише, тише! Король вышел из палатки.

Сигизмунд сел на приготовленный трон. По правую и по левую его руку поместились главные военачальники и вельможи. Телохранители королевские встали около них полукругом. Два строя солдат, протянутые от холма до шатра, где был Жолковский с Шуйским, образовали род улицы. Раздался звук трубы. Гетман вывел из шатра своего пленника и пошел вперед. Шуйского, одетого в великолепное платье, окружила стража и пошла вслед за гетманом. Раздались по всему полю шум-



ные восклицания: «Да здравствует король! Да здравствует Польша!»

— Вот уж царь москалей подходит к королю,— сказал Струсь, разглаживая свои усы.— Знай наших! Мы, я думаю, скоро возьмем в плен китайского императора.

— Как он бледен и печален,— заметил Каганский, глядя внимательно на Шуйского.

Феодосий дрожал. Сердце его сжалось.

«Боже! Боже! До чего дошла Россия!» — думал он, готовый зарыдать, и одна только слеза скатилась с ресниц его, но какая слеза...

Шуйского поставили перед Сигизмундом. Жолковский сказал королю приветственную речь и поздравил его с пленным царем русским.

— Царь Василий Иванович! — сказал он в заключение, обратясь к Шуйскому.— Преклони колени и поклонись твоему победителю, могущественному и великому королю Польши.

При этих словах Шуйский гордо поднял опущенную на грудь голову, взглянул на гетмана, потом на короля и твердо произнес:

— Царь московский не кланяется королям. Судьбами Всевышнего я пленник, но взят не вашими руками; а выдан вам моими подданными-изменниками.

Феодосий готов был броситься к ногам Шуйского.

— Дьявольская бомба! — воскликнул Струсь.— Он отвечает истинно по-царски! Тем более нам чести, что у нас такой царь в плену.

## VI

Наступила ночь. Шуйский, в той же одежде, в которой представлен был королю, сидел в шатре на постеле, облокотясь на изголовье. На столике перед ним тускло горела свеча, стража стояла у входа.

Во всем лагере еще длился общий пир, начавшийся с утра. Вино лилось рекой. Слышались шум, крики, песни.

«Не сон ли тяжелый мне снится? — думал Шуйский.— Неужели я, царь России, в самом деле не более чем узник Сигизмунда? Нет, нет! Я в Кремле. Это мои подданные ликуют и веселятся. Да. Так веселились они, когда я сверг с престола ненавистного всем самозванца,

и когда они, в порыве благодарности, избрали меня царем. Бог видит, желал ли я добра им. И что они со мной сделали! За то, что я для счастья их не жалел этой седой головы, которая лежала на плахе, когда я обличал самозванца, они сорвали с нее царский венец, лишили меня свободы, постригли неволей в чернецы, предали врагам России, разлучили меня с женой... Высока, крепка ограда Суздальского монастыря: ты никогда уже не выйдешь из него, бывшая царица! Напрасно будешь плакать и рваться — в могиле одной найдешь утешение! Мы уже с тобой не увидимся в этой жизни: ты умрешь на чужих руках, я не закрою глаз твоих!.. Я сам умру, окруженный врагами, на чужой стороне!

Где же мои угодники, мои льстецы? Что не идете по-прежнему кланяться мне, выпрашивать у меня милостей? Я не нужен вам более!.. Я скоро умру, и все позабудут меня. Все изменили мне, все меня возненавидели! И за что? Что я сделал им? Но, может быть, есть люди, которые втайне жалеют меня. Станут жалеть многие, когда будут страдать под игом Сигизмунда. Боже! Спаси Россию, защити от врагов ее!

Польский шатер прикрывает меня от ночного холода. Теперь две сажени земли — все мои владения. Давно ли шатер мой был свод небесный, который раскидывался над обширным царством русским? Все изменили мне, все возненавидели! Это ужасно!»

— Что надобно тебе? — спросил он, увидев человека, ссторожно вошедшего в шатер.

Феодосий бросился на колени перед пленным царем.

— Кто ты? — удивленно спросил Шуйский, приподнявшись.

— Верный подданный вашего царского величества.

— У меня уже нет подданных.

— Есть многие, которые готовы умереть за тебя и за счастье отечества.

— Они должны теперь ждать счастья от Сигизмунда.

— Сигизмунда ждут русские сабли! Я стрелецкий голова Алмазов, начальник Угличской крепости. Все стрельцы моего полка преданы вашему царскому величеству. Я во все стороны разошлю гонцов и буду звать всех к Угличу, для защиты царя и отечества. Соберутся тысячи. Многие уже теперь видят, что, присягнув коро-

левичу Владиславу, они его никогда не дождутся, и что сам Сигизмунд хочет для себя поработить Россию и присоединить ее к Польше. На тебя, государь, одна надежда. Ты законный русский царь! Спасись отсюда из рук врагов, укройся в Угличе. Когда на стенах его разовьется твое знамя, бесчисленная рать соберется, пойдет ударить на полки Сигизмунда и с торжеством введет тебя в Москву.

— Благодарю тебя за твое усердие, за твои добрые желания, но они сбыться не могут. Как спасусь я отсюда?

— Теперь ночь. Стражи твои после пира уснули мертвым сном. Я вошел сюда свободно. И все в лагере теперь или спят, или пируют, как безумные. Я проведу тебя, государь!

— Но если меня схватят?.. Нет, нет, я не унижу себя побегом. И куда бежать мне? К моим изменникам-подданным? Они выдали меня Сигизмунду... пусть они и отнимут меня у него, если я еще нужен для отечества. Я не боюсь ни плена, ни страданий, ни самой смерти, и в плену докажу, что я... достоин был царствовать.

В это время красное сияние факелов сквозь распахнувшийся занавес осветило внутренность шатра. Послышались шумные разговоры, и пан Струсь с несколькими приятелями вошел в шатер. Видно было, что все они в течение дня пировали очень усердно.

— А где тут царь москалей? — провозгласил Струсь, озираясь. — Который из вас царь? Здесь я вижу четырех человек.

У пана двоилось в глазах.

— В ту ли мы палатку вошли? — заметил другой ротмистр.

— Светите, дурачье, хорошенько! — крикнул Струсь двум солдатам, державшим факелы. — Я ничего не вижу. Мне хочется поближе рассмотреть царя москалей.

— Что надобно вам? — сказал Шуйский. — Я царь русский. Неужели король позволяет оскорблять пленников и лишать даже сна, последней их отрады?

Струсь, глядя мутными, неподвижными глазами на сверкающие глаза Шуйского, невольно снял шапку.

— Сигизмунд, — отвечал он прилипающим языком, — король, то есть. Сигизмунд не спит теперь сам и прислал всех нас засвидетельствовать вам свое почтение и пожелать спокойной ночи.

— После такого дня мне нужна спокойная ночь.— Оставьте меня. Что же вы стоите? Я прошу, я требую, чтобы никто меня не смел тревожить в моей палатке.

— Иди же, пан! — сказал Феодосий.

— А ты кто такой? Не тушинский ли самозванец? Что ты мне приказываешь? Ба! Дьявольская бомба! Если глаза меня не обманывают, это шляхтич Ходзинский, мой завербованный. А знаешь ли ты, несчастный, что, по силе артикула семнадцатого Обычаев Краковской Земли 1668 года, я имею полное право дать тебе оплеуху? Ты этого не знаешь?

Он замахнулся.

— Не забудь, пан,— сказал Феодосий,— что в силу следующего восемнадцатого артикула, я должен буду возвратить тебе оплеуху, а потом разрубить тебе голову. Поди же скорее отсюда, со всеми твоими приятелями.

— Ты врешь, в артикуле восемнадцатом сказано, что данная оплеуха ни под каким видом возвращена быть не может, что разрубить мне голову никак нельзя и что я имею полное право оставаться в этой палатке, сколько мне будет угодно.

— Возьмем его лучше под стражу,— сказал один из приятелей Струся.— Как он смеет нам грубить!

— Оставь меня и спасайся! — шепнул Шуйский Феодосию.

— И откуда взялся здесь этот Ходзинский? — продолжал Струсь.— Его с нами не было.

— Спасайся, я тебе приказываю! — повторил тихо Шуйский.— Прощай! Я тебя всегда буду помнить. Не забудь прежнего царя своего.

— Поспешу в Углич,— сказал Феодосий,— и там напомню о себе вашему царскому величеству.

— Куда, куда, Ходзинский? — сказал спокойно Струсь, стоя на одном месте.— Мы тебя берем под стражу. Стой!.. Но он, кажется, ушел? Он этим поступком нарушил все статусы, конституции и сеймовые постановления! Его надобно повесить! Пойдем, повесим его!

Вся ватага, пошатываясь, вышла из палатки.

Феодосий между тем сел на коня своего, который стоял невдалеке.

— Посмотри, пан, он уже на лошади! — сказал Струсь один из его приятелей.

— Как на лошади?! Дьявольская бомба! Мошенник

Ходзинский! Ты с ума сошел! Куда ты едешь? Слезь с лошади, сейчас же слезь, нам надобно тебя повесить.

— Прощай, пан,—закричал Феодосий.— На прощанье скажу тебе, что я не Ходзинский, а русский стрелецкий голова Алмазов, начальник угличской крепости. Милости просим ко мне в гости!..

— Лови, держи!—закричали паны диким хором брянча саблями.

— Дьявольская голова!—воскликнул Струсь.— Кто бы мог подумать, что это не Ходзинский, а русская стрелецкая бомба!

Несколько пьяных солдат, лежавших на земле, услышав шум, перевернулись с одного бока на другой. Феодосий ускакал.

## VII

— Как рад я, что ты возвратился,—говорил Илларион Феодосию.— Я без тебя был в большом затруднении. Все наши стрельцы хотели последовать примеру других городов и присягнуть Владиславу. Я с трудом удержал их и упросил подождать твоего возвращения.

— Кто внушил им эту мысль?

— Проезжал через наш город стольник Бахтеяров с грамотой боярской думы. Он прочитал ее стрельцам и жителям.

— Зачем же ты допустил его читать?

— Я не имел возможности остановить его. Он был у обедни. Выйдя из церкви на площадь и собрав около себя толпу, он начал читать грамоту, в которой содержалось увещание присягнуть скорее Владиславу. Остановить его значило бы возбудить еще большее любопытство и волнение в умах.

— Справедливо.

— Бахтеяров зашел потом ко мне и долго разговаривал со мной. Узнав, что мы держимся стороны царя Василия Ивановича, он предлагал мне, именем начальника стрелецкого приказа, твое место и сверх того поместье в награду, если я наших стрельцов и жителей Углича приведу к присяге на верность польскому королевицу. Я с трудом убедил всех подождать тебя.

Феодосий обнял Иллариона.

Созвав стрельцов на площадь, Феодосий вышел к ним с Илларионом. Они встретили его громкими восклицаниями, как давно любимого начальника.

— Я слышал, друзья мои, что вы колеблетесь в верности вашей царю Василию Ивановичу и хотите присягнуть польскому королевичу?

Сотник Иванов выступил вперед и сказал:

— Я уполномочен говорить тебе, Феодосий Петрович, от лица всего нашего полка. Царь Василий Иванович сведен с престола и взят в плен. Королевичу Владиславу присягнула Москва и все остальные города, — для чего же нам одним держаться старой присяги? Если королевич Владислав избран в цари Москвою и всеми городами, то нас сочтут возмутителями и принудят присягнуть новому царю.

— А не клялись ли вы перед Богом стоять за царя Василия Ивановича до последней капли крови?

— Конечно, клялись. Но что же делать, если он лишен царского венца и взят в плен?

— Но справедливо ли поступили те, которые свели его с престола и предали в руки врагов?

— Говорят, что сам царь Василий Иванович в этом виноват: он отравил своего племянника.

— Это клевета, одно подозрение. А по одному подозрению нельзя обвинять не только царя, но и последнего из подданных.

— Он втайне велел убить и утопить более двух тысяч невинных людей.

— Я вам прочитаю грамоту святейшего патриарха, которую он разослал по Москве и во все города, когда изменники восстали против царя. Слушайте: «Во имя Бога нашего, которым живем, движемся и существуем, по воле которого цари царствуют и сильные содержат землю. Я, смиренный Ермоген, Божию милостью патриарх Москвы и всей Руси, напоминаю о себе вам, бывшим православным христианам, которых ныне не знаю, как и назвать. Оставив свет, вы обратились к тьме, отступили от Бога, возненавидели правду, отпали от Церкви и изменили Богом венчанному царю, вами самими избранному. Разве не знаете вы, что Всевышний владеет царствами человеческими и дает их кому хочет? Преступив крестное целование и молитвы, вы, бывшие свободными, волею поработились иноземцам.

У меня недостает слов! Сердце мое терзается! Пощадите, братья и дети, души свои! Вразумитесь и восстаньте! Вы видите, что отечество наше разоряется иноплемениками, льется кровь невинных, вопиющая к Богу! На кого вы поднимаете оружие? Не на своих ли братьев единоплеменных? Не свое ли отечество разоряете? Мятежелолюбные иудеи, в сороковой год по воскресении Спасителя, изгнали царя своего Ирода Агриппу, избрали другого и погибли от междоусобий. Пришли римляне, разорили Иерусалим и предали все огню и мечу. Того ли хотите вы? Да пощадит нас Господь! Он рек: не бойся, малое мое стадо, хоть много волн и грозит потопление, но не погибнут стоящие на камне веры и правды. Пусть море пенится и бушует: сохранит Господь уповающих на него. Заклинаю вас именем Бога и Спасителя нашего отстать от вашего начинания. Мы будем молить Всевышнего, чтобы отпустил вины ваши; будем просить государя о даровании вам прощения: он милостив и не злопамятен. Он простил тех, которые в сыропустную субботу восстали на него и говорили ему ложные и грубые слова. Если же дойдет до брани, то знайте, что убитых с нашей стороны ожидает вечное блаженство, с вашей — вечные муки. Мы будем плакать о них: они братья наши. Но вам еще время обратиться. Можете обращением вашим по-вигнуть небеса на веселие. Если радость бывает на небесах об одном грешнике кающемся, то какая же радость будет там о тьмах христианского народа? Восставшие на царя забыли, что царь Божьим изволением, а не сам собою принял царство и что всякая власть от Бога дается. Они забыли, что царь освободил нас от самозванца и спас веру нашу и всех нас от гибели. «Он велит втайне убивать, — говорили они о царе, — и бросать в воду дворян, детей боярских, жен и детей их, и погубил уже более двух тысяч». Мы удивились словам их и спросили: когда и кто погиб таким образом? Они не могли назвать из двух тысяч ни одного по имени, и лживость обвинения их явно обнаружилась. Они стали потом читать грамоту, присланную русскими из литовских полков. В ней было сказано, что князя Василия Шуйского одна Москва выбрала на царство, а другие города о том и не знали; что за него кровь льется, земля в волнении, что надобно избрать нового царя. Мы возразили, что доныне никакой город

Москве не указывал, а указывала Москва всем городам; что царь Василий Иванович избран всею Россией, всеми властями и чинами; что при его избрании были люди из всех городов русских. Но вы, забыв крестное целование, хотите свести его с престола. Вас, восставших, немного. Россия же не знает этого и не хочет. Мы сами с вами не соглашаемся. Итак, вы восстаете против Бога и воли всего народа. Мы же молим Всевышнего, что Он на многие годы сохранил на престоле возлюбленного им царя. Предки наши не только не впускали в Московское царство врагов, но сами летали, как орлы, в отдаленные страны, на берега морей, и все покоряли царю московскому. Последуйте примеру предков ваших, возвратитесь на путь правды, восстаньте за Церковь, царя и отечество. Мы с радостью и любовью примем вас, и все прошедшее предадим забвению — и настанет в русском царстве мир, покой и благоденствие!»

— Вот что писал святейший патриарх, — сказал Феодосий. — Объявите мне теперь, хотите ли присягнуть Владиславу или, лучше сказать, Сигизмунду? Он не даст нам сына, а его именем хочет завладеть царством русским.

— Да здравствует царь Василий Иванович! — воскликнули стрельцы. — Умрем за него, положим за веру, царя и родину наши головы!..

## VIII

Феодосий разослал по разным городам грамоты, призывая в Углич всех преданных царю Василию. Между тем, Сигизмунд посылал в Москву повеления боярской Думы, раздавал места, награждал поместьями, одним словом, начинал царствовать в России, маня всех неискренним обещанием пожаловать русским в цари Владислава.

— Боже мой! Боже мой! — говорила Лидия Евгеньевна. — Когда кончатся эти смутные, несчастные времена? Я, конечно, не понимаю хорошенько, в чем дело, но замечаю, однако же, что все идет очень плохо; у всех такие постные лица. Впрочем, не от того ли это, что завтра наступает Великий Пост? Не говорил ли чего тебе, сестрица, Феодосий о делах? Как они идут? Мне он ничего



не объясняет; я уже несколько раз его спрашивала.

— Да, Лидия. Мы живем во времена незавидные. Царь наш в плену; ты, я думаю, это знаешь?

— Слышала об этом. Впрочем, ему в Польше будет веселее жить, чем здесь. Помнишь ли, как мы там веселились?

— Ах ты, глупенькая! Ты по себе судишь.

— Да почему же ему там не повеселиться, пока его не отобьют у поляков. Феодосий ведь говорил, что русские во что бы то ни стало освободят царя. О чем же ему горевать?

— Сколько крови должно пролиться из-за этого! Долго еще ждать нам счастливых, радостных дней!

— У тебя все печальные мысли. Оставим этот разговор. Скажи лучше, скоро ли твоя свадьба?

— Теперь не то время, чтобы об этом думать.

— Как не то? Ах, да, я и забыла, что завтра наступит Великий Пост.

— Пост и пройдет, но свадьбы моей ты не дождешься. Вероятно, Илларион и Феодосий не будут уже тогда в Угличе.

— Да где же они будут?

— В походе.

— Ну вот, опять поход! Только и слышишь про походы! Как они мне надоели!

— Что делать, Лидия. Будем молиться Богу, чтобы послал скорее России мир и тишину.

— А знаешь ли что, сестрица? Где мы будем завтракать и есть блины сегодня? Отгадай.

— В большой нашей комнате, я думаю. Где же нам завтракать?

— Нет, ты не отгадала. Какрой чудесный вид оттуда на Волгу и во все стороны! Я думаю, оттуда верст на десять все кругом видно, как на блюдечке.

— Я не понимаю тебя.

— Видишь ли ты эту угловую башню, к которой примыкает этот вал, а с другой стороны каменная стена?

— Вижу.

— Мы в этой башне будем завтракать.

— Как же это?

— Уверяю тебя. Феодосий любит ходить по стене и по валу и смотреть на свои любезные пушки. Верно, и

теперь он там бродит с Илларионом. Я и вздумала зазвать их в башню и удивить неожиданным завтраком. Надобно же стараться развеселить их чем-нибудь: они оба все такие грустные.

— Проказница! Как же ты это придумала? Как тебя часовой пропустил на башню?

— Меня-то не пропустить — сестру начальника крепости! Он, было, в самом деле не пускал нас туда, то есть, меня и кухарку нашу, Сидоровну, но я так на него крикнула, что он совсем струсил. «Как ты смеешь, негодный, нас останавливать», — сказала я ему, — если нас послал твой начальник? Разве ты не знаешь, что я его сестра?»

— Что же там делает теперь Сидоровна?

— Да, я думаю, уже блины печет.

— Блины печь в крепостной башне! — сказала Евгения, засмеявшись. — Чего только тебе не придет в голову! Феодосий, верно, расхохочется.

— А мне это и нужно. Пусть он хоть ради масленицы посмеется с Илларионом. Мне уже наскучило смотреть на их нахмуренные брови. Я, право, даже забыла, какая у них улыбка, и кто из них приятнее улыбается.

— Но, кажется, мы останемся без блинов. Где их печь в башне?

— Мы с Сидоровной нашли там какую-то дрянную печку, в маленькой комнате с четырьмя узкими окошками. Часовой сказал нам, что в этой печке в старину ядра калили. А мы будем в ней блины печь. Сидоровна уже принесла вязанку дров и развела огонь. Вон, посмотри: какой там дым идет из башни. Пойдем же, сестрица, отыщем Феодосия с Илларионом и заманим их к нашему завтраку.

Они вышли из дому, Феодосий в самом деле ходил по валу с Илларионом. С ними был еще их близкий знакомый, угличский торговый человек Алексей Матвеевич Горов, седой, почтенный старик.

В то время, когда Евгения и Лидия подошли к ним, Горов, большой охотник до пословиц, отвечая на что-то сказанное Феодосием, кивнул печально головой и сказал:

— Да, да, Феодосий Петрович! Видим мы и сами, что кривы наши сани. Но унывать не надобно. Голень-

кий ох, а за голенького Бог. Может быть, и подойдет к тебе еще подмога.

— Неужели в самом деле суждено нашей родине быть под игом Сигизмунда? — сказал Илларион. — Быть не может! Русские не потерпят этого. Думный дворянин Ляпунов, как слышно, собирает в Рязани сильное войско и хочет идти к Москве, чтобы освободить ее от поляков и приступить к избранию царя всею русскою землею.

— Дай Господи, чтобы это была правда, — примолвил Горов. — Сейчас ничему хорошему не веришь — такие времена!

— Что это? — воскликнул Феодосий. — Посмотрите, какой-то дым вьется около башни. Что там могло загореться?

— Батюшки мои! — отозвался Горов. — И впрямь на пожар похоже!

Все поспешили к башне.

— Это не пожар, — сказала Лидия. — Ты напрасно беспокоишься, Феодосий.

— Что же это, по-твоему?

— Это... так, просто дым идет, но пожара никакого нет. Я тебе в этом головой ручаюсь. Да не спеши ты так! Посмотри, мы с Евгенией совсем запыхались. К чему такая спешка! Поверь, это не пожар.

— Как тебе не поверить.

Все вошли в башню и по узкой лестнице поднялись в верхнюю небольшую комнату. Там был накрыт маленький столик, на котором стояли завтрак, большая кружка наливки и несколько серебряных чарок.

— Что это такое? — удивленно спросил Феодосий, осматриваясь.

— Блины готовы, матушка! — отрапортовала Сидоровна Лидии. — Кажется, хорошо получились.

Все засмеялись.

— Что за проказница! — продолжал Феодосий, нежно потрепав Лидию по щеке.

Сели завтракать. Несколько чарок наливки разогнали мрачные мысли мужчин. Как лучи солнца, проникавшие сквозь узкое окно в темную комнату башни, засияла в их душах надежда. Давно уже не были они так веселы.

— Все перемелется, мука будет! — говорил Горов,

наливая чарку и любуясь переливами темно-красной наливки на золотой внутренности сосуда.— Слышно, что рязанцы, туляки, калужцы, нижегородцы, новгородцы крепко пошевеливаются. Сигизмунду несдобровать! Царя нашего выручим из плена...

— Москва, между тем, во власти поляков! — вздохнул Феодосий.

— Ненадолго! — продолжал Горов.— Я был там недавно. Что за кутерьма там! Толку не добьешься! Истинно, не знаешь, чего хотят. Один стоит горой за Владислава, другой — за Сигизмунда, третий — за пленного царя, четвертый кричит громче всех, а сам не знает, о чем. Бояре не доверяют полякам, поляки боярам, и никто дела не делает. Выходит, как говорят старые люди, боярин повару не верит, сам по воду ходит.

— Что это за войско направляется сюда? — вдруг сказал вполголоса Феодосий, глядя в окно башни.— Вон там, вдали.

— Наверное, полки идут к тебе на подмогу, — заметил Горов.— А ты горевал, что все забыли пленного царя.

— Посмотри, Феодосий, — сказал Илларион, — с того холма пушки съезжают. Кажется, глаза меня не обманывают?

— Точно, пушки.

Лидия и Евгения смотрели в другое окно, на Волгу, и любовались, как с ледяной горы мелькали по льду, мимо башни, санки катающихся.

Вдруг отворилась дверь, и вошел сотник Иванов с тревогой на лице.

— Что скажешь? — спросил Феодосий.

— Сюда идут поляки, — ответил тот шепотом.

— С какой стороны?

— Я был на другом конце крепости и там с башни их увидел.

— Стало быть, они идут с двух сторон. Но поляки ли это? Пошли нескольких гонцов в разные стороны, а между тем вели всем стрельцам быть готовыми и заряжать пушки. Не забудь запереть все ворота и поднять мосты. Дай знать гуляющим теперь за городом и жителям предместий, чтобы все скорее шли в крепость.

Евгения и Лидия ничего не слышали из этого разговора, продолжая смотреть на Волгу.

— Посмотри, посмотри, сестрица! — сказала Лидия, захохотав, — как этот толстяк свалился с санок и перевернулся. Бедняжка попал головой прямо в сугроб. Слышишь ли, как все там на льду хохочут? А вот поплыли на большом лубке две купчихи. Как они только лед не проломают! Ну, и они завертелись... а вот и свалились. Пойдем, сестрица, покатаемся.

— Давай, если хочешь. А ты не боишься упасть в снег?

— Я съеду не хуже вон того молодца, в бархатной шапке, который сейчас так быстро катится, будто птица летит. Может, невеста на него смотрит, а он думает: пусть она любит себя своим суженым.

— Батюшки-святые! — говорил Горов. — Беда неминуемая: их, окаянных, много сюда идет, и пушек у них достаточно. Помилуй нас, грешных, Господи!

— Что ты испугался, Алексей Матвеевич, — сказал Феодосий вполголоса. — Хоть бы их было вдвое больше, крепость нелегко взять. Я тебе в этом ручаюсь. Успокойся!

— Да ведь они и с другой стороны идут.

— Ну что же такого, защитимся. Да перестань же вздыхать, ты перепугаешь...

Он тихонько указал на Евгению и Лидию.

— Позволь нам с сестрицей на горе покататься, — сказала Лидия Феодосию. — Как весело птицей летать по льду! Ты уж верно с нами не пойдешь. Нас бы туда Илларион проводил.

— Что случилось? — закричала вдруг Евгения, продолжая смотреть в окно. — Все там на льду как будто испугались чего-то. Все бегут, крестятся, машут руками. Странно! Что их вдруг так встревожило?

— Они услышали, что сюда идет ничтожный отряд поляков, — сказал Феодосий. — Есть чего пугаться!

— Боже мой! — в один голос вскрикнули Евгения и Лидия.

— Только не пугайтесь! — продолжал Феодосий. — Это к вам не относится. Они еще далеко, и мы успеем покататься на горе. Пойдем, Лидия, ты ведь хотела кататься.

— Нет, нет, ни за что!

— Ну, может, ты пойдешь со мной, Евгения?

— Не ходи, не ходи, сестрица! Поляки тебя изрубят!

— Станут они рубить таких хорошеньких девушек! Они скорее протанцуют с вами мазурку. Но сначала мы с Илларионом заставим танцевать незваных гостей и проводим отсюда. Так ли, Илларион?

— Без сомнения. Крепость нашу взять нелегко. Не бойся, моя милая! — прибавил он, взяв Евгению за руку. — Ты дрожишь? Ах, стыд какой!

— Я боюсь не за себя, Илларион. Мне страшно за тебя... и за Феодосия.

— А мне и за себя, и за всех страшно, — сказала Лидия, чуть не плача. — Проклятые эти поляки! Кто их просил сюда приходить!

В это время Сидоровна, стоявшая безмолвно у печки со сложенными руками, поняла, наконец, в чем дело, и подняла такой плач с причитаниями, что и Горов, ободренный Феодосием, опять завздохнул и заохал.

— Пойдем домой скорее, — сказал Феодосий Евгении и Лидии. — Ох вы, зайчики пугливые! Да замолчи, ради Бога, Сидоровна!

## IX

— Вот и Углич! — говорил Струсь полковнику Каганскому, указывая на крепость.

— На стенах у пушек курятся фитили, — заметил тот. — Видно, готовы к обороне. Мы здесь, за этими холмами, остановимся, пока ставят туры и готовят укрепления для осады. Между тем надобно занять все дороги и окружить крепость со всех сторон.

Он слез с лошади. Струсь последовал его примеру. К ним подошли другие ротмистры и офицеры.

— Прикажите солдатам ставить палатки. Вот здесь будет главная моя квартира, — продолжал Каганский, указывая на деревянный дом, стоявший у подножия холма возле дороги. — А не худо, господа, позавтракать. Я, признаюсь, проголодался. После завтрака составим план осады. Держите наготове карту крепости.

Пан Струсь отдал приказ о завтраке. Каганский, в сопровождении офицеров, вошел в дом, где не было ни души. Жильцы разбежались. Двери были прикрыты, сундуки распахнуты. Что было возможно унести, все унесено.

— Видно, эта красавица бежала отсюда, не помня себя от страха,— сказал Струсь, поднимая концом сабли с пола шелковую фату и женский башмак, вышитый серебром.— Она все свои наряды впопыхах растеряла. А, вот и завтрак несут. Сюда, сюда ставьте, на этот большой стол. Я начну, полковник, и пью за здоровье бежавшей красавицы из ее башмачка.

— Ну, воля ваша, я из этого башмака пить не стану. Может быть, его обронила с ноги какая-нибудь старая ведьма.

— Быть не может! — возразил Струсь.— Я знаток в этом деле. Чертов хвост! Такой маленькой, хорошенькой ножки не может быть у старой ведьмы. По башмаку я вижу, что она красавица из красавиц. Милочка!

Вместе с этим нежным восклицанием он поцеловал концы сложенных своих пяти пальцев.

— Уж вы, пан Струсь, кажется, в нее влюбились?

— Почти так. Она, верно, убежала в крепость. Дьявольская бомба! Тем храбрее я буду драться при осаде, отыщу ее в крепости и возвращу ей башмаки и фату, а за это велю себя поцеловать двенадцать раз кряду... Какой удивительный соус! Это, кажется, цыплята? Наш полковой повар — лихой малый! Однако же соус не худо запить. Ваше здоровье, полковник!

После завтрака Струсь пошел осматривать все комнаты дома. В верхней светлице он увидел кровать с периной, нашел гребень на окошке и под кроватью женский чулок. Он развалился на перине и начал расчесывать гребнем свои усы.

— Что это вы, пан! — сказал Каганский, входя с несколькими офицерами в светлицу.— Вы уже спать хотите?

— Нет, полковник! Это постель моей красавицы. Здесь недавно лежала она, а теперь лежу я. Какое блаженство! Что может быть лучше войны! Воин везде гость и хозяин. Все ему позволено, все возможно.

— Возможно даже поваляться на чужой перине — удивительное счастье! Однако же не пора ли нам начать совет? Времени терять не для чего.

— Я готов,— сказал Струсь, спрыгивая с кровати.

Все спустились вниз и сели к тому самому столу, на котором перед этим завтракали, составив с него на окошко посуду и пустые бутылки.

— Вот, господа, план крепости. Войск в ней около трех тысяч. Съестных и боевых припасов не может быть много, потому что не ждали нас. Что лучше: долговременная осада или штурм?

— Штурм, непременно штурм! — воскликнул Струсь.

— А почему? Впрочем, позвольте, ротмистр, сначала высказаться младшим офицерам.

— Пусть говорят, что хотят, а я говорю — штурм!

Другие ротмистры и офицеры начали высказывать свое мнение. Струсь перебивал всех и твердил: штурм.

— Да, позвольте, ротмистр...

— Ничего не позволяю и слушать ничего не хочу. Штурм, с подкопами и с позволением солдатам воспользоваться военной добычей после взятия крепости.

— А я думаю иначе, — сказал Каганский. — Долговременная осада вернее поведет к цели и с меньшей потерей людей. Притом грабить жителей, значит, ожесточать их против нашего короля. Это было бы противно его видам.

— А долговременная осада, — возразил горячо Струсь, — противна пятьдесят третьему артикулу королевского универсала 1492 года и конституции 1598 года, известной под названием «Прусская Корректурa». В этих законах принято считать того трусом, кто предпочитает долговременную осаду штурму.

— Считать трусом? Не советую, ротмистр, повторять вами сказанного.

— Трусом, трусом!

— Вы сами, ротмистр, трус! — закричал взбешенный Каганский. — Прошу вас покинуть наш совет! Мы без вас все решим. Вы не даете никому слова сказать. Прошу вас выйти в другую комнату!

— Не угодно ли вместе с вами! Мы можем там разобратся на саблях.

— Вы вызываете меня, вашего начальника, на дуэль в военное время? Знаете ли вы, что за это определено законом? Одумайтесь и, прошу вас, идите в другую комнату, а не то...



— Хорошо, я выйду,— сказал оробевший Струсь,— но не соглашусь ни за что на долговременную осаду.

Лишь только Каганский успокоился и начал рассуждать с офицерами, Струсь отворил дверь и опять вошел в комнату. Каганский, вне себя, вскочил:

— Вы издеваетесь надо мной!

— Позвольте, полковник, не горячитесь понапрасну. Я сейчас опять выйду. А появился я здесь затем, чтобы напомнить вам и господам офицерам, что двадцать шестым пунктом сеймового постановления 1521 года предписано не считать трусом того, кто, заспорив с начальником, уступит ему и выйдет из комнаты. Я только хотел напомнить вам об этом законе, который исполняю и потому выхожу. Но, будьте уверены, что не из робости. Дьявольская бомба! Я самого черта не испугаюсь.

Сказав это, он вышел. Каганский пожал плечами, а все офицеры засмеялись.

Совет решил: обложив крепость, вступить в переговоры с осажденными. Потом, если они не сдадутся и не согласятся признать себя подданными короля, начать штурм ночью. Но в случае сильного сопротивления или неудачи отступить и начать долговременную осаду.

Все встали со своих мест. Струсь, услышав шум отодвигаемых от стола скамеек, догадался, что совет закончился, и вошел в комнату.

— Чем решено дело, полковник? — спросил он.

— Решили на долговременную осаду.

— Помилуйте!..

Он засыпал полковника пунктами сеймовых постановлений и артикулами статусов, доказывая, что должно начать дело штурмом и позволить войску воспользоваться военной добычей. Надобно вспомнить, что промотавшийся Струсь, как было уже сказано, отправился в поход со всей своей голодной дворней единственно для того, чтобы добычей поправить свое состояние и разбогатеть. Эта главная мысль произвела в нем обычный его припадок рассеянности, и он, продолжая спорить и даже угрожать полковнику, хотел выйти с видом оскорбленного достоинства из комнаты, подошел к окну, взял вместо своего шишака круглую оловянную крышку от соусника, которая имела с его шишаком некоторое сходство, и надел ее на голову. Остановившись в дверях и оборо-

тятся к Каганскому, он оперся на свою саблю и принял положение, которое воображал важным и величественным.

— Если вы после этого не убеждены...— начал он.

Каганский и все офицеры покатались со смеху — настолько Струсь был уморителен. Этот общий взрыв хохота смутил его.

— Что вы находите во мне смешного, господа? — сказал он, нахмутив брови и стараясь придать своему положению еще больше важности и достоинства.

— Посмотрите, ротмистр, что у вас на голове, — сказал Каганский.

Струсь торопливо снял свой оловянный шлем и уронил его на пол от смущения.

— Чертов хвост!

Больше он ничего сказать не мог, схватил свой настоящий шишак и убежал. Два дня нигде его не могли отыскать. На третий он явился с принужденной улыбкой на лице и чуть было не придумал артикул сеймового постановления, которым строго запрещалось в военное время находить что-нибудь смешное в металлической крышке соуслика, надетой кем-либо на голову вместо шишака.

## X

На колокольне Преображенской соборной церкви раздался звон колокола, и жители Углича собрались на площадь, которая окружала храм. На церковной паперти стоял Феодосий и держал в руке бумагу. Все смотрели на него и, в молчании, с беспокойством на лице, ожидали, что он скажет.

— Начальник неприятельского войска, — начал Феодосий, — прислал мне грамоту. Я созвал вас, дорогие сограждане, чтобы прочитать вам ее и посоветоваться с вами, что ответить ему. Вот его грамота: *«Преименитый и Богом спасаемый город Углич! Почтенному господину стрелецкому атаману Феодосию Алмазову со всеми гражданами здравствовать! Повелением великого государя Литовского, Божьей милостью короля польского, я, пан Каганский, до вас эту грамоту посылаю, чтобы уверить вас, что жителям города никакой обиды сдела-*

но не будет. Государь король, по закону христианин, городов разорять не повелевает, но сами города созидает, чтобы в них вера христианская умножалась, а не оскудевала. Он под клятвою запретил своим воинам разорять города христианские. Неужели вы, забыв страх Божий, захотите кровопролития? Король послал нас сюда не с войной. Он желает только, чтобы вы, как подданные его, присягнули ему в верности. Вам известно, что бывший царь ваш лишился престола и что царство его поручено Богом нашему королю. Если вы захотите упорствовать, то я принужден буду, против желания моего, пойти на вас. Я сам христианин, и желал бы от всего сердца избежать кровопролития и разорения города. Живите в нем спокойно, свободно исповедуя русскую веру свою, спокойно владея своим имуществом. Сдайте город добровольно, отпустите стрельцов, окажите послушание королю, какое прежде царю оказывали. Под его властью живите счастливо, моля Бога за короля, который будет награждать достойных из вас почестями и оказывать всем милость и покровительство. Если не сдадитесь, то не я дам Богу ответ за пролитие крови христианской и за гибель города: да взыщет Бог эту кровь на вас в день последнего суда!»

— Что скажете на это вы, дорогие сограждане?

Поднялся общий шум. Вся площадь заволновалась. «Не хотим короля! — кричали тысячи голосов. — Не боимся угроз его! Не верим лживым словам неприятелей! Умрем, по крестному целованию, за царя Василия Ивановича! Отстоим город святого царевича Димитрия!»

— Мы все сооружимся, Феодосий Петрович! — сказал Горов. — Что они думают, эти нечестивые литовцы! Собором и черта поборем, говорят старые люди.

Феодосий послал Каганскому краткий ответ. «Жители Углича не хотят и слушать о короле. Хоть царь наш попущением Божиим в руках ваших, но мы не изменим ему, до последней капли крови будем защищаться. Возьми крепость, если можешь, и знай, что рассыплешь ее твердые стены и башни скорее, чем поколеблешь в нас верность царю и любовь к отечеству».

Каганский собрал опять совет. Когда прочитали письмо Феодосия, пан Струсь первый закричал: «Штурм. сейчас же штурм, и никому пощады!»

— Не горячитесь так, ротмистр! — сказал полковник. — Это следует обдумать.

— Не намерены ли вы после такого оскорбления начать долговременную осаду?

— Нет. Я считаю удобнее сделать приступ к крепости ночью, и назначаю вас в передовые. Вы должны первые с сотней самых отважных взобраться на крепостной вал и там держаться. За вами и мы взойдем. Вы призадумались, кажется?

— Я призадумался! Ничуть! Берусь взойти первый. Чертов хвост! И не в таких бывал я опасностях.

— Итак, вы пойдете вперед, а вы, господа, — продолжал Каганский, обратясь к прочим офицерам, — велите готовить лестницы и все, что нужно для приступа. Вал в одном месте невысокий и защищен очень слабо. Ров засыплем фашинами. Только не надо подавать виду, что мы готовимся к приступу. Нападение должно быть начато врасплох, когда ночь наступит. Я уверен, что завтра утреннее солнце осветит уже королевское знамя на этой высокой башне, которая теперь смотрит на нас так грозно.

Евгения весь тот день была задумчива и печальна. Лидия несколько раз принималась плакать. Феодосий шутил и старался их ободрить. Он беспрерывно уходил на стены и часто посылал туда Иллариона. Перед наступлением ночи они оба воротились в дом.

— Я думаю, вам и сон на ум не идет? — спросил Феодосий, улыбаясь, Евгению и Лидию.

— Какой теперь сон! — отвечала последняя. — Я всю ночь спать не буду.

— И очень плохо сделаешь. Мы с Илларионом сейчас уходим в свою комнату и уснем богатырским сном. Советовал бы и вам последовать нашему примеру. На стенах расставлена стража: бояться совершенно нечего. Если вы даже услышите несколько выстрелов, то, ради Бога, не пугайтесь. Ночью нарочно наши будут стрелять, чтобы неприятель видел, что мы готовы их встретить. Они не осмелятся и на версту подъехать к крепости. Да и мы с Илларионом будем недалеко от вас, всего через две комнаты. Желаю вам спокойной ночи... Пойдем, Илларион! Смотрите же, прошу не трусить и не трево-

жить нас по-пустому. Мы оба ужас как устали, и нам нужен отдых.

— Как ты думаешь, сестрица,— сказала Лидия, когда Феодосий и Илларион вышли из комнаты,— спать нам или нет?

— Как хочешь, Лидия.

— Кажется, бояться нечего? Феодосий не стал бы спать, если бы была какая-нибудь опасность. У меня, признаюсь, глаза так и слидаются.

— Помолимся Богу и ляжем,— сказала Евгения.— Я вряд ли усну. Тем спокойнее ты можешь спать.

— Только раздеваться не надо, сестрица,— прибавила Лидия,— вдруг придется бежать.

— Куда же мы убежим, Лидия?

— Куда-нибудь. Боже мой, Боже мой! В самом деле, бежать некуда: крепость окружена со всех сторон. За что нас эти проклятые так мучают? Что мы им сделали? Ах, как мне плакать хочется!

— Полно, Лидия, положиись на Бога. Он защитит нас. Слышишь ли, какая тишина во всем городе. Чего ты боишься? Я ложусь, Лидия.

— Я возле тебя лягу: мне не так страшно будет.

Она положила голову на пуховую подушку, обняла сестру и вскоре заснула глубоким сном. Щеки ее разгорелись, дыхание полуоткрытых губ было прерывисто и часто. И сон не мог прекратить ее душевной тревоги. Евгения, облокотясь одной рукой на изголовье, смотрела на Лидию,— и крупные слезы иногда падали с длинных ресниц девушки. Невольно глаза ее поднялись к небу, и она начала молиться.

— Кажется, они уснули,— сказал шепотом голос за дверью.— Пойдем скорее!

Послышался легкий шелест шагов, и вскоре все затихло. Это нисколько не смутило Евгению. Она знала, что это будет, и давно уже догадалась, что Феодосий с Илларионом проведут ночь на стенах крепости. Тяжелый вздох вырвался из ее груди. Не смыкая глаз, глядела она в окно, которое находилось прямо против ее кровати. Сквозь стекла видно было одно небо, черное, как дно бездны; его обложили густые черные тучи. Прошло около часа, тучи стали редеть, раздвигаться, и в окне Евгении заиграла одна звезда своими алмазными лучами.

Евгения засмотрелась на нее. «Звездочка, звездочка! — подумала она. — Высоко ты катишься на небе, далека ты, безопасна от горя и бед Земли! Как бы желала я улететь к тебе, утонуть в твоих лучах сияющих. Не на тебе ли скрывается счастье, спокойствие, которых мы, бедные жители Земли, всю жизнь напрасно ищем? Но к чему роптать? Тот, кто создал эту небесную звезду, создал и меня. Без воли его не упадет она с неба; без воли его не упадет волос с головы моей. О! Какую неизъяснимую радость, какое непонятное спокойствие пролила ты мне в сердце, звездочка! Мне кажется, лучи твои приносят на землю что-то небесное и на неведомом, таинственном языке шепчут нам: «Дети Земли! Любите Творца, любите друг друга!»

Вдруг по тучам, клубившимся около звезды, пробежал красный блеск, похожий на зарницу, и через несколько мгновений грянул пушечный выстрел.

— Боже мой! — закричала Лидия в испуге, быстро приподнялась с подушки и упала в объятия сестры.

— Успокойся, милая, ты разве забыла, что говорил Феодосий: это наши стреляют.

Лидия дрожала и прижалась лицом к плечу Евгении. Раздался другой выстрел, третий; стреляют все чаще, все громче. Загрохотала ружейная пальба. Послышался отдаленный, смутный шум, крик, восклицания.

Лидия вскочила с кровати и бросилась в комнату Феодосия. Вскоре прибежала она назад, ломая руки

— Их там нет, они ушли! — восклицала она. — Мы здесь одни с тобой! Что нам делать?

— Молиться.

— Я не могу молиться, Евгения. Ах, душенька моя, спрячемся куда-нибудь, убежим!

— Чего ты боишься, Лидия? Феодосий ведь успокоил нас.

— Нет, нет! Я знаю, что это стреляют неприятели, что началась битва. Слышишь ли, как кричат, как стонут раненые?

— Тебе все это чудится.

— Я побегу к Феодосию, пусть он защитит нас.

Сказав это, она бросилась из комнаты.

— Куда, куда, Лидия?

Евгения поневоле должна была бежать вслед за ней. Они сошли с крыльца на площадь.

— Куда это вы собрались? — спросил Горов, остановившись перед ними.

— Ах, Алексей Матвеевич! — взмолилась Лидия, — защитите, спасите нас!

— Не бойтесь, матушка, Бог милостив! Наши отобьют окайнных. Стрельба — похвальба, а борьба — хвастанье, говорят старые люди. Видно, они, проклятые, хотели, было, подъехать врасплох, да нет, Феодосия-то Петровича не проведешь! Старого воробья на мякине не обманешь, говорят старые люди. Он их знатно принял, голубчиков!

— А если они одолеют!

— Вот уж и одолеют! Признаться, и я, как пушки загрохотали, трухнул немножко сначала, вскочил с кровати и вооружился на всякий случай, как видите. Только грех со мной случился. Выбежал я на улицу, чтобы идти к стрельцам на подмогу, гляжу: за кушаком у меня сабля, а вместо пицали в руке кочерга! В комнате-то, изволите видеть, было темновато, так, видно, я впопыхах и схватил кочергу. Не знаю, как она, проклятая, мне под руку попала. Метил в сыча, а попал в грача, говорят старые люди. Хотел, было, сейчас воротиться домой за пицалью, да вот с вами повстречался. А впрочем, нет нужды. Я и кочергой двух-трех поляков зашибу, если дойдет до драки. Да куда же это вы идти изволите?

— Ах, как стреляют! Куда бы нам убежать, Алексей Матвеевич? —

— Да куда убежишь, матушка? Кругом все враги. Под землею не спрячешься. Не угодно ли разве вам с сестрицей ко мне пожаловать?

— Мне кажется, нам не так было бы страшно, если бы мы могли видеть сражение, — сказала Евгения.

— Это правда, матушка. Мне бы и самому взглянуть хотелось, что делают наши. Да откуда увидишь? Разве что взобраться на башню?

— Пойдем, пойдем на башню! — вскричала Лидия. — Там, кажется, всего безопаснее: она такая высокая. Я думаю, ядро или пуля не может долететь до ее верха, Алексей Матвеевич?

— Ну, матушка...

— А что, разве может долететь?

— Где долететь! Не долетит. Пойдем туда, если угодно.

— А не может расшибить башни ядро? Скажите правду, Алексей Матвеевич.

— Куда расшибить! Не расшибет.

Они взошли на ту самую башню, где Лидия еще недавно готовила завтрак с Сидоровной. В это время на прояснившемся востоке появилась заря и осветила поле битвы. Лидия и Евгения подошли к окну, Горов к другому.

— Мне теперь не страшно,— говорила Лидия, тихонько пятясь от окошка.— Я думала, что ужас возьмет, когда взглянешь на сражение, но, кроме дыма, я ничего пока не вижу.

— Да под дымом-то что, матушка! — заметил Горов, вздохнув.

— А вон там на стене Феодосий! Точно он! — вскричала в восторге Евгения.

— А где-то Илларион? — добавила Лидия, печально покачав головой.

— А вон, матушка! Извольте видеть, саблей-то помахивает.

— Ура! — раздалось вдали.

— Что это кричат? — спросила Лидия, в испуге отскочив от окошка.

— А это, матушка, значит, что наша взяла. Слава Тебе, Создателю!

Евгения и Лидия упали на колени и, сложив руки, подняли глаза к небу.

Пан Струсь сдержал свое слово. В то время, как в разных местах кипело сражение, ему удалось первому, после множества усилий, взойти на вал. За ним вскарабкались несколько десятков польских удалцов. Они овладели двумя пушками и повернули уже их, направив во внутренность крепости. Но Феодосий, увидев опасность, подоспел с отрядом стрельцов. Завязалась жестокая битва. Вскоре вал был очищен. Феодосий, узнав Струсю, пощадил его; он только вышиб у него из рук саблю и столкнул с вала, который был довольно отлог. Пан покатился, как кубик, и был остановлен в падении уступом вала.



— Чертов хвост! — воскликнул он, хрюхтя и поднимаясь на ноги.

Уступ был узок. Пан, оступившись, покатился снова и попал в ров.

— Дьявольская бомба! — проворчал он, вытаскивая руки и ноги из снега.

Между тем били уже отбой. Осажденные сделали сильную вылазку, и поляки отступали. Пан Струсь, видя толпу бегущих, выскочил из рва с легкостью неимоверною и пустился по полю такой рысью, что первый королевский скороход, глядя на него, повесился бы от зависти.

## XI

Прошло несколько недель. Полковник Каганский не предпринимал ничего важного, щадя жизнь солдат и надеясь переговорами склонить Феодосия к сдаче крепости. Именем короля он обещал ему за то богатую награду. Нужно ли говорить, что тот с негодованием отверг его предложение.

— Без штурма дело не обойдется, — говорил пан Струсь. — Я давно это твержу. Да и вольно вам, полковник, поручать переговоры людям, которые вовсе к тому не способны.

— Попробуйте вы, ротмистр, переговорить с начальником крепости, — сказал Каганский. — Посмотрим на ваше искусство!

— Пускай пан Струсь докажет свое убедительное красноречие, — промолвили насмешливо прочие офицеры.

— А что вы думаете, господа, не докажу, что ли? Дьявольская бомба! Конечно, не могу ручаться наверное за успех, однако же...

— Я вам очень буду благодарен, ротмистр, — сказал Каганский. — Уполюмочиваю вас вступить в переговоры на известных уже вам основаниях.

— Извольте! Сейчас же отправляюсь. Теперь утро, надеюсь, что к обеду мы будем в крепости праздновать ее сдачу.

Струсь, в сопровождении трубача, подъехал к крепостным воротам и, после обычных знаков, был впущен в Углич.

Войдя в дом Феодосия, Струсь в первой комнате встретил Лидию и так был поражен ее красотой, что едва не вскрикнул от удивления и удовольствия. Лидия, увидев его, испугалась и хотела убежать, но, ободренная учтивым, низким поклоном Струся, остановилась и спросила: кого ему надобно?

— Мне нужно говорить с начальником крепости,— сказал Струсь не совсем чисто по-русски.— Я прислан к нему с важным поручением от полковника Каганского.

— Не угодно ли вам подождать его здесь? Я сейчас его позову.

Лидия вбежала в комнату, где был Феодосий. Сидя у окна, он видел, когда Струсь подъехал к крыльцу. Илларион и Евгения ходили по комнате и разговаривали.

— Тебя спрашивает какой-то поляк, присланный Каганским,— сказала Лидия Феодосию.— Ему нужно говорить с тобой о важном деле.

— Без сомнения, опять дружеские предложения,— заметил Илларион.— Это добрый знак! Видно, они убедились, что взять крепость трудно.

— Это приехал пан Струсь. Я его знаю,— сказал Феодосий.— Мне не о чем с ним говорить. Я не вступлю ни в какие переговоры, пока они не отступят от крепости. Скажи ему это, Лидия.

— А если он хочет сказать тебе что-нибудь хорошее? Мне страх хочется узнать, зачем он приехал. Это очень любопытно. Очевидно, что они трусят, когда так часто к тебе забегать начали.

— Пожалуй, поговори с ним, если тебя любопытство мучит. Уполномочиваю тебя кончить с ним дело, как тебе вздумается. Согласись, пожалуй, и на сдачу крепости, но с тем условием, чтобы вы оба прежде принудили меня сдать вам ее. Ну, поди же, начинай с ним переговоры.

— А ты думаешь, что я боюсь его? Совсем не боюсь! Он такой учтивый. Пойду, скажу ему твой ответ и спрошу, зачем он приехал.

Лидия вышла опять к Струсю.

— Начальник крепости не может принять вас,— сказала она.— Он поручил мне переговорить с вами.

— За эту насмешку!..— вскричал Струсь, вскочив со скамьи и обнажив до половины саблю.

Лидия перепугалась, хотела бежать, но Струсь взял ее за руку.

— Ну рубите, рубите мне голову, если вам не стыдно! — сказала она по-польски плачевным голосом. — Не много вам будет чести убить беззащитную девушку.

— Что слышу! — вскрикнул Струсь. — Русская красавица умеет говорить по-польски!

— Умею, к вашему сведению.

— Падаю к ногам вашим! Язык наш в устах прекрасной девушки сладкозвучнее гармонии небесной! Прошу вас, панна, успокойтесь, сядьте и сделайте одолжение, поговорите со мной на родном языке. Какая приятная неожиданность!

Они сели у окна. Струсь расспросил Лидию, где она научилась польскому языку, как зовут ее, сколько ей лет, одним словом, засыпал ее вопросами. Ответы Лидии восхитили, обворожили Струся. Ему показалось, что он никогда еще так не влюблялся. — Непременно предложу ей руку, — думал он, любясь каждым взглядом девушки, каждым ее движением. Он так размышлялся, что совсем позабыл, где он находится и с каким послан поручением. На него нашел жестокий припадок его рассеянности.

Феодосий, Илларион и Евгения, удивляясь, что переговоры длятся уже более часа, подошли неслышно к двери комнаты, и, вслушавшись в разговор пана Струся и Лидии, расхохотались.

— Вы говорите, что весело жили в Польше? — спрашивал Струсь. — Не откажетесь снова туда отправиться?

— Не знаю, что вам отвечать на это. Может быть, мне от того было весело, что я была моложе.

— А теперь вы разве состарились, панна? Я обрублю тому уши, кто это подумать осмелится! Что же вам особенно нравилось в Польше?

— Мазурка.

— Мазурка! О, в самом деле, бесподобный танец!

— Вы, верно, ее прекрасно танцуете, пан?

— Не дурно.

В это время тонкий слух Лидии помог ей услышать за дверью смех Иллариона и Феодосия, несмотря на то, что они старались смеяться как можно тише. Это поощрило ее. Заметив, что пан Струсь от нее без ума, она решила позабавиться над ним для собственного удо-

вольствия и для возбуждения большего смеха в скрытых за дверью свидетелях ее проказ.

— Я так давно не танцевала мазурку, — сказала она печально. — Я думаю, совсем позабыла ее. Исполните ли вы, пан, мою просьбу?

— Просьбу? Вы не можете иметь до меня просьб, а имеете право давать мне одни приказания. Для вас, панна, я готов на все!

— Протанцуйте со мной мазурку, — сказала Лидия, встав со скамьи и подавая Струсь свою хорошенькую ручку.

Струсь усмехнулся.

— Нет ли кого здесь? — спросил он, рассеянно осматриваясь.

— Никого нет, мы одни. Что же? Вы не хотите доставить мне удовольствие? Или, может быть, вы не так-то ловко танцуете? Признайтесь.

— Я неловко танцую! Вы это сейчас увидите. Позвольте только снять саблю.

Пан, взяв Лидию за руку, встал в молодецкую позицию, расправил усы, начал насвистывать мазурку, щелкнул каблуками, притопнул, загремел шпорами — и пошел, и пошел! То перебрасывал он Лидию с руки на руку, то, обхватив ее стройный стан, кружил ее, приседая чуть не до полу, то бросался на колено, обводил танцующую Лидию около себя и, нежно глядя на нее, был вне себя. Пол дрожал от его топая.

Сопровождавший пана трубач дожидался его в сенях. Услышав шум, он осторожно подошел к двери, немного растворил ее, высунул свое лицо и обомлел от удивления, увидев, с каким неистовством ротмистр, посланный для переговоров, выплясывал мазурку!

— Не помешался ли пан? — сказал он про себя. — Что с ним случилось?

Струсь, увидев выпученные глаза, поднятые брови и разинутый рот трубача, вдруг остановился, недоделав самое отчаянное па.

— Что тебе надобно, Гржимайло? Откуда ты взялся? — спросил он с досадой.

— Это вы, пан?

— Конечно, я! Что за глупый вопрос? Убирайся к черту! Откуда ты мог здесь взяться?

— Как — откуда взяться! Я с вами приехал, пан, для переговоров.

— Дьявольская бомба! — закричал Струсь, ударив себя ладонью по лбу. — Совершенно забыл! Во всем этом виноваты вы, обворожительная панна. Слушай, Гржимайло! Если ты заикнешься, пикнешь в лагере о том, что ты здесь видел, то не быть тебе живому: я тебя изрублю!

— Слушаю, пан.

— Убирайся на свое место. Видите ли, панна, вы меня совсем с ума свели. Но вы устали, кажется, сядьте.

Он подвел Лидию к скамейке, взял потом свою саблю и надел на себя.

— Это, кажется, дом начальника крепости? — продолжал он.

— Так точно.

— Где же хозяин дома?

— Я уже сказала вам, что он не хочет вступать в переговоры.

— Не хочет!.. Он в этом раскается: скажите ему это от меня. Вы, кажется, сестра его?

— Да, сестра.

— Скажите ему, что мы возьмем крепость штурмом... что мы не оставим в Угличе камня на камне...

— Какой вы злой, пан.

— И это вы так спокойно слушаете?

— Я уверена, что вы не исполните вашей угрозы: вы так добры и любезны. Еще скажу вам, между нами, что крепость взять невозможно.

— Кто вам это сказал? Нет на свете крепости, которая бы против нас устояла.

— Мой брат говорит, что вы напрасно будете хлопотать около Углича.

— Увидим!.. Повторяю, что он раскается в своем упорстве. Я уверен, впрочем, что он сам давно уже отчаялся в спасении крепости и притворяется спокойным, чтобы не устроить вас.

— Быть не может. Он никогда не притворяется. Не стыдно ли вам, пан, так пугать меня?

— Вам опасаться нечего: я вас беру под свою защиту.

— Благодарю вас. Но, кажется, в вашей защите мне не будет нужды.

— Я возьму вас в плен, панна. К стыду моему, должен признаться, что вы уже прежде меня взяли в плен. Вы это, без сомнения, заметили, должны были заметить. Я увезу вас в Польшу, отведу вам в моем замке лучшие комнаты, буду слугою, рабом моей пленницы... буду угождать вам, веселить вас, исполнять все приказания, все прихоти ваши, и если сердце моей пленницы еще свободно, если мое нежное внимание успеет тронуть ее — я буду счастливейшим человеком в мире! Я холост, знатен, богат. Множество красавиц льстили надеждой завлечь меня в свои сети, но до сих пор сердце мое сохраняло независимость; до сих пор я жил только для войны и для славы. Пора успокоиться, пора подумать о семейном счастье. До свидания, моя прелестная пленница!

— Пока я еще свободна, а вы... мой пленник. Если я вам в самом деле нравлюсь, если вы точно хотите исполнять все мои желания, то докажите искренность всех уверений ваших исполнением моей первой просьбы.

— Приказывайте, повелевайте, панна.

— Отступите от Углича и уйдите от него подальше.

— Как мило вы шутить умеете, панна! Нет, нет, участь Углича решена: берем его штурмом, и вы — моя пленница! Скажите, однако же, начальник крепости решительно не хочет переговоров?

— Решительно не хочет.

— Хорошо! Прощаюсь с вами. Прошу вас ничего не опасаться: вы под моей защитой. Никто из наших не прикоснется и к краю вашего платья.

— Я уверена в этом, потому что вы не возьмете Углич.

— Позвольте, панна, мне оставить вам что-нибудь на память.

Струсь в это время вспомнил о фате и башмаке, которые он нашел в загородном доме, где Кагаиский назначил свою главную квартиру. Ему пришла мысль: не Лидия ли потеряла эти вещи? Когда он пил из найденного башмака за здоровье неизвестной красавицы, которую он хотел непременно отыскать в Угличе, то в голове его составилась идеал красоты. Лидия так близко подошла к этому идеалу, что Струсь, вспомнив о фате и башмаке, тотчас решил: это она, непременно она! Желая увериться в справедливости блеснувшей мысли, он спросил Лидию:

— Не потеряли ли вы чего-нибудь за городом?

Лидия удивилась такому вопросу. Когда-то, гуляя по берегу Волги, она потеряла платок. Вспомнив об этом, она отвечала Струсю:

— Я потеряла платок.

— А еще что?

— Более ничего.

— Понимаю ваше смущение, понимаю, что стыдливость мешает вам признаться в потере еще кое-чего. Я нашел обе ваши вещи, предугадал по ним вашу чудесную красоту и дал себе слово отыскать вас здесь, в Угличе. Изрядно же мы вас перепугали; сознайтесь, что, услышав о нашем приближении, вы с ужасом бежали из вашего загородного дома? Иначе вы не обронили бы той вещи, в потере которой вы стыдитесь признаться.

— Я не понимаю вас, пан.

— Не краснейте, панна! Вы не мужчина. Робость прилична красавицам. Вот ваши вещи. Я их всегда носил с собой, здесь, на груди моей. Вот ваш платок, вот башмачок с вашей прелестной ножки. Из этого башмачка я пил за ваше здоровье в виду целого лагеря, и тогда уже объявил себя наперед вашим пленником.

Лидия расхохоталась.

— Помилуйте, пан! Я потеряла полотняный платок прошлого года, а вы мне отдаете шелковую фату и башмак. Фату носят здесь одни женщины, а я еще, слава богу, не замужем. И башмаков, будьте уверены, я никогда еще не теряла. С чего это все пришло вам в голову?

— Стало быть, это недоразумение,— сказал Струсь, смутясь.— Впрочем, позвольте оставить вам на память мои обе находки. Не возражайте мне. Вы не принудите меня взять их назад. Они будут талисманом, который предохранит вас от всякой опасности во время штурма. Если я вас вдруг не отыщу после взятия крепости, то покажите мой подарок кому хотите из наших воинов: вам все окажут такое же уважение, как королеве, и тотчас же проводят вас, в полной безопасности, ко мне. Но я уверен, что я первый отыщу вас. До свидания, несравненная панна!

Поцеловав руку Лидии, Струсь удалился.

— Что за сумасшедший! — сказала Лидия вполголоса, глядя ему вслед. Она улыбнулась и побежала в другую комнату.

— Поздравляю с женихом и с подарком! — сказала Евгения, смеясь и обнимая вбежавшую сестру.

У Иллариона и Феодосия были слезы на глазах... от хохота.

## XII

Наступило Вербное Воскресенье. Жители Углича, после обедни разойдясь по домам, готовились сесть за стол. Вдруг раздался звук колокола.

— Что это значит? — удивлению сказал Горов, находившийся в этот момент в доме Феодосия.

— Кажется, звонят на колокольне Преображенского собора, — заметил Илларион. — Не пойти ли нам на площадь?

— Звон в такое необычное время! — сказал Феодосий. — Надобно тотчас же узнать, что это такое?

Все трое пошли к собору. Евгения и Лидия хотели также идти с ними, но Феодосий не пустил их.

— Лучше вы похлопочите об обеде, — сказал он. — Мы сейчас вернемся, и вы все узнаете. Я вижу, что вы уже испугались. Всего вы боитесь!

На площади толпился народ. Все спешили войти в Преображенскую церковь и теснились у входа.

Феодосий с Илларионом и Горовым вошел в собор и увидел на амвоне, посреди церкви, монаха. Он стоял с опущенной головой, со сложенными на груди руками. Седая борода его лежала на груди.

— Кто этот чернец, откуда, зачем он собрал народ в церковь? — спрашивали все друг у друга шепотом.

— Этого старца я знаю, — сказал Горов Феодосию. — Он из Николина монастыря, который прозывается Песочным. Благочестивый старик! Ему уже лет восемьдесят от роду.

Старец поднял голову, окинул глазами народ, теснившийся в церкви, и сказал:

— Православные христиане! Сегодня в полночь молился я в уединении об избавлении города от врагов. Молился я долго и усердно. Слезы текли из глаз моих. И вдруг, стоя на коленях, пришел я в какое-то оцепенение. Мысли мои стали путаться, в глазах начало темнеть, как будто сон овладел мною, но я чувствовал, что не сплю. Сердце мое билось непонятным благоговением и ужа-



сом. И увидел я пред собой прекрасного юношу в белой одежде.

— О чем плачешь ты? — спросил он меня. — Иди в Углич и извести жителей, что добрая пшеница уже созрела и вскоре собрана будет в небесную житницу.

Пораженный видением, я встал, оглянулся по сторонам, но юноша исчез. Я пришел, православные христиане, рассказать вам о моем видении. Забудьте вражду, очистите сердца, будьте готовы. Отсюда нет уже вам дороги в мир: один путь вам остается — путь из этого мира. Смерть со своими легионами окружила Углич. Не жорбите и не ужасайтесь. Не окружают ли легионы смерти всех жителей земли так же, как и город наш? Блаженны те, которые помнят час последний!.. Вооружитесь щитом веры, надежды и любви, — и вы навсегда спасетесь от смерти в область жизни.

Старец сошел с амвона и удалился из церкви. Речь его поразила слушателей. В глубоком унынии все разошлись по домам. В тот же день пронесся по городу слух, что старик, говоривший в церкви, возвратясь в келью, через несколько часов умер тихо и спокойно. Это известие еще больше изумило угличан. Всю Страстную неделю они готовились к смерти.

Раздалось в храмах пение: «Христос воскрес!» и сердца при этих радостных, торжественных звуках вновь забились надеждой.

Феодосий не унывал и неусыпно заботился о защите крепости. Поляки стояли спокойно в лагере, изредка перестреливаясь с осажденными. Лед прошел по Волге, и воды ее начали постепенно возвышаться. С луговой стороны прибыл гонец, переехал реку ночью и впущен был в крепость через подземный ход. Он привез известие, что несколько полков, преданных царю Василию, собрались около Ярославля и спешат к Угличу.

Все радовались, поздравляя друг друга.

Наступила ночь. Все жители спали. Вдруг, около полуночи, раздался набат. Феодосий в это время обходил с Илларионом крепостные стены. Сотник Иванов прибежал к ним, запыхавшись.

— Измена! — кричал он. — Пятьсот стрельцов подались на сторону ляхов и впустили их в крепость.

— К оружию! К оружию, братья! — закричал Феодосий, выхватив саблю. — Бейте тревогу, собирайтесь

все на площадь, становитесь в ряды: там встретим врагов! А ты, Илларион, беги в дом наш и приведи скорее Евгению и Лидию на Преображенскую колокольню: там они будут в безопасности от выстрелов. Я окружу колокольню рядами самых храбрых стрельцов. Не уходи от бедных сестер, ободряй их, скажи, уверь, что они будут спасены. Возьми с собою несколько стрельцов и поставь их к пушке, которую я недавно велел поднять на колокольню. Прощай, Илларион!

Жители Углича, разбуженные стрельбой, набатом, криками сражающихся, вскочили в ужасе, хватали оружие и выбегали из домов. Поляки, как истребительная лава, разливались по крепости. Поток остановился, встретив оплот на площади — твердый ряд стрельцов. Закипела жестокая битва.

Илларион успел провести Евгению и Лидию в верхний ярус колокольни. К ним присоединился Горов с огромной пищалью в руке.

— Наказанье Божье! — восклицал он горестно. — Не ад ли кипит под нами? Сердце все изнылось от ужаса!

Пожар пылал в предместьях Углича. Уже и в крепости многие здания были охвачены огнем.

Евгения и Лидия, освещенные заревом, сидели на разостланной епанче Иллариона, прислонившись к стене. Бледные, молчаливые, они смотрели то на Иллариона, то на Горова, как будто прося защитить их. По временам Лидия, опуская лицо в ладони, рыдала. Евгения была тверже и спокойнее. Илларион старался ободрить и утешить обеих.

Настало утро, а битва еще не прекращалась. С восходом солнца закипела она еще яростнее. Ряды стрельцов на площади заметно редели и колебались; вооруженные жители подкрепляли их.

Феодосий, видя малочисленность войска и усиливавшийся с каждой минутой натиск неприятеля, велел остаткам стрельцов и вооруженных жителей отступать и постепенно входить в Преображенский собор, на колокольню и в каменный дворец царевича Димитрия.

— Это наши будут три крепости, — сказал он. — Не сдадим их до последней крайности. Завалите двери бревнами и камнями!

Приказание его исполнили. Он сам взбежал на колокольню и наложил фитиль на орудие. Грянул выстрел.

Стрельцы, из всех окон колокольни выставив ружья, начали пальбу. Все здание задышало огнем и дымом. Из дворца царевича Дмитрия с грохотом сыпался свинцовый дождь. На Преображенском соборе утреннее солнце ярко осветило золотой крест. В то же время из всех окон выстрелы свили около храма венец из молний и дыма. Вся церковь сверкала, гремела и дымилась. Казалось, храм Божий вступил в бой за православную Россию.

Перекрестный, жестокий огонь, направленный из окон на паперть церкви, уничтожал усилия поляков выломать дверь храма. Они поставили наконец пушку на площади, направили на эту дверь и начали стрелять. Ядро за ядром, раздробляя железо и дерево, вырывали ряды-из теснившегося в церкви народа.

Наконец дверь разлетелась, толпы врагов хлынули в церковь, и в доме молитвы раздались яростные крики, началась сеча. Кровь лилась ручьями через церковный порог.

Во дворец царевича Дмитрия также вломились враги. Оставалась одна колокольня. Вход в нее завален был с внутренней стороны камнями и обрубками бревен, с внешней грудями убитых. Все усилия поляков обратились на эту грозную колокольню, которая, как непобедимый великан, стояла посреди врагов, сея смерть в их рядах.

— Огня, огня! — раздалось в рядах неприятеля. — Зажжем колокольню!

Феодосий услышал эти крики. От орудия, у которого стоял, взбежал он в верхний ярус, где находились Евгения и Лидия.

— Нас скоро убьют? — закричала Лидия, ломая руки. — Ах, поскорей бы нас убили! Не правда ли, Феодосий, все уже погибло, и нам спастись невозможно?

— Нет, Лидия, я спасу вас. Ободришь, Евгения! Пока не взята колокольня, мы еще не побеждены.

Он подошел к окну и взглянул на Волгу. В это время вдали появились русские знамена. Полки от Ярославля спешили на помощь Угличу.

— Слава Богу! — воскликнул Феодосий, указывая вдаль. — Помощь!

— Слава тебе, Создатель! — закричал Горюх и бросился на колени.

— Пойдем, Евгения, пойдем скорее, Лидия! — продолжал Феодосий. — Я вас проведу на берег Волги. Вы переедете реку, Илларион укроет вас в безопасном месте.

— Куда идти нам? — спросила Евгения. — Нам, кажется, один остался свободный путь... туда!

Она указала на небо.

— За мной, за мной! — вскричал Феодосий. — Время дорого.

Он повел их вниз, по лестнице. Проходя мимо пушки, Феодосий сказал сотнику Иванову, который заряжал ее, и стрельцам, стрелявшим в окна:

— Я сейчас буду к вам, друзья! Не унывайте! Отстаивайте колокольню. К нам идет помощь.

Он спустился до самого основания колокольни, поднял потайную дверь, зажег факел и вошел в подземный ход. Евгения и Лидия, поддерживаемые Илларионом и Горовым, последовали за ним. Долго шли они по узкому ходу, под низким, остроконечным сводом, и приблизились, наконец, к железной решетчатой двери. Сквозь нее видны были густые кустарники, а за ними мелькали струи Волги.

Он отпер дверь и подвел всех к небольшой лодке, скрытой под нависшими над водой кустарниками.

— Садитесь и плывите с Богом! — сказал он. — Прощайте! Прощай, Евгения!.. Прощай, Лидия!.. Илларион, поручаю их тебе.

Смертельная бледность покрыла лицо Евгении.

— А ты.. не едешь с нами? — спросила она, задыхаясь.

— Я должен, я обязан воротиться. Без меня, может быть, не отстоять колокольни. Я велел товарищам моим ее отстаивать до последней крайности, пока не подоспешет помощь. Что скажет мне совесть, если я не возвращусь к ним по обещанию, и они одни погибнут? Нет! Я разделю судьбу их. Там, вместе с ними, найду смерть или победу. Вспомни, что все кругом во власти поляков. На одной колокольне сражаются еще русские за свою независимость, за царя своего. Прощай, Евгения!

— Возьми и меня с собой! — вскричала она в беспомощности, бросаясь в объятия Феодосия. — Без тебя что мне в жизни! О, если бы ты знал, как я люблю тебя, Феодосий! Нет! Полно уже мне скрываться! Полно се-

бя обманывать! Спасайся с нами, Феодосий, или сжался надо мной! Возьми меня с собой!

Феодосий затрепетал и прижал Евгению к сердцу. Лидия рыдала. Пораженный Илларион стоял, бледный и неподвижный, едва переводя дыхание. Горюк вздыхал, смотрел на всех попеременно и утирал рукавом слезы.

— Что ты сказала, Евгения? — проговорил дрожащим голосом Феодосий. — Вспомни, что ты невеста моего брата. Ты убьешь его! Нет, нет, я иду! Прощай!

Буря кипела в сердце Иллариона. Он не понимал, не чувствовал себя, как оглушенный громом. Вдруг, собрав все силы души, он подошел к Евгении, взял ее ласково за руку и сказал:

— Я не виню тебя, моя милая! Сердцем владеть невозможно. Возвращаю тебе клятву твою. Будь счастлива с Феодосием! Брат, любезный брат! Люби ее!..

Слезы прервали его голос.

— Прости меня, Илларион! — вскричала Евгения, бросаясь к его ногам.

— Встань, встань, Евгения! — сказал Илларион, поднимая ее. — Я не виню тебя... Позволь, брат, мне вместо тебя идти на колокольню.

Он подошел к двери.

— Нет, Илларион! Ни за что!.. — воскликнул Феодосий, схватив его за руку. — Время проходит. Может быть, там, без меня, гибнут мои товарищи. И там... и здесь!.. — продолжал он, взглянув на Евгению, которая лежала без чувств в объятиях Лидии. — О! Как рвется мое сердце! На битву! На битву! Прощайте!.. Прощай, моя Евгения!

Он поцеловал ее, побежал и захлопнул за собой железную дверь.

Евгения была в обмороке. Илларион и Горюк внесли ее в лодку и посадили подле Лидии. Она обняла сестру и положила ее голову на плечо свое. Лодка поплыла.

Лидия несколько раз брызнула водой в лицо Евгении. Она открыла томные глаза, и первый взгляд ее устремился на колокольню. Та по-прежнему дымилась и горела. Между тем, собор Преображенский и дворец царевича Димитрия, зажженные врагами, пылали. Пожар быстро разливался по всему Угличу.

— Загорается! Загорается! — вскричал через несколько минут Горов, всплеснув руками, и указал на колокольню. — Боже мой! — прибавил он вполголоса, увидев, что из окна колокольни Феодосий, направлявший пушку, взглянул на Волгу, отыскал взором удаляющуюся лодку, снял с черных кудрей своих бархатную шапку и махал ею в знак последнего прощания. Вскоре грянул залп, белое облако порохового дыма скрыло всю колокольню. Когда оно пронеслось, то пламя уже охватило ее деревянные лестницы и стропила. Выстрелы с нее редели и вскоре замолкли. Из всех окон и с ее вершины клубился густой, черный дым и вылетало струями пламя.

Евгения не спускала глаз с колокольни.

— Он погиб, Лидия! — сказала она трепетным голосом и, закрыв лицо руками, приникла к плечу сестры.

В это время раздалось несколько ружейных выстрелов с берега. Евгения вдруг вскрикнула, вострепнувшись, и застонала.

— Боже мой! Кровь! — воскликнула отчаянным голосом Лидия. — Сестрица моя! Тебя ранили?

Ответа не было.

Держа сестру в объятиях, она тихо положила ее поникшую голову на свои колени, устремила взор на ее неподвижные глаза и в оцепенении ждала, искала на лице ее признаки жизни. Напрасно!.. Лидия зарыдала. Слезы ее капали на тихое, спокойное лицо Евгении, покрытое смертельной бледностью.

Илларион пустил лодку по течению Волги, гребя изо всех сил. Он не понимал, что делает, не знал, куда спешит. В диких взглядах его ярко выражалось отчаяние.

— Утешьтесь, матушка! — сказал Горов Лидии, крепя сердце и удерживая слезы. — Они оба теперь там, — продолжал он, указывая на небо. — Ей-Богу, матушка, там лучше, чем здесь!

Россия гибла, но Бог не судил ей погибнуть. Раздался в Нижнем Новгороде голос простого гражданина, и отозвались на него верные сыны отечества во всех концах государства. Запылала Москва! Запылали сердца русские!.. Воспряло знамя Пожарского, собралось войско — и победа полетела по следам его. Свергнув иго иноплемеников, Россия восстала и, свободная, избрала себе царя по сердцу. Памятен для русских день: двад-

пять первое февраля 1613 года. С этого дня началась новая жизнь нашего отечества.

Когда в Москве праздновали вступление на престол избранного царя Михаила, Горов встретил на Красной площади стрелецкого голову с молодой, прекрасной женой.

У стрельца была подвязана рука, раненная при отбитии Кремля у поляков.

Всмотревшись, Горов узнал эту чету и с радостными слезами бросился обнимать своего знакомого. Счастье отражалось яркими чертами в темно-голубых глазах стрельца и в прелестных, черных глазках молодой жены его.

Вероятно, и читатели узнали эту счастливую пару.



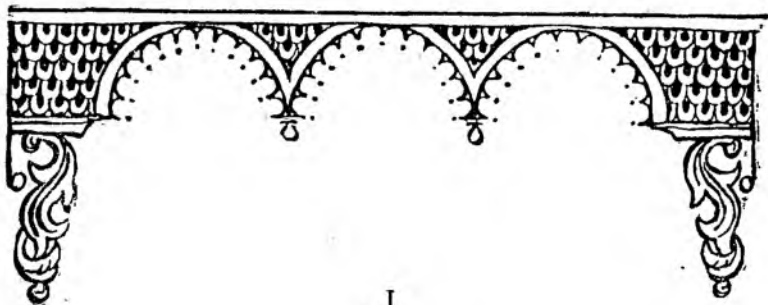


ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

КОНСТАНТИН  
МАСАЛЬСКИЙ

РЕГЕНТСТВО  
БИРОНА





# I

На адмиралтейском шпице пробило девять часов. Огни в окнах петербургских домов погасли, и столица затихла. Один однообразный шум осеннего дождя нарушал глубокую тишину. Изредка прохожий, завернувшись в плащ и озябшею рукою держа над собой промокший зонтик, спешил к дому и робко посматривал на Летний дворец. Там во всех окнах, на опущенных малиновых занавесях разлитое сияние свеч беспрерывно меркло от мелькавших теней; заметно было, что во дворце из комнаты в комнату торопливо ходили люди. Это было 17 октября 1740 года.

В слабо освещенной зале, находившейся подле спальни императрицы Анны Иоанновны, дежурный капитан Ханыков шепотом разговаривал с поручиком Аргамаковым. Они, как и все бывшие в зале вельможи и придворные, с беспокойным ожиданием временами глядели на дверь спальни.

Вдруг дверь отворилась, и обер-гофмаршал граф Левенвольд медленно вышел в залу, склонив голову на грудь и закрыв лицо платком.

— Все кончено! — сказал он прерывающимся голосом. — Императрица скончалась!

Слова его, как сильный электрический удар, в один и тот же миг потрясли всех присутствовавших. Многие плакали, другие крестились, третьи, побледнев, сложили руки и склонили к земле мрачные взоры.

Упавшую в обморок племянницу императрицы принцессу Анну Леопольдовну, супругу принца Брауншвейгского Антона Ульриха, фрейлины тихо пронесли через залу в ее комнаты.

За нею следовал супруг.

Когда ее привели в чувство, она возвратилась в залу и, бросившись в кресло, начала горько плакать. Напрасно принц, стоя позади кресел и наклонясь к своей супруге, старался утешить и умерить ее горесть.

Между тем в спальне слышно было рыдание, прерываемое громкими восклицаниями и жалобами. Это был голос герцога Курляндского Бирона, возведенного милостью умершей Царицы из низкого состояния на такую степень почестей и могущества, какая только возможна для подданного. Долго рыдал он, стоя на коленях перед одром Императрицы, и ломал в отчаянии руки. Подле него стоял генерал-прокурор князь Трубецкой. В одной руке князь держал какую-то бумагу, другой по временам утирал слезы, наворачивавшиеся на его глаза.

— Кто в зале? — вдруг спросил герцог, продолжая рыдать.

Князь Трубецкой, подойдя к двери и выглянув в залу, вновь приблизился к Бирону и назвал бывших в зале по именам.

— Подойдем к ним! — продолжал герцог, вставая. — Не теряя времени, объявим последнюю волю Императрицы.

Они вышли в залу, и Трубецкой начал читать бумагу, которую держал в руке. Все окружили его. Один лишь принц Брауншвейгский не отошел от кресла, в котором сидела его супруга.

Властолюбивому Бирону во время тяжелой и продолжительной болезни Императрицы неотступными просьбами не трудно было убедить ее подписать акт о назначении его правителем государства на время малолетства избранного ею в преемники Иоанна Антоновича, сына принца Брауншвейгского.

Когда Трубецкой дочитал акт до того места, где говорилось о назначении правителя, то Бирон, предугадывая, как это будет оскорбительно для принца Антона Ульриха и его супруги, родителей младенца-Императора, взглянул на первого испытующим взором и сказал:

— Не желаете ли, ваше высочество, вместе с другими выслушать последнюю волю Ее Величества?

Принц, внутренне оскорбленный вопросом наглого властолюбца, скрыл однако свои чувства и, отойдя от своей супруги, со спокойствием на лице, приблизился к Трубецкому, чтобы дослушать акт, который читали.

На рассвете следующего дня объявили о смерти императрицы и о новом правителе. Сенат просил его принять титул высочества и по пятисот тысяч рублей ежегодно на содержание его двора. Бирон, по воле которого сделаны были эти предложения, без затруднения согласился на то и другое. Если и ныне имя Бирона заставляет содрогаться русских, привыкших к милосердию и кротости, к этим наследственным добродетелям их венценосцев, то что должны были чувствовать наши предки, когда разнеслась весть, что Бирон, ужасавший их в течение десяти лет своими жестокостями, сделался их полновластным правителем; что еще семнадцать лет будут они ожидать совершеннолетия императора и своего спасения.

## II

Смеркалось. На деревянном Симеоновском мосту встретились два человека, в темно-зеленых, широких плащах. На низкий поклон одного другой слегка кивнул головой.

— Нет ли чего нового? — спросил последний по-немецки, осмотревшись и уверясь, что вблизи нет ни одного прохожего.

— Ничего важного не случилось, — отвечал на том же языке низкопоклонный. — Давеча утром я уже докладывал вашей милости, что вчера капитан опять был в известном доме на Красной улице, и что потом ее высочество цесаревна Елизавета...

— Т-с! Тише! Ты забыл, что мы на мосту! Вон, видишь, там кто-то идет. Ну, а не разведал ты еще ничего об его друге, поручике?

— Он заодно с капитаном; в этом нет никакого сомнения. Я узнал, между прочим, сегодня, что отец поручика втайне держится феодосьевского раскола и старается обратить в свою ересь и сына.

— Право? Это не дурно! А где он живет?

— Вон его дом.

Он указал на деревянный дом, уединенно стоявший на берегу Фонтанки, против нынешнего Екатерининского Института.

— Еще узнал я, что отец поручика довольно богат.

— И это не дурно. Мы можем и его припутать к де-

лу. Можно ли уличить его в том, что он держится раскола?

— Уличить мудрено. Он во всем запрется. Вашей милости известно, что эти богомолы и пытки не боятся.

— Что для тебя мудрено, то для другого легко. Он безграмотный?

— Какой безграмотный! С утра до вечера все сидит за своими писаными книгами.

— Тем лучше. Приготовь завтра клятвенное отречение от Феодосьевской ереси. Именем герцога я потребую, чтобы старый дурак подписал эту бумагу, в доказательство того, что он не феодосиянин. Увидишь, что он ни за что на свете не подпишет. Вот тебе и улика!

— Бесподобно вы придумать изволили!

— То-то же! Потом я скажу ему, что должен буду доложить об его послушании герцогу, и что он будет сожжен, как Возницын, за ересь и за старание отвлечь сына от православной веры.

— А все пожитки его конфискуем в казну? Понял ли я вашу мысль?

— Нет, любезный, не понял! Что за важная прибыль для казны от его имения? Это капля в море! И что мне и тебе за выгода сжечь одного русского дурака? Много еще их на свете останется. Если бы дураки могли гореть, как плошки, и если бы всех их вдруг зажечь в Петербурге, то вышла бы великолепная иллюминация!

Довольный своею глупою острою, он засмеялся.

— Иллюминация! Истинно иллюминация! — подхватил низкопоклонный с принужденным хохотом. — Однако я все еще не понимаю вашего намерения.

— Я вижу, любезный, что в иллюминацию и тебя пришлось бы засветить, хоть ты и нерусский.

— Виноват! Иногда я бываю непростительно бестолков.

— Странно, что ты меня не понимаешь! Я хочу только проучить глупого старика. Будет с него и одного страха, а для меня довольно и одной сотни рублевиков.

— А, теперь все ясно! Помилуйте, да он заплатит и две сотни, лишь бы не подписать отречения от ереси.

— Увидим! Этот небольшой штраф послужит ему на пользу. Он, верно, и сам делается умнее и сына перестанет тянуть в свою ересь. Им и нам будет хорошо. Не забудь же приготовить бумагу. Да смотри, никому ни

слова! Я с тобой всегда откровенен и всех более на тебя полагаюсь. Умей ценить мою доверенность, а не то, берегись!.. Я искусный охотник, а ты собака, которая должна отыскивать дичь. Долю ты свою получишь из добычи, хоть это и противно правилам охотников.

Низкопоклонный поцеловал руку и плечо у другого и несколько раз поклонился.

— Если же старый дурак, сверх всякого ожидания, подпишет отречение,— продолжал низкопоклонный,— то как вы поступите? Тогда план ваш расстроится.

— Ничуть! Подписанное отречение послужит вместо письменного признания в ереси. Тогда в моей власти будет принудить богомола заплатить нам такой штраф, какой мне только вздумается. Если же он заупрямится, я донесу о нем герцогу. Даром никто не станет подвергать себя опасности и скрывать чужое преступление, за которое следует сжечь преступника. Тогда он сам будет виноват, если с ним так же строго поступят, как с Возницыным.

— Совершенная правда.

— О капитане и поручике приготовь подробное донесение. Не забудь написать и о том, что оба они с неуважением отзывались о герцоге. Завтра рано утром я представлю его высочеству это донесение. За домом на Красной улице вели усилить надзор. До свидания! Будь скромн и осторожен. Ты сам знаешь, как важно это дело!

Сказав еще что-то вполголоса, оба завернулись в плащи и разошлись в разные стороны.

### III

На берегу Фонтанки... но взглянем прежде, какова была она во времена Бирона; перенесемся в Петербург 1740 года и прогуляемся от Невы до взморья, по левому берегу Фонтанной речки.

У ее истока из Невы никакого моста тогда еще не было. По берегам, в некоторых местах, укрепленных сваями, тянулись деревянные перила и узкие мостки для пешеходов. Напротив Летнего дворца, от Невы до церкви св. Пантелеймона, видно было несколько деревянных домиков, больших амбаров и обширное место,

заваленное бревнами и огороженное забором. Тут находилась партикулярная верфь, где строили мелкие суда для Невского флота.\*

Подле этой верфи находилась каменная церковь св. Пантелеймона, построенная чиновниками верфи во время царствования Императрицы Анны Иоанновны, вместо деревянной, которую воздвиг Петр Великий, в память победы, одержанной им над шведским флотом при Гангуте 27 июля 1714 года.

Далее на берегу Фонтанки стояло деревянное четырехугольное строение, где хранились разные запасы для двора, отчего оно и называлось Запасным двором.

Церковь св. Симеона и Анны существовала уже в те времена. Ее построила Императрица Анна Иоанновна в 1733 году вместо деревянной, которую соорудил Петр Великий в 1712 году, во имя ангела четырехлетней дочери его, Цесаревны Анны Петровны.

Далее за Симеоновским мостом возвышался загородный дом фельдмаршала Шереметева, окруженный рощей, которая граничила с Итальянским садом, простиравшимся от берега Фонтанки почти до Песков. Литейная улица делила этот сад надвое. Он получил свое название от каменного дворца, построенного при Петре Великом в итальянском вкусе, близ Фонтанки.

У деревянного Аничкова моста стояли триумфальные ворота, приготовленные для въезда Императрицы Анны Иоанновны в Петербург из Москвы после ее коронации. Далее на берегу находилось подворье Троицкого монастыря, несколько загородных домов, построенные при Императрице Аниие Иоанновне фельдмаршалом Минихом, светлицы Семеновского и Измайловского полков, и наконец посреди деревни Калинкиной, близ взморья, в каменном казенном доме церковь св. Екатерины, построенная в 1720 году Петром Великим во имя ангела своей супруги, Екатерины I.

Теперь перейдем из Калинкиной деревни по узкому мостику на другой берег Фонтанки и возвратимся к Неве. Сначала пройдем длинную колонию адмиралтейских и морских служителей, потом охотный ряд, где прода-

---

\* При Петре Великом все достаточные жители Петербурга обязаны были в воскресные дни плавать на этих судах по Неве под командой Невского адмирала.



вали певчих и других птиц; войдем в Аничкову слободу, где жил подполковник Аничков со своим батальоном морских солдат по ту и по другую сторону Фонтанки; потом, мимо заборов и нескольких частных низеньких домов, приблизимся к ягд-гартену (саду для охоты), который начали устраивать с 1739 года для гона и стрельбы оленей, кабанов и зайцев, на том месте, где ныне Инженерный замок и площади, окружающие его. Потом, подойдя к Летнему саду, увидим Слоновый двор, устроенный в 1736 году для приведенного из Персии слона; церковь Св. Троицы, впоследствии перенесенную на Петербургскую сторону, на место сгоревшей там Троицкой церкви; грот, украшенный раковинами, и Летний дворец на берегу Невы.

Теперь по любой дороге возвратимся к начатому рассказу.

На берегу Фонтанки, близ Симеоновского моста, стоял двухэтажный деревянный дом купца Мурашева. Федор Власьич (так его называли) был в свое время человек примечательный во многих отношениях. Во-первых, он построил против своего дома, на Фонтанке, огромный садок по собственному плану; во-вторых, он несколько лет поставлял рыбу для двора, не страшась интриг Бирона; в-третьих, еще со времен Петра Великого брил бороду и одевался по-немецки, и, в-четвертых, страстно любил книгу. Много перенес он гонений за эту страсть от покойной жены своей, перенес с таким же хладнокровием, с каким сносил Сократ капризы Ксантиппы.

Вместе с Мурашевым жили сестра его, Дарья Власьева, и дочь Ольга. Первая еще при Петре Великом на ассамблеях ратовала в рядах невест и наводила «сильную кокетства батарею»\* на каждого гвардейского или флотского офицера. В десятилетнее царствование Императрицы Анны Иоанновны ассамблеи и вечеринки сделались редкостью, и едва ли кто мог сравняться с Дарьей Власьевой в тайной ненависти к Бирону, которого она, не без основания, считала главным виновником прекращения всех главных и частных увеселений. Можно ли было ей не называть величайшим злодеем того, кто неумолимо срыл до основания ее батарею. От

---

\* Стих Паикратия Сумарокова.

горести и отчаяния Дарья Власьевна перестала считать дни, месяцы и годы. Когда какая-нибудь приятельница нескромно спрашивала: «Сколько вам от роду лет?», Дарья Власьевна всегда притворялась тугой на ухо или рассеянной и заводила речь совсем о другом. Единственным ее утешением сделались наряды, в особенности фижмы. В то время величина их соразмерялась со знатностью особы, бока которой они украшали. Всякая знатная дама считала тогда своей обязанностью походить на венгерскую бутылку с узеньким горлышком и широкими боками. Вероятно, с того времени вошло в употребление для знатных гостей отворять обе половинки дверей, потому что и тут многие дамы проходили не иначе, как боком. Сообразно с табелем о рангах, начиная от 1 до 14 класса, фижмы суживались, и у жен купцов и других нечиновных лиц среднего класса заменялись обручиками, которые нередко, по благоразумной, хозяйственной бережливости, снимались с разошедшихся огуречных бочонков. Жены простолюдинов лишены были привилегии носить обручики и пользовались только правом с удивлением смотреть на широкие фижмы, а иногда в церкви, при тесноте, трогать их тихонько пальцами, чтоб узнать внутреннюю сущность этих возвышенных.

Дарья Власьевна, по званию сестры придворного поставщика рыбы, перешла неприметно от обручиков к маленьким фижмам. Видя, что никто ее в течение нескольких месяцев на улице не остановил и не взял под стражу, она дерзнула надеть фижмы на четверть вершка пошире. Таким образом фижмы ее, как растение, как два цветка, неприметно росли и достигли величины, которая составляла нечто между фижмами коллежских секретарш и титулярных советниц. Не покидая мечтаний о замужестве, она тайно заготовила фижмы от 14 до 4 класса включительно, чтобы быть готовой тотчас одеться по чину будущего мужа, который, по ее расчетам, мог быть и штатский действительный советник (как тогда говорили). Любимое времяпрепровождение Дарьи Власьевны состояло в том, что она, запершись в своей комнате, поочередно примеривала перед зеркалом все свои фижмы и, надев, наконец, генеральские, повертывалась на одном месте во все стороны, как на трубе павлин, распустивший хвост, танцевала минут, пробовала

садиться в кресла и на стулья, ходила взад и вперед по комнате и приседала то умильно, то гордо, воображая, что на публичном гулянье встречаются ей офицеры и приятельницы, и смотрят на нее, первые нежно, а вторые завистливо. Раз одна из знакомых свах шепнула ей, что на нее метят два жениха: молодой коллежский регистратор и пожилой бригадир, представленный к отставке с повышением чина. Бедная Дарья Власьевна не спала целую ночь и все мучилась нерешимостью: кому отдать предпочтение? Несколько недель взвешивала она на весах рассудка достоинства обоих женихов. Здесь русые волосы, красивое лицо, прямой стан, ваше благородие и маленькие фижмы; там лысина с седыми висками и затылком, морщины на лбу, небольшой горб, ваше превосходительство и широкие фижмы. Весы ее склонялись то в ту, то в другую сторону, и долго бы остались в движении, если бы сваха не принесла, наконец, верного известия, что сообщенный слух о женихах вышел пустой.

Дочь Мурашева, Ольга, была премилое существо. Умная, добрая, скромная, она никогда не пользовалась прязмом, неотъемлемым правом всех красавиц: при случае покапризничать. Отец любил ее без памяти. Она одевалась со вкусом, не думала о фижмах и довольствовалась скромным обручиком, который не скрывал ее прекрасного стана. Мурашев, сам плохо знавший грамоту, передал ей все свои познания, и через год после начала курса наук принужден был прекратить учение, потому что ученица стала нередко помогать в истолковании ей в книгах мест, которые ставили в тупил самого учителя. Однажды Мурашев выменял за пару карасей и за два десятка ряпушки у книжного разносчика (тогда не было еще в Петербурге ни одной книжной лавки) лубочную картину погребения кота, книгу, напечатанную русской гражданской печатью в Петербурге, в 1725 году, под заглавием «Приклады как пишутся комплименты разные», и рукописную тетрадь, где были выписаны избранные места из сочинения «Советы премудрости, с итальянского языка чрез Стефана Писарева переведенные». Последнее сочинение при Бироне считалось запрещенным. Впоследствии переводчик поднес его императрице Елизавете Петровне и в посвящении, между прочим, сказал: «О! Когда бы мне возыметь сие

обрадование, чтоб по крайней мере сию книгу, так обществу полезную, пока я жив, напечатанной увидеть». Мурашев, пригласив сестру свою к себе в комнату, запер дверь и заставил дочь читать вслух из Советов Премудрости наудачу раскрытую им страницу. Попалось место: «Жена, коя начальствует в своем доме повелевательным умом, люта бывает к мужу. Жена, от которой страх имеется, поистине есть чего бояться! Со времени трепетания пред нею бывает она ужасною. Из глав зверей и гадов, голова змеиная наибедственнейшая есть и злейшая, и из гневов, женский гнев — наипугливейший и прековарнейший в вымышлении изменительств и способов к погублению тебя. Звери укрощены и усмирены, или способы к избавлению и спасению себя от них бегом, изысканы быть могут; но рассерчение взбесившейся жены неизбежимо есть. Ты не можешь ни укротить ее, ни усмирить, да ниже и отбыть от нее. Ее бедный муж, коего она непрестанно крушит, только что обыкновенно в приношении на нее жалобы упражняется, а кои его слушают, те только воздыханиями ему ответствуют».

— Сущая истина! — сказал Мурашев со вздохом. — Из всех гневов женский гнев есть наипугливейший! Да!.. Так, кажется, сказано? Одно средство против него: упражняться в приношении жалобы. Заметь это, Оленька, да прочти еще что-нибудь.

Он раскрыл в тетради другую страницу. Ольга начала читать: «Не допускай входить любви в твое сердце, ниже в твои очи. Отвращайся от лица той жены, коя тебя соблазняет. Ничто так не страшно, как приятность и ласковость жены злохитрой. Бойся ее приближения и приветливого приема, бойся ее разговора, ее глядения и ее осязания. Что в другом за ничто признается, то в ней бедственным могуществом есть: довольно только одного глазом ее мигнутия к повалению тебя, одного только волоса к потащению тебя! Самое бегство тебе мало полезно: буде ты увидел ее прежде побежания, то не убежишь уже от нее далеко. Обещаемые ею тебе вещи имеют на ее языке крайне бедственное обаяние. С самой той минуты, в которую ее увидишь, начинаешь ты бояться, и о весьма скором времени твоего заплаkania извещаться».

— Ну уж книга! — воскликнула Дарья Власьевна. — Да не с ума ли ты сошел, братец? Еще дочери даешь читать такие соблазны.

— Полно, сестра! — возразил Мурашев. — Ты ничего не понимаешь! Какие тут соблазны! Я тебе все растолкую. Вот, видишь ли: злохитрая жена, то есть не всякая женщина — ты этого на свой счет не бери — а вообще, особа женского пола. Вот тут и пишется, что «довольно одного глазом ее мигнутия к повалению тебя», то есть она — не успеешь мигнуть — даст тебе тычка так, что с ног слетишь. Потом пишется, что «бойся обещаваемых ею тебе вещей и ее осязания», — помнится так — то есть не то, да не закрывайся платком, а слушай!

— Полно, братец, полно! Постыдись хоть дочки-то! В печь брошу я эту книгу!

— В печь? Да кто тебе даст? Советы премудрости хочет бросить в печь! Ах ты, безумная! Я ведь знаю толк в книгах-то.

Начался между братом и сестрою жаркий спор, который мог бы вовлечь их в сильную ссору, но дочь помогла отцу заштитить избранную им книгу и отстоять его знание в грамотном деле, простосердечно растолковав, что под видом злохитрой жены, вероятно, изображается порок, и что в книге дается наставление остерегаться этого порока.

— Ну вот, вот! то и есть! — воскликнул с радостью Мурашев. — Слышишь ли, сестра? Я тебе ведь то же толковал! Что же тут худого? Племянница-то, я вижу, умнее тетушки.

— Скажи: и батюшки! — обиделась Дарья Власьевна. — Не верь, Оленька! Никогда не думай, что ты старших умнее.

Мурашев хотел возразить, но не нашелся, лишь проворчал сквозь зубы: «Дура!» и закрыл с неудовольствием «Советы премудрости».

«Сумасшедший! — подумала Дарья Власьевна. — Совсем с ума спятил от своих премудростей!»

— Тетенька! Носит ли фижмы Марфа Потапьевна, приятельница ваша? — спросила вдруг Ольга.

Этот вопрос имел силу громоотвода. Без него сбылось бы сказанное в «Слове о полку Игоревом»: «Быть грому великому!»

В день провозглашения Бирона регентом государства пришли под вечер в гости к Мурашеву капитан Семеновского полка Ханыков с молодым поручиком Аргамаковым, который был страстно влюблен в Ольгу.

— Что так давно не бывали у меня, дорогие гости? — говорил Мурашев, усаживая офицеров на кожаный диван.

— Не до того было! — отвечал Ханыков.

— Да, да, Павел Антонович! Истинно, не до того! — продолжал хозяин шепотом. — С позволения вашего, я сегодня с заутрени до вечера все плакал да охал.

— Скоро и все заохает! — заметил Аргамаков.

— Однако же, брат, прежде за дверь посмотри, а потом говори, — сказал Ханыков. — Подслушают, так и впрямь заохает.

— Никого дома нет, Павел Антонович. Сестра и дочка ушли в церковь, приказчиков я разослал осматривать мои невские садки, дворник сидит в своей будке на дворе. Домовой, разве, с позволения вашего, нас подслушает!.. И все же не мешает за дверь заглянуть.

Удостоверясь, что в соседней комнате никого не было, хозяин продолжал:

— Правда ли, мои батюшки, что Бирон будет царством править? Слышал я и объявление, да все как-то не верится. Что за напасть такая?

— Уж нечего говорить! Времена! — сказал Ханыков.

— Выходит, что Бирон до сих пор сидел с удой да ловил рыбу: попадались маленькие, иногда и большие, но все поодиночке, а нынче — с позволения вашего — он запустил невод и всех нас, грешных, и маленьких и больших, поймал! Нечего делать! Теперь мы все в его садке. Всякий сиди да жди, когда потащат на сковороду!

— Да еще молчи при этом, как рыба! — прибавил Аргамаков.

— Щука нечестивая! Кит проклятый! — воскликнул Мурашев, ходя от волнения по комнате. — Из какого омута и каким ветром его к нам занесло! Жили мы без него в раздole, как белуга в Волге. Вспомнишь, право, как мы, грешные, живали при царе Петре Алексеевиче, или при супруге его Екатерине Алексеевне, Сердце

радуется! А с тех пор как завелся этот иноземец Бирон — чтоб ему, с позволения вашего, щучьей костью подавиться! — все идет вверх ногами. Что вы? Что вы? Не бойтесь! Это сестра моя идет, — продолжал он, подбежав в испуге к окошку и смотря на двор. — Чего вы испугались? Я уж по стуку услышал, что это она.

Вскоре вошли в комнату сестра и дочь Мурашева.

При появлении Ольги у Аргамакова сильно забилося сердце от радости, как будто он не видел ее уже несколько лет, а между тем они виделись не далее, как накануне. Дарья Власьевна, жеманно поклонясь гостям, села на софу, с которой те встали, и начала махать на себя веером.

— Ну что, сестра, много народу было в церкви? — спросил Мурашев.

— Не слишком много. Все больше простой народ. Только одну какую-то госпожу я заметила. Должно быть, знатная: большие фижмы и шлейф очень-таки длинный. Трое несли!

— Ну дай Бог ей здоровья! — сказал Мурашев, которому повседневные разговоры сестры о знатных давно уже надоели. — Шлейф! — продолжал он, усмехнувшись. — А что такое, с позволения вашего, шлейф, и для чего он волочится? Как смотрю я на него, меня всегда берет охота запеть:

Щука шла из Новгорода.

Она хвост волокла из Бела-озера.

Рыбе хвост помогает плавать, а шлейф людям только мешает ходить. Иной, словно невод: так и хочется запустить его в воду!

Ханыков улыбнулся, а Аргамаков разговаривал в это время с Ольгой, и оба ничего не слышали.

— При выходе из церкви, — продолжала Дарья Власьевна, — попалась мне знакомая и проводила меня почти до дому. Что она мне порассказала — это ужас!

— А что такое? — спросил Мурашев.

— Она слышала от верного человека, который служит двадцать лет уж при дворе и которому все важные дела известны, что правитель замышляет такие новости! Это ужас! Если он так будет поступать, то не долго усидит на своем месте.

— Вот тебе на! — воскликнул Мурашев, взглянув на Ханыкова. — Извольте прослушать, как нынче бабы рассуждают. Сестра, извольте видеть, не бывала еще в Тайной Канцелярии! Ей очень туда хочется.

— Я надеюсь, что здесь нет лазутчиков, братец! — возразила, обидясь, Дарья Власьевна. — Я без тебя знаю, где и что сказать.

При этих словах все невольно посмотрели друг на друга недоверчиво.

— Так! — прошептал Мурашев. — Только все-таки советую тебе быть поосторожнее.

— Что же вы слышали? — спросил Ханыков.

— Вообразите! Бирон хочет... нет! Не могу выговорить!.. Что ему за дело до наших мод! И того не носи, и другого не носи! Что это за притеснение!

— Да что с тобой сделалось, сестра! — сказал Мурашев. — Ты из себя выходишь. Если бы и в самом деле герцог приказал обрезать шлейфы, например, многие бы ему спасибо сказали, особенно те труженики, которые целый день за их госпожами эти хвосты таскают.

— Шлейфы носят только за самыми знатными госпожами, а все прочие дамы, даже генеральши, заворачивают шлейф, как и я, на левую руку. Не о них и речь.

— Так о чем же? — продолжал Мурашев. — Уж не о фижмах ли, которые тебя чуть с ума не сводят?

— Да, сударь, о фижмах, именно о фижмах, от которых никто еще с ума не сходил. Я знаю, что тебе и горя мало, хоть бы мучной куль велели носить родной сестре твоей вместо приличного наряда! Конечно, не до тебя дело касается, так ты и спокоен!

— Я стал бы носить что угодно. От того не сделался бы ни глупее, ни умнее. В «Советах премудрости» сказано, что...

— Ну!.. заговорил о своих премудростях, конца не будет!

— Пожалуй, я и замолчу, только скажу тебе, что за один совет премудрости я охотно отдал бы все фижмы на свете, да еще осетра средней величины в придачу!

— Ну так порадуйся: скоро фижм нигде не увидишь! Большие будет носить одна герцогиня, генеральшам позволят надевать маленькие, а уж бригадирша изволь-ка наряжаться, как наша кухарка, без фижм! Может ли быть что-нибудь глупее и обиднее?



— Этого быть не может, сударыня! — сказал Ханьков. — Верно, знакомая ваша пошутила. Теперь герцогу не до фикжм!

— Так вы полагаете, что этот слух пустой?

— Кажется.

— Пустой или нет, все равно, — прервал Мурашев. — А поужинать во всяком случае не мешает. Уже девять часов.

В это время вошел в комнату дворник и сказал, что какой-то человек у ворот спрашивает Аргамакова. Все, бывшие в комнате, кроме Дарьи Власьевны, душа которой была погружена в фикжмы, почувствовали от слов дворника неопределенный испуг. Мудрено сказать: произошло ли это от свойства сердца, которое может иногда предчувствовать близкое несчастье, или же от тогдашних времен, когда никто не мог считать себя ни на минуту в безопасности от доносов, пыток и гибели.

Аргамаков вышел к воротам и, вскоре возвратясь в комнату, сказал Ханькову несколько слов на ухо. Тот вскочил со стула. Мурашев заметил это и, взяв его за руку, подвел к окну.

— Верно, недобрые вести? — спросил он шепотом.

— Не совсем хорошие! — также шепотом отвечал капитан. — Денщик Валериана Ильича прибежал сюда опрометью. Какие-то люди забрали все бумаги в комнатах его барина и в моих. Он подслушал, как они расспрашивали моего денщика: куда я с Валерианом Ильичем ушел. Они идут сюда.

— Господи Боже мой! Что ж мы будем делать?

— Делать нечего! От Бирона и на дне морском не спрячешься.

Мурашев большими шагами прошел несколько раз взад и вперед по комнате.

— Знаете ли, что я придумал? Спрячьтесь в мой садок. Я спущу тотчас же всех моих собак. Они привыкли от воров рыбу стеречь и даже самого Бирона со свитой на садок не пустят.

— Вы себя погубите вместе с нами!

— Совсем нет. Я скажу только, что вы у меня были и ушли, а собак спустил я на ночь, как всегда это делаю. Пусть же допрашивают и пытаются моих собак, как они осмелились не пропускать на садок лазутчиков Бирона. Притом, вероятно, этим господам и в голову не придет

там вас отыскивать, а вы, по крайней мере, успеете обдумать, что вам делать. Кажется, всего лучше как-нибудь пробраться до Кронштадта, откупить местечко на иностранном корабле, да и, с Богом, за море! Ведь хуже на тот свет отправиться!

— На это нужны деньги, а со мной только два рублевика, — сказал Ханыков.

— У меня и того нет, — прибавил Валериан.

— Я вам дам взаймы. Червонцев пятьдесят будет довольноно?

Ханыков пожал руку Мурашеву, а у Валериана на вернулись на глаза слезы. Это пожатие и эти чуть заметные слезы выразили сильнее их благодарность, нежели все возможные слова. Хозяин немедленно вынес из другой комнаты кошелек и незаметно передал Валериану.

Во все время, как они шептались, Ольга, отошедшая от окна и севшая на софу подле тетки, смотрела с беспокойством на своего отца, на Валериана и его друга.

Когда они все трое пошли из комнаты, Дарья Власьева, все еще углубленная в прежние свои размышления, спросила Ханыкова, который прощался с нею:

— Итак, вы полагаете, что слух насчет фикжм неоснователен?

— Я вижу, сестра, что в пустой фикжме более мозгу, чем у тебя в голове! — проворчал в досаде Мурашев. — Пойдемте, господа!

Валериан, выходя из комнаты, со вздохом взглянул на Ольгу, и взор его, казалось, говорил ей: «Прости навсегда!»

## V

Капитан и поручик поспешно перешли с берега на садок, вместе с денщиком и Мурашевым, за которыми бежали три огромные собаки, выпущенные из сарая. Они поочередно подбегали к офицерам и, тихонько ворча, смотрели на них недоверчиво.

— Цыц! Молчать! — закричал хозяин. — Это свои!

Собаки подбежали к Мурашеву, ласкаясь. Он ввел офицеров и денщика в каюту, поднял за кольцо дверь, сделанную в полу, и указал им на веревочную лестницу, спускавшуюся в нижний ярус садка.

— У кормы,— сказал он,— найдете окошко, через которое легко будет, в случае нужды, перелезть в одну из лодок, привязанных к садку: Прощайте! Да сохранит вас Господь!

Выйдя из каюты, он ласково погладил собак. Они проводили его до перил, и, когда он запирали решетчатые дверцы мостика, по которому входили с берега на садок, Руслан, просунув морду сквозь перила, лизал у Мурашева руку, а Мохнатка и Полкан, положив передние лапы на перила, глядели в глаза хозяину и махали хвостом.

Валериан и друг его вскоре отыскивали окно, о котором говорил Мурашев. Оно было так узко, что человеку с трудом можно было пролезть через него. Отворив раму со стеклом, при наступившей вечерней темноте не без труда рассмотрели они несколько лодок, стоявших рядом и привязанных у кормы. Можно было прямо из окна спуститься в одну из них. Вскоре они услышали, как Мурашев захлопнул калитку.

Потом все замолчало, кроме воды, которая, тихо колыхаясь, как будто нашептывала садку донос на спрятавшихся офицеров.

Через некоторое время собаки заворчали и начали лаять. Несмотря на их громкий лай, скрывшимся в садке было слышно, как кто-то стучался в калитку.

— Это, вероятно, посланные за нами! — воскликнул Аргамаков.

— Не воспользоваться ли тем временем, пока они будут обыскивать дом? Перелезем в лодку и поплывем к Неве; потом пустимся прямо в Кронштадт,— сказал Ханыков.

— А если нас заметят?

— Но и оставаться нам здесь не менее опасно: нас легко отыщут. Решимся! Что будет, то будет!

Денщик надел пайдённый им на ларе кафтан, шапку и кожаный передник рыбака. Он перелез в лодку, осмотрел ее и отвязал. Лай собак между тем усилился.

— Все готово, барин! — сказал денщик, всунув в окно голову.

Офицеры спустились в лодку, легли на дно и, велев денщику накрыть их рогожею, поплыли к Неве.

— Думали ли мы, Валериан, сегодня, — сказал Ха-

ных, — что проведем ночь на такой плавучей постели и под таким одеялом? Мы теперь похожи на двух пойманных лососей. Я думаю, много их, бедняжек, под этою рогожею страдало и предавалось отчаянию. Положение их, конечно, было ужаснее нашего: у нас еще остается надежда на спасение, а у них не могло оставаться никакой.

— Удивляюсь, как ты можешь сейчас шутить! — сказал Валериан.

— А что ж, разве лучше, по-твоему, унывать? — возразил Ханыков. — Я давно уверился, что мое хладнокровие гораздо полезнее твоей чувствительности. Люди пылкие, похожие на тебя, почти каждый день смотрят на мир разными глазами: он кажется им то раем, то адом. Сколько раз готов ты был броситься в Неву, когда казалось тебе, что Ольга тебя не любит, и сколько раз залетал ты за облака от восторга, когда примечал какой-нибудь ласковый ее взгляд, какое-нибудь слово, которое ты мог растолковать, хотя и не без натяжки, в свою пользу. Флегматик же, как ты меня называешь, всегда на мир смотрит одинаково. Например, теперь я смотрю на него, лежа на дне лодки, сквозь прореху в рогоже. Хотя это совершенно новый взгляд на мир, однако ничего нового и особенного я не вижу, потому что вечер претемный, на наше счастье. Ничего нет нового под луною. Ба! Да вот и она, очень некстати, выползает из-за облака: нас могут теперь скорее увидеть и остановить. Денщик! Далеко ли еще до Невы?

— Уже недалеко, ваше благородие!

— Гребь сильнее! — сказал Аргамаков.

Между тем секретарь Бирона Гейер (служивший в молодых летах фореитером в то время, как дед Бирона был главным конюхом герцога курляндского Якова III) с четырьмя лазутчиками, обыскав весь дом Мурашева, приказал хозяину вести их на садок. У Мурашева сильно забилось сердце; он не знал, что Валериан и друг его в то время приближались уже к Неве. Взяв ключ, повел он незваных гостей на садок. Когда он подошел к перилам и начал отпирать дверцы, все три собаки подбежали к нему.

— Усь! Чужие! — шепнул Мурашев, и собаки, передними лапами вскочив на перила, подняли такой лай на приближавшегося Гейера и его подчиненных, что все они,

струсив, остановились, и секретарь герцога закричал:

— Не отпирай! Не отпирай! Прежде уведи собак или привяжи их.

— Осмелюсь доложить вашей милости, что они и меня загрызут. Мне с ними не сладить. Они одного моего приказчика слушаются, да, на беду, его теперь дома нет.

— Ты еще рассуждать смеешь! — закричал Гейер, топнув. — Именем его высочества правителя приказываю тебе этих собак увести и привязать. Малейший вред, который они кому-нибудь из нас нанесут, будет сочтен оскорблением его высочества.

— Воля ваша! Если они загрызут меня до смерти и потом бросятся на вас, то я ни за что отвечать не буду. И в одной письменной книге, с позволения вашего, написано, что великий князь Святослав изволил сказать: мертвые бо срама не имеют, то есть ни за что не отвечают.

— Свяжите его и ведите за мной! — закричал Гейер. — Завтра же донесу о тебе его высочеству как о бунтовщике и ослушнике.

Мурашева связали. Гейер, приказав одному из лазутчиков остаться на берегу до возвращения приказчика для обыска садка, хотел уже идти, как вдруг, при свете месяца, увидел несколько человек, которые к нему приближались.

— Ба! Это, кажется, наши! — сказал он. — Они ведут трех связанных. Bravo! Гуси пойманы.

Валериана, друга его и денщика вели шесть лазутчиков, одетых в платье гребцов. Мурашев побледнел и устремил на офицеров взор, в котором выражалось глубокое сострадание.

— Где вы нашли их? — спросил Гейер.

— По приказанию вашему, — отвечал один из лазутчиков, — мы дожидались вас на катере у невского берега, против крепости. Заметив лодку, выплывшую на Неву с Фонтанки, мы начали за нею наблюдать. Вскоре увидели мы, что офицер привстал со дна лодки и опять скрылся. Тотчас же пустились мы в погоню. Этот господин, — продолжал он, указывая на поручика, — схватил катер наш за борт и хотел опрокинуть, но мы не допустили.

— Отдайте ваши шпаги! — сказал Гейер.

— Возьмите сами, — отвечал Ханыков. — У меня руки связаны, как видите.

— Я никому своей не отдам, кроме командира! — вскричал Валериан.

— Полно, братец, понапрасну горячиться! — шепнул его друг. — Чем более будешь оказывать сопротивления, тем будет для нас хуже.

Один из лазутчиков вынул из ножен шпаги офицеров.

— Обыщи их карманы! — продолжал Гейер, — не спрятано ли там оружие?

У Ханыкова нашлись два рублевика, у Валериана кошелек с пятьюдесятью червонцами.

— Поддай сюда! — сказал Гейер, жадно глядя на золото. — Я эти деньги должен представить его высочеству. А ты что за человек? — продолжал он, обратясь к денщику, переряженному рыбаком. — Ба! Я по платью вижу, что ты очень знаком хозяину этого садка.

— Вы ошибаетесь. По платью о людях судить не должно, — заметил Ханыков. — Это денщик поручика. Хозяин садка нисколько не участвовал в нашем побеге. Мы тихонько отвязали лодку от берега, нашли в ней это платье, нарядили денщика и поплыли.

— Это все будет проверено. Завяжите арестантам глаза и ведите всех за мной! Двое из вас останьтесь в этом доме и никуда не выпускайте дочь и сестру этого старого плута. Их также надо будет завтра допросить.

Вся толпа двинулась и вскоре подошла к Летнему дворцу. Гейер вошел в комнаты и велел доложить о себе герцогу.

— Он очень занят, и никого не велел принимать, — объявил камердинер герцога.

— Скажи его высочеству, что весьма важное дело.

Через несколько минут Гейер был позван во внутренние покои дворца. Пройдя через залу, он вошел в кабинет герцога и потом в уборную герцогини. Там правитель с супругою и братом, генералом Карлом Бироном, сидели за столом и играли в бостон.

— Господин секретарь! — сказал герцог, тасуя карты. — Я не велел никого принимать, но для тебя делаю исключение. Ты никогда не употреблял во зло моей доверенности, знаешь свою обязанность и не станешь, надеюсь, разглашать о тайных занятиях регента, особенно в нынешнее время.

Он усмехнулся и начал сдавать карты. Гейер низко поклонился, остановившись у дверей. — Это единствен-

мое развлечение после дневных, тягостных трудов. Ну, что же скажешь, Гейер?.. В сюрсах шесты!.. Что у тебя за дело?

— Поручик и капитан, о которых сегодня ваше высочество изволили мне дать приказание, взяты.

— Где они сейчас?.. Ну, брат, умело сходил! Разве не видел ты, что два короля и две дамы уже вышли?

— Они теперь у крыльца стоят, связанные.

— Кто? Два короля и две дамы? — заметил Бирон, улыбнувшись. — Дурак ты, Гейер!

— Я отвечаю на вопрос об арестантах вашему высочеству, — сказал секретарь с подобострастной ухмылкой.

— Не мешай! Завтра утром об этом деле поговорим. Посади их, куда должно, допроси по порядку и потом доложи... Ну вот и ремиз! Ты, мой почтенный братец, понятия не имеешь об игре.

— С ними еще взят придворный рыбный поставщик Мурашев и денщик их, потому что...

— Убирайся к черту! Кончишь ли ты сегодня? Сказано тебе, всех допроси и доложи. Ступай!.. Гран-мизер-уверт!

Секретарь, низко поклонясь, вышел из дворца и велел вести арестантов за собою. Глаза у тех были завязаны.

— Можно ли нам разговаривать между собою, господин секретарь? — спросил Ханыков.

— Позволяется, — важно ответил Гейер, довольный покорностью капитана. Он подумал еще, что из разговоров своих арестантов сможет узнать немного их характеры, и что это ему поможет успешнее провести допросы.

— Валериан! Валериан! Ты здесь? — продолжал Ханыков.

— Здесь.

— Боже мой, какой у тебя печальный голос! Полно унывать! Все пройдет.

— Конечно! И жизнь нам на то дана, чтобы она прошла.

— В самом деле, Валериан Ильич, не горюйте прежде времени! — сказал шепотом Мурашев. — У меня есть книжка, именуемая «Советы премудрости»; в ней, я помню, написано: «Не обременяй себя тужением и груше-

нием. Когда случается тебе какое-либо печальное приключение, то держи ты совет с твоим рассуждением, и с ним решение чини, не торопяся и грустяся». — Ба! Мы, кажется, идем теперь куда-то вниз, будто с горки. А вот теперь поднимаемся на какой-то мостик. Как доски-то гнутся под нами! Как бы не провалиться, грехом! Вот слезли с мостика. Где мы теперь — Бога весть! Кажется, около нас вода шумит. Точно! Мы в лодке плывем. Уж не пошлют ли нас на дно рыбу ловить?

— Перестань! — закричал Гейер. — Говори, да не заговаривайся!

— Извини меня, глупого, господин секретарь! С горя мало ли что сболтнется. И в некоторой мудрейшей книге сказано: «Сей для тебя лучший совет, чтоб иметь твой рот за замком. Но как непрестанно надлежит его отпирать и говорить, когда причина и нужда того требуют, то кажется, что сие замыкание не может быть великою пользою». — А впрочем, как прикажете.

— Теперь я ничего не приказываю, — сказал Гейер. — Только знай, любезный, что какой бы ни висел на твоём рту замок, у меня есть ключ, который все замки отпирает.

Через некоторое время арестантов опять высадили на берег и повели дальше. Потом они заметили, что идут по каменному полу коридора. Шум шагов их глухо отдавался под сводом. Вскоре заскрипела тяжелая дверь, захлопнулась за ними и щелкнул два раза ключ.

— Развяжите им глаза и руки, — продолжал Гейер.

— Боже мой! Где мы? — воскликнул Валериан. Ханыков мрачно осмотрелся, нахмурил брови и взял своего друга за руку. Мурашев и денщик, озираясь, начали креститься.

Висевший под сводом фонарь освещал довольно объемную комнату с каменным полом. В ней не было видно ни одного окна, ни малейшего отверстия, кроме железной двери. Небеленые кирпичные стены и крутой свод над ними при слабом свете фонаря казались выкрашенными кровью. Под фонарем стоял дубовый стол, на котором около глиняной чернильницы лежали в беспорядке бумаги. Вдоль стен расставлены разные орудия и машины странного вида. Напротив стола, на стене, висели большие часы.



Гейер, севши к столу, придвинул к себе связку бумаг, потер руки, как человек, принимающийся за любимое занятие, важно посмотрел на арестантов и сказал:

— По приказанию его высочества регента я должен вас допросить. Надеюсь, что вы будете отвечать удовлетворительно и не скроете ни малейшего обстоятельства, нужного для ясности дела. Объявляю вам, что эта крепкая железная дверь не откроется, пока не признаетесь во всем том, в чем вы обвинены самыми верными доказательствами пред его высочеством, регентом целой России и моим всемилостивым патроном и благодетелем. Какая бы черная была с вашей стороны неблагодарность за все его благодеяния, за все тяжкие труды, которые он подымлет ко благу общему и вашему, если бы вы, вместо искренности, вместо уверенности в его великодушии, вздумали оказывать притворство, лицемерие и скрытность! Везде, везде видны следы его мудрости, его неусыпных попечений! В прежние времена, когда ваша Россия... что я говорю!.. когда наше дражайшее отечество погружено было во тьму грубейшего невежества, кто из исполнителей тогдашних законов стал бы на моем месте терять слова и стараться довести вас до признания убеждениями? Вас бы велели тотчас же пытаться, не сказав вам ни слова; но ныне уже не те времена. Его высочество регент и мой всемилостивый патрон, в Германии почерпнувший свое глубокое просвещение, пересадил, по мере возможности, плоды образованности и на здешнюю ледяную и часто неблагодарную почву. Между многими благодетельными учреждениями он отменил унижительную для человечества русскую пытку, которая употреблялась только для воров и грабителей, и ввел порядок пытки европейский, наблюдаемый во всех просвещенных государствах. Будьте уверены, что я не отступлю и теперь от этого порядка ни на волос. Франц Гейер всегда умел строго и точно исполнять свои обязанности. Но пора уже приступить к делу. Господин капитан Ханыков обвиняется в том, что он неоднократно был в доме ее высочества цесаревны Елизаветы Петровны и нередко имел с нею продолжительные разговоры; что отзывался в дерзких выражениях о его высочестве регенте; что он осмелился сомневаться в силе и действительности акта о регентстве и упоминать о давно забытом и лишившемся всякой силы и действия завеща-

нии покойной Императрицы Екатерины I, по 8-й статье которого цесаревна Елизавета Петровна непосредственно по кончине императора Петра II, будто бы имела, равно как и ныне будто бы имеет неоспоримое право на всероссийский престол. Что скажете вы на это, господин капитан? Заметьте, что все мною прочитанное, не подлежит уже ни малейшему сомнению; что ваше преступление доказано, и что вас допрашивают только для того, чтобы вы искренним и подробным признанием показали свое раскаяние, открыли всех ваших сообщников, объяснили все ваши тайные планы и намерения и тем преклонили его высочество к великодушию. Это единственный способ спасения. Отвечайте, господин капитан!

— Я точно был несколько раз у ее высочества, но никаких худых намерений против правителя никогда не имел и не имею.

— Итак, вы намерены упорствовать и не признаваться? Жалею, очень жалею вас... но делать нечего. Господин поручик! Вы обвиняетесь как друг и сообщник капитана, знавший все его действия и решившийся ему способствовать во всех его зловредных планах. Чем оправдываетесь вы? Сверх того, вы должны подробно объяснить, когда и как отец ваш старался вас увлечь в феодосьевскую ересь?

— В этих обвинениях только то справедливо, что я друг капитана. Я горжусь этим! На остальное отвечать не хочу: все это самая низкая клевета!

— Ого, как вы горячитесь! Это весьма неблагоприятно, любезный поручик. Ну а вы что скажете? — продолжал Гейер, обратясь к Мурашеву и денщику. — Так как ты хотел способствовать побегу капитана и поручика, то, верно, принадлежишь к числу их сообщников; и ты, денщик, должен мне также все сказать, что знаешь. Отвечайте!

— С позволения вашего, — сказал Мурашев дрожащим голосом, — осмелюсь доложить, что я несколько не помогал капитану и поручику в их побеге. Это они сами объявили уже вам. Притом я, кроме доброго, ничего об них не слыхал и сказать не могу.

— Я также ничего знать не знаю и ведать не ведаю, ваше высокоблагородие! — продолжал скороговоркою

денщик, вытянувшись. — Мое дело исполнять, что приказывают.

— Итак, вы все, как я вижу, не признаетесь и принуждаете меня приступить к действию, которое называется в Германии Verbalterrition. Я, может быть, неблагоприятно поступаю, открывая вам, любезные мои капитан и поручик, порядок и технические названия моих действий; но это по крайней мере удостоверит вас, что его высочество регент и мой всемилостивый патрон умеет избирать исполнителей просвещенных, аккуратных, не отступающих ни на шаг от своих обязанностей. — Гейер встал, велел подойти к стене арестантам и, указывая по порядку на расставленные машины и орудия, продолжал:

— Для достижения истинного и полного признания обвиняемых собраны здесь разные средства, которые я должен объяснить вам, по моей обязанности.

Подробно описав орудия пытки,\* Гейер, в заключение, объявил арестантам, что для избежания истязаний остается им один способ: полное признание в преступлениях. Все отвечали то же, что и прежде.

— Вы меня принуждаете приступить к действию, называемому Verbalterrition. Господин капитан! Не угодно ли вам вложить левую руку в эту стальную машину. Эй, вы! — продолжал Гейер, обратясь к своим подчиненным, — покажите капитану, как это сделать должно. Хорошо! Заверните теперь винт. Довольно! Господин капитан, при втором повороте винта вы почувствуете боль нестерпимую. Признавайтесь!

— Нет, я не могу признаться в том, в чем не виноват.

— И Verbalterrition, то есть действие инструментов без причинения боли, как вижу, на вас не действует. К сожалению, теперь должен я приступить к действительной пытке. Поверните винт!

Ханыков стиснул зубы и побледнел.

— Третий поворот винта увеличит боль вдесятеро. Признаетесь ли?

— Я невинен; говорю вам, что невинен!

---

\* При слове «пытка» нельзя не вспомнить с чувством народной гордости, что наше отечество опередило на пути человеколюбия просвещеннейшие государства Европы, и что Екатерину Великую уничтожена была пытка еще тогда, когда в Европе считали ее необходимой принадлежностью судопроизводства.

— Не упорствуйте, капитан. Даю вам сроку пятнадцать минут. Если не признаетесь, то велю повернуть еще раз винт,— и тогда не ручаюсь за целостность костей в вашей руке. Взгляните на часы: теперь без двадцати минут полночь. Так и быть! Даю вам двадцать минут сроку.

— Замучьте меня до смерти, но я все буду гозорить одно и то же! — сказал твердо Ханыков.

Посреди следовавшего молчания раздавался только однообразный звук маятника. Каждый удар его болезненно отзывался в сердцах арестантов. Ханыков посмотрел на часы. Оставалась одна минута до истечения данного ему срока. Ослабев от страдания, он почти уже решился признанием избавиться от пытки и безвиново умереть на плахе.

В это время раздался стук в двери.

— Кто там? — спросил сердито Гейер.

— Отопри! — раздался повелительный голос.

Гейер торопливо схватил со стола ключ, подбежал к двери и отворил ее. Вошли два человека с факелами и за ними герцог Бирон. По данному им знаку дверь опять заперли. Лицо его было мрачным, брови нахмурены.

— Покажите мне признание преступников,— сказал он Гейеру.

— Ваше высочество! Я еще не успел...

— Не успел? — закричал герцог, топнув ногой.— А что я тебе приказывал сегодня утром? Я велел не терять ни минуты. Научу ли я тебя не медлить с исполнением повелений регента!

— Ваше высочество сегодня вечером изволили повелеть, чтобы завтра...

— Ты еще осмеливаешься мне возражать!? Молчи, бездельник. Завтра! ...Я велю обуть тебя и всех твоих ленивцев в испанские сапоги и оставить в них до завтра. Я надеялся, что ты, не ожидая моих приказаний, постарайся сегодня же все узнать и меня успокоить; но тебе, я вижу, все равно: спокойно ли сплю я ночь, или нет. Что ты делал до сих пор? Говори! Ты у меня был в девять часов вечера, а теперь полночь.

Оробевший Гейер, зная из многих примеров, что милость герцога от самых маловажных причин, а часто и без причины, переходит в ненависть, решился прибегнуть ко лжи, чтобы успокоить герцога, и отвечал, заикаясь:

— Я всех арестантов пытал по порядку мекленбургским инструментом. Никто ни в чем не признался.

— А испанские сапоги? Все мне надобно тебе указывать!

— Я решился прежде испытать действие этой стальной машины.

— В который раз винт повернут?

— Во втор... в третий, ваше высочество.

Бирон осмотрел внимательно машину и нахмурился.

— В забранных бумагах преступников не нашлось ли чего-нибудь?

— Ни одной подозрительной строчки.

Герцог сел к столу и начал перебирать бумаги. Наконец, подняв глаза и взглянув на Ханыкова, он спросил:

— Это кто? .

— Капитан Ханыков, главный из обвиняемых,— отвечал Гейер.

— Итак, ты не хочешь ни в чем признаться? — сказал герцог, устремив на него грозный взор.

— Я невинен, ваше высочество!

— И ты мне это смеешь говорить! — закричал Бирон, застучав кулаками по столу и вскочив со стула.— Отверните винт! Возьми его, Гейер, и вели замуровать,— пусть он, замурованный в стене, умрет с голоду!

Все содрогнулись. Ханыков, призвав на помощь все свое хладнокровие, твердо сказал герцогу:

— Я готов на казнь, какую угодно! Повторяю, что я невинен. Если вашему высочеству угодно казнить меня по неизвестным мне причинам,— казните!

— Зачем был ты в доме ее высочества?

— Она тайно благодетельствовала покойному отцу моему. Благодарность в сердце сына не есть еще преступление.

— Чем докажешь ты, что одна благодарность заставляла тебя посещать дом ее высочества, и что под этим предлогом не скрывал ты злых намерений против меня?

— В бумагах моих вы, вероятно, можете отыскать письмо отца моего, которое я получил незадолго до его смерти, во время похода: оно удостоверит ваше высочество, что я говорю правду.

Герцог, пересмотрев бумаги, нашел письмо, о котором говорил Ханыков. В нем отец его писал о своей усилившейся болезни и завещал сыну за благодеяния, оказанные ему цесаревной Елизаветой, питать к ней, во всю жизнь, благодарность.

Прочитав внимательно письмо, Бирон задумался.

— Это письмо ничего не доказывает... В чем обвиняются все прочие преступники? — спросил он Гейера.

— Они обвиняются только как сообщники капитана.

— Хотя доказательства преступлений ваших слишком ясны, — продолжал Бирон, — но я хочу всем вам показать, как я охотно прощаю виновных тогда, когда это не угрожает общей безопасности. Гейер! Освободить их теперь же! Однако же предупреждаю вас, что если после этого вы в чем-нибудь еще окажетесь виновны, хоть в одном дерзком или нескромном слове, то не ждите уже пощады.

Ханыкову и всем прочим завязали глаза, взяли их под руки и вывели в коридор. Вскоре они почувствовали себя на свежем воздухе. Потом их посадили в лодку, долго везли и, высадив на берег, повели далее.

Наконец толпа остановилась. Прислужники Гейера развязали всем глаза и начали кланяться капитану, поручику и Мурашеву.

— Имеем честь поздравить! — сказал один из них.

— С чем? — спросил Ханыков.

— С милостью герцога. А на водочку-то нам, ваше благородие! — продолжал прислужник, почесывая за ухом. — Ведь немало мы из-за вас хлопотали сегодня!

Мурашев, пожав плечами, дал ему рублевик, и прислужники, пожелав всем спокойной ночи, удалились.

— Где мы теперь? — спросил Ханыков, осматриваясь.

Сквозь тонкий ночной туман, расстилавшийся в нижних слоях воздуха, с трудом можно было различить вдаль освещенные месяцем здания.

— Мы, кажется, посередине Царицына луга, — сказал Мурашев. — Вон, справа чернеется Летний сад, а слева видна Красная улица. Уф, батюшки! не в аду ли мы были?.. Куда же пойдем теперь? Милости просим ко мне: дом мой недалеко отсюда.

Все пошли к дому Мурашева. Приблизясь к воротам, начали стучаться в калитку.

— Кто там? — закричал прислужник Гейера, выглянув из окна.

— Я хозяин этого дома. Пустите!

— Убирайся! Нам приказано стеречь дом и никого не впускать сюда.

— Вот тебе на! Хозяина в свой дом не пускают! Послушай, любезный, его высочество, сам герцог...

Окно захлопнулось, и Мурашев замолчал. Как ни стучались в калитку, все понапрасну.

— Что станешь делать? — воскликнул Мурашев. — Придется ночевать на улице, у ворот своего дома.

— Пойдемте к моему батюшке! — сказал Аргамаков. — Вон, дом его отсюда виден.

— Это дело! — подхватил Мурашев. — Да пустит ли он нас? Ведь он такой пустынный!

Вскоре все приблизились к воротам дома, постучались, но никакого ответа не было. Отец Аргамакова, строго соблюдавший правила феодосьевщины, наложил на себя две тысячи земных поклонов за то, что впал в суету, то есть сообщил в тот день с никонианами\*. Умирая от жажды, он остановил на улице разносчика и выпил два стакана квасу из кружки, к которой прикасались губы, без сомнения, многих никониан. Раздавшийся у ворот стук застал его на тысяча двадцать пятом поклоне. Если б в это время сказали ему, что сын его упал в Фонтанку и тонет, то прежде досчитал он положенное число поклонов, а потом бы уж побежал спасать сына\*\*.

Даже хладнокровный Ханыков начинал уже терять терпение, когда отворилась фортка, и шарообразно об-

---

\* Так называли они всех не отделившихся от православной Церкви после исправления церковных книг патриархом Никоном.

\*\* В 1751 году 1 октября были сочинены раскольниками феодосьевского толка сорок шесть правил Феодосьевского собора. За нарушение их положены в наказание большею частью поклоны, которых в сложности определено 13 600. Раскол этот основан в 1706 году дьячком Крестецкого яма Феодосием Васильевым, который, по перекрещении в раскол, назвался Дионисием.

стриженная голова с седой бородой высунулась оттуда\*.

— Кто там?

— Это я, батюшка!

— Да ты не один?

— Это два моих приятеля и мой денщик. Нельзя ли нам ночевать у вас? Мы были все в большой беде, но она счастливо миновалась.

— В беде? Что мудреного! Кто нынче по ночам бродит, тот как раз в беду попадет. Нынче и днем-то ходи да оглядывайся.

— Да нас только что из-под стражи выпустили. Мы так измучились, что не в силах идти далее и ляжем спать на улице, если нас не впустите.

— Не впустите! Кто тебе говорит это? Грешно было бы вас не впустить: теперь вы почти то же, что бесприютные странники. Подождите, я сейчас отворю ворота.

Мудрено описать ужас и сожаление старика Аргамакова, когда сын, войдя со всеми прочими в дом, рассказал ему их приключение.

На другой день, когда все проснулись и встали, старик Аргамаков пригласил всех к завтраку и посадил сына с гостями за большой стол, а сам сел за особенный, чтобы в пище и питье не сообщиться с никонианами.

— Давно уж мы не видались с вами, Илья Прохорович! — сказал Мурашев. — А близко друг от друга живем!

— Что делать, Федор Власыч! Не одного мы стада овцы.

— С позволения вашего, это для меня очень прискорбно. В старину мы были очень с вами дружны, хлебали часто вместе стерляжью уху, лакомились осетриной, но с тех пор, как вы рассудили перекреститься в фео-досьевскую веру, ни разу вместе ухи не хлебали.

— В фео-досьевскую? Что за фео-досьевская! Скажи — в истинную, Федор Власыч.

— С позволения вашего, я спорить с вами не стану. У меня есть книжица небольшая, именуемая «Советы премудрости», в ней сказано: «Неоднократно во всяком

---

\* По правилам фео-досиан наказывались сотнею поклонов те, которые не стригли волос по всей голове кругло, и даже отлучались от их сообщества.



веке случается, что маленький философ хватается свидетельствовать веру, или переделывать элементы и перевертывать свет низом вверх. Не доверяй сам себе и твоему рассуждению. Новизна есть такой путь, который приводит к древнейшему греху, то есть отступлению. Причиною всегдашнего усматривания находившихся в таком погибельном и злосчастливом пути многих знатных особ, сие есть, что бес всегда по оному пути прежде всех ходил. Каков бес ни есть, однако в такое время, когда он через притворство показывает себя богоязливим, бывает угоден женскому полу.»

— Федор Власыч! Пристало ли тебе в моем доме говорить мне укорительные слова? Никто из наших собратьев не походит на беса, не притворствует и не угрождает женскому; у нас главное правило: убегать от всякой женщины.

— Вы не поняли меня, Илья Прохорович! Я хотел только сказать, что большие философы, то есть настоящие мудрецы, никогда не берутся свидетельствовать веру, а хватаются за это маленькие, и всегда с истинного пути сбиваются. Вашу, например, веру установил, как говорят, дьячок Крестецкого яма, Феодосий. С позволения вашего, мне кажется, что его и маленьким-то философом назвать нельзя: он был дьячок да и только; а многих, однако, приманил на свою уду и поймал.

— Федор Власыч! Не порицай при мне нашего учителя и не осуждай ближнего за его звание. Бог смотрит на сердце, а не на звание наше.

— Не сердитесь, Илья Прохорович! Я, пожалуй, замолчу; но с вашего позволения, никогда бы не поверил я дьячку.

— Все вы, никониане, так упорствуете против истинного учения!

— Да чем доказать можно, что оно истинно?

— Чем!.. чем!.. Давай, например, мне самого злого зелья: я выпью — и мне ничего не сделается. Уверуешь ли ты тогда? Поклянитесь все вы, теперь меня слушающие, обратиться к вере истинной, если увидите совершившееся чудо. Поклянитесь! Я сейчас готов испить чашу с зельем для обращения и спасения вашего. Не отступлю от веры истинной до конца! Не испугаешь меня и ты, правитель нечестивый, еретик Бирон! Вели сжечь

меня: я готов принять венец мученический; не устрашусь угроз твоих.

— Разве Бирон угрожал вам, батюшка? — спросил молодой Аргамаков, которого привели в беспокойство последние слова отца.

— Да, любезный сын. На меня кто-то донес ему; секретарь его приходил ко мне и объявил, что меня сожгут, как Возницына, а все мое имение возьмут в казну, если я не подпишу клятвенного отречения от веры моей. Он дал мне два дня на размышление.

— Боже мой! — воскликнул сын, вскочив со стула. — Батюшка! Неужели вы захотите погубить себя?

Он любил искренно своего старого отца, несмотря на все его странности. Никогда и мысленно не осуждал он его усердие к расколу. Честность старика Аргамакова, его бескорыстие и готовность помогать ближнему невольно заставляли всякого уважать его, кто имел случай узнать его поближе. Сын всегда избегал прений с отцом своим о вере, убедясь из опытов, что они огорчали только старика, зато и старик горячо любил своего сына за его почтительность, никогда не сердился на него за разность религиозных мнений и питал в душе тайную надежду, что пример его и кроткие убеждения побудят, наконец, сына принять учение, которое считал старик истинным.

Гибель, грозившая отцу, принудила молодого Аргамакова высказать ему все, что он думал об учении фео-досьевского раскола. С жаром просил он его не противиться воле Бирона и отказаться от своего заблуждения.

— Вот до чего дожил я! — воскликнул старик, подняв глаза к небу. — Сын искушает меня и хочет ввергнуть душу в вечную погибель! Нет! Не будет этого. Замолчи, искуситель! Не совратить тебе меня с пути истинного; не лишишь ты меня венца мученического. Вижу, вижу тайные помыслы твои. До сих пор я не давал тебе благословения на женитьбу, и ты надеешься, что, совратив меня с пути спасения, упросишь благословить тебя на брак. Не губи отца твоего для угождения страстям своим. Не соглашаясь на женитьбу твою, я надеялся сохранить для тебя сокровище целомудрия и открыть двери райские. Я желал тебе добра, нескончаемого блаженства, а ты...

Старик закрыл лицо руками и заплакал.

— Бог свидетель,— воскликнул с жаром сын,— что я не о себе теперь думаю, батюшка: одна любовь к вам заставила меня говорить.

— Через день меня не будет уже на свете: пострадаю за мою веру. Пусть прах мой обратится в пепел и развеется ветром: временный огонь спасет меня от вечного.

Сказав это, старик подошел к сундуку и вынул оттуда кожаный кошелёк, наполненный золотом.

— Любезный сын! Вот все, что я накопил честными трудами в течение целой жизни. Отдаю это тебе... Не забывай бедных... Если ты уже не можешь быть счастливым в этой жизни без брака, даю тебе мое благословение... Прости, Господи, слабость мою!.. Потщись, любезный сын, другими добрыми делами вознаградить неоцененное сокровище целомудрия, которое ты потеряешь, и заслужить вечное блаженство. Будь счастлив и в этой жизни и в будущей, и молись за грешного отца твоего.

— Нет, любезный батюшка! Вы не умрете: я спасу вас во что бы то ни стало.

Ханыков, погруженный в мрачные размышления, ходил взад и вперед по комнате. Мурашев, растрогавшись, утирал рукавом слезы, которые навертывались на его глаза. Старик Аргамаков возбуждал к себе чувство, в котором уважение к его твердой решимости и сожаление об его заблуждении сливались странным образом.

Мурашев тихонько вышел из комнаты и побрел к своему дому, придумывая средство к спасению отца своего молодого приятеля. Прислужник Гейера, выглянув из окна, снова разбранил и отогнал хозяина от ворот. Мурашев, в свою очередь, разбранив про себя прислужника и облегчив этим сердце, отправился отыскивать Гейера, чтобы просить его о приказании освободить дом его из-под караула. Целый день бродил он по всему городу, но Гейер, как клад, нигде не показывался. Мурашев поздно вечером вынужден был опять возвратиться на ночлег к старику Аргамакову. Срок, данный последнему на размышление, должен был истечь на другой день утром. Валериан и друг его, Ханыков, истощили все просьбы и убеждения. Ужасаясь участи, ожидавшей старика, целую ночь они советовались и ничего не могли придумать.

Утром явился Гейер с прислужником, с тем самым, с которым он, завернутый в плащ, за несколько дней до того разговаривал на Симеоновском мосту.

— А! — сказал он, — да здесь все знакомые! Нельзя ли, господа, выйти на минуту в другую комнату: я должен переговорить с хозяином дома.

Все повиновались.

— Ну, почтенный! — продолжал он, обратясь к старику Аргамакову, — я прислан к тебе от его высочества. Ты, надеюсь, уже решил отказаться от ереси. Подпиши эту бумагу: я представляю ее герцогу; и дело кончится тем, что ты заплатишь штраф да за тобой представят надзор.

— Я уже сказал, что ни за что на свете не сделаюсь отступником от истинной веры, и теперь тоже повторяю. Пусть сожгут меня, не хочу откупиться от блаженной смерти мученика; не возьму греха на душу: купить за деньги право поклоняться Господу поклонением истинным.

— Ого, любезный! Да ты, я вижу, упрям до чрезвычайности. Так знай же, что если не одумаешься и будешь противиться воле герцога, то я теперь же возьму тебя под стражу, и через несколько дней тебя сожгут.

— Делайте со мною, что хотите: на все готов за веру истинную.

— Хорошо! Прекрасно!.. Стереги его и никуда не выпускай! — сказал Гейер своему прислужнику. — Я сейчас же должен съездить к его высочеству и обо всем доложить. Признаться, старик, мне за тебя страшно!.. До свидания!

Гейер удалился, а Валериан и Ханыков с Мурашевым немедленно вошли опять в комнату. Узнав, чем кончились переговоры между стариком и Гейером, Валериан не мог удержать слез своих, Ханыков пожал плечами и вздохнул, а Мурашев начал ходить большими шагами по комнате, восклицая:

— Ах, Господи Боже мой! Что за напасть!

Наконец он обратился вдруг к прислужнику Гейера, взял его за руку и вызвал в другую комнату.

— Я тебе, почтенный, заплачу пяток червонцев, если не помешаешь мне сделать то, что я придумал. Согласен

ли ты? Я, авось, уломаю старика: он подпишет отречение и штраф заплатит.

— Пожалуй, я согласен. Только выпустить его отсюда никак нельзя! — отвечал прислужник.

— Да и не нужно! Возьми же, любезный, вот тебе пять червонцев.

Федор Власыч после того куда-то отправился, и вскоре возвратился, неся в склянке какую-то жидкость.

— Ты обещал нам, Илья Прохорыч, — сказал он старику Аргамачову, — показать чудо для обращения нас к вере истинной, и спрашивал: уверуем ли мы, если ты выпьешь яду, и тебе ничего не сделается? Хотелось бы мне убедиться в истине веры твоей. Я бы тотчас же в твою веру перекрестился.

— Поклянись в этом! — воскликнул старик, с восторгом схватив его за руку.

— Изволь, клянусь! Только...

— Что у тебя в склянке?

— Яд, да какой! Ну такое злое зелье, что и глядеть на него страшно!

— Давай сюда! Помни же свою клятву. Мне приятно перед смертью, которую приму от Бирона, обратить еще одного ближнего на путь истины.

— Батюшка! Что вы делаете! Остановитесь! Я донесу на вас, Федор Власыч, как на отравителя, если осмелитесь дать батюшке хоть каплю этого яда.

— Не мешай мне, сын, и не бойся. Увидишь, что я останусь невредим. Дай сюда склянку, Федор Власыч!

— Не давай, не смей давать! — закричали Валериан и друг его, бросаясь к Мурашеву.

— Да не горячитесь, господа! Не забудьте, что это чудо может послужить к общему нашему спасению. Я ведь не вдруг же дам яду, я поступлю осторожно: не бойтесь!

Офицеры, хотя и не поняли еще намерений Мурашева, но удостоверились, что он вреда никакого не делает.

Взяв стакан, Мурашев вылил в него из склянки половину жидкости.

— По-настоящему, мне нельзя этого дозволить! — сказал прислужник.

— И! Почтенный! — возразил Мурашев, — будь спо-

коен: я не дам Илье Прохорычу ни капли! Что мне за охота в беду попасть!

Старик Аргамаков, между тем, неожиданно схватил стакан и выпил. Прислужник ахнул и устремил на него глаза с любопытным ожиданием; молодой Аргамаков и друг его, сильно встревоженные, не знали, что делать, и с беспокойством смотрели то на старика, набожно поднявшего глаза к небу, то на Мурашева, потупившего глаза в землю. Несколько времени длилось молчание.

К изумлению всех, выпитый яд не произвел никакого действия. Одного Мурашева это не удивило; он, для спасения соседа своего от костра, придумал дать ему, под видом яда, голландской полынной водки, зная, что старик, с молодых лет строго державшийся правил феодосиан, никогда не пивал даже простого русского вина, а о вкусе иностранных водок не имел и понятия.

— Веруешь ли теперь? — спросил Аргамаков Мурашева торжественным голосом. — Своими глазами ты видишь чудо, совершившееся надо мною, недостойным: злое зелье мне не повредило. Поклонись же нашему Богу, и отрекись от вашего.\* Помнишь ли свою клятву?

— Удивительное дело! — прошептал Мурашев с приторным смущением. — Может быть, я достал яду не такого сильного! Притом ты выпил менее половины склян-ки.

— Давай еще, давай полный стакан! Увидишь, что и от этого мне ничего не делается.

— Ну, не ручайся, Илья Прохорыч.

— Наливай, не сомневаясь! Узришь еще большее чудо, и тогда отречешься от своего нечестия. Наливай полнее! Не страшись и не опасайся. Я выпью, пожалуй, еще третий стакан, если двух мало, для обращения твоего к нашей вере истинной.

— Нет, Илья Прохорыч, и двух будет довольно.

Естественно, что от двух стаканов полынной водки у набожного старика зашумело в голове. Природный его характер, решительный и склонный к веселости, давно и постоянно подавляемый строгими правилами феодосьевского раскола, начал прорываться за эту преграду, как в весеннее половодье речка через ветхую плотину.

---

\* Феодосиане утверждали, что у них один Бог, а у не принадлежащих к их расколу — другой.

— Ну что, любезный Федор Власыч,— сказал он, бодро расхаживая по комнате,— ты теперь уже наш?

— Нет еще, Илья Прохорыч.

— Как нет? Ты видишь, что мне ничего не сделалось. Истинно, я от твоего зелья чувствую себя только веселее. Так, что-то на душе легко.

— Послушай, Илья Прохорыч, я тебе дал клятву, и ты мне также дай. Если ты через полчаса пройдешь из этого угла в другой, то есть от запада к востоку, прямо, то докажешь неоспоримо, что вера твоя прямая и истинная,— тогда я твой; если же не исполнишь этого и повернешь в сторону, на север или на юг, тогда будет это знамением, что вера твоя не истинна. Поклянись, что ты тогда от нее отречешься и будешь наш.

— Изволь, любезный Федор Власыч, изволь, клянись благочестивым Дионисием, великим учителем нашим и старшим наставником в древнем благочестии. Увидишь, что я хоть по ниточке пройду сто раз из угла в угол, и не сверну ни направо, ни налево.

Мурашев усадил старика на софу, и когда прошло полчаса, напомнил ему клятвенное его обещание. Аргамаков, встав в угол комнаты и оборотясь лицом к востоку, твердыми шагами пошел в другой угол.

— Видишь, Федор Власыч,— сказал он, остановясь посередине комнаты,— сбиваюсь ли я с прямого пути? Доколе будешь упорствовать в твоём неверии?

— Да ведь ты еще не дошел до другого угла, Илья Прохорыч.

— За этим дело не станет,— вот, смотри!

— Эй, эй! К югу заворачиваешь, или нет, поправился. А вот уж теперь, воля твоя, тебя несет невидимая сила прямо к северу.

— Неправда. Летом прямехонько против этого окошка солнце восходит — именно тут истинный восток. Да подожди, впрочем, я снова из угла в угол пройду. Смотрите!

В этот раз невидимая сила увлекла усердного последователя феоодосьевского учения прямо к югу, и так быстро, что он верно бы упал, если б не успел сесть на софу.

— Горе мне, грешнику! — воскликнул он, сплеснув руками.

— Теперь уже видишь ты сам, Илья Прохорыч, что забрел в такую сторону, где солнце никогда не восходит.

— Горе мне, грешнику! Что я сделал? Погиб я, пропал навеки! Верно, лукавый положил мне под ноги камень преткновения.

— А клятву свою ты не забыл, Илья Прохорыч? Ты ведь поклялся вашим великим учителем Дионисием.

— Поклялся, истинно поклялся, делать нечего! — воскликнул старик, вскочив с софы.

— И верно не захочешь быть клятвопреступником?

— Клятвопреступником? Чтоб я сделался клятвопреступником!? Нет, не будет этого! Не только клятву, но и простое слово всегда я свято исполнял... Не поддерживал ты меня, Дионисий, и я тебя не поддерживаю. Сам ты виноват, впредь своих не выдавай.

— Да кого может дьячок поддержать, Илья Прохорыч? Верно, его самого, когда он был жив, нередко поддерживали другие, особенно в праздники. Плюнь на него, он просто обманщик.

— Не говори хулы! — сказал старик с глубоким вздохом. — Может быть, я недостоин его помощи, и он от меня отступился.

— Ну так ты отступишь от него. Хорош же он, когда сам показал, что вера его не прямая и не истинная. При этом клятва твоя...

— Да, клятва, клятва! Связала она мою душу. Поторопился я! Этой клятвой погубил я себя, погубил навеки!..

— И, полно, Илья Прохорыч! Дьячок Феодосий был, с позволения вашего, плут и, верно, сам в аду сидит. Что его бояться?

— Мне кажется, что для вас будет менее опасности, когда вы сдержите клятву, — сказал Ханыков. — Если же решитесь ее нарушить, то вы останетесь клятвопреступником перед вашим наставником в вере, и не можете после того ожидать от него ничего доброго.

— Правда, правда! — сказал старик. — Господи! Покажи мне путь истинный!

— Ну, подпиши же это, благословясь, Илья Прохорыч! — продолжал Мурашев, подавая ему бумагу, оставленную Гейером. — Вот тебе и перо.

Мучительная борьба души яркими чертами изобразилась на лице старика. Он поднял глаза к небу, сложив судорожно руки, и долго пробыл в этом положении. Все присутствовавшие молчали, волнуемые надеждой и сом-



нением. Наконец старик, перекрестясь, схватил перо и подписал бумагу.

Сын бросился обнимать его. Мурашев, глядя на них, чуть не плясал от радости. Ханыков подошел к нему и крепко пожал ему руку.

— Теперь остается заплатить штраф, когда возвратится сюда господин секретарь его высочества — и дело будет кончено! — заметил прислужник Гейера. — Только советую всем не разглашать этого дела, а не то легко может случиться, что почтенного хозяина, несмотря ни на отречение, ни на штраф, сожгут своим порядком.

— За штрафом остановки не будет, — сказал Мурашев. — Молчать мы также умеем, а теперь не мешало бы и пообедать. Я так голоден, что едва на ногах стою.

Старик Аргамаков послал своего работника в близкую гостиницу и велел принести самый роскошный, по тогдашнему времени, обед.

Когда накрыли на стол, явился Гейер. Он еще не доложил герцогу об упорстве старика Аргамакова, надеясь, что страх казни заставит его одуматься и заплатить штраф, который для почтенного секретаря был всего важнее. Валериан, с согласия отца, вручил Гейеру сорок червонцев, которые тот потребовал, и секретарь с прислужником удалился, дав также совет соблюдать величайшую скромность, чтобы это оконченное дело опять не возобновилось и не довело старика до костра. На просьбу Мурашева Гейер обещал немедленно освободить дочь его и сестру из-под караула. При этом обещании лукавая улыбка мелькнула на лице Гейера.

Все сели за обед. Старик Аргамаков сел за стол вместе с другими и вздохнул, почувствовав, по привычке, упрек совести за общение в пище с никонианами.

После стола Мурашев, порядочно выпивший на радостях, немедленно отправился домой, полагая, что уже его туда впустят по приказанию Гейера. И точно, он беспрепятственно вошел в комнаты, но весьма удивился, не найдя в доме ни сестры, ни дочери. Дворник сказал ему, что они обе уехали в карете с каким-то генералом, что Дарья Власьевна оделась по-праздничному, в платье с преширокими боками, и что Ольга Федоровна очень плакала, садясь в карету.

— Что за вздор! — воскликнул удивленный Мурашев. — Верно, сестра вздумала против воли увести ее

куда-нибудь в гости. Да генерал ли за ними приезжал? — спросил он дворника. — Не камер-лакей ли? У сестры, кажется, нет знакомого генерала.

— Не знаю, хозяин. Кажись, генерал приезжал — а и то сказать, наверное не ведаю. Может статься, что и камер-лакей. Не всегда их распознаешь! Видел я только, что у него на кафтане множество золотых вычур.

— Ну, так это камер-лакей! Верно, сестра изволила отправиться в гости к Ивану Ивановичу. Выбрала же время, сумасшедшая!

Успокоясь этой догадкой, Мурашев пошел в свою комнату. Вдруг пришло ему в голову написать письмо к старику Аргамачу и поблагодарить его за угощение. Мысль эта родилась от попавшейся на глаза его книги «Приклады, как пишутся комплименты разные». Он поискал форму благодарного писания за доброе угощение и переписал ее слово в слово, не приметив, что в переписанной им форме многие обстоятельства вовсе не шли к настоящему случаю. Через два часа старик Аргамачов получил следующее письмо:

«Благошляхетный, особливо высокопочтенный господин, знатный патрон!

Моя должность и повеление от всей компании, которая честь имела от вас так изрядно удовольствована быть, понуждает меня моему высокодрагому благодетелю, за все полученные учтивства и великие благодеяния должное благодарение отдать и при том вас во имя всех и каждого особо обнадежить, что мы никакой оказии не пропустим нашу должность через возможное воздаяние в самом деле паки воздать. Дорога в город назад нам ело трудна была, и в том моего высокого благодетеля чрезмерная благодать винна была, понеже мы принуждены были столько изрядных рюмок за здравие прекрасных испорожнять, так что господин имярек весьма при возвращении в некоторое погрешение впал, за что на него госпожа девица имярек, штраф или пеню наложила, что он принужден последующего утра коляцию (или вечеринку с конфектами) учинить, при которой и о вас высокопочтенном господине не однажды поминали, и правда общее желание к тому было, чтобы мы могли честь иметь вас здесь у нас видеть, и вам через возможное услужение, нашу преданность и склонное благоволение показать, всегда бы вы, мой высокопочтенный гос-

подин, нам здесь, то великое счастье вкратце изволить подать, то вы бы чрез то многих вяще облиговал: между которыми я, особливо себя вам высоко обязана быть признаваю моего высокопочтенного господина и знатного патрона к услугам готовый

Федор Мурашев».

Наступил вечер. Мурашев послал дворника к своему знакомому камер-лакею, Ивану Ивановичу, чтобы звать сестру и дочь скорее домой, но дворник возвратился с ответом, что они за весь тот день не приезжали ни на минуту к Ивану Ивановичу, и что сам Иван Иванович находится в большом горе, потому что у него накануне сбежала неожиданно ключница, к которой десять лет он имел полное доверие, и унесла его одеяло, халат, бронзовые пряжки, медный кофейник и парадные штаны.

— Побери его нелегкая со всеми его штанами! — воскликнул Мурашев. — Не знаю, что и делать! Куда это, Господи, девалась моя Ольга?

Теряясь в догадках, побежал он в дом старика Аргамакова в намерении посоветоваться с Валерианом и Уаныковым.

— А! Дорогой сосед опять ко мне пожаловал! Мы только что за ужин хогели сесть, — сказал старик Аргамаков. — Да, скажи, ради Бога, что за письмо ты ко мне прислал?

— Мы трое его разбирали, но не все поняли, — прибавил Ханыков.

— Как не поняли? Я написал к Илье Прохоровичу благодарное писание за доброе угощение. Это уже так водится между всеми хорошими людьми.

— Благодарствую, Федор Власьич! Только отчего же ты пишешь, что дорога в город тебе была трудна? Ведь и я живу не за городом, по ту сторону Фонтанной речки, да и далеко ли от моего дома до твоего!

Мурашев, у которого вместе с парами наливов вылетело из головы содержание выписанного им из книги письма, ничего не отвечал на вопрос.

— Еще ты пишешь, что мы опорожнили множество рюмок за здоровье прекрасных. В наши ли лета, Федор Власьич, пить за их здоровье? Я подумал, что ты надобно смсешься. Ты ведь один давеча от меня домой пошел?

— Один-одинехонек. С кем же мне было идти?

— А как же ты пишешь, что какой-то господин с тобой вместе возвращался, впал в какое-то погрешение, и какая-то девица на него пени наложила, а именно: вечеринку с конфектами, на которую и я приглашен. Пожалуй, я бы пошел, да не знаю, к кому и куда.

— Неужто это у меня в письме написано? — сказал Мурашев, смутясь.

— Вот письмо твое, посмотри сам. Скажи-ка, что за девицу ты провожал? — продолжал Аргамаков, грозя пальцем Мурашеву.

— Какой ты, Илья Прохорыч! Да ведь все это так только пишется, это называется комплимент, а ты подумал, что уж все так и вправду было, как написано. Впрочем, не до письма мне теперь, у меня дома неблагополучно.

— Что такое? — спросили все в один голос.

— Сестра и дочь пропали.

— Как пропали! — воскликнул Валериан, бледнея.

— Дворник мой говорит, что какой-то генерал увез их в карете. Не знаю, что и подумать.

По общему совету решили: если Дарья Власьевна и Ольга не возвратятся домой к ночи, на другой день, на рассвете, начать их искать по всему городу.

## VII

Несколько дней прошло в напрасных поисках и расспросах. Валериан был в отчаянии.

В день рождения супруги герцога Бирона, курляндской дворянки Трейден (которая, по свидетельству современников, отличалась ограниченным умом и неограниченной гордостью), назначена была, по ее требованию, несмотря на ноябрь месяц, иллюминация в Летнем саду и на Царицыном лугу, на котором в то время были насажены в разных местах деревья. Прелестной решетки Летнего сада тогда еще не было. На ее месте, близ дворца Петра Великого, по берегу Невы, не отделанному еще гранитом, тянулся длинный деревянный дворец, построенный в 1732 году императрицей Анной Иоанновной; в стороне от дворца стояла каменная гауптвахта; далее, на берегу Фонтанки, возвышалась беседка в ви-

де грота, украшенная морскими раковинами. Сад отделялся от Царицына луга каналом; по другую сторону луга, от того места, где ныне Мраморный дворец и где тогда, после сломанного Почтового двора, устроили площадь, проведен был другой канал из Невы в Мойку. Ряд зданий, находившихся на берегу последнего канала, назывался Красной улицей. Примечательнейшим из этих зданий был собственный дворец императрицы Елизаветы Петровны, в котором она жила до вступления на престол.

Наступил вечер, на счастье, сухой и не слишком холодный, и безлиственные аллеи Летнего сада осветились шкаликами. На Царицыном лугу, между деревьев, зажглись изредка плошки; только в одном месте на лугу ярко освещены были шкаликами березы, обсаженные кругом площадки, где стояли огромные качели и карусель. Первая состояла из деревянного льва, повешенного на веревках за высокую перекладину; на львиный хребет с одной стороны садились дамы, с другой мужчины, и послушный царь зверей качал свою ношу из стороны в сторону. Карусель была устроена из большого деревянного круга, по краям которого стояли четыре деревянные, оседланные лошади, а между ними столько же саней на высоких подставках. Круг поворачивали около толстого деревянного столба, а сидящие на лошадях и в санях старались тонкими копьями снимать развешанные над ними железные кольца. Кто больше снимал колец, того провозглашали победителем. Валериан, Ханыков и Мурашев печально ходили в толпе народа: им было не до гулянья. Они внимательно смотрели на каждого попадавшегося им навстречу генерала, если вместе с ним шли женщины.

— Авось, сегодня загадка разгадается! — говорил Мурашев со вздохом. — Теперь весь город собрался в сад. Может быть, мы где-нибудь увидим Ольгу или, по крайней мере, глупую мою сестру.

— Я все думаю, — заметил Ханыков, — не попались ли они в руки Гейера? Если так, то их, верно, не будет на гуляньи.

— Да отчего же бы моя сестра нарядилась по-праздничному и надела свои фижмы? Кого Гейер потащил к себе, тому не до нарядов.

Долго бродили они по саду и, наконец, выйдя на Царицын луг, приблизились к окруженной деревьями площадке, где стояла карусель. На лошадях сидели трое мужчин и одна женщина, с копьями в руках; сани также были заняты игравшими. Деревянный круг быстро обращался около столба и производил такой скрип,

Как будто тронулся обоз,  
В котором тысяча немазанных колес.

При каждом снятом кольце раздавалось общее восклицание «браво!»

— Что за дьявольщина! — проворчал Мурашев, всматриваясь в кружившуюся на деревянной лошади женщину, — это, кажется, моя сестрица изволит отличаться?

— Быть не может! — возразил Ханыков.

— Это именно она! — воскликнул Валериан.

— Что за диковина! — продолжал Мурашев. — Пойдемте поближе.

Сквозь толпу зрителей они протеснились и стали подле карусели. В самом деле, в черной бархатной шапочке, с красным страусовым пером, в генеральских фижмах, в длинной мантилии ярко-оранжевого цвета, которая величественно развевалась, как адмиральский флаг во время сильного ветра, носилась Дарья Власьевна на деревянном коне около столба и ловко поддевала длинным копьём развешанные кольца. На лице ее сияло удовольствие или, лучше сказать, восторг. Подхватив на копьё кольцо, она торжественно и гордо посматривала на зрителей, и восклицание «браво!» сильнее потрясло ее сердце, нежели клик «ура!», которое потрясает сердце полководца во время решительной битвы. В одних из саней сидела Ольга рядом с каким-то генералом, который с ней разговаривал и смеялся, вероятно, стараясь ее развеселить. Судя по ее потупленным глазам и бледному лицу, можно было легко заметить, что бедной девушке было вовсе не до веселья.

Валериан задрожал от гнева, увидев Ольгу. Рука его невольно упала на рукоятку шпаги, и он верно бы бросился к генералу, если бы Ханыков не остановил его. крепко схватив своего друга за руку.

— Ради Бога, успокойся! Разве ты не видишь, что это брат герцога?

— Пусти меня! — кричал Валериан, вырываясь, — пусти меня к этому бездельнику!

— Вспомни, что и где ты говоришь. Ты себя погубишь!

На счастье, сильный скрип деревянного круга заглушил голос Валериана, так что никто из близстоявших зрителей не мог расслышать его слов.

Между тем Мурашев с беспокойством смотрел на дочь свою, не зная, что подумать, и изредка поглядывал на Дарью Власьевну с такой досадой, что у него в горле дух перехватило.

Случайно она его увидела в толпе. Мурашев погрозил ей кулаком, а Дарья Власьевна, в вихре удовольствия не заметив этого движения, жеманно кивнула головой, прищурила один глаз, улыбнувшись в знак того, как ей было весело, и, приложив концы своих пяти пальцев к губам, послала по воздуху поцелуй брату.

— Недаром сказано в «Советах премудрости», — ворчал сквозь зубы Мурашев, желая чем-нибудь себя успокоить. — Приключилась в нашей натуре порча, коя производит беспутные дела по большей части в женщинах. Сила дымов и паров, слабость душевных органов и мысли и, наконец, слепота ума причиняют многие слезы тем, кои их любят. В них виды предметов огненные, легкомысленные, заблуждательные. Мечтание нежное и слабое последует их заносчивости. Что от нас называется своенравием, упрямством, неистовством, то многократно бывает бесом, который входит в их голову и заставляет их делать то, что мы видим.

Между тем все кольца были сняты играющими, деревянный круг остановился, и стоявший посредине круга, у столба, секретарь герцога Гейер, пересчитав все снятые кольца, провозгласил:

— Девушка фон Мурашева осталась победительницей!

— Bravo! — закричали все участвовавшие в игре и захлопали в ладоши. Гейер подбежал к Дарье Власьевне и помог ей слезть с деревянного коня. Она начала раскланиваться и приседать, повертываясь во все стороны. Генерал, подав Ольге руку, вышел с ней из саней, адъютант его взял под руку Дарью Власьевну, и все общество пошло к деревянному льву, на котором качалось другое общество.

Генерал, шедший с Ольгой, был старший брат Бирона, Карл. Сначала он служил в России, попался в плен к шведам, бежал в Польшу, дослужился там до чина подполковника, опять перешел в русскую службу и, по милости брата, в короткое время попал в генералы. Он мог бы гордиться множеством ран, если б они были получены им в сражениях, а не на поединках или во время ссор, до которых почти всегда доходило дело там, где Бирон намеревался повеселиться.

На каждой пирушке, где лилось шампанское, входившее тогда в моду, он всех храбрее рубил головы бутылкам и яростно истреблял этих неприятелей. Все боялись его; одно слово, сказанное ему не по нраву, могло иметь следствием или поединок, или непримиримую вражду герцога, который уважал все его жалобы. Даже Гейер его страшился, старался всеми мерами ему угождать и был ревностным исполнителем его поручений по части любовных интриг. Заметив необыкновенную красоту Ольги, Гейер немедленно навел генерала на добычу. В то время, как Дарья Власьева и Ольга сидели под караулом в доме Мурашева, Карл Бирон приехал к ним, притворился страстно влюбленным в Ольгу, объявил решительно, будто он на ней хочет жениться, и убедил Дарью Власьевну тотчас же переехать к нему на несколько дней, с его невестой, в загородный дом. Дарья Власьева совершенно одурела от такого неожиданного случая. Ей казалось, что Ольга должна считать себя счастливейшей из смертных, выйдя замуж за брата регента, что отец Ольги будет тех же мыслей, что не исполнить требования брата герцога, значит погубить и Ольгу, и всех родных ее.

Все это она представила племяннице со всевозможным красноречием, опровергла все ее опасения, почти насильно одела ее в лучшее платье и вынудила отправиться в карете с генералом.

— Что ты, дурочка, боишься? — говорила она, одевая Ольгу. — Ведь и я с тобой еду. Теперь непременно надо исполнить волю генерала, не то попадем в большую беду. Будет еще время, после подумаем и с отцом посоветуемся. Вообрази: ты будешь родней его высочеству герцогу! Шутка ли!

Карл Бирон со своей стороны старался успокоить Ольгу, говоря, что если он ей не понравится, то принуж-



дать ее не станет. Впрочем, прибавил он, мудро не полюбить меня, узнав покороче.

Дарья Власьевна, одев Ольгу, вывела ее к генералу и с трепетом сердечным сказала:

— Так как и я удостоена счастья быть приглашенной к вашему превосходительству, то не позволите ли вы мне одеться поприличнее, чтобы простой наряд мой не показался странным в вашем блистательном доме.

— Да, да! — отвечал Карл Бирон, едва удерживаясь от смеха. — Это необходимо, я этого просто требую.

Дарья Власьевна тотчас облеклась в генеральские фижмы, в платье с длинным шлейфом, завязала еще несколько своих и Ольгиных нарядов в скатерть, и Бирон с глупой теткой и бедной племянницей поехал в свой загородный дом. Там он всеми силами старался развеселить Ольгу, у которой сердце беспрестанно ныло от беспокойства, между тем как Дарья Власьевна, не подозревая об истинных целях генерала, блаженствовала в его доме, обходилась с ним по-родственному, любовалась перед зеркалами своими фижмами и шлейфом. На все учтивости и ласки генерала Ольга отвечала слезами и просила возвратить ее в отцовский дом. Бирон говорил, что он жить без нее не может и упрасивал Ольгу пробыть несколько дней в его доме, пока он совершенно не удостоверится в невозможности ей понравиться. Между тем он обдумывал втайне средства к достижению своей цели и находил в этом промедлении известное наслаждение. Так, сытая кошка, поймав молодую птичку, которая еще не может летать, любит своей жертвой, играет с ней и съедает не сразу.

Утром того дня, когда праздновали день рождения герцогини, Карл Бирон неожиданно вошел в комнату, которую он отвел для гостей. Ольга была уже одета, а Дарья Власьевна стояла перед зеркалом, заканчивая свой туалет. Волосы ее еще не были причесаны, она только приладила на один бок фижму, когда послышались шаги Бирона в соседней комнате. От испуга Дарья Власьевна уронила фижму, схватила платье со шлейфом и надела его так же быстро, как меняют платье актеры в операх и балетах. Ольга помогла ей кое-как застегнуть крючки лифа.

— Извините, — сказал Бирон, войдя, — я, кажется, перепугал вас. У меня к вам просьба, Дарья Власьевна!

Сходите поскорее в Гостиный двор и купите две мантильи для себя и для племянницы вашей. Сегодня вечером в Летнем саду назначено гулянье. Вот вам деньги.

— Мне, право, так совестно! — жеманно сказала Дарья Власьева, поправляя волосы и прикрывая рукой бок, на котором не было фижмы. — Я еще не кончила своего туалета и никак не ожидала так рано вашего посещения...

— Ничего, не беспокойтесь! Что за церемонии между родственниками? Сходите же скорее.

— С величайшим удовольствием. Позвольте только закончить туалет. Осмелюсь вас попросить на минуту выйти из комнаты.

— Помилуйте, да вы совсем одеты. Я боюсь, чтобы не заперли лавок по случаю сегодняшнего праздника. Сделайте милость, идите скорее. Вот вам мантилья ваша.

Делать было нечего. Дарья Власьева надела мантилью, покрыла голову капюшоном и отправилась в путь с одной фижмой.

— Мы остались одни, Ольга! — сказал Бирон, взяв ее за руку. — Давно хотел я поговорить с тобой наедине. Реши судьбу мою, скажи: любишь ли ты меня?

— Оставьте меня ради Бога, генерал! — взмолилась Ольга, вырывая свою руку из рук Бирона.

— Ты боишься меня? — продолжал он. — Ты не веришь любви моей? Ах, Ольга! Я без тебя жить не могу. Сядь сюда, на эту софу, милая, успокойся. Поговори со мной. Неужели ты хочешь погубить меня?

Он силой усадил трепещущую Ольгу на софу и обнял стан ее одной рукой.

— Помогите! Помогите! — закричала девушка.

— Ты напрасно кричишь, я отослал всю прислугу, мы с тобой вдвоем здесь. Ольга, обними меня, назови женихом своим. Не забывай, я родной брат герцога.

— Это вы забыли, генерал, — отвечала Ольга, рыдая и вырываясь из объятий Бирона, — вы поступаете, как разбойник!

— Разбойник?! — вскричал Бирон. — О, за эту дерзость надо наказать тебя. Перестань же упрямиться, обними, поцелуй меня! Ты видишь, как я снисходителен, кто еще кроме тебя мог бы безнаказанно оскорбить меня? Но невесте я все прощаю.

С отчаянным усилием Ольга вырвалась из его объятий, подбежала к столу, на котором стояли два прибора, приготовленные для завтрака, и, схватив нож, приставила его к сердцу.

— Ольга, Ольга, что ты делаешь?! — закричал Бирон, вскочив с софы.

— Не подходи, не подходи, злодей! Один шаг — и на твоей душе будет смерть моя!

— Ну хватит, брось нож! Я не подойду, не трону тебя, я немедленно выпущу тебя из моего дома.

— Ты лжешь... — девушка занесла над собой руку с ножом.

— Остановись! — в ужасе вскричал Бирон. — Клянусь честью, что отпущу тебя из своего дома! Клянусь! Я никогда в жизни не изменял своему честному слову.

— Ты говоришь правду? — Ольга помедлила и положила нож на стол. — Я верю твоему честному слову.

И в самом деле Бирон оставил ее в покое и пообещал возвратить домой тотчас по приезде тетки. Однако по ее возвращении Бирон упросил обеих съездить с ним в Летний сад, где их и встретил Мурашев.

— Здравствуй, сестра, — робко сказал Мурашев, подойдя к Дарье Власьевне, которая внимательно рассматривала качавшегося льва.

— А, братец. Давно уж мы не виделись.

— Ты уж ныне пропадаешь по целым неделям и на деревянных конях всенародно разъезжаешь? — продолжал Мурашев вполголоса. — А с какой стати Ольга, осмелюсь спросить, ходит под руку с этим генералом.

— Она его невеста. Я тебе после все растолкую, братец.

— Невеста? Не спросясь отца, замуж выходит? Да я ее прокляну и тебя вместе с нею.

В это время адъютант взглянул на Мурашева, и он, понизив голос, продолжал:

— Не ты ли дочь мою сосватала?

— Его превосходительство сами изволили к ней присвататься.

Мурашев знал о поведении Карла Бирона и не мог не понять истинных его намерений. Негодование, гнев, отчаяние овладели его душой. В это время Ольга, увидев его, вырвала руку из-под руки Бирона и со слеза-

ми бросилась отцу на шею. Безмолвно прижал он дочь к груди своей.

— Не это ли отец моей невесты? — спросил Дарью Власьевну Бирон, торопливо-приблизясь к ней.

— Точно так, ваше превосходительство.

— Представь меня ему, пожалуйста, мы еще не знакомы. Господа, извольте отойти отсюда подальше! — закричал он толпившемуся народу. — Здесь и так предостаточно места для гуляния.

Все поспешили исполнить приказание, но никто из многочисленной толпы не смел и слова сказать другому, чтобы третий, подслушав какую-нибудь догадку или суждение о брате герцоге, не закричал: слово и дело!

— Я давно, любезный, собирался к тебе приехать, — ласково сказал Бирон Мурашеву. — Ты, вероятно, уже знаешь о моих намерениях и, без сомнения, если дочь твоя будет согласна, не откажешься стать тестем моим? Возьми вот этот небольшой подарок.

Он вынул из кармана кошелек, набитый золотом, и подал Мурашеву.

— Благодарю от всего сердца за честь, ваше превосходительство! — отвечал Мурашев, едва держась на ногах. Кровь кипела в нем, в глазах у него темнело, он задыхался. — От подарка же позвольте отказаться!.. Осмелюсь заметить, что дочь рыботорговца не годится в невесты вашему превосходительству.

— Ну, какой вздор! Почему же не годится? Мое дело выбирать себе жену. Да что ты так побледнел? Может, нездоров? Гейер, отвези-ка домой этого почтенного человека.

Гейер взял под руку Мурашева и повел к карете.

Между тем Валерриан, вырвавшись из рук Ханыкова, бросился к Бирону.

— Генерал, — сказал он прерывающимся голосом, — по какому праву вы отнимаете у меня невесту?

— Что это значит! — воскликнул Бирон. — Вы, сударь, забыли субординацию: мне и чести не отдаете! Я вас велю арестовать...

— Не говорите о чести, у вас нет ее. Ведите арестовать меня, но я говорю и до самой казни буду повторять: вы низкий и подлый человек! Вы боитесь даже драться, я знаю, что вместо вас палач расправится со мной!

— Дерзкий мальчишка! — в бешенстве вскричал Бирон. — Я обрублю тебе уши в доказательство того, что я никогда не отказываюсь от дуэли. А уж потом тебя расстреляют за дерзость.

— Думаю, что будет наоборот, стоит вам только пригласить в секунданты своего брата.

— Я разрублю тебе голову!

— Тогда и поединка опасаться нечего, — отвечал Валериан, — рубите, вот моя голова.

Он снял шляпу, весь пылая от гнева.

— Выбирай оружие! — сказал Бирон, скрежеща зубами.

— На саблях!

— Хорошо. Деремся без секундантов.

— Согласен.

— Завтра в пять утра в Екаторингофе.

— Итак, до свиданья, — сказал Валериан и медленно пошел от качелей, ничего не видя перед собой.

— А ну-ка заберите этого молодца, — вдруг раздался голос рядом с ним, — он, видно, забыл, что регенту должно честь отдавать. Я тебя проучу, негодный.

Валериан опомнился и увидел возле себя герцога Бирона, который со своей женой и многочисленной свитой шел к карусели. Два человека в плащах, гулявшие вместе со всеми, вдруг выскочили из толпы и схватили Валериана.

— Ведите его, куда надо, — продолжал герцог. — Странно для меня, фельдмаршал, что ваши подчиненные отваживаются на такой беспорядок прямо у вас на глазах.

Граф Миних, к которому были обращены эти слова, в самых почтительных выражениях извинился перед герцогом.

Приблизившись к карусели, герцог остановился перед одной из деревянных лошадей и начал внимательно ее рассматривать.

— Скажите мне, принц, — обратился он к герцогу Брауншвейгскому, — какие недостатки находите вы в этой лошади?

— Главный ее недостаток в том, что на ней далеко не уедешь. Все возле столба кружишься.

— Хм, а вы не пробовали на ней поездить?

— Нет, я вообще не охотник до лошадей, подобные пристрастия не совсем приличны для принцев.

— В меня метите, принц? Но я не стыжусь своей страсти к этому благородному животному. Но за вашу насмешку прошу один разок прокатиться на этой лошади.

— Пожалуйста, но что ж тут удивительного: на деревянной лошади живой всадник? Гораздо страннее видеть на живой лошади деревянного всадника. Мне случилось такое видеть... при объезде лошадей.

— Но всадник, на которого вы намекаете, умеет управляться не только со всякой бешеной лошастью, но и с людьми, не исключая принцев. Не угодно ли сесть на коня? И советую быть поосторожнее, иногда и с деревянной лошади можно упасть неожиданно и гораздо скорее деревянного всадника.

— Они опять поссорятся! — шепнула Миниху супруга принца, Анна Леопольдовна. — Постарайтесь, фельдмаршал, предупредить ссору.

— Попробую-ка я этого Буцефала! — с хохотком сказал фельдмаршал и, вскочив на лошадь, взял копы для снятия колец. — Не угодно ли будет вашему высочеству последовать моему примеру? Пусть этот круг станет для принца и фельдмаршала колесом фортуны.

— Порой с колеса счастья можно попасть совсем на другое колесо, — сквозь зубы процедил герцог, видя, что Миних берет сторону принца.

— Подождите, фельдмаршал, — вскричала супруга Бирона, — я тоже сяду в сани и начнем игру. Посмотрим, удастся ли мне победить фельдмаршала.

— Перед дамами я сразу же слагаю оружие...

Тем временем несчастного Валериана вели двое сыщиков. Его убивала мысль, что брат Бирона, явившись поутру на место дуэли, не найдет его там, и Ольга лишится последней защиты. Неожиданно он увидел высокого и широкоплечего солдата, который служил в его полку. Тот с женой, присев под дерево, с наслаждением щелкал каленые орехи.

— Эй, служивый! — крикнул Валериан.

— Что прикажете, ваше благородие? — отвечал солдат, мигом пересыпав орехи в передник жены и подбежал к своему офицеру.

— Избавь-ка меня от этих бездельников.

— Только сунься,— буркнул один из сыщиков.— Он арестован по приказу его высочества. Пошел отсюда!

— Ах ты, палка барабанная! — крикнул солдат.— Да как ты смеешь мне приказы отдавать? Завернулся в суконный балахон и уж думает, что сам черт ему не брат. А ну отпусти его благородие, пока я... Прикажите продолжать, ваше благородие? — И солдат сжал огромный кулак.

— Изволь, голубчик.

Первым же ударом один из сыщиков был сбит с ног, второго бравый солдат схватил за шиворот, приподнял, встряхнул и бросил на землю.

— А теперь бегом отсюда,— сказал Валериан,— да жене скажи, чтобы от нас не отставала.

Подходя к своему дому, Валериан встретил своего старого друга, отставного капитана Лельского.

— Что ты так встревожен? — изумился капитан.

Тот подробно рассказал ему свое приключение.

— Но ведь должно же все это когда-то окончиться! — с негодованием воскликнул Лельский.— Ладно, дай мне честное слово, что ты никому на свете не расскажешь о том, что я тебе открою.

— Клянусь честью!

Зайдя к нему домой, Лельский имел с Валерианом продолжительную и тайную беседу.

Прощаясь с ним, Валериан подал руку капитану и сказал:

— Сразу же после поединка, если останусь жив, я приду к тебе и тогда располагай мною. Я — ваш!

Вскоре пришел и Ханыков, который жил в одном доме с Валерианом. Увидев, как его арестовали по приказу герцога, он уже считал своего друга безвозвратно погибшим. Каково же было его удивление, когда дверь ему открыл сам Валериан живой и здоровый.

— Что это значит? — спросил Ханыков, увидев лежащую на оселке саблю.

— Завтра в пять я дерусь с братом герцога.

— Ты только за этим и вырвался у меня из рук?

— Было бы низостью удерживать меня от поединка с этим ничтожеством.

— Конечно, я никогда не был до такой степени влюблен, но даже в этой приятной горячке я бы никогда не

бросился бы драться с Бироном. Я бы сначала посоветовался с фельдмаршалом, который всех нас так любит, попросил бы его защиты, и он бы уладил дело без лишних хлопот. А теперь либо он тебя убьет и будет считать Ольгу своей неотъемлемой собственностью, либо ты его убьешь или ранишь, и об этом непременно узнает герцог. И тогда ты — пропал!

— К чему теперь все эти рассуждения? — с досадой бросил Валериан.

— А к тому, чтобы ты немедленно шел к Миниху и просил его покровительства. Я уже рассказал ему твою историю. Он берется выступить посредником между Бироном и тобой. Заверяю тебя, не только брат герцога, но и сам герцог побаивается этого умного и благородного человека.

— И Карл Бирон будет после этого везде называть меня подлым трусом. Ну нет! Я должен драться. Честь мне дороже жизни.

— А что такое честь?

— Странно, что капитан гвардии об этом спрашивает.

— Еще удивительнее было бы, если бы капитаны всего света вместе со мной дали бы точное ее определение. Мне кажется, что честь велит нам без страха идти на неприступную батарею и проливать кровь за отечество, но глупостей делать офицерская честь не велит. Если кто рубль у человека украдет, все зовут его вором, а похитить на поединке жизнь человеческую, которую за сокровища всего света возратить нельзя, — пожалуйста! Это можно, все говорят, так честь ему велела.

— По крайней мере, драться я буду не из-за пустяков.

— Согласен, но дело можно решить полюбовно и гораздо для тебя выгоднее. Послушайся моего совета и ступай к фельдмаршалу.

— Ни за что на свете, я уже вызвал его.

— Ладно, видно, тебя уже не переупрямить. Кто твой секундант?

— Никто.

— Как никто? Да без секунданта тебе голову с плеч снесут прежде, чем ты саблю из ножен вынуть успеешь.

— Мы так условились.

— Ну и дурак. Если ты убьешь Бирона, тебя казнят



как убийцу, и он уж с того света не сможет засвидетельствовать твое благородство,

— Что же делать?

— Я съезжу к Бирону и попрошу его выбрать себе секунданта.

— А кто же будет моим?

— Ладно уж, подурачусь хоть раз в жизни. Может, мне удастся помирить вас.

— Напрасный труд! Я с этим негодя...

Замахав руками, Ханыков отправился к Бирону и через час возвратился с известием, что генерал с его предложением согласился. Затем он уложил Валериана в постель и велел ему хорошенько выспаться перед боем.

## VIII

В Екатерингофе, который тогда походил более на лес, нежели на сад, близ дворца, построенного Петром Великим в память взятим им и Меншиковым 7 мая 1703 года двух шведских кораблей, Валериан явился в пять часов утра с своим другом, задолго до рассвета. Вскоре прибыли и Бирон со своим адъютантом. Удаляясь с потаенным фонарем в лес и выбрав между деревьями небольшую площадку, враги молча взяли сабли и стали друг против друга. Небо покрыто было тучами, и непроницаемый мрак разливался по всему лесу. Ханыков и адъютант Бирона взяли по зажженному факелу и стали один с правой, другой с левой стороны дуэлянтов. Красное сияние отразилось на блестящих саблях.

— Начинай, храбрый мальчик! — сказал Бирон, желая смутить Валериана. — Ты увидишь, можно ли безнаказанно оскорбить Карла Бирона! Не далее, как сегодня вечером, тебя отнесут к могиле при свете этих самых факелов. В них я вижу худое для тебя предзнаменование.

— Еще не известно, к кому оно относится, — возразил спокойно Валериан. — Вам следует начать, генерал! Я вас вызвал.

— Но прежде должно условиться, — заметил Ханыков, — насмерть ли драться или до первой раны?

— До тех пор, пока голова его не соскочит с плеч и не спрячется в эту густую траву! — отвечал Бирон.

— Говоря о моей голове, вы забыли о своей! — сказал Валериан. — Впрочем, я согласен драться насмерть.

— Я бы советовал: до первой раны, — продолжал Ханыков. — Генерал! Мой друг так молод...

— Прошу секунданта не мешаться не в свое дело. Условия от нас зависят.

— Начинайте же! — сказал Валериан. — Мы не разговаривать сюда пришли.

Бирон, взмахнув саблей, повернул ее несколько раз над своей головой так быстро, что раздался свист, и отблеск сабли образовал круг, едва заметный по бледному и красноватому сиянию. Пристально глядя на ногу Валериана, как будто намереваясь нанести удар по ней, Бирон вдруг сделал выпад и, без сомнения, разрубил бы противнику голову, если бы Валериан, отстранясь, не отвел удара. Сабля со звоном соскользнула по клинку и ушла до половины в землю.

Бирон, невольно пошатнувшись всем телом вперед, едва устоял на ногах.

— Выньте скорее вашу саблю. Я не хочу пользоваться вашим положением.

Бирон с усилием выдернул из земли свое оружие, и снова напал на Валериана. Быстро наносимы были удары и еще быстрее отражаемы. Гул эха глухо повторял вой дребезжащей стали. Как красные молнии, сверкающие сквозь сгущенный воздух, вились сабли, отражавшие блеск факелов, яркие искры вспыхивали над головой и у ног противника почти в один и тот же миг.

«Ай да Валериан! — думал Ханыков. — Не забыл моего совета, хладнокровно дерется!.. Тьфу, как тот озлился!.. Ай, ай, чуть-чуть сабля не задела друга по голове!.. Ну, скверно! И он горячиться начинает!»

Вдруг сабля Бирона вылетела у него из руки от искусного удара Валериана, который в тот же миг занес свою саблю над головой смутившегося противника.

— Вы должны теперь, генерал, признать себя побежденным. Дарю вам жизнь, но с тем условием, чтобы вы дали слово отступить от моей невесты и не мешать моему счастью.

— Руби! — вскричал Бирон в бешенстве, сложив гордо руки на груди и свирепо смотря на Валериана. — Карл Бирон никогда не страшился смерти!

— Согласны ли вы на мое предложение?!

— Нет!.. Руби! Брат мой отомстит смерть мою. Тебя обвенчают на колесе с твоей невестой!

Сказав это, Бирон засмеялся. Этот неистовый смех заставил невольно содрогнуться его адъютанта.

— Низкая душа! — воскликнул Валериан. — Я этого ожидал от тебя. К чему же ты принял мой вызов? Лучше было бы прежде сказать мне, что честь твоя и жизнь отданы на верное сохранение в подлые руки палача. Но это не спасет тебя. Умри!

Валериан, взмахнув саблей, разрубил бы череп Бирону, если бы Ханыков не удержал руки его.

В это время на некотором расстоянии, между деревьями, показалось несколько фонарей, и вскоре секретарь герцога, Гейер, с четырьмя вооруженными прислужниками стал между противниками.

— Свяжите их! — сказал он, указывая на Валериана и Ханыкова. — Хорошо, что мы еще вовремя отыскиали вас.

— Не троньте их! — закричал Бирон.

— Я исполняю повеление его высочества герцога, — продолжал Гейер.

— Кто смел сказать ему об этом поединке без моего позволения?

— Его высочество знает не только все, что каждый делает, но даже и то, что каждый думает. Вяжите их!

— Остановитесь! Я беру на себя всю ответственность в этом деле, и сегодня же объяснюсь с братом. Вы можете идти, куда хотите. Карл Бирон знает законы чести!

— Это благородно, генерал! — сказал Ханыков. — Вы, верно, оправдаете моего друга перед его высочеством. Жизнь ваша была в опасности, но он не захотел воспользоваться случаем, доставившим ему победу. Без сомнения, вы, как честный и благородный человек, не откажетесь засвидетельствовать, что вы обязаны ему жизнью.

— Нимало! Ты удержал его руку: я ему ничем не обязан! Мы по-прежнему враги, враги непримиримые.

— Без сомнения, палач скоро избавит вас от врага, не правда ли? — спросил Валериан презрительно.

— Дерзкий мальчишка! Поединок наш еще не кончен! Я докажу тебе, что моя сабля отрубит твою голову скорее, чем топор палача. Гейер! Не смей и волоска их тронуть, пока я не объяснюсь с братом.

Гейер, пожав плечами, поклонился и последовал с прислужниками за Бироном и его адъютантом, а Валериан и Ханыков пошли в другую сторону.

— Ну что, Валериан? Не правду ли я тебе вчера сказал, что поединок ни к чему доброму не приведет? Теперь судьба Ольги еще безнадежнее, чем прежде, а мы оба должны ожидать неминуемой гибели. Герцогу уже все известно, на ходатайство врага полагаться можно столько же, сколько на весенний лед, когда он кажется твердым, но стоит только ступить на него, чтобы провалиться. Я, впрочем, о себе не думаю! Умереть надобно же когда-нибудь! Мне тебя жаль, Валериан. Без сомнения, герцог...

— Не долго будет он...— воскликнул Валериан и вдруг прервал речь, вспомнив честное слово, данное им Лельскому.

— Что ты сказать хотел?

— Так, ничего!.. Мысли мои очень расстроены... Да, мой друг, положение наше ужасно!

— Ты что-то таишь от меня, Валериан,— продолжал Ханыков, глядя пристально в глаза другу.— Давно ли я лишился твоей доверенности?

Валериан почувствовал справедливость этого упрека, сердце его рвалось открыться другу, но честное слово, слишком скоро и необдуманно им данное, его связывало.

— Ты молчишь? — продолжал Ханыков.— Не боишься ли, что я донесу на тебя?

— Ах, Боже мой! Не обижай меня, друг. Если б ты мог видеть, что происходит здесь, — сказал Валериан, указав на сердце,— ты бы ужаснулся и пожалел меня.

— Я опять повторяю мой всегдашний совет: старайся по возможности сохранять хладнокровие и слушаться голоса рассудка. Когда душа в сильном волнении, ни на что решаться и ничего предпринимать не должно. Я бы тебе мог дать совет основательнее, если б ты, как всегда до сих пор бывало, не скрывал твоих мыслей и чувствований от друга, но ты уже не хочешь быть со мною откровенен!

— Я ничего от тебя не скрываю!

— И ты правду говоришь? — сказал Ханыков голосом, выразившим дружескую укоризну.— Ты не обманываешь своего друга? Почему же ты не смотришь прямо мне в глаза? Я вижу, что у тебя кроется в душе тай-

ный замысел. Дай Бог, чтоб не пришло время, когда ты расквешься в своей неоткровенности. Ты, наверное, боишься моих советов и убеждений? Не стану тебе их навязывать, хотя дружба моя к тебе всегда брала их отсюда! — Он положил руку на сердце.

— Друг! Не усиливай упреками моих мучений, — сказал с жаром Валериан. — Я связан честным словом и должен молчать.

— Ах, Валериан! Недалеко искать доказательства бедственных следствий ложного понятия о чести. Обдумал ли ты хорошо твоё честное слово? Истинная честь есть сокровище, которое должно свято хранить для дел благородных, а не бросать его безрассудно на игралище страстям.

— Обдуманно ли я поступил — увидим это скоро, — отвечал Валериан, подавая Ханыкову руку.

В это время перешли они по узкому деревянному мосту из Калинкиной деревни на другой берег Фонтанки, и вскоре поравнялись со слободами Адмиралтейских и Морских служителей\*. Молча дошли они по обросшему травой берегу Фонтанки до другого деревянного моста, построенного подрядчиком Обуховым.

— Валериан! Это какое здание? — спросил Ханыков, взяв друга за руку и указывая на большой деревянный дом с садом, который был огорожен деревянным чостоколом.

— Это бывший загородный дом-кабинет министра Волынского.

— А теперь чей этот дом?

— Теперь живет в нем полковник фон Трескау, начальник придворной псовой охоты, с придворными егерями и собаками.

— Почему?

— Станный вопрос! Разве ты не знаешь, что все имение Волынского конфисковано в казну после того, как отрубили ему голову. Неужели ты забыл это? С тех пор прошло не более четырех месяцев.

— А за что отрубили ему голову?

---

\* Слободы эти начали строиться после ужасных пожаров 1736 и 1737 годов, когда дома адмиралтейских и морских служителей, занимавшие нынешние морские улицы, превращены были в пепел. Новое место для постройки им домов отведенное, называли Колодней. Это слово превратилось в простонародном употреблении в Коломну.

— Опять странный вопрос! Весь город знает, что герцог погубил его за то, что Волынский осмелился против него действовать.

— Валериан! Тогда еще герцог не был полновластным правителем. Размысли о несчастной судьбе Волынского, что случилось с ним, то и с другими нынче гораздо легче случиться может, не правда ли?

Валериан невольно содрогнулся и ничего не отвечал.

Миновав Аничков мост, они приблизились к дому старика Аргамакова.

— Куда же мы теперь? — сказал Ханыков. — Мы должны ожидать каждую минуту, что нас схватят. Пойдем прямо к графу Миниху и будем просить его защиты, он один нас спасти может.

— Я зайду на один миг к батюшке и вслед за тобой явлюсь к графу.

— Ради Бога, не замедли. Прощай!

Ханыков пожал руку Валериана и поспешно пошел вперед. Когда он повернул в переулок, молодой друг его, посмотрев некоторое время на дом отца, воротился к Аничкову мосту и пошел через калитку на обширный, заросший дикой травой огород, окруженный ветхим забором, который, начинаясь на берегу Фонтанки, заворачивался на Невский проспект и тянулся на четверть версты.

Из полуразвалившейся хижины, где жил прежде огородник, вдруг вышла монахиня и приблизилась к Валериану.

— Чем кончился твой поединок? — спросила она.

— Ах, Лельский, я едва узнал тебя, как ты хорошо перерядился.

Они вошли опять в хижину, и Валериан рассказал ему подробности поединка.

— Теперь только одно свержение герцога может спасти тебя! — воскликнул Лельский. — Может быть, сегодня ночью этот жестокий временщик...

— Разве решено уже приступить так скоро к делу?

— Нет еще. Сегодня все наши соберутся в доме графа Головкина, к назначенному в три часа обеду, там приступим к общему совещанию. Мы однако ж пойдем к графу несколько ранее. Я еще должен ему тебя представить. С этого огорода мы можем пробраться на двор Головкина. Вон дом его!

Лельский указал на здание, которое возвышалось из-за забора и обращено было окнами на Невский проспект.

— Боже мой! Сюда кто-то идет! — воскликнул Валериан, глядя в окошко.

— Не бойся! Это также наш, я его ожидал.

Вскоре вошел в хижину тот самый прислужник Гейера, который был вместе с ним в доме отца Аргамасова, когда принуждали его подписать отречение от раскола. Валериан, тотчас узнав прислужника, изумился.

— А! Да здесь знакомый! — сказал вошедший. — Видно и он из наших?

— Точно так, — отвечал Лельский. — При нем можно все говорить. Ну, что нового, любезный Маус?

— Ни всемогущий герцог, ни всеведущий Гейер ничего еще не знают о нашем деле. Хорошо, что вы здесь! — продолжал прислужник, обращаясь к Валериану. — Брат герцога отстоял только вашего друга, капитана, за то, что он не допустил вас разрубить ему голову на поединке. И в вашу защиту он сказал слова два, три, но когда герцог закричал: расстрелять его! — то ваш противник, не найдя, видно, в этом большого неудобства, тотчас согласился и замолчал.

— Я думаю, теперь везде поручика ищут? — спросил Лельский.

— Как же! Генерал велел мне везде искать вас и схватить, — сказал Маус Валериану. — Берегись, господин поручик! Я вас днем и ночью по всему городу искать буду. Видите ли, иногда и найденного можно искать пуще ненайденного. Между прочим, должен я вам еще сказать, что Гейер велел, куда вас не сыщут, держать под караулом вашего отца, и объявил ему, что если он не скажет, где вы, то подписанное им отречение от ереси будет представлено герцогу в виде признания, и отца вашего сожгут.

— Что с вами, поручик? Вы ужасно побледнели и дрожите, — сказал Лельский. — Вы видите, что Маус вас нарочно пугает, что он шутит.

— Да, да! Я шучу, хотя и не совсем, — сказал Маус. — Гейер пугает вашего отца, ну, а сожгут ли его, это еще вопрос. Может быть, он сказал так, для шутки, хотя его, по моему мнению, шутка плохая.

— Мы предупредим это злодейство,— сказал Лельский Валериану,— успокойтесь.

— Веди меня к Гейеру! — воскликнул вдруг Валериан, обратясь к Маусу.

— Что вы, поручик! Шутите? — сказал удивленный прислужник.

— Веди! Я не хочу подвергать отца моего ужасной казни. Кто знает, удастся ли предприятие наше, успеем ли предупредить злодеев и спасти бедного отца моего. Веди!

— Я не пушу тебя! — вскричал Лельский. — Кто поручится, что пытка не заставит тебя открыть все и предать всех нас. Притом вспомни, что ты поклялся честью действовать с нами заодно до окончания дела.

— Клянусь честью, что никакие мучения пытки не принудят меня изменить вам.

— И что ты так же твердо сдержишь и эту клятву, как первую? Нет, я не могу пустить тебя. Ты принудишь меня употреблять силу и даже... этот кинжал... Он приготовлен для защиты от злодеев, он же может наказать и бесчестного человека, который нарушает свое слово. Если пойдешь к Гейеру, то докажешь, что ты подлый человек.

Чувство чести и чувство любви к родителю, восставленные один против другого в душе Валериана, боролись между собой и терзали его сердце. Невольно вспомнил он советы своего друга.

Лельский и Маус начали уговаривать Валериана и успели, наконец, убедить его, что успех их предприятия не подлежит никакому сомнению, и что он, действуя с ними, скорее и вернее спасет отца своего.

— До свидания, господа! — сказал Маус. — Мне пора идти, везде искать вас, господин поручик. Гейер, я думаю, давно ожидает моего возвращения.

Он удалился.

— Скажи, ради Бога, что побудило этого человека передаться на нашу сторону? — спросил Валериан, приближаясь к дому Головкина с Лельским, переодевшимся в свое обыкновенное платье.

— Побудило то, за что люди, подобные этой твари, продадут родного отца. Он вдвойне выигрывает: герцог ему хорошо платит, мы платим еще лучше, и почтенный Маус усердно служит обеим сторонам.



— Однако ж такой двоедушный или, лучше сказать, бездушный слуга для нас опасен.

— Конечно, но за то и чрезвычайно полезен. Герцог наслаждается уверенностью, что он всех своих врагов знает и зорко наблюдает за ними, а мы уверены, что герцог не знает о нас ничего,— и спокойно действуем у него под носом.

— Дома граф? — спросил Лельский, войдя в переднюю.

— У себя-с! — отвечал слуга, ввел пришедших в залу и пошел доложить о них графу.

Граф Михаил Гаврилович Головкин, действительный тайный советник и сенатор, отличался строгой добродетелью, непоколебимой твердостью и пламенной любовью к отечеству. При начале царствования Императрицы Анны Иоанновны он был одним из сильнейших вельмож, но герцог Бирон, которому он был явный враг, мало-помалу успел лишить его доверенности и милости Государыни. Несколько раз Головкин смело обличал перед Монархиней ее любимца во вредных для отечества поступках, и, без сомнения, сделался бы жертвой его злобы, если бы не спасало графа то, что супруга его была двоюродная сестра Императрицы\*.

Головкин отличался гостеприимством. Его ласковое обхождение, искреннее ко всем доброжелательство привлекали к нему сердца всех тех, которые посещали дом его.

Вскоре Лельский и Валериан приглашены были в гостиную. Граф сидел на софе и читал книгу.

— А! Любезный Лельский! — сказал он, положив книгу на стол.— Давно я тебя не видал. Добро пожаловать!

— Осмеливаюсь представить вашему сиятельству моего сослуживца, поручика гвардии Валериана Ильича Аргамачева.

— Весьма рад с вами познакомиться,— сказал граф ласково Валериану.— Прошу, господа, садиться.

---

\* Супруга Царя Иоанна Алексеевича, царица Прасковья Федоровна (мать Императрицы Анны Иоанновны) происходила из рода Салтыковых. Сестра Царицы, Наталья Федоровна была в замужестве за князем Ромодановским. От них родилась дочь, княжна Екатерина Ивановна, вступившая в брак с графом Головкиным.

Начался разговор об обыкновенных предметах, какой заводят в подобных случаях. Граф однако ж из немногих слов Валериана заметил в нем ум и образованность. Он очень ему понравился, и граф пригласил его остаться у него вместе с Лельским обедать. Начали съезжаться гости, принадлежавшие к лучшему кругу общества. Прошло три часа — и все сели за стол.

Во время обеда веселые и остроумные разговоры переходили от предмета к предмету, но никто из гостей ни слова не сказал о Бироне.

В половине обеда вдруг слуга поспешно отворил обе половинки дверей, и вошел Карл Бирон. Граф принял его учтиво, но холодно, и посадил за стол. Бирон знаком был с графом и от времени до времени приезжал к нему. Он охотно ездил всюду, где находил хороший обед и отличное вино. Ему и дела не было до вражды герцога с графом. Холодного обхождения с ним он не замечал или не хотел замечать, и вознаграждал себя за холодность хозяина, согревая кровь свою ледяным бокалом рейнвейна.

Валериан, сидевший подле Лельского, вздрогнул и изумился, увидев Бирона. «Лельский обманул меня, — подумал он. — Есть ли здесь что-нибудь, похожее на тайное совещание!»

Между тем, Бирон сел за стол почти напротив Валериана и едва взял нож и вилку, чтобы разрезать поданное ему кушанье, глаза врагов, утром того дня рубившихся на поединке, встретились. Губы генерала посинели и задрожали. Из-под нахмуренных бровей взор засверкал, как у рассерженной гиены, и устремился на Валериана. Гордо и мужественно смотрел Валериан прямо в лицо своему врагу, и кровь кипела у него в жилах. Оба молчали.

«Странно, что он еще не взят под стражу! — подумал Бирон. — Приказание брата, конечно, ему еще неизвестно. Он обедает в последний раз в жизни: не стану мешать ему!»

Серебряная кружка с рейнвейном, поднесенная Бирону, отвлекла его внимание от Валериана. Он разом осушил ее и принялся за еду.

Валериан бросил на Лельского значительный взор, который, казалось, спрашивал: что все это значит? Но Лельский, разрезая прилежно рябчика, делал вид, что

он ни о чем другом не думает, как о еде, которая была у него на тарелке. Валериан ничего не мог есть во все остальное время обеда. Граф, гости его, великолепно освещенная столовая, роскошный стол — все исчезло из глаз Валериана. Он только видел врага своего, да еще мечтались ему несчастная Ольга, умоляющая о защите против гнусного обольстителя, и старике, отце его, который простирает к нему руки с пылающего костра.

Обед кончился, и все из столовой перешли через залу в гостиную. Некоторые остались в зале. Валериан, взяв за руку Лельского, подвел его к окну, с намерением требовать от него объяснения, но тот, угадав его мысли, поспешил сказать ему на ухо:

— Потерпи! Ты видишь, что здесь еще есть не наши.

Часов в девять вечера Бирон уехал. Потом и другие гости, один за другим, стали разъезжаться. Пробыло десять часов. Обычно в это время, в царствование императрицы Анны Иоанновны, прекращались уже все вечерние собрания по предписанному всем правилу, но около пятнадцати гостей, в том числе Лельский и Валериан, остались еще у графа и посматривали исподлобья на одного седого сенатора, который, разговарываясь с графом о старинном, прошлом времени, совсем, казалось, забыл о настоящем. Наконец, вынув из кармана серебряные часы, которые толщиной превосходили бы дюжину нынешних, сложенных вместе, и имели сходство с большой репой, старичок воскликнул:

— Что за чудо! Уже одиннадцать... нет, виноват!.. Без двух минут одиннадцать часов! Как я засиделся! Прощайте, ваше сиятельство!

Граф проводил гостя и возвратился в гостиную. Графиня давно уже ушла в свои комнаты.

— Ваше сиятельство! — сказал ему вполголоса отставной майор Возницын, — все, кого вы здесь теперь видите, уважают и любят вас, как отца. Зная вашу опытность, обширный ум государственный и горячую любовь к отечеству, мы решились просить у вас совета в деле важном, в таком деле, где все мы легко можем потерять свои головы. Но мы на все решились для блага отечества.

— Что это значит? — спросил удивленный граф. — Вы неосторожны, майор! Нет ли в зале кого-нибудь из моих слуг? Могли вас подслушать!

Лельский стал у растворенной двери, глядя через нее в пустой зал.

— Вы одни, граф,— продолжал тихо Возницын,— как истинный сын отечества, осмелились перед престолом обличать царедворца, употреблявшего так долго во зло доверенность покойной Монархини. Он поклялся вечной к нам враждой и ждет давно случая погубить вас. Теперь враг наш — полновластный правитель. Но кто не знает, какими неотступными просьбами, какими происками успел он убедить Монархиню подписать акт о регентстве. Он не устыдился беспрестанно тревожить ее на одре болезни. Она желала назначить правительницей принцессу Анну Леопольдовну, родительницу нынешнего Императора, и говорила на просьбы Бирона:

— Сожалею о тебе, герцог, ты стремишься к своей гибели!

Она подписала акт уже тогда, когда духом и телом изнемогла от страданий: Из этого всякому ясно: была ли воля Монархини на то, чтобы герцог был правителем. Черная душа его известна. Чего ждать отечеству от подобного правителя, или, лучше сказать, похитителя власти? Мы решились его свергнуть, чтобы похищенная им власть перешла по праву в руки родительницы Императора. Средств у нас много. Мы их откроем вам, граф! Отдадим их на суд ваш. От вас будет зависеть, избрать из них одно или все отвергнуть. Мы свято исполним решение ваше, уверенные, что оно основано будет на долговременной опытности в делах государственных и на прямой любви к отечеству.

— Вы поставили меня в самое трудное положение,— отвечал граф,— вы поступили безрассудно! Спрашиваю вас: если я в совести признаю Бирона правителем, получившим власть в свои руки по праву, то что я должен теперь делать?

— Донести на нас! — отвечал Возницын.

— Кто подписал акт о регентстве?

— Покойная императрица, но можно ли считать этот акт ее волей, когда Бирон...

— Остановитесь! Кто вам или мне дал право быть судьей в таком важном деле? Где доказательство, что Бирон назначен правителем против воли Императрицы?

— Могла ли она добровольно назначить правителем

такого злодея и победить родную племянницу? Утверждать это — значит, оскорблять память монархини!

— Но какие причины побуждают вас действовать против Бирона?

— Он сжег моего родного брата!

— Уморил с голоду моего отца! — сказал Лельский.

Все начали один за другим исчислять жестокие и несправедливые поступки Бирона, описывать бедствия, причиненные им отечеству.

— Он погубит и вас, граф! — сказал Возницын.

— Пусть погубит, но это не даст мне права против него действовать. Власть дана Бирону монархиней, и долг мой велит ему повиноваться. Один Бог будет судить его. Акт о регентстве должен быть свято исполняем.

— Но он сам первый нарушил этот акт. Монархиня повелела ему оказывать должное уважение родителям императора, а он беспрестанно оскорбляет их. Вы сами, граф, это знаете.

— Справедливо, но в этом случае родители императора сами имеют средств принудить Бирона к исполнению акта. Какое имеете вы право вступаться в это дело без их воли.

— По точной воле их мы действуем, граф! — отвечал директор канцелярии принца Брауншвейгского, Граманит.— По воле их пришли мы просить у вас совета, как у мужа опытного и знающего пользы отечества. Я уполномочен объявить вам это. Через меня они ожидают ответа вашего.

Граф задумался.

— В числе придуманных средств к свержению Бирона,— продолжал Граманит,— находится и то, чтобы с семеновским полком, которым принц командует, идти во дворец, схватить Бирона с его приверженцами, лишить звания правителя и предать его суду за нарушение акта о регентстве. Одобряете ли вы это средство, граф?

— Бирон враг мой, и потому мнение мое легко может быть пристрастно. Скажите, однако ж, принцу, как я думаю по совести. Мне кажется, несправедливо будет для восстановления силы одной нарушенной части акта нарушить весь акт.

— Но как же, граф: ваше собственное мнение?

— На этот вопрос мне отвечать затруднительно. Мнение мое не будет приятно для принца. Сказать лезть или

ложь против совести я не могу, открыть же истинное мое мнение не хочу и на это имею причины.

Все начали убедительно просить Головкина, чтобы он сказал свое мнение, все умоляли его именем отечества.

Убежденный неотступными просьбами, граф сказал:

— Поклянитесь прежде, что вы сохраните до гроба втайне мое мнение. Скажите мне, как предписывает Евангелие: да! И это будет самая священная клятва.

Все исполнили требование графа.

— По завещанию императрицы Екатерины I, право на престол принадлежит теперь цесаревне Елизавете Петровне. Ей бы следовало вступить на престол. Если бы она захотела воспользоваться её правом, то этого было бы достаточно, чтобы признать акт о регентстве недействительным, так как этот акт состоялся после завешания императрицы Екатерины, которое не уничтожено и имеет полную силу. Но Бирон на все решится для удержания власти в своих руках, и легко могут произойти беспорядки и кровопролитие. Кто любит отечество, тот должен всеми силами отвращать внутренние неустойства, неизбежные при каждом перевороте в правлении. Это лишь удерживает цесаревну Елизавету от предъявления неоспоримых прав ее. Она дорожит каждой каплей русской крови. Всем известно ее кроткое и добродетельное сердце. Без ее воли акт о регентстве никем другим по праву нарушен быть не может. Если же акт кто-нибудь нарушит, то права ее на престол будут еще сильнее, неоспоримее. Тогда она будет поставлена в необходимость действовать. Без акта и малолетний император, и родители его лишатся всех прав своих.

— Однако же, принц твердо решил низвергнуть Бирона,— сказал Граманит,— что должен я буду ему сказать от вас о мере, им придуманной?

— Скажите принцу, что я считаю эту меру насильственной и опасной. Измайловским полком командует меньшей брат Бирона, Густав, а конным — сын герцога, Петр. Если принц поведет Семеновский полк ко дворцу, то легко может встретить два полка, которые ему противостоят. Пусть он сам рассудит, что тогда произойти может. Если же принц непременно уже решил действовать, то лучше всего от лица народа просить родительницу нынешнего императора, чтобы она приняла на себя управление государством во время его малолетства и

избавила отечество от ненавистного всем правителя. Объявив народу согласие на эту просьбу, принцесса в тот же миг лишит Бирона всей его власти. Все ненавидят его, и, без сомнения, никто на его стороне не останется. Мне сообщил эту мысль друг мой, князь Черкасский. Приготовьте просьбу и вручите ему, пусть он окончит это дело. Я не хочу присвоить себе чужих заслуг, ему принадлежит эта мысль, пусть принц и принцесса будут ему обязаны и за исполнение его мысли.

Все начали благодарить графа за данный совет и решились на другой же день идти к князю Черкасскому. Прощаясь с ними, граф сказал:

— Я открыл вам то, что следовало бы таить в глубине души. Впрочем, когда дело идет о благе отечества, я всегда говорю, что думаю, по совести, и забываю о себе. Теперь от вас зависит предать меня.

Все поклялись хранить в ненарушимой тайне участие графа в этом деле. .

## IX

На другой день рано утром все бывшие на совещании у Головкина явились к кабинет-министру, князь Алексею Михайловичу Черкасскому, с приготовленной просьбой, множеством лиц подписанной. Возницын был с ним дружен и знал, что князь питал втайне к Бирону такую же ненависть, как и все они. Тем с большей уверенностью в успехе последовали они совету Головкина.

Князь велел пришедших позвать в кабинет.

— Что вам угодно, господа? — спросил он с приметным беспокойством и недоверчивостью.

Возницын объявил цель их прихода и подал приготовленную бумагу.

— Прекрасно! — сказал рассеянно князь, прочитав бумагу и стараясь скрыть свое волнение.

— Это ваша мысль, князь, — продолжал Возницын, — отечество вам вечно будет благодарно!

— Как моя мысль? Кто вам сказал это?

— Вы бы не сказали: прекрасно, если бы думали иное.

— Поймали меня, майор!.. Ну, герцог! Теперь не много осталось тебе властвовать! Не должно терять ни ми-

нуты, я сейчас же поеду с этой просьбой к ее высочеству принцессе. До свидания, господа! Я пойду одеваться. Советую, однако ж, быть как можно осторожнее, без того легко голову потерять. Впрочем, успех несомненный! Я вас ожидаю к себе завтра утром.

Все удалились. Валериан с Лельским опять скрылись в хижину на огороде, где были накануне.

Князь Черкасский, оставшись один, начал расхаживать большими шагами взад и вперед по комнате. Сначала решил он ехать к принцессе, но вдруг пришла ему мысль, что Бирон нарочно подослал приходящих с просьбой людей, чтобы обнаружить настоящее расположение к нему князя и запутать его в свои сети.

«Нет, господин герцог, не поймаешь меня!» — подумал князь и поехал немедленно к Бирону, для представления ему поданной просьбы.

Между тем, Маус явился к Лельскому с донесением.

— Ну, что доброго нам скажешь?

— Все благополучно. Герцогу ничего еще неизвестно.

— Не забудь: ни слова о Головкине при этой твари! — сказал Лельский на ухо Валериану.

— Что это, господа? Вы шепчетесь? От меня, кажется, не для чего таиться.

— А тебе хочется непременно знать, что я сказал поручику на ухо? Это неприятная для тебя новость.

— Какая?

— Да я заметил, что у тебя сегодня нос необыкновенно красен. Видно, ты уже порядочно позавтракал. Признайся: верно, выпил полынной?

— Нет, я всегда пью только сладкую водку, и весьма умеренно. Нос мой покраснел от холоду... Ба! Что это? Сюда идут люди! Спасайтесь, господа!

Маус вскочил на печь и прижался в угол.

— Вяжите их! — вскричал Гейер, входя в хижину с прислужниками. — Обыщите всю избу: нет ли еще кого-нибудь здесь.

— Я здесь, господин Гейер! — отвечал спокойно Маус, слезая с печи. — Я спрятался и подслушал тайный разговор этих господ, у меня волосы стали дыбом, они условились убить герцога. Под печкой спрятано у них платье монахини и кинжал. Вот, извольте посмотреть! Я давно уже присматривал за этими молодцами. Они часто в этой избушке скрывались. Это возбудило во мне



подозрение, я решился их подслушать и сделал свое дело, несмотря на то, что жизни моей грозила величайшая опасность.

— Ты усердный и искусный малый! — сказал Гейер, потрепав Мауса по плечу. — Я поговорю о тебе сегодня же с герцогом.

— Вот как надобно служить! — продолжал Гейер, обратясь к прочим прислужникам. — Берите все с него пример!

— И от нас тебе спасибо, Маус! — сказал Лельский, глядя на него презрительно, между тем как тот затягивал ему руки веревкой:

— Ты нам также усердно служил до сих пор.

— Ге, ге, старая песня, почтенный! — возразил Маус. — Кого из нас, грешных, пойманные нами злодеи не оговаривают, да жаль, что никто им не верит.

— Не стоит и отвечать на клевету, Маус! Ведите их! — сказал Гейер.

Возницы и все приходившие к князю Черкасскому были схвачены еще прежде Лельского и Валериана. С огорода вывели их на берег Фонтанки и посадили в телегу. Для сопровождения их отрядив четырех вооруженных прислужников и Мауса, Гейер сказал последнему:

— Ты отвечаешь головой за верное доставление преступников, ты знаешь куда. Смотри, чтоб все было готово для допроса. Герцог приказал представить ему немедленно признания всех заговорщиков. Вези их скорее. Я приеду вслед за тобой.

Валериана и Лельского повезли по берегу Фонтанки к Неве. Увидев дом отца своего, Валериан закрыл лицо платком и зарыдал.

— Бедный батюшка! Ты уже никогда не увидишь твоего сына! — произнес он горестно.

— Вот дом твоего отца! — сказал ему Маус. — Тебе еще не известно, и что почтенный твой родитель в наших руках. Господин Гейер долго искал тебя, требовал от твоего отца, чтобы он объявил, где ты, и наконец, потеряв терпение, исполнил то, что обещал, то есть, представил герцогу подписанное отцом признание в ереси. С еретиками суд короток: взведут на костер — и поминай как звали!

Невозможно изобразить, какое ужасное действие произвели эти слова на Валериана. Готовясь к скорой и не-

избежной смерти, несчастный вдруг узнал, что, увлекшись обманчивой надеждой на успех предприятия против герцога, он возвел престарелого отца своего на костер. «Боже! Неужели я отцеубийца? — с ужасом и неизобразимой тоской спрашивал он мысленно самого себя. — Ты мог спасти, и не спас отца твоего! Да, ты отцеубийца!» — говорил ему неясный, внутренний голос. Трепет пробегал по всем членам Валериана, и холодный пот крупными каплями выступал на бледном лице его. На миг в смятенной его душе восстал образ Ольги — и терзаемое раскаянием сердце отвергло свою любимицу. Любовь к ней, думал Валериан, сделала меня отцеубийцей!

Ханыков, несколько дней везде искавший понапрасну своего друга, узнал о его участии вскоре после взятия его под стражу. Это сильно поразило его, тем более, что граф Миних, убежденный просьбами Ханыкова, пришедшего к нему прямо с поединка, решился горячо вступить за Валериана и надеялся, что его ходатайство подействует на герцога. Фельдмаршал сообщил свое намерение отцу несовершеннолетнего Императора, принцу Брауншвейгскому, который также взял сторону Валериана. Без сомнения, настояние этих двух лиц, которых герцог втайне опасался, успело бы спасти поручика, примирило бы его с братом герцога и возвратило бы ему Ольгу.

Немедленно Ханыков побежал к фельдмаршалу и рассказал ему случившееся с Валерианом, все еще питая слабую надежду, что твердость и необыкновенный ум графа найдет средство, по крайней мере, спасти Валериана от казни и облегчить судьбу его.

Выслушав Ханыкова, Миних пожал плечами и сказал: — Жаль, очень жаль! Пылкость увлекла его слишком далеко: теперь уже спасти его невозможно. Ни я, ни принц теперь не решимся ходатайствовать за него перед герцогом.

Ханыков невольно признал справедливость слов графа и вышел от него, погруженный в самые мрачные мысли. Когда он проходил по Красной улице, потупив глаза в землю и не замечая даже, где он идет, то вдруг, подняв глаза, увидел перед собой дворец Цесаревны Елизаветы Петровны. Он имел свободный к ней доступ. Помня благодеяния, оказанные отцу его, и питая в душе глубокое уважение к добродетелям, отличавшим дочь

Петра Великого; Ханыков готов был жертвовать жизнью за цесаревну Елизавету, если бы то было нужно для ее блага.

Желая испытать еще какое-нибудь средство для спасения своего друга, Ханыков, без определенного, впрочем, намерения, решился войти во дворец Елизаветы, прези-рая опасность, которой подвергался, потому что это мо-гло опять навлечь на него подозрение и подвергнуть пыт-ке, как уже прежде то случилось.

— Если бы она была на престоле, как бы блаженст-вовало отечество! — размышлял Ханыков, всходя по лестнице. — Оно бы отдохнуло от бедствий, нанесенных ему тираном, иноземцем Бироном. Все русские сердца забились бы от восторга, когда бы явилась на престоле, как благотворное солнце после бури, кроткая Елизаве-та. Кровь Петра Великого течет в ее жилах. Любовь к справедливости, кротость, милосердие — эти высокие, на-следственные добродетели дома Романовых, — украша-ют ее сердце. Она имеет неоспоримые права на престол, и не хочет престола, дорожа русской кровью, которую всякий русский с радостью готов пролить за нее.

Он вошел в залу. Фрейлина, там бывшая, по просьбе Ханыкова, доложила о нем цесаревне Елизавете.

Хотя Елизавета в то время достигла уже тридцатого года жизни, но и восемнадцатилетняя красавица могла бы втайне позавидовать цесаревне, смотря на ее лилей-ную белизну лица и рук, на нежный румянец, игравший на щеках, на пурпурные уста, которые украшались по-стоянной улыбкой, выражавшей кротость и добродушие, на темно-карие, полные жизни глаза, на черные, пре-лестные брови. Сверх того, Елизавету отличали высокий рост, тонкий и стройный стан, величаяя походка, ясный взор, который выражал проницательность и живость ума и в то же время спокойствие, безмятежность добродетельного сердца.

— Здравствуй, капитан! — сказала цесаревна при-ветливо, выйдя из внутренних комнат в залу в сопровож-дении ее фрейлины.

Ханыков поклонился и почтительно поцеловал руку, которую подала ему цесаревна с таким доброжелатель-ством во взоре, что незаметно в ней было и тени важно-холодного соблюдения дворянских обычаев, напротив

того, казалось, что любимый сын целует руку у доброй матери.

— Я слышала, ты пострадал, Ханыков, за то, что не хотел забыть тех незначительных пособий, которые я, для собственного удовольствия, оказывала покойному отцу твоему. Я сердечно о тебе пожалела.

— Мне бы следовало благодарить ваше высочество, но... простите солдата! Чем сильнее он чувствует, тем труднее для него выражать свои чувства.

— Странно, что герцог и меня вздумал подозревать в замыслах против него? Это меня удивило. Его обращение со мною с тех пор, как он сделался правителем, стало гораздо лучше, чем прежде. Он, кажется, искренно расположен ко мне. Ему не пришло бы в голову назначить мне по пятидесяти тысяч рублей в год пенсион, если б он питал ко мне неприязнь и считал меня для себя опасной.

— А я смею думать иначе, ваше высочество, это именно и доказывает, что герцог вас опасается. Вы действительно для него опасны.

— Я? Я для него опасна? Чем?

— Преданностью и любовью к вам всех русских.

— Если это и справедливо, то я нисколько не виновата перед герцогом.

— Злой человек всегда считает всех добродетельных своими врагами. Они против воли своей служат укором всех его поступков. Ах, ваше высочество! Долго ли отечество будет страдать под железным игом этого иноземца? Дождутся ли когда-нибудь русские времен лучших?

Цесаревна вздохнула и, взглянув на фрейлину, стоявшую в некотором от нее отдалении, сделала ей знак рукой, чтоб она удалилась.

— Если бы Провидение вложило в сердце вашего высочества намерение потребовать исполнения неоспоримых прав ваших на престол, то Бирон...

— Не говори мне этого, Ханыков! Я знаю права свои, но не хочу ими пользоваться. Мне ли, слабой женщине, управлять обширнейшим в свете царством, когда тягость этого бремени чувствовал даже покойный родитель мой! Достанет ли у меня сил принять на себя перед Богом ответственность за счастье миллионов? Последний подданный, по моему небрежению или неведению, несправедливо обвиненный и погибший в напрасном ожидании мо-

ей защиты, потребовал бы меня на страшном суде к Престолу царя царей и обвинил бы меня перед Ним.

— Ваше высочество! Скажу вам прямо, что думаю и чувствую. Если перед Царя царей требуют вас все погибшие от злобы Бирона, если все русские, страдавшие и страдающие под игом этого жестокого человека, скажут: «Елизавета могла спасти нас и не спасла». Что вы скажете в оправдание?

Слова эти произвели глубокое впечатление на цесаревну. С приметным волнением она подошла к окну и в задумчивости устремила взоры на покрытое тучами небо.

— Не проходит дня, чтобы кровь новой жертвы не обагрила секиры палача! — продолжал с жаром Ханыков. — Воздвигаются костры, и стоны сожигаемых летят к небу. Нестерпимые мучения, пытки исторгают признания у невинных в небывалых преступлениях, и невинные гибнут жертвами гнусных доносов, тайной вражды!

— О! если бы я имела власть, я истребила бы навсегда все эти ужасы в памяти русских, но власть в руках герцога, ее твердо охраняют его лазутчики и телохранители.

— Одна любовь народная может назваться неизменным и надежным телохранителем властителя, один этот страж лучше тысячи доносчиков. Толпа их окружает и оберегает Бирона, но какая в том для него польза? Он каждый день удостоверяется только в том, что его все ненавидят, каждый день он мстит, мстит ужасно своим врагам и недоброжелателям, но истребляет ли он этим вражду и ненависть? Нет! Он только возжигает их! Властитель добродетельный и справедливый может также иметь врагов, но он выше чувства мщения, тайные наветы не смоют и не могут очернить перед ним невинности, всех злых карает он силой закона величественно и грозно, как Божия молния, слетающая с неба. Так действовал великий родитель ваш, цесаревна!.. В вас течет кровь его, воскресите для отечества славный и счастливый век Петра Великого!

У Елизаветы навернулись на глаза слезы.

— Если б я была уверена, — сказала она с чувством, — что у меня достанет сил для этого подвига, то я решилась бы теперь же действовать. Я бы с радостью пожертвовала спокойствием жизни для блага отечества,

но я должна прежде испытать себя... Теперь стану молиться о счастье русских. Небо покажет мне, должна ли я буду действовать. Ханыков! Ты заставил меня сказать более, нежели следовало, но я полагаюсь на твою преданность мне. Кончим разговор! Ни слова более об этом!

— Ваше высочество! Осмелюсь ли я просить у вас новой милости, нового благодеяния?

— Все готова сделать, что от меня зависит.

Ханыков рассказал все случившееся с его другом. С необыкновенным волнением и участием слушала Елизавета рассказ его.

— Спасите несчастного, ваше высочество! — продолжал Ханыков, — ходатайство ваше за него, без сомнения, подействует на герцога.

— Оно будет бесполезно! — возразила Елизавета с тяжелым вздохом. — Герцог тем ужаснее мстит, чем более встречает препятствий в своем мщении.

— Итак, друг мой должен погибнуть! Боже мой! Как перенесет этот удар престарелый отец его? Лишиться единственного сына, и так лишиться... О! Это ужасно!

Ханыков не знал еще об участи, готовившейся отцу Валериана. Елизавета заплакала и, сняв с руки драгоценный перстень, сказала тихо Ханыкову:

— Отдай бедному отцу от меня это. Пусть этот перстень будет для него знаком искреннего моего сострадания. Утешай несчастного старика, Ханыков, не оставляй в дни его скорби. О! Если б от меня зависело спасти его сына!..

Тронутый Ханыков взял перстень и, откланявшись, удалился. Приближаясь к своему дому, встретил он незнакомца, завернувшегося в широкий плащ, с надвинутой на глаза шляпой. Незнакомец шел с заметной робостью и часто останавливался, осматриваясь во все стороны. Увидев Ханыкова, он вздрогнул. Ханыков, погруженный в горестные размышления, не обратил на это внимания. Взойдя на лестницу и ютпирая дверь своей квартиры, он удивился, увидев незнакомца, который шел за ним по лестнице.

— Спасите меня! — сказал тихо незнакомец жалобным голосом, приближаясь к капитану.

— Кто ты?

Незнакомец, распахнув плащ, снял шляпу.

— Боже мой! — воскликнул изумленный Ханыков: перед ним стояла Ольга. Прелестное лицо ее было бледно; страдание, страх, изнеможение, отчаяние яркими чертами на нем изображались:

— Войдите! — сказал Ханыков, взяв ее за руку и входя с нею в свои комнаты. Он помог ей снять плащ и посадил на софу.

— Я хотела идти к батюшке, — начала Ольга слабым голосом, после некоторого молчания, — но побоялась: там могут легко отыскать меня; я могла бы и батюшку погубить; он защитить меня не может, брат герцога стал бы мстить ему.

— Вы пришли сюда из загородного дома Бирона?

— Да, он довел меня до того, что я тихонько убежала. Он злой и бесчестный человек! Какая ему польза, обижать беззащитную девушку? Что я ему сделала?.. Давно ли вы видели батюшку? Здоров он? Ради Бога, не обманывайте меня!

— Здоров. Мы недавно с ним виделись.

— Вы меня не выгоните отсюда? Ради Бога, позвольте несколько дней у вас остаться. Я не буду долго подвергать вас опасности, я убегу, должна убежать...

— Но куда же...

— Куда-нибудь... сама не знаю! Туда, где брат герцога не может найти меня.

— Успокойтесь, вы можете остаться у меня, сколько хотите. Ручаюсь вам этой шпагой, что вас никто здесь не оскорбит: я имею случай просить за вас Цесаревну Елизавету. Она возьмет вас под свою защиту, в этом я уверен.

— Я вам целую жизнь буду благодарна.

— Вы очень ослабли, вам нужно отдохнуть. Будьте, ради Бога, повеселее! Отдаю вам эту комнату в полное владение, а сам отправляюсь теперь в другую. Там буду я на аванпосте. В случае неприятельского нападения, то есть, когда кто-нибудь придет ко мне, скройтесь за эти ширмы для большей безопасности. Я знаю, что вы и без моей просьбы шуметь тогда не будете, зато я берусь пошуметь за двоих. Теперь позвольте мне удалиться на аванпост и затворить эту дверь, чтоб вам было покойней в вашем укрепленном лагере.

Через несколько часов пришел к Ханыкову знакомец его, отставной премьер-майор Тулупов. По праву сосед-

ства по деревням он нередко навещал капитана, хотя тот всегда принимал его весьма неохотно. Премьер-майору до этого дела не было, цель его посещений ограничивалась рюмкой водки и трубкой табаку.

— Здравия желаю, капитан! — сказал он громко, войдя в комнату. — Я думал, что вас дома нет, вы ныне запираетесь. Я, было, поцеловал пробой, да и пошел домой, однако ж, посмотрел в замочную скважину и увидел, что ключ тут, я и смекнул отдернуть задвижки у двери внизу и вверх, и вошел, как изволите видеть!

Премьер-майор в заключение громко и басисто засмеялся от внутреннего сознания своей любезности и остроумия.

— Очень рад вашему посещению, — отвечал Ханыков, в мыслях посылая гостя к черту.

— Ну что, батюшка, заговор? Ведь вы не лазутчик, так я с вами всегда откровенно говорю. Здесь, кажется, никто нас не подслушает.

— Какой заговор? — сказал Ханыков в замешательстве, опасаясь, как бы чего-нибудь не сказать о Валериане.

В это время еще кто-то вошел в переднюю. Ханыков обрадовался этому, потому что Тулупов, приложив к губам палец, замолчал.

Вошел Мурашев.

— А! Любезный дружище! — воскликнул Тулупов, обнимая Мурашева, — мы уже с тобой с месяц не видались! Позволь поздравить тебя: мне сказывали, что брат его высочества на твоей дочке женится. Я сначала не поверил, признаться. Поздравляю! Этакое счастье, подумашь!

Мурашев ничего не отвечал, тяжело вздохнул и сел в кресла.

— Да что ты смотришь таким сентябрем? Нездоров, что ли? У меня есть настойка с зверобоем, я пришлю полштофа, такое лекарство, что мертвых только не воскрешает! А что ж, капитан, ведь и у тебя знатная водка. Постой, сиди, не трудись, я сам достану из шкафа, я ведь знаю, где твой графинчик стоит.

Осушив рюмку водки, премьер-майор поморщился и крикнул по форме, как будто по необходимости выпил неприятное лекарство.



— Говорят, что всех заговорщиков на днях отправят на тот свет,— продолжал он.— Набить было трубочку!.. Люблю за то Бирона: отцу родному не спустить... Славный табак! Человек пятнадцать в беду попались, я слышал... Верно, у вас трубка давно не чищена, капитан: горечь в рот попадает... Вашего приятеля также грех запутал! Весьма это жалко! Удивляюсь, как с умом Валериана Ильича... Верно, у вас табак сыр: трубка погасла.

Мурашев, сплеснув руками, взглянул на Ханыкова и спросил:

— Неужели и Валериан Ильич...

— Пустые слухи! — прервал Ханыков, — мало ли что говорят!

— Как пустые! — возразил Тулупов. — Я вам говорю, что...

— Граф Миних просил за него герцога — и он прощен.

— Слава Богу! — сказал Мурашев. — Я именно затем пришел к вам, чтобы навеститься о Валериане Ильиче.

— Помилуйте! — закричал Тулупов. — Да я слышал от верного человека...

— Что, теперь дождь идет? Это правда! Когда же вы мне пришлете зверобойные настойки? Ведь давно уже обещали.

— Виноват, все забываю! Завтра же пришлю, и вот, узелок на платке завяжу на память.

Ханыков был на иголках. Опасаясь, чтобы Ольга, без того уже ослабевшая от страданий и усталости... неожиданно не услышала ужасной вести о Валериане, он заминал речи словоохотного премьер-майора и наконец успел навести его на любимую колею, напомнить о ссоре с помещиком Дуболобовым за похищенного у премьер-майора неизвестно кем селезня. В этот раз Ханыков весьма был рад, когда началось повествование о селезне, давно ему уже известное. Рассказ начался с деда Дуболобова: кто он был, где и как служил, как попался под суд, как оправдался, на ком женился, сколько взял душ в приданое, словом сказать, истощены были все биографические известия о деде похитителя селезня, потом о сыне его, наконец, о внуке. Повествование лилось рекою не хуже романтической поэмы, с явным презрением к устарелому, схоластическому требованию единства действия, времени и места, и кончилось тем, что пропавший

селезень (которого не отыскали, несмотря на все старания и меры), совершенно пропал и в рассказе.

— Таким образом, изволите видеть,— заключил премьер-майор,— этот бездельник Дуболобов воображает, что он важная фигура, между тем, как я вам уже докладывал, дед его до женитьбы торговал гороховым киселем. Это не выдумка, поверьте моей совести, это скрывала мне Марeya Поликарповна, моя соседка, а она слышала от ее покойной матушки, которая сама иногда кисель покупала. Я иначе и не называю Дуболобова, как гороховым кисельником. Он жаловался воеводе, и однажды, по злобе, называл Марeyю Поликарповну, за именинным обедом у помещика Губина, трещоткой. Она также жаловалась воеводе, однако ж, дело ничем не кончилось, гриб съел, разбойник!

Мурашев, не дождавшись этого занимательного окончания премьер-майорского рассказа, ушел домой. Вскоре и повествователь, приметив, что уже десять часов вечера, взял шляпу и пожелал хозяину спокойной ночи.

Ханыков подошел тихонько к двери комнаты, где была Ольга, и заметил, что дверь заперта. Дай Бог, чтобы бедняжка ничего не расслышала о Валериане,— подумал он, и вскоре услышал, что Ольга произносит вполголоса молитву. Вздохнув, он сел на софу и не раньше полуночи заснул. Во сне ему привиделось, что Валериану отрубили на его глазах голову. Это было на рассвете. В ужасе Ханыков вскочил и никак не мог уже потом заснуть.

## Х

В пять часов утра явился Гейер в Летний дворец с бумагами. Это были показания заговорщиков, вынужденные пыткой.

Герцог накануне еще приказал камердинеру своему доложить ему тотчас же, как скоро явится Гейер.

Бирона немедленно разбудили, и вскоре Гейер был позван в кабинет. Там Бирон, в малиновом бархатном халате, подбитом соболем мехом, неровными шагами расхаживал вдоль и поперек кабинета. Лицо его было бледно, глаза, от беспокойного и не вовремя прерванного сна, были мутны и красны, непричесанные волосы его сравнил бы поэт со змеями, вьющимися на голове

Медузы. Ужасный вид герцога мог окаменить всякого, как вид этой баснословной головы. Даже Гейера, давно привыкшего уже к Бирону, в этот раз проняла сильная дрожь.

— Что ты стоишь, как чурбан? — закричал Бирон, топнув ногой. — Читай!

Секретарь начал торопливо читать признания заговорщиков, заикаясь от робости.

— Майор Возницын был жестоко пытан и сказал, что он вздумал сам просить князя Черкасского о подаче просьбы принцессе, сам писал просьбу, и никто другой его к тому не подговаривал. Он был зачинщиком всего заговора по злобе против вашего высочества за смерть своего брата.

— Га! — воскликнул Бирон ужасным голосом. — Колесовать его!

— Капитан Лельский не признался...

— Что ж ты не записал моего приговора, болван?

— Я полагал, что по закону суд должен прежде...

— Суд?.. Ты полагал?.. Ты, ты смеешь меня учить! — закричал Бирон, едва дыша от гнева. — Пиши: колесовать! Чтобы ночью в четыре часа, за городом, без огласки, приговор этот был исполнен, как скоро все приготовлено будет для казни, слышишь ли? Ты головой отвечаешь, если одну минуту промедлишь. Чтобы ровно в четыре часа ночи все преступники были казнены. Читай далее!

— Капитан Лельский ни в чем не признался, но Маус показывает, что он хотел якобы лишить ваше высочество жизни.

Бирон онемел от ярости, губы его дрожали, глаза страшно сверкали, как у безумного, и остановились на Гейере. Он смотрел на него, как тигр, готовый броситься на свою жертву.

— Сжечь злодея! — сказал он, наконец, с усилием, ударив кулаком по столу. — Сжечь медленным огнем!

— Поручик Аргамаков признался, что он вступил в заговор только для того, чтобы спасти отца своего от кнута и чтобы освободить, якобы, из рук брата вашего высочества какую-то свою невесту.

— Расстрелять, а отца его сжечь!

Таким образом, Гейер прочитал признания всех пришедших к князю Черкасскому. Все они сдержали сло-

во, данное ими Головкину. Пытка не принудила их упомянуть даже его имя. Бирон всем назначил смертную казнь. Когда Гейер читал признание директора канцелярии принца Брауншвейгского, Граманита, показавшего, что он действовал по воле принца, то Бирон закричал:

— Отрубить обоим головы! Принц не защищается тем, что он отец малолетнего императора!

Через несколько минут Бирон одумался.

— Отрубить голову одному Граманиту,— сказал он,— а к принцу сейчас послать приказание, чтобы он явился ко мне. Я сам допрошу его. О всех уже преступниках доложено?

Гейер отвечал, что осталось доложить об одном еще, что он в тот день получил безымянный донос, где было сказано, что живущий в уезде помещик Дуболобов знаком был с Возницыным, вероятно, знал о его замыслах и однажды в пьяном виде осмелился назвать герцога медведем.

— Прикажете его допросить? — спросил Гейер.

— Не о чем допрашивать, это напрасная потеря времени! Немедленно послать за ним в уезд, схватить и в мешке бросить в воду.

Тулупов, подавший этот донос, не воображал, что дело примет такой оборот. Увлеченный ненавистью к Дуболобову, он хотел только потешиться и ввалить своего врага в хлопоты. Он был уверен, что тот легко оправдается.

Дуболобов, живя спокойно в деревне, не знал и не заботился о том, что делается в столице. Ему и на ум прийти не могло, что за селения, без всякой его вины пропавшего у соседа года за три перед тем, его наконец приговорят к смертной казни.

Гейер, по знаку Бирона, удалился, а герцог, одевшись в богатое платье, пошел со свитой в залу, находившуюся в деревянном дворце покойной императрицы, который стоял на месте нынешней решетки Летнего сада.

Вскоре приехали к герцогу, один за другим, с докладами: кабинет-министры, граф Остерман, князь Черкасский и Бестужев, фельдмаршал граф Миних и несколько сенаторов. Герцог велел позвать всех в залу, не сказал никому ни слова и сел в большие бархатные кресла, сурово поглядывая от времени до времени на дубо-

вую, украшенную золотом и резьбою дверь, через которую входили в залу. Все прочие стояли в недоумении и молчании, которого никто не осмеливался первый нарушить.

Наконец, дверь отворилась, и вошел принц Брауншвейгский.

— Принц! — сказал Бирон, не встав с кресла и глядя прямо в глаза Антону Ульриху, — известно ли вам, что я правитель государства, и что я облечен полною властью решать все дела в империи, как внутренняя, так и внешняя?

— К чему клонится этот вопрос? — сказал спокойно принц. — Вы, без сомнения, помните, что я читал акт о регентстве?

— Но вы, вы не хотите помнить этого! — закричал гневно Бирон, топая обеими ногами. — Вы забыли, что я имею право суда над всеми, не исключая и вас, принц! Советую вам оставить ваши замыслы, а не то... страшитесь!

— Чего?.. Не вас ли, герцог?

— Да! Меня!.. Прошу вас воздержаться от этой презрительной улыбки, вы за нее можете заплатить очень дорого!

— Что значат эти угрозы? Я, в свою очередь, спрашиваю, помнит ли герцог Бирон акт о регентстве и по какому праву забывает предписанное ему уважение к отцу императора? Нарушая этим акт, герцог подает другим опасный пример!

— Не вам судить мои поступки! Вы на то права не имеете! Отвечайте мне, я вас спрашиваю как полновластный правитель государства, какие вы имели замыслы против меня?

— Замыслы?.. На этот дерзкий вопрос я не обязан отвечать и не хочу.

— Я вам приказываю.

— А я вас прошу не переступать границ вашей власти.

— Не ставьте меня в необходимость поступать с вами, как с явным послушником и мятежником!

— Остерегитесь, чтоб с вами не поступили как с нарушителем акта, без которого вы не останетесь уже правителем.

— Я знаю, что это цель ваших желаний. Вы для того готовы пролить реки крови! Вы забыли все, чем вы мне обязаны. Знайте, что Граманит ваш во всем признался, все замыслы ваши мне уже известны.

— Я не обязан отвечать за слова и поступки другого. Пыткой вы могли, без сомнения, заставить Граманита признаться, в чем вам было угодно.

— Не скроете хитрость вашего преступления: оно слишком явно, неблагодарный, кровожадный человек!

Лицо принца вспыхнуло негодованием. Дерзость Бирона его изумила. Отступив на шаг, он устремил гневный взор на герцога, и потряс шпагой, схватив эфес левой рукой. Бирон, как бешеный, вскочил с кресла.

— Я готов с вами разделаться и с этим в руках! — закричал он, ударив по своей шпаге ладонью.

— До этого дошло уже, герцог! Вы вызываете на поединок отца вашего государя?.. Все кончено между нами!.. Не знаю: не унижу ли я себя, приняв ваш вызов? Впрочем, предоставляю это вашему решению, я на все согласен.

Принц поспешно удалился. Бирон начал ходить большими шагами взад и вперед по зале, произнося вполголоса угрозы. Все, там бывшие, в молчании смотрели на него с беспокойством.

— Я слишком расстроен! — сказал наконец Бирон. — Я не могу заниматься делами сегодня. Фельдмаршал! — продолжал он, обратясь к графу Миниху, — я лишаю принца всех должностей, которые он занимал в войске. Объявить ему это и исполнить сегодня же.

Миних поклонился. Герцог, тяжело дыша, сел в кресла и подал знак рукою, чтобы все удалились. Все вышли тихо из залы.

## XI

Вдали раздавался звук барабана: били вечернюю за-рю. Ханыков, сидя в своей комнате с Ольгою, шутил наперекор сердцу, удрученному горестью, утешал бедную девушку, скрывая от нее участь Валериана и стараясь возбудить в ней утешительную надежду на скорый конец ее бедствий, и чем более успевал в этом, тем сердце его сильнее терзалось мыслью: несчастная! Она не знает ужасной истины. Достанет ли у нее силы перенести удар,

который неминуемо и скоро ее постигнет? Найду ли я средство защитить ее? Мудрено мне бороться с братом герцога!

Осторожный стук в дверь прервал разговор их. Ольга скрылась по-прежнему в комнату, уступленную ей капитаном. Ханыков отворил двери на лестницу и удивился, увидев Мауса.

— Что надобно тебе? — спросил он сухо, не впуская его в комнаты.

— Мне нужно поговорить с вами, господин капитан, наедине, о весьма важном, как думаю, для вас деле. Нет ли кого-нибудь у вас?

— Никого нет, а если бы и был кто, то я не обязан давать тебе в том отчета. Говори скорее, чего ты от меня хочешь? Мне пора спать.

— Дайте мне честное слово, что свидание и разговор останутся втайне.

— Вот еще какие требования! Говори скорее без околичностей, а не то можешь открывать свои тайны кому хочешь, только не мне.

— Вы раскаетесь, капитан.

— Легко статья может, если поговорю с тобой подолее. Ступай, любезный! Желаю тебе доброй ночи.

— Чей это почерк? — спросил Маус, показывая записку и держа ее крепко в руке, из опасения, чтобы Ханыков ее не вырвал. Спрятав проворно записку в карман, Маус продолжал:

— Что, капитан? Дадите ли мне честное слово, что я могу полагаться на вашу скромность?

— Честное слово!.. Отдай мне записку.

— Позвольте войти прежде к вам, здесь, на лестнице, говорить о таких делах опасно.

— Войдем скорее!

Ханыков ввел Мауса в комнату и торопливо взял поданную ему записку. Он прочитал:

«Единственный верный друг мой! Гейер уехал за город, чтобы приготовить все к нашей казни, которая совершится завтра ночью. Я обещал отдать все деньги свои, какие со мной есть, Маусу, если он доставит тебе эту записку, последнюю записку от твоего друга. У Мауса ключи от тюрьмы, откуда выведут меня под ружья. Пользуясь отсутствием Гейера, он согласился впустить тебя на несколько минут ко мне. Поспеши к другу! Мо-

жет быть, слова твои несколько облегчат мои страдания. Меня не страшит смерть, я жду с нетерпением минуты, когда свинец растерзает мне сердце,— тогда конец моим мучениям! Друг мой! Если бы ты знал, если бы ты мог вообразить, как я мучаюсь! Я строго разбирал мои поступки. Бог свидетель, что я не хотел никому зла, не воображал, что родителя моего... Боже! И выговорить ужасно!.. Подвергнут смертной казни!.. Не могу писать более: рука дрожит, в глазах темнеет. Поспеш ко мне. Неужели я лягу в могилу отцеубийцею? О, если бы ты мог как-нибудь оправдать меня перед моею совестью. Я не могу ни чувствовать, ни размышлять. Ты мне скажешь: виновен ли я в смерти отца моего, или нет. Будь судьбою моим, судьбою строгим, беспристрастным, поклянись мне в том именем Бога. Если бы ты после того сказал мне, я невиновен, с какою радостью, с каким облегченным сердцем пошел бы я на казнь, как бы гораздо обнял тебя в последний раз! Поспеш ко мне. Буду тебя ждать, как ангела-утешителя, верный друг твой

В. А.».

Легко можно вообразить, что чувствовал Ханыков, читая эту записку. Руки его дрожали. Он забыл даже, что Ольга находилась в другой комнате, и горестно воскликнул: «Бедный Валериан!»

Смертельный холод пробежал по жилам Ольги, когда она услышала эти слова. Сердце ее менее бы замерло, когда бы кто-нибудь, схватив ее на вершине утеса, стал держать над глубокой пропастью и готовился ее туда сбросить. Побледнев, она в изнеможении опустилась на спинку кресел, в которых сидела, только одно прерывистое дыхание показывало в ней признак жизни...

— Впрочем, беда небольшая! — продолжал спокойно Ханыков, тотчас после восклицания своего вспомнив об Ольге. — Мы и все туда скоро отправимся, там гораздо будет всем нам веселее, чем в этой столице.

Ольга начала дышать свободнее. Маус, покачив головой, возразил:

— Веселее? А почему вы это знаете? Вы не были там, капитан!

— Как не был! Я провел там ровно три недели.

— Ага! Шутить изволите?

— Нимало!



В это время послышался шум на лестнице. Маус убежал в переднюю и спрятался за бывшей там перегородкой. Кто-то начал стучаться в дверь. Ханыков отворил ее и увидел перед собой Мурашева. Он был бледен, расстроен.

— Ради Бога,— сказал он дрожащим голосом, схватив Ханыкова за руку,— позвольте мне скрыться эту лишь ночь у вас. Я в беде: мне должно бежать из города.

— Что случилось с вами? Войдите и успокойтесь.

Мурашев бросился на стул и, ломая руки, воскликнул:

— Да, убегу отсюда, убегу, куда глаза глядят!.. Вы меня никогда уж не увидите!.. Бедная моя дочь!.. Где она теперь?.. Может быть, там!..

Он указал на небо.

— Рад, всем сердцем рад, если она там: там злодей Бирон не властвует, ему нет туда дороги, ему и взглянуть туда страшно!

— Тише, ради Бога, тише! — прошептал Ханыков,— вас могут подслушать.

— Пусть послушают, пусть перескажут слова мои Бирону!.. Я в глаза ему скажу то же!.. Сегодня утром змей Гейер пришел ко мне и сказал, чтобы я не скрывал долее моей дочери, и что мне худо будет, если не послушаюсь. Злодеи отняли, украли у меня дочь, и у меня же спрашивают: где она?.. Вечером вдруг приехал ко мне брат Бирона, начал уговаривать меня, чтобы я выдал ему дочь мою. Я-де женюсь на ней. Не вытерпело мое отцовское сердце.— Вон отсюда! — закричал я и бросился на злодея.— Вон отсюда, грабитель! — Он оттолкнул меня, я упал навзничь. Он вышел тотчас же из комнаты, говоря угрозы. Я не мог расслышать их... Да, мне должно бежать! Кто знает!.. может быть, дочь моя спаслась уж от гонителя, может быть, она убежала от него... в Неву... И я за нею убегу туда же...

— Я здесь, батюшка! — вскричала вне себя Ольга, выбежав из другой комнаты и бросаясь в объятия отца.

Мурашев весь задрожал, крепко обнял дочь и поднял благоговейный взор к небу. По временам, опуская глаза, смотрел он на бледное лицо дочери, которая лишилась чувств, и снова устремлял глаза на небо.

— Не отнимете ее у меня, злодеи! — проговорил он наконец трепещущим голосом. — Сорвите прежде с плеч мою голову. Не дам, не дам вам ее, злодеи Бироны!

— По-настоящему я обязан донести обо всем этом, — сказал важно Маус, потирая руки и входя в комнату. — Я все слышал: так честить герцога и его брата!.. Воля ваша, я не смею не донести!

— Хорошо, доноси, — сказал спокойно Ханыков. — Меня также станут допрашивать, и я должен буду сказать: для чего ты сидел у меня в передней, за перегородкой. Записка у меня в кармане.

— Я не говорю решительно, что донесу, я сказал только, что следовало бы донести. Это большая разница!.. Что же, вы идете со мной, капитан?

— Пойдем!

Ольгу привели в чувство. Ханыков просил Мурашева остаться с дочерью в его квартире.

— Вы будете здесь безопаснее, чем в своем доме. Я ручаюсь, что этот почтенный человек никому не откроет вашего убежища. Не правда ли, Маус?

— У меня сердце слишком доброе и чувствительное, хотя по-настоящему следовало бы донести... но, так и быть. Пойдемте, капитан!

## XII

Через полчаса Ханыков с проводником своим был уже у обитой железом двери тюрьмы, где сидел Валериан. Маус осторожно отпер дверь, ввел Ханыкова за руку в маленькую, совершенно темную комнату, запер снова дверь и, сняв крышку с принесенного им потаенного фонаря, поставил его на стол. Валериан сидел на деревянной скамье, склонив голову на грудь, как бы в усыплении. Разлившееся по кирпичному полу сияние свечи заставило его поднять глаза, но он закрыл их рукой, отвыкнув смотреть на свет.

— Кто пришел? — спросил он.

— Это я, Валериан.

— Друг, бесценный друг! — воскликнул несчастный, бросаясь в объятия Ханыкова. Он не мог говорить более, крепко жал друга к груди своей и плакал. Растроганный Ханыков тихо подвел его к скамье, посадил подле себя и, держа руку его в своей руке, сказал ему:

— Не о жизни ли ты плачешь? Право, — земная жизнь не стоит того, чтобы жалеть о ней. Нынче или через несколько лет, так или иначе, но все неизбежно будут в том же положении, как и ты теперь: за несколько часов от смерти. Сильные и слабые, счастливые и несчастные, угнетатели и угнетенные, все будут рано или поздно на твоём месте. Ты приговорен к смерти, но не все ли люди приговорены к тому же? Успокой себя, сколько можешь, размышлением, положишься на милосердие Божье, и ты встретишь смерть с твердостью христианина.

— Ах, друг! Я бы отдал теперь две земные жизни, все возможные блага за сердечное спокойствие, за безукоризненную совесть, я не утратил бы тогда смерти. Но может ли спокойно умереть отцеубийца!

— Ты осуждаешь себя строго и несправедливо. Клянись, что говорю по совести. Скажи, было ли когда-нибудь в тебе желание подвергнуть отца твоего участи, которая его ожидает?

— И ты можешь меня об этом спрашивать!.. Никогда!

— Мог ли ты предвидеть несчастье отца твоего?

— Мог. От меня зависело предаться в руки Гейера и спасти моего родителя. Я и решился на это, но честное слово, данное Лельскому, меня остановило, и я стал действовать с ним заодно.

— Разбери себя строго: что побудило тебя переменить твоё намерение, ложное ли понятие о чести или твердая надежда на успех вашего предприятия?

— Я был уверен в успехе. Мне казалось, что, действуя с Лельским, я скорее и вернее спасу отца моего, спасу... Ольгу, но не могу дать себе отчета, что меня более увлекло: любовь к отцу или любовь к Ольге? Трудно постигнуть и разобрать побуждения сердца. Два сильных чувства влекли его. Меня мучит сомнение, не страсть ли к Ольге меня ослепила? Если бы я не любил ее, то, может быть, решаясь предаться в руки Гейера, спас бы отца моего.

— Скажи мне, если бы отец твой и Ольга упали в реку, кого бы ты бросился спасать прежде?

— Я бы с радостью пожертвовал жизнью, чтобы спасти обоих, но прежде... прежде я спас бы отца моего. Так, я не обманываюсь.

— Не обвиняй же себя, Валериан, в гибели твоего

отца. Ты видишь, что надежда спасти его влекла тебя сильнее, чем любовь к Ольге.

— Ах, друг мой! Теперешние чувства мои, на краю могилы, не те, которые обладали моим сердцем, когда я воображал еще перед собою длинный путь жизни, когда меня обольщала еще надежда, когда я думал, что бедствия и горести минуются, а вдали ждут меня счастье и радость, По теперешним чувствам моим нельзя судить прежних.

— Вижу, что сердце твое теперь мучится неразрешимым для совести твоей сомнением. Послушай, друг, если бы ты даже мог справедливо упрекать себя в том, что, увлеченный другим чувством, не отвратил ты гибели отца твоего, то вспомни, что одна минута истинного раскаяния может загладить перед бесконечным милосердием Божиим целую жизнь, исполненную преступлений.

Эти слова глубоко тронули Валериана и пролили в растерзанную душу его отрадное спокойствие. Растроганный, он не мог говорить, сжал крепко руку друга, и намернувшиеся на глаза слезы свидетельствовали об его благодарности за слова утешения.

Маус, неподвижно стоявший близ двери в продолжение этого разговора, подошел к столу и, взяв свой потаенный фонарь, сказал:

— Мне не хотелось бы, капитан, помешать последней беседе вашей с другом, но я опасаясь, чтобы Гейер невзначай не возвратился. Благоволите проститься с вашим приятелем и удалиться до беды.

Сердце Ханыкова сжалось, неизобразимая грусть объяла его. Он встал и, скрывая тревогу души, подал руку Валериану.

— Ты уже идешь, друг? — сказал Валериан таким голосом, который растерзал бы душу самую нечувствительную. — Неужели я смотрю на тебя в последний раз? О!.. Это ужасно! Да... я уже тебя никогда, никогда не увижу!

Слезы оросили его бледные щеки. Не отирая их, он держал руки друга в своих и нежно глядел ему в лицо, как бы желая насмотреться на человека, столько ему любезного. Ханыков не плакал, с усилием подавляя скорбь, которая его терзала, он не хотел ее обнаружить, зная, что этим усилил бы мучения друга.

Маус накрыл между тем крышкой свой фонарь, и тюрьме мгновенно разлился непроницаемый мрак.

— Пойдемте, капитан, долее медлить не смею.

— Я уже не вижу тебя, друг! — продолжал Валериан. — Так будет темно в моей могиле. Теперь уже кончено, мы никогда не увидим друг друга!.. По крайней мере, я еще держу твои руки. Скажи мне что-нибудь, мне хочется в последний раз услышать голос твой. Что это, ты, кажется, плачешь?

— Нет! — отвечал трепещущим голосом Ханыков, задыхаясь от удерживаемых слез. — Не унывай, Валериан, мрак, который теперь нас окружает, не мешает нам мыслить, чувствовать и любить друг друга. Так и мрак могилы не поглотит в тебе того, что мыслит, чувствует и любит. Неужели дух наш, этот луч высшего, вечного солнца, для того только светит, чтобы наконец погаснуть, исчезнуть в земле, посреди червей и тления!

— Вы себя погубите, капитан, и меня вместе с собой. Ради Бога, пойдемте, мне послышался шум.

Маус схватил Ханыкова за руку и начал тащить его к двери.

— Прощай! — сказал отчаянным голосом узник, опустив руку друга. — Благодарю тебя! Дружба твоя уладила последние, горькие минуты моей жизни. Прощай навсегда!

— Не предавайся унынию, Валериан, призови на помощь твое мужество и иди смело навстречу смерти. Ты бесстрашно смотрел ей в глаза на полях битвы. Не прощаюсь с тобой навсегда: мы увидимся в мире лучшем.

Ключ щелкнул два раза, шум шагов, раздавшийся по коридору, постепенно затих, и гробовая тишина настала в тюрьме Валериана. Он бросился на пол почти в беспамятстве. Отчаяние задушило его в своих ледяных объятиях. Только по временам казалось ему, что вдаль он слышит еще голос друга и последние слова его: «Мы увидимся в мире лучшем!».

### XIII

Премьер-майор Тулулов собирался уже лечь в постель, как вдруг услышал, что с улицы кто-то стучит в двери его квартиры.

— Кого это нелегкая принесла ко мне так поздно? — проворчал он, испугавшись, и, со свечой в руке, пошел отпирать двери.

— Царь небесный! — воскликнул он, увидев Дарью Власьевну. — Что это значит? Так поздно и одна! Да вы ли это?

Надобно сказать, что Тулупов лет за восемь перед тем предлагал руку свою Дарье Власьевне, но получил отказ. Это не расстроило, однако ж, его знакомства с Мурашевым, он продолжал по-прежнему посещать его с удовольствием, он ни в чьем доме не находил лучшей полынней водки. Между тем, Дарья Власьевна, проведя несколько лет в напрасном ожидании жениха, мало-помалу начала раскаиваться в слишком поспешном отказе Тулупову. Наконец, она решилась употреблять все хитрости кокетства, чтобы снова заманить в сети прежнего своего поклонника, но он своей невнимательностью приводил ее в отчаяние. «Верно, премьер-майор мстит мне за прежнюю мою холодность», — думала она и ошибалась. Чуждый мщения, он даже расположен был возобновить свое предложение, но его развлекала не известная Дарье Власьевне, опасная ей соперница — полынная водка. Премьер-майор, находя гораздо более наслаждения в жгучей горечи этого напитка, нежели в сладком нектаре любви, каждый раз, будучи в гостях у Мурашева, стремился сердцем в шкаф, где стояла фляга, и приходил в восторг, когда Дарья Власьевна, являясь со скатертью в руке, начинала ее расстилать на столе, или, лучше сказать, устилать этой узорной тканью путь из шкафа на стол для любимицы премьер-майорского сердца. Мудрено ли, что в такие минуты оставались незамеченными и нежные взоры, и значительные вздохи. Может быть, в другие минуты они бы не пропали даром.

— Полагаюсь на великодушие ваше, Клим Антипович! — сказала Дарья Власьевна, закрываясь жеманно платком. — Одна крайность заставила меня в такой поздний час искать помощи в доме холостого человека.

— Помилуйте, сударыня, нет нужды, что я холостой, можете положиться на меня, как на каменную твердыню. Чем могу служить вам?.. Да пожалуйста в комнату. Вы простите меня великодушно, что я такую нежданиую

и дорогую гостью принимаю — не при вас будь молвлено — в халате, в туфлях и в ночном колпаке! Прошу садиться, сударыня! Вот кресла.

Дарья Власьевна снова закрылась платком, взглянув на придвинутое для нее кресло: на нем лежали панталоны премьер-майора. Он проворно схватил их, скомкал, спрятал за спину и хотел бросить искусно под стол, стараясь, чтобы гостя этого не заметила, но панталоны, пущенные наугад и притом слишком сильно, по несчастному случаю, попали на гипсовый бюст Венеры, стоявший на окошке, и повисли, как флаг на башне во время безветрия.

— Позвольте мне лучше сесть на вашу софу, — сказала между тем Мурашева, отняв от глаз платок. Она по глазомеру сообразила, что не войдет в кресло со своими генеральскими фижмами.

— На софу? С прискорбием должен доложить вам, что я не успел еще завести софы. Впрочем, кресла весьма мягкие, — продолжал он, обтирая подушку платком. — На них ничего уже нет, сударыня. Вот я и всю пыль смахнул. А! Вы изволите смотреть на мою дубовую скамейку? Вот она, к услугам вашим.

Взяв скамью из угла, он поставил ее к столу, прямо против окошка.

— А вот, не угодно ли полюбоваться моей Венерой? — продолжал он, глядя в лицо Дарье Власьевне. — Нечего сказать, люблю заморские хитрости, — страсть моя. Извольте посмотреть: словно живая. У итальянца купил.

С этими словами поднес он свечу к окошку, продолжая глядеть в лицо Дарье Власьевне. Та ахнула и снова закрылась платком.

— Что вы, сударыня, чего вы испугались? Не думаете ли, что святочная маска, или что этот гипсовый болванчик не одет прилично? Во-первых, доложу вам, что ног тут нет, он сделан только по пояс, во-вторых, и платье на нем по самую шею. Я сам терпеть не могу тех неприличных болванчиков во весь рост, которые... Что за напасть! — воскликнул Тулупов, схватив с досадой панталоны и швырнув их под стол.

— Исполните ли просьбу мою, Клим Антипович?

— Все готовы сделать, что прикажете!

— Помогите мне, я в совершенной беде! Вам извест-

но, что брат герцога присватался к моей племяннице. Мы обе жили уже у него в доме, и дело шло как нельзя лучше, только глупой этой девчонке вздумалось вдруг убежать. Сгинула да пропала! Искали, искали: нет как нет! Сегодня вечером брат герцога изволил воротиться домой в таком гневе, что у меня душа в пятки ушла, и на меня раскричаться изволил. А я чем виновата? Зачем, говорит, я не смотрела за нею. Словом сказать, он, несмотря на поздний вечер, выслал меня из дома и велел завтра утром представить ему мою племянницу. Как хочешь, сыщи! Господи Боже мой! Где ее найдешь к утру? Угроз-то, угроз-то сколько наговорил!.. К брату идти я не рассудила, он, кажется, сердит на меня. Я и решила идти к вам, Клим Антипович, в надежде, что вы одной ночью для меня пожертвуете и поможете мне отыскать эту ветреную девчонку. Уж я бы ее! Из-за нее бегай тетка по городу целую ночь! А послушаться нельзя, сами посудите!

— Совершенная правда, сударыня! Как можно послушаться! Только доложу вам, что едва ли успеем мы найти вашу племянницу.

— По крайней мере, исполним приказание его превосходительства: будем искать целую ночь, а не сыщем — что ж делать? На нет и суда нет!

— Я готов в вашей приятной компании проходить всю ночь напролет по всем улицам и закоулкам, только позвольте попросить вас выйти немножко прежде меня на крыльцо. Мне нужно одеться как следует. Я должен надеть... шубу. Я вмиг за вами.

Говоря это, он нагнулся, проворно вытащил брошенные панталоны из-под стола и вышел в другую комнату.

Дарья Власьева, завернувшись в свой теплый плащ, вышла между тем на крыльцо. Вскоре и Тулупов явился, в волчьей шубе и в шапке из крымского барака. Долго бродили они понапрасну из улицы в улицу и, утомясь, решились, наконец, идти кратчайшим путем домой. Для этого пришлось им войти в Летний сад. Был уже четвертый час полночь. Тулупов, стараясь чем-нибудь рассеять печальную Дарью Власьевну, начал свой любимый и весьма для него занимательный рассказ о похищенном селезне и о происшедшей от того ссоре:



с Дуболобовым. Бедная Мурашева, слушая это повествование чуть ли не в сотый раз, верно бы, уснула, если бы можно было ходя спать.

— Посмотрите, посмотрите! — вдруг воскликнула она, вздрогнув и схватив от страха своего спутника за рукав.

— Что такое вам чудится? Это куст, успокойтесь... Таким образом, Дуболобов, этот изверг, чучело и гороховый кисельник, вздумал...

— Ах, мои батюшки-светы! Уж не убитый ли человек лежит?

— Где? Я ничего не вижу. Вам это чудится... Этот гороховый кисельник, как я вам уже докладывал...

— Да полно-те, Клим Антипович! Провал возьми этого Дуболобова и с вашим селезнем. Ах, батюшки, как я перепугалась! Я подумала уж, что лежит убитый, но нет: шевелится. Видно, хмельной какой-нибудь.

— Да где вы видите?

— Вот скоро подойдем к нему. Вон, вон, между двух кустов-то! Да вы не туда смотрите!

— А, теперь вижу! Ну что же! какой-нибудь пьяница. Что нам до него за дело? А я вам должен в заключение доложить, что и сам воевода с этим гороховым кисельником...

— Да это, кажется, женщина лежит.

— Помилуйте, чему дивиться? Ведь не одни мужчины пьют до упаду. Ну, так женщина и есть. Пусть ее лежит, а мы с вами мимо, своей дорогой пройдем.

— Поднимите меня! — закричала женщина повелительно.

— Вот еще! — сказал Тулупов. — Сама, голубушка, встанешь! Выпила лишнее: не мы виноваты.

— Молчи, грубиян! Подними меня сейчас же. Как смеешь ты ослушаться герцогини!

Дарья Власьевна бросилась к ней и помогла ей встать. Тулупов остолбенел от изумления и страха.

— Веди меня ко дворцу! — продолжала герцогиня.

Тулупов, думая, что приказ этот относился не к одной Дарье Власьевне, а и к нему, подбежал и хотел взять герцогиню под руку.

— Прочь, мерзавец! — закричала она. — Стой на одном месте и не смей смотреть на меня!

Тулупов, струсив, униженно согнул спину, отскочил и закрыл глаза рукой, а Мурашева, поддерживая герцогиню под руку, повела ее к Летнему дворцу. Она не могла прийти в себя от изумления и посматривала сбоку на жену Бирона, желая удостовериться: точно ли это она? Близ дворца Дарья Власьева увидела перед собой Ханыкова. Он почтительно приблизился к герцогине и ввел ее во дворец.

— Господи твоя воля! — шептала Мурашева, уставив глаза на дверь, в которую вошла герцогиня с Ханыковым: — Не во сне ли мне все это грезится?

Ханыков вскоре опять вышел из дворца в сад и сказал что-то стоявшим у двери двум часовым. Дарья Власьева подошла к капитану.

— Скажите, ради Бога, что за чудеса совершаются? Что все это значит? — спросила она.

— Вы как здесь очутились?

Ханыков не сказал ей более ничего, побежал и закричал денщику своему:

— Беги за лошастью и седлай проворнее!

Дарья Власьева, исчезая в изумлении, побрела к Тулупову. Тот все еще стоял в прежнем положении, как статуя, не осмеливаясь отнять руки от глаз.

— Что за диковина, Клим Антипович, уже не сила ли нечистая над нами потешается?

— Не знаю, что и подумать, Дарья Власьева, — сказал Тулупов, взглянув на нее и подняв плечи.

— И мне кажется: это все не что иное, как бесовское прельщение!

— С нами крестная сила! Пойдемте скорее вон из этого сада! Кто бы мог подумать, что здесь нечистые водятся — наше место свято! Ведь не Муромский лес, прости Господи!

Прижимаясь друг к другу от страха, пошли они скорым шагом из сада. Вскоре были они уже в квартире премьер-майора.

— Знаете ли, сударыня, что мне пришло на ум? — сказал он, снимая с себя волчью шубу и пыхтя от утомления. — Прошу сесть скорее, вы, как вижу, едва дух переводите. Я не докладывал еще вам, что изверга Дуболобова некоторые из помещиков, моих соседей, по-

дозревали, что он чернокнижник и колдун. Я думаю, не он ли, злодей, по вражде ко мне, вздумал напустить на нас это дьявольское наваждение. Я вам говорю: давно следовало бы сжечь этого горохового кисельника! Воля ваша! И селезень, который неведомо как, так сказать, из-под рук пропал, его дело, что ни говори!.. Да подождите, авось, и до него доберутся!

— Ума не приложу! — сказала Мурашева, — чем больше думаю, тем больше дивлюсь: ночью, одна, в саду, на земле! Непонятно! Когда бывало, чтобы герцогиня выходила из дворца на шаг без фижм! А то...

— Да, да, удивительно! Мне померещилось, что она была — не при вас буди молвлено — в одной юбке! И вам в этом же образе представилось бесовское видение!

Дарья Власьевна кивнула, в знак утвердительного ответа, головой и закрылась платком.

#### XIV

Ханыков, после прощания своего с другом, в глубоком унынии возвратился домой. Пробило уже одиннадцать часов вечера. Вдруг принесли к нему от фельдмаршала графа Миниха приказ, чтобы он немедленно сменил капитана, командовавшего в тот день караулом при Летнем дворце, и вручили ему присланное вместе с приказом предписание фельдмаршала, в котором он требовал капитана к себе для важного поручения.

Ханыков поспешил исполнить все приказания. Капитан преображенского полка, сдав караул Ханыкову, поспешил в дом графа Миниха, где ему сказали, что фельдмаршала нет дома и что он велел ему дожидаться его возвращения.

От Мауса Ханыков узнал, что казнь Валериана, отца его, Возницына и всех его сообщников назначена в четыре часа наступавшей ночи, за городом, на окруженной лесом поляне, близ Шлиссельбургской дороги. Естественно, что Ханыков не мог спать, ходил в сильном волнении по караульной и беспрестанно смотрел на часы, висевшие на стене. Стрелка подвигалась уже к цифре: III.

«Через час страдания моего несчастного друга кончатся!» — подумал Ханыков и глубоко вздохнул.

Вдруг вошел в комнату офицер и сказал ему, что фельдмаршал требует его к себе.

— Странно! — сказал Ханыков, посмотрев пристально в лицо пришедшему: — Фельдмаршал знает лучше меня, что мне отсюда отлучаться нельзя. Точно ли он меня требует?

— Сам граф не далее как за двести шагов отсюда, и вас ожидает, капитан, поспешите!

Ханыков вышел с офицером из караульни в сад и вскоре приблизился к графу Миниху. Он сидел на скамье, под густой липой, разговаривая со стоявшим перед ним адъютантом своим, подполковником Манштейном. Поодаль стояли три преображенских офицера и восемьдесят солдат.

Ханыков, отдав честь фельдмаршалу, остановился перед ним в ожидании его приказаний.

— Сколько человек у вас в карауле? — спросил Миних.

— Триста, ваше сиятельство.

— Мне поручено взять под стражу герцога Бирона. Выведите ваших солдат из караульни и поставьте под ружье, только без малейшего шума, никому не трогаться с места и не говорить ни слова. Часовым прикажите, чтоб они никого не окликали. Что ж вы стоите?

— Разве акт о регентской власти уничтожен, ваше сиятельство?

— К чему этот вопрос?.. Я вас всегда считал отличным офицером и именно потому назначил вас сегодня в караул.

— А я потому решил спросить об акте, чтоб оправдать вашу доверенность. Покуда акт не уничтожен, могу ли я действовать против герцога, не сделаюсь ли я виновным в нарушении моих обязанностей.

— Что вам за дело до акта? Вы должны исполнять мои приказания, а не рассуждать, — вам это известно, вы не первый день служите.

— Я служу не лицу, а Государю и отечеству, и потому в таком важном и необыкновенном деле, как настоящее, обязан наперед все узнать основательно, размыс-

лить и потом действовать согласно с долгом моим к престолу и отечеству.

— Справедливо сказано!.. Так знайте же, что акт о регентстве уничтожен.

— Кем? На это имеет право одна цесаревна Елизавета. Если есть на то ее воля, то я готов действовать, готов жизнью пожертвовать.

— Воля на то изъявлена. В чем вы еще сомневаетесь? Поспешите исполнить приказание.

Ханыков, не заметив двусмысленных слов Миниха, который действовал в пользу принцессы Брауншвейгской и по ее воле, поспешил исполнить его приказ, радуясь, что Елизавета решилась, наконец, осчастливить отечество и вступить на престол.

Граф Миних, приблизясь к дворцовому крыльцу, послал Манштейна с двадцатью солдатами во дворец, чтобы схватить герцога.

Бирон спал. Уверенный, что ему все известно через его лазутчиков, охраняемый тремястами солдатами, мог ли он воображать, лежа на великолепную кровать свою, что среди ночи сон его будет неожиданно прерван, что, грозный для всех, регент будет схвачен, как преступник, и что власть его, все его могущество мгновенно улетят вместе с прерванными грезами сна. Несмотря на ужас, которым окружил себя Бирон, несмотря на толпу лазутчиков и телохранителей, довольно было Миниху захотеть его свержения, — и через несколько часов тот, в чьих руках была судьба обширнейшего государства, принужден был отдаться на руки двух десятков людей, недавно трепетавших от одного его взора. Достигнув высшей степени могущества, сделавшись повелителем миллионов себе подобных, он вдруг упал с высоты, — и миллионы людей, недавно его страшившихся, с радостью, с презрением глядели на павшего, ненавистного всем властелина. Ничто не могло удержать его от падения: он отогнал от себя лучшего, вернейшего охранителя: любовь народную. С одним этим стражем Петр Великий пребывал невредим посреди крамол, заговоров, измены. Этот надежный страж хранит и всех великих царей, ему подобных.

Отдернув занавес кровати, на которой спал Бирон, Манштейн громко сказал:

— Вставайте, герцог! Я прислан за вами!

Герцог, приподнявшись, устремил дикий взор на Манштейна.

— Кто ты, дерзкий? Как смеешь ты нарушать сон мой?

— Я имею приказание взять вас под стражу.

— Меня? Регента? Меня под стражу? — воскликнул Бирон, соскочив с постели.— Люди, люди! Сюда! На помощь! Измена!

Крик его разбудил герцогиню. Она также вскочила с кровати и начала кричать.

Видя, что никто не является на крик, Бирон, до тех пор заставлявший трепетать других, предался сам малодушному страху и, бросаясь на пол, хотел спрятаться под кровать, но Манштейн схватил его. Вошли солдаты, связали Бирона, надели на него плащ и, сведя вниз, посадили в карету. Миних сел с ними вместе и повез сверженного регента к принцессе Брауншвейгской, с беспокойством ожидавшей окончания этого предприятия.

Гордая герцогиня, вне себя от страха и гнева, убежала в сад. Манштейн велел денщику своему отвести ее назад, в ее комнаты.

— Вот, сударыня,— сказал денщик, ведя под руку жену Бирона,— напрасно супруг ваш давил русских, всех грешных земляков моих, наподобие. Будь он подобнее, так поживал бы подобию-поздорову, с ним бы этой притчи не случилось! Мой господин такой же иноземец, как ваш муж, да и он вышел, видно, из терпения. Недаром в церкви читают: Господь гордым противится!

Герцогиня, вспыхнув, хотела ударить моралиста, но он схватил ее за руку.

— Драться не за что, сударыня! Я вам ведь правду сказал, и то любя вас.

Усиливаясь вырвать свою руку, жена Бирона споткнулась и упала на землю. Денщик хотел поднять ее, но она его оттолкнула.

— Коли нравится вам эта постель, так извольте лежать, я мешать вам не стану,— сказал денщик и ушел.

После этого ясно, как успел чародей Дуболобов напугать разными чудесами в Летнем саду Тулупова и Дарью Власьевну.

Гейер не знал, что в столице стряслось в одну ночь, в течение одного часа. Он в то время был за городом, на окруженной лесом поляне и готовил все для казни приговоренных Бироном. Скованные, они стояли между солдатами, сомкнувшими штыки над их головами. Вrag Тулупова, Дуболобов, схваченный в своей деревне и поспешно привезенный, находился в числе несчастных и горько жаловался на судьбу свою, не зная, за что и к чему он приговорен.

— Скажите, ради Бога, что со мною сделают? — спрашивал он Гейера в тоске и страхе.

— Сам увидишь, — отвечал тот хладнокровно.

При свете факелов рассмотрел он в некотором отдалении деревянные подмости, а на них отрубок толстого бревна. Подалее возвышался подобный огромному улью, срезанному сверху, деревянный сруб, в котором лежали солома и хворост. Близ сруба видно было колесо, приделанное к врытому в землю, невысокому столбу. Около этих ужасных изобретений человеческой жестокости заботливо сустились люди. Все они были в широких плащах и нахлобученных до бровей шляпах. Некоторые держали факелы, другие — веревки. У одного блестела в руках секира, у другого, отличавшегося ростом и широкими плечами, железная палица, третий расправлял мешок, к которому был привязан камень.

Гейер, с толпою прислужников приблизясь к осужденным, велел вести прежде тех, которых Бирон приговорил к отсечению головы. Их было восемь. Вскоре приблизились они к деревянным подмосткам, на которых лежала плаха. Человек, державший секиру, сбросил с себя плащ и вошел на подмости. По данному Гейером знаку ввели сперва седого старика, в молодые лета служившего с честью во флоте и проводшего всю жизнь безукоризненно. Он живо помнил славное и правосудное царствование Петра Великого и тем сильнее ненавидел Бирона, святотатственной рукой поведшего отечество с высоты славы и счастья в бездну золы и бедствий. Произнося вполголоса молитву, он с твердостью подошел к плахе и, перекрестясь, положил на нее украшенную сединами голову. Эхо в лесу повторило удар секиры. Обез-

главленный труп сняли с подмостков и положили на траву, подле откатившейся на несколько шагов головы.

Немедленно ввели на подмостки другого из осужденных, и скоро вторая жертва жестокости Бирона лежала рядом с обезглавленным старцем.

Одного за другим подводили к плахе, и кровь лилась; между тем тот, чья воля, чье мщение двигало секиру, лишенный власти и сна, окруженный стражей, как преступник, ехал в карете по дороге в Шлиссельбург, где ожидали его заточение и суд. Он уже не думал о жертвах своего мщения, обреченных им смерти, жертвы эти были уже для него ненужны и бесполезны. Он уже сам трепетал за жизнь свою, предвидя в грозной будущности плаху и секиру. Совесть, давно усыпленная посреди успехов, величия и могущества, проснулась и вызвала из могилы ряд бледных, обрызганных кровью мертвецов, вставших на пути жестокого и мстительного временщика.

Держа в руках Библию, давным-давно уже не читанную, Бирон старался успокоить себя мыслью, что в слове Божьем найдет он скорое утешение и легкое средство прекратит тревогу и мучение сердца, и между тем страшился раскрыть книгу: ему казалось, что в каждой строке видит он строгий приговор делам своим.

По временам лицо его, унылое и бледное, вдруг вспыхивало. Глаза его из-под нахмуренных бровей сверкали, уста судорожно двигались. Стиснув зубы, то махал он рукой грозно и повелительно, то ударял себя ею в грудь и клялся отомстить врагам своим. Но вдруг, вспомнив неожиданное, быстрое падение с высоты могущества, свое бессилие, он впадал снова в уныние. Ехавшие впереди кареты два всадника, с факелами в руках, возбуждали в сердце Бирона суеверную тоску. «Это предзнаменование моего погребения,— думал он.— И точно, я уже могу считать себя умершим. Еще вчера все преклонялось, все трепетало предо мною, а сегодня я ничто! Наяву ли все это совершается? Не страшный ли сон я вижу?»

Вдруг карета остановилась. Бирон услышал, что начальник стражи, которая его сопровождала, спорил с какими-то людьми, помешавшими карете ехать далее. Они тащили что-то через дорогу.



— Как смели вы остановить нас? — кричал начальник стражи. — Кто вы таковы и что тащите? Отвечайте, не то велю всех вас схватить, бездельники!

— Тащим, как видишь, мешок, — отвечал один из толпы, — а что такое в мешке, не скажем, это не твое дело.

— Сейчас же говори! — закричал рассерженный начальник стражи, соскочив с лошади и схватив упрямца за ворот.

В это время послышался жалобный голос Дуболобова. Его тащили в мешке, к берегу Невы, чтобы утопить.

— Что это значит? — воскликнул начальник. — Тут человек? Говори, бездельник, что это значит? Ребята, схватите всех их! — закричал он страже.

— Советую тебе, любезный, не горячиться и ехать своей дорогой. Не вели своим нас трогать: худо будет! Мы исполняем повеление герцога!.. Что, любезный? Вся твоя храбрость лопнула, как мыльный пузырь? Сидись-ка на свою лошадь, да отправляйся, куда ехал. А вы тащите мешок. Ну, ну, проворнее! Нева уж недалеко.

Начальник стражи стоял, как истукан, глядя вслед поспешавшей к берегу толпе. По данному ему приказанию, он должен был доставить герцога в Шлиссельбург, в величайшей тайне. С одной стороны, сострадание побуждало его остановить казнь несчастного, совершавшуюся по воле Бирона, который уже и сам ожидал казни и лишен уже был власти казнить других. С другой стороны, он не осмелился объявить этого, опасаясь нарушить данный ему приказ. Между тем, толпа за деревьями и кустарниками скрылась у него из вида.

— Что значит эта остановка? — спросил Бирон, опустив стекло в дверцах кареты. — Где начальник стражи?

— А вот он скачет сюда. Он за чем-то слезал с лошади, — отвечал кучер.

— Для чего мы остановились?

— Вы сами себя остановили, — отвечал грубо начальник. — Вас везут в крепость, под стражей, а вы все продолжаете еще губить ближних. Может быть, вы теперь и приказали бы помиловать этого несчастного, которого потащили топить, да жаль, что уж вы приказывать не можете!

— А если бы и мог, то не отменил бы своего прика-

зания! — возразил гордо Бирон. — Что однажды я повелел, то должно быть исполнено!

Карета поехала далее. Между тем, Возницына привязали к колесу, и широкоплечий палач, размахивая железной палицей, готовился раздробить ему руки и ноги, одну за другой, и нанести наконец *удар милости* в голову. Старика Аргамачова и Лельского, связанных, втащили по приставленной к срубам лестнице, опустили на наложенные в нем хворост и солому, и вложили в отверстие, сделанное внизу, горящий факел. Густой дым от вспыхнувшей соломы повалил изо всех щелей сруба, и сухой хворост затрещал. Валериану завязали глаза и поставили перед двенадцатью солдатами. Он слышал, как звенели шомполы, прибивая пули в дулах ружей. Скоро звук этот затих, и раздался громкий голос командовавшего капрала.

В эту минуту сердце Валериана, до тех пор мужественно ожидавшего смерти, мгновенно оледенело от ужаса, в это сердце целились двенадцать ружей, двенадцать пуль при слове — пали! — должны были растерзать грудь Валериана. Он ждал с нетерпением, чтобы ужасный залп грянул скорее и перебросил его с границы мучительной, стесненной жизни в спокойную, беспредельную область вечности. Один миг — и я уже там, там, где будут неминуемо все! Но миг этот невыразимо ужасен!

Так думал, так чувствовал Валериан. Вдруг... раздастся конский топот.

— Стой! — крикнул громкий голос. Кто-то побежал к Валериану, торопливо снял повязку с глаз его.

Кого же видит пред собою изумленный, воскресший страдалец? — Ханыкова, хладнокровного Ханыкова, у которого бегут радостные слезы по пылающим щекам.

— Ребята! — крикнул он солдатам, не переставая обнимать с жаром друга, — бегите, спасайте прочих: Бирон пал! На русском престоле дочь Петра Великого, кроткая Елизавета!

Единодушное, радостное «ура!» заглушило голос капитана.

— *Матушка наша!* Наконец дождались мы тебя, наше красное солнышко. Отдохнут теперь русские, заживут все православные по-прежнему, как при великом царе, твоём батюшке.

Так восклицали солдаты, ломая вдребезги колесо, с которого сняли Возницына, разбрасывая подмостки с плахой и осыпая остолбеневшего Гейера и его прислужников ударами ружейных прикладов. Двое из солдат бросились к срубу, окруженному густым облаком дыма, вмиг приставили лестницу, ощупью нашли лежавших без чувств на хворосте старика Аргамачова и Лельского, стащили их вниз и положили на траву. Огонь, обнявший нижние слои хвороста, не успел еще проникнуть до верхних, но густой дым задушил бывших в срубе.

Через несколько времени старика Аргамачова с трудом привели в чувство, но в Лельском не было заметно никаких признаков жизни. Он спал уже сном беспробудным. Его положили рядом с обезглавленными трупами.

— Поспешите спасти несчастного Дуболобова! — воскликнул Возницын. — Его понесли к Неве, ради Бога, бегите за мной скорее!

Несколько солдат кинулись за Возницыным. На встречу попались им возвращавшиеся прислужники Гейера.

— Куда вы его девали, душегубцы? — воскликнул Возницын, вне себя бросаясь на одного из прислужников. — Говори — или смерть!

Один из солдат приставил штык к боку прислужника, прочие товарищи последнего, провожаемые ударами ружейных прикладов, рассыпались в разные стороны.

— Умилосердитесь надо мной! — пропищал, заикаясь, прислужник, — не я опустил мешок в воду.

— Веди нас, злодей! Покажи место, где вы несчастного бросили.

Схватив за воротник прислужника, Возницын потащил его к берегу Невы. Когда место было указано, он, сбросив с себя платье, несколько раз нырял, опускаясь на дно реки. Некоторые из солдат сделали то же, но все понапрасну: несчастного не нашли, он погиб жертвой мелочной ненависти и безумянного доноса, погиб за то, что у соседа его пропал селезень и что он когда-то за приятельским обедом, развеселенный вином, имел неосторожность в кругу друзей назвать в шутку Бирона медведем.

На утро общая радость, возбужденная разнесшимся слухом о вступлении Елизаветы на престол, уменьшилась, когда узнали, что принцесса Брауншвейгская, с помощью графа Миниха, нарушив акт о регентстве и низвергнув Бирона, объявила себя правительницей. С нарушением акта права Елизаветы на престол делались еще неоспоримее. Через год, когда принцесса Брауншвейгская, подстрекаемая окружавшими ее иностранцами, решилась объявить себя императрицей и отдалить навсегда ветвь Петра I от престола России, им возвышенной и прославленной, когда Елизавете грозил брак против воли или заточение в монастырь, она решилась действовать,— и обрадованное отечество вскоре увидело на престоле дочь Петра Великого. Законы, о которых Петр изрек: *все законы писать, когда их не хранить*, утвердились в силе, судьба граждан не зависела уже от произвола и своекорыстия иностранного пришельца, вредные интриги честолюбцев, стремившихся для личных выгод своих располагать делами государства и даже престолом, прекратились, мужи государственные и любящие отечество, по воле мудрой монархини, начали трудиться над выполнением великой мысли державного просветителя России, мысли о своде отечественных законов. Уничтожение Елизаветой смертной казни, доныне существующей в просвещеннейших странах Европы, явило им достойный подражания пример кротости и человеколюбия правительства даже к преступникам, тайные доносы прекратились, одни злодеи и лихоимцы, к общей радости и счастью всех честных и добрых граждан, стали бояться обличения их тайных преступлений, и явной, открыто и неминуемо карающей силы законов. Науки, искусства, словесность, эти нежные растения, насажденные рукой преобразователя России и притоптанные Бироном, снова оживились лучами, ниспавшими с престола.

Вечером, накануне 1 января 1742 года (это было через месяц по вступлении на престол Елизаветы), Мурашев пригласил к себе родственников и приятелей встречать новый год. Старик Аргамаков сидел подле хозяина, на софе. Валериан ходил взад и вперед по комнате, дер-

жа за руку молодую, прелестную жену свою, Ольгу. Дарья Власьевна, поместившись у окна, в креслах, посматривала на премьер-майора Тулупова, сидевшего в углу на скамейке, махала на себя веером и вздыхала. Премьер-майор, казалось, не обращал ни на кого внимания и погружен был в уныние.

— Вот уже скоро, я думаю, пробьет полночь,— сказал Мурашев,— скоро поздравим друг друга с новым годом. Бывало, при Бироне...

— Не поминай об нем, любезный сват! — прервал старик Аргамаков.

— А для чего не помянуть? И в «Советах премудрости» сказано: «Человек разумной должен приводить себе в память то, что не всегда одинаково бывает время». Это значит, что утешительно для сердца в такое благополучное, как нынче, время вспомнить иногда прежние, черные годы. Как сравнишь прошлое с настоящим, так невольно почувствуешь благодарность к милосердному Богу!

— Что и говорить, любезный сват! Дай, Господи, царице нашей долголетнее царствование! Добрая, ангельская душа! Когда моего сына хотел Бирон казнить, помнишь ли, как она прислала мне с своей руки перстень и велела утешить меня, горемычного старика, своим словом ласковым? Я этим перстнем украсил образ Спасителя, и всякий день, во время молитвы, взгляну на перстень и молюсь, долго молюсь, чтобы Он ниспослал здравие и счастье доброй царице.

— Слышали вы, батюшка,— сказал Валериан,— что она даже Бирона простить хочет?

— А где он теперь? Все в Шлиссельбурге?

— Нет. Его приговорили к смерти, но помиловали и отправили со всеми его родственниками в дальний городок Пелым\*.

В это время отворилась дверь, и вошел Ханыков. Подоровавшись со всеми, он сел к столу и вынул из кармана бумагу.

---

\* Указом 17 января 1742 года Елизавета повелела возвратить Бирона с семейством и братьев его из ссылки, и считать уволенными из русской службы. Потом повелено было Бирону жить в Ярославле, где он и пробыл до вступления на престол Петра III. Карл Бирон, по возвращении из ссылки, уехал в Курляндию и умер в своем поместье.

— В прежнее время,— сказал Мурашев,— верно, у всех бы сердце заняло, все бы подумали, что это какой-нибудь донос или приговор, нынче, слава Богу, уже не те времена! Что это, капитан, за грамотка? Чай, что-нибудь радостное, хорошее?

— Это стихи, да такие, каких на Руси еще с сотворения мира не бывало. Теперь во всем Петербурге их читают: все чуть за них не дерутся. Я с большим трудом список достал у приятеля.

— Ах, батюшка, отец родной! — воскликнул Мурашев: — Дай списать. Неужто эти стихи лучше написаны, чем «Советы премудрости» или «Приклады, како пишутся комплементы»? Кто их написал?

— Адъютант академии наук, Михаил Васильевич Ломоносов, тот самый, который недавно из-за границы возвратился.

— Сын холмогорского рыбака?.. Спасибо Михаилу Васильевичу! Знай наших! Вот каковы рыбаки-то! Недаром я с малолетства любил этот промысел. Молчи же ты теперь, Бирон, не говори, что русские ни к чему не способны! Когда за всякое слово тянули их в пытку да на плаху, так было не до писанья, поневоле молчали все, как глупые рыбы. А вот нынче, при матушке царице, достойной преемнице Петра Великого, то ли еще сделают русские! Прочти-ка, сделай милость, стихи Михайла Васильевича, отведи душу!

Ханыков начал читать оду Ломоносова, написанную им при восшествии на престол императрицы Елизаветы. По окончании каждой строфы все приходили в движение, а Мурашев вскакивал с софы от восторга и восклицал:

— Голубчик ты мой, Михайло Васильевич! Расцелую твою ручку и золотое твое перышко! Где ты таких красных слов наудил? По живой стерляди, по двухаршинному осетру дам за каждое!

Особенно сильное действие произвела на слушателей последняя строфа:

Но если гордость ослеплена  
Дерзнет на нас воздвигнуть рог,  
Тебе, в женах благословена,  
Против нее помощник — Бог,  
Он верх небес к тебе преклонит,

И тучи страшные нагонит  
В сретенье врагам твоим.  
Лишь только ополчишься к бою,  
Предвидеть ужас перед тобою,  
И следом воскурится дым!

Нынче стихи Ломоносова, уже устаревшие, без сомнения, не могут ни на кого так подействовать, как на слушателей Ханыкова, но тогда не мудрено было прийти от них в восторг. Новый размер, новый язык, звучный и сильный — все это пленяло и поражало удивлением.

Только на Дарью Власьевну и на Тулупова стихи Ломоносова не произвели почти никакого действия. Первая не расслушала их, мечтая о замужестве и широких фижмах, а премьер-майор не мог находить ни в чем отрады с тех пор, как узнал о смерти Дуболобова: раскаяние беспрестанно его мучило. Другу и недругу закажу, часто думал он, подавать на ближнего безымянные доносы. Бог свидетель, что я не хотел смерти Дуболобову, однако ж, я убил его, убил, хотя и ненарочно, камнем из-за угла, как ночной вор, и погубил свою душу.

Чего бы не дал премьер-майор, чтобы воскресить прежнего, непримиримого врага своего! Он пожертвовал бы всеми селезнями в свете за жизнь горохового кисельника, и даже решился бы не пить никогда водки и не курить табаку, если б этой ценой можно было поправить сделанное зло.

— Что вы так пригорюнились, Клим. Антипович? — спросил Мурашев. — Скоро новый год наступит. Надобно встретить его с весельем в сердце, а не то целый год будете печалиться.

— Раздумался я о Бироне, Федор Власыч. Как вспомнишь его время, так поневоле тоска возьмет. Век не забыть мне, что этот нехристь всем государством русским правил.

— Да много ли он правил: всего три недели!

— Конечно, однако ж... ох уж эти мне три недели!

— И, полно, любезнейший майор, есть ли о чем горевать? Пожалуйста, развеселись. Подумай, как теперь все русские зажили, припеваючи. Старики говорят: то непременно сбудется, что в первый миг нового года пожелаешь. Новый год, чай, скоро уж наступит. Пожелай же вместе со мной, чтобы за три черные недели Бог по-

слал нашей родной стороне три века светлые, счастливые!

— Видно, сбудется желание ваше,— сказал Ханьков.— Слышите ли: часы на адмиралтейском шпице бьют полночь? Вот и пушка грянула! Старый год улетел туда же, куда безвозвратно скрылись три черные недели и регентство Бирона.



# СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Стрелышы . . . . .	5
Черный ящик . . . . .	333
Осада Углича . . . . .	425
Регентство Бирона . . . . .	491

**Литературно-художественное издание**

**Всемирная история в романах**

**Летопись великих событий**

***МАСАЛЬСКИЙ Константин Петрович***

**СТРЕЛЬЦЫ**

**Редактор Ф. Ю. Рабинович**

**Технический редактор З. И. Гречко**

**Корректоры: Т. А. Мельникова,  
О. В. Мурашова**

Лицензия ЛР № 010231 от 14.04.92 г.

---

Сдано в набор 15.01.96 г. Подписано к печати 20.03.96 г.

Формат  $84 \times 108/32$ . Гарнитура «Литературная».

Печать высокая. Объем 31,92 усл. печ. л. Тираж 20 000 экз. Заказ 113.

---

Издательство «Новая книга». Москва, ул. акад. Челомея, д. 4, а/я 489.

---

Издательско-полиграфическое предприятие «Зауралье»,  
640627, г. Курган, ул. К. Маркса, 106.

**В серии**  
**«ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ»**

**изданы следующие тома:**

**Падение Царьграда**  
**Актея**  
**Император**  
**Клеопатра**  
**Русь и Орда**  
**Железный Хромец**  
**Роксолана**  
**Пугачев, 2 т.**  
**Зороастр**  
**Тамерлан**  
**Баязет**  
**Нерон**  
**Великий Раскол**  
**Варфоломеевская ночь**  
**Царевна Софья**  
**Гибель Византии**  
**Кочубей**  
**Суворов**  
**Варрава**  
**Аспазия**  
**Патриарх Никон**  
**Иоанн Грозный**  
**Варяги и Русь**  
**Ермак**  
**Сталин**  
**Жены великих царей**  
**Гибель Иудей**  
**Павел I**

**Продукцию фирмы «Стелла» можно приобрести  
у наших партнеров:**

<b>г. Ставрополь, ООО «ЮКСТ»</b>	<b>8-8652-23-17-91</b>
<b>г. Челябинск, ООО «ЛУННАЯ РАДУГА»</b>	<b>8-3512-66-62-21</b>
<b>г. Санкт-Петербург, АОЗТ «КЛИО»</b>	<b>8-812-252-45-00</b>
<b>г. Н. Новгород, ООО «ГЕРМЕС-ВОЛГА» ИЧП «СТЕЛЛА»</b>	<b>8-8312-33-72-28 8-8312-35-42-76, до 17.00 8-8312-33-98-06, после 19.00</b>
<b>г. Новосибирск, ООО «УНИКС»</b>	<b>8-3832-35-50-49</b>
<b>г. Липецк, АО «КНИГА»</b>	<b>8-0742-77-28-10</b>
<b>г. Барнаул, ИЧП</b>	<b>8-3852-22-74-75</b>
<b>г. Калининград, ТОО «ВИЛАЖ»</b>	<b>8-0112-21-38-34</b>
<b>г. Курган, ООО «КРИСТАЛЛ»</b>	<b>8-35222-3-49-43</b>
<b>г. Рязань, «ПРОПОЛИС» Торговый дом «АЛИНА»</b>	<b>8-0912-32-17-41 fax 8-0912-32-56-98</b>
<b>г. Клин, ИЧП «СТЕЛЛА»</b>	<b>8-09624-2-10-20 fax, tel,</b>

**В серии «HORROR»**

**изданы и выходят в ближайшее время  
следующие тома:**

**Г. Ф. Лавкрафт. Затаившийся ужас**  
(п с/с, книга 1)

**Г. Ф. Лавкрафт. Лампа Аль-Хазреда**  
(п с/с, книга 2)

**Г. Ф. Лавкрафт. Хребты безумия**  
(п с/с, книга 3)

**Г. Ф. Лавкрафт**  
(п с/с, книга 4)

**Лео Первц. Мастер Страшного суда**  
(п с/с, книга 1)

**П. Хэйнинг. Таинственные путешествия**  
(п с/с, книга 1)

**П. Хэйнинг. Магия оккультизма**  
(п с/с, книга 2)

